

Зрелые годы короля Генриха IV, Генрих Манн

I. Военная удача

Молва

Король победил. Впервые отбросил и смирил он противника. Правда, вражеской
мощи он не уничтожил и не взял над ней решительно верх. Королевство его
по-прежнему в смертельной опасности, да оно и отнюдь не в его власти. Оно
все
еще во власти Лиги, ибо беспутство современников, их сопротивление
порядку и
разуму за десятилетия междоусобных войн переросло в безумие. Вернее,
хуже, чем
открытое безумие, – тупая привычка к бессмысленному и беспутному
прозябанию
овладела людьми, печальная примиренность с позором укоренилась в них.

Не первой победе короля изменить это. Единичная непрочная удача – что в
ней
от случая, а что от предопределения? Она не может убедить людей в их
неправоте.
Как так? Выходит, этот самый протестант с юга совсем не главарь
разбойничьей
шайки, выходит, он истинный король! Кто же тогда все великие вожди Лиги:
ведь
каждый из них владеет провинцией или управляет областью, и притом
самолично, со
всей полнотой власти. Король же повелевает, пожалуй, лишь там, где стоит
его
войско. Мыслями королевство за короля: это не без тревоги и горечи
признают
многие. Мысль меньше подлинной власти, но она и больше. Королевство – это
больше, чем пространство и владение, оно равнозначно свободе, оно
тождественно
праву.

Если извечная справедливость взглянет на нас с высот, она увидит, сколь
страшно мы унижены, и даже более того – что мы тлен и прах, гроб
повапленный.
Хлеба насущного ради мы подчинились злейшим изменникам и через них
обречены
попасть под пяту Испании. Из чистого страха терпим мы в стране рабство,
духовное одичание и отказываем себе в высшем благе – свободе совести. Мы,
бедные дворяне, служащие в войсках Лиги или занимающие государственные
должности, и мы, именитые горожане, поставляющие ей товары, и мы, простой
люди,
идуший за ней: мы не всегда глупы, а иногда и не бесчестны. Но как же нам
быть?
Пошепчемся между собой, тайком вознесем молитву Богу, а после нежданной
победы
короля у деревни Арк на короткое время укрепимся в надежде, что настанет
день!

Странное дело – издали события обычно представляются значительнее, нежели вблизи. Король одержал победу на берегу Северного моря; казалось бы, тем, что живут всего на расстоянии двух-трех дней пути, было над чем призадуматься. Особенно в Париже следовало оглянуться на себя и отречься от своих упорных заблуждений. Ничуть не бывало! На севере многие воочию видели, как, рассеявшись шайками по стране, бесчинствует разбитое несметное войско Лиги. Но взять это в толк никак не могли. Лигу здесь по-прежнему считали непобедимой и говорили лишь, что вследствие густого тумана, поднявшегося с моря, и благодаря другим обстоятельствам, составляющим военную удачу, король отвоевал незначительный кусок земли, вот и все.

Зато для внутренней части королевства долгожданная развязка явственно приблизилась. На реке Луаре и в городе Туре по старой памяти надеялись, что рано или поздно, а король пожалует к нам собственной особой. Не первый это будет король, которого бы они встречали сперва несчастным беглецом, а под конец неоспоримым властелином. Об отдаленных западных и южных провинциях и говорить нечего: там битву у деревни Арк видели так, точно она еще раз происходила у них на глазах и была велением небес. Пламенные протестанты крепости Ла-Рошель, у океана, пели тот самый псалом, с которым победил их король: «Явись, Господь, и дрогнет враг...» Весь юг от Бордо наискось вниз, в пылу безудержного восторга, предвосхищал те события, которым еще не приспела пора: покорение столицы, наказание главных изменников и славное объединение королевства их Генрихом, рожденным здесь, выступившим отсюда и теперь ставшим больше всех!

В самом деле, разве его земляки так уж увлекались, не в пример прочим? Большим легче всего назвать человека, которого никогда в лицо не видал. Его же земляки по личным встречам знают, что роста он среднего, носит войлочную шляпу да потертый колет и всегда нуждается в деньгах. Они помнят его ласковые глаза; о чем, собственно, говорят эти глаза: о бодром духе или о пережитых печалях? Во всяком случае, он находчив, умеет подойти к простолюдину; еще лучше умеет обхаживать женщин. Из них многие, никому не счесть сколько, могли бы выдать его

тайны. Но, обычно такие болтливые, тут они разом умолкают. Словом, здесь его знали в лицо и только что не участвовали в его последнем деле там, на севере, где стоял туман, где наши пели псалом, когда шли в атаку и одолевали могучее войско. Дело было нешуточное, и пока оно свершалось, небо и земля ждали, затаив дыхание.

Но теперь о победе стало известно и в самых дальних краях. О короле там до сих пор ничего не слыхали. На большом расстоянии такая молодая слава кажется беспорочной и не от мира сего. И тем больше становится сразу носитель ее. Мир ждал его, миру опротивело терпеть в качестве единственного господина и повелителя Филиппа Испанского, вечно того же безотрадного Филиппа. Угнетенный мир давно молил об избавителе: и вот он явился! Что такое его победа? Ничтожная битва, отнюдь не решительный перелом, и все же она важнее, чем недавняя гибель Армады. Тут некто своими собственными силами потряс трон властителя мира. Сотрясение, хоть и слабо, все же ощущается за рубежами, за горами и даже на том берегу моря. Говорят, будто в одном славном заморском городе ходили по улицам с его портретом. Только его ли был портрет? Он сильно потемнел, его вытащили на свет божий в лавке старьевщика, отмыли. «Король Франции!» – вскричал народ и устроил шествие, даже попы примкнули к толпе. Молва всеведуща и крылата.

Действительность

Сам он не торжествовал победы. Ибо удавшееся дело тотчас же влечет за собой следующее; кто не хитростью добивается успеха, а честно зарабатывает его, тот даже не чувствует победы, и еще меньше опьянения. Король помышлял лишь об одном – как бы наскоком занять свою столицу Париж, пока еще герцог Майенн с разбитым войском Лиги не добрался до нее. Король был проворнее; а кроме того, парижане поверили рассказам, будто Майенн победил его и обратил в бегство; это дало ему лишнее преимущество. Однако к его приходу Париж уже опомнился и приготовился к обороне, впрочем, весьма бестолково. Вместо того чтобы удерживать крепостные стены и валы вокруг внутреннего города, парижане решили

защищать и предместья. Это было на руку королю, который замыслил опрокинуть их в открытом поле и на плечах у беглецов ворваться в городские ворота.

Он без труда овладел наружными укреплениями, однако ворота в последний миг

успели запереть. Попытка кончилась тем, что войска его, все эти швейцарцы, немецкие ландскнехты, четыре роты искателей приключений, четыре тысячи англичан, шестнадцать французских полков, всем скопом наскочили, принялись

громить, грабить, убивать. И больше ничего... Короля, правда, встречали криками

ура, но среди грабежей и убийств. Он хоть и отдал приказ стрелять по городу

поверх стен, но сам уже знал, что столицы своей ему не взять и на этот раз.

Тогда он отправляется на покой во дворец, носящий его родовое имя: Малый Бурбонский зовется он; Генрих проник сюда как чужой и скудная постель ждет его

здесь — всего лишь охапка свежей соломы. Три часа остается ему для сна, часть

их уходит на думы и сопоставления.

«В городе стоит Луврский дворец, там пленником промаялся я долгие назидательные годы, и след тех годов остался на мне. Неужто свободным человеком

и королем мне никогда не видать этого города? Однажды, в Варфоломеевскую ночь,

во дворце пали почти все мои друзья, а в городе — большинство моих единоверцев.

Вы отомщены спустя восемнадцать лет! Только на одном перекрестке мои солдаты

умертвили сегодня восемьсот врагов, восклицая при этом: святой Варфоломей!

Ужасно, что все возвращается и ничто, ничто не может вовеки исчезнуть из мира.

Я предпочел бы прощение и забвение, я предпочел бы человечность. Что же истинно

в наших распрях? Что я знаю? Верно одно — и в стенах города, и за ними мы только и делаем, что убиваем. Если б я проскочил в ворота раньше, чем их успели

закрыть! Я бы показал парижанам милостивого победителя и истинного короля. У

королевства была бы столица, у человечества — цель, на которую оно могло бы

благодно поднять взор. А взамен — лишь немного утоленной мести, и привычное

кровопролитие, и военная удача».

У тридцатилетнего Генриха много позади горестей и неустанных трудов, но

и радостей он вкусил без числа благодаря своему веселому нраву, а теперь вот он

лежит на свежей соломе возле большого обеденного стола. Он еще раз вскакивает:
король велит щадить церкви – «и людей также!» – кричит он вслед капитану. Затем все-таки засыпает, ибо он научился владеть собой при незадачах и горестях не менее, чем в дни непредвиденной милости судьбы. Сон – его добрый друг – является исправно и приносит обычно то, что требуется Генриху: не страхи, а видения, сулящие добро. Сегодня Генриху привиделись во сне подплывающие корабли. Сперва они парили в дымке горизонта, потом выросли в мощные, сверкающие громады, заполнили залитое солнцем море: они приближались, они искали его, Генриха. Сердце у него забилося, и во сне его осенило, что означает это посещение. – О чем-то подобном шла речь вскоре после выигранной им битвы. Он тогда не стал вслушиваться по причине насущных, безотлагательных забот и трудов. Тут было не до сказок. Когда он пробудился после трехчасового сна, видение кораблей снова изгладилось из его памяти.

Наступил день всех святых; католики из королевской армии разбрелись по церквям предместий. Тем, что укрылись за стенами, было не до праздника, они оплакивали своих убитых и боялись за себя. Но к вечеру они были спасены, ибо войска Лиги подошли к Парижу и король не мог помешать им занять город с другой стороны; время было упущено. Он позволил своим захватить еще одно аббатство и прикончить триста парижан. Это было прощание, и не из красивых, никто короля не понимал этого. Он и наказал себя – решил подняться на колокольню, чтобы увидеть город, а в провожатые взял монаха. Наверху на узкой площадке, наедине с монахом, Генрих пришел в смятение, ему вспомнился король, его предшественник. Ведь тот был убит монахом. Да и на него самого не раз уже из рукава рясы глядел нож. Миг – и он очутился позади своего провожатого, схватил его за обе руки. Монах не шелохнулся, хотя был рослый и дюжий. Генрих недолго глядел сверху на свою столицу; спускаясь по лестнице, он пропустил ненадежного проводника вперед, сам же шел, отставая на две ступени. Внизу он встретил своего маршала Бирона.

– Сир, – сказал Бирон, – ваш монах выскочил из двери и удрал.

В это мгновение раздался радостный вопль парижан, прибыл их полководец

Майенн, собственной персоной, они угощали его солдат на улицах. На следующий день король привел свое войско в боевую готовность и дал врагу три часа сроку на то, чтоб выйти в открытое поле. Тщетно, — Майенн был осторожен; тогда король отошел. По пути он занимал крепости, но некоторые его полки, не получая жалованья, разбрелись. С оставшимися король поскакал в свой город Тур, чтобы принять там послов Венеции. Молва не обманула: старая республика издалека слала свои корабли. Послы высадились на берег, и пока король покорял мелкие города, они не спеша следовали в глубь страны на север, дабы воздать ему почести.

Сказка

Он изо дня в день слышал об их приближении, волновался и потому посмеивался.

— Дождь! У волхвов подмокнет ладан.

А самому было страшно, что Лига возьмет их в плен и перехватит у него, прежде чем они придут на место со всей великой помпой и громкой хвалой, которой собирались почтить его. Когда они были еще в нескольких днях пути от Луары, он выслал им навстречу многочисленный отряд, якобы в виде почетного конвоя, но на деле с более серьезной целью. После этого он стал ждать их в своем Турском замке, и ждал долго. В пути один из престарелых венецианских вельмож захворал.

— Да, республика весьма стара, — сказал Генрих своему дипломату, Филиппу дю Плесси-Морнею.

— Старейшая в Европе, сир. Она была в числе могущественнейших, теперь же она наиопытнейшая. Кто говорит «опыт», обычно не понимает, что под этим подразумевается упадок. Тем, что едут сюда, известно и это. Так вникните же в происходящее! Это мудрейшая республика, главная ее забота в том, чтобы с достоинством нести старческие немощи и отодвигать конец, она держит лучших наблюдателей при всех дворах и упорно читает, читает донесения: вдруг она встрепенулась, она действует, Венеция бросает вызов всемирной державе, она воздает почести вам, после вашей победы над всемирной державой. Как же велика, значит, ваша победа!

— Я поразмыслил над своей победой. Победа, господин де Морней, — начал Генрих, запнулся и, прежде чем продолжать, быстро прошелся взад и вперед по каменной зале Турского замка.

Товарищ его юношеских лет следил за ним глазами и в который раз решал, что правильно выбрал себе государя. Этот одному только Богу воздает хвалу за свою победу! Непреклонный протестант снял шляпу при этой мысли. Так стоял он, сорокалетний человек в темной одежде; шею, по обычаю его единоверцев, окружал скромный белый отложной воротник, нижняя часть лица у него была сократовская, лоб высокий, необыкновенно гладкий и восприимчивый ко всяческому свету.

— Морней! — Генрих остановился перед ним. — Победа стала не та, что прежде. Оба мы знавали ее иной.

— Сир! — возразил посол ясно и невозмутимо. — В прежнем вашем звании короля Наваррского вы вразумили несколько злонравных городов, которые были непокорны вам. Десять лет трудов и усилий — и в итоге одно значительное сражение; после этого крылатая молва — Фама достаточно прославила вас, чтобы вы сделались наследником французской короны. Король Франции, каковым вы стали теперь, будет менее кропотливо бороться, более величаво побеждать, и молве придется в его честь живее взмахивать крылами.

— Если бы разница была только в этом! Морней, после той моей победы, ради которой венецианцы едут сюда, я осадил Париж и ушел ни с чем. Разве венецианцы этого не знают?

— До Венеции далеко, и они уже были в пути.

— Они могли воротиться. Ведь они люди умные. Им ли не понять, что значит, когда королю приходится осаждать собственную столицу, и притом тщетно. Поубивал, пограбил — и ушел, заглянув с колокольни в город и испугавшись какого-то монаха.

— Превратности военной удачи, сир.

— Так мы это объясняем. Но что это на самом деле? В то время как я охранял одни ворота, Майенн вступил в другие. Переправился через мост, который по моему приказу должны были снести, но не снесли. Вот что такое военная удача. У меня

есть подозрение: когда побеждаю я, о ней можно сказать то же самое.

– Дело рук человеческих, сир.

– Все равно, есть же полководцы.. – Генрих осекся, он вспомнил полководца по имени Парма [1. – ...он вспомнил полководца по имени Парма... – Речь идет об Александре (Алессандро) Фарнезе, герцоге Пармском (1545–1592), полководце и государственном деятеле испанской монархии, с 1578 г. – наместнике испанского короля Филиппа II в Нидерландах. По его приказу Фарнезе осуществил в 1590 г. прорыв линии войск Генриха IV, осадившего Париж.], как гласит молва о его мастерстве, тот не полагался на военную удачу и не отговаривался тем, что все дело рук человеческих. – Морней! – воскликнул Генрих и встряхнул своего советчика. – Ответь мне! Могу я побеждать? Мое призвание – спасти это королевство; но спокойнее был мой дух, когда никто еще не ехал сюда воздавать мне почести прежде времени.

– Венеции угодно считать, что вы победили, сир. Она не вернула бы своих послов, даже если бы ваше войско пришло в полное расстройство.

Генрих сказал:

– Итак, мне дано познать, что слава – одно недоразумение. Я заслужил ее, а награжден ею все-таки незаслуженно.

И тут же выражение лица его изменилось, он повернулся на каблуках и весьма игриво принял тех господ, что как раз входили к нему. То были лучшие его сподвижники, нарядившиеся в новое платье.

– Молодец, де Ла Ну! – вскричал Генрих. – Рука железная, а переплыл реку! Молодец, Рони! На вас драгоценности из хорошего дома, хоть и не из вашего собственного, а уж сколько денег нашли и забрали вы в парижских предместьях!

Не сделать ли мне вас своим министром финансов, вместо толстяка д'О?

Он огляделся, ему показалось, что они мало смеются.

– Ничего я так не боюсь, как людей невеселых. Это люди неверные.

Те молчали. Он по очереди всматривался в каждого, пока не угадал всего.

Тут

ему кивнул его верный д'Обинье, сперва товарищ по плену, затем боевой соратник,

неизменно смелый, неизменно праведный и в стихах и в делах. Этот испытанный

друг кивнул и сказал:

— Сир! Так и есть. Насквозь промокший гонец прибыл, как раз когда мы уже приоделись для приема.

Страх охватил Генриха. Он дал ему утихнуть. Только вполне овладев голосом,
он весело ответил старому другу:

— Что поделаешь, Агриппа, военная удача переменчива. Послы воротились. Но они еще передумают, ибо скоро я дам новое сражение.

За дверьми послышался сильный шум. Они распахнулись; между двух стражей появился, запыхавшись, не в силах вымолвить ни слова, насквозь промокший гонец.

Его усадили и дали ему напиток.

— Это уже другой, — заметил Агриппа д'Обинье.

Наконец тот заговорил:

— Через полчаса послы будут здесь.

Генрих как услышал — схватился за сердце.

— Теперь я заставлю их ждать до завтра. — И вслед за тем поспешно удалился.

За ночь свершилось чудо, и ноябрь превратился в май. С юга повеял теплый ветер, разогнал все тучи, небо простерлось светло и широко над парком Турского

замка, над рекой, медленно и вольно протекавшей вдоль полей, посреди королевства. Стройные березы стояли почти оголенные; из замка видно было, как

причаливают корабли, на которых переправлялись послы. Их поселили в загородных

домах на том берегу. У окон первого этажа, вровень с землей, расположился двор,

кавалеры и дамы, разряженные так богато, как только могли или считали подобающим. Роклор оказался всех изящней. У Агриппы были самые большие перья,

фронтенак соревновался с Рони. У последнего на шляпе и воротнике было больше

драгоценностей, чем на платьях дам. Но лицо его, молодое и гладкое, выражало ту

же умную сосредоточенность, что и обычно. Появилась сестра короля, сразу же

показав себя прекраснейшей из дам. На высоком воротнике из кружев и алмазов

покоилась ее изящная белокурая головка; лицо дамы, по-придворному чопорное, все

же обнаруживало внутреннюю ребячливость, которую не стирает ничто. Она была еще

на пороге, когда ее тканное золотом покрывало зацепилось за что-то. Или, быть

может, хромяя нога подвела ее? Весь двор выстроился шпалерами на пути

принцессы. Тут она видит, как в противоположную дверь входит король, ее брат.

Короткий радостный вскрик, она забыла о себе, она без малейшего труда пробегает несколько шагов.

— Генрих!

Они встретились в середине залы. Екатерина Бурбонская преклонила колени перед братом — они вместе играли в начале жизни, они путешествовали по стране в

неуклюжих старых колымагах вместе с матерью своей Жанной. «Милая наша мать,

хоть и была больна и беспокойна, но сколь сильна через веру, которой учила нас!

И оказалась в конце концов права, хотя сама умерла от яда злой старухи королевы, да и на нашу долю выпало немало страшного и тяжелого. И все же мы

сейчас стоим посреди залы в сердце королевства, мы теперь король с сестрой и

собираемся принимать венецианских послов».

— Катрин! — сквозь слезы произнес брат, поднял сестру с колен и поцеловал.

Двор восторженно приветствовал обоих.

Король в белом шелку, с голубой перевязью и красным коротким плащом, повел

принцессу, держа ее руку в поднятой руке, двор расступился, но позади царственной четы сомкнулся вновь. Они остановились у самого высокого окна; все

столпились вокруг — и не всякий, кто пробрался вперед, был из лучших.

Сестра

сказала на ухо брату:

— Не по душе мне твой канцлер Вильруа[2. — Вильруа Никола де Невиль (1542-1617) — французский

государственный деятель. Сторонник Лиги, он в 1593 г. порвал с ней и при Генрихе IV стал статс-секретарем и поверенным в иностранных делах,

сохраняя

происпанскую ориентацию.] .

Еще меньше мне по душе твой казначей д'О. А есть у тебя и того хуже.

Генрих,

милый брат, если бы все, кто тебе служит, были нашей веры!

— Я и сам бы хотел того же, — на ухо сказал он сестре, но при этом кивнул как раз тем двум придворным, которых она назвала. Она в досаде повернула назад;

чем дальше от толпы, тем дружественней лица. У стены Катрин наткнулась на целую

группу старых друзей: боевых соратников брата, кавалеров былого наваррского

двора, — в ту пору они обычно носили колеты грубой кожи.

— Вы расфрантились, господа! Барон Рони, когда я учила вас танцевать, у вас еще не было алмазов. Господин де Ла Ну, вашу руку! — Она взяла железную руку гугенота — не живую его руку, а железную взяла она и сказала лишь для него да для Агриппы д'Обинье и долговязого дю Барта: — Если бы Господь попустил одной-единственной песчинке на нашем пути скатиться иначе, чем она скатилась с холма, нас бы не было здесь. Ведомо вам это?

Они кивнули. На сумрачном лице долговязого дю Барта уже можно было прочитать духовные стихи, которые складывались у него в уме, но тут снаружи загремели трубы. Идут! Надо приосаниться и предстать перед послами могущественным двором. Чуть ли не все лица мигом изобразили сияющую торжественность, смягченную любопытством; все выпрямились, и принцесса Бурбонская тоже. Она огляделась, ища дам, но их мало было при этом кочевом дворе и походном лагере. Быстро решившись, она взяла за руку и вывела вперед Шарлотту Арбалест, жену протестанта Морнея. Вдруг возникло замешательство.

Послы там внизу, наверно, не сразу наладили порядок шествия. А трубачи чересчур поторопились. Дорога от берега шла в гору; может статься, венецианские вельможи были слишком дряхлы, чтобы взобраться по ней? Король, по-видимому, отпуская шутки, по крайней мере окружающие смеялись. Принцесса, сестра его, подвела свою спутницу к другому окну; она была в смятении: подле венценосного брата стоял кузен Суассон, которого она любила. «Если бы я хоть не шла рука об руку с этой высоконравственной протестанткой!» — думала Екатерина, словно сама она была иной веры. Да, она забылась, как забывалась на протяжении всей своей короткой жизни, при неожиданной встрече с возлюбленным. Сердце ее колотилось, дыхание стало прерывистым, чтобы скрыть смущение, она приняла самый надменный вид, но почти не понимала, что говорит своей соседке.

— Сердцебиение, — говорила она. — У вас его не бывало, мадам де Морней? Например, еще в Наварре, когда у вас вышли неприятности с консисторией из-за ваших прекрасных волос?

Голова Шарлотты Арбалест была покрыта чепцом; он доходил почти до самых глаз, изливавших блеск и не ведавших робости. Добродетельная жена протестанта Морнея спокойно подтвердила:

— Меня обвинили в нескромности, потому что я носила поддельные локоны, и пастор не допустил меня к причастию и даже господину де Морнею отказал в нем.
Хотя прошло столько лет, сердце у меня по сию пору не может оправиться от тех волнений.

— Вот как несправедлива бывает к нам наша церковь, — поспешила убедить себя принцесса. — Ведь вы же во имя нашей религии обрекли себя на изгнание и нищету после того, как спаслись от Варфоломеевской ночи. Все мы, ожидающие здесь послов, были прежде либо узниками, либо изгнанниками во имя веры: вы сами с господином Морнеем, король — мой брат, и я также.

— И вы также, — повторила Шарлотта; ее ясный взгляд лился прямо в глаза Катрин, которая дрожала от смущения. Что бы я ни говорила, эта женщина видит меня насквозь, поняла она.

— Наперекор пасторам, вы еще долго носили рыжеватые локоны, — настаивала бедняжка Екатерина. — И вы были правы, скажу я. Как же так? Сперва преследования, изгнание, а когда, наконец, вы воротились на родину, вашу жертву не принимают. Из-за чего же — из-за локонов.

— Нет, я была неправа, — созналась жена протестанта. — Я проявила нескромность. — Тем самым она хоть и выдавала собственную слабость, но, в сущности, напоминала принцессе о ней самой и ее куда более тяжком прегрешении.
На это она намекнула вполне ясно. — Нескромность моя была не только оправданна: она была предумышленна и противостояла любым угрозам. Однако же благодать снизошла на меня в молитве, я отринула то, что было греховно. С той поры я скромно ношу чепец.

— И страдаю сердцебиением, — сказала Катрин. Гневным взглядом окинула она лицо собеседницы, бледное, смиренное, вытянувшееся, каким оно стало теперь.
«Прежде, когда она была миловидна, мы вместе посещали балы», — подумала она.
Гнев ее сразу остыл. Ею овладело сострадание, недалеко было и до раскаяния. «А я все такая же, как раньше, и грех мой при мне. Я себя знаю, я не заблуждаюсь, но при этом неисправима; прощения мне не будет», — в раскаянии думала она. —
Господи, помоги мне нынче же вечером надеть чепец! — молилась она тихо и настойчиво, хоть и без большой надежды быть услышанной.

Граф Суассон очутился перед ними, он сказал:

— Сударыни, его величество изволит требовать вас к себе.

Обе покорно склонили головы, лица у них остались невозмутимы. Он повел обеих дам, держа их за кончики пальцев поднятыми руками. Руку кузины он пытался потихоньку пожать. Она не ответила на пожатие и шла, отвернувшись. Учтиво передал он ее венценосному брату.

Между тополей блеснул металл, у всех сперва возникла мысль об оружии или военных доспехах.

— Нет, — сказали женщины, — нам ли не знать, как сверкают драгоценные камни.
Или по меньшей мере золотое шитье.

А на деле было и то, и другое, и еще много больше: все диву дались, увидав серебряный корабль, тот плыл, казалось, по воздуху, опережая самое шествие, когда оно еще едва виднелось. Серебряный корабль был так велик, что люди могли бы поместиться на нем, — и, правда, чьи-то руки ставят парус, только руки детские. Команда на корабле состоит из мальчиков, они изображают моряков и поют подобающие песни. Звон струн вторит им Бог весть откуда, да, впрочем, неизвестно: чем движется и сам волшебный корабль?

В двадцати шагах от замка корабль остановился, вернее, опустился наземь, и из-под роскошных тканей, свисавших с его носа, выскочили карлики: они-то и несли его. Горбатые карлики, все в красном, и как бросятся врассыпную, точно чертенята, на потеху двору. Между тем приблизились носилки. Как? Да это трон. Только что это сооружение почти везли по земле, а теперь оно поднимается, — лишь совершеннейшие машины могут так бесшумно вознести его на воздух, — и превращается в трон. Воздух отливает голубизной и вольно овеивает белокурую головку женщины на троне. Над белокурой головкой высокий убор из локонов и крупных жемчугов. Трон — чистый пурпур, женщина — великолепное создание в золотых одеждах, как на картинах Паоло Веронезе [3. — Веронезе Паоло (1528–1588) — знаменитый художник венецианской школы.]. Кто это? На глазах у нее черная бархатная маска, — кто это? Двор притих. Король обнажил голову, за ним все остальные.

Подле высокого трона выступали, тяжело шагая, грозные фигуры, — черные латы, мрачная пестрота одеяний, непокрытые головы, рыжеватая или черная дикая поросль

волос. Их узнали по чудовищным челюстям: то склавоны, покоренные
подданные
Венеции. Им на смену явились рыбаки, истые сыны морской столицы, без
прикрас, в
заплатанном платье, со стертыми веслами, – такими их увезли из-под моста
какого-нибудь канала. Эти пели звонкими голосами, бесхитростно и ясно,
хотя
язык не всем был знаком. Получалось торжественно и при этом весело. Двору
представился храм, невидимый, издалека искрящийся храм над морем.

Певцы умолкли, оборвав на прекраснейшей ноте, ибо дама на троне подняла
руку. То была необыкновенная рука, полная, с заостренными и чуть
загнутыми
кверху пальцами, цвета розового лепестка, без всяких украшений. Она
подавала
знак горделиво, но влекуще, точно любовнику, до которого милостиво
снисходит
знатная дама. Посол, понял двор; и король Франции один вышел на площадку
приветствовать его.

Тут рыбаки отодвинулись от трона и преклонили колени. Отодвинулись и
преклонили колени воинственные склавоны. Преклонили колени дети на
серебряном
корабле и красные карлики у отдаленных кустов. Путь перед тронем
расчистился,
на него вступил худошавый человек в черной мантии и берете: ученый, решил
двор.
Почему ученый? Неужто республика посылает в качестве главы посольства
ученого?
Двое других, седобородые военачальники, идут позади него.

Агриппа д'Обинье и дю Барта, два гуманиста, носившие на теле много шрамов
от
старых и новых битв, торопливо переговаривались, меж тем как посол
медленно
приближался к королю. Господин Мочениго, родственник дожа и сам весьма
преклонных лет. Он участвовал в знаменитом сражении при Лепанто[4. – ...Он
участвовал в знаменитом сражении при Лепанто... –
Сражение при Лепанто произошло 7 октября 1571 г. у мыса Скрофа (Греция)
между
турецким и испанско-венечианским флотами во время кипрской войны 1570–
1574 гг.
Разгром турецкого флота в этом сражении подорвал морское могущество
Османской
империи на Средиземном море.], когда была одержана победа на море над
турками. Теперь же
обучает латинскому языку в Падуе, отсюда знает его христианский мир.

– Какая великая честь! – торжествовал поэт Агриппа. – Господин Мочениго
воздаст хвалу нашему королю! А я от радости мог бы в стихах описать битву
при
Лепанто, словно сам был очевидцем!

— Опиши лучше нашу ближайшую битву, — мрачным тоном потребовал долговязый дю Барта. «Я же тогда умолкну навеки», — сказал он про себя своему вещему сердцу.

Король теперь уже вновь надел шляпу с пером и загнутым полем. Не затененные ею глаза его широко раскрыты, чтобы ничего не упустить. Однако он кажется взволнованным, и даже слезы, пожалуй, готовы выступить у него на глазах, возможно, он потому так широко и раскрывает их, веки его неподвижны, и весь он застыл в неподвижности. В знак приветствия посол склонил голову на грудь. Потом поднял, откинул ее, и тут только всем стало видно его лицо. Всем стало видно, что один глаз у него закрыт и пересечен красным шрамом.

Он заговорил, латинская речь его звучала удивительно стройно, плавно, но твердо. Двору представился мрамор. И тут же стало ясно, какое это лицо, — резкие черты, острый нос, опущенные углы рта, все как на бюстах Данте, лицо старого мудреца. Придворным далеко не каждое слово было понятно, на знакомом языке говорили чуждые уста. Но по этому лицу чувствовалось, что королю их оказан великий почет: его сравнивали с римскими полководцами и находили достойным их.

Генрих, единственный из всех, понимает каждое слово, и не только в прямом его смысле: гораздо глубже. «Выносятся приговор твоему делу. Кто ты? Это слышишь ты из речи или, вернее, угадываешь, пока она звучит. Одноглазый мудрец для вида сравнивает тебя с первым покорителем этого королевства, римлянином Цезарем, твоим предшественником. В действительности он предостерегает тебя от того, чтобы ты не остался таким, каков есть, боевым петухом и лихим наездником, великим в малом, неиспытанным на больших делах. Я знаю, кого он мне предпочитает: своего соотечественника, Фарнезе, герцога Пармского, славнейшего стратега современности. Я же не таков, я всего лишь боевой петух без большой сноровки...»

От этого ему стало душно, и глаза он раскрыл еще шире. Гость, неожиданно высказавший ему истину, сам со вниманием, — тут только со вниманием, — взгляделся в его лицо — нашел, что оно худощавее всех остальных, — и как раз эта худоба свидетельствовала о рвении и самоотречении, каких посол не ожидал найти здесь. Он прервал речь, он сложил руки.

Когда он заговорил вновь, голос его звучал глухо, уже не плавно и твердо; сказал он еще немного слов, и главное из них было «любовь».

– И если имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви...[5. – ...если имею всякое познание... и далее. – Цитата из Евангелия.]

Евангелие вместо Цезаря; это не было предусмотрено, это всех поразило, а больше других самого оратора, который на том закончил. Тогда и Генрих поступил непредвиденно. Он не протянул послу руку, как было условлено заранее, чтобы посол с его помощью поднялся на площадку: он сам спрыгнул вниз, обхватил его, обнял и расцеловал в обе щеки. Двор видел это и шумно выразил свое удовольствие. Дети на серебряном корабле видели это, восседающая на троне женщина в золотых одеждах видела это – и так как она была дочерью одного из рыбаков в заплатанном платье, то позабыла всякую величавость и захлопала в ладоши. Захлопали в ладоши воинственные склавоны, и рыбаки, и оба седобородых военачальника.

Генрих огляделся и весело рассмеялся – хотя в тот же миг неведомый трепет пробежал у него по плечам. Не такой, когда за спиной у тебя убийца, нет, на сей раз то было веяние крыл. Тебя касается слава, – впервые, когда тебе уже под сорок. Тебя касается великая всемирная слава. На вид она точно сказка полуденных стран и вот-вот отлетит и заставляет содрогаться от тайного трепета.

– Господин посол, когда церемония окончится, соблаговолите побеседовать со мной наедине.

– Сир! О чем?

– О герцоге Пармском.

Геральдический зверь

«Я должен добиться своего сражения», – подумал Генрих, едва успели уехать послы Венеции; вернее, он впервые сказал это себе при их торжественном прибытии. Именно устрашающая слава открыла ему глаза на его положение. Он все еще король без короны, у которого нет столицы. У такого полководца, как он, всегда нужда в деньгах, и, чтобы войско его не разбежалось, ему необходимо почаще завоевывать города; и те платят за него. Но это города его королевства;

трудное дело оставаться отцом отечества, и притом близким народу, и в то же время рыскать по стране, покоряя своих врагов и взимая поборы. Не прошло и недели после турецкой волшебной сказки, как он снова очутился в самой гуще суровой жизни.

Он очистил от врага Турень и ближайшие провинции и вторгся в Нормандию — но ведь он уже стоял там, когда одержал победу при деревне Арк. Что дала та победа? Завоеванные крепости, которые он оставил позади, отпали тем временем. Враг его не человек, подобно ему, а многоголовая гидра. «Отрубишь семь голов, взамен вырастают восемь. Вот каково мне приходится с Лигой. Целыми улицами покоряются мне мои подданные, когда я хозяйничаю в их логове. Будто никогда и не поднимали против меня оружия, а стоит мне перекопать их сады, и там окажутся мушкеты. Все это, пожалуй, забавно, и я как будто создан для такой жизни. А если в действительности я создан для большего, то умно делаю, умалчивая об этом».

— Никогда я не был так здоров, — твердил он всем в ту зиму, при частом снегопаде и ночевках на мерзлой земле. — И войско мое не знает болезней и растет день ото дня, ведь один такой городишко отсчитывает мне шестьдесят тысяч экю. Держу пари, что ближайший по пути сдастся не позднее четверга!

И в самом деле, он заключил такой договор с городом Онфлером. Если Майенн или его сын Немур не придут до четверга, то ворота должны быть открыты ему. И что же? Так и случилось. Вождь Лиги Майенн махнул рукой на Лигу и отдыхал в Париже, «где и мне когда-нибудь доведется понежиться», — уверенно заявил Генрих. А про себя добавил: «Я должен добиться своего сражения». Он думал об этом то как о веселой проделке, то как о вопросе всей жизни.

Он возил с собой диковинную штуку, будильник, который заботливо заводил. На сон у него уходило меньше времени, чем у толстяка Майенна на еду. Это было ново для его здоровой природы; порой он упускал даже и эти немногие часы. Приподнявшись на локте, он размышлял. «Я должен добиться своего сражения — и не обычного, не такого, которое я мог бы выиграть или проиграть: это сражение я не смею проиграть, его я проиграть не смею, иначе всему конец. Слишком много глаз

смотрит на меня, весь мир следит за мной, — и мои союзники, прежде времени
воздавшие мне почести, и в особенности король Испании, притязавший на это королевство. Он и получил бы его, как только меня не стало бы. Кто помешал бы
ему? В народе идут распри за веру. Когда бы все французы исповедовали истинную,
сам дон Филипп не одолел бы их. Впрочем, что я знаю, у каждого своя вера, вот
я — гугенот и лежу на промерзшей земле. Если придет дон Филипп, если надвинется
с великой силой — тогда все равно, истинна ли моя вера, тут не до исповедания,
на карту поставлено королевство, а оно, во всяком случае, от Бога. Это дело
решается между мной и Богом», — вдруг яснее ясного стало королю среди беспросветно темной ночи, меж тем как в палатке затрещала и погасла масляная
плошка.

Зазвонил будильник, король поднялся и призвал своих офицеров. В этот день предстояло многое сделать и далеко скакать. Так, например, решено было осушить
ров, чтобы осаждающие могли подойти к стенам крепости. Покончив с этим, постреляли немного с обеих сторон, пока не наступил ранний вечер. Сам Генрих
уже пустился в путь на коне, потому что по всей обширной округе было немало
других дел. Сильно проголодавшись, добрался он к ужину до города Алансона и
отправился с небольшой свитой в дом одного преданного ему капитана, но не застал его. Жена капитана не знала короля, сочла его одним из королевских военачальников и приняла как подобает, хоть и с явным смущением.

— Я попал некстати, сударыня? Говорите без стеснения, я не стану обижаться.

— Сударь, скажу вам прямо. Нынче у нас четверг; я посылала слуг по всему городу; нигде ничего не достанешь, я просто в отчаянии. Вот только сосед наш,
честный ремесленник, говорит, будто у него на крюке висит жирная пулярка; но
отдаст он ее не иначе, как если и его позовут отужинать.

— А в компании он человек приятный?

— Да, сударь, у нас в квартале не найдется другого такого шутника. И вообще
он хороший малый, душой и телом предан королю, и работа у него спорится.

— Тогда зовите его, сударыня. У меня аппетит разыгрался; и будь он даже прескучный сотрапезник, я предпочитаю есть с ним, чем не есть вовсе.

После чего ремесленник явился в праздничном кафтане и с пуляркой. Пока птица жарилась, он занимал беседой короля, тоже, по-видимому, не узнавая его; иначе он вряд ли так непринужденно сыпал бы местными сплетнями, выдумками, шутками, да такими хлесткими, что Генрих на время позабыл про голод. Вскоре и он перенял тон собеседника – без умысла, сам того не замечая. Вовсе не трудное дело оставаться отцом отечества и притом близким народу, принуждая подданных к покорности и взимая поборы. Весь секрет в том, что совесть у него чиста, ибо занимается он честным делом. Без подвохов и лукавства вразумить своих соотечественников и спасти королевство – вот о чем он помышляет непрестанно, и во сне, и за веселой беседой. Рачительный ремесленник, напротив него, хоть и разглагольствует, а мастерскую свою тоже не забывает.

Король думает: «Я должен добиться своего сражения. Теперь до него недалеко. Довольно я позанимал крепостей, чтобы нарушить покой толстяка. Кузен мой, маршал Бирон, со своей стороны немало досады причиняет Лиге, и обо всех наших успехах я шлю донесения королеве Английской. Сейчас мы намерены осадить город Дре: этого Майенн не стерпит, он выступит, он примет бой. Испанцы тоже потребуют, чтобы он принял бой. Не зря же у него их вспомогательные войска, первые, которые Филипп предоставил Лиге. Их шлет из Нидерландов королевский наместник Фарнезе. А с ним самим, с великим стратегом и прославленным мастером в искусстве войны, неужели мне не придется встретиться? Хотел бы я знать, что говорит обо мне он, Фарнезе».

При этом имени Генрих невольно вскочил с места. Ремесленник застыл с раскрытым ртом. Но Генрих повторил ему в точности весь его рассказ.

– Когда перчаточник застал у своей жены силача кузнеца, он миролюбиво протянул руку и сказал: «Никогда не поверю, чтобы ты, друг, сделал это». – Генрих засмеялся. – Потешная история, кум!

– Препотешная, кум! – повторил простак, примирившись с бурным поведением собеседника. Тут хозяйка позвала гостей к столу. Втроем уплетали они откормленную птицу; правда, хозяйка и ремесленник ели умеренно, гостю достались самые крупные куски, и чем больше он ел, тем охотнее смеялся рассказам соседа, отчего тот все веселел. Однако после заключительного стакана, когда пора было

вставать из-за стола, его круглая физиономия вдруг вытянулась и глаза смиренно опустились. Король готов был и это принять за шутку, но тут ремесленник бросился ему в ноги, умоляя: — Простите, государь, простите меня! Это был лучший день моей жизни. Я узнал ваше величество, я служил солдатом и сражался у деревни Арк за моего короля; я заработал счастье сидеть с вами за одним столом. Еще раз винюсь перед вами, сир, я валял дурака, чтобы вы хоть немножко посмеялись моим шуткам. Теперь беда уже случилась, я, простой ремесленник, ужинал вместе с вами.

— Как же нам быть? — спросил король.

— Я знаю только одно средство.

— Ну?

— Вам придется пожаловать мне дворянство.

— Тебе?

— А почему бы и нет, сир? Я работаю своими руками, но в голове крепко храню свои убеждения, а в сердце — своего короля.

— Превосходно, любезный друг, а какой же будет у тебя герб?

— Моя пулярка, всей честью я обязан ей.

— Это лучшая твоя шутка. Встань, рыцарь пулярки!

Рыцарский роман

Стараниями нового рыцаря приключение его получило огласку, отчего в народе любовь к королю только возросла. Вот наконец-то простой человек, вроде нас с вами! Не чванлив и стоворчив, хотя ему, как еретика, не избежать вечных мук. Король-еретик, и к этому можно привыкнуть, если Богу так угодно. Только дарует ли Господь ему победу?

О том же спрашивал себя и король. Еще ни одно из своих сражений не подготавливал он так осмотрительно. Он не только снимает осаду Дре, но и стягивает отовсюду свои войска и дает оттеснить себя до границ провинции Нормандии, но отнюдь не в глубь ее. Он останавливается у Иври. Это все еще Иль-де-Франс, сердцеви́на, в которую заключен Париж.

Герцог Майенн из Лотарингского дома решил было, что на сей раз с таким перевесом сил, как у него, можно обойтись без сражения. Испанский генерал Фарнезе, герцог Пармский, по приказу дон Филиппа предоставил ему цвет своего войска, шесть тысяч мушкетеров, тысячу двести валлонских копейщиков [6. – ...тысячу двести валлонских копейщиков... – Валлоны – народ в Бельгии, говорящий на валлонском диалекте французского языка.]; всего под началом Майенна оказалось двадцать пять тысяч человек. Что перед этим какой-то король без страны, у которого нет и десяти тысяч солдат? А выставлены против него испанские полки! Ни разу не терпевшие поражения силы всемирной державы. Но король останавливается у Иври.

Это было двенадцатого марта 1590 года. Тот день и ту ночь Генрих провел совсем не так, как обычно проводил часы перед битвой. Он не объезжал войска, дабы вселить мужество, не трудился собственными руками над укреплениями. Да их и не было, и рыть их не стали. Обширная равнина, какая-то речонка, по ту сторону – превосходящие силы противника, по эту – один человек, размышляющий, как их осилить.

Он лежал на земле и чертил. Маршалы Бирон и Омон [7. – Омон Жан де, граф де Шатору (1522–1595), – сын придворного Генриха II, с 1579 г. маршал Франции. Один из первых признал королем Генриха IV и сражался на его стороне при Арке и Иври.] не узнавали его, он же был одержим мыслью о Парме. Прославленный полководец не явился сам, недостаточно серьезным казалось ему дело – до поры до времени; впоследствии дон Филипп пошлет его спасать что можно. «Дай-то Бог. Господи! К тебе взываем».

Генрих не только чертил, но и молился. Отрываясь от своих планов, он сменял честолюбивое стремление быть стратегом на покорность перед высшим промыслом. Он молился вместе с войском – правда, тем, что принадлежали к другой религии, он разрешил принять причастие в их церквах, и многие пошли туда, церкви всей округи были полны. Но большинство солдат, невзирая на вероисповедание, хотели слышать, как молится король, – и он сотворил молитву посреди обширного круга войск, обводя их взглядом, а потом поднимая глаза к проносящимся облакам, словно вручал тому, кто восседает на небесном престоле, все, что здесь волнует человеческое сердце. И это человеческое сердце было его собственное и рвалось у него из груди. Оттого голос его звучал громче, чем когда-либо. А затем вдруг срывался от волнения или уносился ветром. Гугеноты его в передних рядах стояли

коленопреклоненные, опустив обветренные лица, и если набегала слеза, они не смахивали ее.

После такого собеседования с Богом Генрих еще больше повеселел и всем внушил свою уверенность. И высокий собеседник над облаками подтверждал ее: то и дело издали прибывали гугеноты помочь ему выиграть битву. К ночи пошел дождь, который мог нанести ущерб лишь врагу: королевские солдаты были расквартированы по деревням. Утром король расставил их согласно своему плану: Майенн, наблюдавший с другой стороны, дивился, как складно все делается. Всего лишь тринадцатое число, Майенн не торопится давать бой. Надо донять ожиданием боевого петуха по ту сторону реки; гусарские проказы – вот на что он тратит драгоценное время; вытаскивает швейцарского полковника из-под яблони, ловит нескольких ландскнехтов. А к вечеру боевому петуху приходится расстроить искусный порядок своего войска, старания его пропали даром.

Четырнадцатое число. Терпеливо выстраивает Генрих все наново: конницу маршала д'Омона, затем конницу герцога Монпансье, посредине свою собственную; рядом конница барона Бирона [8. – ..Барон Бирон Шарль де Гонто (1562–1602) – сын маршала Бирона. Сражался на стороне Генриха IV в битвах при Арке и Иври, участвовал в осаде Парижа и Руана. С 1594 г. – маршал Франции. За участие в заговоре против Генриха IV был казнен.], сына старого маршала, – каждому конному отряду придана пехота – французские полки, швейцарские полки, даже ландскнехты с правого берега Рейна. Но в целом они составляют всего лишь шесть или семь тысяч пехотинцев, две тысячи пятьсот конников. Оттого что они стоят сомкнутым строем, врагу издали кажется, будто их еще меньше. Враг, наоборот, растягивает фронт в длину, чтобы наглядно показать свое превосходство... Такое значительное вначале, постепенно оно сходит на нет. Во-первых, потому, что король непрерывно получает подкрепления, в лице нового рыцаря пулярки и тысячи ему подобных, которые являются, уповая на него, влекомые собственной совестью. С другой стороны, у Лиги за последнее время разбежалось много солдат – не только по причине дождя и прочих неудобств, но также из чистого страха. Они узнали, неведомо откуда, что победит король. Он, же сам полностью владел своим разумом и лишь надеялся, что с разумом

будет и Бог. К десяти часам войска его были расставлены по-вчерашнему, только с некоторым изменением, во внимание к ветру и солнцу и дыму от аркебуз. Генрих был преисполнен неземной радости, как всегда перед сражением, когда молитва сотворена и остается только начать бой. И по этому признаку каждый предвидел победу. В числе его офицеров был поэт дю Барта, на восемь лет старше Генриха Наваррского, его спутник с юных лет, неизменно, через все взлеты и падения, и Варфоломеевскую ночь, и долгое пленение в Лувре, битвы, победы, путь к трону, переменчивость военной удачи, — дю Барта, долговязый человек с сумрачным лицом, более приверженный к смерти, чем к жизни, и чем дальше, тем меньше приверженный к жизни и больше к смерти. Тут он увидел Генриха. Поглядел на него еще раз со всей силой любви и той же крепкой уверенностью, что и во времена их юности, когда они сплоченным отрядом бок о бок скакали по стране. Гугеноты, чей дух был окрылен, почитали эту страну священной и ждали, что вот-вот на повороте дороги им повстречается сам господь Иисус Христос во плоти, и они бы тогда окликнули его: сир! И последовали бы за ним и побеждали бы во имя его. Такое чувство напоследок вновь овладело дю Барта, когда он глядел на короля при Иври.

Генрих остановился, потому что этот взгляд удержал его.

— Итак, нам вновь придется сразиться за веру, — сказал он. — Ты всегда скорбел. Ты скорбел, дю Барта, об ослеплении и злобе людей. Может быть, когда мы одержим победу и вернем себе королевство, они образумятся?

— Может быть, — вырвалось из груди, полной предчувствий. — Я уповаю на то, что образумятся. Те, по крайней мере, кому суждено увидеть победу в очах Божьих. Сир! Отпустите меня.

— Нет, — решил Генрих и понизил голос: — Ведь это целый кусок жизни, старые друзья, времена счастливой безвестности. Я не хочу лишиться их, утратить их. Будьте при мне, иначе что же со мною станется? Дю Барта, бывало, я посылал тебя с секретными поручениями к иностранным дворам. Как я заплатил тебе за эти поездки?

— Раз — сто двадцать эку, другой — восемьдесят пять.

— В следующий раз ты будешь назначен губернатором большого города.

— Все это в прошлом, — сказал дю Барта. — Государь! Ныне еще я служу вам, завтра буду служить высшему Владыке. Я уж и гимн сочинил, который вы споете в благодарности за победу. — Он протянул листок. — И это не мой гимн, а ваш, задуман вами, зародился у вас. Вы должны вслух прочитать его, дабы в вашей славе осталась жить на земле частица меня.

Тут их прервали, к большому облегчению Генриха. Правда, это был швейцарский полковник Тиш, и пришел он по поводу жалованья своим солдатам. Лучше минуты не найдешь, как перед самым сражением. Король тотчас же угадал хитрость и распалился гневом — притворился даже более разгневанным, чем был на самом деле, чтобы Тиш из-за столь великого гнева позабыл о деньгах. Швейцарец тоже побагровел и плотно сжал губы, иначе он не удержался бы и ответил на ругань короля. В конце концов, глядя вслед полковнику, шагавшему в больших своих сапогах, Генрих подумал, что швейцарцам уже поздно его покидать. Им придется сражаться, и тем более храбро, что добыча — единственная их надежда получить свои денежки.

Но самое решение сражаться, по крайней мере, непреложно. Другие швейцарцы, на вражеской стороне, которые тоже не получили платы, были вдобавок осведомлены, что король Французский в союзе с их федерацией, и решили пальцем не пошевеливать в предстоящей битве. Таково было данное ими слово, и оба — Генрих не хуже, чем полковник Тиш, — знали об этом, и потому ни один всерьез не беспокоился насчет другого. Они победят во что бы то ни стало. Генрих нацепил на шляпу огромный белый султан, такой же точно развевался на голове его коня. Он проехал перед фронтом своего войска и держал такую речь:

— Товарищи! Бог за нас, там наш враг, здесь ваш король. Вперед! И если знамя перестанет указывать вам путь, ищите мой белый султан, его вы всегда найдете там, где дело идет к победе и славе!

Он выпрямляется. На худощавом лице широко раскрыты глаза, в голове мелькают

мысли: «Надо ж вам на что-нибудь дивиться. Вот вам моя шляпа! Мне она с белым аметистом и жемчугами обошлась в сто экю. Не считая султана. А швейцарцы будут сражаться!» — мелькает у него последняя мысль, но тут он видит, что вражеское войско пришло в движение, а впереди поспешает монах: он уверял, что перед его большим крестом еретики пустятся наутек. Генрих, готовясь скомандовать в бой, в этот последний миг мчится вдоль фронта, останавливается перед своими швейцарцами.

— Полковник Тиш! — Он обнимает всадника, не сходя с коня. — Я был неправ перед вами, я все заглажу.

— О сир, ваша доброта будет стоить мне жизни, — отвечал старый полковник.

Тут они расстались, и каждый помчался впереди своего отряда навстречу врагу. Первым налетел на врага маршал д'Омон, он оттеснил его легкую кавалерию. Вслед за тем немецкие рейтары опрокинули эскадроны короля на его же пехоту, что вызвало большое замешательство в королевском войске. В довершение всех бед граф Эгмонт[9. — Эгмонт Филипп, граф (1558–1590), — нидерландский генерал, сын знаменитого деятеля Нидерландской революции графа Эгмонта. Боролся во Фландрии на стороне Испании и погиб в битве при Иври.] со своими валлонами тут же бросается на королевских солдат, и тем приходится сразу столкнуться с Испанией и Габсбургским домом, а ведь они еще ни разу не встречались лицом к лицу с непобедимой всемирной державой. Это очень страшно, ведь тут первая же несчастливая стычка может привести к бегству и к гибели. В свалке один королевский солдат, прежде чем его успевают оттеснить, торопливо шепчет другому:

— Ну, старый еретик, кто выиграет битву?

— Для короля все погибло. Лишь бы он остался жив!

Рони, всегда такой стойкий рыцарь, смотрит не менее безнадежно, — у него уже пять ранений от пуль, от клинков и копий; он считает, что с него довольно, и, выбравшись из свалки, укрывается под грушевым деревом. Тут хоть ветви оберегают его. Когда на теле столько ран, никому нет охоты слушать шум битвы, и Рони, позднее именуемый Сялли, сразу же впадает в беспамятство. Никакая канонада не разбудит его.

Как и во время прежних битв, у короля был перевес в пушках, и он умел

правильно пользоваться ими. Вражеские стреляли мимо, его попадали в цель. Первым улепетнул монах, пообещавший слишком много. А полчища Лиги были полчищами суеверия и непомерной гордыни: они держались на лжи; теперь же вместе с ложью рушилось и раздутое ею могущество. И причиной тому были пушки короля. Из чистой злобы бросился граф Эгмонт с испанцами и ландскнехтами в бешеную атаку на пушки. В знак презрения ткнулся задом своего коня в одно из огнедышащих жерл, ибо, на его взгляд, то было орудие трусов и еретиков. Но оно как раз молчало. Зато конница короля напала на опрометчивого врага и изрубила его в куски вместе с самим Эгмонтом. Герцог Брауншвейгский [10. – Герцог Брауншвейгский Юлий – протестант, упрочивший в своих землях реформированную религию. Погиб в битве при Иври.] пал при атаке своих немецких рейтаров, которые не замедлили обратиться в бегство. Генрих! Не прогляди в пылу событий, что бегущие немцы наваливаются на собственный фронт: под их напором правый флаг поддается.

Стоит упустить один миг, неизмеримый, невесомый, – и конец всему. Король останавливает коня, поднимается в стременах. Как будто миг все же должен быть измерен, он хватается за часы, но их нет, пропало восемьдесят экю, и миг остается неизмеренным. Его план был иным; на самом деле, честолюбивый стратег отнюдь не намечал и не предвидел того, что предпримет сейчас.

Он бросил взгляд назад, где все смолкает, разом полностью смолкает:

– Обернитесь! И если не хотите сражаться, смотрите, как я буду умирать.

И он уже впереди на два корпуса, бешено врывается в лес вражеских копий, хватая их руками, задерживает врагов, пока не подлетают его всадники. Не только руками задерживает врагов, но и показывает им свое лицо, на котором написаны мощь и величие; обычно может быть что-нибудь иное, но сейчас – мощь и величие. Сперва конфуз с монахом, затем испуг перед пушками, теперь лицо короля. Миг упустили они, испанцы, французы, немецкие рейтары! Королевские воины тут как тут, рубят их, рассеивают их, прорывают поредевший фронт недавно еще грозного врага. Один из всадников приносит королю его часы, что особенно удивительно, и добавляет при этом:

– Сир! Меньше чем четверть часа тому назад мы были разбиты.

– Щадите французов! – крикнул король преследователям.

Швейцарцы на службе Лиги сдались, они пальцем не шевельнули за всю битву.

Сам король во главе всего лишь пятнадцати или двадцати всадников преследовал толпу беглецов человек в восемьдесят. Когда он остановился, им собственноручно было убито семеро и захвачено знамя. На том месте, где он остановился, завершилась битва и победа при Иври. Король сошел с коня и опустился на колени. Шляпу свою он бросил наземь: солдатам незачем больше следовать за его большим белым султаном, он рад бы остаться один от всех вдаль; но отовсюду по долине несся рассеянный шум боя. Король, стоя на коленях, достал спрятанный на груди листок бумаги, благодарственный гимн, сочиненный старым его товарищем дю Барта.

Совсем вдалеке метался Майенн; глава Лотарингского дома, вождь могущественной Лиги метался, хоть и был грузен, силясь с двумя своими приверженцами собрать остатки войска. Совсем вдалеке, в другой стороне, под грушевым деревом очнулся от беспамьятства изувеченный рыцарь — а суждено ему было стать со временем знаменитым герцогом Скулли.

Рони ощупал себя, на теле у него живого места не было: мечи, пистолеты, копыя порядком покалечили его, а вдобавок он свалился вместе с конем — с первым своим конем, которому вспороли живот. Куда девался второй — он не мог припомнить. Повсюду запеклась кровь. «Надо полагать, у меня прежалкий вид», — думал барон, весьма гордившийся своей приятной наружностью. Наступил вечер. «Меч мой сломан, шлем продавлен, надо бы скинуть панцирь. Погнутая медь мучительно давит мне израненное тело».

— Эй! Аркебузир, куда спешишь? Подойди сюда, пятьдесят экю за коня, которого ты ведешь на поводу! Только помоги мне взобраться на него.

Едва получив деньги, аркебузир пускается наутек. Рыцарь, качаясь в седле от потери крови, голода, жажды и слабости, не находит верного направления, блуждает по полю битвы; и вдруг наталкивается на врага — на других рыцарей, чьи знамена усеяны черными лотарингскими крестами. Наверно, возьмут меня в плен, ведь битву-то мы проиграли.

— Кто идет? — крикнул один из дворян Лиги.

— Господин де Рони, на службе короля.

— Как так? Мы ведь вас знаем. Дозвольте и нам представиться, господин де Рони. Будьте столь любезны, возьмите нас в плен за выкуп.

— Как так? — начал было и он. Но слово «выкуп» сразу вразумило его. Пятеро состоятельных дворян, и каждый готов дать соответственную цену. Тут Рони понял, как обстоит дело. Лежа под грушей, он невзначай оказался победителем.

Благодарственный гимн

Между тем его король стоял коленапреклоненный на поле битвы, кругом лежали мертвецы, грудями или в одиночку, и тьма спускалась над ним. Те всадники, которые были с ним в последней стычке, покинули его, увидев, как он, шевеля губами, читает что-то по листку бумаги. Стало совсем темно, он спрятал листок, на котором в самом деле был запечатлен благодарственный гимн — ему он показался слишком торжественным, но также и слишком печальным. Сам он выразил благодарность Господу Богу тем, что назвал его разумным. «Бог всегда на стороне разума», — сказал Генрих, преклонив колени на поле битвы; но позднее, стоя во весь рост на престоле, он повторил то же.

У врагов моих убогие, чванные мозги, забитые дурманом и обманом, и потому — поражение. Они исполнены тщеславия и властолюбия, неподобающего им, и потому — гнев Божий. Вера их, без сомнения, ложная, хотя бы оттого, что это их вера и разум Божий против них. Ибо он за королевство.

Так гласил его символ веры, яснее, чем всегда, звучавший для него в мертвой тишине покинутого поля сражения. И впервые не коснулась его жалость к сраженным. Не меньше тысячи из них, должно быть, убито, пятьсот, наверно, взято в плен, и Бог весть сколько утонуло в реке. «Все же долготерпению Господню есть предел. И если они весь свой обоз оставят нам, мы бросимся им вслед, и пусть даже они бегут налегке, на этот раз мы должны раньше их очутиться в Париже. Даруй нам это, Господи, ибо долготерпению твоему есть предел».

Такова была его молитва после победы, между тем как прежде он проливал слезы о каждом из своих павших соотечественников. Но под конец зло становится непростительным, это ясно понимал сейчас Генрих и готов был повесить толстяка Майенна.

Вот позади задвигались огни. Король пошел к своим дворянам, которые искали друзей среди мертвецов.

— Это господин де Фукьер, — опознал он убитого. — Ему не следовало умирать, он был мне еще нужен.

Королю сказали, что погибший оставил жену, которая ждет ребенка.

Он решил:

— Пенсия его пойдет на чрево.

Они продолжали переходить с факелами от трупа к трупу, пока не дошли до полковника Тиша. Король отпрянул, прикрыл глаза рукой. «Зачем я обнял его!

После этого мы сейчас же поскакали в атаку, тогда оно, должно быть, и случилось. Слишком честно заплатил он мне».

— Отважному моему швейцарцу — мой орденский крест Святого Духа, — сказал король и хотел снять его с груди. Но никакого креста не оказалось, он был утерян в битве, и никакой всадник не принес его обратно. Король поник головой,

чувствуя свое бессилие. Так уходят они, и мне нечего послать им вслед. Что им

теперь до моей преходящей победы, когда сами они у престола вечной победы. И

вдруг в памяти его возник весь благодарственный гимн, от слова до слова, который он прочитал при стгущающейся тьме и нашел слишком торжественным и слишком печальным. Но сейчас грудь его сдавил страх.

Торопливо вырвал он у кого-то из рук факел и поспешил к ближайшим мертвецам,

пока не нашел того, о ком ему говорило предчувствие. Зарыдать он не мог, слишком больно сдавило ему грудь. Только водил факелом над старым своим товарищем, разглядывая, как он лежит, как сложены руки и не запечатлелась ли в

потухших глазах последняя воля. «Ничего. Конечно, ничего. Ведь он один из многих, из всадников конного отряда былых времен. И без него остается достаточно гугенотов. Но этот хотел уйти — почему? Твой срок истек, друг дю

Барта? А мой когда придет?»

Вместо ответа на вопросы, которые рвались из сдавленной груди, он сказал дворянам, что они сейчас споют благодарственный гимн Господу, он будет петь, а

они вторить ему. И он принялся читать нараспев, как псалом, просто и негромко.

Остальные знали напев и дружно подтягивали вполголоса.

Господь мой, созданного из земли,
Днесь Сына Твоего нам ниспошли,

Да снизойдет в небесной колеснице
В блистанье звезд и солнц Он с облаков,
В предшествеии всех ангельских чинов,
Чтоб поразить Твоих, Господь, врагов
Мечом, что молнией горит в деснице!
Вот лучшая из битв! Сам Божий Сын —
Водитель наших доблестных дружин!
В очах твоих победу мы узрели,
Настало ныне царствие Христа!
Да будет жертва наших душ чиста,
Дай мне уйти под сению креста
К престолу вечности — последней цели!

Когда король кончил, он долго плакал, и никто не понимал о чем. Последние строки он произнес уже совсем невнятно. Благочестивое пение дворян заглушило его.

В сельском трактире стояло громкое ликование, но несколько человек, выйдя из праздничной залы, поджидали короля, который возвращался с поля битвы.

— Сир! Ждем приказаний!

— Сняться до рассвета и спешить в мою столицу!

— Сир, того требует от вас ваша слава... На сей раз ничто и никто не сможет противиться вам. Ворота распахнутся перед вашей славой. — Одну и ту же мысль

подхватывали разные уста, словно по уговору. Таково было впечатление короля, в особенности когда прозвучали последние слова: — Великий и победоносный король никогда не отречется от своей веры.

Генрих переводил взгляд с одного на другого. Вот каковы те, кто сомневается в нем и его стойкости. Он знал это давно, он понимал, что кое-кто из них втайне сам начинал колебаться, подозревая в том же и его. Легче всего было ему судить об этом по собственным своим тревогам и сомнениям. Снова сдавило ему грудь, как у тела его старого товарища.

— Бог дарует победу гугеноту, господа, — произнес он гордо и внушительно. —

Господь Бог мой учит меня чтить оба исповедания и не изменять моим единоверцам. — Однако в последнем он уже и сам сомневался и взглядом разгадал, что многие из протестантов, слушающих его, не дают веры его словам. Исключение составляет Морней. Его добродетельный Морней, его дипломат, исполнен

практической мудрости, дипломатическими нотами он наносил ущерб его врагам, все равно как гаубицами. И он-то именно уповает на стойкость его веры. Но откуда у него эта уверенность, когда у меня самого ее нет? Странно, но уверенность добродетельного Морнея неприятна Генриху, он отводит взгляд. В этот миг кто-то произносит:

— Сир! Париж стоит мессы.

Король круто повернулся, говоривший был человек по имени д'О, всего лишь О, и вид имел соответственный, — пузатый малый, которого милости покойного короля обратили в лодыря и вора: один из тех проходимцев, что поделили между собой страну и ее доходы. Именно потому Генрих оставил его тем, чем он был, — государственным казначеем. Государство лучше всего преуспеет, если будет пользоваться услугами тех, кто хочет на нем нажиться. Добродетельные и так служат ему. Когда вопросительный взгляд короля упал на Морнея, тот сказал:

— Все честные католики служат вашему величеству.

Точно так же ответил Генрих этому самому д'О и его братии, когда они в первый раз настаивали, чтобы он отрекся от своей веры. Произошло это некогда у тела убитого короля и прозвучало как грозное предостережение. Однако же тогда эти слова произнес сам Генрих, а сегодня их произнес всего лишь его Морней. Но король взял руку своего Морнея, сжал ее и спросил шепотом.

— Ведь мы сражались за веру? И это была лучшая из наших битв?

— Могла быть лучшей, — сказал Морней. — Сир! Вы уже не имеете права подвергать свою жизнь опасности, как нынче, когда вы ворвались в чашу вражеских копий. Это было отважнейшее сумасбродство за всю вашу жизнь.

— Значит, теперь все переменялось? Что за речи, Морней!

Когда король вступил в пиршественную залу, гомон и гогот прекратились. Все поднялись, оставили столы и кубки и, увидев короля, запели благодарственный гимн. Это был тот же благодарственный гимн, который раньше на темном поле битвы пел Генрих и с ним всего несколько человек. Они хорошо запомнили его; и лучше всех Агриппа д'Обинье, старый друг. Будучи мал ростом, он вытягивался, как мог,

и пел очень прочувствованно. Особенно четко прозвучали у него последние строки, которые Генрих, собственно, лишь пробормотал или вовсе проглотил.

Дай мне уйти под сению креста
К престолу вечности – последней цели!

От природы дерзкое и саркастическое лицо Агриппы тут приняло столь красноречивое выражение, что королю стало ясно: их старый друг дю Барта, прежде чем пасть, показал свой благодарственный гимн им обоим. Кто-то сказал:

– Этот благодарственный гимн сочинил наш король.

– Да, – громко подтвердил Генрих, как потребовал от него тот, что уходил в иной мир. Он произнес это, выдержав дерзкий и саркастический взгляд Агриппы, который утвердительно кивнул. Генрих подумал: «А ведь это неправда – и все остальное, что здесь происходит, тоже неправда. Только по виду это еще похоже на наши прежние гугенотские победы».

Стол без гостей

Так быстро, как было приказано, идти на королевскую столицу не удалось. Победившее войско тоже приходит в некоторое расстройство, тем более если нужно подбирать много добычи и во всех направлениях преследовать бегущего врага. Королю оставалось только ждать, пока военачальники его вновь построят свои полки. Сам он тем временем отдыхал от трудной битвы, занимаясь охотой и любовью. Последней ему давно уже недоставало. А между тем она – подлинная его сила, как сразу же определил посол Венеции. Исконным побудителем всего, что он творит, является пол и подъем сил, который вызывается экстазом пола. После того как сразился в сражении, экстаз остается, и Генрих вспоминает своих женщин: некогда любимых и утраченных, а также тех, которых, увидев, он пожелал.

Он писал Коризанде – своей музе тех времен, когда он был на пути к трону. Теперь у нее лицо было в красных пятнах, он стыдился ее и радовался, что она на юге, за сто миль от него. И все же она еще говорила его чувствам как счастье, которым он обладал, и он по-прежнему писал уже нелюбимой графине де Грамон письма, в которых достиг мастерства, когда романтически поклонялся ей.

Мастером писать сделал его подъем сил, вызванный экстазом пола.

Коризанде былых времен ясно, что он лишь обманывает себя. Ее он обманывает уже давно. Горькими замечаниями исписывает она поля его насыщенных жизнью писем, которые за то и ненавистны ей: о ее жизни в них не упоминается, они говорят лишь о его битвах, его убийцах, врагах, победах, его великом уповании, его королевстве. Когда-то между ними было уговорено, — помнит ли он об этом? — что при въезде его в свою столицу она займет самое почетное место на одном из балконов. Вероломный друг, ты забыл уговор. Она берет ножницы и протыкает письмо там, где стоит его имя.

Он не чувствовал этого. Даже королева Наваррская была ему желанна в те дни, а довольствоваться ему приходилось мимолетными ласками какой-нибудь проезжей искательницы приключений. Но ведь чаще других обнимал он в юности свою королеву, и что еще важнее: в беде, в смертельной опасности. Тогда она была с ним заодно, хотя попутно находила многих мужчин красивее его — была с ним заодно, спасла его, последовала за беглецом на его родину в Наварру. «Все кончено, Марго? Когда дело пошло в гору, ты стала мне завистливой противницей, снаряжала против меня войска, не утомилась бы и теперь, будь у тебя деньги. А так ты сидишь в пустынном замке и ненавидишь меня. Тебя я полюбил бы вновь, любил бы всегда, Марго Варфоломеевской ночи!» Так размышлял он после Иври, меж тем как Маргарита Валуа в своем пустынном замке разбила несколько ценнейших итальянских майолик, услышав о его победе.

Замок вдовствующей графини де ла Рош-Гюйон[11. — Де ла Рош-Гюйон Антуанетта де Понс — графиня, позднее фрейлина Марии Медичи.] находился в Нормандии. Генриху недалеко было ездить туда верхом, что он и проделывал частенько, с тех пор как познакомился с графиней. До битвы при Иври он совершал этот путь обычно ночью, днем труды и воинские тревоги задерживали его. На заре он подъезжал к ее окнам, молодая графиня выходила на балкон; и так они беседовали некоторое время — он в седле, она с безопасной высоты. Он говорил ей, что она прекрасна, как сама фея Моргана, если та существует не только в грезах. Но здесь над его головой ему является воплощенная греза, белокурая женщина, стройная, гибкая, и тело ее, когда б дозволено было его коснуться, наверно, не растает, как тело фей.

На что Антуанетта отвечала галантными шутками в том же вкусе. Она то распахивала развевающееся покрывало, то закутывалась вновь, а синий взор ее становился то суров, то задорно насмешлив, то настороженно замкнут. Всякий раз эта умная и весьма добродетельная дама давала пылкому любовнику повод разгораться надеждой. Но когда истекал срок его короткого отдыха, ему приходилось поворачивать назад, не добившись разрешения войти к ней. Она отговаривалась тем, что время позднее, ночное. Теперь же, когда он покончил с делом, этого повода у нее не будет. Вскоре после Иври он уведомил ее, что намерен явиться среди белого дня. «Как бы долго мы ни ходили вокруг да около, кончится тем, что Антуанетта признается в любви к Генриху. Госпожа моя! Телом я уже отдыхаю, но душа моя не избавится от печали, пока вы не решитесь перепрыгнуть через препятствие. Постоянство мое заслуживает этого. Решайтесь же, душа моя. Божество мое, любите во мне того, кто будет боготворить вас до гроба. В доказательство непреложности сего я осыпаю бессчетными поцелуями ваши белые руки».

Так писал он; но позднее, когда все было в далеком прошлом и Антуанетта так никогда и не принадлежала ему, он не жалел ни о ее сопротивлении, ни о своем чувстве. Наоборот, из уважения к ее добродетели, он пожаловал ее в статс-дамы королевы.

В то посещение, о котором он уведомлял ее, он прибыл, как и прежде, один, без провожатых. Она сделала вид, будто удивлена, встретила его на середине парадной лестницы и повела к столу, уставленному стаканами и тарелками по меньшей мере на двадцать персон. Сперва он поддался обману и оглянулся, ища гостей. Она рассмеялась, и он понял, что она задумала. Тогда и он подхватил ее шутку, потребовал, чтобы слуги, стоявшие у стен, обносили невидимых гостей. Она отослала лакеев, и он поспешил повторить все, что уже писал о хождении вокруг да около, только много галантней и выразительней, чем возможно в самом искусном письме. Право же, ей нечего опасаться неверности, ведь он дал ей слово, в которое верит и сам. Она в ответ:

— Сир! Любовь до гроба? Я слишком молода и не желаю смотреть, как вы умираете оттого, что перестали любить меня.

Они сидели вдвоем за длинным столом, накрытым на двадцать приборов.

Миловидное, изящное лицо графини вновь стало настороженным, замкнутым.

— Я шучу, сир, потому что мне страшно, — промолвила она. — Так, наверное, поют в темноте. Вы победили при Иври. Это много труднее, чем одержать победу над одной бедной женщиной.

Тогда он упал к ее ногам, целовал ее колени и молил смиренно. Она выказала строгость.

— Я слишком низкого рождения, чтобы быть супругой короля, и слишком высокого — для его любовницы. — Но так как он продолжал упорствовать, она, будто бы уступая, удалилась к себе в спальню, на самом же деле покинула дом через заднюю дверь и села в стоявший наготове экипаж. Прежде чем Генрих заметил ее отсутствие, она была в безопасности.

В поисках ее он прошел ряд покоев. В последнем растворилась дверь напротив, кто-то шел ему навстречу. Только очутившись носом к носу с идущим, он узнал собственное отражение. Он скорее понял бы свою ошибку, если бы его не сбило с толку поведение молодой женщины.

— Здравствуй, старина, — кивнул он в зеркало; то, что он увидел там, возбудило в нем подозрение; не оттого ли убежала от него молодая женщина, что он недостаточно молод для нее? Впервые у него зародилось подозрение такого рода. Сперва испугаешься, призадуматься, а под конец посмеешься — лучшим опровержением служит собственное сердце и экстаз пола, который по-прежнему удваивает силы. Что перед этим впалые щеки, седеющая борода, глубокая складка от переносицы до середины нахмуренного лба? Однако он оборвал смех, чтобы яснее разглядеть напряжение в поднятых бровях, а в широко раскрытых глазах — печаль.

«Откуда столько печали? — серьезно задумался он. — Душой я весел и всегда в экстазе от них. — Он подразумевал женщин, весь их пол. — Она нашла, что нос велик, — решил он. — Слишком вытянут и загнут книзу. На таком худом лице такой нос!» В конце концов он сделал вывод, что придется больше прежнего усердствовать «перед ними». Легкие успехи молодых лет миновали. От сознания его ускользало, что еще изменилось с тех пор.

– Генрих! – произносила в этот миг графиня Антуанетта, и скрип кареты, трясущейся по ухабистой дороге, покрыл все – ее возглас и ее страдания.

«Генрих! Если бы не был ты великим победителем при Иври. Сир! Если бы довелось мне попасться вам на глаза, когда вы были безвестным принцем и на охоте повстречали в лесу жену угольщика и осчастливили ее. А в другой раз на балу вы велели погасить все свечи и в темноте завладели той, которую хотели. Хотела бы я быть ею. Это было бы уже испытано и пережито, и вы бы давно умчались дальше. А сейчас вы намерены сделаться постоянным: верный любовник, вот что было написано у тебя на челе, мой Генрих, вот что прочла я у тебя в глазах. Я хотела бы повсюду быть с тобой, только не в твоём величии и славе. Прости! Слишком яркое твое сияние бросало бы ответ на меня. Сир! Вы бы десять лет обещали жениться на мне, но никогда не сдержали бы слова».

– Шагом, кучер! Шагом домой! – «Теперь он уже, наверно, ушел». Она плачет.

Затаенный вопрос

Охотой Генрих отвлекался от любовных неудач; однажды он с охотниками и сворой собак скакал по равнине, на краю которой поднимался холм с замком – и что же он увидел? Какая-то странная процессия взбиралась на холм, взбиралась очень медленно, охотники без труда нагнали ее.

– Эй, люди, что это такое? – Впереди рослые кони, шерсть на них в клочьях.

– Сир! Это верховые лошади господина де Рони. Та, что повыше, первой служила ему при Иври. Она упала под ним, а потом мы подобрали ее.

– Почему же паж везет доспехи и белое знамя?

– Это паж господина де Рони, он несет стяг, отбитый у католического войска. У другого пажа на сломанном копье продавленный шлем господина де Рони.

– А кто же позади них?

– Тот, что с обвязанной головой, – шталмейстер господина де Рони, другой, на английском иноходце, – его камердинер, на нем оранжевый с серебром плащ самого

господина, в руках доказательства его победы — мечи и пистолеты, которые господин де Рони сломал о врага.

— Но посередине, на носилках?

— Сир! То господин де Рони.

— Надеюсь, он в добром здравии, иначе он не мог бы устроить себе такой пышный кортеж, — сказал Генрих, повернувшись к своим спутникам. Затем снова обратился к участнику процессии: — А кто же это едет на ослах позади носилок?

— Сир! То дворяне, которых господин де Рони взял в плен.

— Должно быть, они беседуют о превратностях военной удачи. А что делаете вы сами в хвосте процессии?

— Мы слуги господина де Рони, он едет к себе в родовое поместье, а мы сопровождаем его. Вот скачет его знаменосец с ротой копейщиков и двумя ротами конных аркебузирова. Более пятидесяти выбыло из строя, а у тех, что остались, перевязаны головы и руки.

Генриха рассмешило такое суетное бахвальство; но разве можно потешаться над славолубием, когда оно лежит на носилках? Он приблизился к ним: они были сделаны из зеленых веток и обручей от бочек, покрыты холстом, поверх которого лежали черные бархатные плащи пленных с бесчисленными лотарингскими крестами, вытканными серебром, а также их исковерканные шлемы с черно-белыми султанами. Посреди всего этого покоился сам рыцарь, торжествующий, но порядком покалеченный. Генрих сказал задумчиво:

— Могу только поздравить вас, дорогой друг. На вид вы гораздо здоровее, чем можно было ожидать. Ничего у вас не сломано? Только бы не остаться калекой, это нам не годится. А слухи о ваших приключениях ходят прямо невероятные.

От этих простых слов у славного Рони исчезло всякое самолюбование. Он приподнялся на носилках и собрался было совсем встать с них, но король не допустил этого. Тогда барон заговорил весьма рассудительно.

— Сир! — сказал он, даже не пытаясь придать голосу страдальческий оттенок. — Ваше величество, вы даруете мне утешение и незаслуженную честь вашей заботой обо мне. Чувства свои я выразить не в силах, скажу лишь, что Господь Бог не

покинул меня. Милостью господней раны мои заживают, даже самая большая, та, что на бедре, и я питаю надежду, что не позднее как через два месяца буду в силах пойти добывать себе новые, служа вам за ту же плату, сиречь из чистой преданности.

После этих слов Генриху впору было скорее заплакать, чем засмеяться, так сильно они тронули его. Он обнял господина де Рони, речь которого была скромна и разумна, а отнюдь не кичлива.

— Смотрите, господа! — крикнул он. — Вот кого я почитаю истинно верным рыцарем.

Он поехал рядом с носилками и, склонившись над ними, сказал вполголоса:

— Живее поправляйтесь, Рони, старый закоренелый еретик, нам нужно взять Париж.

Барон отвечал тоже шепотом:

— Ваше величество, так может говорить лишь человек, готовый отринуть свою веру.

Генрих, еще тише:

— А вас бы это очень задело?

Рони на ухо королю:

— Сир! Мне ли, закоренелому гугеноту, советовать вам пойти к мессе? Одно лишь могу сказать: это самый скорый и легкий способ рассеять злые козни.

Король выпрямился в седле. Сделав вид, будто ничего не слышал, он кивнул в сторону замка, который был уже близко.

— Прощайте, друг, желаю вам здоровья. Если я преуспею и могущество и величие мое приумножатся, ваша доля, господин де Рони, вам обеспечена.

Сказав так и пришпорив коня, сопровождаемый охотниками и собачьей сворой, король Франции поскакал по лесным угольям своего верного и мудрого слуги. Спустя некоторое время он выехал из чащи и попал на пашню, ее окружали стройные березы. Их вершины чуть колыхались в небесной синеве. Склонясь над землей, трудились крестьяне; слышав конский топот, они подняли глаза и хотели спешно посторониться. Но охота остановилась как вкопанная, и король, незнакомый этим людям, кивнул на замок, синеватый вдали между вершинами деревьев. Он обратился к

старшему из крестьян:

— Скажи, друг, чей это замок?

— Господина де Рони, — отвечал старик.

Его молодцу-сыну король приказал:

— Подай мне горсть вспаханной земли. — И тот протянул ее всаднику. Король пересыпал землю с ладони на ладонь. — Хорошая, тучная земля. Кому принадлежит пашня?

— Господину де Рони.

— Смотрите-ка! — Король разломил ком: внутри блестела серебряная монета. — Это тебе, Мадлон. Подставь фартук. — Девушка послушалась, он бросил в фартук монету, и она засмеялась ему прищуренными глазами — лукавый блеск и тайное согласие, он так к ним привык в годы юности.

Тронувшись в путь, он крикнул через плечо:

— У вас хороший господин, и я всегда буду ему хорошим господином.

Тут крестьяне переглянулись, разинув рты, а потом, онемев от изумления, побежали следом. Из-под конских копыт взметывались комья земли, радостно лаяли собаки, один из охотников трубил в рог.

Геенна огненная

— Благословен Творец, королю пришел конец, — говорили в Париже и твердо верили, что на сей раз он не только потерпел неудачу, но что песенка его спета. И король не разуверял парижан.

Шли непрерывные дожди, дороги были пустынно, он не подавал о себе вестей, хотя находился всего в одном дне пути, в Манте. И этот город ему пришлось завоевывать, как всякий другой. Едва очутившись в его стенах, он задал пир

пекарям. Их цеху стало известно, что король у себя на родине владел мельницей и

прозывался мельником из Барбасты. Желая поддержать честь своего имени, он сыграл с ними в мяч, они обыграли его и на том решили прекратить игру. Он пожелал взять реванш, когда же они заупрямились, велел им всю ночь печь хлеб.

Наутро он стал продавать хлеб за полцены: как же они прибежали после этого, как предлагали ему отыгаться!

Это происшествие он нарочно постарался разгласить в Париже. Так парижанам стало известно, что он не только жив, – а это само по себе было достаточно прискорбно, – но также что он повсюду скупает зерно. Должно быть, войско его неисчислимо! Тут сразу выяснилось, что все знают о победе короля при Иври и верят в нее. Он наголову разбил нашего герцога. Толстяку и его разбежавшемуся войску никогда не добраться к нам по размытым дорогам. Теперь ему не спасти нас. А того еретика ничто удержать не может, он непременно к нам пожалует, уж и в прошлый раз он начисто ограбил наши предместья и перебил девять тысяч человек.

Убито было всего восемьсот, но в панических слухах большого города равно преувеличивались жестокость короля и собственное бессилие. «Он воет с мельницами и амбарами всего государства. Мы умрем с голоду!» – твердили парижане, цепenea от страшных предчувствий, и глядели, как испанцы запасаются продовольствием. Под испанцами разумелись посол Мендоса и архиепископ Толедский [12. – Архиепископ Толедский Кирога Гаспар де – канцлер испанского короля Филиппа II.], последний был прислан с особой миссией – выведать для своего короля дона Филиппа, чего более всего недостает будущим подданным всемирной державы – веры или денег. Оказывается – хлеба, констатировал архиепископ. И он, и испанская партия делали запасы, особенно усердствовали шестнадцать начальников городских округов, а больше всего монастыри.

Герцоги де Немур [13. – Немур Шарль-Эманюэль Савойский, герцог де (1567-1595), – сторонник Лиги, родственник Гизов. Был губернатором осажденного Генрихом IV Парижа. После вступления Генриха в Париж был губернатором в Лионе.] и д'Омаль [14. – Омаль Шарль Лотарингский, герцог де (1555-1631), – один из руководителей Лиги и губернатор Парижа в 1589 г. Боролся на стороне Гизов против Генриха III, не признал Генриха IV и прожил последние годы жизни в эмиграции в Нидерландах.] командовали гарнизоном и поневоле были союзниками Испании, но душой тяготели к Франции, что в те времена отнюдь не было в обычае у парижан: только старые люди, томившиеся в тюрьмах, помнили еще, что такое свобода, вера и здравый смысл. Один из них, Бернар Палисси [15. – Бернар Палисси (род, ок. 1510 г. – умер ок. 1590 г.) – французский художник-керамист и естествоиспытатель, противник средневековой схоластики и алхимии. За принадлежность к гугенотам был в 1588 г. заключен в

Бастилию, где и умер.], сидя в Бастилии, послал герцогу де Немуру из рода Гизов философский камень. Так назвал он окаменевший череп, подразумевая под этим, что вид столь древних человеческих останков побудит лотарингца отбросить незадачливое, пагубное честолюбие своего дома и признать истинного короля Франции. Ибо вскоре мы предстанем перед Господом, пояснил восьмидесятилетний старец, так никогда и не узнавший, что прикосновение к «философскому камню» действительно заставило Немура оглянуться на себя.

Кроме того, существовала еще сестра лотарингцев, знаменитая герцогиня де Монпансье, чей супруг служил в войсках короля; сама она была его противницей и гордилась тем, что натравила убийцу на короля, его предшественника. Не довольствуясь этим, она желала видеть на плахе и гугенота. Ну да, колесованным и повешенным! Фурия Лиги снова раззадоривала со своего балкона школяров, пока улицы не оглашались их кровожадными воплями. А у себя во дворце красивая, но постаревшая герцогиня сжимала свою неукротимую грудь, бурно волновавшуюся от ненависти и жажды мести. Эти чувства были ей тягостны, а под конец стали даже подозрительны. О победе Наварры при Иври она раньше, чем испанцы, узнала от брата своего Майенна, от побежденного, и долго сохраняла свои сведения в тайне, себе самой не признаваясь в причине такого молчания, пока ей стало невмоготу. «Наварра», – говорила она, чтобы не говорить «Франция»; но в ее страстной душе он звался просто Генрих, и ненависть ее была ей так же мучительна, как его удача. Она слыхала, что он захватил настоятеля монастыря, откуда был тот монах, которого она толкнула на убийство короля. Генрих предал настоятеля суду в Туре, и тот был разорван четырьмя конями, а герцогиня три часа пролежала без чувств. Явился Амбруаз Паре, старый хирург, которого все уважали, хотя он был гугенот. Он пустил герцогине кровь; очнувшись, она спросила: «Он уже здесь?..» – таким тоном и с таким выражением, что старец отпрянул, хотя ему довелось воочию видеть Варфоломеевскую ночь и, можно сказать, при жизни заглянуть в ад.

Большой город верил всему. Верил тому, что он уже здесь, меж тем как он пока только размышлял, не насрать ли ему вновь своих солдат на предместья Парижа. «Мы умираем с голоду!» – плакались парижане, когда их рынки могли быть еще

полны, но их предали начальники шестнадцати городских округов, которые мыслили по-испански, хотя родной язык этих начальников был французский. Восьмого мая 1590 года король полностью окружил свою столицу. На сей раз он не оставил ей лазейки, ни вправо, ни влево от реки, занял предместья, воспретил насилия, поверх стен помаленьку обстреливал ее из орудий – главное, окружил плотно, без единой лазейки.

Четырнадцатого начались процессии. Монахи предводительствовали гражданским ополчением. Все пока что были сыты, монахи даже свыше меры; они отчаянно пыхтели под панцирями, в которые втиснули свои животы. Ряса была подоткнута, капюшон откинут, монах носил шлем и оружие. При появлении папского легата духовное воинство решило должным образом приветствовать его и невзначай подстрелило его духовника. Герцог де Немур, сказал по секрету герцогу д'Омалью:

– Долго ли будем мы потворствовать подобному бесчинству? Я лотарингец и при этом француз: здесь же хозяйничает Испания. Мы держим неправую сторону. Нам место по ту сторону крепостной стены, а значит, и нашим тысяча семистам немцам, восьмистам французским пехотинцам, шестистам конным. Пусть там в честном бою решится, кому быть – Гизам или Наварре.

Д'Омаль отвечал:

– Не забудьте о гражданском ополчении и обо всех, кто когда-либо избивал гугенотов. Не забудьте о страхе мщения, который делает междоусобную войну столь жестокой. Стоит нам сейчас удалиться, как Париж поддастся дурману страха, затеет резню и будет клясться, что ратует за истинную веру.

Немур кивнул в сторону пляшущей, ревушей процессии и тем показал, что понял его.

– Париж хочет быть испанским, – сказал он. – Мы, Гизы, обмануты. Дон Филипп перестал даже платить мне жалованье. Мендоса чеканит медные гроши и бросает их из окон. К чему? Народ все равно питается одними кошками, и то по воскресным дням.

Оба герцога только под усиленным конвоем ездил по тому самому городу,

который им надлежало защищать. Обычно все и вся бросались врассыпную, потому ли, что совесть была нечиста, или же никому больше нельзя было верить. В одиночку никто не показывался добровольно. Люди собирались толпами, чтобы обеспечить себе перевес сил. По следам гражданского ополчения они обыскивали монастыри, находили, правда, не более того, что могли съесть тут же на месте, остальное было надежно припрятано; зато они измывались над монахами, напоминая, что на корабле, терпящем бедствие, первыми поедает самых жирных. Насытившись, можно было вспомнить и об обеде и проповеди, дабы подкрепить свою отвагу и рвение.

Другие толпы осаждали колокольни. Каждому хотелось взобраться наверх, чтобы издалека взглянуть на поля и зреющие плоды. После этого люди в озлоблении бросались к парламенту и до хрипоты орали, требуя хлеба. Среди женщин вспыхнуло безумие: пусть режут их самих и продают их мясо, лишь бы детям дали хлеба!

Что было делать с этими несчастными Бриссону[16. – Бриссон Барнабе (1531–1591) – французский государственный деятель и правовед. Занимал различные государственные должности, в том числе государственного канцлера, посланника в Англии и другие. Оставил после себя ряд трудов по праву.], президенту верховного суда? Сам он ничего не имел, он был честный человек. И у него в доме отведали уже той подозрительной муки, которую с заднего крыльца приносили торговцы запретным товаром и которую добывали не на мельницах, а по ночам на кладбище. Бриссон, гуманист и поборник права, а потому душой преданный королю, совещался с господином де Немуром, как спасти этот бесноватый город. Они вели самый опасный разговор, какой только мыслимо вести большому сановнику и большому военачальнику под железным небом фанатизма. Они признались друг другу, что разгул греховного безумия поистине достиг крайних пределов и что уничтожение Лиги, каких бы жертв оно ни стоило, одно только может отныне примирить и человеческий разум, и Бога.

Любые жертвы! Хоть и сказали оба, но все же нерешительно выглянули из-за занавески в растворенное окно. Видна им была церковь и запруженная паперть, видна была улица, полная людей, немых, бледных от голода, от слабости упавших

на колени или стоявших в полубеспамятстве; а слышен был только голос проповедника, вернее лай. Король отменит мессу и всех перебьет! Народ! Помни о своем спасении! Буше, глашатай лжи, за долгие годы своим коварным неистовством приумножил, возвеличил ложь, а теперь доводил ее до предела, до бездны; он лаял, он хрипел с амвона. Ближайшие к нему отпрянули назад на толпу, толпа зашаталась, застонала от смертного страха и слабости. Люди давили и топтали друг друга почти безмолвно, слышны были только стоны да лай проповедника. На том и закончили свое безнадежное совещание Бриссон и Немур! Но их, разумеется, подслушивали. Монахи вместе с шайкой убийц ворвались к ним, чтобы перевешать весь парламент. Герцог вынужден был отдать приказ открыть огонь.

Так как после речи достославного Буше против короля и разума сытости у слушателей не прибавилось, то они отхлынули от него сперва сплошным потоком человеческих тел, дальше более медлительными ручейками и, наконец, запоздалыми струями, отделившимися от общего русла. Последние вяло и робко просачивались в ближние переулки. Вот женщина без сил прислонилась к стене дома. И вдруг вспышка надежды: сынишка ее нашел крысу в водостоке, который проложен вдоль переулка то поверху, то под землей. Мальчик спускается в сточную канаву, подползает под камни и выглядывает из отверстия, держа крысу в руках.

— Мама! Еда!

В этот миг появляются двое ландскнехтов, один огромный детина, второй маленький, с носом ищейки. Меньший хватает мальчика, хочет отнять у него крысу, мальчик кричит, но не выпускает своей добычи. Тогда рослый ландскнехт поднимает его самого, сгребает сзади за куртку и держит ребенка в своей лапше на весу, точно попку. Потом быстрым шагом скрывается за углом. Его тощий приятель, щуря один глаз, еще раз косится назад, и обоих как не бывало.

В переулке немногие прохожие немеют от испуга, и потому некоторое время еще слышен плач похищенного ребенка. Мать порывается броситься ему вслед, но вот она пошатнулась, она натывается на другую женщину, которая только что вышла из ворот дома. Тут только раздается крик матери, крик испуга, ужаса, агонии, и мать падает навзничь, она больше не шевелится; женщине, вышедшей из дома,

приходится перешагнуть через нее. Двое стариков шушукуются в темном уголке:

— Эта сама занималась тем же. Она уже успела отведать того, на что ландскнехты собираются употребить мальчика. Собственный ее сын умер, но никто не видал его мертвым, и с тех пор она живет солониной. — Их дрожащие голоса замирают, старички прячутся, женщина, вышедшая из дома, проходит мимо. Это чуть ли не благородная дама, она подбирает платье, чтобы оно не волочилось в грязи. Лицо ее словно окаменело, глаза устремлены в беспредельность.

Борьба с совестью

Но король на другой день выпустил из города три тысячи человек, дабы они не умерли голодной смертью. Когда об этом узнала его высокая союзница Елизавета Английская, она была весьма недовольна им; ему пришлось отправить к ней своего чрезвычайного посла, Филиппа Морнея — что он, впрочем, сделал охотно, охотно на время удалил от себя Морнея. Последнему надлежало убедить королеву, что смерть горстки несчастных французов не могла бы побудить испанскую партию к сдаче Парижа, пока у нее самой имелись запасы. Кроме того, король разрешил населению делать краткие ночные вылазки и жать хлеб на полях близ крепостной стены. Внезапно у пекарей вновь появилась мука, за что народ, несомненно, благословлял бы короля. Но монахи и гражданское ополчение постарались предотвратить это усиленным запугиванием, а также слухами, что король выдал хлеб лишь из большой нужды в испанском золоте. Войско его разбегается, а полки нашего законного повелителя дона Филиппа уже близко! Благословен Творец, ничтожному еретика уготована гибель. Самая заветная его мечта — видеть, как вымирает столица королевства, — не сбудется.

Генрих как услышал это — содрогнулся от ужаса. Все, что говорилось о нем гнусного внутри городских стен и просачивалось к нему наружу, не было для него, к сожалению, ново: собственная совесть твердила ему то же самое, и чем дальше, тем упорнее настаивала на том его совесть. «Генрих! Не добрую и не доблестную

борьбу затеял ты здесь. Генрих! Те, с кем ты сражаешься, люди безоружные и притом обитатели твоей столицы. Они падают от истощения, они теряют рассудок, более того, они грешат против естества, — а ты меж тем почиваешь и трапезничаешь в надежных жилищах».

Но не только этим укоряла его совесть, ей было ведомо и другое. Он занимался любовью с прекрасной аббатисой женского монастыря, а затем перекочевал и в другую обитель. «Генрих! — говорила его совесть после вкушенного наслаждения. — Монахини эти отдаются тебе, как Юдифь Олоферну. Сперва они лишь агнцы, отданные на заклятие, но под конец, в неистовом пылу, чуя, как подступает адский пламень, они готовы убить тебя». Итак, на ереси лежит печать зла и проклятия, это чувствовал король-протестант, но по-прежнему носил прядь волос вокруг уха, по обычаю своих единоверцев. Маршал Бирон шутил над его «переменами религии»: так называл он смену утех, которых Генрих искал у своих возлюбленных духовного звания. Король призвал старика к себе и тут впервые высказал вслух, что намерен отречься от своей веры и перейти в другую.

Это признание было исторгнуто у него раскаянием и скорбью о деяниях, которых он, собственно, не совершал, но на которые его толкали. Такие чувства трудно понять старому вояке — хотя именно Бирон был осведомлен о некоторых темных закоулках и безднах в душе своего легкомысленного боевого петуха и повелителя. Их борьба друг с другом, пока они не обрели и не заключили друг друга в объятия, была совсем особого рода, она носила характер взаимного испытания; Бирон не забывал этого. Выпрямив тощее тело, слегка покачиваясь от вина, которое он потреблял неизменно, никогда не теряя ясности ума, лицом напоминая череп с висящими усами — так стоял маршал Бирон, размышлял, взвешивал, затем произнес, никто бы не ожидал, как мягко и нерешительно:

— Сир! Рассказывать мне об этом?

Генрих кивнул, потому что голос не повиновался ему. Потом прошептал:

— Говорите, только делайте вид, будто лжете.

Бирон согласился с ним.

– Все будут стараться угадать истину, но тщетно. Ведь я и сам не знаю ее. Ваше величество, будучи гугенотом, вы более двадцати лет защищали свою веру и право на престол, также и против меня, ибо я был ваш враг и враг адмирала Колиньи, которого мы, паписты, столь жестоко умертвили. Я ничего не позабыл из тех времен, сир! А вы?

Король слушал предостережение католика, высказанное мягким, но властным тоном. «Неужто мне впрямь отринуть веру королевы, матери моей?» – подумал Генрих. Перед ним засиял ошеломляюще яркий свет, откуда на него неотступно глядели глаза – чьи, подсказало ему лишь сознание собственной вины. Он был ослеплен, тот свет был внутренним озарением его совести. «Матушка», – подумал он. «Господин адмирал», – подумал он.

Хоть и побледнев и ощущая большую слабость, он все же взял себя в руки, придал решимость голосу и повторил свой приказ. С порога, в последний миг, он вновь вернул маршала.

– Только не говорите этого моим протестантам! Только не моим протестантам!

Он знал, что они непременно услышат об этом. Он даже мог заранее представить себе поведение каждого из старых друзей. Радовался он только, что Морней, или добродетель, послан в Англию. Пока слух достигнет туда, он превратится в глупую сплетню; если же у королевы Елизаветы все-таки возникнут подозрения, Морней разуверит ее. Вместо одного отсутствующего многие другие смотрели на него суровым или скорбным взглядом. Некоторых он считал легковеснее. Роклор, привыкший блистать, честолюбивый Тюренн, у вас хватает силы быть правдивыми и судить короля, который близок ко лжи! Правда, его Агриппа представлялся, будто ничего не ведает, на деле же думал перехитрить своего короля.

– Сир! – начал он. – Меня одолевают муки совести.

– Тебя, Агриппа?

– Меня. Кого же еще? Один друг из Парижа сообщил мне имена заговорщиков и даже прислал их собственноручные письма, из коих явствует, что они злоумышляют на жизнь вашего величества.

– Дай мне письма!

— Именно вам? Сир! Испанский посол заплатит мне больше, если я уведомя его,
что этот замысел раскрыт. Но хотя я, как вам известно, большой охотник до денег, мне никогда не придет в голову добывать их путем сговора с врагами моей веры и моего короля.

— Ты предпочитаешь ждать, чтобы убийцы добрались до меня? Скажи уж лучше, какую назначаешь мне цену?

Такой укоризны еще никогда не выражали глаза Агриппы. В минуту он, казалось, вырос на три дюйма.

— Никакой. Все меры приняты, чтобы вы даже не узнали этих людей, если бы они попались вам на глаза.

— Тогда я тебе не поверю, что мне грозила опасность.

— Сир! Как угодно! — заключил Агриппа дерзко и в то же время саркастически, по своему обыкновению.

Но вскоре случилось так, что несколько испанских кавалеров по поручению дона Филиппа явились к королю Французскому, осаждавшему свою столицу, предложить ему в супруги инфанту. В жажде мира со своими подданными, Генрих поспешил принять посредников. Только главного из них привели к нему и при этом держали за руки, слева кто-то другой, а справа Агриппа, который делал вид, будто это простая учтивость, а на самом деле сжимал руку гостя как в тисках. Генрих понял. Он быстро выпроводил самозваного посла и даже не спросил, что случилось потом с ним и с остальными. Своему Агриппе д'Обинье он не предложил награды за спасение жизни и не подумал поблагодарить его за наглядный урок бескорыстия, прямоты и неизменной верности своему делу.

Он полагал, что ему самому, как это ни прискорбно, вероломство суждено Богом, ибо он предназначен спасти королевство. «Я служу Господу, — пытался Генрих оправдать свое вероломство, что было нелегко даже перед Всеведущим. — Я покоряюсь ему, когда грешу против памяти матери и адмирала и всех наших борцов за веру, против исповедания пасторов и пренебрегая памятью миллиона погибших за

время религиозных войн». Тут он ощутил душой небывалое, ужасающее одиночество.
«Ни старые друзья, ни протестантская партия, ни укрепленные города, где мы могли молиться, ни даже ты, Ла-Рошель у моря! Ни душевная связь с людьми моей веры, ни псалом в разгаре битвы – ничто не властно перед зовом королевства.
Королевство – это больше, чем убеждение или цель, больше даже, чем слава; это люди, подобные мне», – так внушал он себе и тут только почувствовал, что спасен. «Да, люди, но я вижу воочию, как иные из них за стенами столицы грешат против естества! Вот до чего они доходят, как только король не может направить их на путь долга. Но я это сделаю, и это одно спасет меня перед Богом и людьми».

– Итак, примем этих нечестивцев, – сказал он, подразумевая свидание с кардиналом Парижским[17. – Кардинал Парижский – Пьер де Гонди (1533–1616), епископ Лангрский, затем кардинал Парижский. Придерживался умеренных взглядов и служил как Генриху III, так и Генриху IV.] и архиепископом Лионским[18. – Архиепископ Лионский – Пьер д’Эпинак (1540–1599), ярый противник гугенотов, советник Генриха Гиза, сторонник Лиги. Позднее покорился Генриху IV.]. Он называл их нечестивцами, дабы утвердить свою веру в королевство, до которого подобным тварям нет дела. В сопровождение более чем тысячи дворян направился он в двенадцать часов одного августовского дня к монастырю, находившемуся вне стен осажденной столицы, куда к нему и явились ее посланцы. То были важные и почтенные господа, им еще не пришлось терпеть лишения, так же как и всей их свите. Они поклонились королю, однако не слишком низко: до такой крайности осажденная столица еще не дошла, во всяком случае если судить по виду ее послов. Так степенно, как они, король не мог держать себя, слишком большая давка была вокруг него. Он сказал им:

– Не удивляйтесь, что меня теснят. В бою бывает хуже.

Ему было очевидно, что они хотят лишь выиграть время, пока Майенн получит подкрепления из Фландрии и освободит Париж от осады. А их переговоры с королем имели целью успокоить голодающий парижский народ, который иначе возмутился бы. Оба епископа, со своей стороны, были убеждены, что голодная смерть нескольких

тысяч простолюдинов ему так же безразлична, как им самим. Только вряд ли он захочет сознаться в этом, ибо дорожит своей доброй славой. Обе стороны были согласны в том, что наилучший выход – обоюдно соблюдать все формальности, почему король потребовал от депутатов их письменные полномочия, которые они и вручили ему. Там он прочел, что господин кардинал и господин архиепископ должны отправиться к «королю Наваррскому» и слезно молить его согласия на водворение мира в королевстве; а затем к герцогу Майенну, дабы и он способствовал тому же. Пустословие и неуважение к королевскому сану.

Генрих указал им на то, что «король Наваррский» никак не властен даровать мир Парижу и Франции. Однако он сам хочет покоя и мира для своего королевства, а вовсе не спора о титулах. Он клялся даже, что готов палец свой отдать за это, а потом приложил и второй. Один за сражение, два за всеобщий мир. Оба дипломата духовного звания сочли его искусным лицемером, и он заметно вырос в их глазах.

– Но нет! – воскликнул он, к их сугубому изумлению. – Нет, Париж не дождетя всеобщего мира, пока в стенах его царит террор и голод. Чего стоят беспредметные слова о мире? Париж не должен более голодать. Я люблю мою столицу, Париж. Она мне старшая дочь. – Тем самым он показал в истинном свете миролюбие их миссии, но не всякий, кто разоблачен, сознает это.

«Он был пленником в Париже, вот в чем суть, – про себя отметили оба епископа. – Он зовет себя отцом этого народа, но достаточно одного поражения, как он вновь будет сидеть за решеткой и живым уже не выберется на свободу».

Когда же он вдобавок сравнил себя с настоящей матерью на суде у царя Соломона [19. – ...сравнил себя с настоящей матерью на суде у царя Соломона... – Согласно библейскому преданию, к славившемуся своей мудростью царю Соломону обратились две женщины, которые заявляли свои права на одного и того же ребенка и просили рассудить, кому из них он принадлежит. Когда Соломон предложил разрубить ребенка пополам и отдать женщинам по половине, настоящая мать сказала, что скорее откажется от ребенка, лишь бы ему была сохранена жизнь.], говоря, что согласен скорее отказаться от Парижа, нежели выгребать его из-под развалин и трупов, лишь бы завладеть им, – они оглядели его с насмешкой и обменялись быстрыми взглядами. А затем собрались перещеголять его в искусстве лицемерия. Они притворились, будто сомневаются в

его военной мощи, а также в прочности его побед, и рассчитывают на поворот событий. Если Париж и сдастся до установления всеобщего мира, Майенн и король Испанский возьмут его назад и жестоко покарают. Но тут им явилось небывалое зрелище.

Перед ними солдат, которого у них на глазах осенила благодать величия. Они уже не в силах понять, кто это говорит и с каких высот. А он дает страшную клятву, в смятении сам себя прерывает, однако вновь клянется Богом живым:

— Мы их разобьем! — Вся тысячная толпа его дворян закричала наперебой гораздо звучнее, чем стройным хором:

— Мы их разобьем! Честью клянемся! Свидетель Бог, не потерпим позора!

Тут растерянные посланцы поняли, что он поставлен свыше как враг их мира; в противовес одряхлевшему властителю земли, Филиппу, в противовес бесчеловечному владычеству Габсбургов заявляло свои права живое величие. Этому не поверишь, пока не увидишь сам. Ведь в жизни почти все случается не по заказу — повседневный опыт учит этому высокопоставленных маловеров, которые потому и считают каждого власть имущего лжецом и, как такового, приемлют его. Но этих двух точно громом поразило, картина мира заколебалась перед ними, когда они познали истинное величие. Величие — слабое слово для всесокрушающей благодати Божией: каким слабым и ничтожным чувствуешь себя перед Богом и его благодатью. Двое князей церкви до тех пор даже и не задумывались над этим, пока им самим не явилось зрелище: солдат, которого у них на глазах осенила благодать величия.

С той минуты в течение всех переговоров Генрих держал своих противников в руках. После мига высшего озарения он поспешил воспользоваться приобретенным над ними преимуществом. Перестав считаться с ними всерьез, он, словно какой-нибудь бездельцы, потребовал сдачи Парижа в недельный срок. Нельзя длительно показывать свое величие, чтобы не растратить его, ибо благодать нисходит редко, — и вообще лучше провести этих простаков, нежели повергнуть их ниц своим превосходством.

— Неделя сроку, милейшие. Если вам угодно медлить со сдачей, пока не иссякнут все припасы, что ж, отлично, приготовим вам предсмертную трапезу, а

затем и веревку.

— Так немилосердно не поступит ни один французский король со своей столицей и ни один христианин с двумя служителями Божиими.

— Тогда постарайтесь сладить дело.

— Как бы после этого нас обоих вновь не выслали к вам, на сей раз с веревкой на шее.

— Тогда сдайте город немедленно.

— Если испанцы и шестнадцать начальников услышат об этом, они нас повесят.

— Тогда ждите Майенна и подкрепления из Фландрии.

— А вдруг вы, ваше величество, победите их, тогда мы будем повешены наверняка.

— Тогда ходатайствуйте о сдаче.

— Сир, вы позабудете наши услуги и не оградите нас от мести народа.

— Тогда продолжайте морить его голодом.

— Сир! Вы неправильно осведомлены, пока еще никто не голодает.

— Дай вам Бог и дальше так. На кладбищах найдется еще пожива, и много детей остается без присмотра, когда матери делается дурно от слабости.

Как ни велика была их дерзость, на это они не нашли ответа, лишь поникли головами. Так как почва окончательно ускользнула у них из-под ног, им стало казаться, что король околдовал их. «Да, он затеял с нами игру в вопросы и ответы, подражая знаменитой сцене у Рабле, который был просто-напросто шут гороховый. Таков и этот король, и он дурачит нас». Достоинства их как не бывало, смятение росло неудержимо. Король не дал им прийти в себя, а, наоборот, поспешил dokonать их. Последнее слово свое он произнес уже не торопливо и беспечно, а с вескостью судьбы.

— Монсеньер Лионский, — обратился он к архиепископу, — недавно вы попали в давку на Сен-Мишельском мосту. Люди бросались под копыта ваших коней, прося хлеба или смерти. И какой-то старик, кажется, обратился к вам с речью?

— Не помню, — пролепетал монсеньер Лионский, голова у него пошла кругом, так, наверно, будет в день Страшного суда.

— Он обратился к вам с речью и назвал вопли отчаяния, раздавшиеся вокруг, последним предостережением Божиим.

От этого ясновидения короля монсеньеру Лионскому стало дурно, не хуже чем какой-нибудь матери-простолюдинке, у которой с чудовищным намерением похищают дитя. Свита подхватила его, кардинал стоял возле, бледный и осунувшийся. Король велел подать им вина, чтобы они подкрепились, и пока они пили, он уже вскочил на коня. В пути он объяснил ближайшим из своих дворян, кто был человек на мосту, предостерегавший архиепископа. Мэтр Амбруаз Паре, хирург, от роду восьмидесяти пяти лет, говорил на мосту из последних своих сил и теперь лежит на смертном одре.

— Некогда он был при убитом Колиньи, — сказал Генрих, плотно сомкнул губы и не разжимал их всю дорогу.

Спутники его безмолвствовали, глухо стучали копыта. Генрих думал о старых гугенотах. С ними, и только с ними был он сейчас.

Мастер

Он еще не доехал до лагеря, когда к нему выбежали навстречу. «Фарнезе уже близко! Фарнезе стоит в Мо!» Король беспечно рассмеялся, ведь до Мо рукой подать, он узнал бы об этом раньше; и приятелям его, архиепископу с кардиналом, тоже успели бы сообщить новость, и они не допустили бы, чтоб он измывательствами довел их до обморока. Он пожал плечами и тронулся дальше, но на дороге еще двое поджидали его и спорили между собой. Господин де Ла Ну своей железной рукой сдерживал коня. Господин де Рони сидел в седле боком, иначе не позволяли ему его доблестные раны, одна рука была на перевязи.

Король сказал:

— Потише, господа!

Ла Ну сказал:

— Сир! Фарнезе!

Рони сказал:

— Сир! Это хитрость. Он не может стоять в Мо.

— Сир! — воскликнул старший из двоих. — Кому вы верите, этому вертопраху или мне? Фарнезе так ужасающе хитер, что порою даже нарочито разглашает истину.

Рони хоть и сидел боком в седле и на шляпе носил алмазы, но лицо у него было рассудительное и холодное; не обращая внимания на простодушного старика, он подъехал вплотную к королю и промолвил высокомерно:

— Рассказни! — Де Ла Ну вскипел:

— Молодой человек! Поезжайте туда в вашем пышном наряде. Герцогу вы так приглянетесь, что он возьмет вас в плен.

— Сударь! — отвечал Рони. — У меня одна рука, у вас тоже: значит, мы можем драться.

— Интересно поглядеть, — сказал король, но вид у него был довольно рассеянный. Радовался только старик. Лицо его под седым вихром раскраснелось, а на этом сердитом лице сияла детская улыбка.

— Сам ведь я пять лет просидел в плену у испанцев[20. — Сам ведь я пять лет просидел в плену у испанцев.. — Франсуа де Ла Ну, будучи на службе у Генриха Наваррского, попал в 1580 г. в плен в Нидерландах, где провел пять лет. За эти годы он написал свое известное сочинение «Политические и военные речи».], и это было несладко. Сир! Там, в темнице, я писал о религии и военном мастерстве, и только потому не утратил мужества. Но военное мастерство, которое я описывал, было мастерство Фарнезе. Он мастер, не забывают этого, сир!

— Наш король не мастер, а солдат, что стоит большего, — возразил Рони. От незаживших ран и чванства он держался прямо и неподвижно, как монумент. Зато бретонский гугенот жестикулировал отчаянно, даже железной рукой.

— Я знаю свое, и знание это основано на двенадцати годах пребывания во Фландрии во главе протестантского войска. Пока испанцы не захватили меня, я брал у них там все города, какие хотел. По прибытии герцога Пармского — ни одного.

Король, занятый своими мыслями, спешил прочь; надвигался вечер. На следующий день стало известно, что армия Лиги с Майенном во главе и испанские

вспомогательные войска под начальством Фарнезе соединились у Мо. На королевском военном совете Ла Ну настаивал на твердой выжидательной позиции под Парижем, меж тем как Бирон, тоже старик, требовал, чтоб выступили немедленно. Первое дело — нападение. До сих пор мы всегда нападали!

Ла Ну сказал: — Сир! Ваше величество, вы не знаете себе равных в бою. Однако вам еще не случалось столкнуться с противником, который избегает сражений и добивается всего, чего хочет, одним мастерством. Сир, я знаю Фарнезе.

Рони собрался было опять обрушиться на невзрачного полководца в кожаном колете, но виконт де Тюрэнн, не менее родовитый и красивый, чем Рони, принудил его замолчать. Исключительное честолюбие научило этого молодого вельможу не по летам рано давать верную оценку событиям и даже людям. Теперь маршал Бирон мог без помех доказывать, что в королевской войске, если разместить его вокруг всего Парижа, неизбежно окажутся слабые места. Враг прорвется и доставит в город съестные припасы. Ла Ну в ответ:

— При этом ему придется пробираться лесом или переправляться через реку: вот когда мы должны нанести удар.

— В наступление! — твердил Бирон. — Вперед на врага, раз он еще далеко и не ожидает ничего подобного. Вот как надо воевать!

— Как воеете вы — Фарнезе знает, — крикнул Ла Ну. Медленно и без обычной жизнерадостности он добавил: — Только вы не знаете, как воеет Фарнезе.

— Это уж просто суеверие, — не выдержал и мудрый Тюрэнн, меж тем как Рони холодно усмехнулся, а Бирон в сердцах засопел. Король спросил мнения всех остальных, и те, заметив, что он желает напасть на врага, в большинстве высказались за наступление.

Вначале получилось так, что прославленный Фарнезе, герцог Пармский, возбудил у всех храбрых воинов, своих противников, крайнее презрение. Разве можно с большой военной силой укрыться за каким-то болотцем? Наступавшие королевские войска видели только болото, потому что оно было у них на пути. А холма немного подалеже они не замечали, но именно за ним скрывалась их грядущая неудача.

Королевские войска держали в руках все пути сообщения с Парижем, главным

образом реку Марну и Ланьи – местечко, к которому Фарнезе хотелось, должно быть, подойти незаметно. Но пока что он укреплялся за своим болотцем, как будто превьше всего страшился нападения новой знаменитости с противной стороны – и заставил новую знаменитость дожидаться сражения день, неделю. У короля было превосходное войско из дворян, которые, однако, стали скучать и один за другим уезжали вместе со своими отрядами. Одно дело завоевание столицы: пусть бы они год стояли под ее стенами, в конце концов они бы ее завоевали и обогатились бы на этом. А вот от неприступного Фарнезе, окопавшегося и прикрывшегося военным обозом, ничем не поживишься: дворяне, которым важна была только добыча, устарились и ждали, чтобы определилось положение. Люди, подобные Рони, устояли, то ли из чувства чести, то ли потому, что втайне надеялись: «Добро-то ведь там испанское, мешки с золотыми пистолями. Как знать, когда-нибудь мне, быть может, доведется взрезать их, и золото потечет ко мне в карманы».

Генриху пришлось признать, что его прославленный противник грозен, но грозен как-то загадочно. Король послал к нему трубача – пора бы господам герцогам выглянуть из своих лисьих нор. Он не для того издалека шел сюда, чтобы спрашивать совета у врага, – холодно ответил итальянец. Король был раздосадован, однако сражения не добился и даже не добился того, чтобы увидеть Фарнезе в лицо. Каждый день покидал Генрих местечко Ланьи, которое сторожили не только его солдаты, – от вражеского войска оно лучше всего было ограждено рекой, – обходил болото и ждал Фарнезе.

Так текли дни, а ему не удавалось увидеть того. Но вот что было еще унизительнее – его лазутчики доносили, что Фарнезе умеет внушить страх и что от него не убегает ни один солдат. В железном порядке сменялись на той стороне дозорные. Тихими ночами особенно явственно долетали до чутких ушей слова команды, разноязычные, но дружные. Здесь налицо была железная дисциплина. Ровным шагом, всего в двадцать дней, сделали эти солдаты переход из Фландрии, каждый вечер укрепляя свой лагерь, как некогда легионеры Цезаря. При других полководцах то же войско было многоязычной ордой – мало настоящих испанцев, много валлонов и итальянцев – и опустошало страну, подобно дикому вепрю, но оно же становилось поистине римской армией под началом этого самого Пармы. Кто же

он такой?

Генриху не спалось, ибо он понимал: на той стороне бодрствует некто и размышляет, как бы уничтожить мою славу. Таков наказ ему от донна Филиппа. «Надо быть настороже». Тщетно вглядывался он во тьму. «Огня нет у Фарнезе, но он не спит никогда. Мне кажется, он видит в темноте и следит за мной. Он, говорят, болен и стар, кто знает, быть может, он призрак и демон, а не живой человек». Сырой, безлунной ночью легко испугаться, особенно когда мысли клонятся в сторону неведомого. Генрих резко повернулся, что-то коснулось его плеча. Меньше мгновения глядел он в чье-то лицо. Оно было застигнуто врасплох, и теперь, когда оно исчезло, в темном неподвижном воздухе еще ощущается его присутствие, воздух пахнет болотом и тлением.

Громко смеясь, пошел Генрих прочь. Отзвук его хохота, правда, как будто осмеивал его самого, но тут король вовремя припомнил, что прославленный стратег, как выяснилось, голландцев все-таки не одолел. В Голландии он потерпел значительную неудачу. А к тому же он и сам не придает значения своему походу во Францию: он явился сюда, только исполняя приказ своего повелителя, донна Филиппа. Неужели можно быть полководцем по приказу и победителем для других? Ведь он и сам владетельный князь, но забывает о своем герцогстве на службе у короля Испании – которому ни к чему не служат собственные ноги, потому что он всегда сидит. Сидит один, шлет фантастические приказы о завоевании чужих королевств другому, тоже больному человеку, который находится на чужбине. Что может из этого получиться?

Наутро после этой ночи, полной вопросов, Парма дал первый ответ, приведя свое войско в боевую готовность. Это было, собственно, только войско Лиги, он велел лишь заменить головные уборы и значки. Сентябрьский день, бой становился жарким. Французы на стороне короля думали, что встретились наконец с легендарными испанцами, перед ними дрожит весь мир, только не мы! Лишь в рукопашном бою обнаружилось, что все на той и на этой стороне говорили по-французски. Однако в пылу сражения воображаемых испанцев рубили не менее рьяно оттого, что порой лица были знакомые. Фарнезе между тем незаметно вывел из боя свой центр. Даже толстяку Майенну, который дрался впереди, он не счел нужным довериться. Позади холма, под прикрытием никем не замеченной возвышенности, которую он с самого начала считал важнее болота и окопов, перевел он свои войска по понтонному мосту через Марну – тихо и тайно, в

железном порядке. Кстати, доблестный дух битвы не позволял воинам что-либо замечать. Из тех двоих все-таки Генрих, а не Майенн, спохватился первым. Ланьи уже почти был взят с другого берега, и так как Майенн, наконец-то прозрев, начал отсюда обстреливать городок из пушек, королевское войско отступило и проиграло битву.

Таким образом, съестные припасы были подвезены в Париж водным путем, а королю оставалось только пытаться счастье в набегах и безуспешных наскоках на укрепления своей столицы. Фарнезе так высказался на его счет:

— Я думал встретить короля, а это просто гусар. — Еще больше осрамил он Майенна, из славного дома Гизов, ни о чем его не осведомив и предоставив ему отважно сражаться только для отвода глаз, меж тем как сам он мастерским маневром покончил с битвой. При всей своей злобе, Майенн должен был еще радоваться, что Фарнезе оставил ему три полка. Совершив свой маневр, знаменитость тронулась в обратный путь во Фландрию. Король вскоре снова окружил Париж: стратегу это было безразлично.

О короле он, наверное, думал: «Переоцененная посредственность. Достаточно поставить ее на место. Теперь это противник, достойный лишь какого-нибудь Майенна. Vale et me ama»[* * * - Прощай и люби меня (лат.).]

Мы жить хотим

После случившегося Генрих полных двое суток чувствовал себя в самом деле побитым. Сейчас, после долгих терпеливых усилий, нескольких блестящих побед и при возрастающем внимании внешнего мира, это было куда серьезнее, нежели в раннюю пору жизни. Взятие столицы надолго отсрочено, а ведь именно ради этого войска сняты из провинций. Денег и так нет, вот уже два дня как не пекут хлеба, и даже рубашки короля изношены до дыр. А окружают его такие люди, что даже говорить не хочется! Totus mundus exercet histrionem, все мы комедианты, и едва человеку не повезет, у него сразу появляются подходящие друзья, сплошной сброд, откуда только их приносит? Вот изгнанный немецкий архиепископ, — из гордыни стал он протестантом, кого это напоминает? Мы тоже помышляем предать свою веру. Плут д'О ненадежен, но богат, пускай угощает нас и оплачивает наших сводников.

После того как в вечер битвы при Иври государственный казначей произнес некие слова – дурные слова, недостойные и незабываемые, – Генрих не забыл их, а человека, который их произнес, избегал. Не то чтобы он старался не встречаться с ним; это получается само собой, когда мы изнутри обороняемся не только от другого человека, но главным образом от себя самого. Что такое слова? Худо только, когда они знакомы, как будто сам уже знал их и утаил.

Теперь государственный казначей снова входит в милость. Кто тратит деньги, тот нам друг, хотя бы у него, как у некоего гасконского капитана, нашего земляка, не было носа вследствие любовной напасти. Король водит знакомство с искателями приключений, от которых многие бы шарахались.

Да. И он окружает себя ими, чтобы на них испытать себя, свое здоровье, свою способность сопротивляться. Послушайте, что происходит в Париже: там своеволие доведено до последней крайности. В конце концов каждый человек следует за своей химерой, которая оправдывает его существование. Но никак невозможно, особенно тому, кто высокороден, каждый миг быть достойным своей химеры, это слишком тяжело. Постараемся познать себя по этим искателям приключений, не переходя все же той грани, за которой начинаешь уподобляться им. Ведь еще сегодня пуля может попасть в цель, и закопают маленького короля в поношенной одежде, и никогда не взрывать ему землю этой страны копытами своих коней, никогда не владеть своим королевством. В Париже повесили президента верховного суда за то, что он якобы был в заговоре в пользу своего короля и против Испании.

Однако это очень решительная мера, она вернее, чем самые крепкие стены, разобщает со всем королевством город, который убивает того, кто еще отстаивал право. Потому-то враги президента Бриссона пустили в ход всяческие уловки, собрали подписи под требованием казни для какого-то неизвестного и лишь потом проставили имя верховного судьи. Они добились поддержки испанского командования, выпросили санкцию высшей духовной школы Сорбонны и соответственно настроили народ с помощью ораторов вроде Буше. На рассвете Бриссона выманили на улицу, предательски схватили и вместе с двумя его советниками втолкнули в

тюрьму; затем повесили всех троих на потолочной балке, — зажгли фонарь и ждали до тех пор, пока тела, на взгляд палачей, достаточно вытянулись, а лица стали такими, что хуже некуда. Как следует обработав своих подопечных, злодеи отнесли их на Гревскую площадь и привязали к настоящей виселице.

Старый законовед никак не думал, что бесправие может дойти до таких пределов: ведь существовал же свод законов, первый в стране, он сам его составил. Но отвлеченный, умственный труд не только разобщает нас с дурною действительностью: он полностью вытесняет ее, так что трудно в нее поверить. Иначе обстоит дело с народом. Как не быть ему празднично возбужденным, когда верховный судья предан позорнейшей казни столь необычайным образом. Попрание права — это искушение, которому легче всего поддается человеческий дух. Когда настало утро, площадь наполнилась народом, и враг покойного судьи, стоявший у подножия виселицы, принялся выкрикивать, какой предатель Бриссон и как он хотел сдать Париж королю, а тот покарал бы город, и всем им, всем до единого пришел бы тогда конец. Народ! Ты спасен, Бриссон вон там, на виселице. Действительно, там висит кто-то, на теле одна рубашка и лицо почерневшее. И это — президент королевского парламента, и это — величайшее сокровище нашей бедной страны, одно из немногих, уцелевших в ней?

Никто не пошевелинется, толпа застыла от этого зрелища, каждого вновь приходящего тотчас охватывает оцепенение. По краям площади расставлены подручные палача, они кричат, что заговорщики были богаты и что дома их со всем добром по праву достанутся народу. Никто не пошевелинется. Грабить доводится не каждый день, казалось бы, надо воспользоваться случаем, однако народ молчаливо расходится по домам. Только отойдя на некоторое расстояние от места казни, он поднял голос. И один из шестнадцати услышал, как люди говорили, что в это утро дело короля Франции выиграно, стоит лишь ему самому отречься от неправой веры. Члена совета шестнадцати, по ремеслу портного, это порядком озадачило, и он в бешенстве крикнул, что король не преминет перерезать горло всем шестнадцати, за вычетом одного.

Король, окруженный своими искателями приключений, знал, что говорили в Париже, однако не собирался никому перерезать горло и спокойно выслушивал искателей приключений — не из любопытства. Он и без того знал, каковы взгляды таких людей и какого совета можно ждать от них. Отречься немедленно, и столица откроет свои ворота! Такие люди опираются на собственный опыт, на собственные промахи и упущения. Об этом они усерднее, чем когда-либо, рассказывали теперь двору, который был и походным лагерем; и так как они целых два дня считались друзьями короля, предостережения их не остались без внимания. У Генриха слух был тонкий. В шуме большой залы, с виду отдаваясь природному легкомыслию, он улавливал чужие разговоры, и даже по несколько одновременно. Молодые люди, которые не были видны королю, но которых выдавали их свежие голоса, выслушивали поучения испытанных знатоков жизни и поддакивали им. Жулик д'О не признавал бедности, ее надо избегать во что бы то ни стало.

— Таким бедным, как король, быть нельзя, — подтвердил Рони.

Генрих, хоть и смеялся в эту минуту, однако не упустил ни слова. После своего Рони услышал он и своего мудрого Тюренна, тот был согласен с капитаном Алексисом.

— От беды надо себя ограждать, — утверждал безносый проходимец.

Полушепотом совещались старик Бирон со стариком Ла Ну. Они не повышали голоса, потому что у них теперь не было разногласий. После унижения, которое король претерпел от Фарнезе, ему оставалось лишь положить всему конец. Тот конец, какой сам Париж предлагал ему сейчас: ничего другого не могли иметь в виду старые полководцы, хотя стыд не позволял им назвать вещи своими именами, и если бы кто-нибудь произнес перед ними роковое слово, они вспыхнули бы от гнева. Бирон не меньше, чем протестант Ла Ну. Будучи солдатами, они не стремились к миру, ибо война кормила их. Особенно обидно было им сложить оружие после неудачи. Тем не менее они говорили о требовании данной минуты, не объясняя, в чем оно, но Генрих слышал и понял.

До него донесся громкий голос его гугенота Агриппы. Агриппа д'Обинье спорил с немецким архиепископом, которому переход в протестантство стоил престола, с тех пор он считал одну лишь мессу верной опорой престолов; он и тут

настоятельно советовал пойти к мессе. Генрих покинул свой кружок, протиснулся к гугеноту Агриппе и открыл рот, чтобы, глядя ему в глаза, сказать свое слово. Он сказал бы: «Я этого не сделаю», – Агриппа тоже этого ждал. Но тут некий дворянин, по имени Шико[21. – Шико – Антуан д’Англерай, прозванный Шико, гасконский дворянин, придворный шут при королях Генрихе III и Генрихе IV.], тронул короля за рукав. Шико имел право высказывать все, о чем другие помалкивали, а потому назывался шутком короля и, обладая незаурядным умом иронического склада, создал себе из этого должность. Король делал вид, будто и вправду утвердил его в такой должности, и временами поручал дворянину, носившему звание шута, распространять истины, в которых сам не хотел еще признаться. Новые истины прежде всего разрешены шуту. Шико подтолкнул короля и, перебивая его, изрек во всеуслышание:

– Приятель! Ты, кажется, болен. Поставь себе клистир из святой воды.

Над человеком, который прослыл шутком, кажется, принято смеяться? Однако стоявшие вблизи умолкли, и постепенно молчание распространилось на всю залу, стало гнетущим. Заполнившая ее толпа почувствовала вдруг, что здесь больше нечем дышать; окна распахнулись в темноту; и так как все поспешили к окнам, Генрих и старый друг его Агриппа очутились одни посреди залы. Оба побледнели, они заметили это при свете внесенных канделябров. Они молчали, поглощенные одинаковым ощущением, что последнее слово произнесено.

Агриппа, бывало, сочинял желчные стихи, когда, на его взгляд, король платил ему неблагодарностью. Он был бодр духом, красноречив и до сих пор всегда без колебаний высказывал своему королю жестокую истину. Не страшно вызвать неудовольствие и даже перенести немилость. Но тут другое: слишком явно было, что король страдает. Агриппа опустил взор, прежде чем сказать:

– Вы долго и храбро сопротивлялись.

– Это еще не конец, – поспешно возразил Генрих. Вместо ответа Агриппа поднял взор.

– Агриппа! – приказал Генрих. – Воззовем вместе к Господу Богу нашему.

– Я к вам взываю, сир, и прошу: «Дай мне уйти под сению креста...»

— Дю Барта умер во имя этого, — заметил Генрих. — А мы с тобой друг друга знаем. Мы жить хотим. — Затем они вышли.

Они сели на коней и там в открытом поле увидели сторожевые огни, палатки, целый военный лагерь; никто из приближенных короля не подозревал об этом, даже и внимательный д'Обинье. Значит, ты, Генрих, формировал новую армию взамен той, которая разбежалась; ты тайком писал бесчисленные письма, слал гонцов, на расстоянии ободрял и воодушевлял своих дворян такими словами, которые не даны Агриппе, хотя он и поэт. Ты творил это втайне, Генрих, в то время как для отвода глаз ты водился с искателями приключений и готовился отречься от своей веры.

— Сир! — вслух сказал Агриппа. — Я уже не прошу, чтобы вы дали мне уйти под сению креста...

Король не показал виду, что услышал его; он отдавал распоряжения, необходимые для того, чтобы в ближайшем будущем выступить на Руан. Раз Париж пока что взять нельзя, надо поскорее отобрать у Лиги столицу Нормандии, а Майенна и Фарнезе надо отвлечь к северу, на поля сражения, уже знакомые одному из них. Агриппа д'Обинье разгадал этот план и порадовался его мудрости, когда сопровождал своему удивительному королю, объезжавшему лагерь. Но тут его ждала новая неожиданность. Король окликнул одного из пасторов:

— Господин Дамур. Помолитесь вместе с войском.

Этот же самый пастор запевал гимн у деревни Арк по приказу короля, и то была победа над мощным войском Лиги, бесплодная, но вместе с тем принесшая спасение войскам борцов за свободу, борцов за веру. И вот теперь они снова здесь. Из палаток, от сторожевых огней в круг собираются гугеноты, старейшие впереди; лица в таких же морщинах, что у их короля, тело в таких же рубцах, что у него, — и этого сознания им довольно. Мы за него сражались, мы будем сражаться за него и молимся сейчас с ним.

Агриппа д'Обинье пытается вторить хору хриплых ревностных голосов, но собственный внутренний голос мешает ему. Он думает: «Благочестивый обман. Сир!

Вы вводите, в заблуждение старых своих борцов за свободу и веру. То, что вы намерены сделать в действительности, окончательно решено. Вы ничего не

переименуйте, ибо иначе не угодно Богу. Господи! Да будет воля Твоя. Если король мой отречется от своей веры и от своего слова, я сохраню верность и ему и Богу». Так Агриппа начал наконец молиться вместе со всеми, ничем более не отвлекаясь.

Наш удел

Король осадил город Руан, взятие которого грозило оставить Париж без съестных припасов. Наконец на помощь городу явился Майенн. Глава Лиги успел тем временем, стреляя и вешая, кое-как вразумить Париж, когда столица в слепом пылу совсем уж готова была стать испанской. Но вслед за тем Майенну опять пришлось призвать из Фландрии испанского полководца; без Фарнезе он больше не надеялся покончить с королем. Его опасный союзник не менее охотно, чем сам король, завладел бы городом Руаном, почему Майенн всяческими уловками старался удержать его подальше от Руана. Король, по своему обыкновению, наверно, жаждет битвы, а потому можно будет встретиться с ним в местности, которую они сами сочтут подходящей. Однако король немного уже знал стратега Фарнезе и вместо открытого боя задумал блеснуть перед ним мастерством в его вкусе. Поэтому он подошел с одной легкой кавалерией, всего лишь с девятью сотнями всадников. Никто не понимает, чего он хочет.

В пути он получил донесение, что испанцы под звуки труб и барабанный бой подступают огромным войском – восемнадцать тысяч человек пехоты, семь тысяч конницы; двигалось оно сомкнутым строем, кавалерия посередине, обоз по бокам, а легкие эскадроны свободно носились взад-вперед, точно крылья трепетали. Для знатоков это приближение Фарнезе по волнистой, испещренной холмами местности являло увлекательное зрелище, которое развернулось перед королем, когда он вместе со своей конницей находился за стенами Омаля; однако он хотел видеть всю картину целиком и один покинул прикрытие.

Прекрасная армия остановилась на месте, завороченная неким духом. И Генрих увидел его среди белого дня, он даже не ждал этого. У духа было увядшее лицо старого ребенка, безбородое, своенравное и усталое. Согнувшись, – боль делает

людей меньше, — сидел он на тележке совсем впереди, во главе прекрасной армии — и ноги у него были обуты в спальные туфли. И так вот, на двух колесах, катался дух перед фронтом, руководя всем. По малейшему его знаку каждый маневр выполнялся неукоснительно, все равно вблизи ли, у него на глазах, или на самом дальнем конце, словно дело происходило на сцене и театральные механизмы ведали строгим порядком действия, так, что казалось, будто боги управляют им из-за огненных туч; именно это и давало человеку возможность развернуть все свое высокое мастерство. Представление было великолепное; зрителя, который пробирался все дальше в открытое поле, оно очень увлекало и совсем бы удовлетворило, если бы...

Если б не увядшее лицо старого ребенка и если б не спальные туфли. Генриху казалось, что ветер доносит к нему запах болезни. Неужели солдаты не замечают его, думал он. Здоровым людям, вероятно, внушает мистический ужас полководец, которого носят или возят и при котором даже нет оружия. Неужели к нему не подсылают убийц? Нет. Главное, что никто и попыток не делал. Он немощен, но неуязвим. В носилках и креслах его бережно проносят по Европе, дабы он одерживал победы для властителя мира. И он побеждает, но холодно и безрадостно. Словно отдает в жертву свое великое мастерство, а затем велит нести себя дальше, разрешая солдатам, в виде отдыха от жесткой дисциплины, заняться грабежом и поджогами. По знаку трубы они должны остановиться, иначе их повесят. Дух непознаваем; при всей своей телесной немощи и безрадостности, он внушает страх. Многоязычные, покоренные народы всемирной державы узнают в нем себя.

Король Франции, Генрих, ничем не защищен в открытом поле, немногие провожатые потихоньку совещаются позади, как бы его предостеречь; но никакой надежды, чтобы он опомнился. Он подался вперед, он затаил дыхание. Этого он больше никогда не увидит и сам постарается, чтобы это не повторилось никогда. Александр Фарнезе, герцог Пармский, забыл свою цветущую страну, свой город-жемчужину, и статуи, и картины — все забыл и покинул ради похода, который мало его трогает, который, по его мнению, бессмыслен и дерзок: ему хочется испытать свое мастерство. Он переходит реку у Ланьи, и как по волшебству открывается подвоз в Париж: мастерский ход. Здесь он с помощью своего грандиозного театрального механизма подготавливает нечто новое, еще одно чудо

волшебства, еще один мастерский стратегический ход.

Ясный, рассудительный голос барона Рони прервал мысли короля и вернул его к действительности:

— Сир! Все здесь присутствующие господа любят вас больше собственной жизни. Вашу жизнь нельзя подвергать такой опасности.

— Пустяки! Вы сами, должно быть, боитесь? — спросил король, удивив и обидев этим своих приближенных.

Кроме того, Рони от имени всех намекнул ему, что невозможно с девятью сотнями человек атаковать большое, мастерски построенное войско. Он и не помышлял об этом; но из какого-то непонятого пристрастия к полководцу на той стороне он бросил им упрек, что это первый, кого они испугались. Они клялись ему, что дорожат лишь его жизнью. Он мало-помалу смягчился, но тут уж конница Пармы налетела на него. Ему с его девятью сотнями пришлось обороняться от неожиданной смерти, многие все же не избегли ее. Король был легко ранен, он спасся лишь потому, что его прославленный противник не хотел поверить, что то был он и что в нем так много от гусара и так мало от короля.

Однако Фарнезе еще пришлось столкнуться с этим королем, прежде чем удалиться навсегда и вскоре умереть. Вышло так, что Генрих маршами и контрмаршами завлек его на полуостров между рекой Сеной и морем, что с самого начала было намерением короля; битва при Омале должна была лишь отвлечь внимание от этого замысла. И вот свершилось: странствующий мастер и армия, его прекрасное орудие, очутились в ловушке. На полуострове не было никаких съестных припасов, а на подмогу королю плыл голландский флот. Фарнезе сам был ранен и, казалось, погиб. Что же он сделал? То же, что при Ланьи. Сена здесь по ширине не уступает морю, и все же он навел понтонный мост и перешел ее однажды ночью, в полнейшей тишине. Когда королевские солдаты проснулись и увидели, что от пойманного врага не осталось и следа, раздался вопль ярости. Генрих смеялся, отдавая должное ловкости маневра. Противник его, уходя, произнес слова, показывающие, что под конец он все же изменил мнение о короле Франции; свидетельствовали они также о близкой смерти:

– Этот король изнашивает больше сапог, чем спальных туфель.

Позднее прошел слух, что Фарнезе прибыл в Париж; однако и тамошним своим друзьям он не дал вздохнуть, как обычно не давал вздохнуть врагам.

– У меня здесь со всем покончено, – только и сказал он будто бы среди глухого молчания. В действительности же он совершил еще много примечательного, не смущаясь изменчивостью военной удачи. Как мастер, довольный делом своих рук, он бросил то, что стало ему уже не интересно, – эту страну, этот народ, – и под гром барабанов и труб понес свою одряхлевшую славу куда-то вдаль.

Генрих, у нас отнюдь не «со всем здесь покончено». Наоборот, нам бы надо быть бессмертными, потому что нам еще бесконечно много предстоит бороться за наш удел. Наш удел – это люди.

II. Превратности любви

Покажи мне ее

Король охотился в компьенских лесах; в тот день он, преследуя оленя, очутился почти у границы Пикардии. Там они – король и обер-шталмейстер его, герцог де Бельгард^[22. – Бельгард Роже де Сен-Лари, герцог (1562–1646), – придворный, главный оруженосец Генриха III, губернатор Бургони при Генрихе IV, герцог при Людовике XIII, прозванный современниками за свою блестящую карьеру «Поток Милостей».], упустили след. Остальных охотников они давно потеряли из виду и теперь отдыхали на просеке. Король уселся на ствол срубленного дерева. Сквозь листву, уже тронутую осенью, падали солнечные лучи, золотили ее и окутывали рассеянным светом фигуры двух мужчин – сорокалетнего и тридцатилетнего.

– Хорошо бы перекусить чего-нибудь! – сказал король. К его изумлению, обер-шталмейстер немедленно достал и разложил тут же на стволе дерева все, чего только можно пожелать, так что они утолили голод и жажду. Во время еды король размышлял. Раз Бельгард захватил в седельной сумке припасы, значит, он заранее намеревался отстать от охоты и скрыться – куда?

– Куда ты собирался, Блеклый Лист? – напрямик спросил король и с лукавым

видом ждал ответа, которого не последовало. — Здесь ты на вид еще желтее, чем обычно, Блеклый Лист, должно быть, от увядшей листвы. Вообще же ты красивый мужчина, и тебе всего тридцать лет. Если бы мне было столько! В ту пору мне больших хлопот с ними не бывало и недостатка в них не бывало тоже. Погляди-ка повнимательнее туда, между дубами! Не кажется ли тебе, будто одна из них хочет выйти из темноты и не решается? В ту пору они приходили сразу.

— Сир! — сказал тогда Бельгард. — Хотите видеть мою возлюбленную?

— Где же? Какую же?

— Она красавица. Их замок неподалеку отсюда.

— Как он называется?

— Кэвр. — Прямой вопрос, точный ответ, и королю сразу все стало ясно.

— Кэвр. Значит, она из семьи д'Эстре[23. — Эстре Антуан де — губернатор Нуайона, позднее губернатор Иль-де-Франса и Ла-Фера, с 1597 г. великий мэтр артиллерии.]

— Габриель, — сказал молодой человек, и сердце его забило в этом имени. —

Ее зовут Габриель, она прелестна. Ей двадцать лет, волосы у нее — чистое золото, ярче, чем солнце здесь на листьях. Глаза у нее небесного цвета, и порой мне кажется, что лишь от них и светел день. Ресницы у нее темные, а черные брови описывают две узких, гордо выгнутых дуги.

— Должно быть, она их бреет, — вставил король, после чего влюбленный растерялся и умолк. Эта мысль ему никогда в голову не приходила.

— Покажи мне ее! Нынче у вас условлено свидание, но в другой раз возьми меня с собой.

— Сир! Сегодня, сейчас же. — Бельгард вскочил, ему не терпелось показать королю свою прекрасную возлюбленную. Дорогой они говорили об ее семье; король припомнил:

— Отца твоей красотки зовут Антуан. Он был бы губернатором в Ла-Фере, если бы Лига не прогнала его. Ах да, мать! Она, кажется, сбежала?

— С маркизом д'Алегром, много лет назад. А до того она будто бы пыталась продать дочь. Но что это доказывает? Сир! Вы сами знали двор своего предшественника.

— Чистотой нравов он не отличался. Но ваша Габриель была слишком молода, чтобы ею торговать.

— Ей было шестнадцать лет, а по росту она казалась совсем еще ребенком. Однако я сразу ее заметил. Но досталась она мне, к счастью, когда уже расцвела.

— Ах да, сестра, — продолжал припоминать король. — Как же ее зовут?

— Их шесть сестер. Но ваше величество имеет в виду старшую, Диану. Первым у нее был герцог д'Эпернон.

Король едва не сказал:

— У всех шестерых вместе со старухой, вероятно, был целый полк. — Ему припомнилось, что их называли семь смертных грехов. Однако он заметил только:

— Недурная семейка, в которую ты хочешь войти, Блеклый Лист. Ты думаешь жениться на своей Габриели?

Герцог де Бельгард заявил с гордостью:

— Ее прабабка с материнской стороны пользовалась вниманием Франциска Первого, Клементя Шестого и Карла Пятого. Ее по очереди любили король, папа и император.

Но король уже забыл о легкомысленных дамах, от которых вела свой род возлюбленная его обер-шталмейстера. Произнесено было имя герцога д'Эпернона, имя, неразрывно связанное с давними распрями, которые еще отнюдь не завершены. Все невзгоды его королевства нахлынули на короля, он пустил лошадь шагом, невзирая на великое нетерпение своего спутника, и заговорил о своих врагах. Они поделили между собой королевство, и каждый изображал из себя в своей провинции независимого государя, не желающего подчиниться королю-еретику. Даже такой вот Эпернон, начавший карьеру любимчиком покойного короля! Даже он смеет выдвигать доводы религии. Вслух Генрих сказал:

— Бельгард, ты ведь католик и мне друг, скажи, неужто я и в самом деле должен сделать тот опасный прыжок?

Дворянин понял короля; он ответил:

— Сир! Вам незачем менять веру. Мы и так служим вам.

— Если бы это было так, — пробормотал король.

— И вы увидите мою возлюбленную! — ликующе воскликнул его спутник.

Король поднял голову. По ту сторону лесистой долины и бурлящей реки, за холмами, за грядами многоцветной листвы, среди деревьев и синевы небес реял замок.

Издали, пока мы не увидим их вблизи, они часто кажутся нам воздушными и кровли их блестят. Но что там ждет нас? Они ограждены рвами и стенами, вверху

защищены пушками, но розы вьются по ним. Что ждет нас именно в этом? Неумная

тревога, причиняемая врагами, и ужас перед обращением делали короля восприимчивым к предчувствиям. Он остановил коня, сказал, что время позднее, и

хотел повернуть назад. Бельгард рассыпался в просьбах, ибо жаждал от короля

похвал своему несравненному сокровищу. Король услышал о пурпурных устах, между

которыми будто бы сверкают жемчужины; о щеках, подобных лилиям и розам, где,

однако, преобладают лилеи, и все тело такой же лилейной белизны, грудь точно

мрамор, руки богини, ноги нимфы.

Король поддался уговорам, и они поскакали вперед.

Перед замком был ров и подъемный мост. Посредине главный въезд, по краям два

боковых крыла, над каждым башенка ажурной архитектуры. Среднее здание двухэтажное, с высокой кровлей, открытой колоннадой, массивным порталом и нарядными оконными наличниками. Первоначально суровый, замок был теперь приукрашен, и розы вились повсюду, кое-где еще осыпались последние.

Король решил подождать снаружи, а спутник его вошел в дом. В глубине сеней

поднимались два разветвления закругленной лестницы. Герцог Бельгард прошел под

лестницей в залу, куда с другой стороны, из сада, падал зеленоватый отсвет.

Воротился он вместе с темноволосой молодой дамой; на ней было желтое платье в

розовых букетах гирляндами. Поспешно и легко опередила она герцога и склонилась

перед королем. Стоя в смиренной позе, она лукаво поглядывала на него. Прищуренные глаза давали понять, что государю не следует принимать

всерьез

смирение красавицы. Да он и не собирался. Он поспешил сказать:

— Вы обладаете такими достоинствами, мадемуазель, что, несомненно, вы та самая особа, ради которой ездит сюда обер-шталмейстер. Мои ожидания не обмануты.

— Сир! Вы красиво говорите: прошу вас продолжать. А ваш обер-шталмейстер тем

временем поищет мою сестру.

И с этим она вернулась в сени. Король последовал за ней.

— Так вы Диана! — воскликнул он, изобразив удивление. — Тем лучше. Вы свободны. Мы легко пойдем друг друга. — Не смущаясь, она отвечала:

— Я никогда не бываю вполне свободна. Кто желает понять меня, должен обладать опытом. Хотите, я скажу вам, сколько женщин надо узнать для этого?
Двадцать восемь.

Именно столько возлюбленных было, по слухам, у короля, не считая мимолетных встреч. Она показала свою осведомленность и блеснула остротой ума.

— Превосходно, — сказал он и собрался уже назначить ей свидание. В этот миг на площадке лестницы появилась женская фигура.

Нога ее легко касалась первой ступени. На ней было бархатное платье зеленого цвета, оно колебалось на обручах. Сверху проникал свет вечерней зари, и в нем сияли золотистые косы, мерцали вплетенные в них жемчуга. Король рванулся вперед, тотчас замер, и руки у него бессильно повисли. И всему виной было никогда не изведенное очарование спускающейся по ступеням женской фигуры. «Она идет словно фея, словно королева», — думал король, будто ему не случалось видеть уродливых королев, но тут он чувствовал себя точно в сказке. Как хорошо, что она фея и королева, а вид у нее по-детски беспечный! Одна рука ее держала жемчужную нить, по перилам скользила другая. И как склоняется и стибается тело, каждым шагом являя чудо достоинства, непринужденности, гибкости и величия — этого король никогда не видал. Словно он еще никогда не видал, как ходят.

Он стоял в тени, она не знала этого или просто не думала о нем. Бельгард разминусь с ней, потому что поторопился взбежать по другой лестнице, она смеялась над ним, она выгибала шею движением живым и простодушным. Она забылась настолько, что даже вспрыгнула на две ступеньки вверх и собралась броситься к возлюбленному. Но, видимо по его знаку, остановилась и продолжала свое лучезарное шествие. Король не ждал ее, он отступал к порогу. Когда она очутилась внизу, он был уже за дверью.

Из недр его существа бурно поднялось рыдание и, подкатившись к горлу, помешало ему говорить. Когда Габриель д'Эстре подвели к нему, он молчал. Обер-шталмейстер выпустил руку девушки, он испугался. Ему сразу стало ясно, что

он наделал. Король потерял дар речи, он явно был ошеломлен, потрясен – сражен ужасом, невольно подумал Бельгард и взглянул на лицо своей подруги – не превратилось ли оно в лик Медузы. Нет, она осталась обыкновенной девушкой, такой же, как другие, конечно, прекраснее, чем другие, это Бельгард знал лучше всех. При всей гордости обладателя, он невольно подумал, что впечатление, произведенное ею на короля, не в меру сильно, не говоря о том, что оно опасно.

Габриель опустила перед королем темные ресницы; они были длинны и бросали тень на светлые щеки. Ни единый взгляд или улыбка не позволили королю счесть ее скромность притворной. Перед ним была женщина, которая не желала понравиться ему или обратить на себя его внимание. Как будто белоснежная и белокурая богиня может остаться незамеченной. Поняла она это? Тогда ей это безразлично. Король вздохнул, попросил небесное видение не стесняться его присутствием и сделал жест в сторону своего обер-шталмейстера. Тот взял Габриель за руку и прошел с ней туда, где у стены осыпались последние розы.

Диана сказала:

– Сир! Теперь вы будете слепы ко всем моим достоинствам, но я хорошая сестра.

Он спросил торопливо, одни ли они дома. Да, отец ее выехал верхом, а тетка отправилась в гости в карете.

– Тетка? – Он поднял брови.

– Мадам де Сурди, – сказала она; больше ничего и не требовалось: он хорошо знал свое королевство. Мадам де Сурди, сестра их сбежавшей матери, и сама легкого поведения. Обманывает господина де Сурди с господином де Шеверни[24. – Де Шеверни, граф (1528–1599), – канцлер при Генрихе III. Впал в немилость в 1588 г., в 1590 г. возобновил карьеру благодаря своему посредничеству в переговорах между Генрихом IV и Лигой.], отставным канцлером покойного короля. Господин де Сурди, прежде шартрский губернатор, теперь в том же положении, что господин д'Эстре: без места. Все они без места, им нужно много денег. «Приключение обойдется дорого», – подумал король, но не стал задерживаться на этой мысли. К чему противиться неизбежному.

Пока Диана рассказывала, он устремил на Габриель взгляд, какой бывал у него в сражении, губы его шевелились, до того страстно и беззаветно ощущал он: это она.

«Это она, и мне суждено было ждать до сорока лет, пока явилась она. Мрамор — говорят для сравнения, вспоминают пурпур и кораллы, солнце и звезды. Пустой звук. Кто знает неизъяснимое лучше меня? Кто, кроме меня, может обладать беспредельным? Богиня или фея, что это означает? Королева — ничего не говорит. Я всегда искал, всегда упускал, но это наконец она».

Она беседует с Бельгардом, а вид у нее по-прежнему скромный, или это признак холодности? Выражение глаз неопределенное, они обещают, но как будто не ведают, что именно. «Блеклый Лист не мил ей! — убеждал себя Генрих, наперекор ревности, терзавшей его. — А меня она разве заметила? Ресницы ее все время опущены. Вот она склонилась лицом к розе: никогда не забуду изгиба и поворота ее шеи. Она подняла лицо — теперь взглянет на меня, взглянет — сейчас. Ах, нет. Так больше нельзя».

Он мигом очутился подле нее и потребовал игриво:

— Розу, мадемуазель!

— Вы хотите получить ее? — спросила Габриель д'Эстре вежливо и даже высокомерно. Генрих заметил это и одобрил, ибо высокомерие подобало ей. Он поцеловал розу, которую она ему протянула; роза тут же осыпалась. Король сделал знак, и Бельгард исчез. Генрих тотчас же спросил напрямик:

— Как вы меня находите?

Это она определила давно, как ни был неуверен и мечтателен ее взгляд, когда она смотрела на него. Однако она возразила:

— Все сперва говорят мне, как находят меня.

— Разве я этого не сказал? — воскликнул Генрих.

Он забыл, что потерял дар речи, и думал, что она все поняла.

— Прелестная Габриель, — произнес он чуть слышно.

— Откуда вы это знаете? Вы глядите куда-то в сторону, — спокойно ответила она.

— Я и так уже увидел слишком много, — вырвалось у него, но потом он рассмеялся беспечно и принялся ухаживать за ней так, как она вправе была ожидать. Он был нежен, он был смел — словом, показал себя галантным королем двадцати восьми любовниц и не посрамил своей славы. Она не сдавалась, хотя и завлекала слегка, приличия ради и потому еще, что приятно, когда человек оправдывает свою славу. Успех его тем и ограничился, и он сам это ясно почувствовал. Он был в смущении, однако продолжал говорить и вдруг завел речь о ее матери. Ее безупречное лицо стало холодно, стало поистине мраморным, и она пояснила, что мать ее в отъезде. — В Иссуре, с маркизом д'Алегром, — подхватил он, не желая сдерживаться именно потому, что заметил, как от нее повеяло холодком. Он видел, что она непременно отвернулась бы сейчас, не будь он королем. Правда, его с головы до пят окинули взглядом, от которого он вдруг почувствовал себя усталым. Он мысленно представлял себе одну черту своего лица за другой, так, как их видела она, оглядывая его. Нос слишком загнут книзу, твердил он про себя все настойчивее, словно это было самое худшее. Но было и нечто поважнее.

Он оглянулся на Бельгарда, он хотел сравнить собственное свое обветренное лицо с лицом того красавца; тот и ростом выше, а зубы у него какие! Когда я был молодым королем Наваррским, я покрыл себе зубы золотом. Все это мы тоже знавали, только с тех пор нам пришлось немало потрудиться.

Диана наблюдала за королем, она сказала:

— Сир! Вам надо отдохнуть. Комната приготовлена на ночь. А в пруду у нас великолепные карпы — вам на ужин.

— Прежде чем мне уехать, дайте мне хлеба с маслом, я поцелую руку, которая принесет их сюда к порогу. В дом господина д'Эстре я войду лишь в его присутствии.

Все эти слова обращены были к Габриели, и она пошла принести то, чего он пожелал. Король вздохнул, как будто с облегчением, чему оба — Бельгард и Диана — удивились.

Генрих надеялся, что Габриель взойдет, а потом снова будет сходить по лестнице. Но она скрылась в одном из нижних покоев и вскоре появилась опять.

Король стоя ел хлеб с маслом и при этом шутил, расспрашивал о сельском хозяйстве и о соседских пересудах. С любым своим подданным, с мантскими

пекарями, с рыцарем пулярки он вел бы такие же разговоры. Затем он и его обер-шталмейстер сели на коней. Но он выдернул ногу из стремени, подошел к
Габриели д'Эстре и заговорил торопливо, а в глазах его было столько жизни и
ума, что это должно было поразить ее, — ничего подобного она еще не видала.

— Я вернусь, — сказал он. — Прекрасная любовь моя, — сказал он. Вскочил в седло и помчался, не оборачиваясь.

Когда всадники скрылись между деревьями, Диана спросила сестру, о чем с ней
потихоньку говорил король. Габриель повторила его слова.

— Как! — закричала Диана. — И ты спокойна? Пойми же, что это такое! Это само
счастье. Все мы станем богаты и могущественны.

— Из-за нескольких слов, которые он бросил на ветер.

— Он сказал их тебе, все равно — стоишь ты этого или нет, и другая не скоро
услышит их от него, хотя по меньшей мере двадцать восемь слышали их раньше.
Обе мы не дуручки и отлично заметили, как он закусил удила.

— Своими испорченными желтыми зубами, — подхватила Габриель.

— Ты смеешь так говорить о зубах короля! — Диана задыхалась от возмущения.

— Оставь меня в покое, — заявила Габриель. — Он просто-напросто старик.

— Мне жаль тебя, — сказала сестра. — Ему нет еще сорока лет, и притом он закаленный солдат. А фигура у него какая упругая и крепкая в бедрах!

— Лицо точно прокопченное, и морщинок не сосчитать, — заметила женщина, покрившая короля.

— Заставь любого кавалера провести всю жизнь в походах, ему будет не до того, чтобы ровно постригать бороду.

— Седую бороду, — подхватила Габриель. Сестра ее закричала, расвирепев:

— Ну, так если желаешь знать — у него была плохо вымыта шея.

— Думаешь, я этого не заметила? — небрежно спросила Габриель. Та совсем вышла из себя:

— Именно потому я нынче же вечером легла бы с ним в постель. Ведь только великий победитель и прославленный герой может разрешить себе такие причуды.

— Я стою за приличия. Меня не трогает поклонение короля Франции, раз у него потертый колет и потрепанная шляпа.

С этим Габриель удалилась. Диана крикнула ей вслед, голос ее звучал визгливее обычного:

— А твой-то долговязый фат! Завитой! Раздушенный!

Габриель сказала, обернувшись:

— Кстати, ты мне напомнила. От короля дурно пахло.

Ночной путь

Пока король и его спутник ехали по холмам и грядам многоцветной листвы, небо еще алело вечерней зарей. Теперь перед ними был черный лес. Король придержал коня и поглядел на замок, рекущий над верхушками деревьев. Отблеск уходящего дня мягко окрашивал высокие кровли. Раньше они ярко сверкали и сулили — что именно? «Мне стало страшно. Это неизбежно и привычно; перед битвой у меня всегда так бывало на душе. Но мне кажется, что на сей раз я буду побежден и попаду в плен».

Сначала все провидишь ясно, чтоб тотчас все забыть в чаду восторга. «Мой удел на сей раз — терпение, — думал Генрих. — Придется многое сносить и на многое закрывать глаза, ибо на нас лежит печать пережитого и с первого взгляда мы понравиться не можем. А это все решает. До всего того, что выпало на мою долю, до горестей, до трудов, в семнадцать лет знавал я дочку садовника Флеретту. Ясное утро, блестит роса. Я взял ее и любил ее, наша ночь была полна восторгов; я не выпускаю ее руки, наши лица отражаются в колодце; но как отражение в воде, так же быстро исчезла любовь, я кивнул ей издали, и мой конный отряд увлек меня. А тут — черный лес».

Он въехал в чашу. Бельгард давно опередил его, Генрих, углубившись в себя, пустил лошадь шагом. «Мне долго придется осадить ее, — говорил он, — обычно осаду снимают, когда потеряно много времени и людей. Но эту осаду ты не снимешь, дружище, здесь предел твоей свободе, скорее сам ты истечешь кровью». Он вздрогнул, придержал коня, всмотрелся в темноту, привычным взглядом постепенно проник в нее. Это дело не шуточное, и нужно, чтобы оно принесло

счастье! Он упомянул о счастье, и оно предстало перед ним: сильнее
забилось его
сердце, беззаботней стала голова, и он подумал, что старость – пустое
заблуждение, она приходит лишь тогда, когда мы поддаемся ей.

«Я хочу быть счастливым, хочу вновь пережить свои семнадцать лет и посулы
счастья, которому сейчас имя Габриель. Осуществи их сам! Выбора нет, стыд
не
поможет, усталость недопустима. Борись! Будь вновь королем Наваррским,
маленьким человеком перед лицом великих опасностей. Они его не сразили, и
даже
эта не сразит».

Выпрямившись, чтобы перевести дух, он заметил вдали неподвижную фигуру
всадника. Прямая дорога тянулась куда-то вдаль, ветви деревьев осеняли ее; и
все
же Генриху видна была среди листвы и теней уменьшенная далью статуя,
застывшая
в ожидании. «Вот кого она любит! Это истина, и я склоняюсь перед истиной.
Но
если бы он любил ее, он бы тут же, сейчас же вонзил мне в грудь кинжал. А
не
вонзит, тогда я возьму верх, потому что я король. Он красив и молод: убей
меня,
Блеклый Лист, иначе ты потеряешь возлюбленную. Не всегда я буду в ее
глазах
стар и некрасив, об этом я позабочусь, Блеклый Лист. Борода у меня седая,
но
без причины, ибо сам я молод, как никто. Она узнает, что я молод, чего бы
мне
это ни стоило; и пусть мне придется дарить, дарить непрерывно, и
притворяться
слепым, и домогаться, молить, унижаться: в конце концов она перестанет
любить
тебя, Блеклый Лист. И будет любить меня, меня будет любить».

Вот он поравнялся с тем. Поставил рядом коня, склонился к лицу
соперника.

– Бельгард! Очнись! Что ты намерен делать?

– Сир! Сопровождать вас, как только вам не захочется больше быть одному.

Генрих был изумлен, услыша учтивый, спокойный голос. «Как? Буря его не
коснулась, только меня она потрясла? Хотя бы показал недоверие, этого я
вправе
требовать».

– Я старею, – сказал король, когда они тронулись дальше. – Это заметно по
тому, как меня стали принимать женщины. Поверишь ли, одна оставила меня
за
столом, накрытым для двадцати несуществующих гостей, а сама выскользнула
из

дому и уехала. Тут поневоле оглянешься на себя; вот и сегодня то же самое.
Можешь быть доволен. Ты ведь доволен? – повторил король, так как ответа не последовало. Свидетельство ревности! Король торжествовал. – Ты ведь этого хотел, Блеклый Лист. Тебе не терпелось, чтобы я увидел твою возлюбленную, ты готов был показать мне ее купающейся. Она и в самом деле вся белая и розовая, как ты говорил. Скорее белая, чем розовая, совершенно верно. Никогда еще не видел я такой сверкающей белизны и никогда еще ничей облик не сулил мне столько счастья. Как жаль, что я стар.

Последнее было сказано с подлинной грустью или с очень искусным притворством. Бельгард, слушая, все сильнее убеждался в собственном счастье, ибо его счастье было действительностью, а не пустыми посулами.

– Вы правы, я счастлив, – крикнул он вверх, безмолвным вершинам. И тут же начал вполголоса: – У меня прекраснейшая в мире подруга, я обер-шталмейстер Франции, хорош собой, мне тридцать лет, и вечер такой тихий. Я удостоен чести ехать рядом с королем. Сир! Вам хотелось бы отнять у меня мою прекрасную подругу, для вашего дворянина это была бы величайшая честь. Но Габриель д'Эстре любит меня, и вы были бы обмануты.

– Ты будешь забыт, – так же тихо ответил Генрих.

– И все-таки останусь для нее первым, – сказал Бельгард. – Еще при прежнем дворе, когда ей было шестнадцать лет, мы влюбились друг в друга. Покойный король приказывал, чтобы мы танцевали вместе и были одеты в одинаковые цвета. Мы хорошо поступили, что устояли тогда против взаимного влечения. Хоть я и не коснулся ее, она была предназначена мне, а не кардиналу Гизу и не герцогу де Лонгвилю[25. – Де Лонгвиль Генрих (1568–1595) – главный камергер Франции, губернатор Пикардии, противник Лиги.]. Бегство короля из Парижа разлучило нас на три года, и только по чистой случайности мы снова встретились здесь. Но разве бывают такие случайности?

Высокопарно свыше меры – хотелось крикнуть Генриху. Длинно и высокопарно свыше меры, однако он не вымолвил ни слова. А Бельгард, чем темнее становился лес, тем беззаветнее погружался в тихое опьянение своим счастьем.

– Мне сказали: она в Кэвре. Я скачу туда, и кто встречается мне в зале? Мы

смотрим друг на друга, и сразу все решено. Она ждала меня три года, я остался для нее первым. Тетка надзирала за ней, я заплатил тетке, и дверь комнаты не была заперта в ту ночь. Лестница внутри одной из ажурных башенок ведет в боковое крыло, и там я спал с ней, — закончил Бельгард, сам отрезвел от этого слова, умолк и, наверно, крепко сжал губы.

— И это все? — спросил Генрих довольно уныло, хотя на самом деле очень забавно, когда платят тетке и спят с племянницей.

— Я сказал слишком много, — заметил любовник Габриели. То же почувствовал и Генрих; ему было стыдно, что он все это слышал. Задушевные признания того, кого я собираюсь обокрасть, вызывают во мне стыд. Он уже забыл, что недавно, в минуту прозрения, готов был пойти на любые унижения, на добровольную слепоту и даже на позор, лишь бы добиться своего.

Вскоре всадники выбрались на просеку, ту самую, откуда началось их приключение; сюда падал лунный свет. Каждый из них сразу заметил, что другой бледен и сосредоточен; и тут, в этом глубоком уединении, Бельгард вдруг заговорил, как истый царедворец.

— Сир! — умоляюще сказал он. — Не требуйте, чтобы я кичился своей молодостью. Счастливым король молод и в сорок лет. Я же счастлив сегодня, быть может, последний день.

— Какой ты желтый, Блеклый Лист. Даже лунный свет не скрадывает твоей желтизны. Кроме молодости, здоровье тоже чего-нибудь стоит. Тебе следует поехать на воды, Блеклый Лист.

Прелестная Габриель

На каждом шагу, всегда и неизменно Генриху приходится остерегаться врагов. Вот между двумя вражескими полками крадется крестьянин. С мешком соломы на голове проходит он четыре мили лесом, добирается до замка Кэвр и через мост во двор — тут его окликает служанка.

— Эй, старик! Кухня с той стороны. — Ей что-то суют в руку, она изумленно рассматривает полученное и, наконец, исполняет то, что ей приказывают шепотом.

Из дому вышла Габриель д'Эстре.

Она увидела низкорослого крестьянина, седобородого, согбенного, с

обветренным морщинистым лицом, какие обыкновенно бывают у престо­на­ро­дья.

— Что тебе нужно?

— Я принес вести для мадемуазель. Только господин не желает быть назван.

— Говори или убирайся прочь.

Габриель сама уже собиралась уйти. Но вовремя заметила, какой живой и умный взгляд у посланца. Крестьянин ли это? Где я уже видала эти глаза? Да, следовало лучше запомнить их с того, первого раза.

— Сир! — вскричала она, испугалась и сказала приглушенно: — Какой вы некрасивый!

— Я ведь сказал, что вернусь.

— В таком виде! Разве я не заслуживаю того, чтобы вы прибыли в шелку и бархате, со свитой?

Генрих посмеивался в седую запыленную бороду. «Ага, я был стар для нее. А этот крестьянин куда старше, чем вообще может быть король. Я уже кое-чего добился. Если в следующий раз я прибуду с подобающей помпой, она, пожалуй, найдет меня красивей Блеклого Листа».

Габриель беспокойно оглядывалась на дом; в окнах пока никого не было видно.

— Пойдемте! Я покажу вам пруд с карпами.

Она побежала, а он пошел размашистым шагом, пока оба не обогнули угол дома.

Генрих посмеивался в бороду. «Она уже гордится царственным поклонником и ни за что не хочет показать его своим в обличье чумазого крестьянина. Дело идет на лад».

Позади строений сад постепенно шел под уклон, там было удобно скрыться от наблюдателей. Среди древесной чащи к пруду вела усеянная желтыми листьями широкая лестница. Внезапно, в два-три прыжка, Генрих оказывается внизу. Выпрямившись, уже не низкорослым крестьянином, стоит он и ждет, чтобы Габриель спустилась, как в первый раз, когда она, едва сделав шаг, уже ступила ему на сердце.

Она задержалась наверху, но вот уже опускает ногу на первую ступеньку.

Одна рука ее держит жемчужную нить, по перилам скользит другая: точь-в-точь как в

первый раз. Длинные темные ресницы опущены. Она шествует. И чудо достоинства, непринужденности, гибкости и величия вновь открывается ему. Сердце у него бурно бьется, на глаза набегают слезы. Это будет длиться вечно, чувствует он.

Когда она приближается, ресницы еще укрывают ее. Но вот она подняла их, и в ее синих взорах все та же чарующая неопределенность. Знает ли она, что делает?

Генрих не спрашивал об этом. Он видел ее волосы, ее лицо. В скудном свете облачного дня на золотистых волосах ее лежал блеск, бесстрастный, как благодать. Оттого и цвет лица у нее казался матово-белым, и это, на его взгляд, было чарующе прекрасно: он тряхнул головой.

— Сир! Ваше величество недовольны своей слугой, — сказала Габриель д'Эстре с весьма искусной скромностью, приседая перед королем, однако не очень низко. Генрих поспешил поднять ее. Он сжал ее локоть. Впервые почувствовал он ее тело.

Генрих чувствовал ее тело, и два ощущения приходили ему на память, в которых он никогда не посмел бы ей признаться. Первое: перила гладкого старого мрамора, разогретые солнцем, там на юге, в его полуденном Нераке. Он гладил их и чувствовал себя дома. Второе: конь тоже из тех далеких времен, из его юной поры. Он ласкал живую трепетную кожу и был повелителем и был почитателем.

— Сир! Что вы сделали? Вы меня запачкали.

Он отнял руку, она оставила черный след. Генрих принялся удалять его губами. Габриель воспротивилась, достала кружевной платочек; но, коснувшись его лица, платочек тоже почернел, как рука.

— Этого еще недоставало, — сказала она с недовольным смешком, а он испытал миг упоения и любви без границ, без конца. Ее тело под его губами: «Габриель д'Эстре, твое тело, которое я целую, вкусом напоминает цветы, папоротники в родных моих горах. Это вкус солнца и вечного моря — жаркий и горький, я люблю сотворенное в поте лица. В тебе воплощено все, да простит мне Бог, — даже он».

Тут он заметил ее немилостивую усмешку и засмеялся тоже, очень неясно и тихо, чем покори́л и умили́ствовал ее. Они продолжали смеяться без причины, словно

дети, пока Габриель не закрыла ему рот рукой. При этом она оглянулась — снова незабываемый поворот шеи, — как будто их могли заметить здесь, в чаще. Но она хотела лишь подчеркнуть тайну их свидания, и он понял ее. Тогда он откровенно спросил ее, что предпочитает тетка де Сурди — драгоценности, шелка или деньги.

— Превыше всего ей нужна должность для господина де Шеверни, — без стеснения заявила Габриель. — И для господина де Сурди тоже, — вспомнила она. Потом заколебалась на миг и спокойно добавила: — Мне самой нужна должность для господина д'Эстре, потому что отец ходит ужасно сердитый. А что приятнее мне, — драгоценности, шелка или деньги, — я и сама не знаю.

Генрих уверил ее, что в следующий раз привезет все. Но чтобы назначить трех вышеназванных господ губернаторами, ему необходимо сперва завладеть многими городами, землями и еще некоей спальней. Он описал ее местоположение:

— Лестница внутри одной из ажурных башенок ведет в боковое крыло... Там я спал с ней, — закончил он неожиданно голосом своего обер-шталмейстера. Габриель узнала голос и прикусила губу. Блестящие зубки впились в нее. Генрих глядел, не веря своим глазам, все в Габриели было прекрасно, как день, вечно первый день. Лишь сегодня ее нос приобрел такой грациозный изгиб, а у кого еще ресницы так отливают бронзой и так длинны! А ровные, высокие и узкие дуги бровей! Даже в голову не придет, что они могут быть подбриты.

Габриель д'Эстре показала ему обратный путь в обход через поля, чтобы он не встретил никого из замка. Пробираясь снова в обличье крестьянина между полками врага, он помышлял уже не о чарах Кэвра, а о том, как бы поскорее занять Руан. Лига навязала прекрасному городу начальника, но тот, увы, уже давно, в Варфоломеевскую ночь, утратил разум и теперь ссорился с жителями, вместо того чтобы восстанавливать укрепления и запастись продовольствием. Королю действительно следовало употребить все силы на завоевание Руана, что он и задумал твердо и о чем уже объявил. Но когда он принял другое решение, люди стали доискиваться, откуда такая перемена, и без труда обнаружили клику д'Эстре и де Сурди во главе с их яркой приманкой. Недаром король открыто, под сильным

эскортом отправился в Кэвр.

Для первой же встречи все семейство, будучи обо всем осведомлено, собралось полностью: мадам де Сурди в торчащей робе на обручах, господу д'Эстре, де Сурди, де Шеверни и шесть дочерей, из которых лишь Диана и Габриель остались с гостями. Меньшие знали, что предстоит обсуждение важных дел, и шаловливо упорхнули.

Мадам де Сурди с неприступным видом взяла кошелек, который король достал из-под короткого красного плаща. То был кожаный мешочек, она высыпала его содержимое на ладонь, и только тут лицо ее прояснилось, потому что из мешочка выпали драгоценные камни внушительной величины. Она приняла их как королевское обещание презентовать ей еще большие – в урочный час, откровенно заявила она. Во время этого предварительного торга почтенная дама стояла одна перед королем посреди просторной залы, которая вела из нижнего этажа прямо в сад; со стен глядели поясные портреты маршалов из рода д'Эстре, а также оружие, которое они носили, и знамена, которыми завладели собственноручно; все было развешано весьма торжественно.

Король думает: «Что же будет? Уж и эти несколько сапфиров и топазов мой Рони неохотно одолжил мне из своего имущества. Это страшная женщина, она так и приковывает взгляд. Такими щуплыми и сухими, говорят, бывают отравительницы. Лицо птичье и притом белое, такая белизна неестественна, – думает он с глубоким отвращением, – ибо на самом деле вполне очевидно, что она присуща всем женщинам в семье, и что одну делает соблазнительной, у другой напоминает о яде и смерти».

У владельца замка была лысина во всю голову, красневшая при малейшем волнении. Он был охотник и честный мальчик. Супруг Сурди отличался небольшим ростом, широкими бедрами и полнейшей беззастенчивостью, хоть и держался хитро, в тени. Зато весьма заметен был Шеверни, отставной канцлер. Он был выше всех ростом и считался здесь красивым мужчиной, в другом месте его называли бы высохшим скелетом. Однако одет он был тщательнее всех, – очевидно, по причине его отношений с хозяйкой дома.

Генрих разгадал всех троих с первого взгляда. Его опыт в отношении мужчин богат и непогрешим. А женщины? Дальше будет видно. Они обманывают непрестанно;

и виноваты в том не они, а наше воображение. Габриель стоит рука об руку со своей сестрой Дианой. Трогательная семейная картинка, обе девицы скромны и милы. Генрих готов забыть, что одна из них – желанная ему женщина, несравненная по величавости и красоте, цель жизни и вся любовь. До последней минуты считаешь себя господином своих поступков, считаешь, что можешь отступить.

Женщина вроде мадам де Сурди понимает это. И потому она поспешила подать решительный знак рукой вбок, поверх торчавших на обручах складок своего многокрасочного наряда. После чего Габриель выпустила руку Дианы и приблизилась к Генриху. Он не мог вымолвить ни слова, ибо любовь его вновь открылась ему. И так она будет восходить для него каждый день, неизбежно, как солнце. Нет, он не может отступить, как отступил однажды.

Тем временем зала наполнилась. Двери ее были отворены, и через сени в распахнутые створки портала видно было, что во двор беспрерывно въезжают кареты. Пышно разодетые кавалеры и дамы собрались из замков всей округи. Они явились точно на помолвку, перешептываясь, с любопытством жались они по стенам; и тут они воочию увидели, что сделал король. Он поднял руку прекрасной д'Эстре к самому своему лицу и надел ей на палец кольцо – но кольцо не такое, чтобы взволновать дам. Несколько алмазиков, вставленных в тонкий обручик, младший сын в семье мог бы надеть такое колечко на руку бедной падчерице. После этого хозяйка жезлом подала знак слугам, и в залу торжественно были внесены фруктовые воды, оршад, мармелад, турецкий мед, а также расставлены накрытые столы с паштетами и винами, – под присмотром осанистого повара; он же следовал указаниям жезла, которым мадам де Сурди взмахивала, коротко и отрывисто, совсем как фея. На ее огненном парике колыхались два пера – зеленое и желтое. А когда она поворачивала шею, получалось совсем как у Габриели, жест был, бесспорно, родственный, хотя грация тут превращалась в гримасу, а восторг – в омерзение. Одно вообще так близко к другому.

Привлеченные едой гости забыли робость, протиснулись на середину и стали шумно спорить из-за мест. Знатнейшие стремились, через приближенных короля, представиться ему и заверить его в своей преданности, что не мешало сделать,

ибо совсем еще недавно они сражались против него. Хотя это была для него чистая прибыль, он отвечал просто, что каждый настоящий француз признает его и служит ему, впрочем подолгу он не задерживался ни с кем и вступил в беседу лишь с герцогом де Лонгвилем. Это второй поклонник Габриели; она колебалась, быть может, она и теперь еще не знает, который из двух: он или Блеклый Лист. Так вот они каковы! У этого волосы искусственно обесцвечены, а лицо девическое, какие были в моде при прошлом дворе. Однако он храбр, у одной дамы убил ворвавшегося в спальню супруга, хотя сам был в рубашке.

— Расскажи об этом, Лонгвиль! — Король втягивает его в разговор, Габриель д'Эстре обиженно удаляется. Впрочем, она могла отговориться тем, что ее увлекла толпа, движущаяся по зале: люди, которые жаждут увидеть короля или поживиться чем-нибудь съестным. Все это суетится, сильно потеет, скверно пахнет, над толпой колыхаются перья, а шеи, возвышающиеся над остальными, несут на крахмальных брыжах головы, которые как будто самостоятельно парят по зале.

Короля самого подхватило и понесло к другому концу залы: цепь дюжих слуг отгораживала этот угол. Там хозяйка ждала короля, подняв жезл, словно завлекая его с помощью волшебства. Короля посадили за отдельный стол, господа д'Эстре, де Сурди и де Шеверни стоя прислуживали ему: один подносил вино и дыню, второй — жирного карпа, третий — паштет из дичи, сплошь начиненный трюфелями. На короля вдруг напал сильнейший голод, однако он приказал сперва, чтобы Габриель д'Эстре села рядом с ним. Ее не могли отыскать. Вместо нее папаша д'Эстре нагнулся над королем, которому как раз наливал вино, и произнес в непритворном гневе, так что лысина его побагровела:

— Сир! Мой дом — это непотребный вертеп. Если бы я задумал ночью пройтись по спальням моего замка, дабы отомстить за честь семьи, от моего семейства не осталось бы и следа. Что пользы мне в его гибели? Только и утешения что от прелюбодейной четы в Иссуре.

Он подразумевал свою жену и маркиза д'Алегра. Король спросил честного малого, почему именно они служат ему утешением. Господин д'Эстре отвечал, что маркиз д'Алегр пользуется всеобщей ненавистью в подвластном ему городе, который

ему приходится разорять ради мадам д'Эстре и ее ненасытных потребностей. Нет сомнения, что это кончится большой бедой... Но тут настала очередь жирного карпа. Господин де Сурди, на обязанности которого лежало поднести его королю, отнюдь не упоминал о семейных бедах, несмотря на ветвистые рога, явственно украшавшие его лоб. Нет, он пекся единственно о городе и департаменте Шартр. Первым он сам управлял некогда, во втором был господином друг его Шеверни, пока обоих их не прогнали вследствие усилившегося беззакония и ущерба королевской власти. По мнению карпа, ибо господин де Сурди был схож с ним, нужно брать не Руан, а непременно Шартр. Непременно, подтвердил бывший канцлер, который сменил карпа и поднес королю паштет из куропатки, сплошь начиненный трюфелями. Этот тощий дворянин показал необычайную сноровку не только в роли лакея, но и в разгадывании королевских намерений и вкусов.

— Сир! — проговорил он вдумчиво и проникновенно. — Вы могли бы принудить свой город Руан к сдаче, чем бы сразу закрепили за собой свою провинцию Нормандию. Однако это стоило бы большого кровопролития. Ваше величество сами высказывались, что вы с прискорбием душевным видите тела подданных своих, устилающие поля сражений, и где вы выигрываете, там же и теряете. А ведь высшее должностное лицо, известное всему департаменту, без труда могло бы подчинить вам Шартр путем мирного соглашения. — Вот как он угадывал желания короля, и к тому же в голосе его было столько благородства.

Подошла очередь мадам де Сурди; по мановению ее жезла появилась большая закрытая миска, и когда серебряную крышку подняли, обнаружилась живая статуэтка Амура, коварного ребенка, — один пальчик приложен к губам, в кудрях розы, в колчане полно стрел. Пока все любовались миловидным стрелком и по зале шли охи и ахи, мадам де Сурди, — сама рыжая, а перья желтые и зеленые, — подняла перед королем жезл и спросила:

— Опустить мне его? Шартр господину де Сурди, а господину де Шеверни королевскую печать.

Веки короля шевельнулись еле заметно, но мадам де Сурди следила зорко. Она опустила жезл, и за столом возле короля, совсем рядом с ним, очутилась прелестная Габриель.

Долина Иосафата

К востоку от города Иерусалима, в сторону, противоположную Средиземному морю, но недалеко от Мертвого моря, лежит Долина Иосафата. Это впадина между городской стеной, кольцом окружающей город, и горой Елеонской. Нам знакома страна, нам знакома долина и слишком хорошо известен Гефсиманский [26. – ...слишком хорошо известен Гефсиманский сад. – По евангельскому преданию, в Гефсиманском саду Христос произнес свою последнюю молитву, в которой просил Бога-Отца избавить его от мук распятия (так называемое «моление о чаше»).] сад. Благочестивейшие люди желают быть похороненными только в Долине Иосафата, ибо трубный глас воскресения и Страшного суда, когда прозвучит, прежде всего будет услышан там. А здесь, внизу, меж дерев сада, именно здесь был искушаем наш Господь. Иуда собирается его предать, что не укрылось от него, ибо великое тяготение людей отпасть от Бога открывается ему через собственную слабость. Ему не хочется умирать, и в Гефсиманском саду, с каплями смертного пота на челе, он говорит Богу: «Отче Мой! Если не может чаша сия миновать Меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя».

Долина Иосафата, так именовался королевский лагерь под Шартром, и однажды, когда король весь в грязи вылез из траншей, кого несли к нему навстречу? Генрих побежал, как мальчик, чтобы подать руку своей Габриели и помочь ей выйти из носилок: при этом он чуть не забыл госпожу де Сурди; а затем повел обеих дам в Иосафатскую долину. Габриель красовалась в зеленом бархатном платье, которое так шло к ее золотистым волосам: в туфельках из красного сафьяна ступала она по грязи, но при этом улыбалась победоносно. Длинное здание гостиницы было отведено возлюбленной короля; без долгих проволочек она в ту же ночь приняла там того, кто столь сильно желал ее.

Она поступила так по совету своей многоопытной тетки де Сурди, сказавшей ей, что она не пожалеет об этом, что король из тех, кто платит и потом, и что потом его влюбленность даже возрастет. Эта премудрая истина оправдалась, и первый, кто извлек из нее выгоду, была сама госпожа де Сурди, так как старый друг ее

Шеверни получил от короля печать и стал именоваться «господином канцлером».

Длительное несчастье делает недоверчивым. Когда тощий дворянин, приспешник покойной Екатерины Медичи, вдохновительницы Варфоломеевской ночи, вошел в комнату к королю-протестанту, каково ему было? Пот выступил у него на лбу, ибо он не сомневался, что над ним решили поиздеваться и вскоре его потихоньку уберут. Так принято было поступать в его время.

У окна подле короля стоял только его первый камердинер, господин д'Арманьяк, седой человек. Он все долгие годы сопровождал своего господина повсюду — в плен, на свободу, переживал с ним смертельные опасности и счастливые дни. Он спасал ему жизнь, добывал для него лопот хлеба и отвращал беды, когда они грозили ему от мужчин. От женщин он никогда не предостерегал его, потому что и сам, как его господин, не ожидал от женщин ничего дурного, разве только от уродливых. А госпожу Сурди д'Арманьяк находил красивой, потому что у нее были рыжие волосы и дерзкие голубые глаза, которые неминуемо должны привести в восторг галантного кавалера с юга. Поэтому он заранее был на стороне господина де Шеверни и старался по мере сил, чтобы друг госпожи де Сурди встретил у короля хороший прием. По едва заметному знаку д'Арманьяк взял со стола печать и ключи и торжественно, как при официальной церемонии, вручил их королю, и тот поневоле подчинился тону, заданному первым камердинером, обнял господина канцлера, высказал ему свое благоволение и простил прежние грехи.

— Отныне, — так сказал король, обернувшись в глубь комнаты, — оружие, которое представляет собой эта печать, будет направлено господином канцлером не против меня, а против моих врагов.

Шеверни, хоть и выдавший виды, тут онемел от изумления. В глубине комнаты слышен был шепот, ропот и, если верить ушам, звон оружия. То были протестанты, и недовольство их относилось не только к этой сцене: пребывание обеих дам в Иосафатском лагере не нравилось им. Их злило, что из-за дам, вместо завоевания важного пункта, Руана, зря тратится время на осаду Шартра. Они боялись еще больших бед от новой страсти короля, ибо на стойкость его в вере уже не надеялись.

Благополучно ускользнув из этой комнаты страхов, господин де Шеверни сперва

никак не мог опомниться, но приятельница его де Сурди разъяснила ему, на чьей стороне сила в долине Иосафата. Во всяком случае, не на стороне пасторов. Однако оба сошлись на том, что Габриель должна держать у себя в услужении одних протестантов. Сама она тоже поняла, что это полезно. Впрочем, она преимущественно танцевала. Каждый вечер в Иосафате пировали и танцевали, то была весьма веселая осада. Когда все ложились спать, король, взяв сотню конных, отправлялся дозором. Ночь его была коротка, солнце заставляло его за работой, а днем он охотился – и все оттого, что эта возлюбленная своим присутствием лишала его покоя, как ни одна до нее, и небывалым образом подхлестывала его силу и энергию. Тем более раздражало его, что осажденный город не желал покориться. Габриель д'Эстре, он знал отлично, послушалась практических советов, а не велений сердца, когда отдалась ему.

Генрих поклялся изменить это; у женщин бывают разные соображения, расчет не исключает у них чувства. «В сорок лет мы это знаем. В двадцать мы вряд ли польстились бы на возлюбленную, которая тащит за собой целый обоз непристроенных дворян. Никогда бы мы не поверили, что способны взять на себя труд явиться ей в целом ряде образов, от самого скромного до самого высокого – сперва старым низкорослым крестьянином, которому она говорит: до чего вы некрасивы; затем во всем королевском великолепии; затем солдатом, который повелевает, управляет и всегда бодрствует. Но под конец она должна увидеть победителя. Перед ним ни за что не устоит ее чувство, ибо женщины грезят о покорителях людей и городов и ради них готовы забыть любого молодого обер-штабмейстера. Тогда она станет моей, и исход борьбы будет решен».

Наконец Шартру пришлось сдаться, потому что королевские воины подкопались под самые его стены. Брали одно передовое укрепление за другим, а потом взяли замок и город; таким же образом взял Генрих и Габриель, которая, еще не любя его, уже делила с ним комнату в гостинице «Железный крест». Его упорство завоевало ему одно из передовых укреплений ее сердца, а когда он вошел в Шартр, у него были все основания полагать, что он проник и в твердыню ее души. То был ярчайший день, двадцатое апреля, то были гулкие колокола, вывешенные ковры, дети, которые усыпали весь путь цветами, духовенство, которое пело, то был мэр с ключом, а четверо советников держали синий бархатный балдахин над королем, и

он, сидя в седле, созерцал свой город, едва завоеванный и уже восторженно встречавший его. Прекрасный день! Прекрасный день, и протекает он на глазах у любимейшей из всех женщин в его жизни!

Торжественный прием происходил в знаменитом, высокочтимом верующими соборе, а впереди толпы сияла возлюбленная со своей свитой, король являл ей свое величие и, поглядывая на нее искоса, убеждался, что она готова растаять перед этим величием. Какая-то тайная причина мешала ей, она покраснела, прикусила губу — да, усмешка выдала ее. Таким путем король, на беду, обнаружил, что позади нее в тени притаился кто-то: давно он не встречался с тем и даже не спрашивал о нем. Вон там прячется он. В первой вспышке гнева Генрих знаком призывает к себе всех своих протестантов, они прокладывают ему путь — он спешит к проповеди в дом, пользующийся дурной славой. Увы, это так — его пастору, чтобы молиться Богу, отведено помещение, где обычно выступают комедианты и бесчинствуют сводники и воры. Это место король предпочел обществу порядочных людей: поднялся такой ропот, что ему оставалось лишь покинуть Шартр.

Но сперва он помирился с возлюбленной, которая клялась ему, что собственные глаза обманули его, тот дворянин никак не мог находиться в церкви, иначе она бы знала об этом! Это был самый ее веский довод, Генриху очень хотелось счесть его убедительным, хотя нелепость его была очевидна. Где доказательство, что она действительно ничего не знала? Уж никак не в беспокойно блуждающем взгляде ее синих глаз, говорившем: берегись! И все-таки он согласился на примирение, именно потому, что не один владел ею до сих пор и хотел дальше бороться за нее.

Она отправилась назад в Кэвр, где он навещал ее и где господин д'Эстре заявил ему, что честь дома терпит один ущерб от такого положения. Оба выражались по-мужски.

— А как вы сами назвали свой дом? — спросил король.

— Непотребным вертепом, — проворчал честный малый. — Простые дворяне порочили его, не хватало только короля, теперь и он объявился.

— Кум, проще всего было бы вам сопровождать свою дочь в Шартр. Во-первых, вы

могли бы следить за ней. Кроме того, вы были бы теперь тамошним губернатором. А вместо вас назначен господин де Сурди, но его все ненавидят по причине его уродства, и потом, он сразу показал себя хищным, — прямо не карп, а щука. Мне нужны честные люди, кум.

— Сир! Я всей душой стремлюсь служить королю, однако дом свой очищу от скверны!

— Давно пора, — сказал король, — и начать собираетесь с меня?

— Начать собираюсь с вас, — подтвердил господин д'Эстре, меж тем как лысина его покраснела.

Король ускакал, не повидав своей возлюбленной, а дорогой обдумывал предложение королевы Английской. От нее он может получить три-четыре тысячи солдат с содержанием за два месяца, и небольшой флот согласна она послать ему — только он должен всерьез заняться Руаном. Таково было ее требование, вполне понятное со стороны пожилой женщины, которая, кроме власти, не знает уже никаких других благ. Король пустил коня более быстрым аллюром, под конец перевел его даже на галоп, удивленные спутники отстали от него; он весь — движение, а в Англии неподвижно сидит старуха.

Елизавете теперь уже далеко за пятьдесят; радея единственно о своей власти, она казнила собственных фаворитов и с католиками у себя в стране поступала не лучше. Генрих же не пожертвовал ни одной женщиной, да и мужчин, хотевших убить его, он нередко миловал. Однако никакой Армады он не победил, это верно; такой удар всемирной державе нанес не он — к сожалению, не он. И будь Елизавете даже шестьдесят лет, ее народ не смотрит на годы, он видит великую королеву на белом иноходце, прекрасную, как всегда. Елизаветой руководит только единственно одна воля, которую не сломит ничто: ни жалость, ни любовь. «Имя «великий» мне не пристало», — думает Генрих.

Лошадь его пошла шагом. «Имя «великий» мне не пристало. Впрочем, разве сорокалетнему человеку медлить и откладывать свои личные дела? Я сам лучше знаю, что с Руаном мне спешить некуда, сперва надо пристроить господина д'Эстре». Это он и сделал вскоре. Он захватил город Нуайон и посадил туда

губернатором отца Габриели. Честный малый сразу почувствовал, что отныне ничто не может его обесчестить. Дочь открылась ему: она надеется стать королевой.

Все слуги у нее были протестанты. Она давала пасторам деньги на их ересь, и вскоре сама была заподозрена в ереси. В течение лета король делал ей такие богатые подарки что, кроме личных трат, у нее хватало и для более высоких целей. Следуя совету тетки де Сурди, она завязала сношения с консисторией, нащупывая, согласятся ли там расторгнуть брак короля. Иначе, так намекали посредники, можно опасаться, что король отречется от своей веры. Таким путем он сразу завладеет своей столицей и будет достаточно могуществен, чтобы добиться у папы всего, чего пожелает, — вернее, того, что внушат ему госпожа де Сурди и ее тощий друг. Ибо влюбленный Генрих в это лето забыл все на свете. Такова, к сожалению, была истина.

Он продолжал быть деятельным в мелочах, иначе он не мог; но о дальних целях, к сожалению, не помышлял, и, так как, по сути дела, они были точно определены, он их не касался. Всякий вправе разрешить себе передышку, отвлечение, слабость. А быть может, это нельзя назвать слабостью, быть может, это только придаст силы для нового прыжка тому, кто уверен в своем деле. Не таковы уж женщины, их замыслам препятствует собственное сердце. Хотя клика Сурди пользовалась прекраснейшим орудием, однако и оно было подвержено слабостям женской природы. В замке Кэвр, где уже не жил никто, кроме нескольких слуг, Габриель принимала своего Бельгарда.

Английский посланник писал своей повелительнице из Нуайона, что король не может вырваться оттуда вследствие сильного увлечения дочерью губернатора. Последняя, правда, не раз исчезала из города, и королю незачем было следить за ней, ему обо всем доносили: в первый раз — куда она ездила, во второй — что она там делала. В третье ее путешествие он сам сопровождал ее на расстоянии и неприметно, потому что дело происходило ночью. Коню своему он обернул копыта. В местах, освещенных луной, прятался в тень. Габриель ехала в низенькой полукруглой коляске, запряженной бараном, сама правила, а пышный плащ ее волочил по земле. Видение скользило в лунном свете. У Генриха сердце колотилось, и когда коляска огибала опушку, он ехал наперерез и нагонял ее.

Он добрался до Кэвра со стороны полей, привязал коня и прокрался в сад, который утопал в летнем цветении, так что скрыться здесь мог всякий. Однако Генрих чувствовал врага. Чувства, обостренные ревностью, распознавали в неподвижном теплом воздухе среди испарений листвы запах человека. «Отведи в сторону куст, один лишь куст, и откроешь лицо, которое не сулит тебе ничего доброго!» Но Бельгард не шевелился, он стоял так же неподвижно, как сам Генрих, пока их возлюбленная спускалась по лестнице к пруду.

Глубокая тишина природы. Листок, который она задела, продолжает шелестеть, в то время как она останавливается и вглядывается в темноту. Широкие ступени наполовину черны, наполовину залиты ярким лунным светом. Внизу таинственно мерцает вода. Скрытая складками плаща фигура словно отливает серебром; и рука, придерживающая его у шеи, оправлена в серебро. Большая шляпа, защитница на недозволенных путях, затеняет все лицо до подбородка, который кажется особенно белым. «О, бледный лик измены! О, женщина в ночи, зачарованная и обманчивая, как сама ночь!» Генрих теряет власть над собой, взор ему туманят слезы, он отводит куст, перепрыгивает через три ступеньки сразу, он возле нее, хватается за нее, чтобы она не успела скрыться. Откидывает ей голову, говорит сквозь зубы:

— Бежать, прекрасная моя любовь? От меня, от меня?

Она пыталась овладеть собой, голос ее еще дрожал:

— Как могла я думать, что это вы, мой высокий повелитель!

Он медлил с ответом, прислушиваясь. И на ее лице он читал тревогу.

— Разве мы не созданы для того, чтобы угадывать друг друга? — спросил он элегическим тоном, соответствующим ночи и ее призрачным теням. — Разве магическое зеркало наших предчувствий не показывает нам, где находится и что делает каждый из нас?

— Да, да, конечно, мой высокий повелитель... — Сама не зная, что говорит, она прислушивалась к треску веток: он слабел, совсем затих. Она вздохнула с облегчением.

Генрих не хуже ее знал, кто это уходил.

— Сладостный вздох! Многообещающая бледность! К чему отрицать, что вы здесь ради меня. Мы не могли не встретиться. Ведь мы одни из тех вечных любовников, вокруг которых мир может рухнуть, а они и не заметят. Абельяр[27. – Абельяр Пьер (1079–1142) – выдающийся средневековый французский философ и богослов. Его чувство к девушке Элоизе стало примером страстной и верной любви.] и Элоиза, Елена и Парис.

Она очень боялась, как бы он не догадался, что он здесь в роли не Париса, а Менелая. Но, с другой стороны, это смешило ее – она с иронией взглянула на него из-под полей шляпы и сказала:

— Мне холодно, пойдите отсюда.

Он, взяв кончики ее пальцев и, держа их в поднятой руке, повел ее по садовой лестнице, по спящему двору к левой башенке ажурной архитектуры. Лишь наверху, у себя в комнате, Габриель осознала, что происходит, и, так как изменить нельзя было ничего, она быстро сбросила с себя все одежды и скользнула в постель. Под кроватью на полу лежал тот, другой – до чего никак не могла додуматься рассудительная любовница. Только мужчина, исполненный страсти, угадал отчаянный порыв другого, был готов к тому, что соперник не устоит перед искушением, и, едва переступив порог, обыскал взглядом комнату. Кровать была ярко освещена луной.

Генрих лег рядом с возлюбленной, она с готовностью протянула к нему свои прекрасные руки. Тут он впервые заметил, что они несколько коротковаты. И больше всего его раздосадовало, что другой тоже знает этот недостаток. После любовных утех они захотели есть и открыли коробку с конфетами, которую захватил с собой Генрих. Они набили рты и ничего не говорили. Но вдруг Габриель услышала какой-то шорох, отличный от чавканья ее любовника. В испуге она сама перестала есть и замерла.

— Бери еще! – сказал он. – Разве у тебя в башенке водятся духи? Не пугайся их стонов, оружие у меня под рукой.

— О дорогой мой повелитель, это ужасно, не одну ночь провела я внизу у

служанок, потому что здесь кто-то стонал. — На сей раз у нее не было охоты смеяться. Генрих сказал:

— А что если это дух Блеклого Листа? Я давно не видал его — может быть, он умер. Но все равно, дух или человек, а жить каждый хочет, — добавил он и бросил под кровать несколько конфет.

Оба ждали и в самом деле вскоре услышали под кроватью хруст. Скорее, однако, злобный, чем жадный.

— Бежим! — молила Габриель, дрожа и цепляясь за него.

— Как же я могу встать, когда ты держишь меня?

— Возьми меня с собой, я боюсь. Открой скорее дверь, я брошу тебе платье.

Она перебралась через него и стала тянуть его за руку, моля в ужасе:

— Не заглядывай под кровать! Это может навлечь на нас беду.

— У меня есть враги и похуже духов, — сказал он невнятно от муки и страха, щемившего где-то внутри. — В духов я верить согласен. Но во что я не желаю верить и о чем не хочу знать, — это о прошлом, которое было для тебя плотью и кровью и теперь еще, пожалуй, живо в твоей памяти.

— Бежим, ради Бога!

— Мне все рассказали про тебя: о Блеклом Листе, о Лонгвиле и о том, что было до них. Когда покойный король пресытился тобой, он продал тебя левантинцу Цамету[28. — Цамет Себастьян (1549–1614) — сапожник-левантинец из свиты Екатерины Медичи. Благодаря своим денежным операциям стал богатейшим банкиром своего времени, ссужал деньгами Генриха IV и его возлюбленных, за что Генрих IV давал ему выгодные откупы и назначил его скюринтендантом дома королевы.], который торгует деньгами.

Давая волю своему страданию, он собрался назвать еще многих, хотя сам не верил ни в одного, но тут она упала к его ногам и обнимала его колени, пока он не поднялся, да и тогда еще осталась на полу, своим телом загораживая от него кровать. Он оделся, ни разу и не посмотрев туда. Потом накинул на нее широкий

плащ, поднял ее, спустился с ней по витой лесенке, снова прошел через двор, через сад до поля, где стоял конь. Он посадил ее впереди себя. Тихая ночь, обернутые копыта, мягкая вспаханная земля. Габриель явственно расслышала шепот у себя за спиной:

— Так лучше. Я знаю, искушение, испытание, трудные минуты. И все-таки я завою тебя, прекрасная моя любовь.

Катрин неизменно

Кэврский сад утопал в летнем цветении, так же как Генрих — в любви, а в таких случаях ни один человек не видит дальше, чем ступает его собственная нога. Но и эта буйная поросль чувств поредела, соответственно времени года, и король снова занялся своими делами, решительней прежнего, несколькими сразу, но с точным расчетом, хотя случались и неожиданности, от которых легко голову потерять. Громом среди ясного неба была затея его милой сестры покинуть и предать его и помочь сделаться королем своему возлюбленному, Суассону; тогда вместо брата Генриха она сама со своим любезным супругом взошла бы на престол. Генрих, как услышал об этом — принялся разить направо и налево. Он грозил смертью каждому, кто приложил руку к этому предприятию. Милой сестре своей он приказал явиться к нему в его кочевую резиденцию, а не то он велит доставить ее силой.

Он велит силой вывезти ее с их старой родины Беарна, где она занималась опасными происками против него, помимо того, что помышляла выйти замуж за кузена Суассона. После этого неминуема была бы попытка убить ее милого брата, что, наверно, сознавала и она. Много становится понятно в жизни, когда брат и сестра росли вместе и были связаны общей целью на трудных переходах, без всякой опоры. Ведь, в сущности, никого нет у детей королевы Жанны, кроме них двоих. Как ни странно, Генрих позабыл Габриель д'Эстре, чужую, виновницу многих заблуждений и недоразумений, все это бледнеет перед заговором моей малютки Катрин.

Он назвал ее как в детстве и схватился за голову. Он не выходил из комнаты

все те долгие дни, что карета ее катилась по дорогам, но под конец не выдержал и помчался ей навстречу. Облачко пыли вдали, в нем должно быть скрыто все то, что осталось от юной поры его жизни, исчезни оно, и он сам станет себе чужим. Облако пыли осело, карета остановилась. Никто не шевелится, сопутствующие дворяне сдерживают коней и смотрят, как король подходит к дверце кареты.

— Не угодно ли вам выйти, мадам, — предложил он церемонно, и только тогда показалась она. Неподалеку среди полей стоял крестьянский двор. Они бросили всех провожатых на дороге, они одни пошли туда. Генрих сказал: — Милая сестра, какое у вас угрюмое лицо, а я ведь так рад вас видеть.

Это звучало ободряюще, это звучало умиротворяюще и никак не походило на те слова укора, которые он готовил. Ответа не последовало, но сестра повернулась к нему лицом, и этого было достаточно: он остолбенел. Четкий свет пасмурного дня показал ему источенное скорбью лицо. Увядшей под бурей неясной розой предстало ему пепельнокудрое, едва расцветшее дитя — в его глазах по-прежнему и до конца ее дней едва расцветшее дитя; перемены были только внешние. Он успокоил свою совесть, которую встревожило это зрелище. «Следы старости только внешние — кто ж это стареет? Никак не мы». И все-таки он здесь увидел воочию: они старели.

Внезапно он понял свою собственную вину, о которой прежде не хотел и помыслить. «Мне давно надо было выдать ее замуж, хотя бы за ее Суассона. Много ли нам дано времени для того, чтобы быть счастливыми. Она немало боролась с собой из-за того, что он католик. А теперь и я скоро буду католиком. Во имя чего мы себя мучаем? Все мы комедианты. Totus mundus... Наше назначение в жизни по большей части просто игра».

Крестьянский дом был виден весь насквозь. Обитатели его куда-то подевались. Генрих обтер скамью перед входом, чтобы Катрин села на нее. Сам он, свесив ноги, уселся на стол, стоявший на врытых в землю бревнах.

— Во имя чего мы себя мучаем? — повторил он вслух. Говорить об измене было бы крайне неуместно, да и несправедливо — как ему вдруг стало ясно. — Сестра, —

начал он, — знаешь ли ты, что главным образом из страха перед тобой я не решался изменить нашей вере: без тебя все было бы много легче. Как мог я думать, что ты сама отступишь от нее и пожелаешь стать католической королевой?

Он говорил просто, миролюбиво, почти весело, чтобы она улыбнулась, хотя бы сквозь слезы. Но нет, у нее по-прежнему было жалкое, замкнутое лицо.

— Брат, вы причина многих моих разочарований, — сказала она, когда уже невозможно было медлить с ответом. Он подхватил поспешно:

— Знаю. Но я питал наилучшие намерения, когда в добрый час предлагал кузену союз наших семей.

— Ты это сделал, чтобы привлечь его на свою сторону, а едва не стало тех, кто стремился возвести его на престол, как ты нарушил данное ему слово, — заключила она сурово; но сама разгорячилась, так что говорила сурово и в то же время искренне. Только одно это создание здесь на земле могло позволить себе такую откровенность с ним. Иначе он, пожалуй, и не узнал бы никогда, что нарушил данное слово. До сих пор оно казалось ему не особо веским, второстепенным, вроде самого Суассона. Настоящей угрозой был Лотарингский дом, настоящей угрозой продолжал быть Габсбургский дом. «Милого кузена можно было устранить одним безответственным словом: ты получишь мою сестру, обещание дано, и конец». В ту пору дворяне-католики особенно настойчиво требовали, чтобы Генрих решался и переходил в их веру, а не то они провозгласят королем кузена. «В общем, все это было несерьезное дело, — твердил себе Генрих, — разве я бы иначе забыл о нем? Теперь оно стало изменой. Значит, я способен на измену».

Сестра кивнула; она читала в его лице.

— Всегда во всем твоя выгода, — сказала она серьезно, но уже не сурово. — О счастье других ты забываешь, и все-таки — ты добрый, тебя называют гуманным. Только, увы, ты забывчив.

— Сам не знаю, как это получается, — пробормотал он. — Помоги мне, милая сестра, — попросил он, уверенный, что «помоги мне» больше тронет ее сердце, чем «прости мне».

— Что ты хочешь сказать? — спросила она нарочно, ибо думала о том же, о чем и он, — о созыве в Париже Генеральных штатов.

Он заявил презрительным тоном:

— Мой побежденный враг Майенн хорохорится и рассылает гонцов для созыва Генеральных штатов, чтобы королевство сделало выбор между мной и Филиппом Испанским. Им недостаточно проигранных битв.

— А королевство может выбрать и графа де Суассона, — наставительно сказала она. — Он тоже Бурбон, как ты, но уже католик.

— Клянусь Богом, тогда я поспешу отречься.

— Брат! — в ужасе произнесла она; в сильнейшем волнении бедняжка вскочила со скамьи и неровными шагами — хромота была теперь очень заметна — побежала вдоль низкого забора фермы. С дерева свешивался персик, она сорвала его и принесла брату. Тот поцеловал руку, из которой взял плод.

— Несмотря ни на что, — сказал он. — Мы остаемся сами собой.

— Ты — без сомнения. — Сестра напустила на себя тот строгий, но рассеянный вид, высокомерно-рассеянный, с каким всегда говорила о его амурных делах, впрочем, и о своем собственном непозволительном поведении тоже. — Ты опять завел себе особу, которая доведет тебя до чего угодно. Не из-за Генеральных штатов отречься ты от нашей веры, — заявила она, хотя это совсем не вязалось со сказанным ранее. — Нет. Но стоит мадемуазель д'Эстре пальцем поманить, как ты предашь и нашу возлюбленную мать вместе с господином адмиралом, и нас, живых свидетелей.

— Габриель сама протестантка, — возразил он, чтобы упростить дело, — ведь она, во всяком случае, поддерживала отношения с пасторами.

Катрин сделала гримасу.

— Она интриганка, сколько врагов нажил ты из-за нее. Наверно, она потребовала, чтобы ты арестовал меня, и приехать сюда мне пришлось по ее приказу. — Принцесса негодуяще оглядела грязный двор, по которому бродили куры.

Генрих горячо запротестовал:

— Об этом она не вымолвила ни единого слова. Она рассудительна и во всем покорна мне. Зато ты сама затевала против меня преступные козни, а возлюбленный твой самовольно покинул армию.

Его вспышка заметно ее успокоила: это удивило его. Он осекся.

— Продолжай, — потребовала она.

— Что же еще, довольно и того, что твое замужество поставило бы под угрозу мою жизнь. Если у вас будут дети, то убийцы, подстерегающие меня, не переведутся никогда, это все мне твердят в один голос: а ведь я ничего так не боюсь, как ножа. Молю Бога, чтобы он даровал мне смерть в бою.

— Милый мой брат!

Она стремительно шагнула к нему, она раскрыла объятия, и он прильнул головой к ее плечу. У нее глаза остались сухими, принцесса Бурбонская плакала не так легко, как ее венценосный брат; воображения у нее тоже было меньше, и опасность, которая будто бы грозила его жизни в случае ее замужества, казалась ей измышлением врагов. Тем неизгладимее ложилась ей на сердце скорбь этой минуты; но его подернутый слезами взор ничего не прочел на состарившемся лице сестры.

После этого она напомнила ему еще только об одном давнем событии, которое произошло к концу его пленения в Луврском дворце и, собственно, послужило толчком к бегству. Он застал тогда сестру свою Екатерину в пустой зале со своим двойником: у него было то же лицо, та же осанка, но особенно убеждала в их тождественности одежда незнакомца, такая же, как у Генриха, и сестра опиралась на его руку, как обычно на руку Генриха.

— Я нарочно нарядила его, чтобы усилить природное сходство, — так сказала она теперь, стоя посреди крестьянского двора. — Съешь персик, я по лицу вижу, что тебе хочется съесть его. — Он послушался, задумавшись о тайных пружинах, воздействующих на повседневную жизнь.

Отшвырнул косточку. Произнес задумчиво:

— Недаром я готов грозить смертью всякому, кто хочет рассорить нас. Не в моих привычках грозить смертью — ради престола я бы не стал это делать, только ради тебя.

Таким образом, оба одинаково по-родственному заключили разговор, который привел к цели, хотя и оставил неразрешенными многие сомнения. Они невольно повернули руки ладонью кверху, заметили это, улыбнулись друг другу, и брат

проводил сестру назад через поля.

И словно их могли подслушать посреди дороги, Генрих прошептал на ухо Екатерине:

— Катрин, не верь ничему, что мне вздумается говорить и делать в дальнейшем.

— Она не будет королевой?

На этот прямой вопрос, ради которого она совершила весь долгий путь, он ответил неопределенно, но тоном, который устранял все недоумения:

— Ты всегда останешься первой.

Принцесса приказала своим людям поворачивать назад. Король молчал, и ей повиновались среди всеобщей растерянности. Стоило ради этого ездить так далеко.

Принцесса со своими дамами и с арапкой Мелани села в карету, король крикнул кучеру, чтобы гнал лошадей. Сам он поскакал рядом с каретой, по пути нагнулся к дверце, схватил руку принцессы и некоторое время держал ее. Начался лес, дорога сузилась, королю пришлось отстать. Он остановился и глядел вслед карете, пока она почти не исчезла из вида, и пустился назад, лишь когда облако пыли совсем сомкнулось над ней.

Снова Агриппа

Столько всего сразу, что голову можно потерять. Генеральные штаты в Париже, недурная помесь — полоумное сектантство и вздорная наглость близящейся к полному упадку всемирной державы, которая до последней минуты стремится пожирать королевства. А разыгрывается весь этот фарс перед лицом, которому куда лучше было бы, если бы настоящий его король раздал ему хлеб родной земли, вот ради чего стоило бы потрудиться! «Наше назначение в жизни по большей части игра». Так говорил ныне прославленный старый друг короля французского по имени Монтень; тот самый, кто говорил: что я знаю? Но незабываемы остались для короля его слова: «Сомнения мне чужды». Да, некоторые черты внешнего мира заставляют презреть колебания и убивают нашу доброту. Надо идти на них приступом и сокрушать их без пощады, что внешний мир склонен прощать, по крайней мере до поры до времени. Или лучше, во имя государственных соображений, совершить

насилие над самим собой, изменить своей вере, отречься от нее? Бог ведь, что будет потом. Но такова, как видно, его воля, выхода нет, нет уже и края у бездны, и не осталось разбега для великого смертельного прыжка.

А потому спешите! Как же поступил тут Генрих? Он призвал к себе своего д'Обинье, своего пастыря в латах, свою бесстрашную совесть, того, у кого всегда поднята голова, на устах псалмы и спокойная улыбка праведника. Низенький человечек Агриппа заметил:

— Я пользуюсь высоким благоволением и не знаю отдыха от дел. — Но за дерзкой миной скрывалось мучительное сознание, что нужен он в последний раз. В последний раз, Агриппа, твой король Наваррский призывает тебя. Потом он совершит смертельный прыжок на ту сторону, а по эту останутся все его старые друзья из времен битв, из времен бедности и истинной веры.

Агриппа воспользовался случаем поговорить с королем и напрямик высказал все сразу, начав, по привычке, с того, что у него нет денег. Кому не известно, что он не меньше шести раз спасал королю жизнь.

— Сир! Вашими финансами управляет темный проходимец, и как раз он, этот самый д'О, подстрекает вас перейти в католичество. Судите сами, к чему это поведет!

Агриппа думает: «Когда это свершится, ни единого слова не пожелает он выслушать от меня. Какое страшное расстояние между свершенным и несвершенным. Теперь он склоняет передо мной голову. Теперь он говорит».

Генрих:

— Totus mundus exercet histrionem.

Агриппа:

— Я вижу, папа приобретает дурного сына. А нас вы покинете и заслужите ненависть отважных людей, всецело преданных вам.

Генрих:

— Все зависит от рассудительности человека. Мой Рони советует мне решиться.

Агриппа:

— Недаром у него голубые глаза, как из фаянса, и щеки точно размалеванные. Ему не важно, что вы попадете в ад.

Генрих:

— А мой Морней! Морней, или добродетель. Мы немало спорили. Оба мы не признаем чистилища. На этом я стою крепко, и ни один поп не переубедит меня,
будь покоен, но, принимая причастие, мы пьем истинную кровь Христову, это я
всегда отстаивал.

Агриппа:

— Спорить хорошо и полезно для души, покуда она еще стремится постичь истину. Наш честный Морней верит в вас. Его вам легко обмануть, обещав ему
созвать собор из богословов обоих исповеданий, дабы определить истинную веру.
Но если истина не та, которая полезна, собор не имеет смысла.

Генрих:

— А я говорю, имеет смысл. Ибо многие пасторы согласились уже в том, что душу можно спасти, исповедуя как ту, так и другую религию.

Агриппа:

— Если плоть подобных пасторов немощна, то и духом они не сильны.

Генрих:

— Мне спасение души моей поистине дорого.

Агриппа:

— Государь, в это я верю. Теперь же я прошу и заклинаю вас, чтобы вы постигли настоящую цену каждого из ваших сподвижников. Не все мы холодны и
архирассудительны, подобно Рони. Не все мы обладаем непорочностью вашего дипломата Морнея. Но один из лучших ваших воинов, Тюренн, задал вопрос, почему
нельзя изменить вам: сами ведь вы подаете пример.

Вот уж снова король поник головой, замечает Агриппа.

Генрих:

— Измена. Пустой звук.

Он вспоминает разговор с сестрой. Самые близкие изменяют друг другу, слишком
поздно сознают это и видят, что им, дабы не изменять, следовало не родиться
вовсе. Тут он слышит имя пастора Дамура.

Агриппа:

— Габриель Дамур. Помните Арк? Когда, казалось, все для вас погибло, он запел псалом, и вы были спасены. При Иври он прочел молитву: вы победили. Настали времена, когда он громит вас с амвона. Прежде ядовитые гады шипели, но были бессильны против вас. В этом же суровом голосе — истина, но отступнику она все равно что яд. Община верующих отворачивается от него.

Действительно, пастор Дамур написал королю: «Лучше бы вам слушаться Габриеля Дамура, чем какой-то Габриели!»

Генрих:

— В чем моя главная вина?

Но на это Агриппа не отвечает — из целомудрия или оттого, что высокомерие его не простирается так далеко, чтобы произнести окончательный приговор. «Великая вавилонская блудница», — думает он, так и пастор Дамур говорил втихомолку, но не перед прихожанами, во избежание соблазна. «До чего доведет тебя эта д'Эстре, сир. Она обманывает тебя, о чем ты, во всяком случае, должен знать. А вдобавок еще ее отец ворует».

Агриппа:

— Душа моя скорбит смертельно. Хорошо было время гонений. Почетно было изгнание. Уединенная провинция на юге, до престола еще далеко, и когда у вас не было денег для игры в кольца, вы поручали мне сочинить благочестивое размышление, чтобы без больших издержек развлекать двор. А звездой над нашей хижиной была сестра ваша, принцесса.

Генрих:

— Я всегда подозревал тебя в пристрастии к ней.

Агриппа:

— Она перекладывала на музыку мои стихи, она пела их. Тщетным словам моим она давала звучание, скромные весенние цветы перевязывала золотом и шелком.

Генрих:

— Мой Агриппа! Мы любим ее.

Агриппа:

— И пусть голос отказывается мне повиноваться, все же признаюсь, я увидел ее вновь. Как ни тайно и быстро отослали вы принцессу в долгий обратный путь, я поджидал ее на краю леса.

Генрих:

— Не утаивай ничего, что она сказала?

Агриппа:

— Она сказала, что в Наваррском доме царит салический закон[29. - Салический закон — свод законов древнегерманского племени салических франков, согласно которым наследование земель и связанных с ними титулов происходило только по мужской линии.], дающий наследнику по мужской линии все — только не твердость духа.

Сперва у короля опустились руки, так страшны были ему эти слова сестры. Но вслед за тем он судорожно сплел пальцы и прошептал:

— Моли Бога за меня!

Таинственный супруг

И Агриппа молился, и еще многие другие, каждый в своем сердце молились в это время за короля, ибо им на самом деле казалось, что он в опасности, особенно душа его, однако и тело тоже. Спасение пришло или по меньшей мере возможность спасения открылась королю. Господин д'Эстре выдал дочь замуж.

Ее последнее приключение в Кэвре с королем на кровати и с обершталмейстером под кроватью так или иначе дошло до его ушей, Вельгард не умел молчать. Кроме того, ревнивец отомстил за свое унижение, он влюбился в мадемуазель де Гиз[30. - Мадемуазель де Гиз — Луиза Гиз-Лотарингская (1577-1631), дочь Генриха Гиза. Вышла в 1605 г. замуж за принца де Конти.] из рода лотарингцев; но род этот все еще стремится к престолу, герцог Майенн по-прежнему воюет с королем. А потому Блеклый Лист исчез с горизонта — его не видно было ни в траншеях под Руаном, ни во время частых поездок короля по стране для военных целей. Папаша д'Эстре воспользовался отсутствием обоих, чтобы выдать Габриель замуж за господина де

Лианкура — человека невзрачной наружности, которого он сам подыскал. Ни умом, ни характером тот также не отличался, зато прижил четверых детей, и двое из них были живы. Это отец особенно ставил на вид Gabrieli: любовные связи ни к чему не приводят; а при таком супруге она может быть уверена, что станет матерью. Это была первейшая забота господина д'Эстре. Затем не худо, что избранник — тридцатилетний состоятельный вдовец, замок его расположен поблизости, происхождение вполне удовлетворительное.

Gabrieli, с тоской в сердце, оказала сперва надменное, но не слишком решительное сопротивление. Она чувствовала, что покинута своим прекрасным соблазнителем, не надеялась также и на помощь своего высокого повелителя, иначе она позвала бы его. Кроме того, она рада была позлить обоих — и высокого повелителя, и сердечного друга. Больше хлопот причинил господину д'Эстре его зять, который, будучи от природы робок, трепетал при мысли о том, чтобы оспаривать у короля столь недавнюю его победу. Независимо от этого, мадемуазель д'Эстре была для него слишком хороша. Он слишком сильно ее желал, что при его робости предвещало немало разочарований. Он знал себя, хотя, с другой стороны, именно скромное мнение о себе внушило ему теперь чувство духовного превосходства. Таков был по натуре господин де Лианкур, а посему, когда наступил торжественный день, он улегся в постель и притворился больным. Нуайонскому губернатору пришлось с солдатами везти своего зятя к венцу. При таких обстоятельствах всем было не по себе, кроме честного малого д'Эстре, который чувствовал себя на высоте положения, чего обычно с ним не бывало. Тетка, мадам де Сурди, казалось, могла бы считать, что на блестящей карьере их семьи поставлен крест; однако она не горевала — ей хорошо были известны превратности счастья.

Когда госпожа Сурди, спустя три дня после свадьбы, нарочно предприняла поездку из Шартра в замок Лианкур, что же она узнала? Вернее, она деликатно выспросила племянницу и сама же подсказала ответ. В конце концов трудно было установить, как все произошло; одно осталось бесспорным: господин и госпожа де Лианкур спали врозь. Едва услышав это, возмущенный отец молодой женщины поскакал галопом в замок Лианкур — увидел смущенные лица и не добился ни решительного «да», ни ясного «нет». Только в разговоре с глазу на глаз дочь призналась ему, что брак ее до сих пор по-настоящему не свершился и, насколько

она успела узнать господина де Лианкура, надежд на свершение мало.

Честный

малый, побагровев от гнева до самой лысины, бросился к презревшему свои обязанности хозяину замка. Отец четверых детей — и осмеливается нанести такое

оскорбление! Господин де Лианкур извинился, сославшись на удар копытом, недавно, на беду, нанесенный ему лошадью.

— В таком случае не женятся! — фыркнул честный малый.

— Я и не женился, вы меня женили! — тихо отвечал затравленный зять. Хотя он

держался робко, но вместе с тем как будто витал в заоблачных сферах.

Трудно

было понять, с кем имеешь дело: с чудовищем притворства, со слабоумным или с

призраком. Господин д'Эстре сразу пал духом и умчался прочь из этого замка.

Тотчас вслед за тем, получив соответствующие известия, в Нуайон прибыл король. Он одновременно услышал не только о неожиданной потере возлюбленной

Габриели, но и об ужасной кончине ее матери. Иссуар — это город в самой глубине

Оверни; мадам д'Эстре, раз навсегда забывшая долг, не могла расстаться с маркизом д'Алегром, она предпочла не присутствовать на свадьбе дочери.

Лучше бы

она поехала! Стареющая женщина хотела напоследок исчерпать всю любовь без остатка, однако и в денежных делах тоже была крайне требовательна к своему

другу. Иссуарскому губернатору приходилось беспощадно выжимать соки из населения, чтобы удовлетворять прихоти своей возлюбленной. Оба стали до смерти

ненавистны народу — и смертоубийство свершилось. Его учинили июньской ночью

двенадцать человек, среди них двое мясников. Они опрокинули стражу, вломились в

спальню и прикончили чету. Дворянин храбро защищался, тем не менее их обоих

выбросили голыми из окна на съедение воронью.

Король сказал нуайонскому губернатору: иссуарский губернатор погиб

ужасной

смертью.

— Вместе со своей любовницей, — присовокупил господин д'Эстре, кивая головой

с видом мудреца, чьи предсказания полностью оправдались.

Королю следовало бы тут почувствовать, как оведают его молитвы друзей: перед

ним явно открывалась возможность спасения. Мать его возлюбленной первая пошла

по этому роковому пути и дошла до конца. По человеческому разумению, удержать дочь от того же никак нельзя, однако король именно на это направил свои старания. Габриель находится теперь под защитой супруга, Генрих радовался только, что это не Блеклый Лист, с ним было бы больше хлопот. Не мешкая, посетил он прекрасную свою любовь и принялся заклинать ее чем угодно, чтобы она ушла отсюда и чтобы жила с ним, иначе ему невоготу. Ей тоже, — созналась наконец Габриель, с рыданием прильнув к его груди; возможно, она плакала настоящими слезами, Генрих их не видел. Во всяком случае, имя господина де Лианкура вырвалось у нее со вздохом и вместе с ним еще одно слово, от которого у Генриха замерло сердце.

— Это правда? — спросил он.

Габриель утвердительно кивнула. Однако добавила со вздохом, что будет терпеть этого мужа, несмотря на его неспособность к супружеской жизни.

— Пример моей бедной матери — страшный урок для меня. Я боюсь господина де Лианкура, потому что не понимаю его. То, что он говорит, — нелепо, что делает — загадочно. Он запирается у себя в комнате. Я пыталась подсмотреть в замочную скважину, но он прикрыл ее.

— Мы это все разузнаем, — решил Генрих и в воинственном настроении направился к владельцу замка, но противника себе не встретил. Дверь была настежь, человек без определенной физиономии склонился перед королем, казалось, все житейское ему чуждо, кроме разве изящной одежды, затканной серебром, и ослепительных брыжей — панталоны, равно как и камзол, сидели безупречно, принимая во внимание его жалкий рост. Надо было ухватиться за что-нибудь осязаемое, и Генрих спросил щеголя о происхождении и стоимости надетых на него тканей. Не дослушав ответа, Генрих воскликнул:

— Это правда, что вы не мужчина?

— Я был им, — сказал господин де Лианкур с таким видом, словно весь он в прошлом. Еще он сказал строго официально, с расстановкой и поклонами: — Иногда я бываю мужчиной. Сир! Я сам решаю, когда мне быть им.

Возможно, это было чистое высокомерие. Либо под этим скрывалась преданность царственному любовнику своей супруги; трудно было понять сущность этого человека и добиться от него точного ответа. Генрих промолвил почти просительно:

— А удар копытом?

— Удар копытом имел место. Мнение докторов о нем и его последствиях допускает различные толкования. — От этого заявления король только рот раскрыл.

Ему стало как-то не по себе. Отсутствие определенной физиономии, непостижимая скромность и самоуверенность, как у лунатика или привидения. Это существо ни в чем не признается, ничего не желает; оно только показывается, только заявляет о своем существовании, да и то слабо. Генриху стало невтерпеж. Он ударил кулаком по столу и закричал:

— Правду!

Его гнев относился к обоим, к этому призраку и еще больше к Габриели, которая, вероятно, нагала ему и каждую ночь спала с мужем. Он крупными шагами пересек комнату, упал в кресло и прикусил себе палец.

— Жизнью вашей заклинаю! Правду!

— Сир! Ваш слуга ждет приказаний.

Тут ревнивец понял, что все будет так, как он пожелает. Ему следовало бы раньше додуматься до этого; мгновенно успокоившись, он приказал:

— Вы передаете мне мадам де Лианкур. За это вы назначаетесь камергером. Габриель получает от меня в качестве приданого Асси, — замок, леса, поля, луга.

— Я ничего не требую, — сказал супруг. — Я повинуюсь.

— Габриель продолжает носить ваше имя. Возможно, что в дальнейшем я ее сделаю герцогиней д'Асси. После ее смерти все наследуют ваши дочери. Сударь! — окликнул он, перебив сам себя, ибо казалось, будто тот уснул стоя. — За это вы подтвердите без возражений все, что нам угодно будет объявить, — продолжал предписывать король. — Иначе берегитесь: госпожа д'Эстре вышла за вас замуж только по принуждению, и своих супружеских обязанностей вы не выполняли, все равно, по причине ли удара копытом или тайной болезни. Понятно?

Можно было не сомневаться, что господин де Лианкур понял, несмотря на свое странное оцепенение. Оно возрастало, по мере того как на господина де Лианкура сыпались подарки, смертельные опасности и перемены судьбы. Генрих оставил его и захлопнул за собой дверь.

По уходе короля тот некоторое время стоял, устремив взгляд себе под ноги. Наконец он выпрямился, запер дверь, прикрыл замочную скважину, достал из ларя толстую книгу в кожаном переплете с родовым гербом Амерваль де Лианкуров и начал писать. Он запечатлел, подобно всем событиям своей жизни, и это последнее. С большой точностью описал он короля, его речи, душевные побуждения и ходьбу по комнате. Сознательно или нет, но образ и роль короля он изобразил так, что смело мог смотреть на него сверху вниз. Со своей прекрасной супругой он давно проделал то же самое. Но эту свою запись он заключил сообщением для потомства. Он начертал сверху крупными буквами: «Весьма важное истинное свидетельство Никола д'Амерваля, господина де Лианкура. Прочеть после его кончины и сохранить на вечные времена».

«Я, Никола д'Амерваль, владелец Лианкура и других поместий, в здравом уме, предвидя свою кончину, но не предвидя ее часа...» Он облек то, что задумал оставить потомкам, в торжественную форму завещания; далее он заявлял, что все с ним приключившееся – несправедливость, ложь и насилие. Он отрицает за собой неспособность или неискренность в плотском труде деторождения – тому свидетель Бог. Если же при бракоразводном процессе он покажет обратное, то сделает это только по причине послушания королю, а также из страха за свою жизнь.

Пастор Ла Фэй[31. – Ла Фэй Антуан де (род. в первой половине XVI в. – ум. в 1615 г.) – французский пастор, крупный теолог, соратник и друг Беза. Оставил после себя большое количество религиозных трактатов.]

Габриель, не мешкая, явилась к Генриху. Он послал за ней дворян, которые привезли ее к его кочевому двору, и оба были очень счастливы. Женщина радовалась, что выбралась из своего жуткого замка, где за закрытыми дверями творятся подозрительные дела. Мужчину восхищало, что она его любит; и, конечно, по сравнению с покинутым супругом она любила его. Ее сверкающее, обольстительное тело, отдаваясь, продолжало быть спокойным, чего не замечал страстно жаждущий любовник. Разница была очевидна: прежде безрадостная покорность его желаниям, теперь столько терпения и ласки. Генрих думал, что

достиг всего, а кто стоит на вершине, тот чувствует себя свободным.
Кажется,
что от него теперь зависит, остаться с любимой или нет. Конец так далек,
что
можно говорить о вечной любви, зная по неоднократному опыту, сколь это
бывает
длительно, вернее, сколь кратко.

По-настоящему Генрих не знал ничего. Эта совсем иная, и причинит ему
больше
хлопот, чем все остальные, вместе взятые. На протяжении тех лет, что ей
еще
суждено жить, мало осталось простора для него и для его чувств, а в
завершение — ее смерть, самая значительная до его собственной смерти.
Теперь
она отдается ему ласково, и только, ибо она прямодушна и не хочет
притворяться.
Но то, чего она еще не чувствует, он постепенно завоюет: ее нежность, ее
пыл,
ее честолюбие, ее покорную верность. Он делает все больше открытий,
трепетно
вступает он на каждом этапе их близости в новый мир. И он готов стать
новым
королем и новым человеком всякий раз, как она, через него, становится
другой.
Готов самого себя отринуть и посрамить, лишь бы она любила его. Отречься
от
своей веры и получить королевство. Стать победителем, оплотом слабых,
надеждой
Европы — стать великим. Не довольно ли этого: все это предрешено и должно
случиться, одно за другим. Но затем возлюбленная великого короля доведет
до
конца свою роль орудия судьбы: она умрет, и ему суждено будет стать
мечтателем
и провидцем. А в итоге современники не постесняются показать, сколь
докучен
стал им он сам и его дела. Они отвернутся от него, меж тем как он одиноко
будет
подниматься все выше и выше, пока не исчезнет. Ничего этого не знал
Генрих,
когда приглашал мадам де Лианкур к своему кочевому двору и был с ней
очень
счастлив.

Здесь она всем чрезвычайно нравилась и не нажила себе ни противников, ни
противниц. Женщины видели и признавали, что она не обнаруживала ни
малейшей
нескромности как в речах, так и в манерах. Она выказывала много юного
смирения
перед каждой дамой более высокого рода или более зрелого возраста. Не
интригами
или распутством, а только милостью короля достигла она своего положения,
а

потому не подобало укорять ее этим. Мужчины при кочевом дворе были простые воины, суровый Крийон, храбрый Арамбюр, «Одноглазый» – такое прозвище дал ему его друг и государь.

– Завтра у нас бой, Одноглазый. Береги свой глаз, а не то совсем ослепнешь! – Пожилые гугеноты кочевой резиденции были глубоко нравственны и в этом несхожи с королем. Молодежь безоговорочно брала его себе за образец; но для обоих поколений протестантов, равно как и для преданных ему католиков, Генрих был великий человек, достойный только восхищения, и до конца его постичь можно, только любя его.

Почувствовав это, прекрасная д'Эстре всецело прониклась настроением, царившим вокруг короля. Здесь он явился перед ней личностью, далеко превосходящей любовника, с которым ей пришлось свыкнуться, и даже победитель Шартра, чей ореол льстил ей, отошел на второй план. Здесь все мужчины влюбой миг отдали бы свою жизнь за его жизнь, а каждая женщина пожертвовала бы сыном. И как мужчины, так и женщины сочли бы себя при этом осчастливленными, ибо король олицетворял лучшее, что было у них, их собственное существо, но доведенное до совершенства, их веру, их будущность. Габриель, натура хладнокровная, скорей расчетливая, нежели распушенная, спокойно наблюдала, исподтишка потешалась – но при этом постигала, на чем ей строить свои надежды и как вести себя. Если сердце ее не было вполне растрогано, то взгляды ее переменились.

При дворе она была уравновешенней всех. Высокое ее положение сказывалось только лишь в полной невозмутимости, иные называли это холодностью. Ее почитатель, господин д'Арманьяк, первый камердинер короля, называл ее северным ангелом. Никто, за исключением Генриха, так не понимал ее очарования, как д'Арманьяк. Северный ангел, говорили и другие гасконцы, и взгляды нескрываемого обожания ловили ее взор, светлый и загадочный. Дворяне, тоже происходившие из северных провинций, употребляли это прозвище, в духе своего повелителя, с легкой насмешкой и с большим добродушием. Под конец даже упрямый Агриппа д'Обинье признал, что, невзирая на всю свою красоту, госпожа д'Эстре не расточает пагубных чар.

Будучи на виду у всех и не защищенная ничем, Габриель не сделала почти ни одного промаха, во всяком случае, не сделала самого главного. Все ждали, произнесет ли она имя Бельгарда. Как бы она ни поступила, – заговорила о нем

или умолчала, все равно она повредила бы себе. Наконец она все-таки упомянула о своем бывшем любовнике, но никакого ущерба отнюдь себе не нанесла. Молодой

Живри [32. – Живри Анн д'Англиор, барон де (1560–1594), – ревностный католик, но тем не менее сторонник Генриха IV в его борьбе с Лигой. В 90-х годах боролся против испанцев, был взят в плен герцогом Пармским.], сверстник обер-шталмейстера и такой же видный, почтительно и галантно ухаживал за ней; вернее, он через нее ухаживал за королем.

– Господин де Живри, вы сказали слова, которых король вам никогда не забудет! – заявила мадам де Лианкур так, что многие слышали ее. – Слова, прогремевшие среди дворянства: «Сир! Вы король храбрецов, покидают вас одни трусы». Так сказали вы, и выразились весьма метко. Однако герцог де Бельгард не трус, королю недолго придется ждать его, он непременно вернется.

И это все. Никакого упоминания о мадемуазель де Гиз, чем было ясно дано понять, чтобы о любовных историях даже не заикались, ибо единственно важное – это верность королю. Ход был ловкий – его признали прямодушным и смелым. Скандал как будто предотвращен, а может быть, и нет? Многие сочли, что она зашла слишком далеко в своих притязаниях на полную безупречность, принимая во внимание истинное положение дел. На последнее неоднократно указывали пасторы королевской резиденции: оба, король и мадам де Лианкур, состоят в супружестве, отсюда двойное прелюбодеяние на соблазн миру и явное пренебрежение к религии. На сей раз пасторы возвысили голос и сказали «Иезавель», меж тем как прелаты молчали. «Иезавель» сказали пасторы, как будто жена еврейского царя Ахава, склонившая его к вере в своего бога Ваала, имела что-то общее с католичкой – подругой короля Французского. Правда, Иезавель подвергалась преследованиям пророка Ильи, пока ее не сожрали собаки, оставив лишь голову, ноги и кисти рук. Предсказания пророка оправдались. Пасторы же могли ошибаться, они показали себя жестокими и хотя бы потому неумными. Они запугали даму и пресекли ее благие намерения.

От священников своей церкви возлюбленная короля видела только ласковое поощрение; однако никаких определенных надежд на высокое супружество, до этого

дело отнюдь не дошло. Даже развод госпожи д'Эстре с мужем далеко не был решен, не говоря уже о браке короля, на который, наверное, не захочет посягнуть ни один клерикальный дипломат, избегающий всяких осложнений. И о переходе короля в католическую веру, хотя все вело к этому, хотя его срок все приближался, прелаты не упоминали ни словом в разговорах с королевской любовницей. Это был урок для Габриели, и она поняла его. В часы их близости Генрих не слышал от нее ни единого, даже шепотом произнесенного намека на перемену веры. Однако протестантских слуг своих она рассчитала — без шума, следуя совету тетки Сурди, которая по-прежнему была на страже.

Пастор Ла Фэй был старый кроткий человек, некогда державший Генриха на коленях. Он-то и решился поговорить с королем. Ему это пристало, потому что он не был ни благочестивым ханжой, ни тупым ревнителем нравственности. Он признавал, что душу можно спасти в обоих исповеданиях.

— Я скоро предстану перед Богом. Но будь я католиком и призови меня Господь наперекор моим упованиям во время мессы, а не во время проповеди, все же он из-за этого не отвратит от меня ока со своей лучезарной выси.

Пастор сидел, король шагал перед ним по комнате взад и вперед.

— Продолжайте, господин пастор! Вы не Габриель Дамур, у вас в руках нет огненного меча.

— Сир! Это поворот ко злу. Не вводите в соблазн своих единоверцев, не позволяйте силой вырвать себя из лона церкви!

— Если я последую вашему совету, — возразил Генрих, — вскоре не станет ни короля, ни королевства.

Пастор поднял руку, как бы отмахиваясь от чего-то.

— Мирские толки, — сказал он бесстрастным тоном, показывающим, что их надо отринуть и отмести. — Король чувствует, что ему грозит нож, если он останется при своей вере. Но стоит ему отречься от нее, как нам, гугенотам, придется опасаться и за свободу своего исповедания, и даже за свою жизнь.

— Заботьтесь сами о своей безопасности, — вырвалось у Генриха, но тут же, устыдившись, он заговорил с жаром: — Мое желание — мир для всех моих подданных, а для себя самого — покой душевный.

Пастор повторил:

— Покой душевный. — И продолжал медленно, проникновенно: — Это уже не мирские толки: так говорим мы. Сир! После перехода в другую веру вы уже не будете с чистым сердцем и просто, просто и бестрепетно стоять перед народом, который любил вас, а за то любил вас и Господь. Вы были милостивы, потому что были ни в чем не повинны, и радостны, пока ничему не изменяли. Тогда же... Сир! Тогда вы перестанете быть упованием.

Все равно, истинно или ложно было это слово — вероятно, и то и другое, — но сказано оно было со всей силой духовной ответственности, и король побледнел, услышав его. Старому охранителю его юности стало тягостно это зрелище, он шепнул торопливо:

— Но иначе вам нельзя.

Он хотел встать, дабы показать королю, что теперь устами его говорит уже не религия, а только смиренный человек. Король заставил его сесть; сам он крупными шагами ходил по комнате. «Дальше!» — потребовал он, вернее подумал, а не произнес вслух.

— Какие же новые пороки или добродетели появились у меня?

— Они все те же, — сказал Ла Фэй, — только с годами приобретают другой смысл.

Король:

— А разве нет у меня больше права быть счастливым?

Пастор, покачав головой:

— Вы почитаете себя счастливым. Но некогда Бог даровал вам беспорочное счастье. А теперь вам придется претерпеть немало зла и самому сотворить много еще более тяжкого зла ради вашей возлюбленной повелительницы.

— Моей возлюбленной повелительницы, — повторил Генрих, ибо так он называл ее на самом деле. — Что она может навлечь на меня?

— Сир! Взгляните прямо на все, чему суждено быть. Господь с тобой!

Что это означало? Королю надоели выпады и загадки старика; он покинул комнату и вышел на улицу своего города Нуайона; там плотной массой струдился

народ. Только при появлении короля толпа раздалась и из своих недр выбросила некого иного, как господина д'Эстре, губернатора города, который после возвышения дочери стал губернатором всей провинции. Он с трудом протиснулся вперед, за ним тянулось множество рук.

— Господин губернатор, кто осмелился тронуть вас? — строго спросил король, и, так как подоспела его стража, толпа стала разбегаться. На господине д'Эстре одежда была изорвана, из-под нее торчали странные предметы: детские шапочки, крохотные башмачки, жестяные часы, деревянная лошадка, покрытая лаком.

— Я купил ее, — сказал господин д'Эстре.

— Шапочки он у меня не покупал, — утверждала какая-то лавочница. Другой ремесленник вторил ей:

— А башмачков у меня он тоже не покупал.

Третий мирно, но не без насмешки, просил сделать одолжение и уплатить ему за игрушки. Король в тягостном ожидании смотрел на своего губернатора, который что-то невразумительно бормотал; но покрасневшая лысина выдавала его. Шляпа его валялась истоптанная на земле, хорошо одетый горожанин невзначай что-то вытащил оттуда — глядите, кольцо: не подделка, настоящий камень.

— Из шкатулки, которую господин д'Эстре просил меня показать, — пояснил купец.

— Вещи все налицо, — сказал король. — Я держал пари с господином губернатором, что ему не удастся приобрести их тайком. Я проиграл и плачу вам всем.

Сказав так, он крупными шагами пошел прочь.

Слуга короля

Вслед за этим он, не медля и не простившись, покинул город; у Арманьяка всегда были наготове дорожные мешки и оседланы лошади. Генрих решил несколько отдалиться от семьи д'Эстре, воевать и скакать по стране не обремененным излишними тяготами. Однако от тоски по Габриели и оттого, что ему приходилось

стыдиться ее, он в траншеях у Руана подвергал свою жизнь опасности.

Королева

Англии сурово осуждала его за это, о чем он узнал из писем своего посла Морнея.

Многие дворяне-католики предупреждали его, что не могут выждать, пока он решится принять другую веру. Майенн назначил им последний срок перейти, пока не

поздно, на сторону большинства. Времени до созыва Генеральных штатов у них

осталось в обрез. А между тем твердо решено, что избран будет король-католик.

Среди всех тревог Генрих однажды видит, как по улице Дьеппа, мерно покачиваясь,

двигаются носилки. Он тотчас понимает, кто скрыт в них, сердце его начинает

бурно колотиться, но это уже не радость и не бурное желание, как тогда, в Долине Иосафата, когда носилки появились в первый раз. Много изменилось с тех

пор.

Он пошел к себе в дом и ждал ее там. Габриель, одна, смиренно вошла в комнату.

— Сир! Вы оскорбляете меня, — сказала она без жалобы или упрека, во всей своей равнодушной красоте, и красота эта мучила его, как нечто утраченное. Его

взор открывал черты, выходившие за пределы совершенства; а между тем оба они

молчали из страха перед неизбежным разговором. Намек на двойной подбородок

увидел Генрих. Ничтожная складка, уловимая лишь при определенном освещении, но

прекрасная свыше всякой меры!

— Я готов принести вам извинения, мадам, — услышал он свои слова, такие официальные, какие говорят чужому человеку. Однако она не изменила тону сдержанной интимности.

— Как могли вы поступить так несправедливо, — сказала она, качая головой. —

Вы должны были защитить моего отца и меня от жителей Нуайона, которые отказывают нам в уважении.

— Его нельзя и требовать от них, — ответил он резко, но при этом жестом указал ей кресло. Она села, после чего еще строже поглядела на него.

— Вы сами виноваты во всем. Почему вы немедленно не покарали наглецов, которые оклеветали перед вами господина д'Эстре?

— Потому что они были правы.. Покупки торчали у моего губернатора из каждой

прорехи платья. Мне казалось, будто меня самого поймали с поличным.

— Какое ребячество! Это его маленькая, безобидная слабость, за последнее

время она, пожалуй, возросла немного. Мы к этому привыкли; по забывчивости я не успела предупредить вас. Моей тетушке де Сурди часто приходилось ездить к торговцам и разъяснять недоразумение. Впрочем, обычно дело идет о дешевых безделках.

— Кольцо не безделка, — заявил он и в растерянности поглядел на ее изумительную руку, как она покоилась на локотнике и как блестел на ней камень. То самое кольцо, она его носит! — Удивляюсь, — произнес он, хотя в голосе его звучало скорее восхищение. — Однако, мадам, объясните мне, что делает мой губернатор с детскими игрушками?

Она посмотрела на него, и взгляд ее преобразился. Прежде холодный и ясный от гнева за нанесенные оскорбления, он теперь затуманился нежностью. О! Это была не насильственная нежность!

— Габриель! — воскликнул вполголоса Генрих; уже поднятые, руки его снова опустились. — Зачем нужны игрушки? — прошептал он.

— Они приготовлены для ребенка, которого я жду, — сказала она, опустила голову и робко протянула к нему руки. Покорно и в сознании своих прав ожидала она поцелуев и благодарности.

При следующем их свидании она потребовала большего: король должен назначить господина д'Эстре начальником артиллерии. Он обязан дать удовлетворение ее отцу, на этом она настаивала. Почему именно такое удовлетворение? Она не объясняла. Генрих попытался обратить все в шутку.

— Что понимает господин д'Эстре в применении пороха? Не он ведь взорвал серую башню.

Ее взорвал барон Рони, когда король осаждал город Дре. Рони, искусный математик, владел также секретом подкопов и взрывчатых снарядов. «Подкоп господина де Рони» — во время осады Дре это было ходячим выражением, насмешкой над кропотливыми трудами честолюбивого педанта, длившимися шесть дней и шесть ночей, пока толстые стены серой башни не были начинены порохом, — целых четыреста фунтов пошло на них. Весь кочевой двор вместе с дамами собрался на этот взрыв и изощрялся в остротах, когда сперва только повалил дым и послышался глухой треск, а затем семь с половиной минут — ровно ничего. Казалось, ученый вояка наказан за самонадеянность, однако башня вдруг треснула сверху донизу, раздался небывалый взрыв, и она рухнула. Никто этого не ожидал, даже и

осажденные. Они стояли на башне, и множество их погибло. Немногие спасшиеся получили от короля по эю. Рони, который имел все права стать губернатором, снова был оттеснен, прежде всего потому, что принадлежал к «той религии». Его соперник, толстый плут д'О, мог вдобавок обещать королю ту долю из общественных средств, которую не прикарманит он сам. Ну, как же ему было не стать губернатором?

Но должность начальника артиллерии, по крайней мере, оставалась еще свободной, и Генрих твердо решил отдать ее за заслуги своему Рони. Он хотел преподнести отважному рыцарю эту награду, когда тот вернется из города и крепости Руана, куда услав его король с поручением торговаться, за какую цену сдадут город.

— Прекрасная любовь! — говорил Генрих Габриели д'Эстре. — Возлюбленная моя повелительница! — умолял он. — Не просите меня об этом. Выберите для господина д'Эстре все, что вам заблагорассудится, только не управление артиллерией.

— Как могу я послушаться вас, — отвечала она. — На меня и на моего отца весь двор будет смотреть пренебрежительно, если вы не дадите нам этого удовлетворения.

Быть может, упрямство ее объяснялось беременностью. На время Генрих отделался неопределенным обещанием и, не мешкая, послал в Руан настойчивое письмо своему Рони, чтобы тот поторопился торговаться насчет сдачи города. Пусть не скупится, ворота во что бы то ни стало должны раскрыться перед его господином. Габриель, пожалуй, забыла бы про управление артиллерией, если бы ей предстояло вместе со своим венценосным любовником совершить торжественный въезд через триумфальную арку в столицу нормандского герцогства.

Но пока что письмо короля оказалось очень кстати его послу. Без этого письма король мог легко потерять свой город Руан, а его посол Рони — даже жизнь.

С господином де Вийяром, который начальствовал в Руане от имени Майенна и Лиги, Рони добросовестно спорил о цене уже целых два дня, возражал против всех условий губернатора и доказывал, что королевская казна не может их выдержать. А в это самое время уполномоченные Лиги и короля Испанского предлагали тому же

самому Вийяру несчетные груды золота, и притом на любых условиях. По рассудительности посол короля был сродни этой северной стране, и в голове у него никак не укладывалось, что нужно тратить деньги, когда лучше взорвать башни и разнести город из орудий. С другой стороны, Рони, впоследствии герцог Сюлли, крайне заботился о своем достоинстве и впадал из-за него даже в чванство. В этом отношении он мог быть доволен, ибо господин де Вийяр устроил его в лучшей гостинице, приставил к нему для услуг своих людей, послал ему своего первого секретаря и пригласил его в дом своей любовницы. В этом смысле все было благополучно. Однако губернатор, человек прямолинейный, не замедлил выставить все требования, какие только мог придумать, и они, естественно, возрастали по мере того, как противная сторона сулила ему все большие груды золота. В конце концов получился целый реестр: должности и звания, крепости, аббатства, миллион двести тысяч на уплату его долгов, кроме того, ежегодная рента, а затем снова следовали аббатства. Запомнить это было уже невозможно, господин де Вийяр с присущей ему аккуратностью записал все и прочел вслух.

Рони ответа сразу не дал, думая про себя: «Грабитель этакий! Вот откуда ваше гостеприимство и прием у вашей любовницы. Стоит мне вычеркнуть что-нибудь из вашего списка, и вы продадитесь Испании. Впрочем, вы были бы правы, если бы не наши пушки. Я вам покажу, как закладывают порох в башни. А кончится тем, что вас повесят».

Придав своим голубым глазам и гладкому лицу не больше выражения, чем требовалось, Рони выступил с встречными разумными предложениями; однако губернатор прервал его, он забыл еще одно требование. Не меньше чем на шесть миль вокруг Руана должно быть воспрещено протестантское богослужение, — объявил он еретику и послу короля-еретика. Вследствие этого разговор принял неприятный оборот и в тот день уже не мог ни к чему привести. Правда, был заключен предварительный договор, но только потому, что Рони уж очень любил документы и подписи; без документа, даже самого малозначащего, он не кончал ни одного совещания. Через гонца он уведомил короля о бессовестных условиях губернатора. В ожидании ответа господин де Вийяр вбил себе в голову, что Рони, ничего даже

не подозревавший, замыслил убить его. Это было чистое недоразумение; какой-то проходимец вознамерился похитить губернатора, чтобы потом стребовать выкуп.

Словом, когда они встретились вновь, у губернатора глаза на лоб лезли и в мыслях были только виселица и веревка. О том же в прошлый раз подумывал Рони,

но не обнаруживал своих помыслов так открыто. Теперь его здравый ум подсказал

ему, что, только разыграв безумие, он спасет положение и оградит себя от самого

худшего. И он немедленно разъярился пуще губернатора и даже назвал его бесчестным изменником; Вийяр до того опешил, что потерял дар речи.

— Я... я изменник? От гнева вы не помните себя, сударь.

— Вы сами в пылу безрассудного гнева толкуете о каком-то убийстве, о котором

я понятия не имею; а кроме того, собираетесь нарушить слово, ведь у меня есть

предварительный договор!

Эти внушительные слова отчасти привели в чувство господина де Вийяра, так что при появлении своей любовницы он сказал:

— Не кричите, мадам, я тоже больше уже не кричу.

Однако его успокоения, которое скорее можно было назвать оторопью, хватило

бы ненадолго. Невинность господина де Рони настойчиво нуждалась в существенном подтверждении, иначе дело могло обернуться плохо. Как раз в эту

минуту один из слуг Рони принес ему письмо короля. Это был ответ на бессовестные требования руанского губернатора. Правда, главным поводом для

этого письма послужили требования мадам де Лианкур, иначе оно, пожалуй, не

пришло бы так кстати. Впрочем, остается невыясненным, не было ли оно получено

Рони еще раньше, в гостинице. Настолько силен был эффект от вручения его здесь,

в напряженнейшую минуту, что по зрелом размышлении никто не поверил в случайность. Возлюбленная губернатора не замедлила усомниться.

Но как бы то ни было, король принял все условия, исключая запрет богослужения, о котором он не упоминал ни слова, почему и господин де Вийяр

обошел этот пункт: место генерал-адмирала он все равно получит. Он немедленно

принес извинения послу, признав, что несправедливо считал его своим убийцей. К

счастью, как раз был пойман сообщник настоящего убийцы. Губернатор приказал

привести его, собственноручно надел ему веревку на шею, и губернаторские слуги повесили злодея из окна на глазах обоих господ. Затем оставалось лишь отпраздновать счастливое окончание дела.

— Лиге конец! — с прямою старого солдата выкрикнул Вийяр из того окна, к которому уже ранее все взгляды привлек висельник. Губернатор приказал: — Кричите все: да здравствует король!

Народ послушался, и клики его докатились вплоть до гавани, где корабли дали залп из пушек. С крепостных валов раздавались салюты, радостно звонили все без изъятия церковные колокола. Благодарственное молебствие в соборе Богоматери, с королевским посланцем Рони в первом ряду; прием именитых горожан, принесших ему в дар великолепный столовый сервиз из позолоченного серебра; после этого Рони покинул город Руан.

Когда во время сражения при Иври он, весь в ранах, лежал под грушевым деревом, он и там оказался победителем и даже захватил богатых пленников, ибо этого человека возлюбило счастье. На сей раз он своим усердием — счастье послужило здесь только подмогой — добыл королю один из лучших городов. Хороший слуга короля поистине заслужил свою награду. Меж тем он возвращается, ему навстречу раскрываются объятия, он произносит красивую речь: столовый прибор из позолоченного серебра должен принадлежать королю; его слуга взял себе за правило ни от кого не принимать подарков. После чего король оставляет ему прибор и прибавляет еще три тысячи золотых экю. Пока все идет прекрасно. Однако, когда Рони просит о месте начальника артиллерии, король обнимает его еще раз и назначает губернатором города Манта. Рони вне себя. Он дерзко бросает королю упрек в неблагодарности. По старой привычке шутить над серьезными вещами — Рони она всегда была чужда — король отвечает:

— Моя неблагодарность — это уже старо. Попросите лучше, чтобы вам рассказали последние придворные новости.

Очень скоро Рони узнал все. Он заперся на час у себя в комнате, затем отправился к мадам де Лианкур. Она тотчас поняла, что он пришел по поводу места начальника артиллерии, хотя по нему ничего не было заметно: держал он себя с обычным достоинством. Одежда его была усыпана драгоценными камнями.

— Мадам, я просил о чести присутствовать при вашем утреннем туалете. Король

пользуется моими услугами, возможно, я могу понадобится и вам.

Габриель ответила необдуманно:

— Благодарю. Когда король в походе, я посылаю ему письма через господина де Варенна [33. — Де Варенн Гийом Фуке, маркиз де ла Варенн (1560–1616), — французский дипломат. Начав свою карьеру в качестве повара, поставщика любовниц Генриху IV и исполнителя его интимных поручений, стал маркизом, канцлером и генеральным контролером почт. Покровительствовал иезуитам.]

Тот был раньше поваром, а теперь разносил любовные письма. Рони побледнел; краски на его лице, напоминающем свежий плод, не сошли совсем, только потускнели. Габриель все же заметила это, но упустила возможность тут же извиниться, и, сколько ни пыталась впоследствии, ей это так и не удалось. Будь при ней ее тетка де Сурди, она подала бы ей нужный совет, и Габриель, возможно, не приобрела бы на всю жизнь такого врага. А вместо этого, заметив свою ошибку, бедняжка заупрямилась, поглядела на господина де Рони так высокомерно, что камеристка перестала расчесывать ей волосы, и наступило длительное молчание.

Наконец господин де Рони преклонил колени и надел даме туфельку, которую она в раздражении сбросила с ноги. Габриель нетерпеливо смотрела на него и думала, что и это не поможет ему стать начальником артиллерии, им будет господин д'Эстре. Обиженный и виду не подал, он сказал комплимент по поводу ее маленькой ножки и откланялся. Едва он удалился, как испуг пронизал Габриель до самого сердца: она его не поздравила, о доблестном приобретении города Руана даже не вспомнила. Он, конечно, пошел прямо к королю.

— Беги, верни его! — приказала она камеристке. Но тщетно. Рони не пришел. Он задавал себе вопрос, почему эта красивая женщина до глубины души ненавистна ему. Главной причины — их взаимного сходства — он покамест не постиг. Оба блондины, с севера, у обоих светлые краски, холодная рассудительность. Голый расчет связывает их с королем, человеком смеха и слез; но медленно в обоих созревает нечто, выходящее за пределы их природы — чувство, внушить которое может им только этот человек с юга. Скоро каждый из них потребует большего: не

только милостей короля, но и доверия возлюбленного. Оба ревнивцы, оба любят одного, хотят вредить друг другу – и так до самого конца.

Король отправился в Сен-Дени, где вскоре ему предстояло отречься от своей веры. Об этом он до сих пор не знал ничего определенного и в сердце своем еще колебался, хотя столько уже было предпосылок к этому событию, что оно могло бы произойти как бы само собой. Между тем он совещался с лицами духовного звания, прислушивался к голосам представителей Генеральных штатов там, в Париже, почти равнодушно ожидал перемен, которые могли бы остановить его, сам медлил, надеясь договориться со своим Богом. Полный тревожных предчувствий, он больше чем когда-либо нуждался в близости своей прекрасной возлюбленной. Он оставил ее сейчас в другом городе, потому что у него не было еще того опыта, который он вскоре приобрел; но уже и тут стало ясно, что разлучаться им нельзя. Король не знал никого, кто бы бережнее его благородного Рони доставил к нему любимую. Никакие разочарования не могут поколебать преданность хорошего слуги. Невозможно ему не любить Габриель, раз он видит свое благополучие в Генрихе. Так полагал Генрих.

Рони немедленно приступил к сборам. К чему задумываться, для кого он старается, кто средоточие заботливых приготовлений? Пускай для недруга, все равно нужно обеспечить спокойное путешествие по стране и торжественное прибытие. Впереди, верхом, он сам со своей свитой, затем, на расстоянии ста шагов, – два мула, запряженных в носилки, на которых покоится возлюбленная короля. Снова промежуток. Затем повозка для прислуги, запряженная четверкой лошадей. Далеко позади, в хвосте поезда – двенадцать мулов с поклажей. Все торжественно и чинно, на всем печать той же разумной аккуратности, что и на прочих начинаниях барона. Ничего бы не потребовалось изменить, если бы вместо Габриели д'Эстре средоточием шествия была сама царица Семирамида. К сожалению, не все люди так преданы делу и обладают таким чувством ответственности, как Рони. На самом крутом спуске кучер запряженной четверней повозки соскочил с козел, не подумав хотя бы здесь обуздать свою естественную потребность. Какой-то задорный мул, несмотря на тяжелый груз, галопом настиг лошадей,

тащивших повозку, и, позвякивая колокольчиками, показал, как громко умеет он реветь — ничуть не хуже, чем осел Силена [34. — Силен — в древнегреческой мифологии воспитатель бога Диониса. Изображался веселым, подвыпившим старцем, едущим верхом на осле.] в Бафосской долине. От этого четверка коней рванулась вперед; тяжелая кольмага, казалось, того и гляди, повалит легкие носилки, разобьет их вдребезги и пустит под гору, а с ними вместе и самое большое сокровище королевства.

— Держите! Держите! — кричали все, но никто не шевелился, слуги оцепенели от ужаса. Между тем дышло сломалось, повозка остановилась, а лошади одни помчались дальше и где-то впереди были задержаны людьми господина де Рони.

Дама была на волосок от гибели, и потому рыцарь стремглав бросился к ней. Страх сковал ему язык, он только жестами без слов выражал свою преданность да издавал хриплые возгласы радости. Дама покраснелась от гнева. До сих пор ее всегда видели лишь в мерцании лилий, значительно преобладавших над розами. Рыцарь наблюдал происходящее с тайным удовольствием, он вспомнил других любовниц короля, которых тот покинул, потому что не терпел их свойства краснеть пятнами. Такой юной особе до этого было далеко, по меньшей мере лет двадцать; нужды нет. У Рони зародилась надежда, и он собрался попросту продолжать путь. Госпожа д'Эстре полагала иначе; на ком-нибудь ей нужно сорвать гнев, и если сам Рони для этого не годится, то пусть он хоть собственноручно высечет кучера за несвоевременное отправление естественной нужды. И доблестный слуга короля послушался, а немного позднее доставил королю прелестную путешественницу всецело в мерцании лилий.

— Во время происшествия все позеленели от ужаса, — пояснил он нетерпеливому любовнику. — Только у мадам де Лианкур краски стали еще прекрасней, чем всегда. Сир! Жаль, что вас при этом не было!

Несчастливая Эстер

Любящая чета открыто поселилась вместе в старом аббатстве, о чем проповедник Буше, надрывая глотку, кричал по всему Парижу. Однако успех его был невелик.

Слушатели уже не сбегались толпами, не устраивали давки, падучая случалась реже: прежде всего вследствие провала Генеральных штатов. Люди убедились наконец, что различные претенденты на французский престол не имеют твердой почвы под ногами, а у ворот столицы ждет настоящий король, которому стоит только отречься от прежней веры, чтобы немедленно вступить в город. Он доказал свою силу хотя бы тем, что не делал больше попыток ворваться с боем. Ворота были открыты, крестьяне ввозили припасы, парижане отваживались выходить из города. Они были сыты, что бодрило их, возвращало им давно утраченную любознательность; кто с урчанием в животе слушает поклепы неизменного Буше, тот в конце концов забывает, что следует самому посмотреть и поразмыслить.

Целыми толпами тянулись парижане в Сен-Дени, но только в одиночку доходили до старого аббатства; иногда на это отваживались по двое, рассчитывая защитить друг друга. Ведь здесь явно имеешь дело с антихристом, тому порукой многое, иначе разве мог бы отлученный от церкви еретик так долго держаться против всей Лиги, против испанских полчищ, против золота короля Филиппа и папского проклятия. Два горожанина прокрались сегодня в монастырский сад, отыскивали укромное место и решили выжидать, запасшись провизией. А вот и само чудовище, тут как тут, точно дьявол, когда его вызывают заклинанием, только что вокруг него нет серного облака. Он даже без охраны и не вооружен; одет совсем не по-королевски. Вот мы уже и открыты, хотя за кустарником он видеть нас не мог. Конечно, что-то с ним нечисто.

— Сир! У нас нет дурных намерений.

— У меня тоже.

— Клянемся, никогда мы не верили, что вы антихрист.

— Да я и не считал вас такими дураками. Теперь пришло для нас время познакомиться поближе. Нам всем троим придется еще долго жить вместе.

По его знаку они покинули свое убежище, и не успел он оглянуться, как они уже стояли пред ним на коленях. Он добродушно посмеялся над их смущением, потом сразу перешел на серьезный тон и спросил о недавно пережитых ими тяжелых временах; они упомянули о муке, которую действительно добывали на кладбищах, чему теперь сами уже верили с трудом; тут король закрыл глаза и побледнел.

Об этой встрече они рассказали потом великому множеству любопытных, которые меньше интересовались его словами, нежели его наружностью и обхождением. Хотели знать, добрый он или злой.

— Он печальный, — заявил один из тех, что близко заглянул ему в лицо. Другой возразил:

— Откуда ты это знаешь? Он все время шутил. Хотя.. Впрочем.. — Здесь тот, что считал его шутником, запнулся.

— Хотя.. Впрочем! — с сомнением сказал и тот, которому он показался грустным.

— Он большой человек. — В этом оба были согласны. — Он высокого роста, приветливый и такой простой, что страшно становится и даже..

— Хочется руку ему подать, — торопливо закончил второй. Первый смущенно молчал. Он чуть не выдал, что они валялись в ногах у короля.

В том же монастырском саду король принял явившегося к нему пастора Ла Фэя, который вел за руку женщину под покрывалом.

— Мы вошли незаметно, — были первые слова старика.

Генрих ничего не мог понять, он переводил взгляд с пастора на женщину, однако покрывало на ней было плотное.

— Незаметно и неожиданно, — второпях произнес он; он спешил к Габриели.

— Сир! Возлюбленный сын, — сказал старик. — Господь не забывает ничего, и, когда мы меньше всего ждем этого, он напоминает нам о наших деяниях. Кто их совершил, не смеет от них отрекаться.

Тут Генрих понял. Он, должно быть, знал эту женщину, Бог ведь где и в какие времена. Напрасно он искал какого-нибудь знака на ее обнаженной руке. Никакого кольца, пальцы разбухшие и израненные работой. Он перебирал в памяти имена, боялся, что за ним подсматривают, и с трудом удерживался, чтобы не оглянуться на окна дома.

— Она нашей веры, — сказал Ла Фэй и сдернул с нее покрывало. Вот кто это — Эстер из Ла-Рошели. Генрих любил ее так же, как двадцать других, и, может быть, больше, чем десятерых из них, теперь об этом судить трудно. Он спешил к

Габриели.

— Мадам де Буаламбер, если не ошибаюсь. Но, мадам, время выбрано неудачно, я занят. — Он думает: «Габриели об этом донесут непременно!»

Пастор Ла Фэй, старик с развевающимися седыми волосами, очень твердо:

— Вглядитесь лучше, сир! От своей совести люди нашей веры не бегут.

— Кто говорит о бегстве. — Генрих принимает гневный вид, но постепенно на самом деле расплывается гневом. — Я вовсе не бегу, я занят, и я не потерплю принуждения. Даже и от вас, господин пастор.

— Сир! Вглядитесь получше, — повторил пастор.

И тут у Генриха словно крылья опустились, ничто уж не воодушевляло его, ни желание, ни гнев. Перед ним, теперь действительно без покровов, была состарившаяся, больная и жалкая женщина, — а когда-то из-за нее он пережил экстаз пола и подъем сил. Он никогда не достиг бы столь многого, не достиг бы ворот своей столицы, если бы все они не вызывали в нем экстаза и подъема. «Эстер! Вот что случилось с ней! Ла-Рошель, твердыня у моря, крепкий оплот гугенотов, откуда мы, борцы за веру, не раз устремлялись в бой. К чему сверкать на меня глазами, пастор, мы единодушны. Минута выбрана удачно».

— Мадам, чего вы желаете? — спросил Генрих.

Он думает: «Гугенотка Эстер удачно выбрала минуту, чтобы предстать несчастной передо мной. Я собираюсь отречься от веры, и за это счастлив с Иезавелью, которая обращает царя Ахава к богу Ваалу. Однако ее в конце концов сожрут собаки. О, как скоро красоту постигает возмездие, она тускнеет от нашей неблагодарности: у Эстер из Ла-Рошели от горя и нужды потускнело лицо!»

Но тут он все-таки убежал бы, если бы она не заговорила. Ее хриплый, тихий голос произнес:

— Сир! Ваш ребенок умер. С тех пор ваша казна мне больше ничего не платит. Я отвергнута своими, я одинока и бедствую. Смилуйтесь надо мной!

Она попыталась преклонить колени, но от слабости едва не упала. Не Генрих, а старик Ла Фэй поддержал ее. Его взгляд строго сверкал, и Генрих ответил ему скорбным взглядом. Вскоре он ушел, но перед уходом кивнул пастору, в виде обещания, что все будет сделано. Он думал об этом, пока шел по коридорам

аббатства, постепенно замедляя шаги. «Что я сделал, что я могу еще спасти? Это самый непростительный пример моего бессердечия. Проливаю мимолетные слезы и уже спешу к следующей. Такая обо мне слава, она известна всем, а я последний замечаю, каков я на самом деле».

Ему вдруг стала ясна его роковая роль. Он плодил жертвы. По всем правилам и по искреннему своему убеждению он должен был бы поступать иначе, ибо из личного опыта хорошо знал тяготы жизни и неизменно нуждался в душевной твердости, как проходя школу несчастья, так и на пути к трону. Но наше доблестное поведение всегда требует, чтобы мы кого-то приносили в жертву. Генрих еще раз вспомнил об Эстер, потому что ему неоткуда было взять пенсию, которую он хотел ей назначить; ему пришлось бы урезать на эту сумму Габриель, свою дорогую повелительницу. Это он считал невозможным и боялся этого, ибо она, конечно, ничего бы не уступила. Ему стоило только вызвать в памяти картину, как ее прекрасная рука покоилась на локотнике кресла, а на пальце блестел камень, тот самый камень, что был украден господином д'Эстре.

Погруженный в заботы, он необычайно тихо вошел в ее покои. Из прихожей он заглянул в отворенную дверь; красавица сидела у туалетного стола. Она писала.
«Но любимая женщина не должна писать никому, кроме меня. Всякое другое письмо неизбежно внушает подозрения». Генрих приближался совсем беззвучно, теперь уже вовсе не по причине задумчивости. Наконец он заглянул писавшей через плечо, она его не замечала, хотя все их движения отражались на светлой глади круглого зеркала. Генрих прочел: «Мадам, вы несчастны».

Он испугался, сразу понял, о чем тут речь, и все же с мучительным трепетом следил за пером, которое громко скрипело, иначе, пожалуй, слышно было бы его дыхание. Его дыхание туманило зеркало. Перо крупно выводило: «Мадам, такова наша участь, когда мы верим красивым словам. Нам следует остерегаться, иначе нас ждет заслуженная гибель. Мне вас не жаль, потому что ваше поведение унижительно, а сцена в саду бесчестит мой пол. Я согласна дать вам денег, чтобы вы исчезли. Отец вашего умершего ребенка легко может об этом позабыть». Она писала дальше, но Генриху уже не хотелось читать. Зеркало было затуманено его

дыханием, и лица его она там не увидела, когда внезапно подняла взгляд. Он, пятясь, удалился прочь, в полной уверенности, что она знала о его присутствии и писала больше для него, чем для той, другой.

Он не появлялся несколько дней и даже обдумывал разрыв с возлюбленной. Она была жестока и непримирима. Посредством письма она дала ему понять, что никогда не простит, если он окажет помощь той женщине. Он и не решился на это. Дела в разных городах способствовали тому, что он забыл о капризах своей повелительницы. Он позабыл о ее капризах, но не о ней, а из-за большой тоски по Габриели у него не осталось времени подумать о той несчастной. На третий день он узнал, что его возлюбленная принимала у себя герцога де Бельгарда.

У него начался жар, совсем как приступ лихорадки, которая в течение всей его юности приключалась с ним и валила его с ног после особенно тяжелых испытаний — бессилие волевой природы, перед которой открылась бездна. Отсюда и жар. Сорокалетний человек не пугается его. Глубокую трещину в своей воле к жизни он закрывает собственной рукой; это возможно в таком уравновешенном возрасте. На коня, застичь изменников! Он опередил своих спутников и вторил ветру стопами горести и мести. Действовать! Не валяться в постели и не предаваться отчаянию, нет, это недопустимо, надо спешить, чтобы покарать обоих. Он мчался в полном мраке по лесу, пока его конь не упал и сам он не очутился на сухих листьях.

— Господин де Прален[35. — Де Прален — Шарль де Шуазель, маркиз де Прален (1563–1626), — французский военный, отличился в битвах в царствование Генриха III и Генриха IV. С 1619 г. маршал Франции, под конец жизни губернатор Сентонжа.]! — крикнул он, когда подоспели дворяне.

В подставленное ухо шептал он приказы, никогда в жизни он не думал, что способен приказать нечто подобное. Бельгард должен умереть.

— Вы должны исполнить мою волю, вы отвечаете мне собственной головой.

Прален недолюбливал обер-шталмейстера, в поединке он убил бы его: но королю он не верил. Этот король не из тех, что поощряют убийц, он никогда не осуждал

на смерть своих личных врагов и не начнет с Блеклого Листа. Прален отвечал рассудительно:

— Сир, подождем до рассвета.

Король вспыхнул:

— Вы думаете, я не в своем уме. Я хочу того, что вам приказываю. И не только Бельгарда. Не его одного должны вы убить, если застанете их вместе.

— Я в темноте плохо слышу, — сказал господин де Прален. — Сир, вы повсюду прославлены своей добротой, вы монарх новой человечности и тех сомнений, которые философы считают плодотворными.

— Неужели так было? — спросил Генрих сурово, — Ничего не помню. Оба должны умереть — женщина даже скорее, она первая. — Он резко выкрикнул: — Я не могу это видеть, — и заслонил глаза рукой от встававших перед ним картин.

Свидетель мрачного часа поспешил отойти как можно дальше, чтобы не присутствовать при этом. Наконец король снова вскочил в седло. Когда они прибыли в Сен-Дени, занималось утро. Генрих мчится вверх по лестнице, требует, чтобы его впустили, принужден ждать у двери и сквозь плотно закрытую дверь, словно воочию, видит переполох преждевременного пробуждения. Его терзает страх; тем, что находятся в комнате, не может быть страшнее, чем ему. Наконец замок щелкает, его возлюбленная повелительница стоит перед ним — вновь обретенная, он вдруг понимает, что считал ее утраченной. Кровь приливает у него к сердцу, потому что она возвращена ему. Она одета как в дорогу, хотя едва светает, совершенно одетая женщина стоит против окна, которое задрезжалось, когда его распахнули. Слышен был прыжок в сад.

— Объясните все это, мадам.

Она держала голову высоко и отвечала невозмутимо:

— Человек, что впал у вас в немилость, просил о моем заступничестве.

— Он выпрыгнул в окно. Надо его задержать.

Она преградила ему дорогу.

— Сир! Ваши враги из Лиги завлекали его; но он вам не изменил.

— И с Лигой и с вами! Мадам, как объяснить, что вы одеты, а постель ваша

измята? Заступничество! На рассвете и при измятой постели.

Она своей широкой юбкой загородила постель.

— То, чего вы опасаетесь, не случилось, — совершенно спокойно сказала она.

Он топнул ногой, чтобы придать всей истории менее мирный характер.

— Оправдайтесь! Вы еще не знаете, что я явился вас выгнать.

Она испытующе заглянула ему в глаза, словно боясь, что у него начался приступ лихорадки.

— Сядьте, — потребовала она и села сама, перестав заслонять измятую постель.

Затем заговорила: — Сир! Вы не впервые оскорбляете меня. Вы нанесли обиду господину д'Эстре. Далее, вы унизили меня тем, что приняли в саду ту женщину.

Вы уехали, не простившись, и я проявила слабость, ответив на письмо более верного друга. Он явился ко мне до рассвета, что вы должны бы счесть с его стороны деликатностью. Разве вам было бы приятней, если бы весь дом проснулся и увидел нас?

Он с трудом дослушал до конца, он вцепился в локотники, чтобы не вскочить с кресла. Вместо этого он подвинулся ближе к ней и сказал, отчеканивая каждое слово, прямо ей в лицо:

— Он приехал за тобой; поэтому ты одета. Вы хотели бежать. Вы хотели обвенчаться.

— С вашего позволения, — отвечала она, вскинула голову, но не отвела от него взгляда.

— Позволения я никогда не дам, — пробормотал он. — Матери моего ребенка, — вдруг произнес он громко. При этих словах она дважды быстро взмахнула ресницами и больше ничего, затем наступило молчание. Оба застыли, нога к ноге, почти щека к щеке, в напряженном молчании. Сначала он весь похолодел, потом у него стало сухо во рту и в горле, он не мог глотнуть, подошел к столу и выпил воды. После чего покинул комнату. На нее он больше не взглянул.

Мадам де Лианкур не стала ждать и велела укладывать сундуки. Она не знала,

проиграла она игру или нет. Пока что следовало уехать к тетке Сурди. Тетушка де Сурди сказала бы: «Что бы ни случилось, никогда ничего не проси и ни при каких обстоятельствах не благодари». Габриель, казалось, слышала эти советы даже издали, а сама между тем рассеянно отдавала распоряжения служанкам, укладывавшим сундуки. Правда, она не обладала глубоким умом и из-за скудости мышления совершала порой чреватые последствиями ошибки, как, например, с господином де Рони. На сей раз, однако, она руководствовалась затверженным житейским правилом ничего не просить, ни за что не благодарить, только выжидать, пока противник не сдастся. «У него нет никого, — думала она. — Никого на свете, тем более что сейчас он готовится к прыжку, который сам зовет смертельным прыжком, и недаром. У него больше вероятия потерять своих приверженцев, чем выиграть королевство. Когда мы ночью лежим рядом, я больше молчу, а он говорит сам с собой. Я ничего не имею против того, чтобы казаться недалекой».

И она приказала служанкам прекратить сборы. Оставшись одна, она набросила самое легкое, самое прозрачное одеяние; у нее вдруг явилась уверенность, что он вернется. «Женщины по большей части обманывали его, и он над этим смеялся. Он к иному и не привык, так говорят все. Никогда он не был ревнив, теперь это с ним впервые».

— Ему это, верно, нелегко, — произнесла она вполголоса и, мягко опустив руки на колени, ощутила мимолетный прилив неясности к тому, кто из-за нее стал другим и с ее помощью обогатил свою способность к страданию. Она даже была близка к раскаянию. — Я только ресницами взмахнула, когда он заговорил о своем ребенке.

Он вошел, взял ее за обе руки и сказал:

— Мадам, забудем все.

— Вы одумались, сир! — ответила она снисходительно, однако прекрасно заметила, какой мучительный час он провел. Его лицо должно бы побледнеть и стать усталым. Но лицо, обветренное в бесконечных походах и закаленное в борьбе, не способно быть бледным и усталым. Разве что заглянешь под кожу, подумала она с умилением.

— Сир! Вы неотразимы, когда добиваетесь меня. — С этими словами она протянула к нему руки, уже не просто терпеливо и приветливо, а наконец с

вожделением.

Когда минуты самозабвенной страсти прошли, они снова стали прежними — он беспокойный и пылкий, она же непонятная и хладнокровная.

— Северный ангел, — сказал он с отчаянием. — Поклянитесь мне, что с вашей верностью не сравнится ничья, кроме моей. — Но сам не стал слушать ее. — В какой верности можете вы мне клясться, когда вы уже дважды нарушили ее. Мое страшное подозрение вы принимаете совершенно спокойно, меж тем как другому прощаете открытое предательство. Блеклый Лист боится Лиги и не только сватался к мадемуазель де Гиз, но пользуется милостями ее матери. Вы для него ничто, и мне он не предан.

Ревнивец изощрялся в унижении противника, в завоевании ее непобедимого сердца.

— И вы могли ему написать! После всех обещаний! Вы больше не смеее говорить: я сделаю. Вы должны сказать: я делаю. Примиритесь с тем, повелительница, чтобы иметь только одного слугу.

Он застонал. Прижав обе руки ко лбу, он выбежал из комнаты. «Ниже пасть уже нельзя», — чувствовал он.

В старом саду его поджидал пастор Ла Фэй: Генрих как увидел его, застыл на месте, пораженный прямой связью между своим несчастьем и своей виной. Пастор стоял в десяти шагах от него, под деревьями.

— Несчастливая Эстер умерла, — проговорил он.

Генрих опустил голову на грудь и столько времени молчал, не шевелясь, что старику в тени деревьев сделалось жутко. Он сказал:

— Пусть даже это ваш величайший грех, сир! Несчастливая Эстер теперь у престола вечной любви!

Генрих поднял голову, поверх дерев призвал он в свидетели горние выси:

— В Долине Иосафата у меня в последний раз был выбор... — И удалился поспешно.

Ла Фэй остался один в скорби и страхе. Король богохульствует. Король смущен духом. Готовится отречься от своей веры и осмеливается сравнивать себя со Спасителем, как он был искушаем и устоял.

Только позднее пастор Ла Фэй узнал — Долина Иосафата — так звался

королевский лагерь у Шартра; и когда однажды король весь в грязи вылез из траншей, кого же несли ему навстречу? Существо, которое Господь Бог поставил на пути короля во имя Своих неисповедимых целей.

Старый протестант ни за что не поверил бы, что Габриель д'Эстре никогда не убеждала своего друга переменить веру. Сам Генрих знал правду лишь в той мере, в какой ее можно было обнаружить из разговоров и умолчаний. Однако когда впоследствии его спрашивали: «Сир! Кто, собственно, обратил вас?» — «Моя возлюбленная повелительница, прелестная Габриель», — отвечал он.

III. Смертельный прыжок

Мистерия зла

У Филиппа Морнея был в Англии всего один настоящий друг. Так как посол, не раз совершавший переезд через канал, теперь предпринимал его снова, и на этот раз с весьма тягостным поручением, он, естественно, перебирал в памяти своих знакомых. Их было немало, из различных слоев общества, и он давно потерял след многих, так что свободно мог даже позабыть их. Но самое длительное и давнее его пребывание в Англии относилось ко времени изгнания, к тому времени, когда он учился жизни, и люди, на которых он учился, продолжали жить в его памяти, некоторые уже только там. Имущество бежавшего протестанта подверглось конфискации, а если бы сам он был захвачен у себя на родине, то кончил бы дни свои за решеткой, а возможно, и на эшафоте. Молодой человек, почти без средств, но с пылким умом, не гнушался в Лондоне никаким обществом и, будучи во власти апокалипсических видений Варфоломеевской ночи, старался отделаться от них, облегчая себе душу где попало. Посетители дешевых харчевен выслушивали его с невозмутимым видом. Бог весть, принимали ли они его всерьез. Он слал исступленные проклятия убийцам, стоявшим в ту пору у власти в его стране, воскрешал картины зверств, пророчил неминуемые кары небесные и земные, — а слушатели только спрашивали:

— Вы и сами всему этому верите?

Морней той далекой поры однажды отдал свое платье в починку портному, и тот с готовностью согласился послушать его, пока сам будет шить; жена портного привела и других обитателей дома. Прошло довольно много времени, прежде чем одержимый одной мыслью изгнанник заметил, что он выставляет себя на посмешище, чуть ли не в одной рубашке – ибо снятая одежда была у него единственная, – и вместе с телом обнажает душу. Он тотчас умолк, и слушатели тоже не произнесли ни слова, пока портной вновь не одел его. После чего одна из соседок принесла ему кружку пива и сказала:

– Наверно, все так и было, как вы рассказываете, но уж очень это далеко отсюда. Я не знаю ни одной женщины, которая до того бы обезумела, чтобы пить кровь.

После этого урока молодой Морней не решался более обнаруживать свои чувства – Казалось бы, совершившиеся события должны потрясти весь мир, так они чудовищны и так громко вопиют к Богу, и что же – на расстоянии всего сотни миль, в том же христианском мире, они волнуют не больше, чем вымысел, и притом не слишком удачный. С тех пор изгнанник опирался лишь на знание, которое остается истиной за всеми границами и везде находит общий язык. Так принято думать.

Однако он напрасно обходил всех лондонских книгопродавцев, предлагая им напечатать свои богословские труды. Одних отпугивали кое-какие взгляды, считавшиеся запретными в этой, хоть и протестантской, стране. Другие требовали, чтобы автор писал не по-латыни, а по-английски. Единственной прибылью, которую он извлек из посещения книжных лавок, было знакомство с некоторыми учеными и знатными лицами. Многих он заинтересовал, они приглашали изгнанника к себе, вели с ним споры, а детей их он обучал французскому языку. Одним из них был лорд Барли [36. – Барли Уильям Сесиль (1520–1598) – английский государственный деятель. После воцарения Елизаветы был назначен первым статс-секретарем.]

У него были сыновья, старший – одного возраста с Морнеем, человек поистине светлого ума. Для него несчастье Морнея не было чем-то естественным. «Оба мы одной веры, оба стремимся к духовному совершенству и стоим за высшую

человечность, к тому же оба, одинакового происхождения, и, оставляя в стороне неравенство двух аристократий, ибо английская стоит выше, он похож на меня, как я на него, так что судьба могла бы при желании поставить одного из нас на место другого». Все это видел человек светлого ума, но ничем не выражал удивления, почему именно ему удалось избежать невзгод. «Я сижу в безопасности, а ему пришлось спасаться бегством. Он ограблен, он под угрозой, он всячески обездолен. Мне все идет навстречу, прекраснейшее будущее открывается предо мной, потому что, при всем сходстве с ним, я англичанин. Да хранит Господь нашу королеву!»

Сын лорда благодарил свою звезду, но в нем была живая душа, и он ясно ощущал свою причастность к чужим судьбам, крушения которых можно было бы избежать. Неповинны только скудоумные. Кто понимает, обязан вступить и действовать, чтобы христианство, как одно целое и единое здание, само не было сокрушено творимым злом, которое мы созерцаем со стороны. Представим себе христианство как единое здание, состоящее из отдельных постепенно суживающихся кверху башенок, последние из коих уходят в необозримую высь. Страстный мечтатель тотчас же набросал эту картину, хотя обычно он рисованием не занимался. Внизу были столбы, обособленные, но смежные, как Англия, Франция и другие страны и королевства. На них покоится все здание. Но вдруг в стройную картину врывается злокозненный бес с зажженным факелом. Не ведая, что творит, он поджигает первый столб, вслед за тем загорается второй, потом и многие другие. На все это смотрит христианин, и хотя с тоскою прижимает руки к груди, однако не пытается отвлечь беду. Как ни странно, но беды не приключается. Над разрушенными подпорками здание остается цело, словно витает в воздухе; верхушки его уходят в необозримую высь. Когда творец картины показал ее изгнаннику, тот, взглядевшись в нее, сказал:

— Зло полно тайн. Ваша картина изображает не что иное, как мистерию зла.

Это удивило автора картины, он склонился над листом бумаги, словно увидел его впервые. Морней же, прошедший долгий и поучительный путь изгнанника, ощутил при этом гордость за то зло, которое претерпел, ибо оно есть частица тайны. И

никогда не переставал про себя называть его так, хотя в действительной жизни утверждал добро; а в добре нет ничего загадочного.

В юности он со своим английским другом больше увлекался игрой в мяч или гребными гонками, нежели учеными беседами. Они обменивались книгами, еще чаще делились товарищами и подругами, по-братски и невинно как теми, так и другими. Темза — река, воздух и берег — переливалась влажными нежными красками, в солнечные дни здесь бывало по-детски радостно всем, не исключая изгнанника с отмеченным страданием челом. Как быстро развеялся благовонный рай — прогулки, песни, цветы, поцелуи, укромная ласка в беседке, трепетные звуки скрипки, несущиеся из-за холма. Как быстро развеялся благовонный рай! Изгнанник возвращается на родину, он выбирает себе государя, которому хочет служить, и ездит от его имени ко дворам, чаще всего в Англию. Тут уж поистине не до детских забав. Теперь тамошние жители для него только лишь предмет дипломатических упражнений, и нет среди них ни приятных, ни простых. Однако он всегда причаливает к этому берегу, к этим меловым утесам с облегченным сердцем, словно попадает к друзьям. Между тем у него здесь только один друг. Но тот сполна отблагодарил его за дружеские чувства к этой стране. Страну любят за образ мыслей, за веру и древнюю славу, а это все ей самой хуже видно, чем тому, кто лишь наезжает сюда и причаливает к ее утесам.

Лорд Барли унаследовал титул отца и был первым лордом казначейства в королевстве. Чрезвычайный посол направился к нему раньше, чем к постоянному посланнику своего короля. Он подошел к дому, вокруг которого реяли облака, так одиноко стоял этот дом, а внизу был берег с рыбацкими хижинами. Морней застал своего друга в просторной комнате, где министр надзирал за несколькими писцами; здесь было сосредоточено управление финансами страны. При появлении гостя писцы с любопытством подняли головы. Он стоял под их взглядами до тех пор, пока взгляды не опустились сами собой, потому что для любопытства не было пищи. Выждав приличную паузу, благородный лорд сказал:

— Надеюсь, ваше путешествие сошло удачно, — после чего провел его в свой личный кабинет. Только там они обменялись рукопожатием и долго вглядывались друг другу в лицо. Как бы оправдываясь, он сказал: — Ты не изменился. — А настоящая причина была в том, что им доставляло радость глядеть друг другу в

глаза. — Положение тяжелое, — начал Барли, когда они уселись на жестких черных стульях. Морней понял, что ему хотят помочь высказаться. Он с трудом проглотил слюну. — Вы к этому привыкли! — добавил Барли.

— Я и не падаю духом, — с трудом произнес Морней.

— В прошлый раз вам пришлось здесь нелегко, но под конец вы своего добились.

— Потому что ваша королева справедлива и верна себе, — добавил Морней. Он повторил: справедлива, и еще раз сказал: верна себе. О ком думал он, кто не был ни тем, ни другим? Он поспешно обуздал свои безмолвные мысли и сказал вслух: — Мой король внутренне тверд по-прежнему, потому я и служу ему все эти годы. Его положение неустойчиво, но отнюдь не он сам. Ваша королева недовольна, что он не хотел взять измором свою столицу. А что еще хуже, до ее британского величества дошел слух, будто мой король склонен отказаться от истинной веры.

Так как Барли молчал, и молчание было суровое, Морней тихо спросил:

— Вы верите этому? — И добавил, возвысив голос: — Бог свидетель, что я уверен в противном.

— Тогда вы лучше, чем кто-либо, способны убедить королеву, — послышался ответ.

— Поможете вы мне, Барли, как в прошлый раз?

— Старый друг, — отвечал благородный лорд, стараясь попасть в прежний задушевный тон, — в прошлый раз дело было донельзя простое, не сравнить с тем, о чем предстоит договариваться теперь. Мысли королевы были тогда заняты мужчиной [37. — Мысли королевы были тогда заняты мужчиной. — Речь идет о графе Эссексе (1566–1601), занявшем в 1588 г. после смерти своего отчима Лестера место ближайшего друга и доверенного лица королевы Елизаветы.]. Все мы были молоды.

— Молоды? Ведь прошло только два года.

Министр смутился, принялся высчитывать. Верно, два года назад королева еще любила, еще страдала. Но он не остановил Морнея, и тот сказал:

— Только два года, что могло измениться за этот срок? Страстная натура вашей великой королевы всегда останется таковой, будет ли поводом мужчина или нечто

неизмеримо более важное, чем мужчина, а именно: религия. Но я уж и из-за графа Эссекса обливался кровавым потом.

Министр снова подумал свое, не прерывая чрезвычайного посла: «Страсти легче осилить, чем мудрость. Как могу я влиять там, где больше не волнуются и не страдают».

— Я уж и из-за Эссекса обливался кровавым потом, — повторил Морней, — каково мне придется на этот раз.

«Ты будешь удивлен, старый друг», — хотелось предсказать лорду Барли. Однако он только произнес:

— Дорогой мой, на этот раз вы сами больше будете говорить и горячиться, нежели ее величество. Вам нечего бояться вспыльчивости королевы.

— Это верно, Барли? Когда Эссекс, несмотря на приказания королевы, медлил откликнуться на ее зов и оставался при армии во Франции, предпочитая навлечь на себя ее немилость, только бы не пропустить прибытия герцога Пармского, сколько угроз и упреков сыпалось тогда на мою голову! Почему мой король лично не принял Эссекса и не оказал ему должных почестей? Почему мой король легкомысленно рисковал собственной жизнью, и, что непростительнее всего, почему он выдвинул английские войска на передовые позиции, а Эссекса, самого Эссекса, заставил сражаться впереди? Немедленно подать сюда графа Эссекса, ни один английский солдат не будет послан против знаменитого Пармы до тех пор, пока Эссекс не вернется ко двору! Французские дела опостытели королеве. Еще один гневный выкрик, и королева почувствовала себя дурно, она и так не спала ночь; на том беседа закончилась.

— Два года назад, — повторил Барли, опустив глаза. Потом поднял их и сказал: — Морней, не забудьте, что вы говорите о прошлых временах. В конце концов вы все же получили войска, хотя и после вашего отъезда, когда вернулся Эссекс. Мы оба, Морней, имели некоторое влияние на великую королеву, потому что мы не замечали — не нарочно, а просто по свойствам нашей натуры и нашего образа мыслей, — не замечали и не желали знать обстоятельств, при которых любая женщина похожа на всех остальных. Вы, Морней, приятны королеве.

— Приятен до сих пор? Во время моего отсутствия меня, кажется, очернили в ее глазах.

— Ну, это просто смешно, — сказал Барли, встал и действительно засмеялся, обрадовавшись, что тягостный разговор принял более безобидный оборот. — За вашим столом, когда вы осаждали Париж, кто-то посмеялся над плохим французским языком королевы. Она позабыла об этом со свойственным ей великодушием, и вы будете приняты так, как того заслуживаете. Вы испытанный друг нашей страны и ее повелительницы.

В общем, свидание оказалось ободряющим для Морнея. Можно было счесть хорошим предзнаменованием и то, что королева уже на третий день назначила аудиенцию чрезвычайному послу. Парадная карета дождалась у дома посла, аккредитованного при королеве, и господин де Бовуар ла Нокль [38. — Де Бовуар ла Нокль. (род. в середине XVI в. — умер в 1601 г.) — протестантский полководец и дипломат. При Генрихе IV был французским послом в Англии.] отправился вместе с Морнеем. За каретой следовал почетный английский эскорт. В ту минуту, когда оба дипломата переступили порог парадной залы, навстречу им с противоположного конца вышла королева Елизавета. Многочисленная свита, следовавшая за ней, разделилась пополам и выстроилась по обе стороны залы. Если бы не множество кавалеров и дам, Морней все еще ждал бы ее британское величество, в то время как она уже стояла перед ним, — впрочем, их разделяло большое пустое пространство. Она показалась ему меньше, чем прежде. Туловище как-то осело на длинных ногах, и волосы не были высоко взбиты, как раньше. Что это, — на голове у Елизаветы чепец!

Вот все, что заметил посол при входе. Остальное он разглядел, уже очутившись в трех шагах от нее, когда выпрямился после почтительного поклона. Королева не была нарумянена, только налет синей и черной туши вокруг глаз несколько смягчал взгляд. Благодаря подрисовке он не подстерегал и не вперялся, точно сокола — серо-голубой и как будто без век. Все черты ее обострились за это время и постарели. Вернее, старости было дозволено наложить на них свою печать — наблюдатель был поражен тем, как ослабела воля великой женщины, всю

свою жизнь он видел в Елизавете Английской стойкую, непреходящую мощь, даже в физическом смысле. Если бы не ее долгое правление и неувядаемая молодость, что стало бы в Европе со свободой совести, чья бы порука и поддержка укрепляла мужество короля Наваррского, впоследствии Французского, во времена величайшего одиночества? Вдруг Морней заметил, что из-под чепца у нее выбилась тонкая прядка седых волос. Он побледнел и с трудом мог приступить к речи.

Впрочем, речь эта была такой же данью церемониалу, как и все, что происходило сегодня. Королева стоя слушала торжественное приветствие короля Французского, произнесенное его чрезвычайным послом сначала по-латыни, затем по-английски. Для ответа она села – поднялась на четыре ступени к стоявшему на возвышении креслу, но не с той легкостью, как еще недавно. Наоборот, она двигалась медленно – быть может, умышленно подчеркивала свою медлительность. Тут Морней перестал ей верить. Перемена была слишком разительна, слишком неожиданна; к тому же ее нарочитая тяжеловесность дала повод одному из придворных предложить ей руку: то был граф Эссекс. Елизавета даже не взглянула на него, едва прикоснулась к его руке, но вся величавость разом возвратилась к ней. На возвышении, в узком и тугом корсаже, сидит королева, одетая в темно-серый шелк, сменивший яркие ткани, которые она носила прежде, невзирая на лета. Ее фавориту на вид, пожалуй, не больше двадцати шести весен, лицо у него слишком гладкое, чтобы можно было определить точнее, – держится он по-юношески беспечно, несколько вольно, хотя и с достоинством, но почему одна из его стройных ног осталась на весу? Помогая старухе подняться на ступени, он принял именно такую позу. Пусть знают посторонние наблюдатели и спешат разнести весть, что его роль при дворе больше, чем королеве угодно показать. Он мог быть господином, одно лишь средство нашла она уйти от его чар, – быстро состариться. Всем своим видом дает он это понять. Почтительность его только показная, и даже бесспорная грация кажется обманчивой. Галантный кавалер не замедлит преобразиться, если его покровительница не примет мер. Стройная нога останется на весу: королева, следи за каждым шагом ненадежного юнца, который из чистого задора может сделаться для тебя бичом и грозю вместо бывлой забавы.

Фаворит очень не понравился чрезвычайному послу, а потому его крайне

порадовало то, что произошло дальше. Эссекс поспешил захватить место впереди. Адмирал, гофмаршал и все приближенные расположились полукругом позади королевского трона, меж тем как Эссекс вел себя так, словно для них главное лицо — он, а королева только марионетка в его руках. Он кивнул своему дяде Лейтону, тот обратился к другому придворному, и, наконец, третий выступил со свитком исписанной бумаги — неохотно, видно было, что двор шокирован. Но Эссекс ни на кого не обращал внимания, он нетерпеливо прищелкивал пальцами, чтобы тронную речь королевы поскорей передали ему и чтобы он, а не кто другой, вручил ее. И в самом деле казалось, будто он один имел на это право, так небрежно и вместе с тем почтительно протянул он ее величеству развернутый свиток. В тот же миг ее величество резким движением оттолкнула бумагу, и та упала на пол. А королева начала речь. Лицо фаворита, оставшегося ни при чем, сперва приняло глупое выражение, затем постепенно омрачилось. Что с ним было дальше, не узнал никто, ибо Эссекс, тихо ступая, попятился и исчез за спиной дяди.

Голос королевы звучал ясно и повелительно, как всегда, он долетал за колонны и портьеры, дамы раскрывали рты: ведь подобную силу можно даже вдыхать. Елизавета назвала короля Французского единственным христианским государем, который поднял меч против Испании, — при этом она встала и выждала, пока не затих одобрителный шепот двора. Затем милостивыми словами отпустила обоих послов. Низко склонившись, они увидели, что свиток исписанной бумаги лежит на прежнем месте. Они удалились, пятась к дверям, повернувшись лицом к королеве; Морней, глядевший зорко, заметил, что Елизавета спустилась по ступеням вбок и при этом наступила на свиток.

Королева выждала всего пять дней, чтобы неофициально пригласить к себе Морнея. Он пришел пешком и застал Елизавету одну за столом с книгами. Во дворце он никого не встретил. Дипломат воспользовался этим обстоятельством, чтобы воздать должное счастливому положению монархии, которая не является военным лагерем и не ставит у дверей двойных караулов, но видит свою опору в справедливых законах. Елизавета, милостиво приветствовавшая Морнея, после первых его слов склонила голову так, чтобы, глядя на него снизу вверх,

молчаливо вопрошать, что он думает в действительности. Она очень заботилась о своей безопасности, независимо от того, преграждали ли ее солдаты путь каждому встречному или нет; и он, конечно, это знал. Но он думал только, как бы подойти к главному, к тому, что король Французский открывает век мира внутри страны, такой же, каким Англия обязана своей великой королеве. Отсюда некоторые странности и колебания в поведении его господина, которые могут показаться непонятными. Этими словами он намеревался перевести разговор к слухам о перемене веры. Королева оставила их без внимания.

— У меня были все основания жаловаться на короля Франции, — сказала она отчетливым, ясным голосом, заученным и испытанным в публичных выступлениях. И неожиданно прибавила: — Он должен был взять Руан вооруженной рукой, для того я ему и посылала оружие.

Морней припомнил: «Еще два года назад она казалась страждущим бесплотным духом, потому что ее Эссекса нельзя было оторвать от Руана. А теперь это женщина, которая смирилась. Сейчас она без чепца, видны белые пряди, и рыжие не начесаны сверху, а прикрыты, как золото, которое прячут».

— Париж он мог взять измором, — сказала она затем, но уже менее решительно, чем то, что говорила о Руане. Морней тотчас же привел доводы, которые подготовил заранее: король должен щадить жизнь своих подданных, даже если они восстанут против него. Ибо и ему и им надлежит, по воле Божьей, жить общей жизнью.

Она еще раз взгляделась в него, стараясь понять, в какой мере он лукавит. После чего сказала просто:

— Я одобряю вашего государя.

Посол поклонился в знак благодарности. «А перемена веры?» — подумал он. Она пояснила ему более доверчиво, чем раньше, что именно она одобряет.

— Ваш государь — истинный король. Он предпочитает покупать свои города, нежели обращать их в развалины. Для этой цели он пользуется торгашами и пройдохами, вроде Рони.

— Это верный слуга, — решительно возразил Морней.

Елизавета кивнула.

— Он из числа прежних друзей. А короли ищут новых. Старых они отмечают... — Пояснительный жест. — Когда те отслужили.

Морнею хотелось спросить, дозволено ли новым быть подлецами и изменниками.

Он промолчал и продолжал слушать.

— Возможно, что он обошелся бы без перемены веры. — Слово было произнесено.

У посла сильно забилося сердце. Елизавета застыла с открытым ртом, вслушиваясь во что-то далекое. — Это стоило бы много крови, — произнесла она вполголоса, пожимая плечами. — И век мира наступил бы не скоро. После каждого его сражения державы задумывались бы, не преждевременно ли признать его. Vederemo[* * * - Посмотрим (ит.).], — сказал папа. И союзники короля Французского в конце концов устали бы и потеряли надежду и терпение. — Неожиданный, пронизывающий взгляд прямо в глаза послу.

Он понял, что настал подходящий миг, и только не знал, как начать. Он ожидал града упреков; однако Елизавету как будто вовсе не покоробил роковой слух; она говорила так, будто это правда, и делала вид, будто для нее это желательно. Морней ей не верил. Великая протестантка не могла потерять надежду и терпение оттого, что союзник упорно держался своей веры. Не о себе говорила она. Она подозревала других. Морней предположил, что под личиной старости и отречения она скрывает свою испытанную приверженность к истинной вере, и речь ее этого не опровергала. «Время не терпит; не сделай промаха. Не признавайся, что король может отступить от своей веры. Она искушает тебя, чтобы ты заговорил откровенно. Иначе мы и не предполагали, нам бояться нечего. Мой король не отступится».

Пока Морней таким образом подстегивал себя, прошло лишь одно мгновение, и к нему уже вернулась давным-давно приобретенная сноровка вместе со всей душевной силой. Итак, он начал спокойно, отметил, как преуспела новая вера и дело освобождения человечества; они нерасторжимы, и именно поэтому протестантство овладевает миром. Венеция, древнейшая республика, признала короля Франции, она уповаает на него и на его деяния, чтобы отделиться от Рима. Самому папе пришлось сказать: «Посмотрим», ибо рано или поздно он принужден будет снять отлучение с государя, на чьей стороне пол-Европы.

— Он единственный из государей, который поднял меч против Испании. — Морней

точно повторил собственные слова Елизаветы. — И пусть Испания, чувствуя близость крушения, выставляет новые войска, пусть она доселе всей тяжестью мертвого тела тяготеет над народами: что она может и чего достигнет в конце концов? Здесь не только одинокий герой и государь, который поднял меч, — здесь народы Европы и борьба за освобождение человечества. Это освобождение может задержаться, но тем увереннее шагнет оно вперед, оно может потерпеть неудачу, но тем несомненнее будет его поступательный ход. Мой король стоит и сражается на твердой почве: такова воля Божья в истории.

Королева слушала и молчала. Выражение ее лица стало почтительным, точно у внимательной ученицы, в конце концов она совсем перегнулась над столом, опершись подбородком на ладони. Морней ощутил мимолетно: «Я щеголяю умелой речью, она перенимает у меня искусство, и ничего больше? — У него не было времени остановиться на этой мысли. Он преследовал одну цель — усилить впечатление и увлечь королеву — чем? — ведь подлинное положение уже обрисовано. — Правда, я придал ему такой поворот, при котором мой повелитель может остаться верен истинной религии. Но я не могу продолжать в этом духе, — признал Морней, — ибо он не останется ей верен. Он отречется». Впервые это стало для бедного Морнея неотвратимой неизбежностью, и она открылась ему в его собственной речи под одобрительным взглядом королевы Английской.

Он приподнял обе руки с локотников кресла и, держа их на весу, отвел глаза. Мгновенно принял он решение, встал, прижал правую руку к груди и сказал просто:

— Я признаюсь. Мой король отречется от своей веры. Он отважится на смертельный прыжок, как сам его называет.

Елизавета без слов дала понять: мы вполне единодушны. Но почему именно теперь? Морней ответил:

— Таковы обстоятельства и такова очевидность, и тем не менее они обманчивы. Двадцать лет войны за нашу веру не менее действительны и неизгладимы. Сердцем он не может отречься.

Движением плеч она сказала: тогда без сердца. Морней заговорил тверже:

— Пять раз менял он исповедание. Из них три раза то был обман по необходимости и принуждению. Теперь будет четвертый и тоже недолговременный.

Это я утверждаю и знаю. Мой король велик лишь своей борьбой за нашу свободу, больше у него нет ничего. Не забывайте, ваше величество, этот день и смиренного слугу, который дал вам добрый совет. Никогда не принимайте всерьез переход моего государя в другую веру, не лишайте его вашей помощи и дружбы. — Морней перевел дух, перед тем как отважиться на последнее, хотя, в сущности, оно пришло ему в голову, только пока он переводил дух. — Королем Французским будет основана собственная господствующая церковь: оба исповедания слиты воедино, и папа устранен из нашей религии. — Решительно, ибо все это он теперь вполне постиг и осознал, заключил он готовой формулой: — *Imminet schisma in Gallia*[* * * — Грозит раскол в Галлии (лат.)].

Елизавета поглядела на него, одобрительно кивнула и в ответ лишь сказала, что он из усердия способен на то, в чем ему отказала природа: на поэтический вымысел.

— *Si natura negat, facit indignatio versum*[* * * — Коль дарования нет, рождается стих возмущеньем (лат.)], — сказала она. Что, правда, означало также: все сплошь ваша выдумка, и вы не в своем уме. Но сказала она это по-дружески. Дальше она принялась вразумлять его. — Ваши слова о борьбе за свободу очень хороши, мой милый. Больше у него нет ничего, чтобы быть великим. Потому он и после своего обращения будет побивать и побеждать его католическое величество короля Испании. В этом я уверена, и тут я ему помогу. Однако борьба за веру... — В голосе прозвучала резкая нота. — Господин дю Плесси, где вы были последние десять лет?

Он понял: «Я проиграл, и здесь мне больше незачем притворяться, я могу говорить просто как христианин».

— Служение Богу столь же важно, как и служба государю, — признал он.

Елизавета как услышала это, точно сразу состарилась.

— Говоря так, вы подготавливаете себя ко второму изгнанию, — сказала она дрожащим голосом и, казалось, была растрогана до слез. — Вы одарены силой воображения и убеждения. Вы всячески уговаривали меня, но я — старая королева, и я знаю, что будет дальше. Ваш господин будет обнимать вас, протестантов, потому что, говорят, у него доброе сердце, а стоит вам всерьез воспротивиться

ему, как он вас обезглавит. Сама я так поступала со своими католиками, только без объятий. Воля Божья здесь одна, там другая. Обезглавит, – повторила старуха тоскливо, если бы она говорила по-иному, своим обычным четким голосом и с повелительной осанкой, это было бы отвратительно, невыносимо. Даже и теперь Морнею очень хотелось убежать. – Вас бы я хотела ограбить! – сказала она, словно сейчас лишь вспомнила о нем. – Вы никак не должны пострадать, за вас я замолвлю слово. Вы служили мне, как своему королю, я ничего не забываю. Но в качестве его посла мне больше не придется вас приветствовать. – С каждым словом она становилась естественнее и моложе. – Взяв эту новую возлюбленную, он лишил себя протестантской славы. – Возражение Морнея она остановила жестом. – Мне, королеве, знакомо и это. Кто же теперь будет участвовать в заговоре против его католической славы? В заговорах всегда участвуют возлюбленные. – Она сидела прямо, стиснув пальцами концы локотников, глаза стали точно у птицы, серо-голубые и как будто без век. Вскочила, сделала несколько торопливых шагов; обернувшись, спросила, почти выкрикнула: – Видели вы его?

Морней остолбенел – перед ним было чудовище.

– Я знаю его, – выкрикнула она. – Начала его узнавать. Тогда мы с большим трудом вытребовали его из Руана, а следовало оставить его там; казалось бы, я достаточно умудрена опытом. – Длинными своими ногами она стремительно шагнула вперед, наклонилась над Морнеем: – Исписанный свиток, а? Вы поняли истинный смысл церемонии? Он на переднем плане, а я – марионетка у него в руках! Ну, так заметьте себе, какова на вид опасность. Ваш король называет это смертельным прыжком. А я не хочу прыгать. – Крик превратился в стон. – Вашему королю придется обезглавить тех, кого он сильнее всего любил. Скажите ему это! Не забудьте напомнить ему, чтобы он вовремя предупреждал заговоры. Ему надо распознавать своих врагов раньше, чем они сами поймут, до чего им суждено дойти.

Теперь женщина плакала непритворно, она во весь рост распростерлась на бархатных подушках ларя; бедное чудовище страдало без злобы и без стыда. «Я не должен видеть это, – думал Морней и не двигался с места. – Ведь это королева».

Его пронизывала дрожь, трудно сказать – гадливости или благоговения. Под личиной отречения и старости в ней по-прежнему теплились страсти, все равно

какие. «Конечно, она болеет не за веру, но за власть и свое королевство», — решил праведник, чтобы только не заподозрить худшего. Все же перед его внутренним взором стал черный эшафот, и он видел, кто всходит туда.

Он ждал, отвернувшись. Когда он оглянулся, Елизавета сидела за столом с книгами, одну из них она раскрыла и шевелила губами. Заметила его и обратилась к нему:

— Вы были погружены в размышления, господин посол. Я покамест читала по-латыни — не по-французски: как вам известно, я слабо владею французским языком. Вы, вероятно, задумались о тяжелых временах, а они действительно могут настать для вас. Новое изгнание, в ваши годы, когда пора уже на покой!.. Но моя благосклонность к вам неизменна, и я предлагаю вам убежище.

После этого Морней был отпущен и возвратился в свою гостиницу на Темзе. У него не было охоты идти к кому-либо, ни к постоянному послу, ни — пожалуй, еще меньше — к лорду Барли. Его комната убранством подражала дворцовой роскоши — без права и смысла, и в этом несчастный усмотрел уподобление себе самому. «Отныне мы гроб повапленный. Будь у меня хоть мужество, подобающее новому моему положению. К королеве я вошел еще живым человеком: ей пришлось сказать мне, что я выброшен к мертвецам». Он вспомнил: «Несколько раз я улаживал политические дела, уверяя, что мой повелитель отречется от своей религии; но сам считал это обманом. А это стало правдой, и обманутым оказался я сам». Сгорбившись, стоял он у окна; река внизу плыла и сверкала. Некогда были летние дни, Темза-река, воздух и берег переливались влажными нежными красками. Всем становилось по-детски радостно, не исключая изгнанника. Некогда были здесь летние дни.

Морней не был способен долго предаваться чувствительным воспоминаниям и в отчаяние не впадал. Целую неделю он не выходил из комнаты, сказавшись больным, а сам подготовлял научное, весьма убедительно обоснованное сочинение о необходимости галликанской господствующей церкви. Если бы он мог созвать собор пасторов и прелатов, совместно с королем, сейчас же в этой комнате, он был уверен, что добился бы своего. Но работа была сделана, а комната оставалась пустынно и уныла. Тогда Морней развел огонь и бросил в него исписанные листы.

После чего он отправился к послу Бовуару, без прикрас рассказал ему о неудаче у королевы, но сослался на свой опыт: она может перерешить, если настаивать.

Бовуар должен выхлопотать ему еще одну аудиенцию. Морней поставит на своем,

Елизавета выразит королю свое неудовольствие по поводу его перехода в другую

веру. Тем самым она удержит его от невыгодной сделки, подчеркнул Морней.

Бовуар согласился, но в душе не желал вмешательства королевы Английской, а

господина де Морнея считал скорее богословом, нежели мастером в искусстве дипломатии, хоть он и приводит мирские доводы. Кстати, королева ответила, что

не располагает сейчас свободным временем, однако надеется скоро опять увидеть

господина дю Плесси-Морнея, а ее адмирал предоставит ему для обратного пути

судно из королевского флота.

Прежде чем судно было готово к отплытию, Морней пошел проститься со своим единственным английским другом. Первый лорд казначейства избавил его на сей раз

от необходимости проходить через общую канцелярию, открыв для него потайную

дверь. Морней пригнулся и проник в кабинет черного дерева. На столе стояла

бутылка кларета – это было излюбленное вино короля Франции – и два бокала.

– Выпьем за его счастье и благополучие, – сказал лорд Барли, и они выпили стоя.

Посидели и помолчали.

– Теперь вам известно все, – сказал благородный лорд и поморщился, словно вино вдруг показалось ему кислым. – У вашего короля по-прежнему есть

союзница

против Испании.

«И против религии, – подумали оба. – И против права. Таков наш мир, – думали

они. – Ни одному венценосцу не миновать греха и покаяния». Морней говорил очень

медленно, стараясь вчувствоваться в свои слова:

– Король решается на смертельный прыжок из великого самоотречения, на которое мы не способны. А где найти мне слова, чтобы прославить мудрость вашей

великой королевы? Ее величество поистине чудесно просветила меня насчет того,

что такое добро и зло.

– Чудесно, – повторил Барли. У него заблестели глаза, и он поднял

указательный палец, словно в памяти у него возникли былые представления о чудесах. — Я вижу, — сказал он просто, как обычно. — Ваша попытка была напрасна. Извините, мой друг, что я не решился предупредить вас об этом. Я знал мудрость королевы, знал также, что осилить мудрость труднее, чем страсти, а она свои страсти победила.

Морней ничего не возразил — оставил в тайне бесстыдную откровенность Елизаветы, он и сам был бы рад не присутствовать при этом.

— Между мной и моим королем ничего не изменится, — сказал он только. — Я знаю свой долг и еще усерднее буду его выполнять после перехода моего государя в другую веру, потому что мой государь окажется в более опасном положении, нежели раньше.

Барли взглянул на него искоса и бросил:

— Вам самому придется переменить веру.

— Нет, — воскликнул Морней, но сейчас же спохватился и закончил приглушенно — говорило ли в нем смирение или упорство? — Кто я такой, чтобы отречься от истины? Я дивлюсь, что короли это делают и мир продолжает стоять.

— Выпейте стакан вина, пока я кое-что поищу, — попросил Барли, встал, нажал какую-то планку в стене, и она повернулась. Немного погодя он нашел то, что искал, и разложил на столе лист бумаги, истертый на сгибах и пожелтевший. Картина по-прежнему изображала старое здание христианства, состоящее из отдельных, постепенно суживающихся кверху башенок, последние из коих уходят в необозримую высь. Оба молча смотрели, как врывается таинственный бес с зажженным факелом, столбы уже горят, рядом, ужасаясь, но бездействуя, стоит христианин, а здание все же остается невредимым над разрушенными подпорками, словно парит в воздухе. Наконец Барли заговорил: — Мистерия зла, так называли вы мой рисунок. Что мы знали тогда — до тех пор, пока узнали по-настоящему?

— И на что только мы не надеемся вопреки всякой надежде, — сказал Морней.

Друг передал ему листок, он сложил его по ветхим сгибам и взял с собой.

— Прощай, Филипп! — сказал друг.

Ни один из них не пролил слезы, наоборот, лица у обоих стали жестче. Однако, против обыкновения, они раскрыли друг другу объятия.

Побежденный

Его католическое величество коленапреклоненно принял отпущение грехов. Духовник провел ладонью по жидким завиткам склоненной головы, затем помог королю подняться.

— Отдерни занавеску! — приказал дон Филипп патеру с таким пренебрежением, словно говорил с лакеем. В эту минуту он не признавал над собой никакой духовной власти, потому что был очищен от всех грехов. «Пока они вновь не наползут», — подумал патер и включил в свой обширный житейский опыт также и его католическое величество. Однако он послушался приказа, отдернул занавеску и потушил последнюю еще горевшую свечу. Она была прикреплена к стене подле самого стола, и серебряный щиток отбрасывал отражение огня на бумаги. Сперва их освещал целый пучок огней, потом свечи одна за другой угасали, пока проходила бессонная ночь.

Наступил ранний рассвет весеннего утра. Патер видел покрасневшие веки короля и предложил отворить окно.

— Подожди, пока я сам не прикажу тебе, — проворчал старик. — Мне не к спеху день. — Он сел и закрыл глаза. — Мне не к спеху шум и суета, а меньше всего праздные вождения людей. — Он был во всем черном, белое виднелось только вокруг шеи. Одежда была измята, руки в чернилах и в пыли. Подбородок его криво лежал на смятых брыжах, придававших неестественное положение голове, которая на собственной груди ищет сна, не находя его больше нигде. Король посапывал, а потому патер стал смотреть на улицу, на которой ничего не было видно. Только напротив, за углом, лежал труп лошади, со вчерашнего дня или с прошлой недели, различить можно было лишь вздувшийся живот. Вместе с солнцем появятся мухи. Сейчас дома, тесно сомкнутым широким полукругом обступившие королевский дворец, лишены красок; они хотят казаться еще ниже, еще смиреннее: пусть будет виднее расстояние отсюда и до них, недаром на убогие строения так густо ложится тень, между тем как дворец возносится вверх к первым солнечным лучам.

Внизу под самым окном вынырнул нищий мальчишка, он тащил за собой непомерно толстую женщину в таких же лохмотьях, как и он, только втрое старше его. Они ночевали на каменной скамье между колоннами дворца, это было привычно; теперь они спешили подобрать с земли лучшие отбросы, пока не подросли другие. Как только мальчишке удавалось заприметить что-нибудь съедобное, он хлопал толстую по заду, и она торопливо наклонялась. Господином был он. С презрением, достойным мирянина, патер подумал о людях, особенно о том, кто сопел позади него. Но дремлющий король встрепенулся, сейчас же пришел в себя и сказал:

— Довольно. Мир не ведает покоя. Еще ни разу не удалось полностью успокоить его.

— И даже площадь под вашим собственным окном, — подтвердил патер. — Умиротворение и покой у Бога. Король же поставлен для того, чтобы карать людей за их суетные желания и хлопать их по заду. — Последние слова он пробормотал сквозь зубы.

— Затем я поставлен, — повторил король. — Почему же мне это не удастся, и чем дальше, тем меньше? Я был много раз близок к тому, чтобы распространить суровый покой государственной власти на весь христианский мир. Всякий раз является бунтовщик и мешает мне. Можете вы мне объяснить, почему Господь допускает, чтобы какой-то дерзкий головорез...

— Еретик, — поправил его патер. — Еретики ему необходимы, их гибель беспрерывно умножает его славу.

— И мои труды. Мою бессонницу, телесную дряхлость и искушения духа. Очень неблагоприятно на этой отверженной земле. Только бы один день без смуты и ереси, и я созрел бы наконец для высшего умиротворения.

— Аминь, — заключил патер.

— Вместо этого я проигрываю битвы, а дерзкий головорез их выигрывает. На что мне мое католическое величество? В Париже королем Франции избирают его. От меня ускользает королевство, единственное, от которого все зависит, последнее, которое я должен приобщить к владениям моего отца, императора, чтобы этот мир был покорен, чтобы он был спасен.

— Это не в вашей власти. Смиритесь!

— А разве тот головорез смиряется? — заговорил Филипп неожиданно тонким

голосом. — Он отрекается от своей ереси и вступает в лоно церкви, скоро он будет королем французов. И вы это допускаете. Епископы Французского королевства собрались нынче вокруг него, они наставляют его в новой вере, а он посмеется над ними и признает все, чего они пожелают. Затем он, бунтовщик, еретик, распутник, вступит в Париж со своей любовницей, и вы это допускаете.

— Ваше величество дали только восемьдесят тысяч пистолей, чтобы купить Францию.

— Я не только платил, я сделал много больше. Я добился от папы Климента [39. — Папа Климент. — Имеется в виду папа римский Климент VIII (1536–1605). При нем папский престол начал освобождаться от испанского влияния. Он снял в 1595 г. проклятие с Генриха IV.], чтобы ни один священнослужитель не приближался к еретику. Однако глядите, все собрались вокруг него и обнаруживают перед язычником и философом, который ставит им свои условия, непростительную уступчивость. Только потому потерял я это королевство, что вы предали религию.

— Нет, вы упустили это королевство из человеческой слабости. — Патер вытянул шею. — Почему вы не в Париже вместе с инфантой и не провозглашаете ее французской королевой? Головорез силен своим присутствием. Вы хотите завоевать и это королевство, сидя у себя за столом, но теперь вы уже слишком дряхлы, и стол ваш слишком шаток! — Патер качнул стол. Король вскочил было, патер удержал его. — Вопрос не в том, верно ли вам служит церковь. Это гордыня. Вопрос в том, служите ли вы еще церкви; он же решается в Риме.

Тут король весь съезжился, отчего кресло стало еще больше, а перед ним патер — черный великан. От полученного удара у дона Филиппа так сжалось лицо, что глаза, нос и рот превратились в морщинистый комочек кожи. От смятого лица осталась только жиденькая борода да еще узкий лоб, озаренный сверху ранним утренним светом. Редкие седеющие завитки торчали на остроконечной макушке.

Тягостная пауза миновала, страх побежден. Дон Филипп повернул кресло спиной к окну, патеру пришлось обойти его кругом.

— Служба, — сказал король, подумал и повторил: — Служба — вот чем была моя жизнь. Ни один довод и даже Рим не властен над тем, чем я был.

Патер не нашел ответа и только зажмурился от яркого сияния зари, меж тем как
у короля лицо стало прежнее, и еще какое лицо – упрямое, нечеловечески
холодное, кошачье лицо дона Филиппа – повелителя. Ему не нужно было
повышать
голос: каждый, в самых отдаленных его странах и королевствах, понял бы
его из
одного голого страха.

– Я управлял всемирной державой отсюда, из-за стола, без помощи ног, ибо
пользоваться ими смешно и унижительно. Только моему духу, ему одному
подчинялась земля, перед ним она была точно ком мягкой глины, и одним
велением
моей воли я лепил из нее, что хотел. Между тем скудоумные головорезы
скакали по
кругу, топтались на месте, не ведая высших целей. Парализован – я?
Головорез –
паралитик, мне же была дана стремительность ангела.

Патер не шелохнулся. «Это еще куда ни шло, – думал он. – А сейчас он
начнет
возвеличивать себя и закончит ребяческим богохульством».

– И ангельская чистота. Я, точно бестелесное существо, воздерживался от
плоти единственно силой своего духа, как всегда и во всем. Вы заставляли
меня
молиться и каяться; а если бы я, подобно головорезу, ласкал грубую плоть,
вы бы
прощали меня. Даже Всевышний не помогал мне уподобиться его присным. Мой
собственный дух и воля совершили все – и потому я управлял всемирной
державой,
не подпадая под власть человеческой плоти и не касаясь ее. Грубая плоть
не
уступала моим рукам, не обдавала меня своим запахом, не увлажнялась
похотью и
не зачинала. Всю грубую плоть я предоставил головорезу, ибо никогда не
войти
ему в царствие небесное.

«Какой в этом толк, – подумал про себя патер, – если в вашей речи слово
«плоть» встречается десять раз, а в мыслях оно не переводится».

– В конце концов он ловким толчком будет низвергнут в геенну огненную. –
Дон
Филипп уже не сдерживал своего пыла, он говорил нараспев, он закатывал
глаза. –
Я же буду скоро поднят руками Божиими к Его престолу. Уходящие ввысь
колонны,
сияние исходит от них, а не от Господа; он таится в тени, как я здесь. Но
в
сиянии покоится плоть – бестелесная плоть ангелов. У ангелов чудесные
пышные
женские формы, и праведникам дозволено касаться их, что нельзя понимать

греховно и уподоблять наслаждению грубой плотью, которой упивается тот головорез.

Патер решил, что пришел его час. Он сказал с подчеркнутой мягкостью:

— Что знаете вы о небе, дон Филипп? Всемирная держава отнюдь не приобрела небесного величия от ваших трудов, а, наоборот, гибнет во зле. Между вами — а ваше место всецело по эту сторону — и вечным блаженством стоит церковь; не забывайте этого.

Тут лицо у дон Филиппа стало злобным, но беспомощным. Он попытался возразить, что говорит как христианин, который только что исповедался и потому сейчас очищен от грехов. Это не могло смутить патера, напротив, он заговорил более сурово:

— Все, в чем вы покаетесь и будете каяться вновь и вновь, — это мысленные грехи, а в них вы уже опять успели погрязнуть по брюхо. Вы хотите быть святым? Это зависит единственно от меня. Мое слово делает небывшими ваши деяния и стирает то, что вы думаете.

— Это верно? — спросил дон Филипп; патер увидел смятение в его потускневших глазах.

— Спите, — приказал он, — и остерегайтесь снов. Разнузданный образ жизни короля Французского — прискорбная причина ваших искушений. Я знал это раньше вас. Спите, а я вымолю у Бога, чтобы вы проснулись чистым от греха, до следующего раза.

Дон Филипп сомкнул веки, но и на собственной груди не нашел покоя голове; ей бы надо было лежать и искать забвения на другой груди; вожденная плоть поддалась бы под тяжестью головы и обдала бы ее своим запахом. Дона Филиппа крайне тревожило то, что патер, стоя на страже подле него, угадывает и даже видит воочию каждый его мысленный грех. Некоторое время он прикидывался спящим. Однако, когда он изобразил пробуждение, патера уже не было. Дон Филипп с трудом встал, волоча ноги, доплелся до окна, чуть приоткрыл створки и просунул ними голову.

Солнце поднялось над горизонтом, его белые волны заливали эту сторону улицы. На противоположной стороне, там, в глубине, дома были темны и все еще заперты.

На незамощенной земле выделялись резкие, острые борозды, впадины были наполнены нечистотами, и утренний ветер вздымал над ними пыль. Из-за угла выбежали мальчишки-нищие. Дон Филипп отшатнулся, решив, что его заметили. Нет, на площади показалась повозка — два колеса, три мула, шелковое ложе под балдахином, шитым золотом. Проводник шел рядом, мальчишек он отгонял кнутом, однако тщетно. Попрошаек набежало много, они задержали повозку, подкатились под ноги животным целым клубком человеческих тел, грозя все опрокинуть. Проводник не мог ничего поделать, тогда служанка бросила крикунам деньги. С подушек приподнялась госпожа.

То была пышная и нарядная дама, но не из придворных. Дон Филипп сразу это определил. Она огляделась вокруг, ища помощи или зрителей, и, конечно, не увидела никого в такой ранний час. Дон Филипп все еще подглядывал из-за занавесок. Изобильная плотская красота, пышная грудь обрамлена черным шелком и открыта взорам, кружева сдвинулись, и красotka не спешила поправить их. Наоборот, она обнажила и ногу, которую высунула, чтобы выйти из повозки и лучше рассмотреть, как дерутся мальчишки-нищие. А у дона Филиппа явилась мысль, что она хочет показать себя, и именно ему, — мысль, должно быть, ложная. «Час слишком ранний, особа такого рода не встанет с постели в дерзкой надежде, что старый властитель мира будет после бессонной ночи подглядывать из-за занавески». Нечистая совесть обманывает его, и мысленный грех держит у окна.

«Кто я такой? Народы прикованы к моим галерам. А я? Каторжник — без радостей, без плоти. Десять шагов вот через ту дверцу в часовню, там происходит мое общение с Богом, единственное, подходящее мне. Патер этого никогда не узнает: Господь Бог беседует со мной откровенно, как с единственным себе равным. А затем отпускает меня к моему столу». Вслух он произнес:

— Я каторжник, я, Филипп, самый близкий к Богу.

— Не богохульствуй, — сказал патер. — Самый близкий к Богу — и вдруг каторжник, слыхано ли это? — добавил он с грубой насмешкой.

— Молчи! — проронил король сквозь зубы. Он едва повернул голову, патер уже совсем не пугал его, ни своим загадочным появлением, ни мощью и суровостью. Дон Филипп повелел ему как своему привычному блюстителю нравов: — Скажи, кто эта женщина.

Патер бросил взгляд в окно:

— Ее все знают. Знаменитейшая блудница. Она исповедуется у меня. Знайте же:
таким путем я раскрыл немало заговоров против вашей безопасности.

— Приведи ее сюда.

— Зачем? Она уже исповедалась. Нового нет ничего.

— Если тебе дорога жизнь, ты пойдешь и приведешь ее ко мне.

Теперь патер понял, и на лице его выразилось отвращение. Оно простиралось от
благочестивого ужаса до обыкновенного презрения; и тут же появилась нотка
фамильярности.

— Я совершу тяжкий грех, — сказал он деловито. — Кроме того, у нас будут
свидетели, во дворце уже кое-кто встает. Подождите до ночи.

Дон Филипп только взглянул на него, отчего патер отпрянул к двери.

— Я должен спросить своего настоятеля. Вашему намерению можно найти
извинение, ввиду упорства мысленных грехов. — С этим он скрылся. Дон
Филипп
шагал перед окном взад и вперед, словно на карауле; поворачиваясь, он
всякий
раз убеждался, что повозка еще на месте и плоть готова покинуть ее.
Вскормленная распутством изобильная плоть грубо кричала и бранилась,
потому что
мальчишки разорвали повод и проводнику пришлось наново привязывать одного
из
мулов. Дон Филипп шагал быстро, не волоча ног, и при каждом повороте его
раздражение и страх возрастали. Повозка с плотью скроется из виду, пока
подлый
патер соберется выйти. Тут он, несмотря на волнение и беготню по комнате,
заметил, что у стены шевелится какая-то тень. Это был дворянин, принесший
шоколад; ему предписывалось быть неслышным и невидимым, как тень. Дон
Филипп
вне себя закричал:

— Пей сам!

Чашка задребезжала, дворянин страшно испугался. Он получил чашку от
дворецкого, этот от пажа, тот от лакея, лакей от другого лакея, все они
приняли
поднос от величественного повара, ему же передала его целая вереница
кухонной
челяди, и где-то в конце цепи находилась какая-нибудь замарашка,
сварившая
шоколад. Злополучный дворянин перебрал цепь событий с поспешностью,
внушенной
страхом. Пройдя через множество рук, шоколад успел остыть, но он мог быть
и
отравлен чьей-то неизвестной рукой. Король осведомлен об этом, король
обвиняет

меня, поэтому я должен выпить шоколад. Он выпил и тут же упал без чувств.
Дон Филипп не обратил на него внимания, потому что патер добрался наконец до пышной плоти.

Патер не пошел окольными путями, а избрал кратчайший. Знаменитая блудница встретила приглашение несколькими откровенными словами и спокойно отклонила его, благодаря чему цена быстро возросла. Она спешит к ранней обедне, у нее есть на это причина, и просит ее не задерживать, спасение ее души важнее, чем прихоть старика. Дон Филипп угадал примерно ход переговоров. Он позвонил, звонок не привел в чувство лежащего в обмороке дворянина, но секретарь, дежуривший за дверью в соседней комнате, опрометью вбежал на громкий трезвон. —
Скорей ступай вниз. Дай больше патера. Назначь двойную цену.

Цена и без того была такая бессовестная, что у патера захватило дыхание.

— Подумайте, какая для вас честь! Самой следовало бы приплатить, дочь моя! —
Однако она настаивала на том, что ей нужно попасть к ранней обедне, у нее на это есть причина. Когда подлетел секретарь, она громко захохотала в ответ на его предложение.

— Пакостник, — сказала она и в первый раз подняла лицо, прямо к тому окну, где был король. Дон Филипп задрожал с головы до пят. Он позабыл скрыться, и так они глядели друг на друга и мерились силами, покоритель мира и знаменитая блудница. Ее глаза пылали сквозь кружевную вуаль, его глаза напряженно пожирали воплощение его бреда, его мук.

Женщина села в повозку, уже совсем исправную, стоявшую наготове, и подала знак рукой. Патеру и секретарю она отвечала теперь небрежно, через плечо.
Дон Филипп одним прыжком очутился подле дворянина, бледного и едва очнувшегося от обморока.

— Задержи ее! Задержи, и она получит столько, сколько хочет.

Раз так, ничего не поделаешь, решила про себя знаменитая куртизанка, повернула назад и пошла с ними. Она достаточно ясно им объяснила, что ей нужно попасть к обедне, у нее на это есть причина. Она предостерегла их. Со вчерашнего дня она заметила у себя подозрительные признаки и встала в самый

безлюдный час помолиться, чтобы это не оказалось дурной болезнью. Ей не дали помолиться, и потому это оказалось дурной болезнью. Спустя несколько дней обнаружилось, что дон Филипп, властитель мира, заразился.

Раздумье

Важные перемены в жизни такого человека, как Генрих, никогда не совершаются ни на основании долгих расчетов, ни как следствие мгновенного решения. Он вступает на определенный путь, бессознательно или уже зная, но еще отказываясь верить. Он идет как по наитию, временами провидит чудовищную необходимость, но она еще маячит вдалеке. Часть дороги пройдена, возврат был бы труден, цель сомнительна, трудно поверить в достижение, и вдруг оказываешься у цели, все было точно сон. Но Генрих ни на один миг не чувствовал себя во сне, он, привыкший всегда что-то делать! Удары и контрудары, упорное и действенное стремление к этому королевству, постоянная страсть к этой женщине, победы и поражения, где же тут грезить среди таких трудов? Битвы, осады и сделки, много завоеванных городов, столько же купленных, как, впрочем, и людей; вечная необходимость изворачиваться, хитрить, платить или принуждать. Когда его противник Майенн задумал соблазнить его католиков, он поспешил перехватить тех, что были на стороне Майенна, склонил их к совместным переговорам и вынудил у них признание в том, что единственный для них повод отвергнуть короля — его религия. В ответ на это он приказал объявить собранию, и притом через архиепископа, что в таком случае все улажено, он переменит веру.

Это он часто обещал, чему же удивляться, если многие не поверили ему. Однако в Париже не выбрали ни беднягу Суассона, который вряд ли серьезно на это рассчитывал, ни инфанту, ибо испанская партия посрамила себя жестокостью и бесстыдством. Парижане избрали законного короля, независимо от того, отречется ли он от ереси или нет. Правда, подразумевалось, что он отречется, и тем успокаивались сомнения. Если впоследствии и окажется, что он всех дурачил, вина не падет ни на кого, ни даже на самого Генриха. Наконец многие признавали, что у него есть своя совесть и право на эту совесть. Терпимость внедряется в людей, когда они слишком долго страдали от собственного упорства. Посвященные и хорошо осведомленные решительно не верили в его обращение.

— Ради одной лишь выгоды беарнец не переменит религии, — сказал кто-то из послов. И Генрих сам согласился с ним, но при этом уже явственно видел, что ему предстоит.

Епископы и прелаты, его окружавшие, наставляли его тогда в религии большинства, вернее, оспаривали его возражения или пасовали перед ним, ибо воинственный сын протестантки Жанны в богословии умел постоять за себя. Это было за три дня до события, которое он давно предвидел, и тем не менее он упорно отрицал чистилище, назвал его неудачной шуткой; неужели же господа прелаты принимают эту выдумку всерьез? Отослал их с заготовленной ими формулой отречения, и они ушли, чтобы приступить к нему опять с новой. Однако папский легат запретил им вообще подходить близко к еретику. Генрих, со своей стороны, заявил и велел занести в протокол: во всем, что он делает, он согласуется единственно со своей совестью, и если бы она не позволила, то и за четыре таких королевства, как его, он не отказался бы и не отрекся от религии, в которой был вскормлен. Когда он произнес эти слова и секретари-клирики их записали, наступила великая тишина.

Она возникла не в собрании, там и дальше что-то доказывалось, оспаривалось, дело шло своим чередом. Тишина легла на душу сына королевы Жанны. Никогда в жизни все вокруг так не смолкало для него и он не был настолько одинок. Впервые он заметил: «Я грежу. Я действовал для виду, моя воля и желание были лепетом со сна. Я не властен над тем, что со мной происходит. Тщетно ищю слова, которое могло бы отвлечь наваждение. Я перенесен сюда во сне. От меня ускользает слово, иначе я знал бы многое. Иначе я знал бы, кто я».

В эту ночь Габриель плакала. Подле нее лежал Генрих, глядел на нее и ничего не видел. Сегодня впервые она воспользовалась ночной близостью, чтобы просить его отречься. Ни днем, ни под покровом спальни она никогда не докучала ему вопросами веры. Она поняла без долгих дум, что ее тело и его любовь не могли тут сыграть решающую роль, а если и могли, то молча, без слов, без слез. Последние давались ей особенно тяжело. Прелестная Габриель не была склонна к слезам. Просьбы не были ей свойственны, она благодарила неохотно и редко проявляла умиление. Между тем ее тетка де Сурди поспешила приехать, чтобы

наставить и настроить ее соответственным образом. Король – ненадежный партнер,
он спорит с прелатами, ссылается на свою совесть: к чему все это, когда шаг
решен и даже, в сущности, уже сделан.

– Какой шаг? – отвечала Габриель тетке. – Он называет это прыжком, он писал
мне: «В воскресенье я совершу смертельный прыжок».

Она произнесла это с едва заметной дрожью в голосе. Однако многоопытная Сурди смекнула, что в душу племянницы закрадывается чувство, в ущерб здравому
смыслу. Поэтому она немедленно же отказалась от всяких маловажных соображений,
вроде интересов религии, существования королевства или сомнительной пользы для
души христианки от сожительства с еретиком. Оставив все это в стороне, она
обратилась к серьезным доводам, она спросила:

– Неужели ты хочешь, чтобы твой отец был изгнан из Нуайона? Господин де Сурди – из Шартра? А господин де Шеверни вернул печать, и все из-за твоего
упрямства? Король проиграет игру, ему останется только бежать, и нам вместе с
ним, и виной тому будешь ты одна. Счастье, что я существую на свете. Как? Ты
пожалеешь своего влюбленного рогоносца, ты откажешься сделать единственное, что
нужно для того, чтобы он отрекся?

– А что нужно? – спросила, испугавшись, Габриель.

– Не подпускать его к себе. Тогда он поступит так, как должен поступить. И
мне пришлось приехать сюда, чтобы преподать тебе такую мудрость!

– Я этому не верю, – сказала Габриель.

У тетки слова застряли в горле.

– Тебя точно подменили. – Для вида она осторожно приложила платок к своим подведенным глазам. – Если ты не хочешь подумать обо всех нас, о бедности и
гонениях, которые так нам знакомы и теперь вновь грозят нам, мое дорогое дитя,
если не о нас, подумай хоть о себе! Только переход его в истинную веру обеспечит твое будущее. Он расторгнет свой брак, он женится на тебе – возведет
тебя на престол. Все это сейчас еще в твоей власти, и ты знаешь, какова на вид
эта власть: в точности как ты сама, у нее твоя грудь, живот и задница.

Упустишь ты это сегодня, в нынешнюю же ночь, завтра уж не догнать тебе счастья:
его и след простынет. Тогда окажется, что ты принесла королю несчастье, что он несчастный король, а это хуже, чем если бы он вовсе не был королем. Ты жалеешь его из-за пустякового отречения, лучше убереги его от настоящей беды. Вы будете жить в несчастье; куда ты ни повернешься — всюду несчастье. А в несчастье, дорогое мое дитя, поверь мне, в несчастье нельзя удержать никого, а его особенно.

Тревога, которая охватила было Габриель, сразу же улеглась. Габриель лениво усмехнулась и отрицательно покачала головой. Она не сомневалась, что удержит его. Госпожа Сурди окончательно вышла из себя. Она топала ногами, металась по комнате и пронзительным голосом выкрикивала самые скверные ругательства.

— Слишком глупа для шлюхи! — были ее заключительные слова. — Вот от кого приходится зависеть! — При этом тетка подняла руку. Габриель перехватила руку, прежде чем та успела коснуться ее лица.

— Тетушка, — сказала Габриель удивительно хладнокровно, — то, что ты говорила вначале, произвело на меня впечатление. Поэтому я решила, что сегодня ночью буду плакать.

— Плакать. Хорошо, плачь. — Почтенная дама успокоилась. — И не подпустишь его к себе?

На это Габриель не ответила, а открыла дверь, чтобы вошли ее прислужницы.

Когда ночью она всхлипнула, закрывшись своими прекрасными руками, Генрих не спросил о причине; но что же обнаружила Габриель, несмотря на свою скорбную позу? Он не смотрел на нее и на ее притворное горе, а пристально вглядывался в резной потолок, где мерцал и колебался отсвет ночника. Габриель не понимала своего повелителя, но ей тяжело было исполнить обещание и уговаривать его.

Зарыдав еще сильнее, она попросила, чтобы он, ради Бога, отрекся, он ведь обещал, и это единственный выход. Слышал ли он ее? На лице его было такое выражение, словно он вслушивается во что-то неведомое. Она внезапно перестала

деланно рыдать, умолкла совсем, и тогда заговорило ее сердце. Его настоящий голос был тих и еле слышен.

– У нас будет сын.

Она позабыла, что в свое время испуганно взмахнула ресницами, словно была застигнута врасплох, когда он назвал ее матерью своего ребенка, и с тех пор он больше об этом не говорил. В это мгновение ночи она твердо верила, что отец действительно он, продолжала думать так и дальше и ни разу больше не усомнилась. Ибо в это мгновение она начала его любить из жалости и потому, что он был для нее непостижим. Он же чутко уловил нежный голос ее сердца, он приложил свою щеку к ее щеке, она обвила его шею рукой, и одна из ее слез – непритворная – упала ему в рот. Таково было в этот раз их слияние.

Она закрыла глаза, не противилась дреме, но все же чувствовала, что он лежит рядом, как и раньше, и хранит свою тайну. Она спросила уже в полусне:

– Мой милый повелитель, что вы видите там вверху?

Он пробормотал для самого себя, потому что ее дыхание стало уже совсем сонным:

– Не видеть, слышать хочу я и жду слова. Думать – не помогает, надо слушать, вслушаться. Когда во мне становится совсем тихо, вдруг начинает звучать скрипка, не знаю откуда. У нее глухой звук. Поистине подходящий аккомпанемент. Мне не хватает только самого слова. Я слишком ошеломлен.

Проснувшись, Габриель уже не увидела его: он опять был у прелатов, которые вводили его в свою веру, чтобы она стала для него окончательной. Отныне путь к выбору и сомнению для него отрезан. Потому-то они и продержали его сегодня, в субботу, в последний день, целых пять часов; он и сам не думал уходить, он даже боялся прекращения разговоров, которые в конце концов были только разговорами.

В другой комнате старой обители в Сен-Дени, где совершалось тягостное событие, сидели вместе возлюбленная короля и его сестра. Принцесса Екатерина явилась сюда, как и госпожа Сурди – и с теми же намерениями. Но одинаковые намерения у разных людей становятся разными. Ее милый брат должен отречься от своей религии, чтобы достигнуть славы. Она надеялась, что это ему простится, но вполне уверена в благополучном исходе не была; она не знала, считается ли у

Бога королевство важнее души, и потому очень жалела своего милого брата; он глава нашего дома, который должен властвовать, а платить за это придется ему, – не попусти Господь, чтобы спасением души. «На худой конец, – думала Катрин, – я бы сама приняла другую веру, чтобы взойти на престол с моим бедным Суассоном. Тогда бы я лишилась вечного блаженства, зато уберегла бы милого брата. Теперь он будет великим королем, мой Суассон ничего бы не стоил, я знаю это лучше всех. Всерьез я никогда не хотела предать брата: скорей – его спасти».

На самом деле она не просто приехала, а, собственно, убежала, потому что вину за свою неудачу на выборах Суассон взваливал на нее. Он подозревал, что она действовала против него в пользу Генриха, а потому прощение их было крайне холодно, одна из обычных размолвок – до нового возврата. Слишком много накопилось у обоих друг друга обид, чтобы жертвовать еще и своими личными отношениями. Они, как и раньше, сойдутся снова, но пока что Екатерина не могла избавиться от тревоги. Она сидела у возлюбленной брата, полная беспокойства как за него, так и за себя. Габриель испытывала почти то же; и не будь больше ничего, достаточно было предчувствия, которое без слов передавалось от одной к другой, чтобы связать их между собой. Но этому способствовало еще многое, и самое главное – Екатерина знала, что ожидается ребенок.

Если женщины и говорили друг с другом, то шепотом, а больше молчали, что отвечало важности минуты и суровому духу обители.

– Они уже четыре часа мучают его. А он подписал? – спросила сестра.

– На завтра все готово. Мне он не говорит ни да, ни нет. Он глядит куда-то вверх, будто затаился в себе, – отвечала возлюбленная. После долгого молчания она заговорила еще тише:

– Я так хотела бы, чтобы это миновало его. Именно теперь... – Последнее было сказано почти беззвучно. – Когда я жду... Когда он ждет сына от меня.

Сестра поняла по одному дыханию возлюбленной или угадала значение слов по легкому прикосновению ее руки к животу. Она обняла Габриель, она прошептала ей на ухо:

– Мы одна семья. Я вместе с тобой жду твоего ребенка.

Этим было сказано то, что таилось в мыслях у Габриели с тех пор, как к ней
вошла сестра ее возлюбленного повелителя. Принята. Более не чужая.
Чуждыми
показались ей теперь расчеты тетки Сурди. Если ей суждено стать
королевой,
настоящей королевой, то это произойдет естественно, благодаря ее чреву, и
еще
потому, что сестра короля, бережно проведя по нему ладонью, стала отныне
ее
собственной сестрой.

Екатерина медленно вернулась на свое место. На этом прекрасном лице,
отмечала она, видны усталость и страдания, но они не бесплодны. «Мое лицо
увядает бесцельно и никогда больше не расцветет, даже в другом маленьком
личике, ибо у меня ребенка не будет. Ну как же мне не позавидовать? Мой
легкомысленный брат на сей раз постоянен и верен, тут ничего не
поделаешь.
Отлично, моя милая! Но ты думаешь стать королевой? Королевой тебе не
бывать,
вот увидишь, я его знаю. Он обнадеживает тебя до поры, до времени».

Между тем глаза принцессы блуждали по комнате; комната обставлена скудно.
Единственная ценность: образ Божьей Матери, украшенный множеством
самоцветных
камней. Когда Екатерина собралась спросить, откуда он, Габриель
покраснела и
отвернулась; Екатерина не спросила. «Отлично, моя милая, тебе делали
богатые
подарки, чтобы и ты его мучила – слезами, что ли? Душераздирающими
рыданиями
по ночам в часы любви».

Едва подумав это, Екатерина закрыла глаза рукой и сказала:

– Простите меня. Вашей вины нет в том, что он намерен сделать. В этом
повинны обстоятельства и люди. Из первых нет ни одного, которое его бы не
вынуждало, из вторых ни одного, кто бы ему не изменял. И я тоже в свое
время, и
я тоже.

Она в первый раз повысила голос, потому что заговорила ее совесть. «Мой
бедный брат!» Здесь дверь открылась – но не резким толчком, как обычно,
когда
входил ее брат. Тем не менее это был он.

Когда он поднял взгляд – входя, он смотрел себе под ноги – и увидел их
обеих, самых любимых на свете, он сразу сделался говорливым и радостным.
Он
поцеловал их, сестру покружил, перед возлюбленной опустился на колени,
погладил
ее руку и засмеялся. Однако же они заметили, что ему не терпится уйти,
да, в
сущности, он и не был с ними. Он принялся передразнивать своих прелатов и

епископов, их голоса и повадки. У Буржского свиное рыло, а за Бонского каждую минуту боишься, как бы у него не выросли крылья и он не вознесся на небеса. Женщины смотрели на него без улыбки. Вдруг он умолк, повернулся к окну, прислушался, постоял, выжидая, и вышел из комнаты.

— Он на себя не похож, — сказала Екатерина в сильнейшем испуге. А Габриель поникла головой от стыда, ведь печальным он стал с нею.

Генрих спустился в старый сад. Это был для него час отдыха. Он сравнил его с часами отдыха в Collegium Navarra, когда он маленьким школьником с двумя товарищами, которых уже нет в живых, играл в перерыве между занятиями. Внезапно он очутился на том месте, где перед ним явилась несчастная Эстер в сопровождении пастора Ла Фэя. Между той минутой и этой лежали невинность и вина, знание и неведение. Генрих остановился, уловив за кустами голоса: разговор шел вполголоса, как и все разговоры в этот тягостный и беспокойный день.

Один голос:

— Он уничтожит всех своих прежних друзей. Кто сказал «а», должен сказать «б».

Другой голос:

— Позднее — может быть. Если не позабудет до тех пор. Нам знакома его неблагодарность. Новым друзьям предстоит еще узнать его.

Третий.

— Слезлив, забывчив, легкомыслен, — но кто из нас его не любит?

Четвертый:

— Не того, каким он стал сейчас. А того, кто привел утлое судно к пристани.

Генрих хотел было показаться им, но первый начал снова:

— Надо о себе подумать. Будьте настороже!

— Напрасно, Тюренн, — сказал Генрих, выступая вперед. — Я ваш всецело и не собираюсь меняться. В этом вы убедитесь сами, когда придет время.

Он увидел среди них Агриппу д'Обинье, отвел его в сторону и сказал ему на ухо:

— Я гублю свою душу ради вас. — При этом широко раскрыл воспаленные веки, — нет, он не слезлив, не забывчив, не легкомыслен. Агриппа весь содрогнулся от жалости. «Как может кто-нибудь из нас не любить его?»

И, однако, Агриппа оказался единственным, чье сердце было ему предано; это обнаружилось теперь, хотя раньше, при более благоприятных обстоятельствах, запас дружбы равномерно распределялся вокруг него. Но теплота этого единственного человека все-таки задержала его подле утраченных товарищей, а затем он пошел бродить дальше, чтобы, по своей привычке, быть одному и вслушиваться. Очутившись по другую сторону кустарника, он обернулся к Филиппу Морнею, послу, который прибыл с важнейшими сообщениями, а король все не принимал его.

— Господин дю Плесси, вы вместе со мной привели уютное судно к пристани; имели ли вы возможность выбрать ее? Вот сейчас пришлось пристать к этой.

Он поспешно ушел в конец сада; здесь чирикали птицы, но, к сожалению, не они одни. Над невысокой оградой то показывались, то ныряли две головы, их обладатели поклонами и вытянутыми в трубочку губами старались убедить друг друга в самых нежных чувствах. Мадам де Сурди щебетала:

— Будьте нашим другом, господин де Рони. Ведь вы и так уже нам друг, ибо вы нуждаетесь в нас, как мы в вас.

— Так и ни на йоту иначе обстоит дело, глубокочтимая госпожа моя, — причем Рони нырнул, а госпожа Сурди вынырнула.

— Кто станет вспоминать об управлении артиллерией? — сказала она лукаво и убежденно. — Взамен одного улетевшего кулика вы подстрелите десять.

— Лишь бы вы не упорхнули, — подхватил барон и снова скрылся за оградой.

— Король разведется для того, чтобы жениться на мадам де Лианкур. Подарите его добрым советом, и сами будете щедро одарены. Плутиска, — захихикала дама и скрылась. Вместо нее вынырнул кавалер. Что бы он ни говорил, его гладкое лицо было неизменно исполнено достоинства.

— Я заранее составил с ним такой план, сударыня. Он и отрекается только для того, чтобы возвести на престол свою возлюбленную повелительницу. Как только

дело будет слажено, все немедленно станут протестантами: король, королева и даже вы, сударыня.

Тут Сурди скрылась на продолжительное время, а когда выпрямилась, взгляд ее был суров. Она поняла, что над ней смеются.

— Вы об этом пожалеете, — прошипела она. Платье ее просвистело в воздухе, так круто она повернулась. Калитка захлопнулась. Рони с тем же невозмутимым лицом пошел по самой отдаленной аллее сада; на одной из скамеек сидел король. Он подождал, чтобы его умный и верный слуга подошел ближе, и шепотом задал ему вопрос:

— А каково ваше искреннее мнение теперь, в этот последний час?

— Сир, если бы католическая вера понималась и воспринималась в ее истинном смысле, она могла бы принести большую пользу.

— Это я давно от вас слышал! А нового ничего?

— Загробный мир. — Рони остановился. — За него я не ручаюсь. — Гладкое лицо обстоятельно приготовилось к смеху. Однако раньше, чем смех вырвался наружу, короля и след простыл. Но что показалось Рони непонятным: он пел. Под деревьями темнело, и, как дитя в темноте, он пел.

В трапезной старого аббатства между тем зажглись огни, свет лился из окон. Когда свет упал на короля, оборвалось не только его непонятное пение: вверху на антресолях прекратились степенные разговоры и законоведы, которых он созвал, отошли от открытых окон, чтобы встретить его.

Генрих быстро взбежал по ступенькам. Коридор перед освещенной дверью казался особенно темным. Генриха нельзя было видеть, пока он стоял там и оглядывал обширную залу; от такого малолюдного собрания она стала еще больше и пустыннее. «Эти все мои», — думал Генрих, да это было ясно и по виду судей и советников в поношенных одеждах, с глубокой синевой под глазами, горящими от лихорадки, лишений и не раз испытанной смертельной опасности. Служители юстиции, подобно

многим до них и после них, они, несмотря ни на что, упорно сопротивлялись силе во имя права. Юстиция — это, конечно, не право. Обычно ее даже считают успешной мерой предосторожности против истинного права и его осуществления. «Среди них ни одного гугенота, — подумал Генрих, — и все же они боролись за королевство, как мои старики времен Кутра, Арка, Иври, и без их битв мои были бы тщетны. Они держали сторону угнетенных вместо того, чтобы держать сторону сильных, и стояли за бедняков против могущественных разбойников. Так это разумею и я, недаром я многим тысячам крестьян отвоевал их дворы, каждый поодиночке, что и составило мое королевство. Их королевство — право, и так они понимают отношение к людям».

Он вошел, не сняв шляпы; они тоже остались в своих истрепанных шляпах, он обратился к ним:

— Господа гуманисты. Мы скакали верхом и разили мечом, господа гуманисты. Но оттого, что мы были так воинственны, теперь мы находимся здесь, и ворота нашей столицы для нас открыты. Парижский парламент открыл мне их, потому что ужасная смерть вашего президента Бриссона была первым знаменем и последним предостережением.

Король снял шляпу и склонил голову, то же самое сделали и его парламентарии. После того как в молчании была почтена память убитого, заговорил верховный судья Руана, Клод Грулар; хотя и католик, как все они, он решительно настаивал на том, что королю не следует отрекаться от своей веры, если это противоречит его совести. Генрих отвечал:

— Я всегда стремился единственно к спасению души и просил у Всевышнего Владыки помощи на этом пути. Через бесчеловечные ужасы, совершенные в Париже другими, но всей тяжестью ответственности лежавшие на мне, Всевышний Владыка открыл мне, что спасение моей души равнозначно утверждению права, ибо для меня право — самое совершенное проявление человечности.

Его слова были по душе законооведам, они громко возгласили:

— Да здравствует король!

Генрих хотел уничтожить расстояние между собой и ими, а потому подошел ближе и принялся по-дружески объяснять некоторым из них, как трудно ему было поладить с Всевышним Владыкой, чтобы Господь благословил его на переход в другую веру. Он не сказал – на смертельный прыжок, только подумал. Произошло это под стенами его столицы в то время, как там внутри царил ужас. Он тогда не на шутку поспорил с Богом. Ведь сказано: не убий, и этот закон так человечен, что поистине может быть только от Бога.

– Как и король, который дорожит людьми и их жизнью, – заключил вместо него кто-то другой. Сам он проявил скромность, уверяя, что для него очень плодотворны были беседы с прелатами и что милостью духа святого он начинает входить во вкус их поучений и доказательств. После чего он подвел своих парламентариев к накрытому столу и предложил им плоды не духовные, а иные: дыни и фиги в изобилии, а также мясо и вино. Им давно не доводилось есть такие лакомства, они утолили голод, а когда кто-то из них поднял голову, Генриха уже не было.

Он лег, не поужинав, и немедленно уснул. Когда он пробудился, было уже утро, и к его постели подошел пастор Ла Фэй. Генрих заставил его присесть, обвил рукой шею старика и снова спросил у него: правда ли, что свойства человека с течением времени приобретают другой смысл, как говорил ему Ла Фэй. Так оно и есть, отвечал пастор.

– И вера тоже? – спросил Генрих. – И она может стать ложной, хотя раньше была истинной?

– Сир! Вы будете прощены. Идите в собор с радостным сердцем, чтобы возрадовался наш Господь Бог.

Генрих сидел на постели, он оперся головой на грудь старца, который хотел его утешить. Прильнув к груди наставника юношеских лет, он заговорил:

– Чисто мирские причины заставляют меня отречься от своей веры и перейти в другую. Этих причин у меня три. Во-первых, я боюсь ножа. Во-вторых, я хочу жениться на моей возлюбленной повелительнице. В-третьих, я думаю о своей столице и о том, чтобы спокойно владеть ею. А теперь оправдывайте меня.

– Ваша мука была велика, а потому я оправдываю вас, – сказал пастор Ла Фэй и ушел.

Первый камердинер короля, господин д'Арманьяк, одел его во все белое — как причастника, подумал про себя Генрих. Как нового человека; трудно поверить, что это по счету пятый раз. Никакому богу это уже не может быть важно. Разве дьяволу, если он существует..

— Почему вы не захотели принять ванну до церемонии? — упрекнул его д'Арманьяк.

— После она мне будет нужнее, — отвечал Генрих. По его тону смущенный д'Арманьяк понял, что лучше удалиться.

Генрих остался один, он сам не знал, зачем ему это нужно. Почему нет здесь Габриели? По молчаливому соглашению она ночевала сегодня в одной комнате с Катрин. Все уже ушли, скоро поведут и его, с великой пышностью, при большом скоплении народа, чтобы все могли видеть, как он отречется. Не только отречется от того, чем он был, а примирится с большинством и станет ему подобным. «Что я такое? Вместилище праха, как и другие. Еще вчера я был своеволен и спорил из-за слов с прелатами. Бог этого не слушал, ему наскучили вопросы веры, его не трогает, какого люди придерживаются исповедания. Он зовет наше усердие ребяческим, нашу чистоту он отвергает, как гордыню. Мои протестанты его не знают, их он ни разу не повел по этому тернистому пути, а осмеливаются произносить слово «измена», когда человек подчиняется жизни и слушается разума».

Однако он был занят не только размышлениями; на свою праздничную одежду из белого шелка, до самых пят густо затканную золотом, он набросил черный плащ, надел на голову черную шляпу и согнул черный плюмаж так, чтобы он развевался. Неожиданно он услышал звук скрипки, тот самый, который уже не раз долетал до него в эти тревожные дни, когда он прислушивался к чему-то, а искомое слово не являлось и ничего не было слышно, кроме отзвуков воображаемой музыки. Так как они сейчас нарастали, словно были уже не плодом воображения, а настоящей музыкой, Генрих понял, что привел в полный порядок как свои думы, так и белоснежно-золотой с черным наряд. Он исчерпал свое раздумье в страхе и сомнениях, протесте и примирении, как душа творит свой мир из расчета и мечты. «Ради вас я гублю свою душу! На это я сетовал, хотя вслед за тем стал хвастаться, что спасение моей души и восстановление права — одно и то же. Я пел

в темноте, потому что кто-то напугал меня потусторонним миром. Знаю, однако, что мы рождены искать правду, а не обладать ею, ибо это дано только Владыке того мира. Мне же суждено властвовать в этом мире, и здесь мне страшнее всего нож. Неприятное признание, но я не постыдился его. Не знаю, что сильнее: любовь к Габриели? Или страх перед ножом? Но, кроме того, я вижу в бесчеловечности страшнейший из пороков, и ничего, даже женщину, не почитаю так, как разум».

Легко и согласно проносилось все это в его освобожденном мозгу, ибо он еще раньше все постиг и познал, — он уже сам не помнил, в какой муке и тоске. Ему казалось, что он чистым волшебством, подобным музыке, перенесен в сферу высшего счастья, весь в белом с золотом, милые мои; однако звуки скрипки становятся глубже и неяснее, хотя исполнение далеко не мастерское. Кто это может быть, как не Агриппа! Генрих выходит на балкон, за ближайшими кустами он различает руку, водящую смычком. Он смеется, кивает, и Агриппа показывается в своем обычном будничном колете, в церковь он не пойдет. Он не будет при том, как Генрих отречется от истинной веры; но он улаживает его вдохновенным звучанием инструмента, который зовется Viola d'amour.

Сначала у него чуть задрожал подбородок, потому что ведь известно: мы легкомысленны и слезливы. Однако он вовремя заметил, что его добрый Агриппа потешается над ним бесхитростно и любовно. Тогда и Генрих прищурил глаза, и так они попеременно забавляли друг друга, внизу старый друг, воздающий хвалу в насмешку и в утешение, здесь наверху — белый причастник, борода у него седая, а кожа обветренная. Наконец оба отбросили чинные манеры; Генрих стал изображать даму в пышном наряде, которую приветствуют серенадой, Агриппа же пикировал на скрипке и собрался вдобавок кукарекать, что было уже совсем неприлично. Зазвонили соборные колокола, сразу в полную мощь. Оба испугались, один исчез в кустах. Другой миготнул в комнате, оправил одежду, провел рукой по плюмажу, чтобы он развеялся как следует, но тут дверь уже отворилась. За ним пришли.

Слияние

Этот благословенный Богом день, двадцать пятое июля 1593 года, мог быть только лучезарным и жарким. Парижский народ знал обо всем заранее, он нарядился в лучшие одежды, какие уцелели от бедственных времен. Люди держали под мышкой охапки цветов, а руки их были заняты корзинами, полными снеди. Весь этот воскресный день предстоит провести в Сен-Дени, потому что король отрекается и переходит в новую веру, что представляет собой достопримечательную, но весьма длительную церемонию; ради нее придется, пожалуй, пожертвовать семейным обедом. Не беда, — уж очень это редкостное зрелище. Кстати, потом можно будет удобно расположиться на лугах: корзины надо поставить наземь заранее, красть никто не станет, слишком мы все довольны.

Цветами же будет усыпана улица вдоль всего пути короля. Он, говорят, одет во все белое, так гласила молва, опередившая его. Его белые шелковые туфли окрасятся соком роз. Женщины твердо верят, что он прекрасный принц, и хотят, чтобы их стараниями ноги его ступали по розовым лепесткам; поэтому они так толкаются и теснятся посреди дороги, а некоторые даже падают. Стражникам это причиняет больше досады, чем им самим. Те сперва предостерегают, их никто не слышит в гуле церковных колоколов и в пылу воодушевления, предвосхищающего само событие. Затем солдаты пускают в ход всю свою отнюдь не злую, а добрую волю, и таким образом отряду удается занять обе стороны улицы. Хорошо, что вовремя, ибо тут как раз появляется шествие.

Что замечает король, когда идет по узкому проходу между струдившимися толпами? Он видит, что из окон вывешены пестрые ткани, он видит, что земля усыпана цветами и дети все еще продолжают бросать розы через головы солдат. На всех до единого белая перевязь, отличие приверженцев короля, у всех счастливые лица — иные благочестиво задумчивы, другие водят языком по губам от сильного нетерпения, но большинство кричит: «Да здравствует король!» Гулкие голоса колоколов поглощают эти клики; они кажутся жалкими и ничтожными ввиду грандиозности события, да если взглядеться поближе, разве и на лицах не видны остатки страха? Король думает: «Пять лет страха, нужды и дурных страстей

осталось у них позади. Если бы я не сделал больше ничего, только дал им этот праздник, и того было бы почти достаточно. Но нужно сделать больше, все мало для чаяний такого множества людей». В эти минуты ему захотелось склонить голову под гнетом непреодолимого бессилья, — разве можно сделать всех людей счастливыми или хотя бы накормить их досыта? Но он должен был держать голову высоко, чтобы они воочию узрели славу и мощь, его и свою.

Народ видит его, окруженного принцами и вельможами, высшими государственными чинами, дворянами и законоведами; последние очень многочисленны. Из его семьи идут с ним немногие, однако граф де Суассон как раз успел прибыть. Впереди и позади телохранители и швейцарцы с барабанами, в которые они не бьют. Двенадцать труб, поднятых к губам, безмолвствуют из-за звона колоколов и чтобы не нарушать святости происходящего. Это чувствует народ, он вполне проникает в существо вещей — и когда участвует в зверствах и заражается всеобщим дурманом, и когда созерцает величие и добро. Он, конечно, лжбуется роскошной одеждой своего короля, его строгим лицом и солдатской выправкой. Однако высоко поднятые дуги бровей выражают скорбь, глаза слишком широко раскрыты; ему всего сорок пять лет или немногим больше, а такой седой человек! Бог весть сколько раскаяния, сколько собственных горестей готовы пробудиться в душах этих многолетних врагов короля — пожалуй, несколько поздно надумали они прославлять его и теперь стоят тут покорной толпой. Правда, при всеобщих криках «ура» некоторые голоса непроизвольно замирали. Некоторые колени пытались преклониться — но это не удавалось по причине большой давки.

Какая-то кумушка, видимо опытная и бывалая, сказала внятно, так что услышали и окружающие, и проходивший мимо король:

— Он красивый мужчина. У него нос больше, чем у других королей.

В ответ на это раздался безудержный смех. Король охотно бы задержался; его нахмуренный лоб чуть разгладился. Еще раз у него был соблазн остановиться, когда несколько зрителей в потертых кожаных колетах молча и пристально поглядели на него — нет, вернее не на него, а на шляпу; ее украшал белый аметист. «В последний раз я был в ней при Иври. Эти старики, пожалуй, из более давних времен, они видели ее уже при Кутра». Он искал их взгляда, и они

встретились глазами, он шел, повернув к ним голову, пока другие не заслонили их.

У паперти собора не успел Генрих подняться на первую ступень, как ему стало дурно. Странное чувство, — он на миг теряет почву под ногами; хотя камни мостовой никуда не делись, ему приходится нащупывать их, присутствие толпы тоже перестало ощущаться, лица и голоса куда-то уплывают. Это случилось на протяжении одного шага; затем все прошло, и, пока Генрих всходил на паперть, у него оставалось лишь мимолетное воспоминание: прищурившийся великан. С мыслью о великане, который щурится, скрывая блеск глаз, покинул он нижнюю ступеньку, а дальше душой и телом отдался своей задаче.

Он вступил в собор через главный портал. Пройдя пять или шесть шагов, он очутился перед архиепископом Буржским, сидевшим на возвышении в обтянутом белым узорчатым атласом кресле; вокруг него прелаты. Архиепископ спросил, кто он, и его величество ответил:

— Я король.

Упомянутый монсеньер Буржский, у которого сейчас отнюдь не было свиного рыла, наоборот, каждый взгляд его выражал достоинство, каждое слово из его уст выражало духовную мощь — итак, монсеньер начал снова:

— Чего вы желаете?

— Я желаю, — сказал его величество, — быть принятым в лоно римской католической апостольской церкви.

— Желаете ли вы этого искренне? — сказал монсеньер Буржский. На что его величество дал ответ:

— Да, я хочу и желаю этого. — И, преклонив колени на подушку, которую ему подsunул кардинал дю Перрон[40. — Дю Перрон Жак-Дави (1556-1618) — кардинал и выдающийся оратор. При Генрихе III был чтецом и составителем торжественных речей.], король прочитал символ веры — не позабыл также отречься от всякой ереси и поклялся истребить еретиков.

Все это было выслушано, кроме того, король вручил архиепископу, который сидя протянул руку, им самим написанное исповедание новой его веры. Только тогда

архиепископ приподнялся со своего места. На краткий миг, пока он вставал, могло показаться, будто он колеблется и не знает, что ему делать дальше. Виною тому был напряженный взгляд его величества, широко открытые глаза, те же, которые при Иври сковали и задержали отряд неприятельских копейщиков, пока не подспела помощь. Здесь, наоборот, никто не ожидает «его» людей, скорее он сам «наш». При этой мысли архиепископ встал окончательно. Не снимая с головы митры, он поднес королю святую воду, дал поцеловать крест, отпустил ему грехи и благословил его.

И монсеньер Буржский и Генрих точно знали дальнейший ход церемонии, однако им стоило большого труда пройти через церковь к клиросу: народ заполнил весь собор, взобрался под самые своды, и не было ни одного отверстия в цветных оконницах, в которое не лезли бы люди. На клиросе Генрих должен был просто повторить свои клятвы; на сей раз он позволил себе проявить некоторую долю нетерпения и значительную небрежность. Затем он проследовал за главный алтарь, где под звуки «Te Deum»[* * * – Тебя, Бога [хвалим]. Начало католической молитвы.] Генриху надлежало исповедаться, таков был распорядок. А на самом деле архиепископ Буржский громко засопел, Генрих закрыл глаза, и сказано было немного. «Моя возлюбленная повелительница, – думал Генрих. – Я лишь мельком видел ее. Знает ли она, что я заметил ее за пилястром! Прекраснее, чем девы рая, обольстительна, как ночь, ах, хорошо, если бы уже была ночь!» Этого он желал еще и потому, что на пути сквозь толпу услышал от одного из своих роковое слово. Если так говорят свои, что же думает монсеньер Буржский? Ведь говоривший был служитель юстиции и вместе со всеми прочими следовал за своим государем в торжественном шествии к собору. «Теперь, когда я уже совершил смертельный прыжок, он шепчет зловещие пророчества. Сосед не расслышал его из-за гула толпы. Только мой чуткий слух уловил то слово: предсказание страшное и грозное».

После этого он прослушал мессу; архиепископ Буржский служил ее, и для короля была сооружена молельня – сплошь красный бархат и золотые лилии, а сверху балдахин из золотой парчи. Король принял святое причастие. Теперь возникла

трудная задача – наладить шествие, чтобы в прежнем порядке вернуться в аббатство, где ждал обед. Лица из свиты короля один за другим были оттеснены, прошло немало времени, пока им удалось выбраться из сутолоки. И тогда еще Генрих не обнаружил среди дворян своего Шико, так называемого шута; именно его он любил держать при себе, потому что Шико считался счастливым. Эй, что там происходит? Под коническим сводом крики, спор, кто скорей слезет с огромного дракона: он выступает вверху над пилястром, и человеческий клубок обвивает его руками и ногами. Кто-то срывается и летит по воздуху. Эй, Шико!

Он летит, падает, сбивает с ног людей, но вдруг оказывается верхом на спине рослого парня, упавшего на четвереньки. Держит его, как будто с перепугу, за льняные волосы, пока изрытое оспой лицо не поворачивается кверху – и Генрих узнает его, о, эти прищуренные глаза он видел недавно. Парень весь содрогается от бешенства и, как ни странно, от боли тоже, хотя Шико по-прежнему только держит его за волосы. Такой силач и не делает никакого усилия, чтобы встать вместе со своим наездником. Перестает даже ползти, ему, очевидно, больно, только нельзя разобрать отчего. Но, выходя из портала, Генрих все еще слышал вой парня. Он многое понимал, а сам шел во главе торжественного шествия, сквозь напирающие толпы людей, – солдаты больше их не сдерживали. Барабанщики и трубачи уже не обращали внимания на звон колоколов, они гремели что было силы.

На углу какой-то кривой улочки произошла задержка. Сотни людей, проталкиваясь локтями, стремились добраться до короля и поближе заглянуть ему в лицо; но кому же это выпало на долю? Какой-то древней старухе, ее никто не отталкивал, и она очутилась впереди всех, перед королем Генрихом, и сама не знала, как это случилось. Когда он взял ее за обе руки, она поцеловала его увядшими губами, которые для такого случая ожили напоследок. После чего король сказал девяностолетней старухе:

– Дочь моя, – Он сказал: – Дочь моя, это был славный поцелуй, я не забуду его. – Он собрал в букет цветы, которыми его забрасывали, перевязал лентой, – ему подали ее, – и весь красивый пестрый сноп сунул за корсаж прабабки, так что народ прямо обмер, а потом пришел в неистовство от умиления.

Некоторое время Генрих поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, дабы все видели его и поверили в его добрую волю. Случайно он заглянул в кривую уличку и, правда, не подал вида, но оказался единственным свидетелем того, как Шико уводил дюжего парня. Шут скрутил ему руки за спиной, и парень, хоть и был втрое сильнее, однако же не сопротивлялся; он шел, хромя и согнув мощную спину. Шико, длинный и сухощавый, возвышался над ним своими угловатыми плечами. Шляпу он потерял, его смешной хохолок торчал над голым черепом, и так как он не спускал глаз со своего пленника, его крючковатый нос, узкие скулы и задорно загнутая бородка выделялись особенно четко. Там, где кривая уличка делала поворот, горбатый домишко протягивал кованый крюк с сухим венком, явный признак трактира; наверно, там пусто в эту пору, ибо весь народ и приезжие шествуют за королем по единственно желанному пути к обеду. «Пускай Шико со своим великаном войдут туда и в пустой зале обсудят дело. Каково оно, легко себе представить».

Генриху хотелось есть, как и всем его подданным, ведь радость от прекрасного праздника слияния с королем удвоила их голод, и его тоже, не говоря о том, что ему стало легче дышать после того, как он заглянул в кривую уличку. В трапезной старого аббатства он сразу же воскликнул:

– Входите все!

Часовые у дверей тотчас отвели алебарды, и зала мигом наполнилась народом, как раньше церковь. Стол с яствами был бы неминуемо опрокинут. Но, к счастью, настроение было праздничное, ибо народ, только что завоевавший своего короля, старается, чтобы все шло по-хорошему. Лучше оттоптать друг другу ноги, чем сбросить на пол хоть одно блюдо. С другой стороны, господа из свиты короля были весьма любезны – и не потому, что он приказал им; какому-то простолюдину они уступили место за столом и беседовали с ним.

Многие стремились только увидеть короля, потому что он был необыкновенный король и сильно занимал их своей персоной, пока они его еще не видели. И вот он сидит один на возвышении. Его аппетит не оставляет желать лучшего, это заметно

всякому. И нам он тоже дает полакомиться; прошли те времена, когда мы из-за него питались мукой с кладбищ. По нем не видно, чтобы он хотел довести нас до этого. Так рассуждали наиболее вдумчивые. Он совсем не таков, каким изображали его с парижских кафедр, он не апокалипсический зверь [41. - Апокалиптический зверь - фантастическое чудовище, описанное в Апокалипсисе.], даже не обыкновенный волк. Я мирный гражданин, невзирая на развращенные времена, я в глубине души был всегда лишь мирным гражданином и могу засвидетельствовать для будущих поколений, что он похож на нас с тобой. Теперь я больше не буду прятаться у него в саду за кустами, чтобы застичь его врасплох, не буду выстаивать на коленях в грязи, пока в глазах не начнет рябить и потом сам не знаешь: высок ли он или мал ростом, грустен или весел. Теперь я разглядываю его без стеснения. Вот все уже направляются на луга обедать, в зале становится просторней, я мог бы сказать ему: желаю вам здравствовать, сир! Но на это я не решусь. Может быть, из-за его богатой одежды? Из-за седой бороды и поднятых бровей? Нет, причина в том, что он впустил к себе всех, не исключая больных и нищих. Я бы не отважился на это у себя в доме. Что же он за человек?

После такого заключения гражданин этот не выбежал, а выскользнул потихоньку вслед за остальными на луга. Обед длился долго. Когда Генрих поднимал свой бокал на уровень глаз, прежде чем поднести к губам, все приветствовали его, поворачивались к нему лицом, так же и парламентарий, которого Генрих запомнил и хотел увидеть. Это был законовед в его духе, из тех, у кого веки морщинистые, но глаза горят. У этого были впалые виски и белая копна волос, почтенная борода закрывала иронический склад губ: судья еще недавно голодал, но с иронией. Он томился в тюрьме, вполне обоснованно порицая людские поступки, которые были противны природе и не подтверждались исконным человеческим правом, ибо только власть и слабость обуславливали эти поступки, а проистекали они из злобы. Свою несчастливую долю он сравнивал с долей детей, которых истязают, и они остаются

калеками, а общество еще не понимает, что это его собственные поврежденные члены, настолько далеко до сих пор общество от права.

Генрих любил этого человека, иначе его пойманное на лету слово не оказало бы никакого действия, многое приходится ведь слышать, особенно настороженными ушами. Там, в соборе, сейчас же после отречения, Генрих прошел мимо него. Старик шептал на ухо соседу, который в шуме не разобрал страшного, грозного слова, только Генрих уловил его. Теперь он опустил бокал, кивнул, и законовед приблизился к королю:

— Друг и товарищ, — обратился к нему Генрих. — Когда вы лежали на сырой соломе, а если бы дело короля не взяло верх, то могли бы и висеть из окна, сознайтесь, друг и товарищ, что сердце ваше билось тогда очень сильно. Вы уже не были скептиком, каким вам хотелось быть, в пылу негодования вы бы охотно четвертовали, обезглавили и сожгли на костре своих врагов, при условии, что вы сами в ту же минуту стали бы господином положения и враги ваши были бы выданы вам.

— Сир! Ваша правда. Не стану отрицать, что в тюрьме я всегда, за исключением немногих светлых минут, питал именно, такие намерения. Между тем, когда я вышел из тюрьмы, мой пыл угас, и мне уже не хотелось никого убивать.

Наклонясь к нему ближе, Генрих спросил:

— Ну, а если бы вы оказались настолько господином положения, что в вашей власти было бы не только убивать, а наоборот: вы могли бы добиться слияния с теми, кто считался вашими врагами, и для этого нужно лишь переменить веру?..

— Сир! Я пошел бы на это, как и вы.

Тут Генрих побледнел и произнес:

— Теперь только я понимаю, как жестоко и ужасно то, что вы сказали под сводом, у пилястра, какому-то человеку в зеленом плаще.

— Сир! И без зеленого плаща я помню сказанное мною слово. Дай Бог, чтобы оно оказалось неправдой. Я сожалею, что вы услышали его.

— Верно ли то, что вы сказали? Тогда все ваше право ни к чему. Какие же вы судьи, если, по-вашему, человек должен быть наказан за то, что не хочет действовать преступно, а стремится к слиянию со своими врагами?

— Кто говорит о наказании? — ответил тот чересчур громко, несмотря на шум за столом. — Речь идет о кощунственном злодействе, которого я опасался.

— И для которого я будто бы готов, — заключил Генрих.

Законовед должен был понять, что разговор окончен. Он обернулся с умоляющим жестом, ему не хотелось уходить, не повторив своей просьбы о прощении. Он облек ее в слова гуманиста Монтеня:

— Человек добрых нравов может иметь ложные взгляды. Истина же порой исходит из уст злодея, который сам в нее не верит.

Генрих поглядел ему вслед. «Конечно, все это у нас от нашего друга Монтеня.

Вот она, та мудрость, которую болезненный, но стойкий дворянин, мой старый знакомый, черпает из нас всех и возвращает нам совершенной. Тем страшнее слово, которое я уловил в толпе, тем страшнее и грознее».

Тут же, естественно, он подумал о своем шуте. Что происходит в это время с Шико и его дикарем? Надо бы узнать, кто из них кого одолел. Генрих решил было послать солдат к горбатому трактиру на кривой улочке. Он оставил эту мысль по разным причинам, гордость была не последней из них. Так или иначе обнаружилось бы, что он испугался. Неожиданно он поднялся с места, а то его гости пировали бы еще очень долго.

Обратно в церковь, ибо в виде духовного десерта полагалось насладиться проповедью монсеньера Буржского, и непосредственно после того, как прозвучало заключительное «аминь», началась вечерняя служба. Его величество усердно слушал все. Потом вскочил на коня, правда, лишь затем, чтобы принести благодарственную молитву в другой отдаленной церкви. Когда он вернулся в Сен-Дени, была уже ночь, горели праздничные огни; люди, которые опорожнили сегодня корзины с провизией и чашу восторгов, теперь танцевали вокруг огромных факелов, те, что

порезвее, на одной ноге, но если оглядеться трезвым взглядом, сразу видно, что радость их уже лишена оснований. Рано утром они приветствовали своего короля, потому что он ради них пошел по тернистому пути и в стремлении залечить нанесенные раны слился с ними в одной вере.

Теперь, вечером, они встретили его еще шумнее, он не усмотрел в этом никакого смысла, вообще усталость от прошедшего дня была больше и глубже, чем если бы он с утра до ночи дрался в бою. Придерживая коня, он думал: «А что произошло тем временем в трактире? Об этом они понятия не имеют. Танцуют вокруг огня. Даже праздничные огни причиняют ожоги, кричи погромче, когда другой дурак толкает тебя в огонь. Что, если бы я поскакал теперь к трактиру? Наверно, нашел бы его пустым, и там, должно быть, все кончено, как этот день, а я смертельно устал».

В старом аббатстве свет был потушен, кто бы стал его ждать? Никак не его возлюбленная повелительница, хотя она, наверное, лежала и прислушивалась. Однако она не звала его и не желала, чтобы он вошел к ней. Быть одному до рассвета, ни на что иное мы не способны, предчувствие подсказывает каждому из нас, каково сейчас другому, тягостно или покойно. Но ванну он пожелал принять немедленно, и его первый камердинер, господин д'Арманьяк, разослал всю челядь за водой. Беготня в темноте разбудила кое-кого, среди прочих – некоторых протестантов, и они поспешили сделать заключение. Он смывает с себя грех после того, как слушал столь пышную мессу!

Но это было не так.

История одного покушения

Шико, длинный, тощий и без шляпы, крепко держал скрученные за спиной руки парня, парень шел, прихрамывая и согнув могучую спину. Когда они таким образом пробирались по кривой улочке, совершенно пустынной, – даже из окон не выглядывало ни одного немощного старца, – кто же из них, собственно, кого вел? Казалось, что Шико поддерживал своего приятеля, чтобы тот не свалился от непонятной слабости – или же, вернее, одолев его, волок в тюрьму. Но дорогу знал лишь один из них; и при этом не шут короля, а парень. Ему, по-видимому, хорошо была знакома кривая улочка, тихо подвывая, он невзначай завернул за

угол, у него на примете был трактир, меж тем как его спутник еще и понятия не имел, куда идет. Он пока не думал ни о чем, лишь бы выбраться из сутолоки и не нарушить торжественности королевского шествия. Там на шумных улицах все только и помышляли, как бы не пропустить традиционный обеденный час. А здесь даже не пахло жареным салом, густая тень с каждым шагом все больше отдавала плесенью. День был жаркий, но тенистая улочка не сулила прохлады: она только сильнее испаряла скопившиеся в ней пороки, из первого дома — грязную алчность, из следующего — убогое распутство, от последнего разило зловещей сыростью и нераскрытым преступлением.

Великан не мог идти дальше или притворялся, что не может. Во всяком случае, у него под ногами натекла лужа крови: Шико прекрасно знал, откуда и почему. Он все еще ждал, что пройдет патруль, тогда он передал бы солдатам неудачливого убийцу короля, ибо пленник его был не кем иным, как убийцей короля. Но патруль не встречался. Вместо этого великан стал оседать, выскользнул у него из рук и повалился на пузатую стену низенького домишка. Шико пришлось прислонить его к этой стене, иначе они оба свалились бы наземь. И на сей раз парень лежал бы сверху. Шико не мог даже окликнуть его по имени, имя на человеке не написано, видно было только, что он отставной солдат. Так называемый шут свистом позвал на помощь. Высунулась физиономия хозяина, более похожая на другую часть тела, при этом показался он так быстро, словно караулил за дверью.

— Вас двое? — необдуманно брякнул он. Эти слова заставили шута всерьез призадуматься тут же на ходу.

Прежде всего потребовалась помощь хозяина, чтобы втащить великана в комнату. Едва он очутился на скамье, как потерял сознание. Хозяин был приземист и толст, он только пыхтел от усилия; Шико, наоборот, заговорил немедленно.

— Да, нас двое, он сразу узнал во мне старого союзника по Лиге. Мы оба служили в пехоте герцога Майенна, которому, к сожалению, не удалось заполучить беарнца ни живым, ни мертвым. Ну вот, сегодня, после мессы, мы dokonчили дело.

— Если бы вы это сделали, вы оба стали бы невидимы, — сказал хозяин,

оглянулся на лежащего без сознания великана, другим глазом покосился на Шико и остался не удовлетворен результатами. — Он ведь верил, все равно как в загробный мир, что стоит ему нанести удар, и он мигом станет невидим. А я вижу его, да и тебя тоже, и это мне вдвойне неприятно. Не понимаю, зачем вы заявили вдвоем. Почему он доверился тебе? Это на него не похоже. Я знаю Ла Барра.

— Я тоже, — уверил Шико глубоким, искренним голосом, каким обычно говорил людям глупости, в которых они лишь позднее распознавали истину. — Своего друга Ла Барра я люблю больше, чем ты. Вот тебе доказательство: на нем мой кожаный колет еще из тех времен, когда я был такого же сложения, как он. Начав худеть по причине глистов, которые высасывают из меня все соки, я отдал старому приятелю Ла Барру свой колет; глисты я отдать не мог, несмотря на нашу закадычную дружбу.

Эти подробности поколебали недоверие хозяина и отчасти убедили его.

— Но почему вы не стали невидимы? — спросил он скорей с любопытством, чем с недоверием.

— Это оттого, — пояснил Шико, — что наш план удался только наполовину.

— Так король не убит? Слава господу Иисусу Христу, — вырвалось у коренастого толстяка, и он с облегчением плюхнулся на скамью.

— Это уж совсем некрасиво с твоей стороны, трус ты этакий! — свысока пожурил его Шико. — Сперва вместе затеять честное убийство, а после запереть дверь, занавесить окно, притаиться за ними и перебирать четки. — Четки лежали тут же на столе. — Чтобы дело не удалось и чтобы нас обоих схватили. А? За это ты молился?

Толстяк залепетал:

— Я молился частью за то, чтобы оно удалось, а частью за то, чтобы не удалось. Значит, удалось наполовину? И вас-то я вижу только наполовину, — причитал он. В самом деле, от страха жировые мешки, заменявшие на его мерзкой физиономии щеки, поползли ему на глаза и почти закрыли их.

— До сих пор мы еще наполовину здесь. — Шико оставался сдержан, однако в тоне его звучала угроза. — Если король умрет от тех самых ран, которые мы с Ла

Барром нанесли ему, тогда мы исчезнем, и нас больше не увидит никто. Зато ты останешься и заплатишься за свои молитвы, которые навлекли на нас пагубу. Тебя схватят, будут допрашивать, посадят задницей на раскаленное железо, но по оплошности примут за нее твою рожу.

При этих словах хозяин упал ничком и взвыл. Лежавший без чувств великан очнулся от его воя и повернул голову. Шико, на беду, не заметил этого и продолжал описывать толстяку все, что происходит при четвертовании, как трещат суставы, потом разламываются и человек смотрит, как лошади растаскивают его собственные члены; а на пути уже караулят мохнатые чертенята, скачут и ловят куски свежего мяса, чтобы засолить его. Все это рассказывал Шико воющему хозяину, а великан между тем прислушивался, стараясь не шевельнуться.

Когда хозяин наконец умолк от избытка отчаяния, Шико серьезно спросил его: хочется ли ему спастись от петли? Это единственное, сказал хозяин, о чем он еще может молить Бога, больше он не возьмет на душу ни одного смертного греха, хотя, к его великому прискорбию, уже немало их лежит бременем на его душе. Кто ему дороже, спросил Шико, он сам или человек на скамье? Дело ясное, отвечал хозяин. Тогда лучше и желать нечего, заметил Шико, хотя они оба, конечно, не меньше их приятеля причастны к покушению на короля. Но на этот раз они могут спасти свою телесную оболочку за счет их доброго приятеля, Ла Барра, и его земного бытия, которому, впрочем, пора уже пресечься.

— Отправляйся, кум, приведи стражу, мы выдадим его и умоем руки.

Хозяин робко заявил, что при таком положении их, пожалуй, тоже заподозрят, вообще же он не страдает излишней щепетильностью, а Ла Барр в самом деле заслуживает веревки.

— Но, на беду, мы все заодно, одна компания и вместе покушались на короля. Нашим рассказням не поверят, а заберут нас всех.

— Мои рассказы, без сомнения, примут за правду, — заверил его Шико. — Я опишу судьям, как присутствовал в соборе при отречении короля от старой веры и вдруг заметил человека, которого раньше не видел никогда. Лицо у него было точь-в-точь такое, как полагается убийце короля, но этого мало, он тщательно

оберегал от толчков свой правый бок, откуда я заключил, что нож у него заткнут между рубахой и штанами. Пробравшись к нему поближе, я ясно увидел очертания ножа: нож был с локоть длиной, превосходно отточенный и обоюдоострый, почему при каждом прикосновении молодец кривил рожу. Я подумал: «Ты еще и не такую скорчишь», влез на пилястр и повис на каменном драконе, где копошилось уже множество людей. Мой приятель стоял недалеко от меня, и когда король шел мимо, это было как раз на повороте, приятель сунул руку за пазуху, — тут я прыгнул к нему на шею. Он свалился, поднял крик, весь бок был у него порезан. Так я сохранил нашего короля, да хранит его господь. Так я обезоружил убийцу и привел его сюда, ибо не нашел нигде патруля. Ну, кум, поверят мне судьи?

— Своими рассказями ты кого хочешь проведешь, — подтвердил хозяин. Однако на повторное приглашение сбежать за солдатами он почесал в затылке и сказал, что ему это не по нутру. Он стоит за то, чтобы они сами уладили дело, без участия посторонних. — Поверь мне, будет лучше, если мы сами его убьем и засолим. Вон там в темном чулане стоит большущая бочка, где он как раз поместится, ведь из такого, как он, получится много солонины.

— Я с тобой не согласен, — возразил Шико деловым тоном. — Я предпочитаю четвертование. Это всеми принятое законное действие, меж тем как засол, насколько мне известно, порицается религией. — В силу привычки, он не удержался, чтобы и тут не сострить по поводу религии. — Такой выход мог бы принести больше вреда нам, чем нашему приятелю, который своей глупостью заслужил чего угодно, — кончил он.

Они подробно обсудили вопрос, правда, каждый остался при своем мнении; но, в отличие от шута, который неуклонно отстаивал закон, хозяину жалко было потерять такой запас солонины. Тем не менее ему осталось только вздохнуть и сдаться:

— Ты сильнее меня. И короля ты ранил, и врать ты тоже мастер. Жди меня, я пойду за солдатами.

Хозяин ушел, тогда лежавший без чувств повернул голову, запрокинул ее так, что льняные волосы свесились через край скамьи, и сбоку взглянул на Шико.

— Приятель, — слабым голосом произнес он.

— Я здесь, приятель, — отвечал Шико, хотя порядком испугался. Ла Барр сказал:

— Ты послал хозяина за солдатами, теперь помоги мне поскорее убраться отсюда. Ведь мы вместе ранили короля.

— Что? — воскликнул Шико, оцепенев от изумления. — Мы ранили короля? — Ла Барр в ответ:

— Я, верно, спал и видел сны. Будь добр, приятель, вытащи у меня нож. Я столько крови потерял, что даже не помню, как это мы ранили короля.

Однако память ему ничуть не изменила, наоборот, из его слов Шико понял, какой это коварный великан. Он ухитрился бы запутать в свои преступные дела даже королевского шута, будь у него малейшая надежда уйти от палача.

— Видно, следовало отдать тебя в засол, — прикрикнул на него Шико. Он шагал по комнате, а великан, скосив глаза, следил за каждым шагом шута. Тяжкое преступление всегда опасно для того, кто узнал о нем. Тут уж надо идти до конца, надо выложить все, чтобы стать добропорядочным и правдивым свидетелем, который под всеобщее одобрение доводит другого человека до колеса или виселицы.
«Кем же считает меня мой король Генрих? — раздумывал Шико. — Своим верным шутком? Своим наемным убийцей? Вероятно, и то и другое, и по нынешним временам каждый может быть взят под подозрение. Мне нужно забежать вперед, учинить допрос убийце и самому разыграть роль судьи, чтобы не осудили меня».

Поняв и продумав все это, шут Шико освободил солдата Ла Барра от обоюдоострого ножа, которым тот собирался поразить короля Генриха. Вместо этого нож искромсал бок ему самому, а когда был удален, на пол вытекла сразу целая лужа крови. Великан, чувствительный от природы и не привыкший плавать в собственном соку, чуть было снова не потерял сознание. Шико не допустил этого. Он надавал ему пощечин, затем обвязал раны его же рубашкой, смочив ее в растворе уксуса, посадил его, дал ему вина, после чего решительно потребовал, чтобы Ла Барр рассказал свою историю.

— История длинная.

— Рассказывай покороче! Скоро придет хозяин с солдатами.

— Он будет еще три часа раздумывать.

— Отчего?

— Оттого, что ему скажут: король цел и невредим.

— Разве он невредим? — Здесь Шико потерял терпение. — Приятель! Видишь, вот

твой нож. Близко я к тебе не подойду. Раны у тебя перевязаны, и от вина тебе прибавилось сил, пожалуй даже с избытком. Но откуда из дальнего угла я запущу в тебя ножом. Прямо в твою голую шею – и попаду в тебя, как ты мог попасть в короля через головы людей. Ведь так, а не иначе хотел ты убить его.

– Ты слишком много знаешь, – сказал Ла Барр. – Я сдаюсь. Так и быть, я все скажу.

– Только смотри не лги! Я состою на службе его величества, и если уста твои солгут, я допрошу твои кишки, а уж они скажут мне правду.

После подобного заявление Ла Барр чуть не свалился со скамьи, он был испуган свыше всякой меры, так что Шико задал себе вопрос: «Не знаю, может быть, я выражался не как судья, а как шут?» Задумавшись, он позабыл о допросе, пока подсудимый не заговорил сам:

– Меня зовут Пьер Баррьер[42. – Пьер Баррьер – фанатик, готовивший покушение на Генриха IV. Был разоблачен и четвертован в 1593 г.], по прозвищу Ла Барр.

– А по ремеслу ты цареубийца. Ни в каком другом ремесле ты не мог бы так преуспеть, ибо молва о тебе дойдет до самых отдаленных времен.

– Это не мое ремесло, – хныкал великан. – В этом виновны все, кто хочешь, только не я. Я был лодочником на Луаре и до двадцати двух лет оставался так же невинен, как в день, когда родился на свет в Орлеане.

– Кто лишил тебя невинности?

– Вербовщик нанял меня, я сделался солдатом королевы Наваррской, но влюбился в одну из ее прислужниц, и в этом была моя беда.

– Беда немалая, – серьезно подтверди Шико, – однако поговорим сначала о мадам Маргарите Валуа, которую ты зовешь королевой Наваррской. Она покушалась на жизнь и корону своего супруга, нашего короля, потому-то она и заточена в замке, откуда вербует таких, как ты, чтобы освободиться и снова грозить нам. И мне также, потому что я состою на службе его величества. А раз ты исполнял приказания госпожи Валуа, то тем самым ты покушался на мою особу?

— Так может болтать только шут, — проворчал Ла Барр.

В сущности Шико был с ним согласен. «Обычно, — подумал он, — я говорю, как подобает дворянину, но все смеются потому, что я ношу звание шута. Здесь мне надлежит быть серьезным, а я валяю дурака. Горе мне с моей натурой». Тут Ла Барр призвал его к порядку.

— Всею виной моя несчастная страсть к девице, которая днем и ночью стремилась лишь к веселью и забавам. Всякий раз, как я лежал у нее на груди, непременно что-нибудь приключалось, то мы падали в пруд, то обрушивался сеновал или в нашей комнате заводились духи. Но это все были шалости придворных, и помогала им девица, которую я имел несчастье любить.

— Редко встретишь такую беззаветную преданность, — признал Шико. — Оттого ты, конечно, и решил убить короля.

— Не спеши, — потребовал тот. — Я видел сон. Мне снилось, что королева приказала мне отправить на тот свет ее супруга, короля Французского: тогда она на этом свете не будет мне чинить препятствий и даже даст приданое моей возлюбленной.

— Это тебе только снилось? А ну-ка припомни, не поручала ли тебе этого королева наяву? — Шико допрашивал очень настойчиво. У него пропала охота шутить. Ла Барр отвечал:

— Она не поручала: я сам вошел к ней, когда она была одна, и сообщил ей о моем намерении. Тогда королева расплакалась, повернулась к стене и, не оборачиваясь, заклинала меня забыть и бросить эту мысль. Вскоре она меня уволила, и я покинул замок.

Шико молчал, сердце у него колотилось. «Как мне доложить об этом королю? Собственная жена послала к нему убийцу, а не заперла его в самое глубокое подземелье».

Внутренняя тревога побудила Шико выйти из угла, он бегал по комнате и размахивал остро отточенным ножом, ножом убийцы. Всякий раз, как он приближался к Ла Барру, тот съеживался, однако следил за Шико прищуренными и сверкающими глазами. Шико ничего не замечал, он был потрясен теми страшными кознями, о которых узнал. Он хотел стать благонадежным свидетелем, а теперь стал свидетелем опасным. Вдруг великан сделал резкое движение, еще немного, и он выхватил бы нож. Шико отскочил почти до дверей темного чулана. Он протянул руку и открыл дверь.

— Ступай туда! — закричал он. — Но великан снова принялся скулить. Только не в темноту, только не в бочку с солониной! Ему еще многое надо открыть.

Видя, что его судья колеблется, Ла Барр заговорил об одном лионском патере, который убеждал его убить короля. Патер обещал ему, что, совершив убийство, он станет невидимым. Через посредство этого самого патера он попал к одному из викариев архиепископа, облегчил свою душу и в ответ не услышал ничего. Но отсутствие ответа — тот же ответ. А тут еще какой-то капуцин одобрил его намерение, и даже один важный итальянский монах поддержал его. Короче, убийца короля доверился бесчисленному количеству лиц духовного звания, так что половина лионского духовенства только и ждала его покушения. Шут короля был так поражен, что даже рот разинул: неужели у его господина столько смертельных врагов именно в его славном городе Лионе? Между тем Ла Барр разошелся и, косясь на роковой чулан, заговорил о своей поездке в Париж; тут Шико закрыл рот. Вот сейчас он узнает истинное отношение парижских священнослужителей к королю.

С прискорбием услышал он, почему один влиятельный патер одобрял убийство; все равно, пойдет ли король к мессе или нет, он ни в коем случае не станет католиком, этому патер не поверит никогда. «Что же дальше? — думал шут. — Вот мы отрелись и, оказывается, напрасно. Они все равно убьют его».

— А почему ты не убил короля прежде, чем я тебя схватил? — спросил он еще. Потому что убийца испытал какой-то тайный страх, гласил ответ, ему казалось, будто его тянут назад и веревка, за которую тянут, проходит как раз поперек живота.

Услышав это, Шико впал в глубокую задумчивость, даже позабыл, где находится. В комнате становилось все тише и тише, потом послышался какой-то шепот. Шико не обратил на него внимания; постепенно шепот усиливался, казалось, будто кто-то говорит на улице за занавешенным окном.

— Ла Барр, ты его держишь?

— Нет, не держу, — сказал Ла Барр, обернувшись к окну.

— Тогда мы с ним справимся.

— А сколько вас?

— Пятеро.

— Вы-то как сюда попали, приятели? — опять спросил Ла Барр.

— Хозяин привел нас вместо солдат.

Ла Барр сказал:

— Погодите, я поговорю с офицером, согласен ли он сдаться и добровольно вернуть нож. Что вы думаете на этот счет? — спросил он огорщенного Шико и грозно двинулся к нему. «Только удержать бы нож», — думает Шико и отскакивает назад к чулану; еще один шаг, однако после третьего нога его повисает в пустоте и он проваливается в дыру.

Он ожидал, что потеряет сознание, но яма была не бог весть как глубока. Шико сейчас же вскочил, правда, он оказался на куче мусора, зато нож держал крепко. Затем прислушался. Один Баррьер, по прозвищу Ла Барр, подал голос, спросив, все ли с ним благополучно.

— Прыгайте сюда, — отвечал Шико, — все пятеро, друг за дружкой, я каждому по очереди отрежу голову.

— Здесь одна только моя голова, — сказал убийца короля, — и я, не мешкая, подыщу ей безопасное местечко. И голове и чреву, которым я умею говорить, пятеро приятелей тоже подавали голос из моего чрева. Мои кишки расскажут тебе правду — так ты, прохвост, страшал меня; я и в самом деле испугался. А вышло, что мое говорящее чрево отправило тебя в помойную яму. Сиди там, прощай, я убегаю. Хозяин в бегах уже несколько часов, я догоню его и скажу ему веское словечко насчет солонины.

И Ла Барр был таков, сперва затих его голос, потом шаги. В полной темноте Шико нагромоздил все, что нашел, и выбрался наверх по шатким подпоркам, в комнате он упал на скамью и свесил голову, торопиться ему было некуда. Настала ночь.

Ванна

Король Генрих погрузился в воду, которую, суетливо бегая взад и вперед,

натаскали для него слуги и служанки. Воду поставили на огонь, а затем вылили из котлов в углубление посреди ванной комнаты. Ванная была тесная и низкая, ванна выложена кирпичом, в нее надо было спускаться по ступенькам, на предпоследней покоился голый король, и его окатывало взбаламученной водой. Первый камердинер, господин д'Арманьяк, колебал воду зелеными ветвями и устраивал дождь, отряхивая ветки над своим господином. Для этой влажной деятельности д'Арманьяк разделся почти донага, на нем был только передник. Генрих, по своему обыкновению, процитировал ему в переводе стихи римлянина Марциала.

«Раб, опоясанный передником из черной шкуры, стоит и прислуживает тебе, когда ты купаешься в теплой воде».

Первый камердинер отвечал теми же стихами на латинском языке, причем его, как и короля, всякий раз забавляло, что поэт подразумевал не мужчину, а римскую даму, которую растирал в ванне раб. Прислуживающий дворянин и сейчас ожидал от государя какой-нибудь легкомысленной шутки, но не слишком удивился, когда ее не последовало: сегодня вечером государь был очень задумчив. Еще вопрос, только ли задумчив, не предан ли он мрачным мыслям, навеянными кое-какими предзнаменованиями. Д'Арманьяк молчал, он окроплял легким дождем с веток голову и грудь своего государя; но наконец, когда Генрих вытянулся и стал смотреть вверх на выбеленные балки потолка, первый камердинер положил ветки на край ванны и отступил, насколько оказалось возможно. Вокруг ванны было очень мало места, в одном углу стоял железный треножник с зажженными свечами, в другом, позади короля, лежала на стуле снятая им одежда. Вернее, она держалась стоймя, благодаря густому золотому шитью; штаны и колет сидели, как человек без шеи и головы.

«И праздничные огни причиняют ожоги, — вот о чем Генрих думал в ванне. — Они готовы сжечь на этих печальных и злых огнях кого попало, меня прежде всего. Они сомневаются, наше слияние по-прежнему ненадежно. Одна месса ничего не доказывает. Я вынужден без конца завоевывать людей, так мне было суждено веку. В церкви у пилястра я услышал слово и испугался, потому что звучало оно страшно и грозно. Что делает Шико? Слово оправдалось еще раньше, чем было

произнесено. Прищурившийся великан рад был оправдать это слово. Нож! Законовед сказал: «Теперь он готов». Где же Шико? И он ничему не поможет. Ведь я наконец отважился на смертельный прыжок».

При этом Генрих вытянулся на ступеньках, вода колыхалась, сон начал овладевать им. Господин д'Арманьяк, стоя прямо и неподвижно, ждал, чтобы на его старого боевого товарища сошел полный покой. Он думал: «Мы старимся. Бесплезно держаться молодцом, хотя это единственно допустимое поведение».

Первый камердинер, в переднике, опоясывающем бедра, осторожно ступая босыми ногами, вышел из ванной, прикрыл дверь и остался на страже, подле нее. Время от времени он заглядывал в щель, не произошло ли там чего-нибудь нового. Один раз он приложил ухо к щели; спящий громко произнес:

— Где же Шико?

Однако, когда тот действительно показался в конце коридора, господин д'Арманьяк загородил дверь, широко расставив ноги. Он уже издали учуял, что этот посетитель только встревожит короля, отдыхающего в ванне. Когда дворянин приблизился, оснований не допускать его стало еще больше. Господин д'Арманьяк скрестил на груди руки и выпрямился, как в молодые годы. Шико сказал:

— Не бойтесь, сударь, я не собираюсь врываться.

— Я вас не впущу, сударь. От вас воняет, как от козла, и вы пьяны.

— Сами вы козел, сударь, в этом кожаном переднике и с волосатыми ляжками. Что касается запаха, то им я обязан отвратительной мусорной яме; некий чреовещатель вынудил меня прыгнуть туда. А что я злоупотребил вином, после того как вынырнул на поверхность, так это вполне понятно. Я был подавлен неудачно закончившимся приключением и не решался в трезвом состоянии доложить его величеству обо всем, что случилось.

— Вы не войдете, — твердил господин д'Арманьяк неуклонно, но только для видимости. В ванной послышался плеск воды, король пробудился. Шико говорил звучным голосом, ничуть не приглушая его, он был совершенно трезв и точно рассчитал, что нужно открыть королю, а что, наоборот, следует утаить, смягчить, на что лишь намекнуть.

— Сир! — сказал бы я, если бы король мог меня слышать, — воскликнул он

весьма громогласно. — Сир, ваш убийца, или человек, который хотел стать им, был солдат, никогда ранее не замышлявший зла. Одна только любовь совратила его с пути истинного. Как снести, если предмет страсти постоянно издевается над влюбленным, ради увеселения легкомысленного двора? Какой же это мог быть легкомысленный двор? — спросил сам Шико, потому что никто другой его не спрашивал. — Действие происходит в замке достославной дамы, именуемой королевой Наваррской. Какие же чудеса там творятся!

Он перевел дух. В ванной послышался всплеск, как будто купающийся резко повернулся. Однако Шико тщетно ждал возражения или приказа.

— Праздность — мать всех пороков, — заявил он наконец. — Любовь, ничего, кроме любви, во всем замке: вдруг является бедный солдат и напускает на себя важность. Он, видите ли, желает убить короля. Конечно, прославленная наваррская дама запрятала его в самое глубокое подземелье.

— Эй! Перестань врать! — послышалось из ванной.

— Нет, она очень плакала, — в смущении, сокрушенно говорил Шико. — Долго плакала, а потом прогнала солдата из замка...

— И меня об этом не известила, — вздохнул Генрих в кирпичной ванне.

— Как же она могла, — сетовал Шико; хотя он и сочинил все сам, но считал вероятным то, о чем скорбел. — Монахи, священники и прелаты приставали к ней неотступно, ей самой грозили смертью, стерегли ее, перехватывали ее письма, так что она поневоле должна была молчать и втихомолку лить слезы.

Здесь из груди господина д'Арманьяка вырвалось неожиданное рыдание. Королева Наваррская, о которой рассказывал Шико как о создании своей фантазии, для первого камердинера была живой спутницей эпохи кровавых ночей, пройденной школы несчастья, всех житейских тягот, которые сам он сносил вместе со своим господином на протяжении долгих лет. Тогда лицо ее изображало то жар страстей, то неземную высоту, прямо из постели она вела к престолу и звалась тогда Марго. Ее боготворило целое поколение, приверженное к человеческой красоте и к познанию человека — среди них был и первый камердинер, которому она протягивала свою несравненную руку. При этом воспоминании он всхлипнул еще раз и не мог уже остановиться. «Наша Марго смертельно ненавидит нас теперь», — думал стареющий

д'Арманьяк. Не в силах подавить волнение, он покинул свой пост. Удаляясь все в том же кожаном переднике, он ловил ртом воздух, издавал душераздирающие стоны и захлебывался от невыплаканных слез.

Между тем в ванной было тихо. Там сидит тот, кто легко плачет, и потому большинство ему не доверяет. Почему же он не плачет на этот раз? Шико задумчиво покачивал головой, а смешной хохолок покачивался над его голым черепом. Он мог бы подсмотреть в замочную скважину, но не захотел. Там внутри, один, скрытый от посторонних взглядов, сидит голый человек под угрозой ножа; несравненная рука, некогда любимая свыше меры, не пожелала отворотить нож. А направлен он был одним из тех, что прыгают вокруг праздничных огней, самые резвые – на одной ноге, и он, король, слился со всеми ними. Ради них прослушал пышную мессу, отважился на смертельный прыжок. «Пусть будет так! Пусть свершится что суждено!» – думает, наверно, тот, кто сидит в ванне.

– Шико!

Времени прошло довольно много. Человек, стоявший у двери, больше ни к чему не прислушивался, он погрузился в думы. Когда прозвучало его имя, он встрепенулся и бросился в ванную.

– Запри дверь! – приказал голый король. – Сколько человек замешано в покушении? – спросил он тихо.

Шико точно всех перечислил, о прикрасах он уже не думал. Перед острым умом шута путь убийцы лежал как на ладони, так он и описал его: нет ни единого местечка в королевстве, которое при случае не могло бы уподобиться тому разбойничьему вертепу, откуда он сейчас явился. Но ведь разбойничьи вертепы забавны, во всяком случае не мешают от души посмеяться и над хозяином и над солдатом, который говорит чревом, а после убийства надеется стать невидимым. Однако же в ванной чувствовалось такое напряжение, что даже лица каменели. С большим комизмом, не намеренно, а в силу привычки, пересказал шут свой спор с хозяином насчет засола и колесования. Но лица у обоих точно каменные. Болван с искромсанным боком из-за собственной неосмотрительной кровожадности; чревоушание, пять приятелей и мусорная яма; в высшей степени комично, а лица

по-прежнему точно каменные. Болван сбежал, это не важно, с ним вопрос окончен.
Он отточит новый обоюдоострый нож, еще раз попытается выследить короля, будет пойман, ведь его теперь знают. Довольно о нем.

Шико кончил и молчал вместе с королем, который тоже мог только молчать. Внезапно он поднял голову.

— Одно хочу я знать. Ла Барр ни разу не приблизился ко мне настолько, чтобы вонзить в меня нож. Как же он думал сделать это?

Шико мигом вытащил из штанов нож, вытащил оттуда же, где его носил убийца, и швырнул его, куда — не было видно, так быстро все произошло. Король повернул голову и оглядел комнату. Позади него на стуле сидел его белый атласный наряд, точь-в-точь он сам, только без шеи; а там, где надлежало быть шее, в стене торчал нож, длиной с локоть, в самой шее, которой не было.

— Хороший прицел! — сказал Генрих. — Сто эку не пожалел бы, будь они у меня. — И рассмеялся лежа, как был, голый. Потом еще раз оглянулся на нож и громко захохотал. Шико из вежливости скривил рот. «Я ваш шут, — означало это. — Над своими собственными шутками я не смеюсь».

Вдруг Генриху пришло на ум:

— В церкви у пилястра стоял человек, он говорил с соседом шепотом, но я услышал. Это был мой законовед, он говорил: — Ах, теперь он погиб. Только с нынешнего дня можно сказать о нем: готов на убой.

По поводу этих слов — готов на убой — Шико заржал как конь, ибо острота принадлежала не ему. Смеялся и Генрих, хотя умереннее. Чтобы поддержать веселое настроение, он то и дело поглядывал на нож, который торчал как раз там, где могла быть его шея, но где ее не было.

IV. Радостное служение

Торжественная церемония

Святое миро для помазания и посвящения королей Франции хранилось в Реймсе,

но этот город по сию пору принадлежал Лиге. И столица тоже все еще была в руках врага. Генрих настойчиво стремился войти в Париж, только сперва он непременно должен быть миропомазан и коронован. Он бы, пожалуй, пренебрег этой повинностью, но ей придавалось огромное значение; а потому были предприняты розыски святого мира. Лучшее, какое нашлось, было связано с памятью святого Мартина: для Генриха это решало вопрос. Он знал каждую пядь своего королевства, за которое так долго боролся, и помнил, потому что сам отвоевывал их, какой у каждой местности патрон: чаще всего попадался Мартин. Отлично, остановимся на Мартине, а вместо Реймса изберем город Шартр и его собор, высоко чтимый народом. Ни один истинный католик не отнесется с презрением к торжественной церемонии, местом действия которой будет Шартрский собор.

Однако Генрих не забыл, что и в Сен-Дени, где он отрекся от ереси и принял истинную веру, восторг был всеобщий, из Парижа явилось множество народу, с которым он торжественно слился, но при этом откуда-то вынырнул убийца. Вернее, убийца с самого начала был тут; он мало чем отличался от народа, среди которого скрывался и который, казалось, был предан королю душой и телом. Нет, это заблуждение, люди вонзают нож точно так же, как славословят и падают на колени. Обстоятельства меняются, и дух человеческий многообразен. Наша вина, наша великая вина в том, что мы не могли побудить добрый люд, как его называют, всегда быть добрым. Жизнерадостность, снисхождение и милосердие одни достойны разумных существ. Но есть ли где-нибудь государство, в котором царят они? А потому необходимы торжественные церемонии, способствующие очищению растленных душ. «Если я буду почаще прибегать к таким церемониям, — думал Генрих, — быть может, под конец даже у моих убийц на глаза навернутся очищающие слезы, хотя полагаться на это нечего. Надо самому подавать пример. Не убивать, а помогать жить. Вот в чем суть королевской власти, подлинной власти», — понял он, и отнюдь не впервые, ибо таков был предначертанный ему с самого начала путь. Но даже по случаю столь возвышенного события он не мог до конца продумать сущность власти: слишком много предстояло сделать.

Торжественную церемонию в Шартре приходилось подготавливать всю наново; ничего не было — ни действующих лиц, ни предметов, которые им полагалось держать в руках. Корона, скипетр и прочие атрибуты были, в зависимости от материала, расплавлены, разломаны, порваны или попросту украдены мятежниками. Сановники, которым по чину надлежало участвовать в церемонии, либо были заодно с врагом, либо находились у него в неволе, в особенности епископы. Некоторые из светских вельмож не пожелали явиться, не веря, что власть короля крепка. Париж по-прежнему в руках испанцев, к чему же торжественные церемонии? По счастью, всегда находятся преданные люди, которые, не раздумывая, спешат добыть нужные предметы, например, руку правосудия с двумя перстами, сложенными для присяги, рыцарский меч и полотнища парчи, достаточно широкие, чтобы повесить стены храма. Все это было изготовлено или разыскано впопыхах; новые статисты заменили выбывших, их заставили прорепетировать роли, чтобы каждый затвердил свою, а в утро торжественной церемонии двое дворян встали в три часа: надо было привести в порядок собор.

Весь предшествующий день король был занят покаянием, молитвой и выслушиванием проповедей, в которых ему разъяснялась сущность торжественной церемонии. Утром двадцать седьмого февраля его повели в собор к торжественной церемонии двое епископов и много высоких господ, среди которых он почитался первым. На нем было одеяние, представлявшееся ему верхом нелепости: просторная хламида из посеребренного холста, под ней длинная рубаха пунцового шелка. На вид совсем явление допотопных времен, но так пожелали его дамы, милая сестра, бесценная повелительница, она же действовала по указке госпожи де Сурди, ибо друг последней, канцлер де Шеверни, стоял за соблюдение исконных обычаев. Канцлер и другие важные сановники следовали за королем по пятам, среди них и обер-шталмейстер, герцог де Бельгард. Генрих узнал поступь своего старого друга, Блеклого Листа, и не прочь был оглянуться и приветствовать его смехом, но странный наряд, не говоря обо всем остальном, мешал ему. Ведь и в этом соборе он снова был выставлен напоказ толпе, герольды и всяческие эмблемы власти, даже коннетабль с обнаженным мечом, предшествовали ему. Далее выступал он сам, совершенно один и с такой торжественностью, которая всем была

непонятна, а ему больше всех, так что он даже сомневался: «Величественный у меня вид? Или, чего доброго, смешной?»

Герольды принялись возглашать имена, передававшиеся из рода в род, двенадцать имен тех, что были некогда высокими особами в королевстве. Разумеется, на зов герольдов откликнулся вовсе не герцог Аквитанский [43. – Герцог Аквитанский. – Аквитания – крупнейшее феодальное княжество на юго-западе средневековой Франции. С середины XII до середины XIV в. герцогами Аквитании были короли Англии. С 1453 г. после изгнания англичан в результате Столетней войны Аквитания была окончательно присоединена к владениям французских королей.], такого давно не существовало, и потому он не мог явиться, иначе он бы щегольнул стародавним маскарадным костюмом, не хуже самого Генриха. Зато Генрих услышал, как откликнулся славный Суассон, возлюбленный его сестры; и далее, каждый из бывших здесь откликался взамен кого-то отсутствующего; а тот либо умер сто лет назад, либо увильнул от торжественной церемонии. И когда епископ Шартрский, вместо архиепископа Реймского, помазал короля святым миром, тоже не настоящим, помазаннику стало щекотно, и, чтобы не засмеяться, он закашлялся. А стоял при этом в самой смиренной позе, склонив чело, и только исподтишка ждал отклика у прелестной Габриели, сидевшей на хорах, ибо думал, что прелестная Габриель смотрит на всю помпу с такими же чувствами, как и он. «Виден тебе Блеклый Лист, прекрасная моя любовь, помнишь, как он лежал под кроватью и я бросал ему сласти? А тут у него такой торжественный вид».

Однако прелестная Габриель на высоких хорах среднего нефа отнюдь не предавалась подобным воспоминаниям и даже не имела к тому поползновений. Ее возлюбленный повелитель снова произнес все положенные клятвы и прежде всего ту, что против еретиков; а теперь епископ надел на него корону – в самом деле корону, и ее возлюбленный повелитель был коронован. В глубине души она никогда в это не верила. Слушай, Габриель д'Эстре, как они кричат: да здравствует король! «Te Deum» запевают они в его честь – а ведь это он в обличье крестьянина с закопченным лицом пробрался пешком в замок Кэвр, и ты сказала ему: «Сир! До чего вы некрасивы». А потом ты долго водила его за нос, усердно обманывала его и лишь мало-помалу растаяла, потому что при своем кочевом дворе он слыл великим человеком. И что это был за двор! Его местопребывание то и дело менялось в зависимости от военной удачи. А тебе приходилось умело лавировать

между пасторами и прелатами; целью твоей было обогащение собственной семьи, господин д'Эстре воровал, и ты покрывала его, господин де Рони стал тебе врагом из-за твоей преданности семье. Ты способствовала обращению своего еретика, сперва потихоньку, слушаясь чужих указаний: тогда ты все еще любила другого и едва не сбежала с ним. Лишь под самый конец, в ночь пролитых слез и загадочных видений, ты поняла, чье дитя ты носишь под сердцем и кто по-настоящему твой повелитель. И так случилось, что ты, прелестная Габриель, трепещешь теперь наверху, на хорах храма, от гордости и счастья, что взор твой затуманен непомерным блаженством, когда повелитель твой принимает корону.

Как можно заблуждаться! Генрих не решался поднять взгляд туда, где сидела его бесценная повелительница; он боялся, что она тоже закашляется, стараясь скрыть смех. Торжественные церемонии не выигрывают от повторений, особенно когда человек чувствует в них фальшь и комедию. Генрих израсходовал всю отпущенную ему серьезность на борьбу со своей совестью во время того тяжелого раздумья и смертельного прыжка. Дело сделано, незачем спрашивать себя – к чему. Будь это хоть во имя власти, но ей мы знаем цену, слишком долго добивались мы до нее. Герольд выкликает покойника, взамен отзывается живой. Епископ, взятый на худой конец, поднимает сосуд с миром, самый пристойный из всех, какие удалось добыть. Затем на голову, полную сомнений, а не веры, опускается корона, которой надлежит быть очень древней, а она только что из мастерской. Вот какова показная сторона власти. Солнечный луч играет на мече, маршал де Матиньон [44. – Матиньон Жак-Гойон (1525–1597) – маршал Франции, выдающийся военачальник своего времени. Одним из первых признал Генриха IV. Успешно боролся с испанцами и собирался перенести войну на территорию Испании, чему помешала его смерть.] держит его прямо перед собой, это якобы меч коннетабля. В действительности же Матиньон вовсе не коннетабль, он сочиняет эротические стихи, и латинские, и на родном языке; наверно, и сейчас, в то время как сверкает грозный меч, у него уже наготове новые вирши. Вот какова эта власть.

А Генрих помышляет о другой, которую он лелеет в сердце, властью над сердцами можно назвать ее. Торжественная церемония не нравится ему; он не

видит, чем она может очистить растленные души. Правда, присутствия убийцы он здесь не чувствует, и это прежде всего большое облегчение: может все-таки статься, что помазание, коронование и внушительность сегодняшнего события на некоторое время сделают его неуязвимым. И тогда, значит, законовед ошибкой сказал свое горькое слово. А затем, раз смертельная опасность устранена от него, король вновь становится серьезен, он обретает ту серьезность, что была утрачена недавно в горбатом трактире, где главную роль играл шут, затем в ванной, при появлении того же шута. Совсем иное дело, когда король смотрит на своего верного Рони.

В течение церемонии король несколько раз взглядывал в лицо барона и при этом пугался: он один был здесь неподдельным. Точно сошел с соборного фасада, он остался бы верен себе и там, в образе каменной статуи с крупными величавыми чертами, которую ничто не возмутит. Протестант слышал, как король давал клятву уничтожать еретиков, и лицо его не дрогнуло. Он был тут, он участвовал во всем и оставался верен себе, но внутренний голос его говорил: «Галиматья». Так втихомолку говорила в нем суровая простота гугенотов, таково было его суждение о торжественной церемонии. «Суета, приманка для женщин, мерзость перед господом», – кричал бы внутренний голос, если бы барон стал его слушать. Рассудительный Рони призывал докучливый голос к молчанию, а всем видом и осанкой являл образ преданного и стойкого слуги своего короля. Генрих вообще разбирался в людях и знал своего Рони; но тут, посреди торжественной церемонии, он понял окончательно, что тот навеки останется верен ему.

Вскоре он призвал его в свой совет. А дальше Рони уже сам позаботился, чтобы стать герцогом Сюлли, всемогущим вершителем финансовых дел королевства, начальником артиллерии, равной которой не бывало дотоле, и воистину правой рукой короля – пока существовал его великий король, и ни минуты дольше. Ибо ему он предался всецело, ему вручил свою судьбу, наперекор внутреннему голосу старого гугенота. Что я для тебя, тем и ты будешь для меня. Начало подъема Рони вплелось в торжественную церемонию, оттого что Генрих несколько раз взглядывал в его лицо и при этом пугался. Ибо смотрел он в лицо долга и несокрушимой серьезности, невзирая на затаенную мысль, что все это галиматья. Генрих думал:

«Средний человек, чтобы не сказать – посредственность. Вот если бы мог я взять с него пример!» Так думал Генрих, в ту пору почитавший простоту самым желанным качеством. Но чтобы она далась без труда, надо быть Рони.

Король покинул собор более по-королевски, чем входил в него. Поступь и осанка стали по-настоящему величавы, и нелепое одеяние казалось теперь на нем вполне уместным. От этого и все шествие приобрело гораздо большую стройность и мощь, чем по дороге сюда. Толпы народа молчали на его пути, преклонив колена.

Однако к обеду Генрих переоделся с ног до головы – отмахнулся от господина д'Арманьяка, когда тот подал ему белый с золотом наряд – ему хотелось чувствовать себя удобно, покойно, по-будничному. В парадной зале он сидел под балдахином, что не уменьшало его аппетита: сидел за отдельным столом, поглядывая вправо на стол для духовных лиц, влево – на стол для светских вельмож; и те и другие одинаково ревностно утоляли голод: в этом они были схожи с ним. Вообще предполагалось, что они теперь с ним одно, он только первый среди них, а все вкуче составляют королевство. Но он думал иначе, он находил это самонадеянным, а с другой стороны – считал, что это слишком мало. Приказал и на сей раз растворить двери и впустить народ. Он не боялся толчеи, зато вельможи подняли ропот.

Он поспешил восстановить хорошее настроение. Дворянам, которые прислуживали ему, он сказал, что дон Филипп, властитель мира, заразился дурной болезнью. Как же все дивились непонятному грехопадению его католического величества после столь долгого воздержания! Один-единственный грех – и сразу же кара. Если бы каждый любвеобильный король попадался с первого раза! Тут все, справа и слева, мигом повернулись к столу, стоявшему поперек зала, к королю под балдахином. Король засмеялся, тем самым разрешая смеяться всем. И как же все потешались над смешной задачей его католического величества! Некоторые из гостей приняли рассказ за шутку, хоть и очень смелую. И эти веселились дольше других. Иные из высоких господ, особенно духовного звания, хохотали до слез и рукоплескали королю в знак одобрения. Несравненно чаще, чем испанский властелин, этот король

бросал вызов болезни и все же не заполучил ее. А теперь она к тому же точит его врага. Такое счастье заслуживает хвалы.

Многие вдруг призадумались и перестали смеяться. Кто так счастлив, внушает страх. Двойная игра за его счет может плохо кончиться; и тем из сидящих здесь за столом, кто поддерживает сношения с испанцами в Париже, пора положить этому конец. Испанцы не останутся в Париже, раз повелитель их заразился. Счастье подает знак; как же пренебречь им? Кто-то сказал во всеуслышание, что не только властитель мира, но и его всемирная держава заражена болезнью, от которой она гниет, и член за членом отпадают от нее. Эти слова разнеслись по всем столам и весьма живо обсуждались. Тем временем от вина и яств лица покраснелись, голоса стали громче. Из-за испанских новостей чинная трапеза чуть не превратилась в пирушку, королю хотелось пресечь это; те, кто посметливее, поняли его желание. Сметлив был кардинал дю Перрон, тот самый, что подсунул Генриху подушку, когда он отрекался от неправой веры.

Дю Перрон подал королю чашу для омовения рук, поклонился и попросил разрешения спеть песню – непривычное занятие для князя церкви, и потому все насторожились. Кардинал пропел королю на ухо что-то короткое и, по-видимому, очень чувствительное, у короля глаза увлажнились. На верхних концах обоих столов расслышали только несколько слов: «Кораллы – уста, и зубы – слоновая кость. Прелестен двойной подбородок!» Видя, что король плачет, сперва ближние, а затем и дальние поняли, кому посвящена песня. Один за другим поднялись все, оборотились к королю и стояли молча, воздавая хвалу его счастью, меж тем как прежде рукоплескали его успеху.

Олицетворение его счастья носило имя Габриель: это постигли почти все; тугодумы, пожалуй, лишь вследствие обильного угощения. Другие проводили сравнение между сокровищем, которое дано ему, и прискорбной вестью из Испании. Иные же, заглядывая глубже, убеждались в том, что ветреник остепенился и что причина его верности и постоянства – желание стать оседлым и владеть. Но малым владеть в этом мире он не согласен. Его заносчивость доходила до величия.

Заносчивости недостает лишь власти, чтобы называться величием. Таков по крайней мере взгляд людей рассудительных; рассудительнейший из всех, господин де Рони, неразрывно связывал мысль о величии с мыслью о владении. И потому, наперекор природе и желанию, тут же решил примириться с мадам де Лианкур.

Трапеза была обильная, а под вечер предстояла вторая, на этот раз с дамами. Некоторые в промежутке легли спать или коротали время в беседах. Что касается Генриха, то он играл в мяч; мячи тяжелые, кожаные, на полный желудок бросать их нелегко, а если попадут в кого, то уж непременно оставят шишку. Меткие удары действовали сокрушительно на полные желудки, вскоре один из господ свалился наземь, остальные еще раньше признали себя побежденными. Генрих непременно хотел продолжать игру, и так как дворян не оказалось, он позвал простых горожан, которые были зрителями. Кто среди них лучшие игроки в мяч, спросил он и, не дожидаясь ответа, сам указал на лучших, оценив их по телосложению. Избранными оказались мясник, бондарь, двое пекарей и бродяга, случайно затесавшийся среди честных людей; но в игре именно он стяжал почет и уважение. Обычно ни у кого нет охоты знаться с канатным плясуном, фигляром и будущим висельником. Только игра уравнивает всех, и во время игры бродяга благодаря выработанным жизнью навыкам был на высоте.

Сильными мячами король вывел из строя сперва одного из пекарей. Остальные держались около часа, пока мясник, бондарь и второй пекарь тоже не выбились из сил: повернулись все трое и заковыляли прочь.

— Чья возьмет? — сказал король фигляру, и они принялись перебрасываться мячами, но не как метательными снарядами, а с необычайной легкостью, словно колдовали; перелетали с места на место, точно Меркурий[45. — Меркурий — бог торговли и бог-посланник у древних римлян. Изображался с кошельком и жезлом в руках, с крылышками на сандалиях и шляпе.], и едва протягивали руку, как мячи сами собой попадали в нее, и не поодиночке, а три, четыре, пять сразу и казались воздушными, точно мыльные пузыри. Зрелище было редкостное и радовало глаз. Народ тесно струдился вокруг, светские и духовные вельможи позабыли о пищеварении, и все смотрели, как прекрасно играют король с бродягой.

Оба они прикидывались чем-то вроде бестелесных духов, но человеческое естество не замедлило обнаружиться. Нельзя отождествлять природу с искусством.

Оба сильно потели; и так как капли пота застилали им глаза, мешая ловить мяч,

они дружно скинули колеты; а дело было в феврале, под вечер, — и все увидели,

что у обоих, у короля и его партнера, под колетами ничего нет, кроме рубах. И

еще другое увидели все: на канатном плясуне и фигляре рубаха была целая, а на

короле с дырой посреди спины. Ткань не выдержала резких движений и от ветхости

разорвалась.

Сперва Генрих не мог понять, о чем шепчутся и шушукуются кругом. Он слышал

ропот, он улавливал вздохи. Наконец кто-то решился сказать вслух:

— Сир! У вас на рубахе дыра. — Когда слово было выговорено, тягостная неловкость перешла в веселье. Первым рассмеялся сам король, притворяясь в то же время сильно разгневанным.

— Арманьяк! — крикнул он, и когда первый камердинер предстал перед ним, Генрих спросил: — Ведь у меня же есть шесть рубах?

— Увы, — возразил д'Арманьяк, — их осталось всего три.

— Хорошего мало, если мне приходится ходить нагишом. Вот на что похож король, когда он прощает подати городам и откупает их у губернаторов Лиги, которые вконец удушили их поборами. Крестьянам же я возвращаю дворы, которые отвоевываю поодиночке. Тут еще может хватить на облачение для коронации, но уж никак не на рубаху.

Сказав это, он удалился, как раз вовремя, ибо звук его речи остался у всех в

ушах. Он говорил смело и гордо. Дыра в рубахе приобрела смысл жертвы во имя

королевства и умножила славу короля. Это подлинный король. Все мысленно вновь

увидели его шествующим по собору в нелепом одеянии, которое стало на нем вполне

уместным, — сравнили и нашли, что сейчас, в разорванной рубахе, он был даже

величавее.

Генрих оделся в лучшее свое платье, ибо на большом банкете должны были присутствовать дамы во главе с бесценной его повелительницей в роли хозяйки.

Большая зала архиепископского дворца в Шартре от бесчисленных свечей сияла

теплыми золотистыми тонами. Пучки свечей в сверкающих канделябрах перед стенными зеркалами и на столе окружали толпу гостей блеском, который каждого украшал и выделял. Таким образом, все женщины тут за столом казались красавицами, а мужчины, немало пожившие, явно помолодели: щеки разрумянились, лбы прояснились. Бесчисленные огни придавали всем благородство и необычайную изысканность; люди едва узнавали друг друга, так удачно было освещение залы. Весь свет и блеск были направлены на стол, меж тем как за спинами гостей четкие контуры предметов мало-помалу расплывались, и смутное мерцание, точно туман в слабом лунном свете, плыло к потолку.

Король и мадам де Лианкур восседали друг против друга, как хозяин и хозяйка. По обе стороны Габриели разместились в ряд дворяне. По левую руку Генриха сидела мадам Екатерина Бурбонская, его милая сестра; далее следовали принцессы и герцогини де Конти, Немур, Роган и Рец. Справа от него первое место занимала принцесса де Конде, связанная родственными узами с его домом; подле нее — госпожи де Нивернуа и де Невер. Эти имена он повторял про себя, ибо то были большие имена в королевстве, и носительницы их находились здесь, словно так и полагалось; но он знал, чего это стоило. Супруг той или другой из дам все еще был на стороне его врагов, хотя бы для виду, и для виду командовал в Париже, а в это время жена его пиновала с королем. Такое пиршество немислимо без предварительных интриг, более долгих, чем самый длинный обед. Этот пиршественный стол завершает много трудов, много мрака, много крови. Знать бы, что действительно завершает!

Вот о чем думал Генрих, перечисляя своих соседок, и каждая была ему дорога, они и сами не подозревали, в какой степени. При этом он занимал их веселой беседой, словно им так и полагалось сидеть здесь. Часто он и мадам де Лианкур обменивались взглядом, означавшим: вот чего мы достигли. Взгляд выражал: а могло быть и по-иному. Взгляд говорил ему и ей: «Благодарю тебя. Люблю тебя».

Для Генриха его Габриель была прекраснее, чем когда-либо, потому что смотрел он на нее не только с гордостью, но и с умилением. Роскошь ее наряда могла бы

показаться вызывающей; дамы не отрывали от нее глаз. Как мягко ложится бархат, какого он непередаваемого цвета – старое золото, осенняя листва, ласковый солнечный свет; и пышные рукава испанского покроя. Кому доводилось видеть платье, в своем совершенстве пригодное и днем и вечером! А голова королевской подруги покоится на мелко собранном воротнике, и золотистые волосы ярко озарены солнечным диском из алмазов и сами оттого сияют еще ослепительнее. Понятно, дамы не были склонны искренне восхищаться такой картиной, как ни влекла она их взор; они внутренне кипели бы и готовы были бы пожелать, чтобы это солнце закатилось.

Но Габриель умиляла их. Беременность именно сегодня накладывала такой отпечаток на ее лицо, что оно вызывало трепет неясности и страха не только у ее повелителя. Оно было очень бледно, очень тонко, от воспетого двойного подбородка осталась узенькая полоска, и кожа сделалась прозрачна, точно жемчуг. Только глаза стали больше, их лихорадочный блеск заставлял забыть и простить жемчужный отлив белой груди, сверкающие на ней рубины и настоящие жемчуга в оправе чеканного золота. Мужчины подле Габриели притихли, зато сочувственно бились сердца дам, через стол ласково ободрявших беременную. Когда хозяйке следовало сделать распоряжение, сестра короля вместо нее знаком приказывала подать блюдо или графин. Один из сидевших поодаль кавалеров, – это был господин де Рони, – вскочил со стула и, опередив слугу, поднял ложку: она выпала из нетвердой руки Габриели.

После того как празднество приняло такой оборот и из пиршества в честь коронованного короля превратилось в чествование его бесценной повелительницы, Генрих, не долго раздумывая, объявил во всеуслышание, что намерен испросить у папы расторжение своего брака, дабы жениться на мадам де Лианкур. Консистория разведет ее с мужем, который сам признает, что пострадал от удара копытом. Послышался смех, который Генрих принял за одобрение, и тогда он пошел еще дальше, сказав, что вскоре его бесценная госпожа получит звание и титул маркизы. Мало того, он поднял бокал в честь госпожи маркизы и при этом так долго и вдумчиво смотрел на нее, широко раскрыв глаза и вскинув брови, что всякому стало ясно: путь ее ведет выше. Предел возвышению прелестной Габриели

настанет лишь тогда, когда она вместе с ним украсит королевский трон. Она будет нашей королевой.

Общее одобрение длилось недолго. И он сам верил в него, только пока был счастлив и растроган. Ведь каждому известно, какой должна быть королева Франции: прежде всего чужестранкой, которая неведома здесь никому и ни над кем не возвысилась – чем бывают уязвлены не одни дамы. Господин де Рони с этой самой минуты начинает оказывать такое же решительное сопротивление, с каким Габриели придется неизменно сталкиваться и у других, пока она живет и властвует над королем. Но сейчас вражда еще щадит Габриель. Ведь не бессмертна же она, быть может, ей не пережить родов, вид ее предвещает дурное и вызывает к ней жалость. А кроме того, все знают короля и его обещания жениться. Если бы он хранил их про себя, как до сих пор, они, пожалуй, были бы опасны. Отглашено – значит, нарушено. Словом, так или иначе прекрасной д'Эстре позавидовать нельзя.

Поэтому к Габриели было проявлено много сочувствия и почтения, когда все общество, вслед за королем, поднялось из-за стола. Генрих подвел к ней принцессу Бурбонскую и принцессу Конде; те обняли и поцеловали Габриель. И все остальные женщины, приближаясь к возлюбленной короля, спешили уверить ее, что она прелестней, чем всегда. И каждая была при этом искренна и не испытывала ни вражды, ни зависти, их роднило с ней ее положение; и еще роднило общечеловеческое чувство, ибо возможно, что к празднеству ради нее присоединилась незримая гостья, чье присутствие всех заставляло содрогаться. Кто не восхваляет пышной красоты, которая кичится нетленностью, как произведение искусства? А перед красотой, которую подозревают в союзе со смертью, всякий преклонится.

Под конец двери залы растворились, сейчас же за ними начиналась лестница. Некоторые из дворян взяли у слуг подсвечники и выстроились по обе стороны на ступенях. Впереди чествуемой четы шли принцессы королевского дома, на расстоянии следовали другие дамы и кавалеры. Посредине Генрих вел на поднятой руке свою Габриель; им светили, они подымались. «Торжественная церемония!» – ощущал Генрих, молодой и окрыленный. Торжественность была нарушена или, пожалуй, даже усилена тем, что больная почувствовала себя дурно, и возлюбленному пришлось подхватить ее и почти нести наверх; они опередили сопровождающих, последние огни оставили где-то внизу и сами погрузились в

смутное мерцание, подобное туману в слабом лунном свете, и скрылись из виду, словно растаяли.

Дама в маске

Париж давным-давно готов был впустить короля. Даже герцог де Фериа [46. – Фериа Лоренцо Суарес де Фигероа, герцог де (1550–1607), – испанский государственный деятель и дипломат. Был послом Филиппа II во Франции и поддерживал Лигу в ее борьбе против Генриха IV.], который все еще состоял наместником его католического величества в Париже, и тот не верил в существование испанской партии. Опасаться можно было разве что упорства отдельных неисправимых упрямцев и страха других, не рассчитывавших на прощение. Вожди Лиги с Майенном во главе постарались на всякий случай понадежней укрыться вместе со своим движимым имуществом. А ни один из шестнадцати начальников столичных округов не упустил случая втайне заверить короля в своей преданности; пресловутый портной лишь забежал вперед в ту пору, когда враги короля повесили королевского верховного судью. Конец зверствам! Проповедники, с амвона призывавшие к зверствам, больше не имели успеха у народа, скорее они сами были под угрозой. Народ тем временем настроился снисходительно и миролюбиво и готов был даже творить насилие, дабы могло восторжествовать добро. Вследствие этого возникали бунты; правда, их подавляли, но больше для виду. Какой же властитель, хотя бы только по имени, добровольно сложит полномочия и уберется восвояси, пока у него есть оружие – пускай одно оружие, даже без рук. Испанский военачальник располагал четырьмя тысячами чужеземных солдат, которых хватало только на охрану валов и ворот.

Королю не удастся так просто войти в город. С четырьмя тысячами солдат сладить легко – труднее с добротой народа, ожидающего доброго короля. Король разрешил парижанам добывать припасы за городскими стенами и есть досыта; как же может он теперь обстреливать их дома и посреди резни ворваться в свою столицу? Ему этот путь закрыт. Он должен действовать в согласии со своей славой в народе и овладеть властью, как подобает народнейшему королю. Генрих потратил несколько

недель на то, чтобы нарочито раздуть молву о своей доступности. Nihil est tam populare quam bonitas. Как-то раз он снова заблудился на охоте, что всегда создает удобные случаи; в два часа ночи добрался один до какого-то дома — это оказался отнюдь не разбойничий вертеп. Дом принадлежал одному из чиновников его финансового ведомства, что не было для него полной неожиданностью: он хорошо изучил свое королевство. Но девица, которая вышла к нему, его не признала, он попросту сказал, кто он такой, поел немного хлеба с маслом и улегся не в постель, а на пол перед очагом, утром же пожелал прежде всего прослушать мессу: за три мили пришлось везти священника. Может ли король быть более скромным и обращенный еретик более благочестив!

Многие никак этому не верили, например, некий торговец свиньями, с которым король сидел за одним столом в сельском трактире, — опять заблудился где-то. Посетители трактира не знали, кто он такой, или, быть может, только прикидывались; когда король пускается на хитрость, крестьянин всегда перехитрит его. Как бы то ни было, торговец свиньями отважился наговорить ему разных дерзостей под тем предлогом, что не узнал его. Королю оставалось только с подобающей помпой покинуть сцену. Он выглянул в окно, тотчас откуда-то подскружили его придворные и остановились перед трактиром: должно быть, разыскивали заблудившегося короля. Селяне всполошились: как же так! Стало быть, мы королю выложили всю правду? А он стерпел. Хлопнул по плечу торговца свиньями, дал милостивый ответ, и тому все сошло безнаказанно. Но потом селяне долго толковали между собой о Париже и о том, что городские жители плохо знают короля: иначе бы они его впустили. Все равно этого ловкача не одолеешь.

Такой же урок преподавал сам Генрих одной даме в маске. Она прибыла нарочно из Парижа в Сен-Дени, где он жил, и по секрету сообщила ему, что делают в городе, дабы помочь его делу; при этом говорила она так тихо, что в соседнюю комнату при открытых дверях не долетало ни словечка. А там, кроме приближенных короля, были еще гости из Парижа, как бы случайно приехавшие сегодня. Никто из присутствующих не заблуждался насчет дамы в маске. Каждый говорил: и это якобы обыкновенная благомыслящая горожанка? Тогда она прежде всего ничего не может знать; и затем, разве станет король, который боится ножа, вести тайную беседу с особой, даже не показывающей ему лица? Весьма неправдоподобно, надо признаться.

Но тут раздался голос короля, ничуть не приглушенный, — наоборот, его надлежало слышать всем, по возможности даже в самом Париже. Король поручал даме в маске довести до сведения тамошних его добрых друзей: он стоит здесь с большим войском и не собирается отступить, пока не войдет в город, и притом без всякого насилия. Только пусть не верят герцогу Майенну. Мира хочет один их законный король и готов дорого заплатить за примирение со своей столицей. Он напомнил даме в маске о всех других городах, которые, себе во благо, открыли перед ним ворота. Десять лет не будет он взимать налоги со своих парижан, мало того — он дарует дворянство всем городским советникам; его добрым друзьям, которые содействовали ему, навсегда будет обеспечено счастье и довольство.

— А кто предал меня, того пусть судит Бог.

Все это он излагал даме в маске, словно не она одна была с ним в комнате, а целый народ, которому он хотел верить, все равно, показывал ли ему тот истинное свое лицо или нет. Дама удалилась, так и не подняв маски. Закутавшись в плащ, скрывавший ее всю, она прошла сквозь толпу придворных. Те проводили ее до самой кареты. Двое из них остались в стороне, даже не заглянули в карету и не обменялись ни единым взглядом. Один был Агриппа д'Обинье, другой — некий господин де Сен-Люк, на службе короля.

Тем временем прибыл запыленный всадник, подоспел как раз к уходу дамы, которая удостоилась доверия короля. Человек в кожаном колете полагал, должно быть, что и он заслужил такое же доверие. Он вошел без церемоний. Посреди пустой залы стоял король, отнюдь не горделивый и не самоуверенный, глядел в пол и поднял голову, лишь услышав топот тяжелых сапог.

— Пастор Дамур! — сказал он. — Вас-то мне и недоставало именно в эту минуту.

— Сир! Да сбудется то, чего вы желаете. К вам взывает суровый голос былых времен.

— В нужную минуту, — сказал Генрих.

— Сир! Вы правы, ибо я видел, как ускользнула та особа, даже не открыв лица. Лишь вы видели его, и вам одному известно, не был ли это дьявол.

— С ним я не стану связываться. Лучше умереть. Лучше лишиться всякой власти.

Пастор хлопнул себя по ляжкам и хрипло засмеялся.

— Власти! Ради власти вы отреклись от своей веры; что значит после этого умереть? Ради власти вы теперь на каждом шагу разыгрываете комедию. Люди уже толкуют о ваших хитростях и посмеиваются, порой — двусмысленно; не желал бы я быть предметом таких толков и смешков.

— Разве я не добился успеха, пастор?

— В этом вся суть. Вы улавливаете людей. Не хотелось бы мне поймать так даже пескаря.

Внезапно пастор выпрямился, снял шляпу, что позабыл сделать раньше, и запел, — в самом деле начал петь, как некогда в сражении.

Явись, господь, и дрогнет враг!
Его поглотит вечный мрак.
Суровым будет мщенье.

Голос гремел на всю залу. Пастор Дамур поднял правую руку и выставил ногу. Снова в бой, снова впереди старых гугенотов, мертвецы шагают в строю, все подхватывают псалом — и несется псалом освобождения, неприятель в страхе отступает. Победа борцов за веру.

Всем, кто клянет и гонит нас,
Погибель в этот грозный час
Судило провиденье.

Голос гремел на всю залу. Король подал знак, псалом оборвался. Пастор не только опустил руку, но и голова его поникла на грудь. Псалом заставил его забыть. Тут забылся и Генрих; оба умолкли, мысленно созерцая прежние деяния, которые были честны и бесхитростны.

Затем Генрих взял руку пастора и заговорил:

— Борода и волосы у вас поседели, а поглядите на мои. На лице у вас не только суровость, но и скорбь. А теперь я покажу вам свое лицо. Разве оно весело? И все же, вам я могу сознаться, захват власти порой превращается в потеху. — Он повторил: — В потеху, — и продолжал быстро: — Люди заслуживают только такого захвата власти, и власть требует, чтобы ее захватывали именно так.

— А вы самый подходящий для этого человек, — заключил старик. Король мягко

возразил ему:

— Каждый следует своему назначению. Потому я и даю вам излить душу до конца,
пастор Дамур.

— Вы должны дать излиться до конца гневу Божию, — резко сказал старик, на лбу у него вздулись вены.

— Да, должен, — подтвердил король, все еще мягко; но пастору пора было изменить тон. Он понял это, кровь отхлынула у него от висков.

— Да простит ваше величество смиренному рабу Габриелю Дамуру, что он осмелился предстать перед вами.

Тут Генрих раскрыл объятия:

— Теперь я узнаю вас. Вот каким хочу я вас видеть: чтобы гнев Божий руководил вами на всех путях и чтобы верность в вашем сердце была несокрушима.

Он ждал, раскрыв объятия. Это был решающий миг для всех его протестантов. Укоры еще могут быть отведены, он хочет верить в это. Недоверие в конечном счете скорее во вред, чем на пользу королям. Хорошо, если бы это поняли и старые друзья, после того как их предали и отняли у них прежние права. В раскрытые объятия не бросился никто. Генрих опустил руки, но сказал еще:

— Пастор, то, что я сделаю, пойдет на благо и вам. Вы получите должное, когда я завуюю власть.

— Сир! Простите смиренному Габриелю Дамуру, он не верит вам.

Генрих вздохнул. Он предложил примирительно:

— Тогда послушайте веселый рассказ о даме в маске. Рассказ бесспорно правдив, ибо хвастать мне тут нечем.

Но пастор уже приблизился к двери.

— Чего же вы хотите? — крикнул ему вслед Генрих. — Чтобы я из пушек разнес свою столицу? Чтобы я силой обратил всех в протестантскую веру? По-вашему, мне до конца дней суждено воевать и быть бесчеловечным?

— Сир! Отпустите смиренного Габриеля Дамура. — Это был уже не укор и не гнев Божий, а совсем иное. Тот, кто там, вдали, на большом расстоянии от короля, держался за ручку двери, казался много меньше, и не только из-за расстояния, а скорее от того, что весь он поник.

— Я хочу покаяться перед вами, Габриель Дамур, — сказал издали король.

— Сир! Не мне, а только вашей совести должна быть открыта правда. —
Сказано
это было жестко, но негромко. Генрих понял его слова лишь потому, что и
сам
себе говорил то же. Он отвернулся. Когда он снова взглянул в ту сторону,
он был
один.

Тогда он встал лицом к стене и заставил себя до конца осознать, что то
было
прощание с его протестантами. О! Прощание не на всю жизнь, он им еще
покажет,
чего он хотел, кем остался. Но при настоящем положении вещей ему не верил
никто — остальные не больше, чем этот. «А потому сугубо берегись
изменников! —
внушал себе Генрих. — Никто не изменяет скорее, чем старые друзья». Он
установился в стену и вызвал перед своим мысленным взором всех, кто изменит
ему.
Странно, образ Морнея возник перед ним, а ведь в Морнее он был уверен.
Морней,
или добродетель, будет и впредь служить ему верой и правдой. Только не
требуя,
чтобы он одобрил твой способ захвата власти и ради тебя поступился хоть
частицей своей добродетели. Это сильно уязвляло короля, ибо измена и
изменники
стали ему в ту пору удобны и привычны. Ему было неприятно смотреть на
возникший
перед ним сократовский лик своего Морнея — он поспешил стереть его и
вызвал
другой.

— Ни единого друга: мы одиноки в хитроумном и тяжком деле захвата власти.
Но
приятелей и собутыльников у нас довольно. Мы принимаем дам в маске.
Хорошо
еще, что пастор не захотел узнать, кто была маска, это навсегда должно
остаться
тайной. Кто бы поверил, что она родная дочь парижского губернатора и я
исподтишка заигрываю с ее отцом. Во что превращаются люди! Ведь его я
прежде
считал честным. Мне претит добродетель Морнея. А предательство Бриссака
претит
мне еще больше. Уже его предшественник был заподозрен в сношениях со
мною.
Майенн его сместил и назначил графа Бриссака как раз из-за его скудоумия.
Если
таково скудоумие, значит, я и сам не понятливей и не рассудительней
малого
ребенка. Ведь этот человек соблазняет меня взять мою столицу обманом: он
гадок
мне.

Все это Генрих говорил в стену – а между тем он привык обдумывать свои дела на ходу, размашисто шагая и подставив лоб ветру. В дверь скреблись, это вспугнуло его затаенное тоскливое раздумье. Появилось два радостных вестника: разве можно не откликнуться на их настроение? Первый – его славный Агриппа – был явно начинен новостями и не в силах хранить их про себя. Молодой господин де Сен-Люк был терпеливее: ему помогало его нескрываемое самодовольство. Он усердствовал в соблюдении этикета, вложил много грации и даже скромности в свой почтительнейший поклон королю, после чего уступил место господину д'Обинье.

– Мы замешкались, – сказал Агриппа, – потому что нам пришлось убогатворить и спровадить всех слушателей: после отъезда дамы в маске они были уже ни к чему.

– И даже некстати, – подтвердил Генрих. – После ее отъезда меня посетил еще один гость. Он дал краткое, но внушительное представление, отнюдь не для третьих лиц.

Агриппа не стал спрашивать о посетителе.

– Сир! Вы даже и не представляете себе, кто эта маска.

– Вы поручились мне, что она не опасна. Я не любопытен.

– Что бы вы подумали, сир, если бы вам сказали, что я побывал в Париже?

– Ты? Быть не может.

– Я самый. Впрочем, тогда я был в обличье старухи крестьянки и через ворота проехал на возу с капустой.

– Невообразимо. И ты видел губернатора?

– Бриссак собственной персоной покупал у меня лук на базаре. При этом мы столкнулись, что ради сохранности королевской особы и королевской власти мадам де Сен-Люк, да, собственная дочь губернатора Бриссака, должна выехать к вам и получить от вас указания. Неплохой сюрприз?

– Я не могу прийти в себя от изумления, – сказал Генрих, которому сам Бриссак сообщил о предстоящем приезде мадам де Сен-Люк. Но у всякого должна быть хоть какая-нибудь тайна от другого. Чем сложнее роль, тем интересней

кажется она. «Totus mundus exercet histrionem, почему мне быть исключением?»

Моему Агриппе завоевание Парижа не доставило бы удовольствия, если бы ему не пришлось разыграть роль крестьянки. Он так увлечен этой игрой, что страдания бедняги Габриеля Дамура ему просто не понятны – но кто знает, какую роль взял на себя бедняга Габриель Дамур? Выступление его было поистине библейским».

Мысли эти текли сами собой и не мешали Генриху расспрашивать своего старого товарища, притом с такой детской обстоятельностью, что молодой дворянин за спиной Агриппы прикусил губу, боясь рассмеяться. Вернее делал вид, будто удерживается от смеха, желая наглядно показать королю, что, во-первых, господин де Сен-Люк сознает свое превосходство над человеком старого поколения и, во-вторых, разделяет деликатное намерение короля не разочаровывать того. Генриху не понравилась мимика молодого кавалера; а потому он обратился уже прямо к нему:

– Мадам де Сен-Люк была превосходно замаскирована, вы сами, вероятно, не узнали ее?

Если король полагал, что молодой кавалер, в свою очередь, пожелает блеснуть тщеславной прозорливостью, он заблуждался.

– Вы правы, сир, – подтвердил Сен-Люк, – я не узнал ее.

– Вы лжете, – сказал Генрих. – Вы лжете, чтобы чем-нибудь превзойти нас, – взгляд на Агриппу, – хотя бы скромностью.

– Сир! Вы моралист.

– Особенно сегодня, – сказал Генрих. – А потому и желаю понять, чего ради господин де Бриссак разыгрывает изменника. Ну? Вы должны знать своего тестя не только с тех сторон, с каких знаю я, а сторон у него, надо полагать, не мало.

При прошлом дворе он прикидывался передо мной простаком и собирал картины. Я был в союзе с королем, моим предшественником. Бриссак тогда же мог остаться при мне, и ума бы у него хватило сделать правильный выбор. Зачем было ему переходить к испанцам, раз в конце концов он их обманывает и предаёт мне?

– Ваше величество оказывает мне высокую честь откровенностью, которая, будучи неправильно истолкована, может повредить вашему делу.

Вот наконец умный и смелый ответ, Генрих сразу стал сговорчивее. Он бросил вскользь:

— Бриссаку поздно отступать, он дал слишком много козырей мне в руки. — А затем взглянул прямо в глаза молодому человеку, ожидая его объяснений. Тот откашлялся, оглянулся, ища поддержки, но сказал только, что ищет стул.

— Чтобы думать, мне нужно сидеть.

— А мне бегать. Но тут не я, а вы должны думать: сядем, — решил Генрих.

Агриппа тоже подвинул себе стул, недоумевая, о чем тут можно говорить всерьез и даже торжественно. «Неужто о Бриссаке? Держит себя не по-военному, простоват, но с хитрецей, покупает у мнимой крестьянки овощи, торгуется, уходит, возвращается и каждый раз бросает несколько слов под сурдинку. Да об этом и поминать не стоит, разве только для смеха».

— Господин де Бриссак — серьезная загадка для всякого моралиста, — утверждал тем временем молодой Сен-Лжк горячо и самодовольно, так как чувствовал здесь почву под ногами. — Когда я приехал свататься к его дочери и он ввел ее в комнату, она была в маске, как явилась и к вам. Но я все-таки узнал, что это не она. По его мнению, никто не умеет по-настоящему видеть, кроме него самого — знатока картин.

— Загадка действительно серьезная, — сказал Генрих.

— Он изучил множество картин, не говоря о книгах.

— Он ведет себя не по-солдатски, — вставил Агриппа.

— Это еще не все. — Сен-Лжк пошарил руками, развернул что-то невидимое. При этом бросилось в глаза, что одну из перчаток, левую, он не снял.

— Господин де Бриссак собирает красивые вещи не для того, чтобы просто вешать их на стены или расставлять по витринам: он неустанно обогащает свой ум новыми образами и откровениями. Он проникается ими. Он воплощает их в жизнь.

— И от него самого ничего не остается. — Генрих понял. Но Сен-Лжк пояснил:

— Он не разыгрывает изменника. Сир! Он стал им, развивая в себе вероломство и усердно практикуясь в нем.

— А гуманистом он себя тоже называет? — спросил Агриппа д'Обинье и вскочил со стула. — Мы-то по-настоящему, по-честному становились гуманистами. Я сочинял стихи на скаку и в бою. Небесные видения являлись мне, когда я, как истый червь земной, босиком рыл окопы, готовя сражение воинственному гуманисту, которому служил.

Генрих произнес в пространство:

— Это один способ. Есть второй, более сложный: он лишает определенности и обезличивает человека. — Обратясь к Сен-Люку, король сказал с коротким смешком: — Надо признать полезным метод графа Бриссака собирать картины и читать древних авторов, раз этот метод побуждает его весьма хитроумно сдать мне мою столицу. А испанец Фериа ни в чем не подозревает его?

— Откуда же? Господин де Бриссак сам предложил герцогу Фериа заделать большинство ворот для лучшей защиты городских стен. Фериа не воин, он и не заметит, что у заделанных ворот снята стража, дабы ваше величество могли проникнуть именно через них. Ведь на самом деле отверстия будут только забиты землей.

— Это обнаружится раньше времени.

— На то мой хитрый тесть и в союзе со старшиной купечества, с городскими советниками и со всем светом. Он настолько преуспел, что люди спрашивают, кто же, собственно, обманут, кроме Фериа, а тот радуется простодушию своего губернатора.

— И каждый, должно быть, рассчитал, какую выгоду извлечет из этого дела.

— Господин де Бриссак надеется, что милостью вашего величества будет назначен маршалом Франции.

— Вот потеха, — сказал Генрих, сперва серьезно. Потом повторил это слово, и тут ему необычайно ясно представился весь гнусный комизм положения. Вот он сам — король, который боролся весь свой век. Собственными руками разил врага, собственной волей хранил верность себе — весь свой век. За свою совесть и королевство боролся весь свой век; и все было бы тщетно без чудака коллекционера и предателя по глупости. Смех душил короля, но он подавил его, даже посинев при этом. Слишком гадким показался ему смех, который рвался наружу.

Он встал с места и подошел к окну. Сен-Люк выждал минуту, чтобы неслышно

последовать за ним; по-видимому, он в самом деле хорошо разбирался в движениях человеческой души. Он позволил себе заговорить; но, чтобы унижить себя, он выражался до крайности манерно и даже пришепetyвал. Королю он действительно внушал презрение, но ему не хотелось, чтобы таков и был умысел Сен-Люка. Не поворачивая головы, он повторил все, что тот ему докладывал.

— Итак, значит, чудак отдал вышить шарф. Архангел Гавриил, сиречь Габриель, на белом шелку, весьма остроумно и уместно. Этот шарф будет поднесен мне моим маршалом в день моего въезда, — Бог весть когда, — закончил он, представив себе всю неправдоподобность такой картины.

— Сегодня у нас четырнадцатое. Это будет ровно через неделю, — пролепетал господин де Сен-Люк. Генрих как услышал — круто повернулся.

— Вы знаете больше, чем вам полагается, или же вы виделись с губернатором. Вы тоже переодетым побывали в Париже?

— Отнюдь нет. Однако здесь, к сведению вашего величества, записаны все подробности заговора. — С этими словами юноша достал из перчатки, из левой, которую не снял, какую-то бумагу. Генрих выхватил ее у него. — Кто дал вам ее?

— Сам Бриссак.

— Значит, он здесь.

— Или был здесь — впрочем, с разрешения герцога Фериа. Он явился с двумя нотариусами уладить со мной неотложные семейные дела. Я покинул их, едва получил бумагу. — Последнее было сказано без всякой робости, не чувствовалось также намерения поразить слушателя. Вот юноша, который всегда попадает в цель: больше незачем терять с ним время.

— Коня! — крикнул Генрих в окно.

— Сир! Вы все равно опоздали.

Генрих был уже на улице, в седле, и мчался по дороге в Париж. Вскоре он увидел, что впереди во всю ширину дороги покачивается огромная карета; миновать ее не было возможности. Оставалось только проехать лесом и ждать между деревьями приближения тяжеловесной колымаги. Передняя стенка ее была

застеклена, так что Генрих сразу увидел нотариусов: их оказалось трое. Все, как один, в черном платье и остроконечных шляпах, лица сухощавые, все довольно преклонных лет и утомлены путешествием, так что никто из них явно не был склонен обращать внимание на непрошенных всадников. Напротив, они закрыли глаза, раскрыли рты и стали совсем на одно лицо. Генрих хотел крикнуть, но раздумал, и наваждение так бы и прогромыхало мимо. Но в последнюю минуту один из нотариусов пошевелил рукой – вывернул ее ладонью кверху, потом медленно, очень медленно поднял к носу того, что дремал напротив, и хват – поймал муху. Ах, как просияло простоватое с хитрецей лицо!

Муха изловлена на чужом носу, под взглядом короля, которому этот самый мухолов должен сдать его столицу. Теперь Генрих все понял и потому именно не стал задерживать карету. Он не на шутку задумался, в своем ли тот уме.

«Люди из сил выбиваются, чтобы действовать наперекор разуму и всячески избегать прямых путей». Вот что занимало его мысли, когда он шагом ехал обратно. В памяти его накопилось немало примеров помрачения человеческого разума, начиная с Варфоломеевской ночи, и дальше в том же роде. Его долг изменить именно это, иначе не для чего быть королем. «Они не перестанут чинить тебе препятствия, Генрих. Ловить мух, в виде условного знака, и посылать к тебе дам в маске для тайного сговора: приходится быть с ними заодно».

Захват власти

Все произошло, как было условлено. В осмотрительности никто не мог бы сравниться с Бриссаком. Он сказал испанцам, чтобы они всецело доверились ему и сидели спокойно, иначе изменники всполошатся. Да будет им известно, что в городе есть изменники, которые могут догадаться, что Бриссак замыслил схватить их. Таким образом гордые испанцы, по небрежению, отдались на волю судьбы.

Генрих усердно играл в руку своему партнеру. Правда, он по ошибке чуть не взял его в плен. Двадцать второго, в четыре часа утра, Бриссак пал духом, потому что королевских солдат нигде не было видно. Причиной тому оказался густой туман, ибо едва Бриссак вышел за городские стены, как наткнулся на них. По счастью, солдатами командовал его зять, господин де Сен-Люк, так что все мигом уладилось.

Двое запертых ворот были раскрыты, и, как раз когда начался утренний

перезвон колоколов, король проник в свою столицу. Дворянам его не терпелось: в полном вооружении, наскоком взяли они последние препятствия. Сам он упер руку в бок, слегка склонил голову к плечу и сделал вид, будто возвращается с охоты и отлучился всего на несколько часов. А отсутствовал он восемнадцать лет.

Первый, на кого он наткнулся, был Бриссак, с истинно ангельским лицом. Подобную чистоту черт и помыслов встретишь не часто, и на человеческих лицах она редко бывает запечатлена. Преклонив колено в самую грязь, закатив взор, Бриссак протянул королю белый шарф. Король тотчас надел ему на грудь свой собственный, обнял его и назвал «господин маршал».

Бриссак отблагодарил его добрым советом: на всякий случай надеть панцирь. Предосторожность не мешает. Конечно, красиво пройти сквозь толпу в простом колете, как, по-видимому, угодно его величеству. Генрих испугался. Нож, — о нем он позабыл. Но Бриссак имел в виду скопление народа, нарочитую тесноту и толчею, которую легко устроить в таком большом городе и которая бывает опасна, так что даже король может затеряться в ней и попасть в руки врагов.

Генрих возразил, что они его ни в коем случае не поймают. Да они и не стремятся к тому.

— Таких птиц, как я, никому не охота держать в клетке.

Однако он покорился и вступил в свою столицу в панцире, прикрытом плащом. Вместо шляпы с прекрасным белым султаном, сулящей мир, на нем был железный шлем. Этот наряд умалил его торжество, чему способствовали также дождь и безлюдие столицы.

В такую рань на улицах не было никого. Очень немногие выглядывали из окон; королевские войска, разделившись на отряды, дорогой рассеяли кучку испанцев, прикончили или побросали в воду тридцать ландскнехтов; вот, собственно, и все. Господин де Сен-Люк со своим отрядом натолкнулся на горожан, пытавшихся защищать укрепленное здание; король же на своем пути не встретил никаких препятствий. Он послал сообщить герцогу Фериа: пусть покинет город, и дело с концом. Второй гонец отправился в церковь Нотр-Дам с известием, что идет король.

Когда парижане проснулись и встали, из дома в дом передавалась неправдоподобная весть: король в городе. Они страшно перепугались. Первая мысль

их была о погромах и резне, хотя многие из них видели его вблизи, когда он отрекался от своей веры в Сен-Дени или же во время коронации в Шартре, и предались ему телом и душой. Нужды нет. Одно дело – блеск праздничного дня, другое дело – час победы, которому не миновать быть кровавым.

У победителя и в мыслях этого не было, страх народа перед ним он упустил из виду. Зато новый маршал Бриссак поспешил разослать жандармов на особо рослых конях, чтобы, во-первых, громогласно возвестить милость и прощение, а затем объявить, что королю уже принадлежит власть во всем городе. Парижане могут спокойно сидеть по домам. После этого они, наоборот, высыпали на улицы, приветствуя белые перевязи французов, трубачей короля, а его самого на плечах внесли в собор.

Звонили все колокола Нотр-Дам, и у каждого был свой голос, по которому его узнавали и называли. Впереди короля шли сто французских дворян, значит, это был безусловно настоящий король. Но тот же древний собор еще недавно видел процессии верующих, молившихся святой Женевьеве, чтобы она спасла от него свой город Париж. Вспомнили об этом другие – архиепископ, который по уговору держал речь, кардинал, который не показывался. Только народ сразу забыл все: вернее, единицы, составлявшие толпу, хранили у себя в памяти очень многое. Но весь народ в целом, как ни в чем не бывало, валил в церковь, ликовал, был счастлив и исполнен благоговения.

Королю надо было отвечать, он отбросил все, что не относилось к данной минуте; и тем не менее голова его была как в тумане. Раньше он яснее представлял себе ход событий и в мыслях рисовал себе предстоящее много радостнее. Он ответил архиепископу:

– Цель моя – оберегать и облегчать жизнь моего народа, за это я отдам свою жизнь до последней капли крови! – Затем поклялся в верности католической религии, призвав в свидетели Бога и Пресвятую Деву. Но голова по-прежнему была как в тумане. Ему казалось, будто его здесь нет и будто другие тоже одна видимость. Того, что происходило на самом деле, было слишком мало. Слишком долго он ждал этого.

«Париж, Париж – мой, и все признают, что он мой. На картине, вон в той

часовне, нарисован я в виде дьявола. Я вижу эту картину, люди замечают, что я вижу, и убирают ее». Он стоял, преклонив колени, на клиросе и слушал мессу.

Потом, когда он вышел на мощеную площадь, действительность на миг исчезла для него, и перед его внутренним взором возник деревянный помост, завешенный коврами и стоявший на этом самом месте в незапамятные времена. Здесь он венчался с принцессой Валуа.

Взяв за мерило фасад храма, он представил себе размер помоста. Открытый взорам, среди цвета королевства, с радостных высот смотрел он тогда на праздничную толпу, словно легкая жизнь дана ему в удел и другой она быть не может. Но лишь тут началась школа несчастья, он познал немощь мысли и сроднился с тяготами жизни. А теперь — Париж. «Но что означает это теперь? То, что я должен взвалить на себя еще больше тягот, неустанно познавать, каждое бедствие обращать во благо, а Париж — его мне придется завоевывать до конца моих дней».

В течение той минуты, что он провел наедине с собой на площади перед Нотр-Дам, за это краткое отсутствие короля его солдаты успели отогнать народ до самых краев площади. Придя в себя, он испугался.

— Я вижу, — сказал король, — этот несчастный народ запуган произволом. — Тем самым он хотел задним числом разделить с этим народом свою собственную долгую борьбу. Он приказал вновь допустить толпу к себе. — Они истосковались по настоящему королю, — заметил он для того, чтобы показать, как много он сделал для них и сколько претерпел.

Он держался с важностью, что неизбежно в такие дни. Уже сегодня поутру на полутемной улице он едва не поднял руку на солдата за то лишь, что солдат хотел взять хлеб, ничего не заплатив. Тот и не представлял себе, что можно поступить иначе. Но король был в своем Париже. Позволить грабить в своем Париже! Даже пекарю это казалось естественным. В угловом доме у окна стоял человек и, не снимая шляпы, с вызовом смотрел на короля. Должно быть, он полагал, что терять ему нечего, он все равно занесен в черный список. Люди короля хотели броситься в дом и вытащить наглеца, но король остановил их, чем, по общему мнению, нарушил принятый порядок.

На пути из Нотр-Дам в Луврский дворец король умилялся каждому

приветственному возгласу; но втайне он был смущен и раздражен неподобающей безмятежностью приветствовавших. Он открыто шагал по столице, которая наконец-то была в его власти, и знал, что непременно должен показать ей эту власть и отнюдь не довольствоваться одиночными приветственными возгласами, время от времени раздававшимися из той или другой кучки людей. Но в тысячу раз больше было тех, что не отрывались от обычных занятий на кухне и в лавке и разве что говорили между делом:

— Очень разважничался король оттого, что попал в Париж? Ничего, скоро утихомирится.

В некоем провинциальном городе, под названием Оз, в незапамятные времена молодой король Наваррский пировал на базарной площади с бедняками и богачами, которые сперва опасались, что он перебьет их, потому что они отказались добровольно открыть ему ворота. А он ел вместе с ними. Благодаря ему они узнали, что существует такое новое понятие — «человечность», и были чрезвычайно удивлены. Ведь мы остаемся неизменны весь свой век, и Генриху хотелось, как ни велика была его столица, обнять ее всю целиком и расцеловать в обе щеки. Но между Озом и Парижем на всем пути сквозь десятилетия стоял двойной ряд латников — воплощение многократного опыта, и потому короля трогал и вместе с тем раздражал каждый приветственный возглас здесь, между Нотр-Дам и Лувром. В сущности, он ожидал стычек, и действительно без них дело не обошлось.

Какой-то священник, вооруженный протазаном, возмущал против него народ. Старый убийца, еще из времен Варфоломеевской ночи, до того бесновался, что упал, сломав свою деревянную ногу и ружье. Из окон целились в людей короля. Генрих сам наблюдал попытку соорудить баррикаду, это было похоже на настоящую жизнь, иначе он совсем бы сбился с пути. Стараниями своих врагов он нашел верный путь и благополучно добрался до Луврского дворца. Сидел за столом в большой галерее, обед был приготовлен, все придворные и слуги на местах, все имело такой вид и происходило так, словно его ждали в течение восемнадцати лет. Он ел, ни о чем не думал, избегал смотреть по сторонам; только повторил приказ, чтобы испанцы, если им дорога жизнь, к трем часам покинули город.

Герцог Фериа, наместник его католического величества, все еще не мог взять

это в толк, он по-прежнему занимал часть предместий. Генрих велел пригрозить ему, и Фериа, не будучи военным, в конце концов покорился. Он внял угрозам немногим раньше, чем парижские приверженцы Филиппа, обладатели его восьмидесяти тысяч пистолей; впрочем, деньги были растрачены, да и вера во властителя мира пришла к концу. Центр города от Нотр-Дам до Лувра был прочно во власти короля, но ближе к окраинам копошились довольно жалкие остатки бывшей Лиги. Это были бесноватые всех степеней и сословий, они размахивали оружием, напускали на себя устрашающий вид; часом позже они покажутся смешными, но покамест они все еще внушали страх и даже почтение, оттого что отчаянно отстаивали заведомо гиблое дело.

Что же произошло? Безоружная толпа народа встретила их на их же территории. Это были по большей части дети, они звонко выкрикали:

— Да здравствует король!

При виде толпы наступающие остановились. За детьми следовали конные герольды с трубами: они возвещали мир и прощение. Далее появились судебские чиновники, и перед ними бесноватые наконец сложили оружие. Они огляделись, увидели, что делать больше нечего, раз им идут навстречу, как всем другим людям, и протягивают им руку. Многие из них совсем растерялись, видя, как изменяется житейский опыт и не в силах сразу отрешиться от старых привычек. К чему теперь ярость, жестокость и крайне заносчивый взгляд на жизнь, когда дети и законоведы в решительную минуту подадут пример мужественного миролюбия. Некоторые из бесноватых тут же на месте поплатились жизнью, не выдержав чересчур стремительного перехода от безумия к разуму.

Из всего, что произошло сегодня, — а событий было немало, — король желал одного, желал настойчиво и страстно и сам хотел видеть это воочию. Он поднялся на башню ворот Сен-Дени и стал у окна. Три часа, сейчас они пойдут. Почему же не идут испанцы! Вот и они наконец! Они шагают тихо и шляпы держат в руках. Никто не говорит ни слова, глаза у всех опущены. Это были самые горделивые из смертных и если не себя самих, то державу свою считали бессмертной. Хотя они и

раньше теряли города, но ни из одного еще не удалялись, как отсюда, без борьбы, просто потому, что время их ушло и они покинуты собственным повелителем.

Дождь поливал их. Они не стибали спин; на тележках везли они свое имущество, которое было невелико, ибо они никогда не крали. Их многочисленные дети поспешно семенили, чуя беду, собаки их бежали повеся уши. Одна женщина крикнула с повозки:

— Покажите мне короля! — Долго глядела на него. Потом крикнула громким голосом: — Добрый король, великий король, молю Бога, чтобы он дал тебе счастья! — Вот какова была гордость испанской женщины.

В наглухо закрытой карете спешил прочь папский легат. Король хотел помахать ему вслед, но сам пока еще не понял, почему не поднялась у него рука для иронического жеста. Герцог Фериа, тощий и суровый, вышел из кареты, чтобы отдать, долг вежливости победителю. Он поклонился с достоинством и, размеренно шагая негнушимися ногами, прошел мимо Генриха, прежде чем тот успел вымолвить слово. Испанские солдаты вновь окружили карету герцога. Кроме них, войско составляли неаполитанцы, немецкие ландскнехты и валлоны, сокращенный перечень народов всемирной державы. Последние командиры сурово оглянулись на короля, когда он крикнул им вдогонку:

— Кланяйтесь вашему повелителю, но не вздумайте возвращаться! — Понизив голос, он добавил только для окружающих: — Желая ему выздороветь. — Это вызвало дружный смех.

Генрих сдерживал свою радость, боялся дать ей волю, он не был уверен в самом себе. «Если у нашей жизни есть цель — нам она неведома и достигнуть ее нельзя. Тем не менее мы стоим над городскими воротами, а испанцы удирают». С большим удовольствием чувствовал он, что ноги у него промокли. «Испанцам придется совершать весь долгий путь в облепленных грязью башмаках. Должно быть, ясная стояла погода, когда вы шествовали сюда с юга, и занимали мое королевство, и располагались в моей столице? Я был ребенком, когда впервые услышал, что на свете существуют враги и что мои враги — вы. Поглядите на мою седую бороду, нелегко пришлось мне из-за вас. Нелегко, когда я в это вдумаясь; но честный враг помог мне бездумно и радостно провести полжизни. Сегодня я получил

награду — за труд в десять раз больший, чем несут другие, но все же получил.
Прощайте, идите своим путем, честные враги!»

Взор его затуманился, спускаясь, он оступился. В Лувре его ждали дела, он сказал:

— Я охмелел от радости. О чем вы толкуете? — Долго шагал он в молчании по галерее, внезапно остановился, прошелся важно, не сгибая колен, и взмахнул воображаемой шляпой. Да, он осмелел исполненный достоинства и печали поклон герцога Фериа. Присутствующие поняли, кого он передразнивает, и не одобрили его. Он же до конца дня утверждал, что не знает, где находится. — Господин канцлер, — обратился он к другу госпожи Сурди, — могу я поверить, что нахожусь там, где нахожусь?

Он пришел в себя, когда несколько высокопоставленных членов Лиги поторопились засвидетельствовать ему почтение. Он отвечал резко и повернулся к ним спиной, из чего все опрометчиво решили, что каждому воздается по заслугам. Однако король позволил себе этот гневный порыв, потому что еще не обуздал свою радость. Несколько часов спустя Генрих принял такие изъявления покорности, которые никак не могли быть искренни; старейшины города принесли ему меду и свечей и посетовали на свою бедность, после чего он похвалил их, хотя бы за доброту сердечную. А сам прежде всего послал гонцов за папским легатом, чтобы воротить его. Чего ни потребует легат, пусть коленопреклонения, пусть земных поклонов, верный сын церкви готов на любое, самое невероятное, самоуничужение.

Однако священнослужитель в наглухо закрытой карете продолжал свой путь. О том, настигли ли его гонцы короля, в этот вечер в Луврском дворце ничего не узнали. Дворец стоит посреди столицы, сегодня король захватил в свои руки власть. Завтра весть прогремит на весь мир; сейчас в ночные часы она летит по дорогам, завтра сознание смертных проникнется величием короля, ибо полученная им награда за труды живительна для всех. Казалось бы, ничто не может устоять перед его именем, он всех более прославлен на земле; но под проливным дождем, по топким дорогам — а все они ведут в Рим — движется, удаляясь, наглухо закрытая карета.

Король Генрих у себя в Лувре видел ее перед глазами, крохотную, точно насекомое, но явственно различимую. И этот ползучий зверек окажется проворнее Фамы, хотя она крылата. Он поспеет повсюду, раньше имени короля. «Всякий раз, как при дворах и среди народов станут говорить: «Король Франции вошел в свою столицу и взял в руки власть», те же голоса возразят: «Рим отринул его». — Тогда все пойдет насмарку, и я в самом деле не буду находиться там, где нахожусь». По привычке он говорил прибывающим посетителям:

— Я безмерно рад, что нахожусь там, где нахожусь, — но теперь это были только слова.

Невольное подергивание плечом показывало теперь уже почти всем проходящим, что они докучают, и они исчезали один за другим. Король не мог бы припомнить, по каким залам или покоям своего Луврского дворца он бродил. Порой он останавливался, хватался за голову, словно осененный новой мыслью; но мысль была все та же. «Я выпустил карету и даже хотел помахать ей вслед. Рука у меня не поднялась; теперь только я знаю — почему».

— С какими вы вестями? — крикнул он испуганно, увидев перед собой нескольких нежданных посетителей, и оказался прав в своих предчувствиях: это были вестники бед. Они рассказали, что один неосторожный капуцин был убит в своем монастыре за то, что посоветовал монахам признать короля. Генрих пожал плечами, словно это была безделица.

Но тут же у него на глаза навернулись слезы. Правда, он ответил болтунам:

— Очень любезно со стороны моих врагов, что они сами себя казнят. Они избавляют меня от лишнего труда. — После чего и эти гости по движению его плеча заметили, что им пора удалиться. Он остановил одного из дворян и поручил ему немедленно отправиться к господам Гиз и Монпансье. Они были его противницами и теперь, наверно, трепетали перед его мезьей. Они могут успокоиться и положиться на его дружбу, велел он передать им. Под конец он остался один.

— Д'Арманьяк, куда все девались? — Первый камердинер появился из какого-то

укромного угла, сперва обошел все покои и подтвердил, что никого нет. Затем он высказал свое мнение в пространственной речи, ибо он давно наблюдал за своим господином; так поступал он всегда, а потому точно знал весь ход событий и нынешнего дня, того дня, когда господин его взял в свои руки власть.

Возврат

— Сир! Все посторонние лица удалились, и даже ваши приближенные покинули дворец по многим причинам, из которых я вижу три. Во-первых, вы никого не задерживали и не просили остаться, даже наоборот. Во-вторых, вы сегодня были на редкость радостны, а большинству недоступна ваша радость. Этого нельзя сказать про испанцев. Они одни вполне отдают вам должное, потому-то они и удалились прочь, как истинные, достойные вашего величества враги. Но те, что остались здесь, не смеют выставлять себя вашими врагами, это теперь не ко времени. От них ждут мгновенного превращения в ваших друзей и верноподданных; и не просто из страха перед наказанием, что было бы вполне понятно и согласно с человеческой природой. Нет, без всякого наказания, только под действием вашего непостижимого милосердия, сир, всяческим изменникам, убийцам, неистовым подстрекателям и присяжным лгунам надлежит сразу покориться и обратиться к истине. Сир! Вы лучше других понимаете, что никто из них этого не хочет, даже если бы и мог. Вот вам вторая причина, почему эти залы опустели.

— А третья? — спросил Генрих, так как Д'Арманьяк умолк и занялся каким-то делом. — Причин ведь было три?

— Есть и третья, — медленно повторил дворянин, после того как высек огонь и зажег несколько восковых свечей. — Хорошо, что ваши достопочтенные старейшины принесли свечи. Сир! А теперь посмотрите по сторонам. Вы за целый день не успели оглядеться в своем Луврском дворце.

Генрих послушался и тут только заметил, что все кругом опустошено.

Недаром

в самый разгар своей беспокойной и многоликой радости он упорно ощущал, будто

находится вовсе не там, где находится. Это Лувр — но опустошенный...

Впечатление

подтвердилось после того, как он и господин д'Арманьяк со свечами прошли вверх

и вниз по гулким лестницам и галереям. В комнате старой королевы Екатерины Медини, именовавшейся мадам Екатерина, первый его взгляд упал на ларь, на котором Марго, его Марго, имела обыкновение сидеть, зарывшись в большие кожаные фолианты. Он не замедлил убедиться, что ларь – только мираж, созданный неверным пламенем свечей и его воспоминаниями, а действительность – пустое место.

Мертвы, как и многие прежние обитатели дворца, были его покои. Вот сюда, в один из давних дней, вошли двое в черном, развернули на столе лист бумаги с изображением вскрытого черепа, а мать юноши Генриха только что умерла от яда, и та, кого он считал отравительницей, сидела против него. Стола уже нет, значит, нет и всего остального. Самое яркое прошлое бледнеет, когда не видно стола и ларя. Однако заглянем в другую комнату: там высокий камин все еще поддерживают мраморные фигуры Марса и Цереры работы мастера по имени Гужон. При виде их в памяти всплывает то, что некогда произошло здесь. Из призрачных глубин поднимается карточный стол и зловещая партия в карты. Кровь неиссякаемой струей сочилась тогда из-под карт, как знамение для игроков, и все они действительно умерли, и нет уже их карт, и нет уже их крови.

Вот тут, между гобеленами, которых теперь нет, с криком пробежал Карл Девятый и, чтоб не слышать воплей убиваемых, захлопнул вот это окно, на котором сейчас отсутствуют занавеси. От своей Варфоломеевской ночи искал прибежища в безумии. Он представлялся помешанным во время всего путешествия по дворцу, которое было путешествием по преисподней. Бесчисленные мертвецы.. «Друзья и враги, где вы? Куда делась Марго? Раз нет опрокинутых кресел и нет вышивки, желтой с фиолетовым, – она покрывала двух молодых мертвецов, которые лежали тут друг на друге, – значит, и ничего не было. Без декораций нет и действия; история теряет опору, когда исчезает соответствующая обстановка. Я рад, и мне не верится, что я нахожусь там, где нахожусь», – пробежала в мозгу одинокого человека заученная мысль, когда он, держа перед собой огарок свечи, бродил все медленней, все тише, вернее, крался вдоль стен.

Единственный живой его спутник отправился в старый двор, называемый Луврским

колодцем, разыскать на кухне челядь и добыть чего-нибудь на ужин. Время от времени он кричал снизу ободряющие слова: д'Арманьяк был встревожен состоянием духа своего господина и во что бы то ни стало хотел принести ему вина. Генрих в самом деле был близок к галлюцинациям. В большой галерее на него внезапно пахнуло ветром. В окнах, только что закрытых, между тусклых рам, ему привиделись очертания людей, он узнавал кавалеров и дам прежнего двора, они оттесняли друг друга, чтобы посмотреть на воронье. Стая ворон спустилась в Луврский колодец, приятный им запах приманил их, и, когда стемнело, они набросились на свою добычу.

Видение рассеялось, ибо д'Арманьяк крикнул снизу, что заметил в одном из дальних окон полоску света. Если и это ошибка, то он пошлет за вином кого-нибудь из караульных солдат, разве можно, чтобы господин его остался трезвым в такой вечер, как сегодня.

— Потерпите немножко, сир!

Нет, терпение было в настоящую минуту самой последней из добродетелей короля. Внезапно он встрепенулся: приближались крадущиеся шаги — почти неслышно, даже для его тонкого слуха; однако его предупредило какое-то чувство, то же чувство возврата к былому, которое показало ему кавалеров и дам прежнего двора. Но с духами надо обходиться, как с живыми. Кто признается им, что принимает их за нечто иное, тому они могут стать опасны. Он высоко поднял огарок и в решительной позе ждал, что будет.

Появилась согбенная фигура человека, которого легко можно было принять за нового маршала Бриссака; на протяжении шага Генрих заблуждался. Но именно этим шагом фигура вступила в полосу слабого света, и тут обнаружилось чуждое лицо, даже более, чем чуждое, — совсем потустороннее. Глаза потухшие, черты стертые. Под белыми волосами какое-то расплывчатое белесое пятно, нельзя дотронуться до него рукой, не то все исчезнет. А это было бы обидно.

— Меня зовут Оливье, — сказал призрачный голос.

Генрих заметил, что видение еще более сторбилося и что оно явно испытывает страх — последнее из чувств, которое когда-либо проявляли духи. Перед чем еще, в самом деле, им дрожать? А видение, назвавшееся Оливье, дрожало.

— Убирайся прочь, — крикнул Генрих, не столько рассердившись, сколько желая испытать видение. И оно ответило:

— Не могу. Я прикован к этому дворцу.

— Очень жаль, — сказал Генрих по-прежнему резко, хотя и порядком удивившись, какие силы могли приковать кого бы то ни было к опустошенному Лувру. — Давно ты здесь?

— С незапамятных времен, — раздался ответный вздох. — Сперва краткие годы радости, а затем бесконечные — возмездия.

— Выражайся яснее, — потребовал Генрих, ему стало жутко. — Если ты явился с какой-нибудь вестью, я хочу понять, о чем идет речь.

Тут призрак, именуемый Оливье, упал на колени — правда, очень осторожно и бесшумно; однако в движении явно не было ничего призрачного; просто жалкий человек опустил свою телесную оболочку еще на одну ступень самоуничтожения и к тому же заскулил.

— Сир, — сказал он. — Пощадите мои преклонные лета. Какая вам корысть вешать меня. Мебель все равно не вернется. Я и так уже давно расплачиваюсь за то, что был бесчестным управителем вашего Лувра.

Генрих понял, и этого было достаточно, чтобы он успокоился.

— Ты опустошил весь дворец, — подтвердил он. — Отлично. Ты крал, ты сплавлял все на сторону; это для меня вполне очевидно. Не мешает еще узнать, как это происходило, а главное, как можно было, чтобы дворцом королей Франции управлял такой паяц.

— Да я и сам теперь не понимаю, — ответило с пола жалкое отребье. — Однако, когда я получил эту должность, все дружно одобряли назначение такого почтенного человека, который всегда толково управлял собственным имуществом. Никто не сомневался, что он уберезет от убытков и французскую корону. Я сам мог присягнуть в этом. Сир! Я отнюдь не был паяцем, но, к сожалению, на себе испытал, как становятся им.

— Как же?

— Причин много.

— Должно быть, три.

— В самом деле, три. Сир! Откуда вы знаете?

Он прервал себя, чтобы заскулить еще жалобнее. Затем умоляюще протянул руки, ладонями кверху.

— Я не могу дольше держаться на колене одной ноги и на кончике пальцев другой, это неестественное положение для тела, я же вдобавок истощен голодом.

Страх веревки долгие годы приковывал меня к этому заброшенному дворцу и его глубочайшим подземельям. По большей части я не решаюсь зажигать огонь, чтобы не видно было света, и за пищей крадусь по ночам. — И тут же изобразил, как он крадется: на четвереньках вид у него был совсем собачий. С этой самой последней ступени унижения он произнес: — А когда я явился сюда много лет назад, я выступал прямо и внушительно впереди целого полка слуг, и несметные богатства были доверены мне. Этот вот промежуток занимал стол чистого золота на лапах с рубиновыми когтями. Ковры на этом вот простенке изображали вытканную пятью тысячами жемчужин свадьбу Самсона и Далилы, а также деяния Гелиогабала [47. — Гелиогабал — римский император с 218 по 222 г. Отличался жестокостью, развратностью и самовозвеличением.]. — И былой повелитель замка с необычайным проворством обежал на четвереньках указанные места; видно было, что он давно отвык передвигаться иначе.

— Довольно! — приказал Генрих. — Встань! — Старый плут потряс длинной, как у пуделя, гривой, но все же поднялся, правда, пошатываясь. — Старый плут, — сказал Генрих с ноткой ободрения в голосе, — поведай мне твои тайны!

Он надеялся, что сумасшедший запрятал остатки пропавших сокровищ в чуланы и в труднодоступные тайники Лувра; Генрих припомнил, что ему самому поневоле пришлось обнаружить здесь много убежищ в ту пору, когда дело шло для него о жизни и смерти. Однако сумасшедший совершенно неожиданно завел речь о другом.

— Сир! Я повстречал вас в темноте, после того как улизнул от вашего дворянина, который заметил мою свечу. Наверно, вы в темноте увидели старых знакомых. Прежний двор воротился. Воздух наполнился благоуханиями дам и кавалеров, к ним примешались ароматы кухни. Большие факелы озарили красным светом ослепительную роскошь зал и покоев.

— До этого дело не дошло, — пробормотал Генрих, пораженный и, к досаде своей, снова охваченный трепетом.

— У меня доходило и до этого, — сказал старый плут и даже попробовал рассмеяться. — Я всегда и неизменно ощущал на себе бдительный взгляд невидимых существ, а порой они даже становились видимы. Мне приходилось расплачиваться за то, что я был человек гуманистически образованный, сведущий в истории. Мне бы следовало тогда еще удалиться и отказаться от должности управителя. А что я сделал вместо этого? Устраивал празднества, пышно пировал с другими богачами такого же толка, терпел всяких блюдолизов, лишь бы они достаточно правдоподобно изображали прежний двор. Особенно много было к моим услугам прекрасных и дорогостоящих дам — жемчужин, а не дам, они-то и поглотили в конце концов мое состояние.

— Это легко было бы предугадать, старый плут, — вставил Генрих.

— Но если бы я хоть на одну ночь остался во дворце без людей, — прошептал сумасшедший, — невидимые существа, которые были повсюду и время от времени показывали свой лик, непременно свернули бы мне шею.

— Итак, тебе было невыносимо пребывание здесь, — заметил Генрих. — А второе?

— Второй причиной был дух времени. Весь Париж впал в распутство, вследствие тяжких заблуждений, меж тем как ваше величество разыгрывали победителя в ваших прославленных сражениях, а когда вам приходила охота, осаждали город и морили нас голодом. Кто не мог швырять деньгами, проливал кровь. Не стану говорить, что это случалось и здесь, во время бесконечных оргий.

— Довольно, — снова приказал Генрих. — Продолжай! Мало-помалу у тебя явилась необходимость очистить помещение.

Жалкая фигура пригнулась так низко, что белые космы закрыли все лицо.

— Между тем я при всем высокомерии был полон отчаяния. Сир! Поверьте просвещенному гуманисту, что отчаяние делает высокомерным, а высокомерие граничит с отчаянием. Я хотел дойти до конца начатого, в этом и было мое искушение, я по сию пору горжусь им, ибо оно достойно завершило жизнь человека,

в прошлом большого и могущественного, который исчерпал все утехи и дочиста опустошил дворец французских королей.

Генрих сделал вывод.

— Во-первых, тебе было не место здесь; во-вторых, ты творил все гнусности, какие только были в ходу в твое гнусное время, вплоть до людоедства. И наконец, ты в своей дерзости дошел до любопытства к смерти. Ты не замедлишь встретиться с ней.

Но тут раздался голос живого человека, господина д'Арманьяка. Он говорил снаружи, взобравшись до половины к одному из окон так, что мог только заглядывать внутрь, — надо же было ему узнать, с кем его господин беседует в темноте. Прилепленный к голому полу, последний огарок свечи чуть мерцал. Д'Арманьяку многое удалось услышать.

— Сир! — сказал он, — выкиньте паяца мне в окно, чтобы я воздал ему по заслугам.

Видение, назвавшееся сперва Оливье, теперь казалось отрешенным от всего земного, кроме своих сугубо личных дел. Оно пропустило мимо ушей и слова короля, и возглас его дворянина.

— Сейчас я пробегусь по-собачьи, — прошелестело оно, в самом деле опустилось на четвереньки и весьма ловко обежало комнату. Затем видение выпрямилось, насколько это было для него возможно, и с твердостью почти человеческой произнесло: — Песье обличье — это вечное возмездие, а когда-то были краткие годы радостной жизни. В промежутке не угодно ли полюбоваться на кутилу и петуха в курятнике: он перед вами. Когда я вывез и обратил в деньги благородные сокровища королей, ох, как быстро мои драгоценные дамы отобрали их у меня, как они гордились благородным происхождением моего богатства и как любили меня за то, от души любили.

— Все? — спросил Генрих с брезгливым участием.

— Все. А число их было внушительное, двузначное, и вторая цифра вчетверо больше первой.

И тут впервые бледное, расплывчатое лицо сделало попытку прищуриться, а из-под прищуренных век блеснула слабая искра; то же самое заметил Генрих у своего последнего убийцы. Впрочем, число его не удивило, оно было равно тому

числу любовниц, какое приписывалось ему самому. Именно оно, а никакое другое, должно было прозвучать из уст сумасшедшего; нет, он не настолько сумасшедший, чтобы упустить возможность вовлечь короля в свои делишки и тем самым напоследок облагородить и оправдать их.

— Двадцать восемь, — шепнул пес и петух, лжевельможа, вампир, бесчестный кастелян и призрачный паяц.

Тут Генрих без всяких церемоний схватил его за шиворот и выбросил в окно. Господин д'Арманьяк подхватил комочек на лету и тотчас понес его к месту назначения. Одинокие шаги удалились.

Последняя свеча догорела, растаяла, погасла; но королю, сегодня захватившему власть, еще больше недоставало сейчас стула, которого здесь не нашлось. День был тяжкий, и тяжелее всех показался Генриху этот последний час. Встреча с Оливье доконала его; она была самой смутной, но она же была и самой осмысленной. Пусть в ней не хватало здравого смысла, это не мешало ей быть оскорбительной, а еще оскорбительнее то, что сумасшедший именуется себя гуманистом; и недаром он вовлекает короля в свои запутанные дела: «В конце концов одна женщина стоит мне больше, чем все приписываемые мне двадцать восемь любовниц. У меня всего три рубахи. Свою столицу я на десять лет освободил от податей и поборов, из-за чего мне только труднее будет скупить остальные части моего королевства. Я должен способствовать расцвету ремесел, вместо войны, которая до сих пор была главным промыслом. Я все еще не вижу, откуда у каждого моего подданного, хоть время от времени, возьмется курица в горшке».

Он подошел к окну, в которое наконец-то из разорвавшихся облаков проник лунный свет. «Работы столько, — так думал он, — что одному человеку ее не одолеть. Я знаю второго, кто будет работать со мной, и больше никого. Это королевство нуждается во всем сразу, а ко дню моей смерти оно должно быть первым королевством Запада. Держитесь стойко, король Генрих и верный его слуга Рони, пока вы живы. Что будет после меня? Я женат и не имею наследника. Бесценная моя повелительница, подари мне сына, чтобы я владел моим королевством».

— Я никогда не буду владеть им без тебя и твоего лона. — Последние слова он произнес уже не про себя, он обратился с ними ввысь, к луне. Они прозвучали так же интимно, каков был и свет луны.

И с этой минуты король, сегодня захвативший власть, направил свои мысли к светилу, где, как ему вообразилось сейчас, обитала прелестная Габриель. Ведь он сам поселил ее в изящном и скромном дворце поблизости отсюда; и кроткое светило кажется таким же близким. «Гирлянды восковых свечей горят в этот час в ваших покоях, мадам. Я стою, вслушиваюсь и вдыхаю ваш отблеск, маркиза».

В тот миг, когда он зашел в своих мечтаниях далеко, явился его первый камердинер и поставил все на место сообщениями более житейского свойства. Прежде всего, ему удалось отыскать для короля спальню, куда он и повел его. Генрих миновал множество лестниц и галерей, не обращая внимания на окружающее. Его не интересовало также, что еще успел предпринять д'Арманьяк. Тот начал сам, снимая башмаки со своего господина:

— Так называемый Оливье закован в цепи и заточен в темницу.

— Он уже давно был заточен здесь, в Лувре, — зевнув, заметил Генрих. Д'Арманьяк перебил его не без строгости:

— Верховного судью вашего парламента подняли с постели, и он поспешил явиться, чтобы допросить его. Обвиняемый сознался во всех своих преступлениях, они составят перечень, для которого потребуется несколько писцов. На рассвете его будут судить.

— Какая спешка! Где его повесят? А что ты делаешь с моими башмаками, почему ты столько времени теребишь их?

— На Луврском мосту будет он висеть, чтобы Париж видел воочию, как карает король. Сир! Башмаки мне придется разрезать на вас. Их не стащишь. Они собрали липкую грязь со всего города и присосались к вашим ногам.

— Сильнее всего дождь лил, когда уходили испанцы. Оставь на мне башмаки, чтобы я во сне вспоминал испанцев. Смертного приговора Оливье я не подпишу.

— Сир! Вы не будете любимы в народе, если пес, петух или паяц, распродавший вашу мебель, не будет висеть на Луврском мосту.

Д'Арманьяк незаметно взрезал заскорузлую кожу башмаков и, сняв их, согрел ноги короля в своих руках. При этом он поднял к нему лицо, и Генрих заметил, что д'Арманьяк уже не тот, каким был двадцать лет назад. Тот бы не сказал:

«Сир! Вы не будете любимы в народе». Даже ни на миг не беспокоился бы по этому поводу — во-первых, потому, что не допускал даже такой мысли, а главное, потому, что не в обычае отважного бойца тех времен было предаваться размышлениям. Он, не мешкая, являлся на выручку всякий раз, когда господин его попадал в опасные положения, даже самого герцога Гиза, признанного любимца народа, д'Арманьяк без промаха разрубил бы пополам, как он после своего успешного вмешательства заявил в кичливой речи; герцог задним числом побледнел, услышав это.

— Старый друг, — озабоченно сказал Генрих. — Что случилось с тобой?

На лице дворянина была написана кротость, доходящая до робости.

— Раньше ты бы не ставил любовь моего народа ко мне в зависимость от виселицы. — Арманьяк стареет, — решил государь. Однако вслух этого не сказал. —

Должно быть, самоуверенность убывает с годами, — заключил он.

— Вы узнаете эту спальню? — неожиданно спросил д'Арманьяк. Генрих удивленно оглянулся. Комната средних размеров, убогая дощатая постель с соломенным тюфяком; только странно, что вверху под полуразрушенным потолком висят остатки балдахина. В течение десятилетий держались они над тем местом, где некогда молодой король Наваррский со своей женой покоился на брачном ложе, а его сорок дворян разместились вокруг; слишком рано поднялся он с этого ложа. Была еще ночь, которой суждено было стать ночью убийств до самого белого дня.

— Зачем я здесь? — спросил король, который сегодня захватил в свои руки власть. — Я не хочу задумываться над этим. Вешайте вора на мосту, чтобы моя столица узнала: привидения изгнаны отсюда. Я не желаю больше встречаться с ними. Я буду жить в Лувре, как в новом дворце, ни слова о старом, ни единого воспоминания. И народ у меня новый, который хранит молчание о былом так же, как я сам, — нерушимое молчание. Я буду трудиться заодно с моим народом. Привидение висит, и кончено. Мой народ будет любить меня за то, что я тружусь вместе с ним.

Два труженика

Странная чета посетила в это утро мастерскую дубильщика Жерома,

расположенную под сводом ворот, между улицей и двором, в очень людном месте.

Тот, что пониже, был король, а повыше ростом – его верный слуга, по имени Рони.

Об этом, немедленно по их появлении, узнали все. Солдаты очистили середину улицы с криками:

– Дорогу королю!

Потеха началась, когда король спросил старика ремесленника:

– Скажи, хозяин, нужен тебе подмастерье? – Дубильщик от смущения сказал «да», и король, не долго думая, скинул кафтан, засучил до плеч рукава рубашки и бойко принялся за работу, стараясь во всем подражать мастеру. При этом ежеминутно делал промахи, а главное, упускал куски кожи, которые уплывали в сток, шедший через двор к вырытой там яме. Раньше, чем дубильщик заметил беду, в яму успело попасть несколько кусков кожи. Сначала он задумался, следует ли ему отнестись к этому обстоятельству с покорностью, принимая во внимание особу короля, или по-хозяйски. И решился действовать, как подобает хозяину, а не подданному, то есть без обиняков требовать возмещения убытков.

У входа толпились зрители; расчетливый хозяин надеялся выудить у короля по меньшей мере столько золотых, сколько кож уплыло в яму. Однако убедился, что тут есть человек, который перещеголяет его в денежных расчетах: дворянин и приближенный короля. Господин де Рони упорно торговался, пока не дошел примерно до настоящей стоимости товара. Удивленный дубильщик почесывал затылок, а зрители смеялись над ним. Король, все время молча работавший, жестом водворил тишину и, пока мыл руки и одевался, обратился к присутствующим:

– Добрые люди, я только что попробовал свои силы в новом ремесле и должен сознаться: ничего хорошего из моей работы не вышло, всякое начало трудно; впрочем, у меня вам и не следовало учиться, как правильно обрабатывать кожи. Я просто хотел наглядно показать, почему наша отечественная кожа, некогда столь высоко ценимая в Европе, теперь не находит сбыта. Причина в том, что после бесконечной междоусобной войны с неизбежной неурядицей и безработицей развелось немало таких негодных подмастерьев, как, например, я. Мой хозяин Жером больше и не держит их, с ними у него кожи только бы уплывали. Правда, хозяин?

— Золотые ваши слова, сир! — сказал дубильщик, решив, что пора переходить на почтительный тон. — И откуда такой высокой особе знать про наши дела?

Генрих был осведомлен о них через своего слугу, который все узнавал Бог весть каким путем. У солдата Рони были необыкновенные способности к хозяйственным делам, и король решил, что пора начать извлекать из них пользу, отсюда и посещения людных улиц этой странной четой. Король незаметно подмигнул своему слуге; затем снова обратился к народу.

— Дети! — заговорил он. — Дети, помните о славе наших ремесел. Хотите прятать в чулок звонкую монету, а?

Они ответили «да», пока еще нерешительно. Король продолжал спрашивать:

— Вы ведь не прочь сытно поесть, дети? Чтобы по воскресеньям была курица в горшке, а?

Тут они громогласно выразили свое одобрение. Две женщины пожелали королю здравствовать.

— А я желаю, чтобы народ мой всегда был сыт, — ответил он. — Есть у вас сыновья? — спросил он женщин. — Каких лет? Что они делают?

Он узнал, что юноши ничего не делают, ибо ремесла находятся в упадке.

— Все оттого, что ваши сыновья ничему не учатся. Где они? Подать их сюда! — приказал король, а так как мальчуганы, естественно, были в толпе зевак — где же им еще быть, ведь с улицей, на которой родился, расстаться нелегко, — король немедленно передал их мастеру. И каждого погладил по голове. Только от этого, ни от чего другого, обе матери заплакали. Другие женщины вторили им, и картина получилась бы очень назидательная и поучительная, если бы Рони и дубильщик не стали снова ожесточенно торговаться из-за платы за учение. Наконец приближенный короля широким жестом вручил мастеру деньги, при этом у него на пальцах сверкнули драгоценные камни. Напоследок король наказал мастеру давать юношам вдоволь белого хлеба и вина; если же они окажутся совершенно неспособными к работе, то половина платы за учение останется мастеру; остальную сумму он должен принести в Лувр.

Расчетливость короля больше расположила к нему людей, чем его щедрость. А

потому они расступились перед ним и очистили середину улицы без вмешательства солдат. Но случилось так, что как раз в эту минуту, словно по расписанию, на улице появились носилки; на раскрашенном лакированном балдахине колыхались перья, перед домом дубильщика носилки остановились.

— Это улица Де-ла-Ферронри? — спросила сидевшая в них дама одного из носильщиков. Но тут к носилкам уже подоспел господин де Рони, он настойчиво зашептал:

— Мадам, ради Бога, замолчите. Вас привела сюда чистая случайность, мы ведь так стоворились.

— Простите. Какая я стала беспамятная. Я позабыла свою роль, — сказала Габриель, вид у нее правда был болезненный и усталый. Господин де Рони предпочел за нее произнести следующую фразу, чтобы она не сбилась опять.

— Как странно, что мы встретились в таком большом городе! Можно подумать, будто здесь только одна улица.

Это была реплика для Генриха, который не замедлил ее подхватить. В это время колокола на соседней церкви прозвонили обеденный час.

— Мадам, — заговорил король, держа шляпу в руке, — я как раз торопился домой, чтобы сесть за стол в один час со всеми порядочными людьми. — Народу явно понравилось, что его обычаи так строго соблюдаются. Когда слуги уже поднимали носилки, Габриель поспешила вставить еще одно замечание: она вообще все время нарушала заранее предусмотренный порядок.

— Сир! Какая странная вывеска на доме, из которого вы только что вышли.

Генрих оглянулся. На стене было изображено сердце, увенчанное короной и пронзенное стрелой.

Генриху становится страшно, он сам не знает, почему холодный ужас сжимает ему сердце. Увенчано и пронзено. Обратившись к Габриели, он говорит:

— Мадам! Есть сердце, которое по вашей милости испытывает ту же участь: увенчано и пронзено.

Он сказал это тихо, для нее одной. Взял кончики ее пальцев, которые она протянула, и так сопровождал сидящую в носилках даму сквозь одобрительно перешептывающуюся толпу. Рони следовал за ними, лицо его не выражало ничего, кроме гордого достоинства. А за личиной мелькала мысль: «Галиматья». Только это

ей и нужно. Впрочем, его личное мнение о прелестной д'Эстре и без того было раз навсегда составлено и гласило: она глупа. Однако с недостатком ума, равно как и с другими ее опасными качествами, он склонен был мириться и пока что ладить с ней. Деятелям молодого государства необходимо держаться друг друга, ибо в новую власть начинают верить только после того, как она в сознании людей примет определенные формы.

Так двигались они: носилки, король, его верный слуга — двигались под охраной немногочисленной стражи по кишасшему людьми Парижу, который еще так недавно не пропустил бы их безнаказанно. Рони из улицы в улицу тщательно отмечал все, что говорилось. Генрих делал вид, будто ничего не слышит и занят всецело своей дамой. Однако не упускал ничего. Кто-то громко спросил в толпе: что это за красotka? На что невежа солдат ответил, оттесняя любопытного с дороги:

— Это королевская шлюха. — Солдат вовсе не думал выразить презрение, он просто употребил то слово, к которому привык. Однако он был из личной охраны короля, кругом засмеялись, и, прежде чем смех стал пагубным, Генрих сам присоединился к нему. Таким образом смех остался безобидным.

Он хотел, чтобы и все протекало безобидно. Переход от недавнего беззакония к господству права должен совершиться незаметно, словно ничего не случилось. Зато сам он глубоко проникся сознанием, что это решающие дни как для него, так и для королевства; и чему дашь теперь волю, того никогда больше не вернешь. По имени он был королем уже пятый год. «Откуда у меня взялось столько терпения?» — подумал он про себя. Постоянная тревога терзала его, ему казалось, что он нужен одновременно повсюду и каждая минута может быть решающей... Он это тщательно скрывал и от уличной толпы, и от своего подневольного двора, и от своего тайного совета. Был прост, кроток и благодушен и именно потому вскоре слег в жестокой лихорадке, той самой, которой всегда расплачивался за тяжкие труды и коренные перемены в жизни. Пока что болезнь исподтишка завладевала им и по нему ничего не было заметно. Разве что среди множества людей, у которых он был на глазах, нашелся бы особенно тонкий наблюдатель. Тому, по крайней мере

впоследствии, кое-что стало бы ясно. Когда его величество в урочный час слег в лихорадке и тихо что-то бормотал нараспев в подушку, — только его сестра и первый камердинер слышали, что это были гугенотские псалмы; тут-то и можно было сказать: «Ага, вот оно что! Теперь понятны очень многие странности».

Подобного рода заключения были чужды его привычному спутнику Рони; приближающейся лихорадки он, разумеется, не замечал. Экономика вкупе с баллистикой поглощали его, — не считая забот о собственном преуспевании. Губернатор города Манта — это все, чего ему до сих пор удалось добиться. Его милостивый, но осторожный государь не спешил вводить протестанта в финансовую коллегия, члены которой, все сплошь католики, восприняли бы такое назначение как настоящий переворот. И не столько из соображений религии, сколько из страха за свои чрезмерные доходы. Расхищение государственной казны до сих пор почиталось вполне естественным и дозволенным для целой армии финансовых чиновников, вплоть до самой ее верхушки. Но вот какое-то чутье подсказало им, что захват власти королем Генрихом ставит не только под сомнение, но и под угрозу их привычки.

Король пробовал предостерегать их, сначала, правда, в виде шутки, в тех случаях, когда старался показать свою доступность, а случаи такие бывали постоянно. Он все еще продолжал водить знакомство с простым людом, сам разъезжал повсюду, когда того требовали дела, и играл с горожанами в мяч, а выигранные деньги прятал в шляпу.

— Эти денежки я придержу, — заявлял он, — их у меня никто не стянет, они ведь не пройдут через руки моих финансовых чиновников. — Его слова немедленно доходили до ушей этих последних, тем не менее они не особенно боялись короля, который в веселую минуту может сказать лишнее, они чуяли, что опасность надвигается с другой стороны.

В доме, носившем название арсенала, сидел некто и неуклонно проверял их. Только это и было им известно. Ни единого слова не просачивалось из уединенного дома, кроме шушуканья их шпионов. Человек, сидевший в строго охраняемом кабинете, выводил длинные ряды цифр; они показывали, насколько возросли цены, пока еще в изобилии притекало испанское золото. Заработки не поспевали за ценами; и что же осталось после того, как иссякли потоки пистолей? Дороговизна, привольное жительство для немногих преуспевших и мучительное прозябание для большинства.

Отсюда много самоубийств, а также разбой. Как посягательства на собственную жизнь, так и грабительские налеты обычно объясняются упадком веры и открытым сопротивлением государственному порядку.

Безмолвный труженик в доме, именуемом арсеналом, открывал иные причины, их огласка была крайне нежелательна для многих лиц. Они охотно выволокли бы его из этого дома. До Сены оттуда не больше ста шагов; неплохо было бы темной ночью погрузить в ее воды этого человека вместе с его цифрами, да так, чтобы он не вынырнул никогда. На беду, знаток экономических вопросов в то же время и артиллерист. Его докладные записки королю касаются промышленности и сельского хозяйства, но также и усовершенствования орудий. Во дворе его дома стоят наготове пушки вместе с орудийной прислугой, поэтому захватить его нелегко. Никогда не выезжает он без охраны, особенно когда везет королю докладные записки. Конечно, и эскорт и драгоценности, которыми он увешан, — признаки высокомерия. Но главное, он насквозь видит почтенных людей, изрядно наживающихся на государстве. Все говорят о том, что он толкает короля на самые рискованные мероприятия.

Это было неверно. Никто не понимал Рони, хотя его постоянно видели за работой. Что он был за человек, к чему стремился? Взорвать башню, заложив в нее уйму пороха, способен всякий. Посреднику не потребовалось много ума, чтобы выторговать у продажного губернатора город Руан, но отнюдь не управление артиллерией у своего государя. Оно отдано в руки отца бесценной повелительницы, в руки простофили, который с каждым днем все больше теряет разум. Господин де Рони, как известно, этого не простил. Все знали, что у него неладит не только с бесценной повелительницей; в глубине души, — если предположить, что у человека с каменным лицом есть глубина души, — он ненавидит своего короля, это вне сомнения. Господин де Вильруа всем сообщал об этом по секрету, теперь это ни для кого не тайна. Господин де Рони ненавидит короля, он только — не без основания — боится быть убитым, если изменит ему. Зато алчность его невообразима; посулами и наличными деньгами, которые мы вернем себе после его преждевременной смерти, нам не трудно привлечь его на свою сторону. В сущности, он только того и ждет; этот плут стряпает свои докладные записки лишь затем, чтобы побольше выжать из нас.

Господин де Вильруа, который так глубоко ошибался в Рони, был убежден, что весь мир состоит из плутов; опираясь на собственный опыт, он не понимал, как можно достичь чего-либо иным путем. Он попеременно предавал то Лигу королю, то короля Лиге — обходясь без фантазии и тяги к притворству, которые побуждали гуманиста и мухолова Бриссака ловко разыгрывать комедию и обманывать безразлично кого, единственно из любви к искусству. Это не было свойственно господину де Вильруа, значительно более прямолинейному мошеннику. Генрих, знавший толк в людях, с первого же дня призвал его в свой финансовый совет. Там Вильруа воровал и усердствовал вовсю. Вот образчик его козней, да еще не самых худших: похитить короля, доставить его в одну из непокорных провинций и открыть торг его жизнью и смертью. Если мятежники заплатят больше, королю конец. Если больше заплатит он сам, ему будет сохранена жизнь.

Прекрасно осведомленный насчет господина де Вильруа и ему подобных, Генрих сначала предоставил им обогащаться вволю, но при этом предостерегал их, всегда шутиливо, всегда обходительно, даже и тогда, когда самолично обращался к ним с предостережением, не доверяясь молве. У господина де Вильруа превосходное поместье, король заезжает туда. Так, случайная загородная прогулка без всякой помпы, двенадцать или пятнадцать господ, без слуг и поклажи; все очень проголодались. Король идет прямо в коровник, служанка как раз доит коров.

— Сир, добрый наш государь, — говорит она.

— Я добр ко всем, кто честно работает, как ты, — говорит он и просит налить себе молока. Все дворяне вместе с королем садятся за стол богача Вильруа, но никакого угощения не разрешается подавать, кроме крынок с молоком. Это не смущает богача Вильруа. Король — романтик, он любит простые дары природы.

— Съесть что-нибудь другое в этом трактире нам не по карману, — говорит он, выпив молоко, ибо ему надо говорить и надо, чтобы кругом смеялись. Господин де Вильруа смеется вместе с другими. Этот весельчак не из тех королей, что могут поймать его, Вильруа. О Людовике Одиннадцатом и его палаче здесь вспоминать не придется. Столбцы цифр какого-то Рони вскоре наскучат этому рубака и

кавалеристу. Артиллерист будет досаждать кавалеристу своими хозяйственными мероприятиями и восстанет против него народ и всех почтенных горожан, если тот вздумает осуществлять эти мероприятия. В итоге он, безусловно, поплатится королевством, твердил Вильруа в финансовом совете и встречал полное сочувствие. Новая власть сама по себе недолговечна, к чему сокращать отпущенный ей срок, до своего падения она успеет порядком обогатить нас.

Меж тем господин де Рони спешил в Лувр. Это были все еще первые дни новой власти. Апрельская погода, дворянин попал под проливной дождь. Он берег хорошую одежду; шляпа от дождя потеряет форму, брыжи размокнут: какой же вид будет тогда у бриллиантов, украшающих эти предметы одежды, равно как и плащ кавалера? Перед старым Сен-Мишельским мостом, на который низвергались потоки дождя, господин де Рони повернул коня и въехал под своды каких-то ворот, а сопровождающим велел подождать снаружи. Тут он, на беду, оказался свидетелем происшествия, ставшего довольно обычным. Какой-то человек собрался прыгнуть в реку. Его намерения были вполне очевидны: на пустынном мосту он был открыт всем взорам, если только в домах по ту и другую сторону реки имелись зрители. Но их не было видно, они либо испугались ливня, либо такое зрелище стало для них привычным. Человек снял башмаки, неизвестно зачем, ибо от башмаков сохранился один лишь намек. В камзоле, который он тоже бросил в воду, было больше дыр, чем материи. Теперь он был совсем наг, жалкое существо, господин Рони считал, что спасти его не к чему. Тем не менее он хотел подать своим людям знак, но немощное создание мгновенно взобралось на парапет и перевалилось на другую сторону; теперь ему оставалось только разжать руки, никто бы не успел добраться до него.

Нет, успел. С той стороны моста, даже нельзя было разобрать откуда, кто-то словно перелетел по воздуху, делая огромные прыжки. Схватил самоубийцу за ногу и потянул назад. Человек закричал, шероховатый камень, по которому его тащили, раздрал ему кожу. Окровавленный, пристыженный, разъяренный, повернулся он к своему спасителю, замахнулся на него кулаком — потом вдруг опустил кулак и

бросился на колени. Его спасителем был король.

Эмалево-голубые глаза господина де Рони раскрылись на сей раз во всю ширь. Он не рад был видеть то, что видел, и все же чувствовал, что не ему одному следует быть зрителем, и берега не должны быть безлюдны. Для происшествия, в котором главными действующими лицами выступали король и спасенный самоубийца, необходима была толпа. Господин де Рони почти не сомневался, что роли распределены заранее, хотя сцену и разыграли менее четко, нежели в прошлый раз у дубильщика. Вдобавок дурная погода разогнала публику. Тем не менее зрители собрались, ибо тучи почти рассеялись и дождь только слегка накрапывал. Господин де Рони увидел, как его король снимает плащ и, не долго думая, надевает на голого человека.

Господин де Рони огляделся вокруг и убедился, что по крайней мере этот жест не остался незамеченным: тогда он решил, что пора и ему выступить на сцену. Он под уздцы повел свою лошадь на мост и всеподданнейше предложил ее королю. В другое время он не стал бы предлагать ее своему государю – разве что святому Мартину, если бы повстречал его. Генрих от души засмеялся и сказал:

– Посмотрите-ка на плащ. Разве он многим лучше уплывшего камзола? Дайте этому человеку денег. Если у меня нет для него работы, я должен его кормить. Пошлите кого-нибудь из своих людей с ним в больницу, чтобы его туда приняли.

С этим покончено, теперь снова на коней. Сцена была короткая, но каждое слово попало в цель. Кто из зрителей не понял и не прочувствовал всего, не был достоин такой сцены. Спасенный вежливо поклонился и произнес свою заключительную реплику:

– Сир, – сказал он не без приятности, – я умру. Ваше величество, вы не должны удерживать меня и мне подобных, пока не изготовляют ни сукна, ни кожи, а полевые работы заброшены. Я изучал богословие, а потому сумею рассказать на том свете о великой, действенной любви нашего короля Генриха.

После чего он ушел в сопровождении солдата, и всем зрителям, которых за это время скопилась целая толпа, показалось, что он играл самую главную роль ввиду близости его к потустороннему миру. Многие не прочь были надавать ему туда

поручений. Король представлялся рядом с ним хоть и внушительным, но второстепенным персонажем, не способным увлечь сердца. Когда он пустил коня рысью, люди расступились, чтобы их не забрызгало грязью, и не обнаружили ни приязни, ни неприязни. Поэтому он пришпорил коня, под ним был серый в яблоках конь господина де Рони, а тот ехал на лошади спешившегося солдата, отставая от короля на полкорпуса. Небольшой отряд – шесть или семь всадников, – не привлекая особого внимания, скоро достиг Луврского дворца. Рони попросил аудиенции, и Генрих провел его в просторную пустую комнату; она выходила на реку, была открыта воздуху и солнцу, апрельскому солнцу, которое прорвалось из-за туч. Генрих сказал, шагая по комнате:

– Она будет пустовать, пока здесь не расставят моей мебели из замка в По, – только в этой обстановке я хочу жить. Ибо моя мебель в По самая лучшая и самая красивая, какую только мне приходилось видеть за всю мою жизнь во всех замках королевства.

Рони, как ни были ограничены области его знания, здесь что-то понял или почувствовал. Его господин хотел связать то сложное настоящее, в котором он живет теперь, с более легким прошлым. Может быть, он нуждается в поддержке? И обстановка из материнского дома должна напоминать ему, как высоко он поднялся?

– Сир, – начал верный слуга. – Захват власти принцем крови понятен всем. Настоящему королю не нужно украшать себя цепями и кольцами, как дворянину, не имеющему еще ни должности, ни звания. И тем не менее, когда бы вы ни выезжали из вашего Лувра, пусть вас непременно сопровождают несколько лиц, одетых вроде меня. Тогда вы сами можете, если это нужно, носить старый плащ и дарить его тому, кто наг.

Генрих удивился подобной речи, и не ее дерзости, а тому, что она была основана на ложных предположениях. На самом деле он вовсе не оттого оказался без всякого эскорта на берегу и на Сен-Мишельском мосту, что какой-то самоубийца ждал от него спасения. Вместо ответа он рассказал следующее:

– Вчера я совсем один ехал верхом по дороге в Сен-Жермен. Хотел взглянуть, действительно ли полевые работы заброшены и мои крестьяне вследствие чрезмерных

притеснений предпочитают заниматься разбоем. И тут я испытал это на себе — меня остановили разбойники. Их главарь был не крестьянин, он был аптекарь. Я спросил его, неужто он занимается своим делом на большой дороге и поджидает путешественников, чтобы ставить им клистиры. Вся шайка покатила со смеху, и я был наполовину спасен. А когда я вывернул карманы, то меня отпустили совсем.

Трудно сказать, был ли Рони испуган, возмущен или потрясен: во всяком случае, лицо его осталось непроницаемым. Только молчание его длилось чуть дольше, чем следовало. Когда король, торопливыми шагами пройдясь по комнате, остановился перед ним и поглядел на него, Рони поспешно вынул свою докладную записку.

Генрих стоял на месте, что было для него необычно, и смотрел в листы бумаги, по которым все читал и читал Рони. Когда он доходил до столбцов цифр, Генрих водил по ним пальцем, не довольствуясь тем, что глаза его и вздернутые брови следили за каждой строкой. Когда они дошли до шести тысяч безработных суконщиков, Генрих сказал:

— Вы правильно вывели сумму, — и так как господин де Рони утратил дар речи, пояснил: — Мне сообщил ее человек на Сен-Мишельском мосту, некий богослов, который из нужды пошел в суконщики, но там уже совсем нечего было есть, и без того голодало шесть тысяч человек. Парижские красильни раньше обрабатывали в год шестьсот тысяч кусков сукна, а теперь только шестую часть. Есть у вас эти цифры, Рони? Хорошо, вот они стоят тут. Вы хорошо считаете. А я хорошо слышу, особенно когда студент, который не стал суконщиком и собрался отправиться в мир иной, рассказывает, мне о том, что творится в здешнем мире. Мы с вами, мой друг, усердные труженики. Нам остается только поразмыслить, как сделать, чтобы все пошло по-иному.

— Вашему величеству это известно, — сказал Рони без смирения или подобострастия, чтобы не приравнять себя к обыкновенным царедворцам. — Вы удивительно легко проникаете в суть вещей, я не могу похвалиться тем же. —

После чего он все-таки стал излагать свою программу, сперва в отношении сельского хозяйства. Он требовал очищения дорог от разбойников.

— Я это пообещал и моему аптекарю, — бросил Генрих.

— Сир! Как я уже упоминал, нового я ничего не открываю. Браконьеры — те же разбойники. Необходимо повесить несколько человек, в назидание всему деревенскому сброду, который охотится в королевских лесах.

— А что мне сделать с дворянами, господин де Рони, если их лошади и собаки вытаптывают крестьянский урожай? — спросил Генрих, несколько опасаясь ответа, что видно было по его склоненной набок голове.

— Сир! Охота — исконная привилегия дворянства. Ваши дворяне-землевладельцы только этим и пробавляются, а ведь из них вы вербуете себе офицеров.

— Надо быть справедливым, — сказал Генрих. Это могло быть истолковано и в ту и в другую сторону. Следующие свои слова он резко подчеркнул и при этом поднял голову: — Крестьянина дают поборы.

— Сейчас, — только и ответил Рони; перелистал бумаги и протянул королю страницу. Генрих побледнел, когда заглянул в нее. — Так подробно я этого не знал, — пробормотал он. — Дело плохо.

— Сир! Это не новость. Зато ново, что у нас теперь многоопытный и мужественный король. Он испробовал на своем маленьком Наваррском королевстве, что надо делать, а ведь тогда была война.

— Войны больше не должно быть, — решительно заявил Генрих. — Я не хочу войны с моими подданными. Лучше я буду покупать свои провинции, даже если мне придется просить подаяния в Англии, в Голландии. За Руан и Париж я заплатил немало. Вы знаете — сколько и долго ли еще мы протянем.

— Что и говорить. — Рони кивнул головой; он окинул взглядом пустую комнату, которая могла только усилить впечатление чего-то временного и непрочного.

Генрих же отбросил прочь все колебания:

— Что бы там дальше ни случилось, поборы с крестьян нужно уменьшить на треть.

Безмолвно показал ему Рони готовый, во всех подробностях разработанный план постепенного снижения крестьянских податей. Генрих прочел и сказал:

— Не совсем на треть, и к тому же снижение растянуто на несколько лет. Этим я не завоюю мое крестьянство.

Затем перед ним, словно сама собой, очутилась еще одна страница. Здесь были приведены внутренние пошлины, они разъединяли провинции и душили торговлю сельскохозяйственными продуктами. Из всех столбцов цифр это был самый густой. Генрих хлопнул себя по ляжкам.

— Вот это ново. За это я возьмусь. Господин де Рони, вы нужный мне человек.

Последние его слова были услышаны за дверью. Дверь распахнулась, на пороге появилась бесценная повелительница; верный слуга был раздосадован помехой, хотя и поклонился очень низко. Генрих поспешил ей навстречу. Заботы и тревоги тотчас покинули его, он торжественно ввел ее в комнату.

— Бесценная повелительница, — сказал он, — никогда еще ваш приход не был более кстати.

— Сир! Господин де Рони нужный вам человек, — повторила она. Ее страдальческая улыбка болью отозвалась в его сердце, но вместе с тем и осчастливила его. — У него к вам важные дела. Мне же просто захотелось видеть вас.

На это он церемонно ответил ей:

— Мадам, когда вы появляетесь, каждый забывает, что хотел сказать, даже господин де Рони.

— Сир! — воскликнул господин де Рони. — Вы опередили мое признание. Стул для мадам! — закричал он и, не дожидаясь слуги, сам бросился за стулом.

Возвратясь в комнату, он застыл на месте и едва удержался, чтобы не отвернуться. Король тем временем преклонил колени, поставил на него ногу бесценной повелительницы и гладил ее. Умный Рони понял, что должен одобрить и это. Он подал стул, и Габриель опустила на него. Она протянула королю руку, он встал. И как ни в чем не бывало вернулся к прежнему разговору:

— Вот это ново, господин де Рони. Зерно не будет иметь твердой цены, покуда провинции отделены друг от друга пошлинами. Я их отменю. [48. — Зерно не будет иметь твердой цены, покуда провинции отделены друг от друга пошлинами. Я их отменю. — Речь идет о попытках упорядочения

экономической жизни страны, парализованной феодальной раздробленностью, которые были частично осуществлены в правление Генриха IV.] В одной провинции голодают, а рядом, в другой, крестьянин ничего не получает за излишки. Я отменяю пошлыны. Я желаю, чтобы во всей стране товары обращались свободно.

Рони открыл было рот, но Генрих жестом остановил его:

— Транспорт, хотите вы сказать. Его нет. Я его налажу. По всем большим и проселочным дорогам будут с утра до ночи ездить фуры, и лошади будут сменяться каждые двенадцать-пятнадцать миль. — Он постучал по переплету докладной записки, которую Рони захлопнул, словно она уже больше не была нужна. — Здесь это есть, — одобрительно сказал Генрих.

— Да, сир! Здесь это есть, но на другой странице, вы ее еще не видели. Ваш ум окрылен. Перо моего писца медлительно.

— Что вы о нас скажете, мадам? — спросил Генрих.

Габриель подперла щеку одним пальцем своей прекрасной руки и молчала.

— Мы здесь задумали работу лет на десять. Бог знает, суждено ли нам увидеть ее конец, — сказал он и неожиданно перекрестился. — Но мы начнем ее, — воскликнул он радостно. — Сегодня же начали бы, если бы наскребли первую тысячу экю на уплату всего этого.

— Сир! Ваши финансы могут быть улучшены, — спокойно и уверенно произнес господин де Рони. Генрих и Габриель насторожились.

— Если у вашего величества нет денег и даже нет рубах, то причиной тому всеобщая неурядица, злоупотребления всякого рода, обман и расточительство без конца, щедрость без удержу. — По мере того как он говорил, душевное спокойствие покидало его. — Управление вашей казной прошло все ступени беззакония, от простого мошенничества до беззастенчивой раздачи общественных доходов властью имущим, которых я могу назвать, хочу назвать и которые все тут у меня поименованы. — Он с силой ударил по переплету. — И я не успокоюсь, пока они не будут разжалованы и наказаны.

Тут и Габриель и Генрих обратили внимание на его глаза, они стали темными и буйными. Удивительные, точно наведенные краски его лица слились от внутреннего

волнения. Им обоим еще не случалось видеть это. Перед ними был другой Рони, не повседневный, но, возможно, этот и был настоящий. Габриели стало страшно, она чувствовала: этот мне никогда не простит. Генрих был поражен и очень заинтересован своим верным слугой. Он понял яснее, чем когда-либо, что преданность и вера – чувства не малые и во всей своей полноте не могут существовать в человеке между прочим. Они – подлинная страсть. «Каменный рыцарь, который сошел с соборного фасада, ожил теперь, да как еще ожил. Если бы дать ему волю, он впал бы в неистовство. Необузданное правдолюбие может стоить ему жизни, это его дело. Мне же оно в конечном итоге может нанести больше ущерба, чем все воров, вместе взятые. Надо быть осторожнее с каменным человеком!»

– Друг мой, – сказал Генрих. – Вашу преданность и стойкую веру я знаю хорошо, много лучше, чем все столбцы ваших цифр, и намерен употребить их на пользу себе и своему королевству. Работа вам обеспечена до конца ваших дней, но всех денег, которые застревают в моем финансовом ведомстве, вы никак выудить не можете.

– Могу, – заверил Рони почтительно, совсем успокоившись; у него опять были голубые глаза и девические щеки.

– Каким образом?

– Рискуя собственной головой.

Больше он ничего не добавил, но ему можно было верить.

Генрих:

– Ну, хорошо. Покажите мне ваше ближайшее поле сражения и кого вы собираетесь побить.

Рони:

– Многих, и именно там, где они чувствуют за собой право; ибо наибольшие злоупотребления совершаются законным путем. Пошлины на соль отданы на откуп. В государственную казну едва поступает одна четверть. Остальное идет на обогащение весьма немногих господ и дам. Они распределили между собой паи, но не сделали ни одного взноса. Сир! Вы даже не поверите: в этом замешан сам главноуправляющий вашим финансовым ведомством, господин д'О.

– Всего лишь О. – Генрих загадочно усмехнулся, бросив взгляд на Габриель. – Пузатый малый или был пузатым. Теперь он, вероятно, совсем высох.

— Разве вы не знаете, господин де Рони? Он при смерти, — подхватила Габриель.

Нет. Для человека из арсенала это была новость. Он проводил дни в расчетах.

Но удивление его длилось недолго, он сказал:

— Надо наложить арест на его имущество, как только он умрет. Такого рода люди вместе с жизнью теряют и сообщников, которые могли бы заступиться за них.

— Об этом надо подумать, — сказал Генрих, который решил думать как можно дольше. — Вы сами понимаете, господин де Рони, что нам не следует забегать вперед и перехватывать работу у других, даже и у смерти.

На это каменный рыцарь с собора, человек из арсенала, не ответил ни слова.

Генрих не прерывал молчания. Прервала его Габриель, ее голос прозвучал, как

звон колокольчика.

— Сир, — произнесла Габриель д'Эстре. — Я прошу о милости. На место того, кто должен умереть, поставьте господина де Рони.

Больше Габриель ничего не сказала и ждала. Господин де Рони, к сожалению, не

был ей другом, она это знала. Но ведь король сказал ему: «Вы нужный мне человек», а в начале новой власти те, в чьих она руках, должны действовать

заодно. Их и так до сих пор всего трое, трое в пустой комнате. Глаза женщины

стали особенно красноречивы, они взывали к слуге короля: нам друг без друга не

обойтись. Я помогаю тебе. Помоги мне!

Невозмутимый Рони думал: «Галиматья. Ты, моя красавица, никогда не будешь королевой. Я же работаю и достигну своей цели, как бы далека она ни была».

Генрих не сказал ничего или сказал очень много. Он взял руку своей бесценной

повелительницы и поцеловал ее.

Лихорадка

День начался назидательно. Король прослушал мессу в церкви позади Лувра, колокол ее был самый гулкий в Париже. Как грозно он гудел, когда адмирал Колиньи... ну, об этом ни слова. Король был погружен в молитву, когда кто-то

шепнул ему на ухо, что умер кардинал Пеллеве[49. – Пеллеве Никола де (1518–1594) – французский кардинал, сторонник партии Гизов и враг Генриха III. Впоследствии по назначению папы Климента VIII – архиепископ Реймский.]. Тот был председателем Генеральных штатов и сторонником Испании. После перехода власти в руки короля кардинал свалился в горячке, он кричал:

– Захватить его! Захватить его!

А вот теперь он умер. Перед тем как покинуть церковь, король приказал помолиться за кардинала. Он хотел прибавить: «И за упокой души господина адм...»

Но даже додумать до конца это имя не решился.

Во время краткого пути во дворец кое-кто из придворных отважился упрекнуть его за мягкость и снисходительность. Врагам надо мстить: этого ждут все, без этого нельзя. К тому, кто не мстит, нет уважения. Король изгнал сто сорок человек – кого из королевства, а кого только из столицы. Ни одной казни, – кому это внушит почтение, кому даст острастку? Господин де Тюрэнн, влиятельный протестант, будущий глава герцогства Бульонского, пограничного владения на востоке, – Тюрэнн настойчиво предостерегал короля от изменников и имел на то основания, ибо впоследствии изменил сам, подобно многим другим. Генрих ответил ему, а также своим католикам:

– Если бы вы и все, кто говорит, как вы, ежедневно от души творили молитву Господню, вы бы думали по-иному. Я признаю, что все мои победы от Бога; я их недостоин; но как Он прощает мне, так и я должен позабыть все проступки моего народа, должен быть к нему еще снисходительней и милосердней, чем до сих пор.

День начался назидательно. Кстати, это было воскресенье, и светило первое апрельское солнце. Вся работа стоит, работают, пожалуй, только в арсенале.

Генрих приказал оповестить свою кузину, герцогиню де Монпансье, о том, что посетит ее. Было восемь часов, в десять он намеревался прибыть к ней. Нельзя сказать, что это его намеренье было вполне назидательно. Порой он с некоторым злорадством думал о фурии Лиги; верно, и она кричала, чтобы его захватили.

Кричала только в стенах своего дома, а не для улицы. Она не могла уже с балкона подстрекать преклонявшихся перед ней школяров к убийству короля. Не смела больше соблазнять своей величественной красотой грязного, плюгавого монаха, чтобы он пошел к королю и вонзил в него нож. Генрих ни на минуту не забывал, что именно так она поступила с его предшественником.

Он знал наперед, что его посещение не будет одобрено, а потому придворные, которые должны были сопровождать своего государя, узнали об этом в последнюю минуту. Да и ему собственное намерение было не вполне по душе; не годится, чтобы его друг, бывший король, видел это оттуда, где теперь находится. С другой стороны, он считал посещение фурии милосердным и вместе с тем умным поступком. Роду Гизов никогда уж не взойти на престол, почему же не пощадить и не умиротворить их, как других своих подданных. Но больше всего влекло его и под конец взяло верх над последними колебаниями это самое злорадство. Былая фурия, сознающая свое бессилие, зрелище, надо полагать, комическое, да и дрожит она тоже порядком, иначе быть не может, хотя он в первый же вечер после своего вступления велел уведомить ее, что ей нечего опасаться. Вот это и решило дело — именно сегодня. Он хотел доставить себе воскресное развлечение, которое, кстати, считал назидательным.

Но герцогиня, — чего Генрих никак не ожидал, — потеряла тем временем рассудок, правда, не вполне открыто, не для света и тех немногих, что еще остались ей от света. Когда кто-нибудь приходил, она становилась той же гордой дамой, какой была раньше; только никто не хотел навлекать на себя подозрения из-за нее: так было уже незадолго до въезда короля в столицу, а теперь тем более. Ее залы пустовали, все отреклось от противницы нового государя, боясь быть застигнутыми у нее, когда его люди придут за ней. Рано или поздно этого следовало ожидать. Один сразу набрасывается на свою жертву, другой исподволь наслаждается местью. Нужно занимать очень прочное положение при новой власти, чтобы осмелиться бывать у отверженной.

Когда герцогиню де Монпансье известили, что король намерен посетить ее в десять часов утра, часы пробили половину девятого. Удивительное поручение

переходило из уст в уста, пока кто-то решился наконец выполнить его. Мадам де Монпансье без промедления послала за мадам де Немур. Она искала поддержки, которая казалась ей надежной. Мадам де Немур занимала прочное положение, считалась одной из первых среди придворных дам, и король ею особенно гордился. Корольком называла некогда старая Екатерина Медичи своего маленького пленника. Он тем временем так вырос, что собирает вокруг себя целый двор знатных дам. «Без них ему не обойтись, — думала его противница. — У него нет королевы, а возлюбленная над ним потешается и обманывает его. Против мадам де Немур этот мальчишка не позволит себе никаких выпадов. Она придет и будет меня охранять. Да, в сущности, он и не осмелится посягнуть на меня».

Это была ее последняя разумная мысль. Во время своего туалета она вдруг стала звать Амбруаза Паре, врача, давно умершего. Он однажды пускал ей кровь, когда она лежала три часа без памяти вследствие своей бурной ненависти, которая была двусмысленна и именно потому ужасала ее. «Наварра» — так называла она короля, чтобы не сказать «Франция», но ее смятенное сердце говорило «Генрих», так вот, «Наварра» повелел привязать к лошадям и разорвать на куски настоятеля того монастыря, откуда был ее монах; он отомстил за короля, своего предшественника.

— Он уже здесь? — спросила она тогда у хирурга, который привел ее в чувство; сознание к ней еще не вполне вернулось, но голос и лицо были таковы, что старик отпрянул. Так и камеристки ее попрятались теперь по углам, когда она вскочила и стала звать покойника.

Мадам де Монпансье, до некоторой степени по собственному произволу, могла быть или не быть сумасшедшей. Обычно она не обнаруживала ничего ни перед врачом, ни перед своими камеристками. Она была одинока, покинута; герцог, служивший королю, умышленно отдалился от нее; и возраст ее сам по себе был критический. Недоставало только мужчины, который помог бы ей сделаться тем, чем она хотела — сумасшедшей; и он-то сегодня явится к ней. Она бегала по комнате, разметав черные, цвета воронова крыла волосы вперемешку с белыми прядями, и сжимала неукротимую грудь. Она была женщина крупная, плотная и ширококостная.

Вот она устремилась в дальний угол. Тотчас же камеристка, которая туда заползла, опустила все хилым тельцем на пол: все прислужницы робко, с дрожью и трепетом следили из-под кресел за бушевавшей адской бурей. «Осужденные грешники!» – подумал бы всякий. Так они стонут. Это их крики.

Несчастная призывала тех мертвецов, с которыми, в силу своего безумия, общалась уже теперь по ту сторону земного бытия: своего монаха, его настоятеля, их обоих ее помутившийся разум на вечные времена пригвоздил к позорному столбу, а тела отдал на растерзание лошадям. Но тут же она в безумной радости звала их именем Генриха, а вслед за тем испускала еще более мучительные стоны. Ее собственное тело претерпевало то, на что она обрекала другого, и она была безжалостной свидетельницей собственной казни, как это иногда случается во сне; она же видела сны наяву. Когда все миновало, она очнулась на стуле, измученная, дрожащая от озноба, и потребовала, чтобы ей в грудь немедленно вонзили кинжал. Пусть кто-нибудь заколет ее, неотступно твердила она. Камеристки давали ей нюхать соли; тогда она припомнила, что видела сон, тот же, который снился ей много раз. Сон о собственной казни повторяется, если он привиделся однажды. О том, что к нему примешивалось и что лежало в основе его, она благоразумно умалчивала.

Она хотела, чтобы ее завилы, но только как можно скорей, медлительную камеристку она ударила. Паж, который ждал у дверей, бросился прочь; но герцогиня его заметила и таким путем узнала, что мадам де Немур прибыла.

– Довольно, – приказала она, – румян не надо. Я не хочу молодиться. – Ее годы должны быть написаны у нее на лице; это самая надежная защита не только от темницы, но, вероятно, и от новых заблуждений. По пути вниз, в парадные залы, она поняла также, что для большей безопасности ей нужно высказаться, довериться мадам де Немур. И в самом деле, она сразу же рассказала сон о своей казни – как раз сегодня он снова мучил ее.

Мадам де Немур проявила живейшее любопытство, особенно потому, что мадам де Монпансье, на ее взгляд, с недавних пор сильно постарела. Она постаралась выпытать все темные подробности сна, а также, не участвовал ли в нем король. Герцогиня упорно это отрицала, но приятельница, глядевшая ей в глаза, не верила ни слову.

— В вашем сне он умирает вместе с вами. Скажите ему об этом. Он верит в предзнаменования и ради себя самого захочет, чтобы вы жили долго, долго. —

Говоря так, она думала совсем другое: «Ужасно! Эта женщина все еще помышляет об убийстве, а сама страшно боится быть убитой. Надо предостеречь короля». В это время часы пробили десять, и из передней, которая была через две комнаты, раздались голоса королевских дворян.

Он оставил их там и поспешил один мимо высоких окон по залитой солнцем анфиладе; его отражение на полу двигалось впереди него, но вверх ногами. Так как в конце пути его встретили взгляды двух дам, он уперся одной рукой в бедро, другой сдвинул со лба шляпу, чтобы лучше их разглядеть. Рукава у него, равно как и штаны, были сверху собраны пышными буфами, что придавало стройность всей фигуре. Выпуклая грудь, легкая игра мускулов при движении, все обличало крепкого мужчину, в котором еще много мальчишеского, — вошел он как к себе домой и поздоровался с милой родственницей, словно воротился из недолгого путешествия. Прежде чем дамы успели подняться, он уже сидел подле них, расспрашивал, смеялся. В уголках его глаз искрилась ирония; она придавала ему зрелость, ибо в ней была и печаль.

Очень ли удивлены дамы, что видят его в Париже, беспечно спрашивал он обеих; затем, не обокрали ли их? Нет? И лавочник их может им сообщить, что все ему платят, даже последний сброд, вошедший в город вместе с войсками.

— Что вы на это скажете, милая кузина?

Мадам де Монпансье отвечала:

— Сир! Вы великий король, милостивый, добрый, преисполненный благородных мыслей.

«В моих снах он казнит меня», — думала она с разочарованием и дала себе слово больше никогда не видеть снов. Он полагал, что она боится, и некоторое время играл с ней, как кошка с мышью. Наверно, она клянет господина де Бриссака, который сдал ему его столицу? В ответ она выразила сожаление, что на месте маршала не был ее собственный брат Майенн. Он весело воскликнул:

— Тогда мне пришлось бы долго ждать!

Во время этого разговора к ней неожиданно возвратилась прежняя осанка, ее гордость тем больше возмущалась против него, чем проще он держал себя. Либо он

не знает ничего о том, что руководит женщиной, что ей снится; он знает только государственные дела, и как же ничтожен он перед ее страстью, которую она расточала понапрасну и в которой раскаивается. Либо он все-таки замыслил погубить ее, тогда к чему эта игра?

— Сир! — холодно сказала она. — Победитель никогда не осуществляет того, что от него ждут.

Он вспыхнул.

— Иначе перед каждым домом стоял бы эшафот, — воскликнул он запальчиво, и сам не ожидал, что может так разгорячиться.

Герцогиня съежилась в кресле и закрыла глаза. Генрих отступил на шаг, затем еще на несколько шагов, так бы он и ушел. Но мадам де Немур удержала его.

— Разве вы не видите, что она стара и больна? — прошептала она. — Потом вдруг схватила его руку. — Вы побледнели, а рука ваша пылает. Вам самому худо.

— Да, мне худо, — повторил он. — И я никогда не мог привыкнуть к тому, что у меня есть враги не только на поле битвы.

Мадам де Немур сказала материнским тоном, словно матрона, восхищающаяся героем:

— Как бы вы могли стать великим, не будь у вас врагов!

Тут он произнес свое обычное проклятие, им самим придуманное и не понятное никому другому; затем воскликнул: — Кто бы ни заглянул в себя, каждому найдется, что побороть. А мне пусть дадут спокойно работать, у меня дела поважнее, чем выслеживать убийц.

Он явился сюда вовсе не за тем, чтобы высказывать такие мысли, пришло ему на ум. Он приложил дрожащую руку к виску. Взглянул на мадам де Монпансье, она уже очнулась и в упор смотрела на него. — Милая кузина, — Генрих говорит дружески, как вначале. — Мне жарко. Будьте добры, немного компоту, чтобы освежиться.

Герцогиня безмолвно встает и идет к двери. Он хочет остановить ее, чтобы она не утруждала себя. Мадам де Немур говорит:

— Сир! Она не вернется, она попросит извинить ее.

Однако она вернулась в сопровождении слуги, который принес требуемое: это

была миска с компотом из абрикосов; она зачерпнула из миски и поднесла ложку ко рту. Генрих отвел ее руку:

— Ну что вы, тетушка! — В испуге он назвал ее тетушкой, потому что она действительно приходилась ему теткой.

— Как? — ответила она. — Разве я недостаточно потрудилась для того, чтобы заслужить подозрение?

— Никто вас не подозревает. — И он уже сделал глоток. Мадам де Немур попыталась как бы нечаянно толкнуть его, чтобы компот пролился на пол.

Она

считала вполне возможным, что компот отравлен, — и побледнела, когда король

сделал первый глоток. Он же думал: «Возможно, фурия сюда чего-нибудь подмешала.

Тогда она и сама готова была принять яд. Чему быть, того не миновать. Я не

расположен дрожать от страха». И он продолжал есть.

Мадам де Монпансье вдруг сказала:

— Ах! Надо служить только вам. — Затем послышалось сдержанное, мучительное

рыдание. У Генриха отлегло от души, он простился с обеими дамами, — жарко пришлось ему с ними; милую кузину он пригласил в Лувр. Когда он задним числом

совершит торжественный въезд в свою столицу, она непременно должна присутствовать при этом. Мадам де Немур спросила, скоро ли это произойдет.

— После того как моя бесценная повелительница подарит мне сына, — ответил он, обернувшись, уже на ходу. Лицо его пылало.

После его ухода одна из дам сказала другой:

— Ребенок в самом деле от него.

— А вы сомневались, — заметила другая. За обедом он, против своего обыкновения, почти ничего не ел; но потом пожелал выехать верхом. В спутники

себе выбрал Бельгарда. В свите был еще некий господин де Лионн, красивый, молодой, всеми любимый за приятное обхождение. Господин де Лионн обладал искусством так обольщать людей, что они вырастали в собственных глазах, особенно женщины. Они чувствовали, с каким пониманием и с какой деликатностью

старается он не только им понравиться, но и дать им как можно больше счастья.

Редкостный кавалер, он ни одной не причинил горя, этого за ним не водилось.

Генрих охотно приближал его к себе, собственно, из-за обер-шталмейстера,

желая показать старому своему приятелю Блеклому Листу, что есть кавалеры и полюбезнее его и что счастливая пора скоро минует для удачливого любовника. На самом деле Генрих по-прежнему побаивался своего соперника в милостях прелестной Габриели — несмотря на ее привязанность, которой он, впрочем, не доверял слепо, а также на беременность, которая делала ее еще женственнее.

Они проезжали местечко Булонь, кавалеры наломали нераспустившейся сирени и бросали ее девушкам. Молодые крестьянки весело смеялись, однако не соглашались, чтобы их сажали на коней. Только одна взяла ветку с нераскрытыми лепестками, перестала смеяться и вдруг очутилась в седле с господином де Лионном.

— Блеклый Лист! — воскликнул Генрих. — И с нами случилось то же, когда мы были красивы, без желтизны в лице.

— Сир! Я давно позабыл те времена, — уверил его Бельгард; между тем они уже выехали в открытое поле. Вокруг стояло несколько хижин, крытых соломой; крестьяне по-воскресному собрались перед одной из них. Длинный стол был сколочен из двух досок на трех чурбаках. Стаканы были пусты, но голоса громки. Они пели и не умолкли, когда кавалеры спешились.

— Гей! — закричал обер-шталмейстер короля. — Ну-ка, олухи, прогуляйте наших лошадей.

Все обернулись, многие отозвались, но без особого почтения.

— Мы тут у себя дома, — сказал один.

Другой:

— Пока ваши сборщики не отнимут у нас последний кров.

Король незаметно уселся за общий стол. Он произнес свое обычное проклятие, хорошо известное по всей стране; тут кое-кто из крестьян взглянул на него.

— А вы не отдавайте — крикнул Генрих, — Не то они в конце концов и меня оставят без крова.

Все молчали, сжимая узловатые кулаки над тарелками; даже их спины, их плечи выражали безмолвие. У стариков шерстяная одежда грязного цвета прикрывала скрюченные тела, — следствие многих лет и десятилетий однообразного труда,

тягот и неизменной приниженности в движениях и походке.

Те, что не повернули головы к королю, искоса поглядывали то на него, то на свои собственные беспокойные кулаки. У одних глаза бегали по сторонам, другие непрерывно кивали головой; все это не вязалось с обычными представлениями о подлинной жизни, скорей это были карикатурные фигуры и образы, порожденные бредом. Король встал, ища прохлады в тени орешника. Несколько придворных вместе с Бельгардом держались поближе к нему, ибо положение казалось им ненадежным. Спас положение господин де Лионн, если предположить, что его нужно было спасти.

Он вышел из-за куста вместе с красивой девушкой, которая раньше сидела с ним на лошади. Они явно прятались в кустах; однако сейчас господин де Лионн вел молодую крестьянку за кончики пальцев, точно придворную даму; и так они, улыбаясь согласной улыбкой, приближались к столу и к самому молодому из мужчин, толпой окружавших стол. Этот юноша еще совсем не был искалечен работой, он был статен, как дворянин, хоть и лишен той гибкости, какая дается игрой в мяч и фехтованием, несколько тяжеловесен и медлителен. Его недостатки сказались сразу: когда он набросился на господина де Лионна, тот без труда удержал его, неожиданно обнаружив железную силу. Но при этом не утратил ни грации, ни вкрадчивости манер. Он снял шляпу перед молодым крестьянином, который снова плюхнулся на скамью. Он сказал, что имеет честь доставить ему его невесту, ибо всегда печется о том, чтобы ни у одной женщины не было на дороге неприятных встреч.

Старики, сидевшие вокруг, одобрительно кивали. Парня, который продолжал злобствовать, господин де Лионн в шутку вызвал на кулачный бой и заранее начал наносить удары в пространство, что представляло неотразимое зрелище, веселое, юное, вполне благонравное. Теперь смеялись все; господин де Лионн воспользовался успехом, чтобы попросту обнять молодого крестьянина, тот не противился. Общественное мнение требовало, чтобы он также ответил объятием, которое заставило себя ждать только вследствие его медлительности.

Генрих сказал своему обер-шталмейстеру:

– Блеклый Лист, и все-таки ты мне милей. Это первый вполне безупречный человек, которого я вижу. И когда я его вижу, мне делается страшно.

Один крестьянин, уже в летах, вытащил из-под скамьи одеревеневшие ноги. Он встал, чтобы рассмотреть короля. У него у самого были сутулые плечи, узловатые руки, висевшие, как плети, и скорбное лицо шестидесятилетнего человека, который никогда по-настоящему не радовался жизни. Король спросил крестьянина:

– Сколько тебе лет?

– Государь, – ответил крестьянин. – Я тоже спросил у одного из ваших людей, сколько вам лет, годами мы равны.

– И еще в другом мы равны, – сказал король. – Жизнь одинаково не пощадила нас. На наших лицах, на твоём и моём, много написано забот и трудов.

Крестьянин помолчал, прищурившись, потом сказал:

– Это верно.

Он подумал, хотел заговорить, но медлил. Король не торопил его. Глаза у него были широко раскрыты, брови подняты, он ждал.

– Сир! Пойдемте, – предложил крестьянин. – Идти недалеко, только до ручья.

Господину де Бельгарду, который хотел следовать за ними, король жестом приказал остаться; сам он двинулся вперед. Крестьянин подвел его к берегу, здесь вода была гладкая, как зеркало. Король наклонил над ней лицо, оно так и пылало, он охотно погрузил бы его в воду. Между тем оно начало пухнуть, в отражении казалось, что оно распухает на глазах, хотя он понимал, что это обман, что на самом деле болезнь давно исподволь подкрадывалась к нему. У крестьянина был теперь глубокий, проникновенный взгляд. Он заговорил:

– Сир! Скачите немедленно в свой королевский дворец. Ибо вам суждено либо умереть, либо выжить, как будет угодно Господу.

– Для меня и для тебя будет лучше, если я выживу, – сказал Генрих и попытался засмеяться. Лицо не повиновалось ему; из всех впечатлений дня это было самое досадное. В ту же минуту он услышал храп, храп сытого брюха, и это тоже вызвало в нем досаду.

– Что это такое?

Крестьянин пояснил:

– Человек, который ест за шестерых.

Генрих не понял. Он в первый раз увидел у крестьянина веселую улыбку.

– Как? – спросил он. – Ты радуешься, что человек ест за шестерых, когда тебе не хватает на одного!

Вместо ответа крестьянин показал королю бугор, поросший травой; за ним вздымалось и опускалось громадное брюхо. Крестьянин перешагнул бугор и принялся трясти спящего.

– Кум! – крикнул он. – Кум-прожора! Вставай! Король хочет посмотреть на тебя.

Прошло немало времени, пока тот поднялся. Взорам представилось гигантское туловище и лицо людоеда. Над густыми бровями совсем не было лба. В пасти и защечных мешках поместился бы целый запас пищи, глаза заплыли жиром. Туша еле держалась на ногах, так ее клонило ко сну.

Король спросил:

– Это верно? Ты можешь есть за шестерых?

В ответ раздалось хрюканье.

Крестьянин подтвердил:

– Конечно, может. Он сожрал все, что у него было, теперь мы кормим его. Вот и сейчас он будет есть за шестерых. Беги, кум! Покажи себя королю.

Туша пришла в движение, а земля задрожала от ее топота. Крестьяне за длинным столом встретили ее взрывом восторга, некоторые даже снова затаили песню. И, услышав, что тот опять готов есть за шестерых, они вмиг притащили все, что нашлось у них дома. Не успели присутствующие оглянуться, как доски стола уже гнулись под тяжестью окороков, сала, яиц, а пустые стаканы исчезли за громадными кувшинами. После этого отошавшие, сторбившиеся от работы люди окружили мясную тушу и принялись подталкивать ее и усаживать за стол. Между тем король подал знак, придворные разогнали олухов, и король резко окликнул брюхо:

– Вот как ты объедаешь моих крестьян! Есть за шестерых – это ты умеешь. А работаешь ты тоже за шестерых?

Брюхо прохрюкало в ответ, что оно, конечно, работает соответственно своему возрасту и силам. Легкая ли работа переваривать пищу, когда тебя заставляют есть за шестерых?

Король снова подал знак, тогда несколько человек из его придворных взялись за хлысты, набросились на мясную гору и принялись гонять ее по кругу. И как же она умела бегать, когда было нужно! Крестьяне выли от смеха, но король отнесся к делу серьезно. Весь красный, опухший, он кричал им, что его королевства не хватит на прокорм таких бесполезных обжор.

— Если бы у меня было много таких, как ты, — крикнул он толстяку, когда тот под ударом хлыстов пробежал мимо, — я бы вас перевешал. Из-за вас, негодяев, мое королевство чуть не погибло от голода.

Хотя в нем и кипел гнев, ему вдруг стало холодно; его знобило, и он решил, что это от поднимающегося тумана. Перед тем как сесть на коня, он приказал крестьянам самим опустошить весь стол; однако понял по их лицам, что они не послушаются. А снова отдадут все, что урвут у себя, своему прожорливому чудовищу, которым гордятся. Король в раздражении поскакал прочь.

— Тебе холодно, Блеклый Лист?

— Сир! У нас у всех застыли ноги на сыром лугу.

Большинство придворных не могли сразу отыскать своих лошадей, они тронулись в путь много позднее короля и его обер-шталмейстера. Последним был господин де Лионн. Он ждал, когда уедут остальные. Прикрытый кустарником, он поглядывал на крестьян; они все еще не могли опомниться от того, что король приказал им съесть все самим. Господин де Лионн посадил в седло ту самую девушку, с которой приехал, и вначале вел лошадь на поводу, чтобы она шла спокойно и тихо.

Когда Генрих добрался до Лувра, ему пришлось признать, что он болен. Он видел все, как в тумане, и знал, что будет говорить бессвязно, если заговорит. Он лег, врачи проделали над ним все, что полагалось, после чего чрезмерная раздражительность перешла в безучастие. Вечером в комнату вошел Бельгард, растерянный, возмущенный, и тотчас заговорил:

— Сир! Господин де Лионн...

— Слишком безупречный человек, — прошептал Генрих. — Мне стало страшно.

— Сир! И не даром. Ибо он, свернув в сторону от дороги, вспорол девушке живот
и в открытое чрево поставил ноги, чтобы согреть их.

— Только этого сегодня не хватало, — прошептал Генрих. — У него не было сил,
чтобы выразить возмущение. С трудом он присовокупил:

— Предать его моему суду, будет публично четвертован.

— Сир! Он дворянин, — сказал Бельгард слишком громко и даже поднял руки над
головой, так непостижим был приговор.

— А ты разве не дворянин? — спросил король Генрих беззвучно, но широко
раскрыл глаза. Бельгард опустил глаза и тихо удалился.

Немного погодя больного посетила его милая сестра, мадам Екатерина
Бурбонская. Ее разбудили, врачи нашли состояние ее милого брата опасным.
Когда

она увидела его лицо, слезы полились у нее из глаз, ибо оно было
неузнаваемо.

Но первый камердинер, господин д'Арманьяк, стоя в ногах кровати, знаком
показал

ей, что государь шевелит губами и что-то хочет сказать. Сестра нагнулась
над

ним; скорее угадала, чем расслышала; опустилась на колени и вместе с ним
тихо

запела псалом. День окончился, как и начался, назидательно.

Любовь народа

Он одолел болезнь много скорее, чем можно было ожидать, всего через семь
с

половиной дней, ибо она была лишь данью, которую тело платило духу после
нового

решительного поворота в жизни. Уже через месяц после болезни, едва
сбравшись с

силами, Генрих должен был выступить в поход. Из Нидерландов вторглись
испанские

войска, на этот раз под начальством некоего графа Мансфельда; но истинным
вдохновителем всех посягательств на королевство по-прежнему оставался
Майенн из

дома Гизов, причем на его стороне было большинство влиятельных вельмож.
Король

в Париже; столица в его руках, эта весть повсюду производит огромное
впечатление. Города и провинции сдаются ему за одно это, а некоторые

губернаторы – за наличные деньги. Упорствуют только большие вельможи, которые слишком много наживают на слабости королевства и бедственном положении обоих, короля и его народа. Они не могут смириться. На их счастье, король все еще отлучен от церкви. Пока папа его не признает, что случится не скоро, сопротивление ему может почитаться богоугодным делом.

Король осадил крепость Лаон и в то же время вел бои с наступающей армией, которую послал дон Филипп, хотя и был заражен. Не могут смириться, пока совсем не снимут. А потому смелее вперед! Генрих доказал, что силы его восстановлены. Среди трудов и опасностей он писал прелестной Габриели очень живые письма, подобных она никогда от него не получала. Она даже заподозрила, что ему не менее приятно и легко любить ее на расстоянии: она почувствовала ревность к его тоске и к своему изображению, которые всегда были с ним. Сын, который вскоре должен был родиться, заранее получил имя Цезаря, потому что он был дитя войны, если не иных столь же грозных событий. Отец, там вдали, мысленно носил его уже на руках, когда мать еще только ждала разрешения от бремени. Он настолько заполонил ее своими письмами, что у нее не оставалось места для мрачных мыслей. Так она родила ему его Цезаря.

Когда счастливая весть долетела до него, был прекрасный день июня месяца. В прошлую ночь Генрих излазил все склоны Лаонского холма, ища, откуда бы атаковать крепость. Теперь он смыл с себя грязь и поскакал в лес на свою ферму. Он знал ее с детских лет, она принадлежала к внешним владениям его бывшего маленького королевства Наварры. Он некогда ел там землянику со сливками, и ему захотелось еще раз полакомиться ею, когда сердце его полно счастья оттого, что у него есть дитя. Теперь все это звалось Цезарь: счастье, дитя и собственное сердце.

Встав от послеобеденного сна, он, как мальчик, взобрался на сливовое дерево, там его и нашли. Неподалеку отсюда по воздуху летают другого рода сливы. Неприятельская конница появилась поблизости, должно быть, готовит ему такое угощение, которое переварить нелегко. На коня, на коня, – и подросел он к Лаону как раз в ту минуту, когда пал его маршал Бирон. Вот лежит этот человек, он с

давних пор был сухощав и суров, теперь же стал дряблым и беспомощным, как бывает, когда близка смерть. Ее близость Генрих безошибочно узнает у солдат; сразу видит, где ее еще можно отвратить, а где нет. Он поднимает голову и плечи своего Бирона с земли, которая вскоре его покроет. Они смотрят друг на друга, в глазах предельная скорбь прощания и конца. Мы были врагами: вот почему с тех пор так крепка наша дружба. Не забывай меня, ты не можешь меня забыть. Не забывай и ты, там, куда тебя призывают. До свидания. Но нет. Какими глазами мы можем вновь увидеть друг друга, когда эти скоро превратятся в прах. Генрих упорно глядел в них, пока взгляд их не застыл и не помутнел.

В один и тот же день он получил своего Цезаря и потерял своего Бирона. Ясно ощущает он непрерывную смену, против натиска которой мы обороняемся и должны держаться стойко. Сыновья, идите за нами следом: я приближаю вас к себе, вы утверждаете меня. Бирон оставил при войске своего сына, король призвал его к себе.

— Маршал Бирон, — обратился он к сыну; так узнал тот, что наследовал звание отца. Он этого и ждал. Однако поблагодарил подобострастно; увидев, что король плачет, он, словно по приказу, разразился диким воем. Он был необычайно мускулист и вовсе не сухощав, но суров. Он еще когда-нибудь покажет королю свою верность. А сейчас он скорбел и стонал, что, собственно, не подобает сильному тридцатипятилетнему мужчине, — стонал до тех пор, пока король не остановил его, заговорив о жалованье, которое полагалось ему как маршалу Франции. Здесь Бирон-сын перешел к торгу. Он отстаивал свои притязания всеми доступными ему доводами.

— У вас есть враги, — доказывал он королю. — Я могу своими руками удушить любого человека. Что, если бы я был против вас! Сир, вы можете почитать себя счастливым.

Что это — просто глупость или дурное воспитание? А может быть, хитрость? Король хотел видеть в этом только бахвальство удачного создания природы, которое кичится своими незаурядными физическими достоинствами. Когда же Бирон сослался на свое влиятельное родство, король принял это как напоминание. Ибо

он, король Генрих, был призван и намерен ополчиться против родства и кумовства сильных мира и по возможности умалить их влияние во имя блага своего народа и королевства. Бирон-сын об этом понятия не имел. Генрих приглядывался к нему.

Круглая голова с низким лбом напоминала ему крестьянина, который ел за шестерых, — знакомство, состоявшееся во время приступа лихорадки. И все-таки, несмотря на злобную тупость, это голова дворянина, сына старого товарища. В этом человеке Генрих любил его отца и потому, обняв его, обещал все, о чем тот просил.

В июле крепость Лаон сдалась королю, потому что была к этому вынуждена; но Амьен и несколько других городов при первом же случае последовали примеру Лаона. А когда испанцы, или те, кого так называли, были снова изгнаны, король вернулся в свою столицу и в объятия прелестной Габриели. Подле ее кровати стояла колыбелька, это поразило его. Правда, мысленно Генрих уже прижимал к себе своего сына. Здесь он увидел его воочию, — возглас удивления, и отец торопливо ухватился за кресло, ему стало дурно — от радости, конечно, от радости. А если подумать, еще и оттого, что этот крепкий, здоровый мальчуган — его сын, который должен обеспечить ему будущее и дальнейшую жизнь за пределами его собственного существования; и то и другое прежде было под сомнением. Вот какая мысль задним числом потрясла отца.

Сидя у колыбели, он думал о том, что до сих пор один и, в сущности, без видов на будущее одолевал многие великие трудности и что все это легко могло пойти насмарку: достаточно было какой-нибудь пули. «Теперь — другое дело. Впредь нас будет двое». Это он все время твердил себе, наконец заговорил об этом вслух, меж тем как мать терпеливо ждала, что он скажет; ведь сама она была лоном его счастья, хотя счастье его выходило за пределы ее понимания. Он бормотал про себя:

— Большой и крепкий. Теперь меня никто не одолеет.

Роняя скупые слова, он в то же время мысленно пробегал всю свою жизнь, особенно юность. Королева, его мать, с ранних лет закаляла его. Сам он, сын больной женщины, не был от рождения большим и крепким, выносливым его сделала она. Это пригодилось ему, когда он в походе спал на голой земле и скакал навстречу врагу, всегда навстречу врагам, чаще всего в борьбе за королевство.

Битвы, осады, кровь, грязь, враги отступаются, падают, я же стою. А ты, мой сын?

Вопреки собственному опыту отец обещал своему крепышу сыну, что ему легко будет житься, без врагов, без преград, в мире и радости, в упроченном королевстве, среди народа, который любит нас. «Всего этого добьюсь я, мой сын, и завую нам любовь народа». Он взял ребенка из колыбели, поцеловал его и протянул матери, чтобы она тоже его поцеловала. При этом он поклялся, что они скоро обвенчаются. Первое, что не терпит отлагательства: ее развод с господином де Лианкуром, затем его собственный – с принцессой Валуа. Папа вынужден будет согласиться. Ничего другого ему не останется, если король Франции и победитель Испании пригрозит снова перейти в протестантство.

Папа снимет отлучение, собственноручно приобщит послов короля святых тайн. Он даст развод королю, соединит его с его бесценной повелительницей и прикажет всем верующим повиноваться ему. Все это еще весьма гадательно, но сейчас кажется, будто все уже свершено. Ибо у короля есть сын, он носит его на руках; от этого многое становится легче и ладится без помех. Такая счастливая была эта ночь, и таково было упоение – даже в объятиях прелестной Габриели он никогда не испытает подобного.

Но сперва прелестной Габриели нужно выздороветь. Кроме прошения в амьенскую консисторию, которой подсудны она и господин де Лианкур, никаких шагов не предпринимается, пока красота ее полностью не будет восстановлена и она с королем не совершит торжественного въезда. Ему необходимо вступить во владение столицей не тайком, на рассвете, а открыто, во всем величии. Ему не очень хотелось превращать в мишурное зрелище то, чего он добился нешуточной ценой. Но надо, чтобы бесценная повелительница совершила въезд вместе с ним: отсюда такое рвение. Двор, конечно, это понял.

Никто не противоречил ему. И при дворе и в городе об этом почти не шептались; все были ошеломлены дерзостью короля. Со своей возлюбленной желает он красоваться перед нами и перед простым людом. До всех других дворов и народов долетит весть, что король сделал свою подругу участницей такого торжества и решил возвысить ее до себя. На первую ступень трона прекрасная д'Эстре уже поднялась, подарив королю сына. Вспомнить только, что за пятьдесят

лет ни один король Франции не дал такого доказательства своей мужской силы! На вторую ступень прекрасная д'Эстре тоже занесла ногу. Надо быть настороже и дать отпор! Надо держаться дружно, а то можно в самом деле получить в королевы уроженку своей страны.

Таково было ходячее мнение. В сущности, с ним соглашались все, даже и сама Габриель. Ей было не по себе, особенно накануне торжественного въезда, ее возлюбленный повелитель назначил его на пятнадцатое сентября. Четырнадцатого тетка де Сурди почти ее не покидала. Госпожа де Сурди сама примеряла на нее все, что она завтра должна надеть: платье, драгоценности, блеск и богатство, достойные государыни, а для простых смертных небывалые.

— Ни одна женщина нашего звания никогда так не была одета, как ты, — сказала тетка. Племянница отвечала:

— Мне страшно. — Крупный алмаз выпал у нее из рук.

— Дура, — сказала тетка.

Она стала раздражительна, потому что, как ни странно, госпожа де Сурди тоже оказалась в интересном положении: может быть, от своего тощего друга Шеверни, а может статься, и еще от кого-нибудь. Надо сказать, она завидовала царственному великолепию Габриели, гляделась вместе с племянницей в большое зеркало и находила, что у нее самой тело не менее ослепительной белизны. Платье из черного шелка еще ярче оттеняло бы цвет ее кожи. Сплошь расшитое сверкающими камнями, оно держалось на широких и плоских фижмах, колебалось вокруг стана соблазнительными волнами и подчеркивало красоту форм, вместо того чтобы скрывать их. Госпожа Сурди была убеждена, что и ее собственные формы выдержали бы такое испытание. Спереди из широкого разреза поблескивала юбка, густо затканная серебром и покрытая длинными жемчужными гирляндами со звездами из драгоценных камней. Тетке очень хотелось стукнуть племянницу по затылку. Она была первой из многих, которым завтра предстоит краснеть от вождения и бледнеть от зависти.

Пока что она старалась окончательно запугать Габриель, хотя красавица и без того была смущена.

— Тебе следовало бы захворать в нужную минуту, моя красавица, — сказала

она. — Такую чрезмерную расточительность не следует выставлять напоказ. Это опасно не только для тебя, но и для всех нас. Господин де Рони подсчитает, какую ценность в переводе на деньги представляет весь твой наряд. К королю привели обратно его лошадей, потому что их нечем было кормить. Вот и подумай!

Габриель насквозь видела мадам де Сурди. Несмотря на внутреннее смятение, она сказала твердо:

— Мы с господином де Рони нужны друг другу. Он будет помогать мне, как я ему.

И хотя тетка продолжала ее предостерегать, Габриель решила, что сегодня же вечером уговорит короля ввести господина де Рони в финансовый совет. А в тот же вечер король вместе с ней сел в карету, о чем никто не должен был знать, и даже имена путешественников сохранялись в тайне. Путь этой четы лежал только до Сен-Жермена. Когда они прибыли, старый дворец чернел в зареве заката. Преведний двор когда-то обитал здесь, и то же зрелище чернеющего пламени встретило некогда маленького мальчика: далекий и чуждый, прибыл он сюда со своей матерью Жанной. И именно отсюда совершится завтра торжественный въезд в столицу королевства.

— Вашу руку, мадам, мы дома. Всюду, куда ни ступим, будем мы отныне дома.

Он это произнес, выходя из кареты, ибо он прекрасно чувствовал, что Габриели не по себе. Это первый королевский дворец, в котором ей предстоит провести ночь. Ей не по себе, она разделяет общее мнение, что это слишком дерзко. Представление о королевском сане основано у всех на суеверии, королю Генриху никогда не будет прощено, что у него представление иное. Он хочет разгладить морщины на изящном узком лбу женщины, родившей ему сына. Обхватывает ее лоб руками. Но Габриель закрыла глаза, ее дрожь усилилась, и, не открывая глаз, она попросила, чтобы он оставил ее нынешней ночью одну.

Вот когда он должен бы одуматься, а вместо этого торжественно въехал в столицу и остался всем доволен. Был вечер, пламя факелов полыхало по узким улицам, взвивалось над толпами народа, ввысь к разукрашенным домам. Даже на

фронтах и выступах зданий висели люди. Да здравствует – раздавалось снизу и сверху. Да здравствует король, и король – это он, на серой в яблоках кобыле, и грудь его обтянута серым шелком, затканым золотом. На этот раз на нем шляпа с белым султаном, ибо теперь водворен мир, и народ – одно со своим королем.

Вокруг и впереди него шагали в полном составе гарнизоны Манта и Сен-Дени вместе с городскими старейшинами и советниками, которые в случае чего могут стать заложниками, а посему да будет мир и да здравствует король! Между тем некогда восторженное неистовство бушевало вокруг другого коня, на котором сидел серебряный рыцарь, серебряный и белокурый, и в мыслях у него была только смерть. Кровапролитие, измена, долгие годы фанатической смуты, пока любимый герой этого города сам не пал жертвой убийства. Не будем вспоминать о покойном герцоге Гизе, не то любовь народа показалась бы сегодня куда слабее, что могло бы нас опечалить. А мы радостно отдаемся своему служению. Особенно радостно нужно служить во имя любви народа.

Вместо кровожадного любимца толпы мы предлагаем всеобщему лицезрению прекраснейшую из женщин – прекраснее ее не было никого во веки веков. Ее носилки двигались впереди всех, впереди короля, его войска, придворных, городских советников, сановников. Впереди, на некотором расстоянии, двигались носилки, их несли два мула в красной сбруе, окружены они были ротой стрелков. Занавески из красного узорчатого шелка были отдернуты; кто желал, мог умиляться застенчивой улыбке женщины. Она не горда, говорили одни. Она подарила королю сына. Ну, разве похожа она на распутное создание ада, как ее называют. Другие возражали: ее одежда чересчур роскошна, это не годится. Довольно взглянуть на лица женщин. Кем нужно быть, чтобы противостоять такой дружной зависти. А вот она противостоит, отвечали на это. Так угодно королю. Она его сокровище, его гордость, и она честь его.

Это говорили законоведы его парламента, в то время как он сам со всем шествием направлялся к церкви Нотр-Дам. Он кланялся всем, кто его приветствовал, и каждому, кто протискивался вперед, чтобы рассмотреть его и его повелительницу. Шляпа с белым султаном чаще была у него в руках, чем на голове.

Три красивые женщины в трауре стояли у окна, и он поклонился очень низко. На мощеной площади перед собором Богоматери его гуманисты говорили: все-таки он привел нас к победе, и вот наконец настало наше время. Однако сами видели, что они, как и их король, успели меж тем поседеть. Они говорили: власть и могущество приходят поздно, чтобы люди умели лучше пользоваться ими. И все они, более ста человек в красных мантиях, двинулись ему навстречу.

После «Te Deum» снова составилось шествие, но теперь оно уже не привлекало такой толпы зрителей, как раньше; было восемь часов, самое время ужинать. Король добрался до своего Лувра почти в одиночестве. Остальные раньше разбрелись по домам. Когда ему принесли ужин, он почувствовал, что зябнет. Холодно в старом дворце!.. Его могло бы согреть присутствие бесценной повелительницы. После публичной торжественной церемонии, в которой впервые участвовала Габриель, им обоим, естественно, нельзя было проводить вечер вместе. Но, может быть, и возлюбленная зябнет в своем доме? Каждый из них одинок, а что думает она о своем величественном появлении перед парижским народом?

Хорошо бы узнать, как ей кажется — действительно ли все обошлось счастливо, а если нет, то по какой причине. Она, наверно, так же ясно уловила истинные настроения толпы, как и он сам. «Даже спиной научишься ощущать, что думают люди, именно спиной, после того как минуешь их и они прокричат: да здравствует король! Все, что от меня зависело, я сделал», — на этот счет Генрих был спокоен. «Кобыла в яблоках плясала подо мной, когда я кланялся трем дамам в трауре. Я не держался на коне чванно, точно испанское величество, но и не гарцевал, как юный головорез. Те три женщины ответили мне чарующими улыбками. А уж созерцание моей повелительницы несомненно умилило до слез всех одинаково, и мужчин и женщин, иначе быть не может».

— Разве не была она прекрасна? — тихо спросил он, упершись взглядом в стол и не посмотрев, кто из его дворян прислуживает ему. А исполнял сейчас эту обязанность храбрый Крийон, человек, покрытый рубцами от бесчисленных сражений и верный из верных. Под Лаоном он сражался храбро и выговорил себе в награду, что в нынешний вечер будет наливать королю вино. Он налил вино и ответил:

— Да, сир! Она была слишком прекрасна.

Генрих обернулся.

— Храбрый Крийон, садись со мной за стол.

Остальные придворные поняли это как указание удалиться.

— Теперь скажи, в чем ты ее упрекаешь.

— Государь, я боготворю ее, — заявил воин. — Я весь ваш, а потому благоговею перед вашей возлюбленной, ничего другого у меня и в мыслях нет. Но люди, так уж они созданы, были возмущены носовым платком, который она держала в руке; говорят, одна его вышивка стоит двадцать эку. А хоть бы и сто! Ведь это возлюбленная моего короля.

— Выпей со мной, храбрый Крийон. А что говорят еще?

— Сир! Очень много и по большей части ерунду.

— Ну-ка, выкладывай все.

— Я ведь простой рубака, как многие другие, толкаюсь неприметно среди народа, ну и слышу, например, будто вы увеличили содержание вашей возлюбленной с четырехсот до пятисот эку в месяц и купили ей поместье, а у самого у вас одни долги. Меня это не смущает. Где войны, там и ростовщики. У вашего величества на предмет денег имеется ваш Гонди, ваш Цамет, иноземные плуты, они выжимают из вас все соки, — так говорит народ. А из-за этого вам самому приходится облагать народ поборами, говорит он. Несправедливо облагать, утверждает он.

Генрих заговорил — уже не для храброго Крийона, которому налил стакан вина, а может быть, и несколько подряд.

— Несчастные! Они еще недовольны мною. До сих пор не хотят признать, что я отнюдь не делаю им жизнь тяжелее, а наоборот, по возможности облегчаю ее. Они полюбят меня, когда я все налажу, согласно своим планам и тому, что будет рассчитано в арсенале.

Воин, сидящий за его столом, услышав слово «арсенал», вскипел:

— Того, что в арсенале, люди считают худее всех. И правда, разве может солдат вдруг удариться в финансовые дела?

— Это все? — снова спросил Генрих своего боевого товарища. У того на лбу и

на щеках покраснелись рубцы — не от выпитого вина, он мог выпить и больше, наоборот, только вино и придало ему смелости высказаться, иначе слова застряли бы у него в горле.

— Сир! — сказал храбрый Крийон. — Если бы вы остались гугенотом!

— Ну, тебе-то по крайней мере я полюбился еще еретиком. — Генрих похлопал его по плечу и рассмеялся.

— По мне будьте вы хоть турецким султаном. — Воин смущенно замаялся и понизил голос. — Я не называю вас ни изменником, ни лицемером, но так говорят проповедники со всех кафедр и монахи, ходящие из дома в дом. Люди думают, что вы вообще не признаете никакой религии.

Еще тише, чем его собеседник, совсем неслышно, глядя в стол, Генрих сказал:

— Я часто сам так думаю. Что я знаю?

Храбрый Крийон:

— Все считают, что вы переменили веру только из расчета, для того, чтобы вас признал папа. А главное, чтобы он расторг ваш брак, и тогда бы вы женились на своей возлюбленной.

Тут Генрих произнес привычное проклятие.

— Так я и сделаю.

— Да. Если он пожелает. И вот мы должны смотреть, как вы смиряетесь перед папой. Наш король прежде ни перед кем не унижался.

Генрих:

— Он наместник Бога на земле.

Храбрый Крийон:

— Какого Бога? Бога монахов, которые шныряют повсюду и нашептывают, будто вы антихрист? Ваша судьба, мол, предрешена, и вам не уйти от нее.

Генрих:

— Так говорят? — Он отлично знал, что говорят именно так, но не ожидал, что пришло время преданному человеку сообщить ему об этом.

У боевого товарища гнев рвался наружу, он отважился на полную откровенность.

— Сир! Разведены вы или нет, все равно вам следовало жениться на своей возлюбленной и сегодня совершить торжественный въезд со своей королевой. Если людям так хочется, покажите им, каков бывает антихрист. Не бойтесь, они не пикнули бы, и не король смирялся бы тогда; раз и навсегда смирился бы римский папа и слушался вас вместе со своими попами, монахами и всей братией. Аминь!

— Храбрый Крийон, теперь нам пора спать, — заключил Генрих.

Казнь

Король приказал отыскать старые планы умершего зодчего; по ним он делал пристройки к своему Луврскому дворцу, продолжая жить в нем. Постепенно пришлось нанять около двух тысяч рабочих, которые наполнили шумом все дворцовые строения. А пока шли работы, король не раз отправлялся в путешествия. В сущности, это были военные походы, но он называл их путешествиями.

Он украсил южный садовый фасад орнаментом: Н и G переплетались на нем. Вслед за тем он взялся за постройку большой галереи от Лувра к дворцу Тюильри и этот последний тоже обновил. Со временем он расширил Лувр вплоть до павильона, названного по имени богини Флоры, и в другую сторону, до великолепного дворцового здания Тюильри. Когда все это будет полностью завершено, истечет и отпущенный ему срок. Итак, до конца дней предстоит ему жить у себя в доме среди беспорядка, беспокойства и веселой работы, с постоянными мыслями, чем за нее платить.

Он начал с дома, а в итоге многое оказалось перестроенным, и тогда стало ясно, что перестроено все королевство. Пока дело делается, осмыслить его трудно, и отношение к нему остается неопределенным. Заботам об общей пользе всегда сопутствует недоверие, намного опережающее благодарность. Стоит отдельным людям что-либо утратить — незаслуженный преизбыток власти, денег, поместий и влияния, — и перемены такого рода уже объявляются общественным бедствием. Об этом есть кому позаботиться. У вельмож, которых король выгнал из их владений, были, конечно, целые толпы приспешников. Каждый из них жил за счет народа, как тот обжора, явившийся Генриху в лихорадочном бреду, который ел за

шестерых, а голодные крестьяне потворствовали ему.

Рони, позднее, много позднее герцог Сялли, — король не торопится, ибо этот рыцарь с соборного фасада — лучший его слуга, на каждом шагу создающий ему врагов, — итак, господин де Рони для начала попадает в финансовый совет. О назначении его просила Габриель д'Эстре, сам король сообщил об этом господину де Рони. Потому-то совет снисходительно, сквозь пальцы смотрит на транжирство бесценной повелительницы и ее широко разветвленной семьи.

Королевский советник де Рони, как и обещал, рискуя головой, отдался делу. Добился, чтобы король поручил проверку финансовых ведомств во всем королевстве именно ему — минуя всех старших членов коллегии. Уж это само по себе вызвало озлобление, а тут вдобавок контроль. Не было ведомства, из которого Рони не выжал бы денег, вскрыв целую сеть хищений и положив конец наглому расточительству, а в случае нужды прибегал даже к силе. Ибо королевский советник являлся в сопровождении вооруженной стражи и сам часто из советника превращался в солдата. И при этом он — протестант, упорно остается таковым и дает повод всем тем, кто по его милости лишился легкой добычи, поднимать разговор о вере.

— Ваша религия терпит притеснения, — твердили крестьянам со всех сторон. — Теперь вы снова обрабатываете землю, но выручки с урожая нам, должностным лицам, не сдаете, а это грех. Вам не грозит больше продажа имущества с торгов, скот свой вы кормите, как не кормили уже давно, и от пошлин избавлены тоже, все пути вам открыты. Местный суд, который попробовал восстановить пошлины, распущен. Это насилие, его совершают два еретика. Берегите душу свою от гибели!

Они и берегли, как умели, и даже поднимали бунты; вопреки очевидности они полагали, что им живется хуже. Таково воздействие пересудов, которые неустанно орошают человеческий слух, как воды рек — поля. Пересуды сводились к тому, что за спиной явного еретика Рони другой, обращенный для виду и ныне провозглашенный королем, намерен уничтожить религию, ибо он антихрист.

Король Генрих смеялся. Ему живется тоже не сладко, и будь он крестьянином, он непременно бы взбунтовался. Впрочем, и люди истинной веры убеждали его обуздать Рони. Да, втайне у него самого было искушение устранить Рони от дел,

но он понимал, какое великое дело – твердость; с возрастом она становится непреклонней, с годами все более чревата опасностями. И своего Рони он предпочитал награждать, потому что тот не признавал подкупов. Деньгами больших лихоимцев господин де Рони пренебрегал по убеждению; но охотно принимал от своего государя награды за честность. Кошельки, которые являлись платой за его верную службу, он брал так же невозмутимо, как загребал свою долю в былые времена, когда еще разрешалось грабить завоеванные города. Впрочем, ему случалось возвращаться к прежним привычкам, тогда он советовал королю лучше повесить того или иного знатного вельможу, чем тратить на него деньги, чтобы заставить убраться из его провинции.

– Глупец, – говорил ему в таких случаях король Генрих. – Война против одного из моих подданных обойдется мне дороже, чем если я куплю его.

Колебания и недоверие были до сих пор той жатвой, которую собирал король, не считая чистых доходов с поездок Рони. Того же достиг он и своими мастерскими в Луврском дворце. Он устроил в первом этаже мастерские, где работали и ремесленники и художники, – различия между ними он не делал. Ему хотелось, чтобы весь народ и главным образом чужеземцы могли наглядно видеть, как развиваются ремесла в его королевстве. Он пошел еще дальше и приступил к сооружению в своей столице Королевской площади: длинные аркады вокруг огромного фонтана, вскоре там будет показано то, чем так гордился король, его детище, – шелковая промышленность. Ее он ввел, ее он пестовал.

Однако ему не суждено было воспользоваться своей Королевской площадью, а после него она стала служить устарелым обычаям, но отнюдь не развитию ремесел. Такова была участь этого средоточия промышленности, ибо, при всем своем усердии, король не мог справиться с тем, что должен был выполнить один за положенный ему быстро истекающий срок. Кроме того, его столица, по примеру крестьянства, недоверчиво относилась к новшествам, она тоже сделала из них вывод, что король как-никак, а против религии. Горожане со своими домочадцами посещали недостроенную площадь; она предназначена для них и для их дела. Это не нравилось им, они толпились на площади и выражали сомнение насчет того, не отступает ли король от истинной веры. Богу угодно, чтоб горожане трудились в тесноте. Открытое пространство, сводчатые галереи с фонтаном посредине подходят

только для господ. Пускай играют здесь в кольца и устраивают турниры, как это было испокон веков с соизволения Небес.

И опять так будет, подождите немного. Король Генрих и без того вызывает нарекания своими мастерскими, которые сооружает в Лувре и отдает ремесленникам. Грохот работы, расчеты с клиентами, люди в рабочем платье, которые входят и выходят, — и все это под одной кровлей с государем. Разве это дозволено и не кощунство ли это? Ну, хорошо, король строит. Ну, хорошо, он первым делом приказал садовнику Ленотру разбить большие куртины и множество аллей, обсаженных подстриженным шпалерником. Доходы, которые выжимал его финансовый советник Рони, он тратил на иноземные деревья, пинии, померанцы и сикоморы; все отгородил и прогуливался один по своим зеленеющим залам. Все это по-королевски. А пребывание его в мастерских, склонность к низменным занятиям вызывает досаду. Тут не обойтись без неприятных случайностей: зачем же королю подвергаться им, особенно этому королю, когда положение его и без того довольно шатко.

В мастерской одного каменотеса какая-то женщина забилась в падучей. Многие своими глазами видели: священный недуг одолел ее, когда она узрела крест, который протягивал ей навстречу высеченный из камня святой. Бес, который в нее вселился, не мог этого стерпеть, он рвался прочь. Позвали священника, он произнес над одержимой все внушительные слова, какие полагается произносить, и злой дух непременно обратился бы в бегство. Женщина страшно билась, из ее уст вырывались бесовские вопли. Но тут появляется король со своей стражей.

— Что здесь происходит? — восклицает он и с размаху бьет дьявола по лицу. Все своими глазами видели: адский лик зловеще проступает наружу после пощечины, он изрыгает пену, женщина, того и гляди, задохнется. Между тем является врач, за ним послал король. Врач пускает кровь пораженной свяшенным недугом, как будто это дозволено. Он наполовину раздевает женщину, окутывает ей плечи и голову платками, смоченными в холодной воде, все это он проделывает насильственно: тут как раз проносят по улице святые дары, и хотя женщине под мокрым холстом ничего не видно, она начинает рычать сильнее прежнего.

Король оказывается не прав. Он покидает мастерскую под враждебное молчание толпы. К счастью, его сопровождает стража. Ему не скоро будет прощено

надругательство над одержимой, которая, впрочем, сейчас же встала и пошла своей дорогой. Такое излечение не идет в счет. Мастерские в Луврском дворце, Королевская площадь и еще многое другое, мосты, которыми он связал отдельные части Парижа, превратив его в единый город, все это не в счет. Пока нет. Король прощает — он прощает всему свету, своим врагам из Лиги, которые рады бы его повесить, большим вельможам, которых он сам мог бы повесить, вместо того чтобы откупаться от них. Он отпускает крестьян, которых нужда до недавних пор доводила до разбоя; и даже протестантам, его прежним единоверцам, никто не причиняет зла. В Париже со времени въезда короля не было ни одной казни, людям это не нравится. Пока нет.

Но однажды на Гревской площади все-таки начались приятные и привычные приготовления: подручные палача сооружали эшафот, они смазывали колесо, чтобы оно без задержки вращало их подопечного, в то время как палач будет дробить ему члены. Кроме того, наготове стояли четыре черных коня, чтобы разорвать его на четыре части. Дома, кверху более широкие, чем внизу, с любопытством поглядывали всеми своими окошками: что-то будет. Люди в толпе таращили глаза; под высокими шляпами и подстриженными в скобку волосами у них от чрезмерного любопытства даже заострились носы. Они сами себе не верили, хотя слышали резкий звон колокольчика, возвещающего казнь. Но неправдоподобное свершилось на самом деле: окруженный солдатами, появился какой-то дворянин.

Он шел беспрепятственно, свободный проход образовался сам собой, толпа раздалась. Его походка была даже грациозна, не тороплива, но и не замедлена, голову он держал кокетливо, показывая зрителям прелестное молодое лицо. Взоры женщин не отрывались от него, и он отвечал на них с нежной настойчивостью, которая казалась непонятной в его положении, после совершенных им злодеяний. У женщин, в глаза которых он погружал взгляд, замирало сердце, но они сами не знали — от ужаса или от жалости к нему. Две женщины средних лет и грубоватой наружности первыми подняли ропот, другие немедленно поддержали их. Кавалер с таким ласковым взглядом не должен быть колесован! Кавалер с такими деликатными

манерами не совершил преступления, да еще такого злодейского, за которое его хотят четвертовать!

Некоторых мужчин жены обозвали трусами, после чего те нехотя принялись ворчать на суд короля и на него самого. Напор в сторону эшафота был так силен, что вся толпа всколыхнулась. Еще немного, и стоящие впереди отбили бы господина де Лионна у солдат, прежде чем те успели отдать его в руки палача. Этого не случилось лишь потому, что осужденный опустился на колени и стал молиться. Тогда все решили, что сам заплечных дел мастер колеблется; кстати, сейчас, наверно, появится посланный короля и освободит дворянина. Вместо этого подручные палача схватили его, и тут, на лестнице, ведущей к зданию суда, вдруг очутился молодой крестьянин, он возвысил голос среди ошеломленного молчания, и голос его то креп, то срывался от ярости и ненависти.

— Она была моя невеста. Он поставил ей ноги в распоротый живот.

После этого некоторые женщины подняли пронзительный вопль, в унисон с торопливым колокольчиком. Ибо они раньше все знали, но отказывались верить, потому что красивый дворянин выступал так грациозно. Сейчас это было ему уже недоступно, потому что его связали, руки вытянули сзади над головой, а ноги, от колен вниз, свешивались с колеса; меж тем за молодым крестьянином последовали другие свидетели. Теперь обнаружилось и передавалось из уст в уста, пугливо, возмущенно, озлобленно, что негодяй не раз совершал подобные злодеяния, особенно у себя в поместьях. Только из страха перед его званием и могуществом никто не решался возбудить против него уголовное дело. Судей удерживали опасения, а крестьян — их вековечное рабство.

Как поверить, что дело кончится именно так? Все вытягивают шеи: вестника спасения нет как нет, а палач уже вертит колесо и раскачивает железный брус. Через всю площадь проносится вздох. Огромная толпа народа на Гревской площади в Париже одной грудью выдыхает свое напряжение, дошедшее до предела. Значит, действительно новшество вошло в силу, и дворянина казнят по общим законам для воров и убийц. Не обезглавливают мечом, как ему подобных, да и казнят отнюдь не за посягательство на особу государя. Нет, его колесуют и четвертуют за преступные деяния против бедных людей. Тот мужчина, что ворчал недавно по

наущению жены, вдруг вспыхнул весь и яростно выкрикнул:

— Да здравствует король!

Глас народа, на этот раз к нему благосклонный, не сразу долетел до Генриха.

Он большими шагами в одиночестве ходил по зеленеющим залам своего отгороженного сада; он думал: «Хоть бы тот уже отмучился!» Колокольчик, возвещающий казнь, указал ему ее начало, он остановился и вытер лоб. Он думал: «Сумасшедшие есть повсюду. Я знал таких, которых до безумия довела любовь, и таких, которых довела до безумия ненависть. Они убивают ради преходящего и ради вечного, ради небесного блаженства, которое хотят заслужить, ради женщин, которыми хотят обладать. Небеса и женщины даруют нам жизнь, но они же причина и того, что мы убиваем. Иные становятся пророками, как, например, проповедники, которые провидят мою смерть и пишут об этом мне. Иные колдуют над моим восковым изображением, дабы я умер. Стоит подумать о моей лихорадке, о герцогине Монпансье и о человеке, который ел за шестерых. Стоит вспомнить господина д'Эстре, который воровал по глупости, или мухолова Бриссака, или полководца Парму, воюющего без цели, или неисправимого Майенна; стоит представить себе хотя бы моего рассудительного Рони, который почитает деньги наравне с честью; господи помилуй, повсюду вокруг меня безумцы! С их вздорными притязаниями, мнимыми подвигами и жадной крови мне еще не раз придется иметь дело. А как только они поразят меня, поразят в конце концов, — взгляд их станет разумным, сумасшествия как не бывало».

Колокольчик, возвещающий казнь, звякнул в последний раз и замолк. Генрих склонил голову, всей душой помолился за господина де Лионна: «Господи, смилуйся над ним! Он слишком любил женщин». Молящийся мысленно припал к стопам Господа, а также к коленям своей бесценной повелительницы; да охранит она его от крайностей, от извращений, от унижений. Они грозят нам постоянно, ибо наш разум пробивается узкой тропой между безднами, которые манят и зовут его. С тобою мир, спокойствие с тобой!

У колыбели

Иезуиты хотели назначить ему духовника, а он все откладывал решение. Он ясно чувствовал, что они становятся для него тем опасней, чем дольше он от них уклоняется. Но у него не было сил смириться еще более; а французы обоих исповеданий отнюдь не хвалили его за это. Вечно играть перед Римом роль покорного сына и бедного просителя, и за это получать щелчки — что, впрочем, он считал заслуженным, и хотя отвечал проклятиями, но слышал их единственно господин д'Арманьяк. Он решался пропустить мессу только в случае безотлагательных дел. И то пытался оправдаться.

— Я работаю для общего блага, а не для того, чтобы слушать мессу. Мне кажется, что, уходя таким образом от Бога, я все-таки прихожу к Нему. — Однако даже такую вольность прелаты спускали ему неохотно. И это были еще самые стоворчивые.

Но боевой отряд молодого ордена иезуитов спуску ни в чем не давал, ничего не забывал. Двор относился к ним враждебно, парижский парламент затеял с ними тяжбу, ибо отцы иезуиты решительно не желали приравнять к божескому мирское величие королей, как это было принято теперь в Европе. Генрих, единственный, кто разделял с ними это мнение, очень миролюбиво разрешил тяжбу. Совершенно иначе действовали отцы иезуиты. Они считали милосердие и снисходительность к врагам преступлением, притом единственным, которое не могло быть прощено. Вопрос о короле Франции обсуждался ими как здесь на месте, так и в Испании. Их обличительные писания увеличились за это время на несколько глав — заключение и конечный вывод неминуемо сводились к убийству тирана.

Отряды своих собственных борцов за веру, своих гугенотов, Генрих берет независимо от того, понадобятся ли они ему в будущем или нет. Все может быть. Арк и Иври — не навек отошедшие в прошлое битвы, как бы мы ни старались о них позабыть. И в Луврском дворце стоят наготове потихоньку сложенные сундуки — до конца его царствования они должны быть под рукой. Если Богу будет угодно, то нам не понадобятся ни сундуки, ни гугеноты: мы намерены с твердостью противостоять року. Король и отец своего народа не знает никаких любимцев, все должны быть одинаково близки его сердцу; те, что работали в винограднике только последний час, получили такую же плату, как и первые. Со своими первыми сподвижниками Генрих обходился даже строже, нежели с пришедшими позднее.

Внутренний голос в свое время подсказал Филиппу Морнею, что отныне он в

тягость королю. О своем пребывании в Англии ему не довелось доложить государю прямо из уст в уста, как он сделал бы прежде. Он передал ему докладную записку, в которой уверял его в несокрушимой дружбе Елизаветы. Вскоре после этого она отозвала из Франции все свои войска. Тогда Морней безмолвно удалился в свой город Сомюр; он был тамшним губернатором еще со времен прежнего короля. Он сделал даже больше: укрепил город со стороны Луары. Кроме того, по своему обыкновению, сочинял богословские трактаты — в свободное время. Королю он представил свой проект галликанской господствующей церкви, обезопасив себя расстоянием. Попутно он присовокупил торжественные уверения, что в его чувствах ничего не изменилось и преданность его остается нерушимой. Впрочем, он рассматривает переход короля в другую веру как временное затмение. Однако он укрепился в Сомюре и на призывы короля возвратиться в Париж отвечал уклончиво. Но в конце концов поехал, недоверие не устояло перед старой привязанностью.

Тюренн, другой влиятельный протестант, так и не решился добровольно отдать себя во власть короля, впоследствии его хитростью захватил верный Рони, за что стал герцогом. Когда Тюренн наследовал маленькое герцогство Бульонское, он не только укрепился там, как Морней в Сомюре: он разыгрывал независимого князя по примеру некоторых вельмож, которые кое-где еще держали себя подобным образом. Королю Генриху суждено узнать и протестантских мятежников после других, более привычных. Многие приверженцы его старой веры, которые были слишком слабы, чтобы восставать против него, распускали слух о том, как он издевается над их единоверцами. Некий врач перешел в католичество, и король по этому случаю осмеял своих протестантов.

— Ваша религия, по-видимому, очень больна, если врачи от нее отказываются.

Он шутил на их счет и хотел, чтобы они отгадали его истинные мысли: но они не могли. Им непонятно было, что он бережет их — не для бойни, от которой избави Бог, а не избавит, мы сами уж будем знать, что делать. Нет, Генрих стремился к тому, чтобы приравнять свою старую веру к вере большинства, как в смысле законных прав, так и влияния. До этого еще далеко, на первых порах он

унижается перед папой, кормит обещаниями иезуитов, проявляет строгость к друзьям, легкомысленно шутит. Но цель у него всегда перед глазами, никто другой не видит ее, а сам он должен молчать о ней. Лишь полная безопасность и свобода «истинной веры» у него в королевстве будут для него оправданием и апогеем его царствования. Ему нужно стать по-настоящему великим, чтобы добиться этого.

Что знает, в сущности, его лучший слуга Рони? Или Агриппа, который любит его больше всех? Рони весь отдался государству и через него королю. Этот человек словно высечен из камня; кто препятствует возвышению короля, того надо убрать прочь, не исключая и бесценной повелительницы Габриели. Он стоит на своем, хотя до поры, до времени смотрит на многое сквозь пальцы. Еще меньше тревожит лучшего слугу отпадение его собственных единоверцев. Каждому по заслугам. Сам он крепко закован в свою броню; велит изобразить себя в панцире, вешает портрет в арсенале, где ведет расчеты и пишет приказы. Его собственный жизненный путь был полон рыцарских приключений, из них можно составить целый роман, — которого Рони, конечно, не напишет, зато он собирает теперь материалы для своей книги о хозяйстве страны. Довольно романтики, если допустить, что Рони когда-либо не был трезвым, даже при самых романтических обстоятельствах.

Романтическим остался Агриппа, у него это было в крови. Господин д'Обинье однажды имел крупное столкновение с господином де Рони, какое может быть у старых друзей, в глубине души уверенных, что ни один из них не предаст другого, а потому в пылу спора доходящих до признаний. Агриппа требовал:

— Ни слова против прекрасной и пленительной женщины, которая воодушевляет короля на деяния, превышающие его возможности. Если бы не бесценная повелительница, его гений не достиг бы такого многообразия и силы. Мы сами ничего бы не стоили, и в особенности вы, господин де Рони, были бы посредственным офицером... Каким вы, в сущности, и остались, — вскользь добавил Агриппа.

Рони отвечал в холодной ярости:

— Превосходно. Между тем бесценная повелительница обманывает короля с господином де Бельгардом, и сын короля от него.

— Я вызываю вас, милостивый государь! — заявил вспыльчивый человек. Противник окинул его сверху сокрушающим взором голубой эмали.

— Прежде чем я вас заколю, — заметил господин де Рони, — поспешите описать в стихах прекрасную и пленительную причину нашей ссоры, стихи выйдут посредственные, ибо таким остались вы сами как офицер и поэт, — тоже вскользь добавил он.

Агриппа был слишком горд, чтобы защищать свой талант. Сочинять стихи и драться — вот два дела, о которых не принято говорить. Зато он сказал, — и при этом так вырос, что обоим показалось, будто теперь сверху вниз смотрит он:

— Королю подсовывают пасквили. Я не хотел бы быть тем, кто берет это на себя.

— О чем вы говорите, — сказал Рони не вопросительным, а пренебрежительным тоном. У него был твердый взгляд на свои обязанности. Нищий, забияка и фантазер, Агриппа всегда был далек от действительности, но для такого человека, как Рони, долг и понимание действительности — одно.

Рони продолжал:

— Ваша область — это слова, безразлично, каков их смысл, лишь бы они звучали. Если не ошибаюсь, вы не смеете показаться на глаза его величеству, потому что сболтнули лишнее. Вы болтали, что в нужде, которую терпит народ, повинна бесценная повелительница. Прелестная дама, бесспорно, получает больше денег, чем вы. Впрочем, в пасквилях стоит такое же обвинение, и тот кто дает их читать королю, а не острит безответственно за его спиной, несомненно, человек долга.

Агриппа запомнил только одно:

— Я не смею показаться ему на глаза? Я?

— Иначе вам конец. Он убьет вас, он так сказал.

Агриппа уже был на улице, вскочил на коня и галопом помчался в Луврский дворец. Как раз в эту минуту вернулся и Генрих.

— Сир! Я явился, чтобы вы сдержали слово и убили меня.

В ответ Генрих обнял за шею своего Агриппу. Тесно обнявшись, оба старались

скрыть набежавшие на глаза слезы. Король повел старого товарища в расположенное неподалеку жилище Габриели, ее самой не было дома. Он вынул из колыбельки своего Цезаря и положил его на руки господину д'Обинье.

— Сир! Ваш портрет, — сказал добряк вопреки очевидности, так как крупный, белокурый, светлоглазый мальчуган был во всем похож на мать.

Генрих сказал:

— Вот видишь. Он мой, и я зову его Цезарем.

— Горделивое имя, — сказал Агриппа. — Великий Юлий Цезарь в своей империи уничтожил классы; впредь все должны были стоять на одинаково низкой ступени, чтобы властелин равно возвышался над всеми. Все народы вокруг Средиземного моря были объединены им. Для народов это значило, что они подчинены одному-единственному повелителю.

— И именно потому перестали быть рабами, — быстро проговорил Генрих. И тотчас же продолжал: — Глаза этого ребенка, отражающие младенческую чистоту или пустоту, еще не таят подобных умыслов. А что толкуют уже теперь о нем и его происхождении! Посоветуй, как мне быть!

Добряк с жаром воскликнул:

— Государь, только смеха вашего достойны пересуды, пасквили, а также глупые шуточки, которые позволяет себе жалкий бедняк из-за того, что ему мала пенсия.

— Мы повысим ее — в другой раз, — Генрих взял у Агриппы своего Цезаря. — Однако мне и так приходится часто смеяться и прикидываться глупцом, вот и сегодня я поднял на смех одного проповедника, он, видите ли, отчитал меня при всем народе за то, что я о чем-то шептался с моей бесценной повелительницей.

— Во время проповеди? — спросил Агриппа. И сам дал ответ. — Королю это дозволено, — гневно крикнул он. — Пусть ездит с ней верхом по улицам, устраивает для нее охоты и лучше слушает ее, чем человека без поэзии, вроде господина де Рони.

Генрих:

— Оставь в покое моего Рони. Грации его не ценят; зато он в дружбе с богиней Минервой, не говоря уже о Меркурии. Я просил твоего совета по поводу неприятностей, которые мне причиняет не Габриель, никак не она. Но зато... —

Последовало изобретенное им проклятие. — Ее тетка де Сурди отравляет мне жизнь.

Чтоб эту тетку черт побрал!

— Почему? — невинно спросил Агриппа, но при этом подмигнул лукаво.

— Разве ты не знаешь? Ей взбрело на ум стать матерью. Пример заразителен — она не преминула последовать ему.

Добрый Агриппа сжалился над смущением своего государя.

— Ни слова, сир! Я все знаю. Племянница должна быть восприемницей при крещении, а вас зовут в крестные.

— И я с готовностью согласился, — признался Генрих.

Агриппа:

— Объявите кому-нибудь войну, у вас будет предлог увильнуть.

Генрих:

— Нет, серьезно? Что ты думаешь всерьез?

Агриппа:

— Думаю, что вряд ли вы женитесь на мадам д'Эстре, или де Лианкур, или на маркизе де Монсо, а она должна быть нашей королевой.

Генрих:

— Да, должна.

Он быстро прошелся по комнате, до одного ее конца. Агриппа — до противоположного. Агриппа осмелился спросить издали:

— А как же господин де Рони? Он ведет переговоры о трех принцессах зараз. Вы хотите жениться на всех трех и вдобавок на вашей возлюбленной?

— Пусть его договаривается, — бросил Генрих через плечо. — Я настою на своем.

Агриппа издали:

— Ваша прекрасная и пленительная повелительница более всех достойна повелевать и нами. Ибо она одного с нами происхождения и возвысилась только через вашу любовь. Так оно и будет. Мой дух, который опережает жизнь, провидит это. У двора и народа глаза откроются, когда это свершится.

— Дай мне руку, — сказал Генрих, ибо он услышал то, что ему нужно было

услышать. Дошел до середины комнаты, приблизился и Агриппа, но долго стоял, склонившись над рукой своего государя. Ему было не по себе, совесть укоряла его, он сомневался в своем совете и в решимости короля. Последний произнес как бы про себя: — Тогда я могу уважить тетку и быть крестным.

Агриппа поднял голову, только голову.

— Это еще полбеда, — пробормотал он снизу и вложил в свои слова насмешку, чтобы они не звучали печально.

Мистик

Крестины маленького Сурди, или младенца, носившего это имя, происходили в старой церкви с гулким колоколом и были обставлены как нельзя более пышно.

Толпа заполнила всю улицу, зрелище вызвало восхищение, но также и недоумение.

Король величественно выступал в качестве восприемника, его возлюбленная в роли

восприемницы чуть не сгибалась под тяжестью драгоценностей. Самые знатные дамы

королевства прислуживали ей, важный сановник нес солонку, другой купель, а

младенец лежал на руках супруги одного из маршалов. Ребенок был толстый и тяжелый; когда восприемница взяла его, чтобы держать над купелью, она чуть его

не уронила. Одна остроумная придворная дама заметила, что младенцу придадут вес

королевские печати, они, как известно, висят у него на заднице.

Это был намек на то, что настоящий отец — канцлер де Шеверни, господин, который нес купель. Другие называли родителем ребенка его собственного дядю, а

тот был не кто иной, как епископ, крестивший его. Люди добрые, что за нравы!

Двор этим забавлялся; но чем дальше человек был от происходившего, тем меньше

ему хотелось шутить. Снаружи, на улице, раздавались злые речи, и все они были

направлены против короля.

Монарха Бог поставил над нами, — мы падаем перед ним ниц; кто целовал его колени, не осмеливается потом весь день поднести ко рту пищу. Внушающая трепет

божественная благодать самим Всевышним ниспослана государю. Каждый чувствует

это, — а он нет? Участием в нечестивых делах, вроде вот этого, пятнает он свою

священную особу. Как ни прискорбно, он сам прелюбодей, а тут еще вместе с

прелюбодейкой, которую помышляет возвысить до себя, он держит над купелью чужого незаконнорожденного младенца. При этом открыто милуется со своей подругой – кто постоял внутри, всего насмотрелся. Но именно снаружи, где никто своими глазами не видел его поведения, оно выросло в надругательство над божественной благодатью и королевским величием.

Какой-то молодой человек, степенно и прилично одетый во все черное, затерявшись в толпе, говорил сам с собой. Он не замечал этого, а как только приходил в себя, бросал по сторонам испуганные взгляды. Лицо у него было серое, с синеватыми пятнами, под глазами бледные полукруги, и ресницы у него дрожали.

– Тем лучше, – говорил он сам с собой, – не робей! Твори посреди священнодействия плотский грех. Я все вижу воочию, хоть и нахожусь здесь снаружи. Я знаю, как оно бывает. Король, в своем грехе ты не покаешься, а я своих никому не открыл и повсюду, где бы я ни был, ношу в бедной моей душе вечное проклятие.

– А вот теперь ты выдал себя, – прошептал позади него чей-то голос. Юноша круто обернулся, вытаращив глаза; он пытался найти того, кто ему грозит, но не мог вынести взгляд, с которым встретился.

– Наконец-то, – простонал он. – Долше бы я не вытерпел, арестуйте меня немедленно.

– Иди за мной, – приказал незнакомец.

Но привел степенно одетого юношу не в полицию, а в монастырь, подле той церкви, где происходили нечестивые крестины. Их впустили, ворота захлопнулись, цепь загремела, они вошли в пустое помещение. Незнакомец запер за собой дверь. Окно было высоко и забрано железной решеткой. Наступил вечер, бледного юношу посадили так, что последний отблеск дневного света выхватывал из темноты его лицо и руки. Стоило незнакомцу подать один-единственный знак, как преисполненная ужаса душа принялась каяться. Сопровождалось это судорожными движениями пальцев.

– Меня зовут Жан Шатель [50. – Жан Шатель (1575–1594) – сын торговца, ученик иезуитов. 27 декабря 1594 г. совершил покушение на Генриха IV во дворце Шомбер, в котором жила Габриель д'Эстре. Шатель был четвертован, а орден иезуитов, обвиненный в

подстрекательстве к убийству короля, был изгнан из Франции.]. Отец мой
Пьер
Шатель — суконщик, его лавка напротив суда. Я был воспитанником иезуитов,
теперь изучаю право. По натуре я развратник, притом с детских лет, другим
я
себя не помню. Но никто по-настоящему меня не знает. — При этом человек
содрогнулся и застонал.

Исповедник набросился на него:

— Ты, червь, кичишься тем, что хранишь в тайне свои гнусные прегрешения.
Похотливо потягиваешься, прячешь глаза и захлебываешься от мерзкого
восторга
перед своей природой. Ее сотворил Бог, мы еще увидим для чего. Ты никогда
не
каялся в своем распутстве, этим ты бахвалишься и думаешь, что воспитатели
твои
ничего не знают.

— Да, они ничего не знают, — пробормотал охваченный ужасом юноша. Однако
он
чувствовал, что час расплаты наконец-то настает. Страх перед ней долгое
время
гнал его от одного противоестественного поступка к другому. Он никогда не
каялся в том, что творил, оттого и порок его стал совершенно
необузданным. — Не
каялся никогда, — шептал он. — Во время исповеди всегда умалчивал о
смертном
грехе. Теперь поздно, ни один священник не даст мне отпущения, всем
доступно
причастие, только не мне. Уж лучше быть убийцей и даже посягнуть на особу
государя!

— Твои отцы иезуиты решили, как быть с тобой. Мы все о тебе знаем и
решили
твою судьбу. — Незнакомец, который сразу стал знакомым, понизил голос и
повторил: — Да, мы.

Человек, который грешил против природы, сполз со стула, с криком охватил
колени иезуита и в подставленное ухо начал беззвучно изливать свою темную
душу.
Иезуит все выслушал, после чего, не тратя слов на пустое сострадание,
подтвердил все страхи юноши.

— Такому блуднику, как ты, каяться, конечно, уже поздно. Тебе не будет
покоя
ни здесь, ни там. Впрочем, ты можешь откупиться у неба от вечных мук,
приняв
взамен мученическую кончину на земле.

— Лучше бы мне быть убийцей! — стонало жалкое отребье.

— Ты уже об этом говорил. Такие ничтожества, как ты, всегда только хотят
этого, но никогда не делают.

Грешник:

— Как завидую я господину, который поставил ноги в распоротый живот девушки и был разорван на четыре части. Он откупился.

Иезуит:

— Для тебя этого мало. Тебе дорога прямехонько в ту же адскую бездну, что и другому нечестивцу, который тоже оскверняет святыню своим распутством и оправдывает свои гнусные вожеления — чем же? Не чем иным, как Божьей благодатью, а сам во всем поступает, как ты. При этом ты червь, он же священный сосуд высшей власти и величия. Величие — вот против чего он прегрешает.

Грешник:

— И все же я сотворен по его подобию, а он по моему. Этого у меня никто не отнимет.

Иезуит:

— И с ним вместе отправишься на тот свет. Если он до этого допустит, что далеко не достоверно. Рожденный распутным, он мстит за свою собственную природу другим распутникам, предаёт их на жестокую казнь и тешит себя надеждой заслужить спасение обманным путем, заставляя других себе подобных искупать его грехи.

Грешник:

— Вот вы и называли меня ему подобным. Святой отец, я сам вижу: по тому, как все складывается, мне надо опередить его и свершить над ним то, что он предназначал для меня.

Иезуит:

— Я этого не говорил. Ты это говоришь.

Грешник:

— Я это сделаю.

Иезуит:

— И заслужишь себе мученическую кончину. Как сможешь ты, жалкое отребье, снести ее? Впрочем, иначе ты обречен на вечную муку, и выбора тебе нет.

Грешник:

— Могу я за доброе дело рассчитывать на милосердие небес?

Иезуит:

— Закоренелые грешники получали прощение за одну лишь милостыню, которую подали единственный раз в жизни. С другой стороны, сомнительно, может ли самый благочестивый и полезный поступок спасти уже погибшую душу. С милосердием не заключают сделок, а предаются ему на спасение или погибель.

Грешник, после долгих стенаний:

— Я предаюсь ему.

Иезуит:

— Итак, решено. Остается обдумать то, что я в смирении своем не хочу решать сам. Замышляемое тобою благочестиво и полезно?

Грешник:

— Если он может моею смертью искупить свои грехи, тем скорее искуплю я свои через его смерть — ибо он король.

Иезуит:

— Отстань ты со своим искуплением. Не будут отцы терять на него время. Им надо обсудить участь и вину короля, который преследует религию, а ересь терпит.

Грешник:

— Вы были правы, преподобный отец, что я червь. Но я горжусь тем, что я червь.

Пока нет

Двенадцатого декабря в город Амьен приехали король и маркиза де Монсо. Они прибыли с небольшой свитой и тотчас отправились к духовному судье, как самая обыкновенная чета, которая желает обвенчаться и ходатайствует о разводе одной из сторон. Им предложили обождать, пока ответчик даст показания и приведет доводы в свою защиту. До сих пор господин де Лианкур на вызов суда не явился. Из чувства собственного достоинства он отдалял от себя позор, которым его

хотели заклеить, но в действительности уже дал согласие, хотя и с оговорками личного характера, важными для спасения его чести. У себя в ларце он хранил весьма ценное свидетельство, с тем чтобы оно было прочитано после его кончины и сохранено на вечные времена.

Семнадцатого числа, после того как чета прождала пять дней, он пожаловал наконец на дом к епископскому викарию; вместе с ним приехал его нотариус, но адвокат госпожи Габриели д'Эстре стал оспаривать показания обоих. Больше при сем не присутствовал никто, дом духовного судьи был закрыт для посторонних. Совершенно ясно, что такой человек, как господин Никола д'Амерваль де Лианкур, должен был выразиться весьма смиренно. С другой стороны, своему противнику и притеснителю, который представлял на суде госпожу д'Эстре, он давал очень мало материала для нападения, ибо являл собою поистине бесплотное существо.

Адвокат пришел к соглашению с истицей и ее венценосным возлюбленным, что не следует в дальнейшем опираться исключительно на неспособность ответчика к супружеской жизни. Ведь, помимо всего прочего, первая жена ответчика была сводной двоюродной сестрой господина Жана д'Эстре, отца истицы. Факт неоспоримый, с которым он может согласиться без большого ущерба для своей чести; однако этого вполне достаточно для признания недействительным его второго брака.

Но этого оказалось мало, ибо духовный судья вел дело строго и нелицеприятно, хотя и с необычной поспешностью, к чему его, вопреки собственной совести, вынуждало присутствие короля. Господин де Лианкур был вызван для очной ставки с истицей, дабы оправдаться в том, что он так и не сожительствовал с ней, невзирая на неоднократные попытки. Ему пришлось выслушать показания двух врачей, один из них был доктор медицины, а второй — хирург-практик, оба, по их словам, исследовали его. Трудно было понять, как это им удалось — иначе, как сверхъестественным путем, такая процедура осуществиться не могла. Перед судьями было отсутствующее лицо, образ, неприступный в своем смирении, а скрытая самоуверенность отдаляла это существо от всех, кто хотел изобличить его в бессилии.

Викарий прекратил допрос ответчика и обратился к истице:

— Согласились бы вы, зная о состоянии господина де Лианкура, жить с ним как сестра с братом?

— Нет, — отвечала Габриель.

За этим последовало решение, которое объявляло брак недействительным, — основным поводом была признана сводная кузина. Тем неоспоримее было впечатление, что верх взял, в сущности, господин де Лианкур. На прощание он обратился к королю со словами:

— Сир! Я надеюсь, что во всем действовал согласно вашей воле. — Это могло показаться чистым высокомерием, хотя он и перегнулся пополам и стоял в такой позе, пока чета не удалилась. Никто не нашелся, что ответить.

Как-никак, а бесценная повелительница была свободна, дальше будет видно. Счастливая чета спешно вернулась в Париж и прибыла в дом Габриели. Она пошла переодеться. Король не успел снять сапоги и смыть дорожную пыль, как его обступили кузены Конти и Суассон и с ними по меньшей мере тридцать дворян. А тут явилось еще несколько кавалеров, бывших при дворе новичками. Стража их не знала, но получила приказ впустить их, так что под конец каждый, кто хотел, попадал в комнату, где находился король, а комната была невелика.

Король был в веселом расположении духа и шутил с дурочкой Матюриной, женщиной стройной и красивой, только дурашливой, которая с полным правом подвизалась при дворе. Если существует должность шута-мужчины, значит, шутство должно быть представлено и в женском роде, королю полезно изучать обоих — Шико и Матюрину, с целью познания людей. Король, отвечая на приветствия придворных, перебрасывался в то же время комплиментами с шутихой, которые ни им, ни ей не принимались всерьез, хотя Матюрина, закатывая глаза, просила его о поцелуе. Вдруг раздается звук, как от пощечины, в давке никому не видно, что происходит.

— Тьфу, черт, эта полоумная кусается! — кричит король. Он подносит руку к губе, по ней течет кровь. Некий господин де Монтиньи^[51]. — Монтиньи Франсуа де ла Гранж (1554-1617) — маршал Франции. Служил как Генриху III, так и Генриху IV, сражаясь на стороне последнего во многих его битвах.], низко склонившийся, чтобы облобызать колено короля, стремительно выпрямился и увидел за спиной короля незнакомое лицо, бледное и потерянное.

— Вы или я, — в бешенстве кричит Монтиньи, — один из нас ранил короля. — Тут бледного юношу схватили, у него под ногами нашли окровавленный нож. После

краткого отпирательства он сознался, что хотел заколоть короля. Из-за
возни
короля с шутихой убийца не попал в шею, куда метил, а поранил губу.
Король
сказал:

— Отпустите его. — Однако юноша протягивал руки, чтобы его связали и
увели.
Своего имени он не назвал, только возраст: восемнадцать лет.

Хирург немедленно зашил губу. Он хотел продернуть иглу еще несколько раз,
но
король дольше не в силах был переносить боль. Поэтому рот у него остался
заметно искривленным — люди не замедлили объяснить это тем, что он
притворщик.
Прелестная Габриель прибежала, когда началась операция. Она держала
голову
своего дорогого повелителя, она целовала ему глаза, чтобы он чувствовал
только
ее и больше ничего. Когда он стонал, она поворачивалась своим прекрасным
лицом
то к одному, то к другому, но встречала только холодные взгляды и поняла:
«От
расстояния шириной в ладонь зависела моя судьба. Миг — и я осталась бы
одна и
должна была уйти, да еще неизвестно, выпустили бы меня или нет». Ее черты
исказились, это была уж совсем не прелестная Габриель.

Король страдал от раны, но почти не был испуган и заявил, что из-за
такого
пустяка не собирается раньше времени лечь в постель. Он предпочел
отправиться в собор и присутствовать на благодарственной мессе. Спустя
три дня
неудачливый убийца был осужден и казнен, так и не назвав своих
подстрекателей,
несмотря на допрос с пристрастием. Они все же были обнаружены,
королевский
парламент постановил повесить одного из его бывших наставников. А всех
членов
ордена иезуитов изгнал из королевства.

Такая решительность побудила папу пойти наконец на уступки; недалек тот
срок, когда он примет короля Франции в лоно церкви. Последние члены Лиги
всячески старались воспрепятствовать этому. Пока не ушло их время, они —
Майенн, Немур, Эпернон, Жуайез и Меркер[52. — Меркер Филипп-Эманюэль
Лотарингский, герцог де
(1558–1602), — французский полководец, губернатор Бретани. Был
сторонником Лиги
и после смерти Генриха Гиза объявил себя ее главой. В союзе с Филиппом II
боролся против Генриха IV.],
все, как один, могущественные вельможи, поспешили взяться за оружие,
каждый в
своей провинции. Из Нидерландов они призвали испанцев; в последний раз
суждено

было королю Генриху иметь дело с мятежом и междоусобицей – которые, впрочем, уже были обречены на неудачу и отжили свое. Но пока король, при всей его душевной твердости, на короткое время утратил мужество и отчаялся в своем радостном служении.

Двадцать лет радостного служения, начатого маленьким наваррским королем, борьба, труд, победы, захват власти, смертельный прыжок и снова нескончаемый труд – все теперь пошло прахом, ничего не завоевано, нет ни мира, ни любви народа, ни прочного владения. Он не испугался, нет, оттого, что кто-то снова хотел отнять у него жизнь; скорей огорчился, ощутил усталость, впервые ощутил усталость. Она сказывалась даже внешне. Одна придворная дама позволила себе задать вопрос, что случилось с их жизнерадостным королем. Он чем-то недоволен? Он ответил обычным своим проклятием и облегчил душу злыми словами против народа: отнюдь не против сильных мира, которые возмущали и подстрекали народ. Об этом ни звука даже и перед простодушной дамой. Неблагодарный народ! Кроме покушений на своего короля, других у него мыслей нет.

Очень печальный выдался день, пятый в новом году: многолюдная процессия, король следует за ней в карете, лошади идут шагом, как на похоронах. На чьих?

«Не на моих, – думает Генрих. – Я им не достался. Пока нет». В густой толпе то здесь, то там попадается какой-нибудь зловерный болтун, изловить его невозможно, он изрекает во всеуслышание:

– Вот его уже везут в тележке на Гревскую площадь. – Есть слова, над которыми можно либо смеяться, либо плакать. Генрих даже вида не подавал, что слышит их, сидел, точно осужденный, весь в черном, с пластырем на губе. Неуловимый болтун был по-своему недалек от истины. Может быть, шествие действительно направлялось на Гревскую площадь?

Когда король вышел из кареты у церкви, народ встретил его приветственными кликами, с чем придворные его поздравили. Он пробормотал:

– Таков народ. Что на это скажешь? И моего злейшего врага они встретили бы так же или еще лучше. – Это был печальный день. Между тем за ним следуют другие, много других дней, и то, что ты есть и чем должен остаться, постепенно берет верх. Здоровая натура, обогащенная и обремененная опытом, уже не принимает так близко к сердцу то, что на свете существуют безумие и злоба,

которые не могут быть искоренены даже самыми ревностными усилиями. Напротив, здоровая натура на этом проверяет себя, она учится, ее восприятие становится только гибче.

Генрих снова обрел свой юмор — это был юмор молодых лет, и поныне сохранивший прежний склад. Разница только в том, что на другой жизненной ступени он становится осмысленнее. Особенно мало церемонился Генрих с самим собой, не заботясь о таинственности и торжественности, подобающей величию сана. В этом неведомыми путями сходилась с ним простой люд. Многие чувствовали, что в какой-то мере все-таки разрешено вольничать, надо только попасть в удачную минуту. Генрих появляется на ярмарке, перед одним из балаганов он видит фигляра в своем собственном образе и в одежде достопамятного дня: черное платье, пластырь на губе. Вдруг на постной физиономии вспыхивает озорная искорка — мимика очень удачная, — фигляр под видом короля звонким голосом начинает выпаливать непристойности. То-то все смеялись!

Ясно, что тут ничего не поделаешь, да Генрих и не думал что-либо делать. Дал шутнику денег, пошел своей дорогой и только еще отчетливей увидел, почему упустил любовь народа и не поймал ее, как кольцо во время игры. Не легко ему будет заслужить любовь народа. Люди требуют от земного владыки того же, что и от небесного: суровости, непостижимости, недостигаемости. Высокого в обличье простоты никто не понимает и не прощает; оправдать его в будущем может лишь беспримерное величие и доблестное владение. К концу, пожалуй, только после конца, завоюет он любовь народа. Пока нет. Не убит и не любим — пока нет.

После недавнего покушения Агриппа сказал ему:

— Сир! Вы отреклись от своей веры только устами: и на этот раз нож ранил только рот. Горе вам, если вы отречетесь сердцем!

Король в ответ кивнул головой. Однажды он все-таки встретился с тем законоведом, который некогда в Сен-Дени произнес роковые слова, задолго до того, как они оправдались злодейским покушением. Ученый избегал этого свидания и теперь стоял, опустив глаза. Король успокоил его приветливым обращением и не упомянул о прежней встрече, только в прощальных словах прозвучала суровая нотка:

— Nihil tam populare quam bonitas. — Его почитатель изумленно взглянул на него.

Так сглаживаются самые жестокие, головокружительные испытания, и мысль отваживается коснуться их без страха — почти без страха. Конечно, король Генрих не с теми чувствами, что прежде, приветствовал теперь никем не сдерживаемую толпу, если она невзначай окружала его.

— Много народу, — говорил он. — Рад видеть мой народ. Только сперва мне нужно освоиться с ним.

Так же радостно готовился он принять молодого герцога Гиза [53. — Молодой герцог Гиз. — Имеется в виду Шарль Лотарингский, герцог Гиз (1571–1640), сын главы Лиги Генриха Гиза.], он любил прощать. Молодой герцог понял то, чего не могли еще постичь старики, — что пора борьбы миновала и притязания его дома уже не ко времени. Он явился в Луврский дворец и поверг к стопам короля свою покорность, а вместе с ней и отказ Лотарингского дома от французской короны. Его отец был блистательным героем Лиги; он-то пользовался любовью народа. Король обратился к герцогу Гизу, который в большом смущении стоял перед ним:

— Оставим это, мы с вами не ораторы. Я все знаю. Вы явились сюда, вам здесь должно жить лучше, чем там, где вы были. Я хочу заменить вам отца. — Он обнял самого большого своего врага. И не замедлил воспользоваться удачей, объявив войну Испании.

Филипп, бывший властитель мира, потерпел поражение от короля Франции [54. — ...не замедлил воспользоваться удачей, объявив войну Испании. Филипп... потерпел поражение... — В январе 1595 г. Генрих IV объявил Испании войну, захватил у Майенна большую часть Бургундии и разбил при Фонтен-Франсез превосходящие силы испанцев.]. Это была первая открытая победа Генриха над всемирной державой. С незапамятных времен испанские войска сражались под личиной его внутренних врагов, никогда не объявляя честно, что идут войной на его королевство. Наконец-то Генрих видит перед собой старого ненавистного противника без маски. Зато внутренний враг играет теперь роль ничтожного вспомогательного отряда и терпит поражение вместе с Испанией — в бою, который носит тот же спорный и опасный характер, как все битвы, данные и выигранные Генрихом. Король рискует собственной головой. С несколькими сотнями всадников гонит он превосходящие силы врага, куда наметил заранее, а затем уничтожает

его. Сам он остается верен себе – «разыгрывает короля Наваррского», словно он еще молод. Разыгрывая короля Наваррского, молодеешь и на самом деле. Все это видят, чувствуют каждым биением сердца и с раскрытым ртом слушают, что разносит по стране молва. У нас король, который остался молодым, он первый в мире, ему нет равного, и он наш. В нем обрели мы друг друга. Никакие партии, лиги, ни даже вера отныне не разъединят нас. Мы сражаемся уже не поневоле, не безрадостно. Мы сражаемся величаво.

Однако Генрих знает – это все порывы. Даже в чаду победы он не забывает, что такое народ, а его народ к тому же не любит его. Пока нет. Битвы – это праздники, хоть праздники и опасные, а победы намного опережают истину. Только после тяжелых трудов и усилий люди узнают всю истину о нем. После урагана победы жизнь, правда, становится глаже, о, насколько глаже и податливее. Последние большие вельможи, или, вернее, предпоследние, слагают оружие, вплоть до толстяка Майенна. Его тучность теперь прямо жалка: почему победа над врагами дается лишь после того, как они становятся жалки? Этого своего врага Генрих принял в Монсо, поместье маркизы, – принял с музыкой, театральными представлениями, хорошим угощением и всяческими почестями. Смотрел, как Майенн отвешивал три поклона, причем двое адъютантов поддерживали его грузное брюхо. Преклонить колена Генрих ему не позволил. Только потом, в парке, он старался шагать как можно размашистее, пока толстяк совсем не запыхался: в этом была вся его месть.

– Вашу руку, любезный кузен, больше вам ничего не грозит, – И приказал своему Рони влить в больного две бутылки доброго вина.

Как он и ожидал, его парламент отказался оплатить войну. Народ и без того в нищете. Но целых двадцать лет нищета не мешала ему свирепствовать против самого себя. А ведь король спас его скорее от самого себя, нежели от врага. Король отвечал своему парламенту:

– Я говорю как чувствую. Так уж созданы французы, они не могут любить то, что видят. Когда вы не будете меня видеть, вы меня полюбите.

Он произнес это без грусти и без горечи, самым своим обычным тоном. Но вот

что они услышали из его слов: все равно — любите вы меня или не любите, я отдаюсь моему служению, и отдаюсь радостно.

V. Победитель

Фейерверк

Две маленькие пушки безобидно, точно игрушечные, выстрелили в голубое небо.
Над парком поднялись облачка дыма, но вскоре развеялись в благодатном воздухе.
Дамы на широкой парадной лестнице замка не переставали смеяться и жеманничать,
опираясь белой рукой на красную подушку, обмахиваясь веером и с заученной грацией поворачивая голову к сидевшим ступенькой выше кавалерам. Те кавалеры,
кому позволял рост, преклоняли одно колено и в такой позе оставались позади
своей дамы до конца представления.

Выстрелы послужили сигналом, и тотчас же беседки, аллеи, зеленеющие залы наполнились пастухами, пастушками, сельскими божествами; музыканты, которые
были не видны, а только слышны, заиграли чинную пастораль. Возникшие образы,
хоть и были, казалось, рождены самой природой и представляли первобытную жизнь,
однако не выходили из рамок искусства, все переступали ногами как положено,
поводили и пожимали плечами по всем правилам; маленький фавн грозил юной пастушке рожками в такт музыке, меж тем как ее испуганный возглас вторил звуку
гобоев.

Зрелище было весьма красивое и длилось не меньше часа, потому что все пришлось повторять. Владелица замка, сидя в середине первого ряда, хлопала в
ладоши, ее прелестное лицо раскраснелось от удовольствия. Король,
сидевший
подле нее, крикнул:

— Еще раз! — И спектакль был разыгран наново. Под конец каждый пастушок в розовом и желтом шелку одерживал победу над каким-нибудь лесным божком в поддельной шкуре с кружевами и грациозно повергал его ниц. А затем пастушок
поднимал с земли отвоеванную девушку и, держа ее на вытянутых руках, вихрем
кружился со своей прекрасной добычей. Только и видно было, как вверху на солнце

вместо женского тела искрится серебряная пыль, но это была пастушка. Дружок ее полыхал, словно пламя. Шесть пар, шесть подвижных огней и сияющих облачков, кружились до тех пор, пока настойчивые рукоплескания не напомнили танцорам, что пора остановиться.

Тогда каждый пастушок опустил свою пастушку на землю, и все двенадцать, держась за руки, поклонились зрителям и даже улыбнулись, с виду без усилия, как будто все это далось им легко. На деле же они пошатывались, и по глазам их было заметно, что перед ними все словно в тумане. У самой молоденькой танцорки веночек из нарциссов сполз на нос, и она не могла сладить с ним. Тогда владелица замка подошла к ней – да так поспешно, что никто не успел вмешаться, – поправила на малышке веночек и поцеловала ее в разгоряченное личико.

Король за руку привел свою бесценную повелительницу на ее место, после чего раздался одобрительный шепот, вместо хулы, которую, собственно, заслужила Габриель своим необдуманном поступком. Тем временем пастухи и пастушки удалились, и лесные божества комическими козлиными прыжками исполнили финал. Сперва они прыгали друг через друга, затем через низкие кусты, наконец, перемахнули через самые высокие, и все исчезло, слышался только шелест листвы. Но тут скрытая музыка подала знак к шествию, ритм его был изящен и плавлен, и, повинувшись ему, общество тронулось в замок и вокруг всей парадной залы проследовало к накрытым столам. Для короля и для маркизы был приготовлен отдельный стол. Гости их уселись за большими столами, поставленными в форме виселицы; многие из дворян не преминули указать на это толстяку Майенну. Но голод, не говоря о всем прочем, сделал его невосприимчивым к шутке. Подле него председательское место за столом занимала темноволосая сестра белокурой хозяйки.

Диане д'Эстре, ныне супруге маршала де Баланьи, не слишком посчастливилось [55. – Диане д'Эстре, ныне супруге маршала де Баланьи, не слишком посчастливилось. – Сестра Габриели д'Эстре, Диана, была второй женой маршала Жана Монлюка де Баланьи, губернатора Камбре. В 1595 г. при неожиданном нападении испанцев он не сумел защитить город, и Камбре попал в руки врагов.]. Город Камбре, где правил ее супруг, нахрапом захватили испанцы. А находится Камбре в Артуа, почти во Фландрии,

король то берет его, то отдает. Слава его не убывает, когда он теряет Камбре, победителем Испании он остается по-прежнему. Мир знает о его победах и ничего не знает о Камбре. Он – великий король, первый и единственный после его католического величества, дона Филиппа, чей упадок и утрата престижа – дело рук короля Франции: таков взгляд всей Европы, которая хочет, чтобы было так, и ни о чем другом знать не желает. Булавочные уколы в расчет не принимаются, сам побежденный сознает их бесполезность. Он не прочь был помешать празднествам, вроде сегодняшнего, больше ему ничего не остается; никогда уже не будет он смотреть на это королевство, как на свое. «Оно мое, я заплатил за него», – думал Генрих.

Так думал он и одновременно делал все, что полагается за столом: поедал кушанья, нашептывал любезности в изящное ушко бесценной повелительницы, поднимал бокал в честь Майенна, покоренного врага. Слушал, как один из придворных, господин де Сигонь, рассказывал, что он сочинил и разучил со своими актерами аллегорическую пьесу, в ней действуют персонажи из легенд древности, но служит она к прославлению короля Франции.

Она должна быть представлена нынче же вечером, в этой же зале, хотя утром уже состоялся большой балет. Все общество, сама хозяйка и король не меньше других жаждут услады для глаз, они никогда не пресытятся красивым вымыслом с лестным содержанием. Действительность, к несчастью, отнюдь не радостна, ее следует воспринимать со всей серьезностью. Дни наступали и проходили, Генрих хотел лишь, чтобы для него они текли незаметно; он устал от опасностей, но не от развлечений.

Во время трапезы пришло сообщение, что пал Кале [56. – Во время трапезы пришло сообщение, что пал Кале. – Весной 1596 г. Кале был захвачен кардиналом Австрийским.]

Это не из тех городов, от которых можно отказаться на время: это Кале, один из ключей королевства. За столом сперва воцарилось молчание. Одни онемели от неожиданности, другие – от того, что испугались и впали в тайное раздумье, иные же, те, что напустили на себя мрачный вид, были рады. Подумайте! Кардинал Австрийский [57. – Кардинал Австрийский, эрцгерцог Альберт (1559–1621), – наместник Филиппа II в Нидерландах.] во главе германской армии неожиданно обрушивается на Кале, город и морскую крепость в виду Англии.

Каково это для королевства и для новой власти? На побережье утвердилась Испания, а по ту сторону пролива королева отрекается от своего старого друга, неверного протестанта. Скоро тут будет не до трапез. Некая маркиза, которой подобает совсем другое имя и звание, не долго уже будет собирать в свое продажное лоно наши доходы, после того как ее друг-приятель господин де Рони отобрал их у нас. Но виноват во всем король, и теперь ему придется искупить свою вину.

Такого рода чувства таились уже давно, после взятия Кале они рвались с уст, кое-кто даже зажимал себе рот рукой. И при этом поглядывал на Майенна — что-то думает он. Майенн сверх меры ублаготворил свое чрево и не прочь был вынести его из-за стола. Весть пришла для него не вовремя; в самый разгар пищеварения ему предстояло обдумать, не поспешил ли он и не промахнулся ли с изъявлением покорности. Он полагал, что нет, во-первых, из-за пищеварения, а во-вторых, досадно понапрасну признать себя побежденным. Кардинал Австрийский причинил ему неприятность, что он и высказал. Майенн первым прервал молчание, он пробурчал в стакан, отчего слова прозвучали гулко и резко:

— Этаким слизняк. Дунешь — и нет его. Он ничего не добьется. — И с тем опорожнил стакан.

Таково было мнение опытного человека, который на себе испытал, можно ли сладить с этим королем. А потому все, кто только прислушивался к словам Майенна, повернулись в сторону короля. Генрих был готов к этому; пускай веселость его даже улетучилась, пока никто не смотрел на него, зато теперь-то он заставит себя быть веселым. Он бросил через стол, поставленный в форме виселицы:

— Что случилось, то случилось. Кале взят. Но духом падать нечего. То ли бывало со мной на войне! Сейчас черед врага, потом снова будет наш. Господь никогда не покидал меня, стоило мне из глубины души воззвать к нему. Итак, почтим память погибших, а потом — расплата с процентами и процентами на проценты.

Таковы были его слова. Кивнув кому-то и отдав распоряжение, он еще некоторое время посидел за столом. Когда он произнес «с процентами и процентами на проценты», все взгляды невольно обратились на господина де Рони, великого королевского сборщика денег. Его невозмутимое лицо было грозно; каждый из

присутствующих спрашивал себя втихомолку, во что ему самому обойдется падение Кале. Обычным своим холодным тоном, ни на кого не глядя, Рони сказал:

— Кардинал Австрийский не сразу занял Кале. Сперва ему сдали Камбре.

Супруга маршала, сестра маркизы, вспыхнула и хотела ответить дерзостью. Но каменная осанка господина де Рони не позволила этого; наоборот, она вынудила злополучную Диану опустить глаза в тарелку, так же поступили и остальные. Иначе их взгляд мог бы выдать то, что они думали: возлюбленная повелительница и ее семейство всему причиной. Сами богатеют, а города королевства сдают врагу.

Тут королю принесли то, за чем он посылал, — портрет королевы Английской; он вертит его в руках, чтобы все увидали, кто изображен на нем: женщина шестидесяти лет, крепкая, не знающая усталости. У нее не отнимают городов, пока она пирует и наслаждается балетами. Король подносит портрет к губам и целует его, так думают все. На самом деле он не коснулся его губами, а, заслонив глаза рамой, обратил их к своей подруге, которая одна делила с ним маленький стол. Габриель поняла, что он хочет утешить ее, но на этот раз не стала слушать его клятвы, и произнесенные шепотом и беззвучные. Она побледнела. Кругом враги. Сейчас даже ее возлюбленный повелитель не властен оградить ее от злобы. И вот она у всех на виду подняла и сложила руки, как делают, молясь в уединении. Склонилась над краем картины — и не великой Елизавете, а деревяшке, обрамлявшей ее изображение, достался смиренный поцелуй Габриели.

Несмотря ни на что, господину де Сигоню удалось в тот же вечер сыграть свою аллегорическую пьесу. Принята она была восторженно — как же иначе. Героем ее был король, столь победоносный, мудрый и красивый, что богу Марсу волей-неволей пришлось отдать ему богиню Венеру во плоти, и она обещала ему прекрасных, отважных сыновей. По окончании спектакля к ужину были поданы мелкие устрицы, которые обычно одобрял король, да и теперь он сделал вид, будто ест с аппетитом. По крайней мере не надо говорить, можно подумать и решить, что некоторое время следует изображать усталость и равнодушие. Война не кончена,

сегодня он понял это, если допустить, что до сих пор всемирная слава могла ввести его в заблуждение. Он навлечет на себя двойную угрозу, если завоюет Кале с моря, что было бы проще всего, и королева Англии, наверное, помогла бы. Но, несомненно, она не пожелала бы вернуть потом Кале, и ему пришлось бы терпеть на своем побережье цепкую Англию, взамен Испании, которая наносила последние слабеющие удары.

С другой стороны, у короля возникло подозрение, что и сейчас уже в страну вторгся новый враг: кардинал Австрийский, его немецкие князья, их войска; впрочем, это лишь разновидность старого врага. У Габсбурга много разновидностей, недаром это всемирная держава, настоящая гидра. «Одну голову я удушил, а двенадцать шипят на меня. Я должен умертвить все чудовище целиком. Я должен помериться силами с римским императором, со вселенской монархией и со всеми ее провинциями; даже Испания — лишь одна из них, а властитель мира Филипп — ее ставленник, их же много. А я один волею судеб и событий противостою всей гидре, которой имя — христианский мир».

Такая дерзновенная задача ужаснула его. Несколькими мгновениями раньше он не знал, что она может быть поставлена перед ним. Но он сам поставил ее перед собой и поставил впервые. Великая беда обрушилась на него: то была произвольная мысль, первое прозрение его конечной миссии, она же превосходила всякие силы.

Он поднялся из-за стола, ему хотелось скрыться куда-нибудь, где потемнее и где никто бы не заметил его великого страха и не понял, что случилось. Но подруга испуганно коснулась его руки. Он взглянул на нее и увидел: внезапный страх передался подруге, которая не могла даже объять его и не подозревала причины. Тем не менее она страдала вместе с Генрихом, ибо узы страсти сделали ее частью его до конца ее дней. Потому-то он и привлек ее к себе и вместе с ней исчез во тьме сада.

Они взошли на террасу, выступающую под их спальней, там никто не мог их слышать. Габриель прошептала:

— Возлюбленный повелитель, у нас есть враги. Чтобы помочь вам победить кардинала Австрийского, я продам все свое имущество, а вырученные деньги внесу в вашу военную казну.

— Несравненная моя любовь, — отвечал Генрих. — Ты одна — мое бесценное владение. Забудем врагов: они легко могут умножиться, если их накликать.

Загадочный намек, — Габриель не поняла его, но ни о чем не спросила, оба притихли, как будто почувствовав, что настало время ласк. Но и тут досадной помехой являлась та беда, что в мыслях надвинулась на Генриха. Он хотел отогнать ее, навсегда устранить со своего пути. Однако самое устранение требовало очной ставки с принятой на себя миссией. Будь она даже сверх сил, все равно — он принял ее на себя.

Он думал: с самой юности все тяготы, все смуты шли к нему от одной лишь Испании, против кого бы он ни ополчился, чьи бы пули ни падали вокруг него, сколько бы он ни отвоевывал городов и не привлекал к себе людей, пока они не составили его королевство. «Полжизни и даже больше ушло на это. Но теперь я хочу покоя, хочу предаться мирным трудам. Право же, Пиренеи достаточно высоки и без того, чтобы я громоздил Оссу на Пелион. Но за мной погонится новый враг или старое чудовище с отросшими головами. У меня свой удел», — и при этом он вслух произнес обычное проклятие.

Габриель тоже волновал его внутренний спор, которого она не слыхала; она сказала:

— Сир! Неужто все беды ваши через меня? Кале пал, а ненавидят меня. Господин де Рони винит в этом меня.

— Бесценная моя любовь, — произнес ее повелитель у самых ее губ, но дышал он гневно. — За это господин де Рони завтра же воротится в арсенал, где ему место. Мы же останемся и проведем день на твоей опрятной ферме, у твоих сорока холеных коров, на сочной траве. Вокруг тебя все дамы будут щеголять сельскими нарядами. А ты венец их и мое счастье.

— Бесценный повелитель, — сказала она, — я снова ношу под сердцем твоего ребенка.

При этом она закрыла глаза, хотя и было темно; однако почувствовала, как у него от радости забилося сердце. Гневного дыхания его она уже не слыхала, губами встретила его губы, и лишь ритм крови обоих размерял глубокую тишину их взаимной ласки.

Но тут снизу, из сада, раздались взрыв и шипение, и к небу взвился
огненный
хвост, описал плавную дугу, спустился, рассыпался искрами и погас.

— Ах! — вскрикнули те, что прогуливались во тьме сада либо наблюдали с
парадной лестницы и из окон, что будет дальше.

Всем, разумеется, известно, как это бывает. После первой одиночной ракеты
стаями взлетят другие, и в самом деле, по небесным высям в мгновение ока
пронеслись огни в виде фонтанов, лучей, снопов или шаров, они вспыхнули и
разлетелись на синие, белые и красные брызги. Под конец за беседками
закружилось колесо, оно сыпало серебряным дождем, — далеко разметался
искристый

мираж, столь прекрасный, что казалось, отныне здесь немислимы земные
долы.

Выхваченный из тьмы, покоится преображенный сад, приют фей. Лебедь! О,
над этим

царством счастливых в воздухе парит лебедь, сверкает, машет крылами,
парит и

исчезает с тем чудесным кликом, который будто бы издают лебеди перед
смертью.

Сразу стало темно, как прежде, все протирали глаза. Это фейерверк, и
больше

ничего, после можно только посмеяться над тем, что добровольно поддался
обманчивым чарам. Но пока горит фейерверк, у многих всплывают
дерзновенные

мысли, которые иначе остались бы где-то на дне. Теперь же они подымаются
к

внутреннему небу, и оно невиданно изменяется. Генрих увидел фейерверк в
себе

самом, все его небо пламенело. Радостно преступая предел, положенный
природой,

принял он на себя ту самую миссию, которую только что отвергал. Теперь же
он

сказал себе, что хочет осуществить ее, хочет низринуть царство мрака.

«Они или я, — они не устанут добиваться моей гибели. Но вместе с моей
гибелью они замышляют еще большее бедствие — гибель свободы, разума и
человечности. Многие члены христианства покорила себе вселенская монархия
и

всемирная держава, оттого и превратилась она в чудовище с бесформенным
телом и

ядовитыми головами. Моя цель в том, чтобы народы жили живым разумом, а не
терзались от злых чар во вспученном чреве вселенской державы, которая
поглотила

их всех. Мне назначено спасти те из них, которые еще имеют выбор и хотят
следовать за мной по узкой тропе».

Тут во внешнем мире колесо рассыпало свои серебряные брызги, а над ним
воспарил лебедь. «Все равно, — думает Генрих. — Ничего непреложного нет,
почему

же непременно жестокий конец. Я им не дам: королевства этого им не
видать. С

Божьей помощью я заключу свободный союз со всеми королевствами и республиками, которые пощажены до сих пор и могут восставать против Габсбургов».

Во внешнем мире сыпались искры, потом стемнело. «Что такое, в сущности, Габсбург? — думает Генрих. — Император, которого монахи держат в такой же темноте, что и всех его подданных. Особенно чванился тот, зараженный, за горами. Против них самих я не воюю; а что касается их владений, то ни на одной карте не указано точно, где их владения. Они там, где зло. Мое же царство начинается у тех границ, где люди менее безрассудны и уже не так несчастливы. С Богом, завоюем его!»

— Мадам, право же, какая усердная посредственность — мой Рони! — были первые слова, с которыми он после этого обратился к Габриели.

План свободного союза королевств и республик никогда не приходил в голову его лучшему слуге, какие бы огненные лучи ни пронеслись в поднебесье и какие бы лебеди ни парили там.

— Значит, я не виновата в падении Кале? — спросила Габриель. Он сказал:

— Кале, кардинал Австрийский, вы сами — и я: взаимодействиям нет конца. Есть люди, которые улавливают их, пока длится фейерверк, но не дольше. — Он произнес это устало.

— Пойдем в комнаты, — попросила она, и он проводил свою бесценную повелительницу в их общий покой, прекраснейший во всем доме. Генрих покачал головой, как будто впервые видел эту кровать. На ней были перины из белого шелка, а на подушках вытканы серебром вензеля из букв H и G. В ногах лежало отвернутое парадное одеяло пунцового атласа с золотыми полосами. С балдахина свешивались желтые занавеси из гентского бархата. Прежде бедному королю не случалось покоиться на такой кровати. Его подруга заметила, что он колеблется.

— Возлюбленный повелитель, вы, как и я, думаете, что нам следует все продать и пополнить вашу военную казну.

— К несчастью, у меня были более дерзкие грезы, — ответил Генрих. — И я считал их подлинной сутью вещей, пока горел фейерверк. Право же, я за это время успел побывать в горних высях — сам не понимаю теперь, как я туда забрел. Мы

ведь живем здесь, внизу, и занимаемся лишь тем, что близко, и на этом успокаиваемся; а ближе всего моему сердцу любовь к тебе.

Завоевал

Первая забота, как всегда, была о деньгах, но на этот раз она превратилась в настоящий страх. Ведь скоро мог ударить роковой час, когда за Испанию, которая была при последнем издыхании, всей своею мощью вступилась бы Римская империя.

Вражеские полчища, каких никогда не видало королевство, орды варваров с востока — кривые сабли, дикие низкорослые кони, люди с желтой кожей и раскосыми глазами — растоптали бы эти поля, предали бы пожару эти города. Никто не предвидел всего ужаса и не представлял его себе, кроме короля. А он, сгущая краски, населял кошмарами свои ночи: и все потому, что он один нес бремя забот.

Его приближенные оставались в неведении: и его парижский парламент, который считал, что переплатил за балеты маркизы, и даже его Рони; тот находил, что король не в меру раздражителен.

Когда король называл цифры, они редко сходились; этой области ему не следовало касаться, по мнению его верного слуги. Восемь советников по финансам, кроме Рони, уже не поглощают полтора миллиона экю, как воображал король. Рони

следит зорко. Однако так просто не собрать денег на военные расходы, недостаточно лишить восемь человек их чрезмерных прибылей. Вообще Рони склонен

был верить в восстановление порядка на земле, потому что в своем ведомстве он принимал для этого все разумные меры. Еще менее согласились бы внять доводам

короля парламентарии, чьи дела наконец-то наладились. Кривые сабли, низкорослые

дикие кони, люди с желтой кожей и раскосыми глазами, — здесь всего этого быть

не может. На то и существуют просвещенные нравы.

А кто великими трудами и усилиями создает видимость этих просвещенных нравов? Так мог бы ответить король своим приятелям, законооведам. Но он молчал —

не хотел усиливать опасность, высказав ее, и свои кошмарные ночи уготовить

другим. Вместе со своей бесценной повелительницей он отправился в Руан; он

желал, чтобы она сопровождала его; у него самого были обширные планы.

После

въезда в город и довольно холодной встречи он не стал мешкать зря — перед штатами своей провинции Нормандии он произнес речь, которую тщательно продумал.

Дело происходило в капитульной зале аббатства Сент-Уэн, высокочтимой обители.

Король, который здесь требовал решения народных представителей и притом в первый раз, не смел потерпеть неудачу.

Задолго до того как он выступил, все были в полном сборе, и всякий воочию видел, в какой доле представлены сословия: девять епископов, девятнадцать вельмож, но зато тридцать два представителя буржуазии, включая сюда ремесленников и крестьян. Собрание немногочисленное, но невиданного прежде состава; однако так пожелал этот король — для первого раза, когда он отдает

себя на суд избранникам народа. Осторожно, по обычаю нормандцев, обсуждали они

его нрав и обычай, которые были для них новыми и оставались непривычными, хотя

они немало дела имели с королем, как и он с ними. Он был еретиком и подозрительным авантюристом, когда свирепо штурмовал их город, под конец же он

попросту купил его, это они сочли разумным и достойным уважения. Но, с другой

стороны, когда они вспоминали личное его поведение в ту пору, оно никак не

удовлетворяло их понятиям о достоинстве и важности государя, не говоря уж о

том, что зовется величием и чего он полностью лишен. Разве смел настоящий король являться на завоевание рассудительного, пасмурного Руана вместе с возлюбленной, а теперь снова въезжать с ней в город? Зато маркизе и не поднесли

хлеба и вина, хотя здесь, в аббатстве, она занимала лучшие покои. Каждому по

заслугам. Кроме того, с приезда высокой четы улицы освещались, правда лишь по

приказу властей — к чему зря сорить деньгами.

Встать, встать, король идет! Он вступил в залу, окруженный какой только возможно пышной свитой, двенадцать кавалеров круглым счетом, один знатнее и

могущественнее другого, папский легат тоже тут. Садись под балдахин, маленький

человечек Бог весть откуда, ставший теперь великим, на что нужна была неслыханная изворотливость, наряду с общеизвестным легкомыслием, по-прежнему

внушающим недоверие. Но что это? Отсутствовавшее прежде величие — да вот же

оно, его чувствуешь сразу. Он стоит на возвышении, говорит к ним сверху, употребляет будничные слова, и тон у него обыкновенный, и все же тон и слова

являют величие. Оно какое-то особенное. Его нельзя назвать чужеземным, скорее

оно отвечает своеобразию личности этого человека, который, как всем известно,

не всегда обнаруживает свое величие. Но обладает им несомненно.

Генрих держал в руках исписанные листки, небрежно перемешивая их, точно колоду карт, — и тем не менее каждым мимолетным взглядом попадал на нужное место. Буквы были огромные, он предусмотрительно сам переписал слово за словом, чтобы ни одно не потерялось и каждое попало в цель. А теперь говорил с самым естественным выражением, хотя на деле оно было тщательно разучено. Он говорил:

— Если бы я хотел блеснуть красноречием... — И при этом блистал заведомо. — В честолюбии своем я претендую на два доблестных звания. Я хочу называться освободителем и восстановителем этого государства.

Сперва он вменил все, что достигнуто, в заслугу своим верным сподвижникам, своему отважному и благородному дворянству; и вдруг оказалось, что все сделал он сам.

— Я спас Францию от гибели. Спасем же ее и теперь от новой напасти!

В свой призыв он включил всех, кто был здесь представлен, главным образом трудящиеся классы. Пусть помогут ему — не одной лишь покорностью: он требовал их доверия, просил у них совета. Это было примечательно и ново.

— Любезные мои подданные, — правда, именовал он их, но не в пример своим предшественникам созвал их как будто не для того, чтобы они поддакивали всем его решениям. — Я созвал вас затем, чтобы спросить вашего совета и последовать ему. В ваши руки, под вашу опеку отдаю я себя.

Что за слово! Шумный вздох собрания при слове «опека», в рукописи оно стояло отдельно. Беглый взгляд оратора на последний листок, исписанный крупными буквами, и тут король произнес со всей мощью и величием:

— Такое желание редко является у королей, особенно у седобородых и притом победителей. Но все легко и почетно для того, кто любит вас, как я, и хочет носить имя освободителя.

Он сел, разрешил им сесть и молчал, безмятежно откинувшись в кресле, как будто бы и не думал делать торжественные признания, а говорил просто с простыми людьми. Они же там, внизу, зашушукались, потом один откашлялся, поднялся и произнес какие-то слова: секретари ничего не разобрали. Крестьянин говорил на

местном наречии и, кроме того, был смущен и растроган. Он обещал королю давать от себя по одному су с каждого ливра всякий раз, как продаст скотину или мешок с зерном. Другие, те, что подальновиднее и красноречивее, добавили то же от себя. Однако никто всерьез не думал, что собрать удастся сколько-нибудь значительную сумму. Иначе каждому из тех, кто побогаче, пришлось бы пожертвовать полсостояния. Кто имел мало, вовсе и не требовал этого от богачей. Но одно было достигнуто. Они видели короля во всем его смиренности и величии. Их недоверие к нему исчезло.

Он сошел с подмостков и скрылся где-то позади, зрители сразу не поняли, где и как. Загадочность только усилила впечатление, которое он произвел на них. Правда, недоверие к нему, хоть не у всех, исчезло, по крайней мере до поры до времени. Что-то чуждое осталось в нем – возможно, после сегодняшнего выступления оно даже подобало ему. Нормандцы осторожно обсуждали, как же после всего происшедшего понимать его. Они все еще топтались по зале в нерешимости и не прочь были осведомиться у тех, кто лучше знал диковинного короля. Скажем, у его приближенных, которые окружали его во время представления, многих он выбрал сам, чтобы они осведомили нормандцев. На них он мог положиться; гораздо меньше на других, которые остались по своей воле.

Генрих, позади занавеса, за которым исчез, шептался со своей возлюбленной.

– Как я говорил?

– Блестяще. Никто с вами не сравнится. Только к чему опека? Слово это вы вставили вовремя, я даже прослезилась. Но неужто вы в самом деле хотите иметь опекунов вместо подданных?

Он шепотом произнес проклятие, оттого что она не поняла его. Взял ее руку и положил на свою шпагу.

– Не расставаясь со шпагой, – сказал он.

Потом попросил свою подругу по причине ее беременности спокойно сидеть в кресле, сам же стал слушать у занавеса. Сперва он различал голоса третьего сословия; говор был тягучий, но насмешки и строптивости как не бывало. Чуждое

наречие не помешало ему уловить настроение. Если враг нападет снова, все равно, будь то испанцы, немцы или даже англичане, эти люди будут держать сторону своего короля. Им вообще ни к чему военачальник, а война тем более. Но на худой конец они предпочтут короля, который, по всей видимости, свой человек — успел уже даровать им хорошие законы и теперь сам спрашивал их, какие подати угодно им платить!

— А наберется мало, он всегда успеет послать к нам своих солдат, — заметил один крестьянин, верно истолковавший слова об опеке.

Какой-то именитый горожанин заявил, что по видимости можно почти наверняка судить о человеке; так, он лично сразу определяет, заплатит ли покупатель или нет. Нечестный человек либо слишком покладист, либо заносчив!

— А у короля, что бы он ни говорил, лицо было правдивое!

Эту деловую точку зрения подкрепил один из законовевов. Был ли он председателем парижского парламента или какого-нибудь другого, Генрих из-за занавеса разобрать не мог. К нему долетало по несколько голосов сразу.

— На лице обнаруживается все, и радость и страх, — заявил судья, оборотясь к простолудинам, чтобы они извлекли отсюда урок.

Для нормандских господ, епископов и дворян он повторил то же на языке Ювенала:

«Deprendas animi tormenta...»[* * * - Открываешь муки души.]

Один из местных господ ответил крайне осторожно: если бы и было достоверно известно, что трагик силой своего таланта может изображать на лице любые чувства, греки, как известно, не стали бы меньше ценить его за это.

— Черт побери, — пробормотал Генрих, — этот считает меня комедиантом.

Ремесленники и скотоводы вновь утешили его, для них все решалось тем, что он преуспел.

— Прошлый раз он заявился к нам бедняком. А теперь — что за пышный въезд, что за богатство! Он умеет деньги загребать, при нем жить можно...

Благоговейный трепет пронесся по всем присутствующим. Этим воспользовался маршал Матиньон, которого Генрих на сегодня выбрал себе в помощники.

— Люди добрые, — сказал маршал. — То, чем король умеет покорить и вас, и даже тузов покрупнее — это свойство особое, иначе как редчайшей милостью Божьей оно не дается. Это и есть величие.

Чем таинственнее было слово, тем сильнее подействовало на них. Они без того были склонны отказаться от обычной рассудительности, а слово «величие» поощрило их, ибо они сами почуяли в короле нечто подобное и только названия подобрать не умели. Теперь же они, не задумываясь, согласились бы, что дважды два пять, а когда Матиньон рассказал им, что великий человек по сию пору никого не удостоивал такой близости и доверия, как их, тогда у холодных северян развязались языки. Они говорили все разом, они восхваляли собственную храбрость и готовность отдать все, что имели, а не только одно су с ливра: пол-ливра и даже больше. Им сразу стали привычны выражения «большой человек», «величие», даже слово «любимец народа» было произнесено.

Генрих расслышал его из-за занавеса; несмотря на гул голосов, это слово не ускользнуло от него. В первый миг он испугался и склонил голову. Но тотчас поднял ее, и даже еще выше. Он произнес:

— Завоевал. — А мысленно добавил: «Надолго ли? Дай Господь, чтобы до тех пор, пока их воодушевление не охватит другие мои провинции, а те расшевелить легче, чем эту. Недаром я начал отсюда. Весь мой народ, все королевство должно быть на страже, должно быть готово к встрече, когда с востока нахлынут низкорослые дикие кони и кривые сабли».

В зале министр господин де Вильруа стукнул кулаком по столу, на котором составлялись протоколы. Он объявил, что все лица простого звания, заседавшие здесь, возводятся его величеством в дворянство. Тишина после этого воцарилась глубокая и долго не прерывалась, пока у какого-то селянина, должно быть, от потрясения, не вырвался неприличный звук, и притом очень громко.

— Не во гнев его величеству, простой дух должен как-нибудь выйти наружу, — заявил селянин под всеобщий хохот.

Менее всего, естественным образом, величие короля и его решительный успех тронули прибывших с ним господ, а главное, духовных лиц. Один из двух кардиналов напомнил другому стих Горация, гласивший: «Он пренебрегает тем, чем

все равно владеет, и заискивает перед людьми, которые его отвергают».

– *Transvolat in medio posita, et fugentia captat*, – с чистейшим итальянским выговором привел кардинал этот стих. Латынь второго имела французский оттенок:

– *Nil adeo magnum...*

Зато он сразу срифмовал Лукреция на своем родном языке.

Так все великое вначале превозносят,
А срок прошел – его уже поносят.

Оба знатока поэзии перемигнулись; не то папский легат: он хоть и приехал сюда, но ожидал увидеть бесповоротный провал короля. Теперь он сам был сражен и стенал про себя, впрочем, памятью на классических поэтов он не уступал двум другим.

Мне не понять, почто моих ягнят
Чарует и влечет его коварный взгляд.

Так перевел он слова Вергилия: «*Nescio quis teneros oculus mihi fascinat agnos*», после чего, с дрожью в ногах, легат покинул залу. За ним стали расходиться остальные.

Один нормандский дворянин обратился в дверях к одному из верховных судей:

– Даже мне припомнилось изречение древних: «*Fords imaginatio general casum*».

То, что человек живо воображает себе, претворяется для него в действительность.

Законовед ответил ему, стоя на пороге:

– Сударь, вы превосходно постигли натуру нашего короля.

Так как они уходили последними, Генрих ясно расслышал их слова. Он высунул голову из-за занавеса, чтобы поглядеть им вслед, и заметил, что у нормандца такая же длинная, очень прямая спина и светлые краски, как у его Рони. Понятно, не всякому дано быть статуей с собора. В рассудительности и каменной суровости тоже есть более низкие ступени. Совершенство северной породы являет мой Рони, он предался мне душой, а значит, будет мне верен до конца моих дней.

– Завоевал, – произнес он снова. – Именно их я завоевал. Бесценная

повелительница, — крикнул он и несколькими крупными шагами очутился подле нее, прижал к себе ее золотистую голову, щеки цвета лилий и роз, глаза, серые, как здешние моря. — Чтобы завоевать тебя, я служил бы еще дольше, — произнес он у самых ее прелестных губ; она услышала это с таким счастьем, с такой гордостью, что засмеялась, высмеяла его. Он же касался ее бережно, по причине ее беременности.

Две доброжелательницы

Неделю спустя возлюбленная короля родила девочку. Красавица, так отозвался о малытке Генрих и повелел крестить ее торжественно, как дитя французского королевского дома. Она была названа Екатерина-Генриетта, он сам и его сестра дали эти имена дочери Габриели. Мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля, не могла сама держать свою крестницу над купелью, так как была и осталась протестанткой. Но сидеть у постели роженицы она имела право в качестве самой близкой приятельницы, какую Габриель приобрела при дворе, других ей приобрести не удалось.

Екатерина описывала матери счастливое телосложение ее дочери; в рассказ она вкладывала много благочестивого пыла, ибо безупречная телесная оболочка свидетельствует о небесной благодати, осенившей новорожденную, и сулит ей радостное земное бытие. Ее собственный жизненный путь, хотя она и носила теперь титул сестры короля, уже не обещал никаких радостей; но Екатерина склонна была считать хромоту причиной своей незадачливой жизни. Она никогда не признавалась в этом и всем выказывала высокомерие, много детского высокомерия на стареющем лице. Одна Габриель знала ее иной, с ней Катрин становилась нежна до преклонения. Эта женщина дарила милому ее брату красивых, здоровых детей, одного за другим. Она была избрана и отмечена благодатью. Сестра короля сидела у постели роженицы отнюдь не в знак милости и расположения, а для того, чтобы благоговеть.

После счастливого сложения ребенка она описала подушку, на которой его, как драгоценность, несли сейчас по церкви Сент-Уэн. Великолепно разодетые кавалеры

и дамы брали друг у друга из рук подушку, где покоилось дитя Франции, — не всем было дозволено притронуться к ней. С парчовой подушки ниспадала серебристая ткань и горностаевая мантия длиной в шесть локтей, вся в хвостиках; чести нести эту мантию удостоилась мадемуазель де Гиз.

— Все меня ненавидят, — прошептала Габриель. Она обнаружила свою тревогу, потому что была еще слаба. Впрочем, она чувствовала, что сестре ее повелителя можно сказать правду. — Мадам, женится на мне наш повелитель? — прошептала она.

— Не тревожься, — сказала Катрин, опустилась на колени и погладила левую руку молодой матери, ту самую, за которую ее милый брат поведет эту женщину к алтарю. — У тебя есть доброжелательницы, и одна из них я.

— Разве есть и другая? — спросила Габриель, от удивления она даже приподнялась.

— Принцесса Оранская[58. — Принцесса Оранская, Лиза де Колиньи (1555–1620), — дочь адмирала де Колиньи, жена Шарля де Телиньи, погибшего в Варфоломеевскую ночь. Вторично вышла замуж за Вильгельма Нассауского, принца Оранского.] вместе со мной желает, чтобы король сделал своей королевой самую достойную.

— И я самая достойная? По мнению суровой и благочестивой особы, которая там у себя в Нидерландах, наверно, слышит обо мне одно дурное?

Стоя, чтобы речь ее звучала внушительно и веско, мадам Екатерина Бурбонская произнесла:

— Принцесса Оранская одной со мною религии. Мы, протестанты, верим в свободу совести и выбор сердца. Король, брат мой, нашел ту единственную, которой он хочет владеть до конца, — в своем королевстве нашел он ее.

Вот все, что она сказала, этого было достаточно надолго. А потом она вскоре покинула комнату и запретила прислужницам Габриели входить к ней, потому что ей нужен покой.

Габриель лежала и пыталась осмыслить эти новости, насколько позволяла ей обессиленная потерей крови голова. Свобода совести — смысла этих слов она не

понимала, улавливала только, что он благоприятен для нее. Две протестантки, и больше никто, были за нее; они хотели, чтобы королева Франции была родом из их страны. Отнюдь не какая-нибудь принцесса чужого, пусть даже могущественного дома, инфанта, эрцгерцогиня, богатая княжна. Не надо больших денег и влиятельного родства, о чем непрестанно помышлял господин де Рони, ища по всей Европе, какой союз был бы для короля всего полезней.

Об этом Габриель знала с самого начала. Холодный расчет верного слуги, ненависть всех тех, кто сверху вниз смотрел на нее и ее происхождение, то и другое, к несчастью, не было для нее тайной, а стало ей привычно. Только любовь короля и «выбор сердца» позволяли ей видеть жестокие и неумолимые истины сквозь розовую дымку. Она боялась инфанта, но предостерегающий голос заговорил в ней лишь недавно, — с тех пор, как ее возлюбленный повелитель стал страшиться кривых сабель с востока. Да, не возникни в нем сознание опасности, в ней бы оно молчало; теперь же она благодаря детям была частицей его плоти и крови. Второе дитя родила она своему повелителю, и опасности как будто перестали надвигаться, правда, они остановились лишь на сегодня и завтра; она предчувствовала, что потом все начнется снова.

Габриель отворачивает лицо от света, чтобы легче было думать. «У меня две доброжелательницы, обе протестантской веры. Как же так, я-то ведь не протестантской веры. И вокруг короля нет протестантов, кроме господина де Рони, который меня ненавидит. Что же из этого получится? Что хотела сказать сестра короля? Ответа не найти, особенно сейчас, да и потом это будет нелегко. Усни, предайся невинным грезам о своем брачном наряде».

Габриель втянута в крупную игру мощных сил, запуталась в ней и многого не понимает, только чувствует: нечистая это игра. Мячи летают, и ставка слишком высока, не она ли то сама? Игроки целятся, ловят и промахиваются; последний соберет все мячи и унесет ставку. Король ведь так хорошо играет, неужели не ему достанется она? Правда, он совершил тот пресловутый смертельный прыжок, который многое предрешил. Неужели и исход игры за Габриель? Она уснула, невинно грезит она о своем брачном наряде.

Кардинал Австрийский

Генрих, Габриель и двор покинули Руан и воротились в Париж к самому карнавалу. Этот карнавал проходил особенно шумно; таково было первое следствие честного поединка в Руане, из которого король вышел победителем. Париж тоже признал себя побежденным. Знать и даже почтенные горожане снизошли до забав простонародья, потому что считали: король питает слабость к простонародью и его нравам. Кавалеры и дамы не отставали от черни, на ярмарке и многолюдных улицах кавалеры смешивались с толпой зазывал, школяров и носильщиков, а прежде только приказали бы своим лакеям проучить подобную мразь при первой же непочтительной выходке. Теперь они сами набивались на стычки и споры, не возмущались, получая удары, а некий адвокат, от которого ничего подобного нельзя было ожидать, даже потерял в кабаке шляпу.

Дамы забыли свое тонкое воспитание и открыто посещали балаганы, где показывали разных уродов. Более того, они заводили знакомство с публичными женщинами самого низкого пошиба. Ходили слухи, будто одна дама вместе с девкой отправилась в некий дом, правда, под маской, и не сняла ее даже в самую критическую минуту. Габриель, которой об этом рассказали, на ближайшем приеме повернулась к легкомысленной даме спиной, хотя обычно была образцом вежливости. Но помочь ей ничто не могло, ей самой ничто не вернуло бы доброго имени, ни учтивость, ни единичная вспышка гнева.

О короле, маркизе д'Эстре и кардинале Австрийском, захватившем Кале, сложили во время этого карнавала четверостишие, которое было на устах у всех парижан:

Великий Генрих не пропал,
Испанцы уползли на брюхе.
Теперь бежит он от попа
И прячется под юбку шлюхи.

Габриель вспоминала радушный, дружественный город Руан, там бы не стали ни сочинять, ни петь такие вирши. Она хотела пресечь их распространение и даже

подкупила нескольких дюжих молодцов, чтобы они приняли должные меры. Но тщетно, однажды вечером, когда они остались вдвоем, Генрих проговорился, что знает эти вирши. И процитировал их в самый разгар любовных утех.

В ответ Габриель резко отстранила его. Потом серьезно попросила, чтобы он перестал играть. Даже игра в мяч, как ни ловок он в ней, как ни приятно на него смотреть во время игры, все же стоит дорого, а главное, карты, он из-за них непременно попадет в руки ростовщиков. Она знала, кого имела в виду — человека по имени Цамет. Дом Цамета был в одно и то же время игорным притоном, ссудной кассой и борделем, и король посещал его.

Пожалуй, лучше все-таки было сопровождать его, хотя бы на знаменитую ярмарку в Сен-Жермене, и Габриель взяла с собой нескольких дам, в том числе свою тетку де Сурди и мадам де Сагонн[59. — Де Сагонн Диана де ла Марк — фрейлина Екатерины Медичи, дочь маршала Франции Роберта де ла Марка. Граф де Сагонн был ее третьим мужем.]. Последняя любила посплетничать. Габриель рассчитывала на то, что все немедленно дойдет до сведения двора. Поэтому она устроила так, чтобы король стал торговать для нее кольцо, португалец запросил несуразную цену, и Габриель отказалась от кольца. Но бережливость так же мало помогла ей, как и строгость нравов. Кто ищет недоброжелательных объяснений, всегда найдет их.

Во вторник на масленой у мадам Екатерины Бурбонской состоялся большой бал в честь Габриели. Тюильрийский дворец, в котором жила сестра короля, сиял огнями, не осталось ни одной темной каморки, ни одного укромного уголка. Все придворные дамы, собравшиеся вокруг сестры короля и его бесценной повелительницы, были одеты одинаково в бирюзовый шелк; бирюзовый — излюбленный цвет белокурой Габриели, а шелк — из мастерских короля. На всех были маски; чтобы отличить одну от другой, надо было доподлинно знать телосложение своей дамы или заранее условиться с ней.

Музыка звучала с хоров, негромко и степенно, здесь допускались одни строгие танцы, и некоторые девицы утверждали потихоньку, что будет очень скучно. Многих

удивляло, что кавалеры запаздывают, а затем еще больше, что они прибыли все разом. Появление их было весьма странно, некоторые из них, присев на корточки и тяжело выбрасывая вперед ноги, с громким стуком прыгали по зале. Другие шагали, выпрямившись во весь рост, который вдобавок непомерно увеличивали скрытые ходули и высокие шапки, украшенные астрологическими рисунками. Эти великаны тоже стучали в тазы деревянными ножами. По их длинным одеяниям можно было понять, что они изображают волшебников. Вместе с тем они смахивали и на брадобреев, а прыгуны напоминали цирюльников. Даже пиявки или нечто похожее торчало у них из карманов.

Дамы сперва смущенно смотрели на происходящее, на непрерывное шествие своих кавалеров, которых уродовали не только личины и длинные носы. Это была какая-то помесь чародеев с цирюльниками — одни были похожи на скачущие обрубки, у других головы высоко парили под знаком созвездий, те привязаны к земле, эти вознесены над ней, ни одного настоящего человека, все карикатуры, следующие друг за другом по пятам, а в целом какой-то парад марионеток: право же, дамам стало не по себе. «Неужели это наши кавалеры?» — спрашивали они, пока вертелся хоровод. Некоторые захихикали, и, наконец, все безудержно рассмеялись. У двух или трех смех перешел в припадок, они визжали, откинувшись на спинку стула.

Их крики, а также странное представление привлекли внимание челяди. Даже привратники и солдаты, отгонявшие внизу любопытных, покинули свои посты; каждый предполагал, что его заменит другой. Но другой думал то же самое, и потому постепенно все очутились наверху. Они теснились в одной из галерей и через растворенные двери заглядывали в залу. За ними прошмыгнули любопытные, которых некому было выпроводить, и вскоре вся галерея наполнилась посторонними зрителями. Солдаты не спешили разгонять толпу, потому что им здесь тоже было не место. По причине давки, которую они сами создавали, люди вталкивали друг друга в бальную залу, где придворные исполняли балет брадобреев. Господа не раз удостаивали своим вниманием улицу. Теперь улица явилась с ответным визитом.

Среди тех, что пришли с улицы, находился настоящий брадобрей. На нем тоже был картонный нос с бородавками. Нос и звание давали ему, на его взгляд, право

принять участие в балете, раз он исполнялся в его честь. Он присел на корточки, как остальные брадобреи, и принялся стучать своими инструментами, которые были неподдельными, и пробовал тоже выбрасывать ноги по всем правилам искусства. Но этому искусству он не обучался, а потому опрокинул того, кто плясал перед ним, сам же упал на руки плясавшему позади. Падая, передний брадобрей увлек за собой одного из чародеев, тот поскользнулся на своих ходулях и во весь огромный рост обрушился на нескольких прыгунов. За ним зашатался и следующий чародей. От испуга и любопытства подняли крик и дамы и простонародье. Никто не мог бы сказать, в ком сильнее был испуг, а в ком любопытство.

Между тем подлинный брадобрей лежал в объятиях поддельного, и последний распознал подлинность первого, нюхом ощутил ее. А потому он сказал:

— Хочешь, свинья, заработать экю?

— Еще бы, — сказал подлинный.

— Видишь зеленую особу, которая прячется за стеклянной дверью? Выбрей ее наголо, как полиция бреет таких девок, — потребовал поддельный. Подлинный возразил:

— А вдруг она дама? За экю рисковать не стоит, меньше золотого взять нельзя.

— Согласен на золотой. — Поддельный брадобрей показал монету. — Дело в том, что эта особа носит парик, и ты выбреешь ее для виду. Шутка условлена заранее. Будь наготове, когда тебя позовут.

Тут, наконец, фигуры смешавшегося балета пришли в порядок, брадобреи стояли во весь рост, а чародеи — на своих ногах, без ходулей. Дамы проявляли живейшую заботу о своих кавалерах — не пострадал ли кто-нибудь из них при падении. Каждая искала своего и находила его легче, чем он ее. Габриэль д'Эстре схватила в сутолоке руку короля, она давно узнала его в среднем из семи чародеев.

— Сир! Скорее прочь из сутолоки. Возлюбленный повелитель, вспомните Жана Шателя и его нож.

С этими словами она увлекла его в один из ближних покоев; там она поспешила задуть все свечи, до которых только могла достать. Ни на миг не выпуская руки Генриха, она закрыла его собой, чтобы его не было видно, и прошептала:

— Этого вам не следовало делать.

— Бесценная повелительница, я не виноват, что представление приняло такой оборот. Вы ведь знаете, что я хотел изобразить чародея, и больше ничего. Бладобрей явился по собственному почину. Балет чародеев и бладобреев, хотя и разучивался очень тщательно, все же был допущен по нечаянности и неосмотрительности, уверяю тебя и клянусь тебе. — Генрих поцеловал ее прелестный подбородок. Красивый рот был прикрыт кружевом маски.

Тем временем в зале стало необыкновенно тихо. Оба выглянули туда, но не разобрали, что случилось. Измененный, шутовской голос проблеял, нарушив тишину:

— Солдаты, повинуйтесь мне. Я состою при дворе. Возьмите зеленую особу, она убежала от меня и захватила мои драгоценности.

Другой хриплый голос прервал его:

— Правильно поступила девка, что окупила свои и мои убытки. Потому что мне вы не уплатили за сводничество, старый скряга.

Зеленая особа, как ее именовали, принялась браниться: по силе голоса было ясно, что это уже не подделка. Говору улицы подражать можно, но тону — нельзя. Словом, тут разыгрывалась комическая сцена между девкой, нарочно для того приведенной, и двумя кавалерами, которых король и его возлюбленная вскоре узнали по голосам.

— Это господин де Роклор, — сказал Генрих.

— Это господин де Варенн, — сказала Габриель. И еще тише добавила: — Ужасно.

Она угадала раньше, чем это понял король, что готовится оскорбление ей. Господин де Роклор, товарищ короля из поры его юности, его сверстник, он сохранил легкие нравы тех времен. Меня ему не за что ненавидеть. Он протестант. Но он любит посмеяться; и потехи ради он предает меня сейчас моим врагам, сам, может быть, того не зная.

— Вот дурни! — Генрих хотел вмешаться. Габриель удержала его. — Что это взбрело на ум моему Роклору? — спросил он. — А Варенн? Ведь он когда-то был вестником между мной и вами. И за это из повара стал богачом. А сейчас изображает сводника, будто он на самом деле не таков. Господи помилуй, меня окружают безумцы.

— Менее безумные, чем вы полагаете, — пробормотала Габриель и вся поникла у него на груди. Тут он увидел, что под маской глаза у нее подернуты слезами.

— Красавица моя, — пробормотал он. — Сердце мое. — Перед ее горем он совсем растерялся. Там, в зале, делали вид, что шутят. А то, что преподносится шутя, никогда не следует принимать всерьез, даже если на самом деле это серьезно.

Габриель шептала настойчиво:

— В этой комнате есть потайной ход. Как бы отыскать дверь в стене! Скорее прочь отсюда, мой возлюбленный повелитель!

Но найти секрет было не так просто, особенно не зная его в точности. Выстукивая стены, Генрих приблизился к выходу в залу — и несколько раз уже заносил ногу, чтобы броситься туда и прервать комическую сцену, ибо и он теперь слышал, сколько в ней скрывалось ехидства, яда и насмешки. Двое солдат из стражи тоже приняли в ней участие, и пока сводник оборонялся, мнимый придворный непрерывно требовал брдобрея с бритвой. Девка между тем хриплым визгливым голосом хвастала, что у нее есть защита, против которой бессилен кто бы то ни был. Словом, нельзя терять времени, ни минуты нельзя терять, с каждой фразой становится яснее, что они подразумевают меня и мою бесценную повелительницу.

Он оглянулся на Габриель: она прислонилась к стене, рука ее лихорадочно нащупывала дверцу. Но спасение она ждала уже не от потайного хода. Он сам должен оградить ее; того же хотел, к тому страстно стремился и он. Если бы я мог вмешаться и выступить совершенно открыто!

Он готов был сделать это, но другой опередил его.

Тот тоже был наряжен чародеем, а ростом и проворством движений напоминал короля, даже хватка его показалась знакома зевакам, когда он отстранил их. Брдобрея он встряхнул так, что у того выпала из рук занесенная бритва, и швырнул его на пол. Сводник Варенн был награжден пинком в зад, оба солдата убрались сами. Остался один господин де Роклор, который все еще пытался блеять по-козлиному. Но у него пропала к этому охота, когда новый участник представления сбросил маску.

Это оказался граф Суассон: какая неожиданность для большинства! Фигурой и, пожалуй, даже лицом он до некоторой степени походил на своего августейшего кузена, только он был лишен остроты ума и величия. То и другое у Суассона в подобных случаях заменялось свирепой миной; вот и сегодня его лицо от гнева залилось краской по самую шею. Бороды он не носил, иначе многие с перепугу все еще думали бы, что это король.

После того как услужливый кузен обратил в бегство всех врагов зеленой особы, он взял ее за кончики пальцев, словно вел настоящую даму. Кто знает, какие глупости он еще затевал. Но, на беду, уличная девка была пьяна. Преступные шутники привели ее во дворец, невзирая на ее состояние. От ярости и от того, что все взоры были устремлены на нее, хмель еще сильнее ударил ей в голову, — так что она совсем разошлась и со всего размаху ударила беднягу Суассона головой в живот, хотя он изображал ее кавалера. Брадобрей в своем старании обрить девку, сдвинул ей парик, и тот не выдержал буйных движений. В конце концов он свалился у нее с головы, и она оказалась лысой, совершенно лысой. Она сама заметила это, только услышав взрыв хохота и среди придворных, и среди народа. Сперва она окаменела, затем стал искать жертв для своей мести, но, увидев, что она одна на поле брани, с воем кинулась в глубину залы.

Все это было гадко и крайне постыдно, независимо от того, принадлежали ли действующие лица ко двору или явились с улицы. За всех обиженных вступить мог один лишь король, что он и поспешил сделать. Вместе с мадам д'Эстре, своей бесценной повелительницей, вышел он из ближнего покоя; они держали друг друга за руки, лица их были открыты. Король заговорил громко, чтобы слышали все:

— Это была шутка, которую придумал я от начала до конца. Приношу благодарность любезной даме, которая изображала пьяную и бритую девку, а на самом деле она трезва, обладает великолепной шевелюрой, и я дарю ей дорогой алмаз.

В народе эта речь вызвала большую радость, а двор вздохнул с облегчением.

Господин де Роклор, наконец-то все уразумев, приблизился к королю и готов был упасть на колени. Но его величество не допустил этого и с похвалой отозвался о его удачной выдумке и всей комической сцене.

— Удалитесь, мой друг, и закройте за собой дверь. Мадам утомилась от смеха и нуждается в кратком отдыхе.

Спустя некоторое время кто-то отважился открыть дверь ближнего покоя. Король и мадам д'Эстре покинули его, непонятно, каким путем.

Он отправился с ней в ее дом, граничивший с Лувром.

— Сир! Не уходите. Я одна.

Генрих:

— Бесценная повелительница, скоро мы будем соединены навсегда.

Габриель:

— Вы не думаете того, что говорите. Вы думаете, что я всем ненавистна. Ведь вы сами видели это.

Генрих:

— А я? Мы оба одинаково вознесены на недостижимую высоту и беззащитны. Чем выше мы будем, тем беззащитнее.

Габриель:

— Разве нет у нас друзей?

Генрих:

— Они лишь осложняют наше дело, как мой кузен Суассон осложнил комическую сцену.

Габриель:

— Мой высокий повелитель. На комической сцене нынешний день не кончится.

Она зарылась головой в мягкую подушку, чтобы самой не слышать своих слов. Так она ждала, чтобы он ушел.

В своем безлюдном Лувре он лег в постель. Было одиннадцать часов, он рано покинул бал. Не успел он уснуть, как к нему вошел господин д'Арманьяк.

— Сир! Амьен!

Д'Арманьяк поперхнулся этим словом и не мог больше ничего выговорить. Но Генрих уже вскочил на ноги. Крепость Амьен взята врасплох, захвачено сорок пушек, и ничто, никакая река, никакое войско не преграждают путь к Парижу. Он идет беспрепятственно.

— Он погиб, — сказал Генрих, стоя в ночной рубашке. Его первый камердинер, дрожа, спросил — кто.

— Кардинал Австрийский.

Сапожник Цамет

Рони разбудили в его арсенале и вызвали к королю. Король без усталости шагнул по своей комнатке, позади покоя с птицами. Зажженные свечи не могли обмануть птиц, они молчали, нахохлившись. Король ходил безмолвно, опустив голову, шаркая туфлями, полы халата волочились за ним. Дворяне его стояли, вытянувшись вдоль стен. Ни звука, ни слова. Господин де Рони, едва войдя, почувствовал недоброе.

— Эй! Друг! Беда, — в самом деле крикнул ему навстречу король.

Когда верный слуга узнал, что речь идет об Амьене, что взяты и город и крепость, он опешил.

— Кто это сделал? Как это случилось?

— Испанцы. Среди белого дня, — сказал король. — А все потому, что города отказываются принимать мои гарнизоны. Теперь мне снова надо выступить в поход, сегодня же на рассвете. Против испанцев, — повторил и подчеркнул он, чтобы никто не мог угадать, чего он на самом деле ждал и опасался: воевать ему придется со Священной Римской империей.

Такой разум, как у него, мыслит верно, но мыслит чересчур поспешно.

«Немецкие князья, с которыми я был прежде одной веры, теперь не захотят помогать мне, — справедливо решает он. — На этот раз для меня на карту поставлено все». Так и есть, впрочем, и раньше для него на карту ставилось все.

Кардинал Австрийский — полководец Священной Римской империи: совершенно верно,

и многие ему подобные еще пойдут на тебя войной. Сама же империя зашевелится

лишь после того, как вновь истекнут двадцать лет. Тебя не будет при этом, Генрих. Твое воздействие на судьбы мира выразится в том, что ты отвоешь себе

эти двадцать лет. А после тебя начнется великая война, несущая длительные

бедствия. От своего королевства ты отвратишь ее, хотя телесной оболочкой не будешь при этом. Но твоя тень отвратит ее, потому что мыслил ты верно, хоть и слишком поспешно. Сир! Редко случается, что человек мыслит на будущее, а действует в отведенном ему времени.

Верный слуга Рони и действовал и мыслил исключительно в отведенном ему времени, и это было очень хорошо. Если бы его государь сейчас заговорил с ним о Римской империи, Рони про себя сказал бы: «галиматья» меж тем как лицо у него осталось бы каменным. Но король попросту потребовал денег и пушек для Амьена. И попал в точку – Рони, не ожидая приказа, сам принял меры, особенно в отношении пушек. Хуже было с деньгами, а они ведь всего важнее. Сейчас они бы могли быть, да и были бы. Но не надо забывать об отмене налогов, о льготах крестьянам, ссудах ремесленникам, о выкупе городов.

Чрезвычайные обстоятельства требовали от господина де Рони беспощадной откровенности. Во что обошлись постройки короля, во что его празднества, его страсть к игре. Если бы тут на столе лежали хотя бы те деньги, которые поглощены бесценной повелительницей! На трех столах не уместить бы их. Едва он кончил, как в комнате появилась она сама. Ей сообщили о несчастье, когда она в тревоге лежала без сна. Она надела то же платье и даже маску и поспешила к своему повелителю, она хотела разделить с ним тяжелые минуты, а также искала у него защиты.

Генрих взял ее за руку, как незнакомку с замаскированным лицом, и подвел к господину де Рони; она грациозно склонила голову, а Генрих сказал: вот прекрасная дама в наряде цвета бирюзы, которая добудет ему денег на военные нужды. И тут же сам с помощью д'Арманьяка надел платье чародея, подвязал маску и вышел вместе с возлюбленной. К свите их присоединились многие из гостей, которые танцевали у сестры короля. Время было позднее, но улицы все еще полны людей и шумны. Генрих никогда не видел столько нищих; собственное положение делало его пронизательным, граница между беспечностью и нуждой сразу обозначилась ужасающе резко.

Король прошел весь путь пешком, дабы народ видел его и не верил в беду;

таким образом, ночное шествие достигло улицы де-ла-Серизе и глухой стены — за ней, казалось, не могло быть ничего. Однако всякому был знаком отгороженный сад, уединенный дом, и король давно уже не делал тайны из своих посещений сапожника Цамета; Когда растворилась железная дверца, слуги с факелами ринулись через сад, выстроились и осветили его. Это был сад в итальянском вкусе, больше колонн, чем деревьев, больше камня, чем дерна, вместо зеленеющих зал — храмы, построенные в виде руин. На низком фасаде дома не нашлось бы местечка без орнамента, это было поистине произведение ювелирного искусства из разноцветного мрамора. Хозяин дома, одетый так же богато, ожидал короля у невысокого парадного крыльца; приветствуя его величество, он всеми своими растопыренными пальцами коснулся каменного пола.

Маркиза посредине между королем и сапожником, который был теперь богатым ростовщиком и только в память первых его шагов на деловом поприще назывался сапожником, — так вступила эта величественная троица в теплые, маленькие залы. У каждого из троих было много планов в отношении друг друга. Маленькие залы отличались не только теплотой воздуха, они ласкали взгляд рассеянным светом и мягкой роскошью. Обоняние тоже услаждали невидимые пульверизаторы. У Цамета все хорошо пахло, но отраднее всего были ароматы из открытой напоказ образцовой кухни, где пылали очаги и хлопотали белые повара.

Троица, связанная между собой сложными делами, медленно обходила дом. На двоих были маски, никому не вменялось в обязанность их узнавать, за столиками не прерывали еды или игры. Где не подносились блюда, там сдавались карты. Генрих отыскал свободное место за столом игроков в приму. Прима нравилась ему чуть не больше брелана; потому-то хитрый Цамет, флорентиец, левантинец, Бог весть кто, направил туда шаги короля, и пустой стул был предусмотрен заранее.

— Цамет, — сказал Генрих, торопясь занять стул, — маркиза удостоит вас беседы с глазу на глаз.

— Я не могу в себя прийти от такой чести, — пролепетал низенький чужестранец, округлив глаза; лицо у него было смуглое, плоское и больше в ширину, чем в длину, а бедра совсем женские.

— Так ведите же себя в этом деле, как будто вы дворянин, — сказал Генрих. Он

собрался было отойти, но, указав на некоторых из своих спутников, добавил: — Я привел с собой брадобреев, и тем не менее вы единственный, кто здесь всех стрижет. Но запомните: мне, как чародею, тоже многое доступно.

После этого он поспешил на свое место за игорным столом. Цамет взглянул прямо в глаза прекрасной маске; вокруг них образовалось пустое пространство. Он холодно спросил:

— Сколько?

— Себастьян, вы красивый мужчина, — шепнула Габриель, заворковала, засмеялась бисерным смехом и откинула голову, чтобы он полюбовался на ее прелестный подбородок. Увидев, что он очарован, она сразу перешла на повелительный тон. — Пять мешков золота, — приказала она, и голос у нее стал глубокий, как колокол, когда в него ударяют слегка, и, стремительно подавшись вперед, она сокрушила маленького человечка, — только тем, что была Габриель, бесценная повелительница. Ему в самом деле почудилось, будто он проваливается сквозь мраморные плиты собственного дома. От испуга он назвал ее высочеством.

— Ваше высочество, позвольте перевести дух, — с трудом выдавил он, напряжив короткую шею, и хотел улизнуть. Она закрыла веер и прошептала:

— Тайное известие. Король победил испанцев.

После чего сама повернулась к нему спиной.

Габриель выбрала один из столиков, за которым ужинали. После всех волнений она вдруг почувствовала сильнейший голод. Ни одна из бывших здесь масок не узнала ее или не подала вида, что узнает. Габриель болтала, как они, даже выпила стаканчик, ибо понимала, что самая горячая борьба впереди. За ее спиной кто-то прошептал:

— Пойдемте!

Габриель посмотрела через плечо, выжидая, чтобы маска назвала себя.

— Сагонн, — прошептала маска в бирюзовом платье, какое было на всех придворных дамах. Габриель вместе с Сагонн подошла к одной из дверей, за которой свет был еще более рассеянный и комната казалась пустой. Через порог Габриель не переступила. Спутница ее сказала торопливо и приглушенно:

— Не входите туда.

Сказала она это лишь после того, как увидела ясно, что Габриель не решается войти. И тут у нее развязался язык:

— От подобных людей всего можно ожидать, откуда же сапожнику так разбогатеть. Прежнему королю он делал мягкие итальянские башмаки, незаменимые для больных ног. Потом стал ссужать дворян деньгами и брал все больший процент, при дворе не осталось никого, кто бы не был его должником. У прежнего короля под конец ничего не уцелело, а Цамет сбывал все сокровища королевства в чужие страны. Только то, что мы, женщины, отбираем у него, остается здесь. К женщинам сапожник Цамет питает слабость, мадам.

— Сагонн, — прервала ее Габриель. — Я желаю слышать только то, что поручил вам Цамет, больше ничего.

Дама запнулась, потом решила возмущенно вскрикнуть. Но так как Габриель не стала дожидаться ее возгласа, то госпоже Сагонн оставалось только броситься вдогонку. Габриель постаралась, чтобы Генрих увидел ее появление. Сидя за игорным столом, он всем старался показать свою бурную радость, ибо перед ним лежали груды золота, а у его партнеров был вид побежденных. Увидев свою бесценную повелительницу, он под маской прищурил левый глаз: это означало больше, чем удовольствие от выигрыша. Он заметил, как она поступила с Сагонн. На определенном расстоянии Габриель остановилась, откуда ее возлюбленному повелителю будет слышно, что скажет Сагонн.

Посланница сапожника будет говорить тихо, рассчитывая, кроме того, на гул голосов. У кого еще такой тонкий слух, чтобы уловить все, что его касается. Габриель знает этот дар своего повелителя; от него ничто не ускользнет.

Мадам де Сагонн, хрупкая особа с острым носом, который был скрыт маской, и тонким ртом, который был виден, задыхалась от потрясения или оттого, что прикидывалась потрясенной.

— Ваше высочество, — внезапно сказала и она, быть может, по наущению сапожника. — Ваше высочество! За пять мешков, которые он дает взаймы королю, ему хотелось получить десять. Я воспротивилась, я кричала, как попугай. Разве вы не слышали моего крика?

— Голос ваш звучал слабо, — сказала Габриель. — Должно быть, полмешка

предназначалось вам.

— А вам целый, — прошипела Сагонн. Она не отличалась выдержкой и, как все, думала только о наживе. Сапожнику Цамету не следовало для этого дела брать себе неопытную помощницу. Габриель спокойно возразила:

— Таким путем я обсчитала бы короля на пятьдесят тысяч экю. Этого я не желаю.

К Сагонн возвратилась вся ее осмотрительность.

— Вы богаты.. — Она слегка преклонила колени и продолжала льстиво: — Вы можете принести в дар нашему государю и повелителю не только свою красоту. Но, поверьте мне, я тоже стараюсь по мере сил. Я уже успела обуздать бессовестные требования сапожника и снизить их с десяти мешков до семи.

— Это подойдет, пожалуй, — решила Габриель.

— Позвольте договорить до конца, — продолжала Сагонн, укрывшись веером. — Кто-то отозвал его. Когда сапожник возвратился, ему уже было известно, что Амьен пал, он захлебывался от злости, теперь он настаивает на десяти мешках, а завтра дойдет, наверно, до двенадцати.

Габриель очень испугалась, что дело приняло такой оборот для ее возлюбленного повелителя. Она слишком медлила с ответом, на что особенно обратил внимание Генрих, именно ее растерянное молчание услышал он явственней всего; слезы потекли у него под маской, пока он собирал и складывал в груды золотые.

С самообладанием, восхитившим его, Габриель произнесла:

— Сагонн, простите мне, на сей раз вы вели себя, как настоящий друг. А теперь я вас прошу: скажите господину Себастьяну Цамету, что я желаю побеседовать с ним. Я согласна даже войти в полутемную комнату.

— Но он не согласен, — возразила та. — Он боится вас больше, чем короля. Надо брать то, что он предлагает, а иначе не получишь ничего.

— Сделайте то, что я велю.

Тон Габриели не допускал ослушания, мадам де Сагонн отправилась, куда ее посылали, хоть и нерешительно и с частыми остановками. Ее поведение было естественно, так должен поступать посредник, не желающий, чтобы стороны договаривались лично. Но Генрих, который был начеку, понял, что дело принимает

опасный оборот. Он тотчас кивнул своему старому товарищу Роклору, и господин де Роклор с особой готовностью подставил ухо. Он надеялся искупить то, в чем по легкомыслию провинился, иначе говоря, свою комическую сцену.

Выслушав поручение, он пошел прочь и постарался незаметно пробраться в ту подозрительную комнату, где и спрятался за прикрытой створкой двери; вторая была распахнута. Габриель, которой мадам де Сагонн подала знак, собралась войти туда; кто-то остановил ее на пороге; не кто иной, как сам хозяин. Он попросил маркизу остаться здесь, среди общества, кстати очень шумного. Если их все-таки вздумают подслушать, то какие же могут быть тайны у него с бесценной повелительницей его величества. И он прислонился к створке двери, с противоположной стороны которой расположился господин де Роклор. Не королю поймать хитреца Цамета.

Габриель заговорила:

— Себастьян Цамет, я вижу, что ошиблась. Вы больше, чем простой заимодавец, чье происхождение и ремесло не предполагали благородного образа мыслей. С вами я могу говорить начистоту. Да, король в затруднительном положении. Он потерял Амьен. Но войну он выиграет. Я знаю, что говорю, иначе я не решилась бы отдать вам в залог все, что имею.

Так как он молчал и глаза у него округлились от изумления, она заговорила вновь.

— У меня есть такие сведения о войне, каких у вас быть не может. А потому я отдаю вам Монсо, замок и все владение, которое со временем станет герцогством, под заклад и в обеспечение пяти мешков золота.

Цамет прикинул и решил раньше, чем она кончила. Эта женщина в делах смыслит, сомнений нет. Только чувствительностью ни одна бы не добилась того, чтобы ее захудалая сомнительная родня возвысилась вновь, а сама она, чего еще она достигнет? Слова о герцогстве взволновали его больше всего. Он дивился холодной самоуверенности этой женщины и находил, что она одной с ним породы, а возможно, даже перещеголяет его. Это впечатление, хотя и в корне ошибочное, заставило его отказаться от обычных в торговых делах мер предосторожности. Какие вести

получила она о войне? На что глядя рисковала она всем своим состоянием во имя столь сомнительной победы короля?

Она все вверяла ему, потому что любила его. Будь его поражение еще непреложной, единственно непреложной оставалась ее любовь. Она давно с избытком платила своему повелителю за дары его сердца, а потому и Монсо, замок и владение, принадлежали ему. Это превосходило понимание какого-нибудь Цамета. Но господин де Роклор за дверью запоминал каждое слово бесценной повелительницы для своего короля.

Цамет сказал Габриели д'Эстре:

— Ваше имущество не стоит и пяти мешков золота, но я даю шесть. Не вам — мне не нужно вашего залога. Королю даю я их, уповая на его величие. После победы он вспомнит об этом.

— Непременно вспомнит, — пообещала Габриель. Она коснулась веером руки сапожника, что он счел знаком особого благоволения и, словно зачарованный, посмотрел ей вслед. Деньги, которые он давал займы, сталкивали его с людскими судьбами. Часто единственной его прибылью была возможность задуматься над ними.

У одного из игорных столов Габриель остановилась и проиграла трижды. Цамет с трудом поборол ощущение озноба. Когда она приблизилась к королю, он снял с нее маску, сам тоже открыл лицо и сказал:

— Вот и мы, — после чего при людях обнял и поцеловал свою возлюбленную. Его партнеры, проигравшие ему, сидели перед грудой золота, словно восковые куклы. Но Генрих рассыпал блестящую грудку. С приятным звоном покатались золотые, а он сказал:

— Господа, поделите их между собой. Я почти все время плутовал; вы не раз могли уличить меня, но терпели, потому что узнали, кто я, хотя и не смели узнать. Однако, если бы я проиграл, это могло быть плохим предзнаменованием. Ибо объявляю вам, — он возвысил голос, — что не пройдет и двух часов, как я со всеми вами выступлю в поход.

Тут все присутствующие вскочили на ноги и закричали:

— Да здравствует король!

Этот король редко покидал общество без заключительной шутки.

Сейчас мишенью оказался господин де Варенн, некогда повар, затем вестник любви и под конец дворянин; а в комическом представлении, имевшем целью оскорбить бесценную повелительницу, он был виноват больше всех.

— Белый фартук и колпак для господина де Варенна, — приказал король. — Пусть изготовит мне омлет.

Тотчас же запылал и загудел очаг в открытой напоказ образцовой кухне. Господин де Варенн, одетый в белое, в колпаке вышиной с него самого, принялся готовить омлет необыкновенного вкуса, который, впрочем, тут же изобрел, ибо это было для него делом чести. Он накрошил туда апельсиновой корки, а также немного имбиря, потом щедро полил кушанье различными настойками — пламя поднялось оттуда, снова опало, и чудесный аромат привел в восторг всех зрителей. Они заполнили кухню, но более всех потрясены искусством мастера были сами повара, их шеф и его помощники. Целой процессией сопровождали они господина де Варенна, когда он на кончиках растопыренных пальцев нес золотую миску к столу, за которым сидел король.

Господин де Варенн преклонил одно колено, повара позади него тоже опустились на колени, король взял у него из рук миску, попробовал кушанье и нашел его превосходным. Тут все общество захлопало в ладоши. Господин де Варенн поднялся, честь его была восстановлена. Кто-то сказал ему:

— Сударь, ваше изделие могло и не удалиться. Король так или иначе похвалил бы вас. Наш король любит подшутить, но никого не унижает. — Того же мнения, в сущности, был и господин де Варенн.

Король и маркиза покинули итальянскую виллу сапожника Цамета. Прощаясь с ними, он всеми десятью пальцами коснулся каменных плит сада, в то время как слуги его размахивали факелами и колонны или руины храмов то выплывали на свет, то ныряли во тьму. На улице ждали кони, а также носилки. Генрих поехал рядом с носилками и сказал, заглядывая внутрь:

— Бесценная повелительница, мне не полагается больше отдыхать. Вы же должны

лечь спать. Я провожу вас к моей сестре Катрин и оставляю вам для охраны сотню солдат.

— Будь их хоть тысяча, возлюбленный мой повелитель, возьмите меня с собой!
Здесь мне нет покоя.

На улице было темно, но он нашел ее руку, и по руке он почувствовал, что ей очень страшно.

— Пусть будет, как вы желаете, — поспешил он сказать. — Я желаю того же. —
Тут он услышал ее облегченный вздох. — Сердце мое, — сказал он в темноту носилок. И услышал:

— Пусть никто не знает, где я. А я потихоньку поеду впереди вас.

— Будущей королеве не подобает прятаться, — возразил он и решил: — Сопровождать вас будут два полка, и вместе с вами поедут те шесть мешков, которыми я обязан вам одной.

В тот же час сапожник Цамет велел слугам выпроводить на улицу последних игроков, которые не могли угомониться. Дом наконец-то опустел, всю челядь он собственноручно запер. Затем спустился в самый свой глубокий подвал, доступ туда был открыт ему одному. Шесть тяжелых мешков вытащил он один за другим на поверхность. Фонарь он держал в зубах. У него были слабые плечи и широкие бедра, на витых лестницах своих трех подвалов он не раз останавливался в изнеможении, но продолжал тащить.

Когда все мешки очутились наверху, он уселся на них, обливаясь потом и дрожа за свою жизнь. Его разговор со знатнейшей из дам был подслушан. И прежде чем люди короля явятся за мешками, их могут захватить разбойники, сперва убив его. Он загасил все огни, кроме фонаря, который загоразивал собственной спиной, а входные двери заложил цепями и железными брусьями.

Во время тягостного ожидания мысли одолевали его, — увы, куда девалось недавнее упоение собственным благородством, ни следа не осталось от веры в величие короля. «Ему не победить, — думал сапожник Цамет. — И незачем ему побеждать, — думал он. — Я сделал большой промах. Флорентийский посол, у которого я состою доверенным лицом, сообщит домой, что я изменил испанским интересам. Он будет не совсем прав, я продолжаю служить им. Как же мне не служить Габсбургу, когда в его землях обращаются мои деньги. Тут еще

почувствуют, как могущественны Габсбурги и мои деньги. Зачем я только увлекся и поступил благородно? Дела можно делать только подло или не делать вовсе. Дай Боже, чтобы и на сей раз все сошло гладко!»

Так как проходили минуты, казавшиеся ему часами, то сапожник Цамет прибежал к молитве.

В его бормотание ворвался снаружи условленный пароль. То явились люди короля.

Опасные дела

Полками, которые в качестве авангарда главных сил двигались на север, командовал маршал Бирон-сын. Этот человек, лишенный такта, в отношении бесценной повелительницы короля вел себя образцово. Он был тупицей и из чистого упорства стал впоследствии преступником. Однако ничтожеством он не был, всегда оставался сыном незаурядного отца и не задумался бы напасть со своим отрядом на короля, если бы обстоятельства потребовали этого. Но он никогда не перестал бы почитать и защищать мадам д'Эстре.

Впереди пушки, за ними пехота, кольцом окружая железный ящик на колесах с шестью мешками золота. Конница, посреди нее второе сокровище — дорожная карета. Дальше опять пехота, потом опять бомбардиры — так двигалась эта вереница войск первый день до Понтуаза. Бирон шел бы и ночью; только бесценная жемчужина, которую он охранял, вынуждала его делать привалы; так уверял он, кто знает, искренне или нет. Под вечер он все чаще подъезжал к ее экипажу и осведомлялся о ее здоровье. Она желала спать в своей карете и ехать всю ночь напролет. Тем не менее для нее была разбита палатка.

Когда рассвело, обнаружилось отсутствие передовой части отряда. Она выступила, чтобы, миновав провинцию Иль-де-Франс, достигнуть по возможности скорей провинции Пикардии. Габриель проспала, потому что ни одна из прислужниц не разбудила ее. Она очень испугалась, когда, потребовав к себе маршала, получила взамен от него письмецо, в котором весьма любезно сообщалось, что, к величайшему огорчению и скорби маршала, ему не дозволено сопровождать далее

наипрекраснейшую из женщин. Он, к сожалению, вынужден снимать по пути гарнизоны и вести их за собой. Однако достойная всяческого поклонения дама благоволит не сомневаться в верности своей охраны. Все, как один, с радостью дадут разрубить себя на куски за бесценное сокровище короля. В заключение маршал Бирон просил всемилостивейшую госпожу не торопиться, а выждать. В ближайшее время к ней будут приставлены несколько господ. Но, невзирая на новую свиту, пусть не забывает она своего покорного слугу Бирона.

Она тщетно расспрашивала, кто должен прибыть к войску. Несмотря на грубоватую лесть маршала, она не ждала ничего хорошего от такого промедления. Пока она спала, король мог один, темной ночью проскакать мимо нее, торопясь ее нагнать; так как лесная чаща скрывала огни лагеря, он, наверно, проскакал мимо. Раз его нет здесь рядом, ей вновь страшно врагов, которые спешат вдогонку и хотят ее захватить. Слишком много ненависти чувствовала она вокруг, стоило только закрыть глаза, сейчас же перед ней вставали знакомые лица; ах, ее смерть была написана на них. Но это еще впереди, до сих пор она умела предотвращать беду. Из Парижа она выехала совсем другой. Отныне ее достояние – страх, он никогда не рассеивается, порой нарастает; и, только держа руку короля в своей руке, Габриель может успокоиться и чувствовать себя в безопасности.

Она отдала приказ выступить и, не делая привала, после завтрака и краткого отдыха продолжать путь. Таким образом, она со своим отрядом проехала до вечера следующего дня расстояние от реки Уазы до реки Соммы, на которой расположен Амьен и где стояло войско короля. Как же это так, его самого здесь нет, он отделился от войска и ее оставил одну? После нескольких дней жесточайшего беспокойства от него пришло письмо, где он писал, что сделал попытку напасть на город Аррас, впрочем тщетно; но он предпочитает нападать, чем допускать до этого врага. Ну а страх – он сам посеет страх тем, что одновременно будет повсюду.

Это очень устыдило Габриель. Ее повелитель полон отваги, а между тем дело идет о его королевстве, для нее же – только о ее ничтожной жизни. Она порешила

действовать и мыслить, как подобает королеве. Тут как раз появились дворяне, о которых писал ей маршал Бирон. Это были большие вельможи, особенно герцог Бульонский, с ним вместе его друг де ла Тремойль [60. – Ла Тремойль Клод, герцог де (1566–1604), – французский военачальник. Боролся против протестантов, затем перешел на сторону Генриха Наваррского.]: оба протестанты. Прежде всего они отправились к Габриели д'Эстре. Оба думали, что она тоже их веры. Они были в этом убеждены, потому что знали: двор ненавидит Габриель, а мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля, – ей друг.

Палатка была расположена посреди лагеря, на холме подле реки. Герцог-протестант привел свой собственный полк, им он окружил холм. Маршал

Бирон узнал об этом слишком поздно. Палатка была снаружи кожаная, внутри обтянута тканями, желтыми и серебряными. Вверху развевался королевский штандарт, белый с лилиями. Супруга короля не желала покоиться на низких подушках, она уселась в самое высокое кресло и так приняла гостей.

Тюренн, ныне герцог Бульонский, приобрел важную осанку за годы, прошедшие с той давней поры, когда он сопутствовал юному королю Наваррскому и при его бегстве после долгого пленения в Лувре, и при его первом свободном путешествии по королевству, которое Генриху предстояло со временем завоевать. Тогда Генрих собрал своих первых товарищей – дело было в лесистой местности, на просеке. Тени небес располагаются по временам так, что затемняют передний ландшафт, но ложатся и на задний план. В освещенной середине, сплошь залитой светом, Генрих подзывает к себе одного за другим. С каждым он остается некоторое время наедине, обнимает его, и трясет за плечи, или жмет ему руку. Это его первые сподвижники. Будь он провидцем, он прочел бы по лицам их грядущую судьбу, наперед увидел бы их последний взгляд, и был бы не раз потрясен, и не раз ужаснулся бы.

Тюренн, ныне герцог Бульонский, в ту пору еще просто вертопрах, преклонил колени перед своим королем Наваррским, если это называется стать на колени – едва коснуться земли и тотчас подпрыгнуть от избытка легкости. Теперь же сюда в палатку вошел дородный человек, с гордым лицом, привыкшим взирать вниз на коленопреклоненных. Он не служит; он сам государь и держит руку короля Французского, поскольку тот ему полезен, в противном случае предпочтет других. Сапожник Цамет не унаследовал титул герцога Бульонского: эту разницу надо помнить твердо. Потому-то сапожнику Цамету нельзя похвастать таким же

несокрушимым чувством собственного достоинства. Все равно, из маленьких людей становятся большие.

Тюрэнн, а позади него де ла Тремойль склонились, как приличествовало, перед будущей королевой Франции. Но этого мало: герцог Бульонский объявил ей, подкрепляя свои слова кивком и одобрительным взглядом, что он готов ее признать, а искусством преуспеть в жизни она обладает почти в той же мере, как и он. «Или как сапожник Цамет», — подумала Габриель, которой не понравились оба гостя. Господин де ла Тремойль прямо высказал то, на что его приятель только намекал.

— Мадам, вот на что надо бы посмотреть вашей семье: королевский штандарт на палатке. Почет, почет! Как жаль, что ваша матушка до этого не дожила!

Оскорбительно и пошло, — господину де ла Тремойлю разрешалось так говорить только потому, что он был смешон. И притом без всяких стараний с его стороны — лицо его оставалось неподвижно. Длинная и тощая фигура, кривой, неправильно посаженный нос, громадная борода, а особенно глаза — точно угли и слишком близко поставленные, — каждая черта в отдельности и все в целом свидетельствовало об исключительной угрюмости натуры. Но едва он открывал рот, как это впечатление рассеивалось. Всякий ждал низкого страшного голоса, а на самом деле раздавалось гнусавое кваканье ярмарочного паяца. Строение рта, а также дефект носа мешали господину де ла Тремойлю говорить как подобает дворянину. Но он возвел этот недостаток в добродетель и приноравливал все свое поведение к свойствам одного органа.

Габриель, научившаяся разбираться в людях, тотчас поняла, каким опасным орудием притворства и подлости мог быть голос этого человека. Но это не мешало ей смеяться над господином де ла Тремойлем, едва он открывал рот.

— Да, кстати, мы ищем высочайшего повелителя, — сказал де ла Тремойль, причем сделал вид, будто собирается карабкаться ввысь, где полагалось пребывать тому, кого они искали.

Габриель снисходительно смеялась; шутка, к сожалению, была неуместна и с каждым словом могла стать еще хуже. Если бы не надо было опасаться этого, как охотно она повеселилась бы разок чисто по-детски.

Господин де Тюрэнн усыпил ее недоверие, он принялся восхвалять короля.

Где

только ни появлялся король, везде на своем пути он поднимал дух народа, укреплял его волю к борьбе и обеспечивал города на случай вторжения неприятеля.

Отсюда, конечно, и некоторая задержка. Маркизе необходимо вооружиться терпением, прибавил он, подразумевая тем самым очень многое: и свадьбу Габриели, и ее коронование. Она поняла многозначительный взгляд Тюрэнна и выдержала его. Когда она жестом вторично пригласила его сесть, гордый князь

соблаговолил опуститься на стул. Стул был ниже, чем кресло, на котором восседала будущая королева.

— Я стою, — сказал на это господин де ла Трёмойль, — и не сяду, пока моему господину и повелителю, по причине недомогания, приходится лежать в постели.

— Король болен? — Ей не следовало выдавать себя, но от испуга она привскочила в кресле, держась обеими руками за локотники. И так как посетители

узнали теперь, что Габриель не имеет известий, они быстро обменялись взглядом,

после чего де ла Трёмойль заквакал:

— Почки. Почки мучают его, вот как обстоит дело с государем. У него затруднено отправление. — Комик повернулся лицом к стене, как будто собирался

на самом деле совершить отправление. — Ой-ой-ой! — застонал он. — Ничего не

выходит. Между тем этот орган создан для более прекрасных целей. —

Угрюмый

фигляр круто повернулся и заквакал прямо в лицо даме: — А в этом у короля затруднений нет, как известно всем.

— Нет, — ответила она спокойно. — В этом затруднений нет. Но и все остальное

в полном порядке. Вы, сударь, лжете.

— Будем надеяться, — сказал Тюрэнн вместо приятеля, который попросту скосил

глаза на свой кривой нос. — Слух, надо полагать, не верен. С другой стороны, он

напоминает нам о том, что болезни короля могут воспрепятствовать его важнейшим

решениям.

Габриель слушала и ждала.

— Своей бесценной повелительнице он обещал престол очень, очень часто, — подчеркнул Тюрэнн, — в этом я, надо полагать, не ошибаюсь. Во всяком случае, не

чаще, чем нам, протестантам, обещал права и свободы, но не исполнил еще ничего,

ничего не сделал, ни для вас, мадам, ни для нас.

— Я ему верю, — сказала Габриель. — Верьте и вы королю, он все исполнит в урочный час.

Тюренн:

— Урочный час настал. Ибо он хочет вернуть Амьен и избавиться от одного из своих злейших врагов. Я сам себе владыка, а по ту сторону границы у меня есть союзники одной со мной веры. Я могу либо дать королю большой отряд войск, либо не давать, и сделаю выбор соответственно моему долгу перед самим собой и своей верой.

Габриель:

— Больше перед самим собой, как мне кажется.

Тюренн:

— Мадам, неужто вы так плохо понимаете свою выгоду, как хотите показать? Помогая нашей вере, вы прежде всего поможете себе!

Габриель:

— Чего вы от меня требуете?

Тюренн:

— Чтобы вы постарались уговорить короля и не успокоились до тех пор, пока он не издаст эдикта, которым протестанты во всем королевстве приравнялись бы в правах к католикам. Чтобы они могли свершать свое богослужение повсюду, но чтобы в их крепостях месса по-прежнему была запрещена.

Габриель:

— Этого он не обещал никогда.

Тюренн:

— Но поступать он будет теперь так, как потребует необходимость.

Габриель:

— Нет, не будет, ибо необходимость имеет ваше обличье и носит ваше имя, герцог.

Тюренн:

— Сегодня или никогда я добьюсь того, что король признает мой титул и независимость моих владений. Надо пользоваться случаем.

«Если у тебя, изменника, только этот один случай, то у меня их много», — думала Габриель, но тут же решила не обнаруживать своих истинных чувств, ограничиться пустыми словами, а собеседника вызвать на откровенность.

— Превосходно, — сказала она. — А я? Где тут моя выгода?

Он милостиво кивнул головой.

— Мы начинаем понимать друг друга, мадам. Вы хотите вступить на французский престол. Есть много людей, которые скорей убьют вас, чем допустят до этого.

Габриель твердо возразила:

— Удача короля сильнее всех моих врагов. Здесь, под Амьеном, военная удача решит мое дело.

— А удачу решаем мы.

Тюрэнн разглядывал прелестную женщину, словно серьезно взял на себя труд задуматься над ее судьбой.

— Вы попали в заколдованный круг, мадам. — Он нагибал голову то к одному плечу, то к другому, чтобы лучше разглядеть ее. — Мне жалко вас. Поймите наконец, кто держит вашу сторону, — только протестанты. У вас есть друзья, которые готовы подставить руку, дабы она послужила вам ступенькой.

Это тотчас же воспроизвел господин де ла Тремойль. Он стал на колени, осторожно приподнял ногу Габриели и поставил ее на ладонь своей вытянутой руки.

Она не противилась, позабыв на время о своем намерении быть сдержанной.

— Это правда? — спросила она настойчиво. Бородатый шут сдвинул ее ногу с ладони до кончиков пальцев. Потом он опустил ее, и она подошвой упала на его склоненный затылок, занятый обширной плешью.

Гордый Тюрэнн, указывая на это, заметил лишь:

— Как видите, мадам.

Теперь она притворилась польщенной и полной доверия, сама же поняла, что такие друзья крайне опасны. Господина де ла Тремойля она попросила изменить неудобную позу. Ведь чувства свои он уже выразил достаточно ясно.

— Протестанты помогут мне подняться, а я помогу им. Если же я сорвусь, это отразится и на них, и тут не одна голова может слететь с плеч. — Она показала на лысую голову де ла Тремойля.

Оба гостя смущенно молчали; так далеко они еще никогда не заглядывали. Однако это было замечание, над которым не мешало призадуматься.

— Наш союз чреват опасностями для каждого из нас, — сказала она. — Говоря прямо, мы предаем короля.

— Так же поступает он сам в отношении нас с вами, — сказал Тюрэнн и с этим поднялся. Отвесил небрежный поклон, сделал вид, будто собирается уйти, но вернулся, подошел к Габриели ближе, чем раньше, и заговорил, прикрыв рот рукой, как сапожник Цамет. — Мадам, свой риск мы берем на себя. Во сколько цените вы ваш собственный? Десять тысяч ливров в год, столько приблизительно я кладу на него. Вы будете получать такое содержание от протестантов, и владетельный князь, обладающий большим богатством, ручается вам за аккуратную выплату.

Габриель не могла сразу придумать, как ей уклониться, фигляр помог ей. Он стал подражать рыночному шарлатану, голосом которого был наделен от природы.

— Восемь с половиной су, первый раз, кто предложит больше?

— Надо предложить больше, — подтвердила Габриель и отпустила обоих самым недвусмысленным образом: отвернувшись, она позвала своих прислужниц.

У подножия холма Тюрэнн собрал свой полк и увел его.

— Вы правы, что не оставляете здесь ничего, — прогнусавил господин де ла Тремойль. — Эта особа ни слова не скажет своему рогоносцу. Я подозреваю, что она любит его, как Пенелопа Улисса[61. — ...она любит его, как Пенелопа Улисса. — Согласно древнегреческому эпосу, жена Одиссея (Улисса) Пенелопа сохраняла верность мужу в течение двадцати лет, пока он отсутствовал, и отвергала предложения многочисленных женихов. Образ Пенелопы вошел в литературу как символ супружеской верности.]

— Я подозреваю, что она так же пристрастна к деньгам, как разве что господин де Рони, — заявил господин де Тюрэнн.

Оба оглянулись на стоявшую вверху палатку с королевским штандартом.

Они пишут

Когда стало известно, что он едет, его бесценная повелительница верхом поскакала ему навстречу. Они обнялись, не сходя с седла. Но разговор их на обратном пути не касался чувств.

— Сир! — начала Габриель. — Довожу до вашего сведения, что герцог Бульонский и другие протестантские вельможи либо будут сражаться за вас, либо удалятся, в зависимости от вашего поведения.

— Они желают добиться большей власти, под обычным предлогом, будто их религия требует большей свободы. Не тревожьтесь, мое величайшее сокровище! Я решил освободить религию, но ее приверженцев, которые захватывают большую власть, я запру в тюрьму.

— Сир! Мой возлюбленный повелитель, остерегайтесь тех, что стоят за вашу прежнюю веру, а также и меня. Это моя партия, и она хочет принудить вас сделать меня вашей королевой.

Он посмотрел на нее, широко раскрыв глаза от изумления и восхищения. Итак, она отрекалась от своей партии и доверялась ему одному. Ее прелестное лицо не таило от него стыда и тревоги.

— Что же случилось еще, мое величайшее сокровище?

Она молчала до тех пор, пока они не достигли лагеря. В своей палатке она созналась:

— Сир, возлюбленный мой повелитель, меня хотели деньгами склонить к измене вам.

— А стоило того? — спросил он; и когда она назвала предложенную сумму, он посоветовал принять ее. Когда казна пуста, ничем пренебрегать нельзя.

Но она вытащила мешок, поставила его на самое высокое кресло в палатке и подвела к нему своего повелителя.

— Я заложила свое имущество. Сапожник Цамет дал мне этот мешок. Большого я не стою. Я вся, как есть, принадлежу вам до самой смерти, мой властитель и мой возлюбленный.

Это было ее признание, подобного он не слышал никогда. И так как она хотела

даже опуститься на колени, он крепко ее обнял. Сбросил с кресла мешок, тот зазвенел; а на кресло посадил любимую женщину.

Его Рони тоже доставлял ему деньги для военных нужд, но происходило это по-иному. Из месяца в месяц, пока длилась осада Амьена и вся кампания, Рони появлялся с пышной свитой, без которой не мог обойтись, и всякий раз привозил сто пятьдесят тысяч экю, которые ему удавалось наскрести у членов парламента, у богатых вельмож, состоятельных горожан, а главное, у откупщиков. Последним он грозил судебным следствием, и они тотчас уступали. Величественное шествие двигалось под многочисленным конвоем для охраны ценностей – пушки, пехота, снова пушки, господин де Рони посреди четырехугольника развернутых знамен, перед ним орудия, позади него казна, и он повелевает тем и другим. На нем тонкий панцирь, вокруг шеи дорогие дамские кружева, а золотой шарф застегнут на плече аграфом, блеск и игра которого видны издалека.

Королю он докладывал о попытках подкупить его. Сам-то он против этого вооружен, чего не скажешь о других. Собственная тетка бесценной повелительницы, мадам де Сурди, не отказалась принять ожерелье от одного финансиста, который, впрочем, был настолько дерзок, что и у мадам де Рони оставил алмаз стоимостью в шесть тысяч экю. Больше он это сделать не осмелится. Господин де Рони не замедлил проучить осквернителя финансовой морали. Чем только, не говоря уже о деньгах, король не был обязан своему верному слуге! Как бы мог он обойтись без него! Господин де Рони заключал договоры с мясниками и кормил двадцать тысяч человек. Господин де Рони завел в войсках образцовые госпитали, чего раньше не водилось, и спас бесчисленное количество раненых.

Чтобы он не зазнался сверх меры, Генрих принужден был напомнить своему несравненному слуге, что королю самому не бывать в живых, если бы его не спас простой солдат. Его земляк, гасконец, неведомо, как попавший в число защитников крепости, крикнул сверху, со стены:

– Эй! Мельник из Барбасты! – Так звали его на далекой родине. – Берегись! Кошка сейчас окотится, – закричал гасконец на своем языке, который здесь понимал один Генрих. Таким образом он узнал, что стоит на mine, которая разорвала бы его, не отскочи он вовремя.

Но так как он был жив и не сходил с коня, то под конец овладел и Амьеном.

Три с лишним месяца трудов, не считая поездок в Париж, где ему приходилось произносить громовые речи, иначе его столица отказалась бы от него. Сперва был разбит кардинал-эрцгерцог Альбрехт Австрийский, затем пал Амьен. Эрцгерцог был разбит и изгнан из королевства, и уж никогда больше не увидит его; и все благодаря мастерству полководца, который научился, подобно герцогу Пармскому, уклоняться от самых решительных битв. Зато донимал противника в траншеях и окопах минами и контрминами. Когда к кардиналу подоспела помощь из Нидерландов, он сам был уже слишком слаб, потерпел поражение и отправился восвояси. Помощь оказалась недостаточной. Почему недостаточной? Генрих как-то раз, очень давно, в мыслях коснулся критической минуты, когда вся Римская империя двинется на него. Критическая минута миновала.

Особенного ничего не случилось, только то, что он отвоевал один из своих городов и нанес поражение старому дону Филиппу. Это будет последнее, ибо старик хочет заключить мир. Мир! Двадцать шесть лет его почти не знали или не знали вовсе, его то обходили, то нарушали. Теперь он будет запечатлен на бумаге [62. - Теперь он будет запечатлен на бумаге... - Имеется в виду мирный договор, заключенный между Генрихом IV и Филиппом II в Вервене 2 мая 1598 г. По этому договору испанцы отказывались от всех своих завоеваний во Франции, кроме Камбре. Тем самым сводились на нет все попытки Испании подчинить себе Францию.], что сделает его нерушимым, самые сильные армии не смогут нарушить его. Он будет скреплен печатью; в горящий воск вольется честь королей. Он будет подтвержден присягой, и Бог оградит его.

Чему надлежит быть священным и непреложным, то требует времени. Пока что послы со своими наказами и полномочиями находятся в пути, и переговоры еще не начались; король Генрих с тревогой ждет их. Неужто Габсбург действительно оставит без помощи своего старика Филиппа, столь долго считавшегося властителем мира? Пока они в пути, пока они не прибыли, он ежечасно получает донесения о них, он ежедневно принимает меры, дабы его победа стала делом решенным и не было бы больше нужды оспаривать ее.

Еще в лагере под Амьеном он назначил Рони начальником артиллерии. Сделал он это не без понуждения со стороны верного слуги. Иного выхода у короля теперь

уже не было, учитывая усердие господина де Рони, а также суровый вид, который он принимал, напоминая, что, в сущности, не имеет ни должности, ни звания: он — главноуправляющий финансами, которого так не именуют; начальником же артиллерии по-прежнему числится господин Жан д'Эстре, никчемный старец, хотя и родной отец бесценной повелительницы. Последняя была очень довольна, что король откупил у ее отца место начальника артиллерии. Много денег, и опять они попали в ту же семью; это вызвало новые нарекания верного слуги против Габриели. Она рассчитывала смягчить его. Нет, ее уступчивость настроила господина де Рони еще враждебнее к ней, впрочем, то же самое сделало бы и ее сопротивление.

Но под Амьеном король даровал своей возлюбленной титул герцогини де Бофор. Этим была скреплена его победа и этим же открыто засвидетельствовано, что возлюбленной остался теперь последний шаг до престола. Его радость была безоблачной, чем ее. Вокруг нее непрерывно возрастали опасности; она ощущала как бы щупальца, злобно протянутые к ней. Она не могла пробыть без короля ни одного дня и в то же время не хотела обнаружить перед ним свой страх, ибо он переживал счастливую пору быстрого и легкого подъема к величию и власти. Однако и тут, о бедная красавица, не все так гладко, как тебе кажется. Он остерегается, как и ты, и осмотрительно выбирает свой путь. Достоверно лишь одно: он победил, на время он от всего огражден.

Генрих писал: «Храбрый Крийон, тебе остается лишь повеситься с досады, что ты не был в понедельник здесь. Так складно все не получится, быть может, никогда; поверь, тебя мне очень недоставало. Кардинал наскочил на нас, точно индюк, а когда убирался прочь, то совсем скис. В Амьене я не останусь, должен еще кое-что предпринять».

Габриель писала: «Мадам, мой старший друг! Ваш милый брат, мой бесценный повелитель — самый могущественный король на земле. Возможно ли, чтоб его столица меня не признала, и даже при его дворе в ходу гадкая кличка, — право же, такого поношения я не заслужила. Мадам, я не отступаю и во что бы то ни стало хочу умилостивить короля, дабы он перестал гневаться на графа де Суассона. Наш друг послушался недоброго совета, когда взял свой отряд из королевских войск и удалился перед самой битвой вместе с герцогом Бульонским, а

тот плохой протестант. Иначе он остался бы верен, как вы. Засим, мадам, соблаговолите мне сказать: как вы меня примете и правда ли, что вы мой старший друг?»

Катрин начала писать, но в испуге остановилась. Она чуть было не вывела: «Герцогиня де Свиньон» — имя, которое повторялось повсюду, люди находили его остроумным. Габриель не всем была одинаково ненавистна. Одни просто подхватили шутку, которая была в ходу и казалась забавной. Другие не видели никаких оснований наживать себе врагов, заступаясь за ненавистную фаворитку. Наиболее рассудительные избегали повторять непристойное прозвище. Мадам де Сагонн довольствовалась тем, что при имени Габриели строила гримаску, но и гримаска исчезала мгновенно. Отсюда еще далеко до травли и до улюлюканья. Наоборот, кто порассудительнее, тот предвидит скорое возвышение бесценной повелительницы. Половину последнего шага она сделает непременно, но полный шаг — вряд ли. Все же ни к чему опрометчиво портить отношения!

Катрин писала: «Госпожа герцогиня де Бофор, мой любезный друг. Я так вам признательна, что с трудом могу дождаться вашего возвращения, дабы расцеловать вас в обе щеки. Вы так помогали моему милому брату и такие подавали ему советы, словно вместо вас была я сама. Вы не хвалитесь, но мне известно, как вы себя держали с герцогом Бульонским. Знаю также, что после отъезда плохого протестанта король призвал к себе лучшего. Я говорю о господине де Морнее, лишь благодаря вам вошел он снова в милость к королю. Дорогая, вы этого не знаете. Ибо вы чисты сердцем и не рассчитываете, когда служите истинной вере. Мы же будем делать за вас то и другое: и рассчитывать и молиться. Сообщаю вам по секрету, что принцесса Оранская здесь и тайно проживает у меня в доме. Она выдержала столько страданий и столько борьбы, что в ее присутствии я особенно сожалею о моих ошибках, хотя бы они зависели от моей природы и были неотъемлемы от меня. Графа де Суассона я все это время не вижу; он очень раскаивается в том, что под Амьеном покинул короля со своим отрядом. Мы слабы. Но мадам д'Оранж, которая сильна и благочестива, называет мою милую Габриель добродетельной и верной христианкой».

Генрих писал: «Господин дю Плесси! Король Испанский хочет заключить со мной

мир, и хорошо делает. Я разбил его с помощью двадцатитысячного войска, из них четыре тысячи англичан, коими я обязан дружбе королевы Елизаветы. Хорошо, что у меня был такой человек, господин де Морней, который пользовался ее доверием, как пользуется моим, и сумел снова соединить нас. В знак моего доверия я посылаю вас теперь в мою провинцию Бретань, дабы вы склонили к переговорам господина де Меркера. Он в тяжелом положении, его приверженцы отпадают от него. Теперь он еще может требовать от меня денег за сдачу моей провинции; а после мира с Испанией ему не получить уже ничего, ибо я просто явлюсь к нему с войском. Покажите свое искусство. Вы всегда были моим дипломатом — даже угадали мое истинное отношение к протестантской религии, которое я в ближайшем будущем намерен доказать. Когда кто-то ранил меня в губу, вы все сочли это предостережением. Придется поверить в него, особенно потому, что оно оказалось не единственным, ибо, как ни благоразумно я всегда стараюсь думать и действовать, мне приходится сталкиваться с явлениями, которые противоречат разуму. Когда я вступил в мой город Амьен, на моем пути стояла виселица и на ней — давно казненный человек. Но его в мою честь приодели в белую рубаху. Истлевшее тело, а наряжен так, словно восставший из мертвых. Я и бровью не повел. Не то мой маршал Бирон: как он ни крепок, однако вид висельника совсем подкосил его. Он вынужден был направить своего коня к ближайшему дому; сидя в седле, прислонился к стенке и лишился чувств».

Протестант

Морней и сам словно воскрес из мертвых, иные пугаются его, как Бирон испугался висельника в чистой рубахе. Меркер, последний из Лотарингского дома, кто сохранил еще власть в небольшой части королевства, отказывается от нее; прежде всего потому, что вынужден это сделать, ведь он хоть и грозит испанскими десантами на бретонском побережье, но сам знает лучше всех, что ждать этого не приходится; однако Меркер, даже скорее, чем нужно, отречется от власти, когда перед ним предстанет Морней. Его еще нет в замке Меркера, Меркер только ждет прибытия королевского посла.

Этот Морней сделал из маленького Наварры великого короля, в той мере, в какой Генрих сам о себе не позаботился. Но признать собственные заслуги короля лотарингец отнюдь не склонен. Он охотней припишет все исключительным качествам какого-нибудь Морнея. Если уж ему удалось вернуть расположение английской королевы, которая в гневе отвернулась от короля-вероотступника, — он, надо полагать, способен своими заклинаниями даже воскрешать умерших. Не успеешь оглянуться, как из гробов восстанут адмирал де Колиньи, все мертвецы Варфоломеевской ночи, гугеноты, павшие в прежних боях. А почему бы и не так, раз те, кто уцелел, были все равно что погребены заживо, и протестантам, казалось, навсегда пришел конец. Обращенному еретику, вроде этого короля, меньше всего пристало призывать к себе своих бывших сподвижников.

Если же он призвал сейчас Морнея, значит, это только начало. Обращенный еретик, несомненно, замыслил восстановить в правах протестантов, без него они не дерзнули бы предъявлять такие большие требования. А ему теперь никто не может препятствовать, ведь он победитель Испании. Сперва он даст полную волю ереси, а затем согласится на мир с католическим величеством.

Герцог де Меркер рассматривал то, что совершалось, как нечто, мягко выражаясь, неподобающее, идущее вразрез с порядком и освященными обычаями привилегиями, вернее, считал все это попросту непостижимым, чтобы не сказать бесовским наваждением. Вот король, который многое ниспроверг, но продолжает побеждать. Он упраздняет священные установления, он шагает через знатнейшие фамилии, даже через Лотарингский дом; через моего брата Гиза, любимца народа, через другого моего брата, толстяка Майенна, теперь, наконец, и через меня, сидящего на этом отдаленнейшем выступе материка, хотя я и полагал, что ввиду долгого моего упорства я должен быть вечен, как океан или как всемирная держава. Однако теперь и всемирная держава оказывается преходящей, сам я принужден усомниться в себе, а потому скоро отхлынет и океан. Замок очутится на мели.

Но пока что волны еще с привычным гулом бились о скалы, на которых стоял замок, и вода сквозь железные решетки просачивалась в самые глубокие его подземелья. Владелец замка здесь, наверху, открыл окно; ему был приятен шум его океана, пусть напоминает ему, кто он такой, когда протестант со своей королевской свитой войдет в эту комнату. Герцог принял меры. Сколько человек

будет в свите посла, столько его собственных людей войдут в двери слева и справа. Правитель океана стал чудачком, недаром он был братом фурии Монпансье.

Тут он заметил, как его гофмаршал подал ему снаружи знак, после чего прикрыл дверь, оставив узкую щель. Меркер обернулся – в зале стоял только один человек, сам протестант.

Протестант глядел спокойно, а отпрыск могущественного рода щурился, хотя и стоял спиной к свету. Однако он скоро успокоился, ибо успел рассмотреть пришедшего и жестом попросил его приблизиться. Морней подождал, пока герцог сядет; тогда он повернул предложенный ему стул так, чтобы свет не падал ему в глаза. Герцог был вынужден повернуться вслед за ним, таким образом каждый из них видел лицо другого при одинаковом освещении и без заметного преимущества для одного из двух. Меркер думает: «Остается еще гул волн, к которому он не привык. Прибой лишает его преимуществ». Он некоторое время слушал протестанта, затем приложил ладонь к уху, и Морней тотчас же оборвал речь.

Морней выждал. Окно оставалось открытым. Он разглядывал Меркера, как тот его. Разве можно ждать робости от человека, который всю жизнь провел в путешествиях к европейским дворам, и величайшая из королев в тот достопамятный час была перед ним женщиной, как все прочие? Робость перед людьми у того, кто боится Бога! Лоб его стал еще выше, ибо волосы поредели; он теперь больше, чем остальная часть лица, но на нем нет ни единой морщины, по-прежнему гладкая поверхность воспринимает отблеск небес. Бог господина дю Плесси-Морней не любит изборожденных лбов. На затылке начесано много волос, вокруг ушей все еще лежат завитки, какие сохранили старые протестанты из времен своей славы. Некогда их носил и король Генрих!

На Морнее черное и белое оперение, как у всех этих воронов. Однако вид благородный. Изысканные ткани, плащ в крапинку, у шеи вырез и потому видно, что на камзоле выткан крест, черный на черном, благородно, незаметно, но все же крест. «Как тут быть? Они высокомерны, но, к несчастью, существуют такие положения, когда и владетельному князю невозможно покарать их высокомерие. Например, спустить через люк в этой зале в самое глубокое подземелье. Прилив

тем временем успел так заполнить подземелье, что у человека, стоящего во весь рост, только голова окажется на поверхности», — думает князь под однообразный гул, сделавший его чужаком.

Хотелось бы знать, улыбается ли протестант. Лоб и глаза непоколебимо серьезны, тем подозрительнее тонкая морщинка, которая спускается по щеке и, возможно, переходит в двусмысленную улыбку. Морщинка спускается от носа, кончик которого покраснел, к седому пучку на подбородке; этот пучок как раз умещается в разрезе белых брыжей. Хотелось бы знать, отчего покраснел нос, от насморка или от вина, а главное — улыбается ли протестант. Тут, несомненно, не обошлось без колдовства. Герцог де Меркер чувствовал, что его видят насквозь — его сбивали с толку некоторые суеверные представления о мистических свойствах протестантов. С ними со всеми дело обстояло нечисто. А этого вдобавок звали их папой.

Так как окно оставалось открытым, то Морней начал свою речь сызнова. Он попросту решил, что испуганный противник хочет, как только можно, мешать ему. Конечно, опытный оратор, привыкший к успешным выступлениям на бурных совещаниях своих единоверцев, может сладить и с шумом океана, даже не напрягая голоса, а лишь пользуясь своим искусством. Господин де Меркер скоро в этом убедился, впрочем, для него не то было важно. Рано или поздно ему придется покориться и отказаться от своей власти; тут вопрос может быть только в цене. Его больше беспокоило нечто иное.

— У вас какой-то особенный бог? — спросил властитель, состарившийся на этом крайнем выступе материка.

Морней ответил без удивления:

— Мой Бог Единый Сущий.

— Является он вам? — спросил Меркер.

— Это он сегодня, как и всегда, дарует мне силы, — отвечал Морней.

Деловито

и без вызова заявил он, что никогда не побеждал иначе, как только правдой, но с

ней побеждал неизменно, даже самых могущественных противников, которые ее не

ведали. Лицо последнего лотарингца, еще обладающего властью, показалось ему недоверчивым; это до крайности огорчило Морнея, ему было жаль маловера. А потому он привел наиболее веские доводы из своих собственных религиозных сочинений; так обстоятельно он раньше не говорил. В заключение он к вечным истинам присовокупил преходящие. Междоусобная война в королевстве испокон века была делом рук честолюбивых иноземцев и неизменным соблазном для полуфранцузов, — таких, как, например, Лотарингский дом, послышалось Меркеру, хотя ни одно имя произнесено не было. Но у него все внутри заклокотало от ярости. Ярость его не дошла бы до такого предела, если бы Меркер не был к ней заранее подготовлен суеверным страхом перед протестантом. «В подземелье его», — требовал голос ярости, меж тем как лицу он поспешил придать благодушное выражение. Однако был близок к тому, чтобы пустить в ход потайной механизм и открыть люк.

Морней в простоте душевной полагал, что ему удалось добиться полного успеха, и духовного и светского, у врага истинной веры и короля Генриха, а это было на пользу Богу и миру в государстве. Вот уже и лицо Меркера стало иным, в нем больше не видно тревоги и тайной горечи. Теперь он смотрит на него как на друга, так кротко, так просветленно, думал Морней — а между тем Меркер в глубине своей черной души упивался его мучительной и медленной смертью в наполненном водой подземелье.

Только в одном он хотел быть заранее уверен:

— А ваш Бог все еще творит чудеса? Скажите, чудеса окончились вместе с Библией или он продолжает их у вас?

— Благость Господня непреходяща, — ответил протестант.

Первый раз склонил он голову в этой зале, ибо намеревался утешить готового к покаянию грешника.

Лицо герцога тотчас омрачилось. «Этот способен выбраться даже из подземелья. Какой-нибудь ангел может открыть ему решетку», — подумал он и отказался от мысли пустить в ход механизм. А кстати, — Меркер не сразу это заметил, — Морней в простоте душевной так повернул свой стул, что герцог вынужден был подвинуться к нему. И провалился бы с ним вместе.

В этот день они больше не вели переговоров, а в последующие дни герцог де

Меркер чинил гораздо больше препятствий, чем предполагал раньше. У него родилась новая надежда. Город Вервен расположен на другом конце королевства, в герцогстве Гиз, откуда происходит Лотарингский дом. И именно в Вервене испанцы должны признать себя окончательно побежденными, подписать, королевство это никогда во все последующие века им принадлежать не будет и волей Божией принадлежать не может. Меркер получал самые свежие новости, и они подтверждали ему, что у династии Габсбургов дипломаты еще более упорны, чем генералы.

Поэтому он готов был растерзать себя за то, что однажды проявил слабость перед протестантом Морнеем или, вернее, перед самим еретиком Генрихом и не решился тогда утопить одного из них. Ведь Морней был послом Генриха, а возможно, даже получил еще более высокие полномочия. «Более высокие полномочия! Посмотрим. По крайней мере в Вервене их Бог еще не обнаружил себя и пока на это даже не похоже, — рассуждал теперь герцог де Меркер. — Протестанта мне, во всяком случае, следовало утопить», — к этой мысли он упорно возвращался, ибо среди монотонного рева стихий сделался чудачком.

К концу октября Морней очутился в Анжере. Маршал Бриссак, гуманист и мухолов, собрал в этом городе нескольких знатных господ, дабы они одобрили сделанные им распоряжения к предстоящему приезду короля. Король собирался проследовать в свою провинцию Бретань через Сомюр и Анжер. Губернатором Сомюра был господин де Морней, а в Анжере королевским гарнизоном командовал сам маршал. Тем хуже было то, что случилось в королевском городе Анжере с королевским губернатором, почти на глазах маршала, который к тому же состоял в родстве с преступником.

Некий господин де Сен-Фаль шел навстречу господину де Морнею, губернатору Сомюра. Дело было на улице Анжера. Морней беседовал с одним из советников юстиции. При нем находились конюший, дворецкий и, кроме них, еще только секретарь и паж. Сен-Фалья сопровождал эскорт из десяти вооруженных людей, которых он вначале скрыл. Он обратился к сомюрскому губернатору с жалобой по поводу нескольких перехваченных писем, которые губернатор приказал вскрыть. Жалоба была изложена вызывающим тоном, Морней же в своих объяснениях оставался сдержанным. Письма он вскрыл потому, что они были найдены у подозрительного лица. Но когда он прочел под ними подпись господина де Сен-Фалья, он их отправил по адресу. При этом Морней выразил удивление: происшествие имело место пять

месяцев назад.

Это обстоятельство отнюдь не успокоило другого дворянина, он стал еще заносчивее и вообще отказался выслушать какие-либо объяснения.

— Как угодно, — сказал наконец Морней. — Отчет я обязан давать только королю. Вы, же, сударь, всегда можете вызвать меня на поле чести.

Сен-Фаль словно только и ждал этой реплики, он выхватил из-под плаща палку, а его десять вооруженных людей окружили его. Под таким прикрытием преступник успел сесть на коня и ускакать. Морней, человек в годах, свалился на землю от удара, который пришелся ему по голове.

Сильное волнение охватило западные провинции. Никто не верил в личную ссору двух дворян. Тут преследовалась цель с помощью заранее обдуманного нападения вывести из строя так называемого протестантского папу: тогда и король вряд ли решится на путешествие и оставит мысль даровать протестантам свободы. А в основном все приготовления уже закончены — на своих церковных советах и политических собраниях приверженцы протестантской религии и партии уже выставили свои требования, — требования крайне дерзкие, и Морней удалось отстоять их перед королем. Удар по голове подоспел в последнюю минуту, чтобы избавить королевство от ужасного произвола со стороны крамольников.

Единоверцы пострадавшего, со своей стороны, убеждали друг друга, что пора покончить с уступками, они и без того довольно уступали. Им оставались теперь только их крепости и новая борьба. Таково было положение, когда Морней еще совсем больной, получил письмо от короля: обида нанесена и ему самому, как королю и как другу. «Как король я поступлю согласно закону; будь я только другом, я бы обнажил шпагу».

Это были слова нетерпения и гнева, почти неукротимого. Жизнь быстро шагает вперед, казалось бы, перед глазами уже маячит вершина как оправдание этой жизни и власти; но вдруг движение задерживается, одновременно в Вербене и Бретани, да и мир с приверженцами истинной веры снова отдаляется, вследствие удара палкой по голове.

Маршал Бриссак получил приказ выдать своего шурина Сен-Фаля полицейскому офицеру, посланному королем, «не создавая волокиты и не чиня препятствий под

каким бы то ни было предлогом, ибо то, что случилось, задело очень близко меня самого, как посягательство на власть короля и служение королю».

Все это превосходно знал мухолов Бриссак, а потому он отправился к Морнею и приблизился к креслу больного с таким искренним удовольствием, какое редко выпадало на его долю.

— Наш государь страдает еще больше вас, достопочтенный друг, — сказал Бриссак с лицом апостола, написанного рукой большого мастера. Стоило только представить себе окладистую бороду, которая отсутствовала, а глаза он, точно мученик, возвел к горним высям. — Я сам готов отправиться в тюрьму, — сказал апостол, — дабы отомстить за вашу обиду и угодить королю. Лучше принести в жертву себя самого, чем быть бессильным свидетелем.

— Вы не бессильны, — сказал Морней. — Вы лицемер. Своего шурина вы спрятали от короля. Он нашел прибежище в одном из городов господина Меркера. А с герцогом вы спешите затеять интригу, хотя ему в ближайшее время придет конец, и вам нет в этом никакой нужды.

— Как вы сказали? Кто я? — спросил Бриссак и содрогнулся от возмущения. — Вы сами этому не верите. Взгляните на меня, и вы не осмелитесь повторить это слово.

Морней и не стал повторять, презрение пересилило в нем гнев. Бриссаку между тем удалось побледнеть, как умирающему, взор его угас, вокруг главы появился терновый венец. Морней с отвращением глядел на всю эту комедию. Бриссак же думал про себя: «А вот я тебя сейчас одним ударом так огорошу, что ты, протестантский ворон, свалишься с ветки и околеешь на месте. Попробовать, что ли?» Он с трудом подавил искушение.

К чему обращать внимание на погибшего человека, в душе увещевал себя Морней. Ибо этот лицемер и кривляка, на его взгляд, был самым отпетым из всех грешников. После нападения на него Морней и о господине де Меркере стал думать совсем по-иному. Он обвинял себя самого в легковерии, в том, что каждого себе подобного считал исправимым, теперь даже больше, чем в дни своей юности; это, надо полагать, объясняется немощью преклонного возраста. Тем не менее он

полагал, что свирепый герцог ближе к подобию Божиему, чем бесплотное ничтожество, которое усердствовало здесь перед ним.

Морней отмахнулся от ничтожества в образе человека, он продолжал говорить как будто с неодушевленным предметом. Назвал условия, при которых согласен забыть нанесенную ему обиду: извинение в такой торжественной форме, чтобы оно всем бросилось в глаза. Господин де Сен-Фаль должен преклонить перед ним колено. Маршал Бриссак как услышал это — изменил себе и отдался искреннему порыву.

— Как бы не так! — сказал он. — Поезжайте, пожалуйста, к нему сами, он не преминет извиниться подобающим образом, хоть и не в столь необычной форме. Кто вы, собственно, такой?

— Я представляю особу короля, которого мы здесь ждем, а он уж сумеет найти и наказать какого-то Сен-Фалья.

— Это еще вопрос, — заметил Бриссак. — Не забудьте, что мне пришлось сдать ему столицу, иначе ему не видать бы ее никогда. — Морней обратился с тем, что ему еще оставалось сказать, к стене, а не к противнику. Он теперь сам видит, насколько прав король, требуя должного послушания и защищая служение королю вместе с честью дворянина. А впрочем, пусть маршал Бриссак тянет дело сколько может. В конце концов Сен-Фаль все равно будет под замком. В этом Морней клянется сам себе.

Бриссак удалился в молчании; непримиримость протестанта так же ужасна, как и его религиозное рвение. Полученный им удар палкой накликает ни больше, ни меньше как пресловутый «гнев Божий». Не мешает проучить их всех. А этого Морнея надо поводить за нос и выставить на посмешище. Тем лучше, если и король получит свою долю. Станет осмотровее и заставит своих протестантов дожидаться эдикта.

Переговоры

Все это было безмерно тяжело. Едва оправившись, Морней вынужден был внушать своим единоверцам, чтобы они, Бога ради, не требовали у короля больше того, что

он может дать без вреда для себя. — А если он умрет? — спросил некий пастор Бери, который, по поручению церковного собора, приехал в Сомюр к губернатору.

Морней склонил голову, потом поднял ее и ответил спокойно:

— Покуда он жив, достаточно эдикта в том виде, как он его подготовил.

А после... об этом он умолчал, однако подумал: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Мы же должны упорно защищать среди живых свою веру и честь. Он хорошо знал, что надо было преодолеть, прежде чем настал этот час, когда моему королю дозволено даровать нам эдикт. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов». Когда Морней приводил эти слова Священного писания, он разумел их и как верующий и как политик.

Он отправился с мадам де Морней в Париж. Оба были приняты без промедления, мадам де Морней в доме сестры короля, где одновременно с ней появились еще две дамы: герцогиня де Бофор и принцесса Оранская. Король же принял господина де Морнея, хотя в скором времени ожидал к себе папского легата.

Когда Генрих увидел в дверях своего Филиппа Морнея, он не решился тотчас обнять его, как намеревался, настолько тот показался ему чуждым. Только несчастья, а не годы, так меняют лицо человека.

— Филипп, — сказал Генрих. — Я все выслушаю, сколь много и сколь долго вы бы ни жаловались. Вы были жестоко оскорблены, и я вместе с вами. Но зато наконец-то настал день, когда я могу восстановить религию в ее правах.

— Разумеется, сир! — сказал слабым голосом Морней. — Вы сдержите свое слово и даруете нашей вере те свободы и права, которыми она уже обладала около полувека тому назад.

— Больше того, что вам стоила Варфоломеевская ночь, я вернуть вам не могу, — признал Генрих. А Морней признал в свой черед:

— Мне это известно.

Оба сделали жест отречения. После этой паузы дипломат принес покорнейшую просьбу. Его единоверцы требуют, чтобы от них было шесть представителей в парламентской законодательной палате, — Что при шестнадцати членах не составит большинства, — заметил Генрих.

— Поэтому мы и просим ваше величество, чтобы вы сами назначили остальных десять членом-католиков. Сир! В вас одном видим мы свой оплот.

— Не в ваших крепостях и даже не в эдикте?

— Лишь в вас одном.

Генрих не стал спрашивать дальше, только обнял своего Филиппа; никогда, должно быть, он так долго и крепко не прижимал его к груди. На ухо он сказал ему:

— Нам обоим следовало бы быть бессмертными.

В другое ухо, после поцелуя в другую щеку, король шепнул:

— А не то и мой эдикт после нас станет просто бумажкой.

— Лучше бы нам не знать об этом наперед, — сознался Морней. — В своем религиозном рвении я чуть не позабыл о том, что наши деяния вряд ли переживут нас. Оттого-то и требуешь многого, и ничем не можешь удовлетвориться, и хочешь возвести свободу совести в вечный закон. Но она кончится вместе с нами, и тем, что нам наследуют, придется заново ее завоевывать. Так угодно властителю судеб.

— Как он вам это открыл? — спросил Генрих, отступил на шаг и оглядел Морнея: вначале тот показался ему совсем чуждым. И тут Морней сразу стал тверд, стал настойчив.

— Сир! Вспомните удар по голове — ведь он все еще не отомщен.

Генрих:

— Он будет отомщен. Я это обещаю.

Морней:

— Мне обидно, что вы мешкаете, время и мои враги имеют право смеяться надо мной.

Генрих:

— Друг мой, вы скорее готовы стерпеть несовершенный эдикт, нежели удар.

Морней:

— Сир! Удар задевает мою честь.

Генрих:

— Вы рухнули наземь, а религия воспрянула.

Морней:

— Без чести нет и пользы. Если уж от трудов наших ничего не останется, пусть хоть выполнены они будут с честью: тогда и наше имя не умрет.

Ни звука в ответ. Генрих размышляет, как часто именно этот человек лгал и обманывал ради него в чистоте сердечной и все же согласно мирским законам.

«Одно годится, другое нет. Я подхожу к намеченной мною вершине с внутренней твердостью, в которой вся моя честь. Прямой путь был бы больше чем честью, он был бы чудом. Я избегаю убийц, а удары палкой забываю. Мечь отнимает много от того, что впоследствии назовут величием. Мечь...»

— Господин де Морней, вы дворянин в большей мере, чем мудрец. Я это вижу. Неужто вы не постигли, что мечь никого так не унижает, как нас самих?

Морней, благочестивый протестант, сказал:

— Сир! Господин де Сен-Фаль должен быть заключен в тюрьму и должен просить у меня прощения.

— Хорошо! — сказал Генрих. — Ваше желание будет исполнено.

С этими словами он отпустил своего старого товарища. Внизу с шумом подкатил экипаж легата.

Генрих не встретил легата ни на лестнице, ни на пороге, а вышел в противоположную дверь. Из соседней комнаты открывался вид на Тюильри, на окна его сестры. Окно, которое он искал, было прикрыто легкой занавеской, он увидел на ней тени, и было их четыре. «Дамы дрожат за меня, — подумал он. — Они собрались и молятся за меня, дабы я остался тверд. Не беспокойся, Катрин, на сей раз господин — я. Принцесса Оранская, мой час настал, и в моем королевстве не нашлось бы ни одного убийцы, который посмел бы направить в меня нож: нож сам собою вонзился бы в его собственное тело».

Крупными шагами, скорее даже прыжками он устремился в первую комнату, чтобы попасть туда ранее легата, но дверь оставил открытой: пусть четыре тени присутствуют при том, что будет здесь происходить. «Мадам де Морней, — подумал

он, — молитесь меньше за меня, чем за вашего супруга, он мстителен, однако папского легата он будет избегать всячески, ибо он боится поддаться соблазну и из благоразумия поцеловать его кольцо».

Снаружи выстроились караульные, уже отворялась дверь, Генрих думал: «Габриель, моя бесценная повелительница! Погляди на меня. Если я выдержу это испытание, то победишь и ты. Молись с тремя протестантками о том, чтобы стать королевой».

Тут на пороге показался легат. Дальше он не сделал ни шага. Он стоял на месте и ждал короля, чтобы король поцеловал его кольцо. Свита легата была многочисленна, она поднималась из недр лестницы, как осиянное облако. Разноцветные одежды духовных и военных лиц, тут же и отроки; облако следовало за легатом, пожалуй, слишком торжественно. Сам он по виду был согбенным, смиренным старцем и приподнял руку с кольцом несколько робко, словно требовал, в сущности, слишком многого. Однако король с жаром поцеловал его кольцо, после чего снова отступил на середину комнаты. Теперь настал его черед ждать. Свита проплыла мимо бесшумно, как подobaет облаку, двери тихо затворились. Легату хотелось оглянуться. Неужели он действительно наедине с этим королем?

По правде сказать, входить в камеру осужденного не слишком приятно и даже жутковато, особенно пожилому жизнелюбу, который крайне жаден до всяческих перипетий жизни, но о конце ее предпочитает не думать. А ведь Мальвецци в Брюсселе говорит, что король Франции должен умереть. Легат думает: «Дверь теперь плотно закрыта, остается только пройти положенный путь». Он проделал этот путь, не спуская глаз с короля, которого с каждым шагом жалел все сильнее. Отчего именно у бунтовщика, еретика, неисправимого разрушителя веры и божественного порядка, в решительные минуты бывает такой облик и осанка, каких не встретишь ни у одного красивого отрока или непогрешимого христианина. Очень обидно. Мальвецци, легат в Брюсселе, хлопочет о его смерти целых пять лет. Это варварство, хотя это и справедливо, ибо король сам стремится к своей гибели. Легат в Брюсселе лишь подталкивает того, кто все равно должен пасть. «А мне бы хотелось удержать его».

Легат сел, и лишь затем сел и король. Легат поздравил короля с победой над кардиналом Австрийским.

— Над Испанией, — быстро проговорил Генрих. — Над Габсбургом.

Легат, немного помолчав, спросил:

— Над христианством?

— Я христианский король — сказал Генрих, — Папе это известно. Гарантии, которые я предлагаю ему, стоят мне плодов моих побед. Я заключаю мир, но мог бы перенести войну и за Рейн.

— Если бы вы могли, вы бы это сделали. Обрадовавшись, что добились мира со своими светскими врагами, вы теперь нападаете на церковь.

— Избави Бог, — заверил Генрих.

— Гарантии. — Легат простер руку к королю, как бы предостерегая его. — Только не давайте их своим протестантам, главное, не давайте им первым. Это заведет вас дальше, чем вам угодно и чем это совместимо с вашим благом. Вы поднялись высоко. Вы — победитель и великий король. Будьте же по-настоящему великим, познайте пределы своей власти.

— Пышные слова для слишком мелкого дела, — сказал Генрих. — Я в Риме дал понять, что мои протестанты ничего не получают, кроме листа бумаги. Они, бедные, большего и не ждут. Лучше всего осведомлен храбрый Морней, который поцеловал у вас кольцо. Ему я сам это сказал. Они меня знают. Почему же только Рим не верит мне?

— Потому что Рим лучше знает вас.

После этих слов легата наступило тяжкое молчание. Король встал, он несколько раз прошелся по комнате, шаги его становились все медленней. У открытой дальней двери он всякий раз нагибался вперед, держа одну ногу на весу, чтобы увидеть окно в доме своей сестры. Из четырех теней три были совсем неподвижны, следя за движениями четвертой.

Исповедь

Вот что происходило там в комнате: каждая из четырех женщин исповедовалась

по очереди. Они сидели вокруг стола, на котором лежала книга. Прежде всего они единодушно решили, что король переживает трудный час и что им надлежит поддержать его на расстоянии. Исповедуемся друг перед другом. Одна лишь правда может помочь и нам и ему. Будем правдивы. Он почувствует это и будет поступать, как исповедник.

Мадам де Морней, по положению последняя, должна была говорить первой. Она испугалась, сказала:

— Я недостойна, — и положила руку на книгу, дабы укрепить свой дух. Она была костлява, одета в черное и волосы прятала под чепцом. Однако, помимо ее воли, всякий бы заметил, что когда-то они были рыжими. Кожа этой пятидесятилетней женщины была вся в крупных порых и отливала безжизненной белизной. На вытянутой руке резко вздувались синие вены. Той же бледной синевы были и глаза, которые она, желая внутренне сосредоточиться, устремляла вдаль, поверх трех остальных дам. Но если мадам де Морней и увидела короля в окне напротив, она немедленно заставила себя позабыть об этом.

— Я христианка, — заговорила она, и в первых же ее словах почувствовалась душевная высота. У этой женщины был неблагодарный голос и слишком длинное лицо, оно состарилось без морщин, как и лицо ее мужа, говорящие губы казались сухими, не мягкими. Остальные дамы сразу отметили все; но неоспорим был суровый и благозвучный строй души, которая раскрывалась со всеми своими слабостями и немощами. — Однако я христианка не столько по вере, сколько по грехам. Я была суетна, и мое благочестие было мирским, оно было поддельным, как те локоны, что я прикалывала. Когда пасторы мне это запретили, я возмутилась, хотя мне следовало благодарить того, кто их послал. Благодарить за страдания, которыми он меня испытывал. — Она избегала произносить имя Божие. — В сущности, и страдания не исправили меня. Мы неисправимы, ибо каждому заранее предначертано грешить много или мало, совсем не грешить или до вечной гибели.

Она опустила глаза; но сделала она это невольно, и потому поспешила снова найти взглядом окно напротив.

— Я обладала особым даром убеждения. Господин де Морней поручал мне влиять на лиц, недоверия которых он мог опасаться. Иногда я в этом преуспевала и

поэтому не была чиста. Человек лукавый не может быть чист. Кто мы такие, чтобы во имя мирских благ доводить других до отчаяния? Я знаю одного князя, который из-за меня все потерял и подвергся изгнанию. А сама я избегла изгнания. Я присваивала себе ту власть, ту самую власть, которая хотела меня спасти, но не хотела никого губить. Об этом я не задумывалась, однако сердцебиение мое усилилось, и излечить его не мог ни один источник, из какой бы горы он ни бил, и купалась ли я в нем или пила его воду. Ибо мой недуг был предостережением совести, как я наконец поняла, потому что он стал невыносим и довел меня до смертной тоски.

Движущаяся тень там, напротив, был король. Мадам де Морней с сожалением смотрела, как он расточал свое лукавство, ибо так мы поступаем неизменно — вместо того чтобы быть прямыми, даже тогда, когда прямота смертельна. Вот, например, господина де Морнея искусство воздействовать на людей привело сначала к гордыне, а потом даже к мстительности. Но его-то по крайней мере спасает добродетель, которая замкнута в духовной сфере и не может потерпеть ущерб от мирских дел. Действовать — это одно, но ведь он, кроме того, и созерцатель. Он первый мирянин, который пишет религиозные сочинения. Так он борется против мирских влияний, не обманывает ни людей, ни Того, Кто взирает на нас, а в те часы, которые он проводит за столом, перед бумагой, он становится таким свободным и безгрешным, как никогда.

Она открыла книгу, на которой лежала ее рука.

— Трактат об евхаристии[63. — «Трактат об евхаристии» — труд Филиппа дю Плесси-Морнея. Евхаристия — одно из главных таинств церкви, при котором верующие приобщаются тела и крови Христовой (либо только тела — как у католиков).], — сказала она.

— Как! — живо воскликнула принцесса Оранская. Она достаточно долго просидела молча, хотя и не скучала. Она не скучала ни с людьми, ни одна.

— Это и есть трактат! Но ведь его ждет вся Европа. И вот эта книга лежит здесь. Почему же она не в наших руках?

Мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля, спросила:

— Правда, что эта книга опровергает мессу? Настолько, что даже сам папа не захочет служить ее?

— Ее будут служить и дальше, — ответила другая протестантка; больше она ничего не прибавила. Затем обратилась к принцессе Оранской.

— Мадам д'Оранж, — сказала она этой маленькой кругленькой женщине с очень ясными глазами, седыми волосами и с девическими красками. — Из всех христианок вы самая испытанная; вас окружает благоухание душевной чистоты, вам мое последнее признание не будет понятно, как бы вы, в непостижимой доброте своей, ни старались понять его. Эта книга не должна быть обнародована, прежде чем король не издаст эдикта. Прежде всего эдикт, ибо после этой книги нам его не получить. Книга причинит нам вред, раскрытие истины, к несчастью, всегда пагубно.

— Нет, — воскликнула принцесса. Бледную запуганную женщину успокоила цветущая и жизнерадостная: — Мы счастливицы, которым помогает единственно истина. Пусть все изменит, мы останемся. Мы ведь собрались здесь, чтобы быть поддержкой королю, и мы верим себе и раскрываем себя, дабы он душой слышал нас оттуда. В подкрепление наших слов здесь с нами его возлюбленная, и она должна стать королевой.

Ее необычайно ясные глаза остановились на Габриели, та покраснела, и тихое затаенное рыдание потрясло бедняжку. Она чувствовала себя сиротливо среди этих протестанток, но, кроме них, у нее не было никого. Много в их речах казалось ей непонятным. Самообличения и признания не были ей свойственны, они пугали ее. Тем не менее под взглядом, который мадам д'Оранж на нее устремила, она тихо вымолвила, что тоже готова к исповеди.

— Милое дитя, сперва вытрите глаза, исповедоваться нужно с сухими глазами. — Принцесса остановила Габриель не столько словами, сколько улыбкой. Только ей была свойственна эта улыбка, строго разумная той разумностью, что проникает в самое сердце. Габриель находила мадам д'Оранж ангелоподобной. Она чувствовала: улыбаться такой беспредельно разумной улыбкой могут только существа иной породы, чем мы. Поэтому она поддалась стремительному порыву и хотела поцеловать

руку принцессы Оранской. Принцесса опередила ее, покровительственным жестом обняла она Габриель, а говорить предложила сестре короля.

Речь легата

Генрих снова сел подле легата и предоставил ему говорить вместо себя. «Может быть, Рим знает меня лучше, чем я сам? Итак, приступай». И легат начал свою речь. Голос мягким и глубоким звуком выходил из щуплого тела. Увядшее лицо давно привыкло оставаться непроницаемым; выразительная мимика никогда не была свойственна этому человеку. Только глаза его помогали словам. Мудрости в них было немного, больше жадного любопытства, которое некоторым людям казалось бесстыдным, так что они охотно отвернулись бы. Но он был папским легатом.

Король время от времени вставлял короткие замечания, смысла речи они не меняли. Это были по большей части заверения и возражения. «Преданнейший сын святого отца. Просто лист бумаги. Мир всему миру. Надежный оплот христианства». Легат оставался непоколебим и предостерегал еще решительнее.

— Вы даете повод подозревать вас в том, будто вы стремитесь защищать протестантство по всей Европе. И не ради веры, а только ради вашей собственной славы. Пусть распадется Римская империя. Пусть даже святая церковь будет повержена, лишь бы вы могли стать властителем мира. Но это не предусмотрено провидением, что вам хорошо известно, а посему разрешите предостеречь вас. Устраните всякие поводы к недоверию.

И в ответ на протест короля:

— У кого возникло недоверие? Вполне отчетливо пока что лишь у меня, священника, который умеет молчать. Другие вас ненавидят, не стараясь разобраться за что. Я же — нет, как видите, я вас не ненавижу. Я радею о вас. Я исповедуюсь за вас. Однажды вы стояли на верхнем выступе ворот Сен-Дени и смотрели на уходящих испанцев, не как на побежденных врагов. Многие победители залезали высоко, чтобы лучше насладиться победой. Вы же ликовали, пока у вас не закружилась голова оттого, что вам удалось пробить брешь в мировом порядке. Вы называете эту брешь вашим королевством; я знаю, слова всегда убедительны, на

словах люди уже готовы и отхватить при случае что удастся. Ваше королевство не такое, как другие. Вы превращаете его в нацию. Это уже больше не сословия, которые, в сущности, пренебрегая границами, с незапамятных времен растекались по всему христианскому миру. Вы уравниваете сословия и называете это свободой. Я слышал вашу речь в Руане, ибо я сопровождал вас; вы созвали сословия вашей провинции Нормандии, но низшему сословию вы дали перевес. Именно его-то вы и соблазнили, предлагали ему собственную власть и — за это получили его деньги, и все это зовется свободой. Равным образом, вы с великим умилением зовете раздираемое смутой, раздробленное королевство своим королевством.

Возражения короля: у него есть на свете и друзья. Он любит свой народ, народ любит его. Его крестьяне не должны быть рабами, а ремесленники — праздными. А застал он противоположность порядку — упадок.

Легат:

— Упадок — дело преходящее и ни в какой мере не мешает вечному порядку вещей. А настоящий вред наносит ему всеобщее недоверие. Вот король, который, как чуждая стихия, врывается в исконный строй вселенской монархии. Вселенная ему не доверяет. Мир он сохранить не сумеет, да и не добьется его. Пример свободы и самодержавной нации чрезвычайно пагубен. От такого примера надо ограждать себя, не то всем придет конец. А друзья у вас только такие, которым нет нужды опасаться вашего примера, иначе у вас не было бы друзей. Одни из них — республики, другие — государства протестантские, а многие соединяют в себе и то и другое. Вы можете положиться на Голландию и Швейцарию. Несчастливая Венеция дивится вам. В Англии престарелой королеве следовало бы ради вас прожить свыше обычного предела человеческой жизни. А вам самому?

— А мне самому? — повторил король.

Легат:

— После вашей кончины, — а она, быть может, близка, — эдикт, который вы до сих пор только обещаете своим протестантам, потеряет силу. До последней минуты я буду надеяться, что вы его не обнаружите. Ради вас.

— Ради меня, — повторил Генрих.

— Ибо я боюсь за вас.

Пауза, полная значения, и взгляд прямо в глаза. Генрих думает: «Этот поп, который, кстати, тяготеет к мальчикам, знает много, но недостаточно».

— Время моих убийц миновало, — говорит он спокойно. Легат вдруг становится смиренным, он просит:

— Взгляните на меня. Я не сторонник смерти, как многие другие, кого я знаю.

— В моем народе вы сейчас не найдете мне убийцы, — сказал Генрих.

— Сейчас, — повторил легат.

— Ну, через десять лет мы с вами потолкуем. — Вот чего Генриху говорить не следовало; легат стар, ему неприятны такого рода напоминания. На этом он кончил беседу.

Оба встали, и еще некоторое время было потрачено на славословия легата, уверения короля и все прощальные церемонии, сопутствие до дверей, возвращение и вторичные проводы. Особенно примечателен был возврат на середину комнаты и почтительный отказ легата от того, чтобы король довел его до порога. Так как со всеми серьезными и щекотливыми вопросами, по-видимому, было покончено, легат воспользовался случаем поболтать на более легкую тему или, быть может, сделать вид, что это болтовня.

— Вам, вполне понятно, нужны деньги. Король, который хочет, чтобы все были равны, должен постараться, чтобы кошельки у всех были полны. На беду, денежные магнаты находятся на той стороне, у вселенской монархии. Здесь у вас имеются лишь весьма скромные финансисты, вроде Цамета. Он же подвластен дому Медичи, правильно? От вас ничего не скроется.

— Что тут можно предпринять? — спросил король и решил под конец прихвастнуть, не все ли равно, раз дело не сладилось. — Чтобы добраться до казны великого герцога Тосканского, мне остается выбор: либо союз, либо нападение.

Однако он знал, что есть и третий выход. И действительно, легат назвал его,

но таким тоном, как будто говорить об этом не следовало.

— Великий герцог Тосканский [64. — Великий герцог Тосканский — Фердинанд Медичи (1549–1609), правитель Тосканского герцогства.] не только крупный банкир: у него, кроме того, есть племянница, обладающая всеми достоинствами принцесс из дома Медичи.

— Знаю я их, — вставил Генрих. — Самая достойная из них держала меня здесь в плену долгие годы, и не было дня, чтобы она не смотрела на меня, как на жаркое — готово ли оно уже? Я сплю и вижу, как бы испытать это вторично.

— Вы шутите. — Но легат улыбнулся лишь слегка, он был удивлен. — Быть не может, чтобы на великого короля смотрели когда-то как на жаркое. Я затаю это в самой глубине души. Что касается плена, то бывают и цепи из роз.

Легат уже держался за ручку двери, он оказался проворнее, никто бы не ожидал этого от него. Он удалился, предупредив новые изъявления вежливости. Огромное пестрое облако его свиты мигом скрыло из глаз дряхлого старичка.

Король думает: «В общем, эта беседа больше пришлась мне по душе, нежели то, с чем явился мой Морней, или добродетель».

Легат посреди своего облака думает: «Этот человек — мученик. Если бы мне пришлось писать новые жизни святых... Чем, собственно, отличались наши мученики, наши святые? Страхом смерти, без которого нельзя считать мучеником. Но святым делает одна лишь мысль — несносная, мерзкая, превратная, подлая мысль, которая покушается на мировой порядок и хочет его ниспровергнуть. Во благо при сем присутствующим. Я буду отсутствовать. И этот человек тоже».

Генрих собственноручно закрыл дверь. Он ходит некоторое время взад и вперед, попадает в соседнюю комнату, оттуда видно окно напротив и четыре тени. Пока что он не замечает их. Его мучает мысль, что легат следовал за ним давно и повсюду. «Не был ли он тайно при том, как горел фейерверк и во мне горела моя мечта. Я сам готов был ее позабыть, он же помнит ее».

Генрих засмеялся про себя. «И все-таки хитрый священнослужитель обманут. Они слишком глубоко заглядывают, они слишком многое подозревают. Я вовсе не хочу

ниспровергать императора и папу, и уж никак не ради принципа. Высокие мысли обитают в горних высях, я туда не забираюсь. Они сами найдут свой путь, меж тем как я действую здесь, внизу, и тружусь над тем, что близко. А ближе всего мне то, что я женюсь на моей бесценной повелительнице и она будет королевой».

Теперь он уже просто держался за бока. «До чего уморительно, на какие уловки приходится пускаться человеку, чтобы наконец-то попасть на супружеское ложе. Теперь главное – эдикт, потому что ее сторонники – протестанты. А прежде, наоборот, важнее всего был смертельный прыжок, потому что мы рассчитывали на потворство церкви и на любовь нашего католического народа. Правда, ничего такого мы не видели, кроме неизменного ножа, который никогда не поражает».

Так как он был сейчас один, что с ним случалось не часто, он опустился на пол, лежал на животе и охал, чтобы не кричать от смеха. «Комик, будь трагичен! Великий трагик, играй комедию! И все ради женщины. Мировая история в спальне. Вот слово и высказано».

Высказанное, оно перестало быть истиной. Берегись, тем самым ты ставишь под удар Габриель. Она воодушевляла короля, переносила его через все преграды. Смертельный прыжок и эдикт, в промежутке несколько битв, покорение множества людей, немало было пущено в ход власти и хитрости, не считая честных трудов. А если бы она умерла младенцем, как было бы тогда? По-прежнему существовало бы королевство и этот человек, который уже не смеется, а закрывает лицо обеими руками. Лежит во весь рост на полу и, должно быть, тяжело страдает, ибо впервые в жизни он сомневается в любви. Если же не имею любви...

Он совсем притих, на плечах его сидел злобный тысячелетний карлик и давил ему на затылок ладонью, широкой лапой ужасающей силы. Если же не имею любви...

Генрих так задрожал, что тысячелетний карлик потерял равновесие. Генрих вскочил на ноги. Тому невидимому, что соскользнул с него, он приказал:

– Никаких Медичи!

Приказ был так громогласен, что дверь распахнулась, и появились его приближенные. Он сказал:

— Пусть мой двор, весь мой двор отправится на дом к сестре короля воздать почести герцогине де Бофор.

Габриель исповедуется

За столом протестанток говорит теперь мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля.

— Я не ведаю греха, хотя и живу не в браке. Богу лучше известно, почему он попускает это. Перед светом я держусь высокомерно, не ему судить меня, пусть меня судит Всевышний. Он пожелал, чтобы я осталась верна нашей религии: да сбудется, чему быть суждено. От моего возлюбленного я терплю истязания, не только душевные, но даже иные.

Тут Катрин покраснела и оглянулась, желая понять, каково мнение окружающих. И они одобрили ее. Если бы она рассказала им подробно, как граф де Суассон ее обманывает, как бьет и выбрасывает из кровати, благочестивые женщины и тут одобрили бы ее. Ибо стойкости в религии соответствует покорное постоянство в любви. Вглядись в это состарившееся детское лицо: оно не имеет жалости, ни восхищения, ему неведом грех. Но ему ведомы жертвы. Катрин продолжает говорить, у нее очень чистый голос, и она говорит:

— Мой брат, король, желает, чтобы я вышла замуж за другого. Это было бы для меня несчастьем. Только бы он даровал нам эдикт! Тем самым многое окупилось бы, и мое несчастье тоже. А чтобы все окупить, он должен возвысить до себя герцогиню де Бофор, и она подарит ему красивых детей. Я хочу, чтобы король на ней женился, я хочу, чтобы он издал эдикт, — вот вам моя исповедь.

Сестра короля сама подала знак даме, которую назвала. Эта последняя ободрилась при словах своего лучшего друга. Она дышала спокойно.

Габриель:

— Мадам Екатерина справедливо сказала — я подарю нашему королю красивых детей. Много красивых детей. Я хочу стать матерью династии королей. Так как я стремлюсь к престолу, я должна ненавидеть тех, кто стоит на моем пути, особенно

ненавижу я королеву Наваррскую. И все же я легче простила бы ей, если бы она послала убийцу ко мне, а не к моему возлюбленному. Как бы я ни пыталась, покаяния ради, очернить себя, в итоге остается одно, — что я его люблю.

Здесь все растрогались. Катрин поспешно склонила просиявшее лицо к Габриели, принцесса Оранская погладила ее плечо, меж тем как бедная Морней воздела молитвенно сложенные руки. Но Габриель попросила добрых женщин повременить, она продолжала:

— Вам неведомо, что значит быть дурной и недостойной. Будущая королева не смеет вам об этом рассказывать. Я буду молчать во имя чести моего повелителя.

Однако же мне знакомы высокомерие, честолюбие и корысть, чувства пустые и лживые. Если же не имею любви — так ведь говорите вы, протестанты. Но все вы, здесь собравшиеся, конечно, никогда не понимали, что это значит: если же не имею любви. А та, кому это ведомо, боится своего прошлого, ибо оно принадлежит чуждой ей, заблудшей душе. Я стала полноценным существом только с тех пор, как узнала того, за кого готова даже умереть. Его я завоевала, и ему я предана всецело, все равно, о, поймите меня, все равно, велик ли он, женится ли он на мне или нет.

— То время близко, — сказала принцесса Оранская. Но Габриель:

— Мадам д'Оранж, не бойтесь, что я проявлю слишком много христианского самоотречения. Я намерена достигнуть своей цели, и те средства, которым меня научила моя прошлая жизнь, тоже мною не позабыты. Пусть двор убедится, что недаром дал мне гнусное прозвище.

«Герцогиня де Свиньон», — тотчас припомнили дамы.

Но странно, — для них прозвище не звучало бранным.

Устами этой женщины, которая вдруг показалась им отличной от них, говорило величие, оно исходило от ребра короля, было его плотью и кровью. Теперь уже никто не склонялся к ней просиявшим лицом и никто не касался ее.

Принцесса Оранская начала свою исповедь без приглашения.

— Я прохожу через все события, никогда не меняясь: это большой недостаток.

Мы должны быть наделены духовными немощами, чтобы уметь их исцелять нашим

познанием и силой воли. Мне не от чего было избавляться, ни от высокомерия, ни от честолюбия, ни от корысти. Обедневшая вдова господина де Телиньи, жертвы Варфоломеевской ночи, стала женой Вильгельма Оранского, который мог бы получить в жены любую богатую принцессу. Он избрал беднейшую, меж тем как его уже окружали убийцы. Его сын от первого брака, Мориц, защищал Голландию после отца. Не в пример Вильгельму, он стремится не к освобождению страны, а хочет сам поработить ее, не лучше испанского ига. Я стою за Барневелта [65. - Барневелт - Имеется в виду Ян Олденбарневелт (род. ок. 1549 г. - умер в 1619 г.), нидерландский государственный деятель, фактический правитель Голландии в 1586-1619 гг. Был противником продолжения войны с Испанией и добился в 1609 г. заключения перемирия.], за право и свободу, против моего пасынка Морица, против своей выгоды, ибо мой собственный малолетний сын был бы наследником престола. И все это мне ничего не стоит: вот тут-то и кроется изъян. Я не борюсь, мною руководит невозмутимое упорство, которое ошибочно считают добродетелью.

Говорившая устремила на Габриель свой взор, который был слишком ясен.

- Я полагаю, что неведение темных сторон души - признак холодности, а отсутствие заблуждений зовется у нашего Отца Небесного равнодушием. Я презираю смерть, но мне это не зачтется, отнюдь не зачтется. Я умерла бы не ради любви, но ради христианского упрямства, которое досталось мне в наследие. Я была любимой дочерью адмирала Колиньи.

Это имя было ее последним словом. Произнося его, маленькая толстенная женщина наполовину приподнялась со стула. Остальные три дамы поднялись вместе с ней. Габриель позже всех. Вдруг перед ней склонился незаметно вошедший дворянин. Именно его она не ждала и еще меньше ждала, что он именно перед ней преклонит свою гордость. Это был господин де Рони. Он сказал:

- Мадам, король направляется сюда. Он приказал воздать вам должные почести. Двор уже собрался и просит вас появиться перед ним.

Предшествоваемые господином де Рони как своим гофмаршалом, дамы попарно направились в большую парадную залу. После углубленных признаний они вернулись на поверхность жизни, и их тотчас же охватил шум суетного мира. Габриель остановилась, она была близка к тому, чтобы повернуть назад, такого бурного изъявления преданности она еще ни разу не видела со стороны двора. Рукоплескания и восторженные клики, меж тем как под шарканье ног и шелест

реверансов все спешили отойти от нее в глубину залы. Сотни дам и кавалеров теснились там позади, а она одна очутилась посреди пустого пространства, — и чтобы она чувствовала себя менее одинокой в своем устрашающем торжестве, принцесса Оранская взяла ее под руку. Мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля, поспешила подойти к ней с левой стороны.

Мадам де Морней удалилась. Встретив короля, который поднимался по лестнице, она сказала ему:

— Сир! Герцогиня нуждается в вашей помощи, поспешите же к ней! Хоть бы вы всегда поспевали вовремя, когда ваша возлюбленная будет в опасности!

Генрих бросился бежать. Достигнув двери в залу, он увидел — что такое? Никакой угрозы его бесценному сокровищу — наоборот, его возлюбленная повелительница в блеске славы. Сердце его бурно забилося. Оно торжествовало победу прелестной Габриели и его собственную.

В этой зале с хорами и примыкающими к ней небольшими покоем происходил — казалось, в незапамятные времена — балет чародеев и брадобреев. И комическая сцена была разыграна здесь же. «Нам с тобой пришлось искать убежища, мы были бессильны против оскорблений и обрадовались, когда могли скрыться через потайной ход. Довольно сомнительно было тогда наше положение. С тех пор мой подъем и твой также. Наконец-то я по-настоящему победитель Испании, и даже против папского легата мне удалось отстоять себя. Теперь, да, теперь я сознаю себя достаточно сильным, чтобы издать мой эдикт. Настал, настал твой день, моя бесценная повелительница. Я мог бы немедленно заставить легата обвенчать нас, тебя и меня, и тогда ты — моя королева».

Он думал об этом как в чаду. Другие размышляли о том же спокойно. Две дамы, несколько в стороне от толпы, шептались между собой.

Принцесса де Конти:

— Как она бледна! Надо бы принцессе Оранской крепче поддерживать ее, прямо страшно, что она упадет.

Принцесса де Конде из дома Бурбонов:

— Есть кое-что и пострашнее. Только бы счастье моего кузена оказалось прочным. Для такой женитьбы ему надо быть по-настоящему великим.

Принцесса де Конти:

— Разве он и теперь уже недостаточно велик, чтобы всем нам бросать вызов? Его возлюбленная шлюха появляется перед всем двором между двумя протестантками.

Должно быть, она и сама протестантка, иначе она понимала бы, что ей грозит, и заранее упала бы в обморок.

Принцесса де Конде:

— Она и в самом деле бледна. Но причиной ее бледности может быть в такой же мере гордость, как и страх. Если при дворе есть безупречная женщина, то это принцесса Оранская. Она же хорошо отзывается о Габриели д'Эстре, о ее новоявленной добродетели, постоянстве в любви, которое будто бы делает ее достойной стать королевой.

— Тем хуже для ее безопасности, — заключила первая дама, и вторая согласилась с ней.

Рукоплескания, восторженные клики — между тем некий господин, недавно представленный ко двору, вдруг оказался выше всех, ибо стоял на стуле.

— Я, верно, ошибаюсь! — бросил этот самый господин де Бассомпьер [66. — Бассомпьер Франсуа де (1579–1646) — французский маршал, фаворит Генриха IV.] вниз, в сутолоку. — То, что я вижу, не может быть действительностью, или кому-то недолго осталось жить.

Снизу раздался вопрос:

— На ком же вы ставите крест?

— Это совершенно ясно, — отвечал господин, стоявший на стуле. — Король должен жить. Как ни жалко эту прекрасную женщину, но иначе нож поразил бы его.

Мадам де Сагони, снизу:

— Вы, бедняга, здесь новичок и не знаете, что наше ближайшее будущее находится под знаком Венеры.

В толпе очутились и министры Вильруа и Рони. Каждый из них старался протиснуться к самой стене, там они встретились.

— Кого я вижу, любезный друг!

— Кого я вижу!

— Мне кажется, мы сходимся на том, что этого события лучше бы не видеть, — сказал министр иностранных дел, которого министр финансов знал как изменника.

Почему Рони и возразил:

— Едва ли стоит обращать внимание на происходящее. Мадридскому двору
знать
об этом бесполезно. То, что здесь совершается, не имеет завтрашнего дня.
Король
сам обо всем позабудет, как только ему понадобятся деньги. Лишь глупцы
при этом
дворе могут сомневаться, кто сильнее — его государственный казначей или
его
возлюбленная. Галиматъя, к чему убийство и смерть, если казна бьет вернее
топора.

После этого господин де Рони позволил толпе оттеснить себя от господина
де
Вильруа, которого знал как изменника. Его слова, безразлично, в какой
мере сам
он верил им, были высказаны с целью оградить жизнь Габриели. Он ее не
любил и
не был сострадателен. Тем больше была его заслуга, и хотя никто лучше его
не
охватывал многотрудных начинаний этой великой власти во всем их объеме,
все же
для господина де Рони эта власть олицетворялась тремя именами: король, я
и
герцогиня де Бофор. Но женщина эта никогда не добьется более высокого
положения
и титула; уж об этом он позаботится.

Габриель чуть не целую вечность противостояла двору и своей славе — по
часам
это были лишь минуты. Она с облегчением вздохнула, когда ее возлюбленный
повелитель взял ее за руку и провел по зале. Толпа тотчас пришла в
движение,
дамы и кавалеры становились шпалерами по пути его величества, чтобы
удостоиться
разговора. Они смотрели на губы короля, но не меньше смотрели и на
прелестный
рот его повелительницы, ибо король вел ее на поднятой руке перед собой.
Широкий
и плоский обруч ее юбки давал ему повод пропускать ее вперед,
преподносить как
свое сокровище, что он и делал неукоснительно. При этом у него было лицо
истинного государя, — непреклонное, как отметили все.

А потому Габриель встречала на своем пути выражение одной лишь
преданности.
На ее щеках вновь заиграли прежние краски. Вместо короля она сама
заговаривала
с придворными. Оттого что кончики ее пальцев касались его руки,
присутствие
духа вернулось к ней, и говорила она то, что требовалось. Мимо первых она
прошла еще молча. Перед господином де Санси[67. — Санси Никола д'Арле
(1546–1629) — сюринтендант

финансов, посол в Англии и генерал-полковник наемных швейцарских войск. Неоднократно менял вероисповедание. После очередного перехода в 1597 г. в католицизм был высмеян д'Обинье в его памфлете «Исповедь де Санси».] , генерал-полковником швейцарцев, она остановилась.

— Господин де Санси, король и я решили совершить путешествие в Бретань. Я разрешаю вам сопровождать вас.

То же самое повторила она и некоторым другим, особенно герцогу Бульонскому, который нашел уместным предать забвению свое предательство при Амьене. Посему он отнесся с глубоким почтением к тому, что дама, которой он тогда предлагал деньги, теперь не приглашает его, а приказывает ему ехать.

К концу своего следования Габриель столкнулась лицом к лицу с господином де Рони. Оба рослые и белокурые, кожа и глаза родственных оттенков: брат и сестра, если угодно. Но никому это не было угодно, не было угодно зрителям, ибо они привыкли к тому, что д'Эстре пленительна, а каменный человек всех отталкивает. Но меньше всех сами они настаивали на своем сродстве. Габриель выше подняла голову, она сказала высокомернее, нежели любому из предыдущих:

— Вам придется покинуть свой арсенал и отправиться в моей свите, господин де Рони.

Он весь вспыхнул, голос у него пресекся, наконец ему удалось выдать из себя:

— Я жду приказаний моего государя.

— Герцогиня просит вас сопровождать ее, — сказал Генрих, и кончики его пальцев пояснили красавице, что она должна это повторить.

Так она и сделала. Но было уже поздно.

Великий договор

Путешествие короля в его провинцию Бретань сошло мирно, хотя он вел за собой двенадцать тысяч пехотинцев, не считая лошадей и орудий. Такой эскорт, слишком внушительный для простого посещения, был ему предложен его начальником артиллерии. Своему Рони Генрих предоставил высказать то, что понимал сам, но в

чем не хотел сознаться: без вооруженной угрозы он все еще не мог бы овладеть своей провинцией. Другое обстоятельство не было им предусмотрено: необходимость выступить как можно скорее. Господин де Рони настаивал на этом, приводя веский довод, что герцог де Меркер бросит свои увертки и уловки лишь в том случае, если его застигнут врасплох.

Это был довод, который Рони выставлял. А невыставленный касался бесценной повелительницы, которая не могла ехать в назначенный день — ожидаемый ребенок очень ее изнурял. Нет, господин де Рони не поедет в ее свите, как она желала. Он выступил, а она была прикована к постели. Спустя три дня она выехала следом за всеми. Когда Габриель, неспешно продвигаясь вперед, достигла наконец города Анжера. Генрих со своим большим эскортом был уже далеко впереди. Куда бы он ни приближался, города его провинции Бретани отворяли ему ворота, и со всего полуострова, который врезается в море, спешно съезжались дворяне приветствовать короля. Господин де Меркер на своих скалах все-таки переоценил мощь неукротимого моря. Король Генрих извлек его из его крепости бурь, сейчас весна, и они свирепствуют свыше обычной меры; повелитель бурь, который стал благодаря им чудачком, вынужден тем не менее пожаловать на сушу, где вскоре у него отнимут львиную долю могущества и вынудят заключить договор.

Это не особый договор об уступке им власти; наоборот, возвращение королю большой провинции как бы случайно включено в другой договор, который считается более важным, — в брачный договор. Дочь герцога и герцогини де Меркер должна выйти замуж за Цезаря Вандомского, сына короля Франции и госпожи Габриели д'Эстре. Вот что считается главным, если не для всех, то, во всяком случае, для Габриели. Потому-то ее сердце так радостно билось в ожидании этой поездки. Задержки и препятствия ожесточают ее, доводя до поступков, совершенно ей не свойственных, — кто мог бы ждать их от ничем невозмутимой красоты?

Герцогиня де Меркер, Мария Люксембургская из рода Пентьевр, эта важная дама считала какую-то д'Эстре много ниже себя по рангу. Если бы сын Цезарь не был даже плодом двойного прелюбодеяния, она все равно презирала бы союз, который ее

заставляли заключить. Французский король, собственными силами, с большим трудом проложивший себе путь к престолу, представлялся ей нежелательным родственником.

И кто поручится за его будущее и за его наследование? Все это поспешат оспорить, если нож наконец попадет в цель. И тогда придется терпеть зятем его

незаконнорожденного сына. Мадам де Меркер, созданная для интриг, плела их во множестве, и притом крайне зловредные. Габриель решила положить этому конец.

Когда герцогиня приблизилась к Анжеру, с целью создать лишь новую проволочку,

Габриель приказала запереть все ворота. Важная дама была вынуждена повернуть

обратно и терпеливо сносить унижение, пока вернется король и походатайствует о

милостивом приеме. Ибо здесь дело идет о милости, это порой понимаешь лишь

тогда, когда перед тобой захлопываются ворота.

Генрих проехал дальше, до самого Ренна, там заседали штаты провинции Бретань. Так как ему предстояло еще несколько дней не видеться со своей возлюбленной, он слал ей письма, как во времена, когда ухаживал за ней. И правда, письма походили на те, какие он посылал ей в замок Кэвр, некоторые были

тогда перехвачены неприятелем. Неприятель мог бы легко поймать и низкорослого

старика крестьянина с закопченным лицом. Генрих думает: «Прошло семь лет, и

по-прежнему я и ты. Неужто правда то, в чем ты меня укоряешь и что я оспариваю:

будто теперь ты любишь больше, чем я? Любишь меня в тысячу раз больше, чем я

тебя? Из этого верно лишь одно: ты расцвела и созрела как внешне, так и духовно. Теперь ты не могла бы жить без меня, этому я охотно верю, ибо это была

бы жизнь, идущая вспять. И со мной, бесценное сокровище мое, дело обстоит так

же, и я так же связан, как ты. С тобой вместе я поднимался и власти достиг –

через тебя, так я это чувствую и во всем, чем владею, ощущаю тебя. Мое королевство я уподобляю твоему лону – которое раньше часто мне изменяло, но

теперь оно мое. И пусть даже твоя красота увянет, все равно я не уйду от тебя.

Однажды мне случилось взять назад свою любовь, тогда я был бедняком, теперь я

богат».

Но в письмах, которые до сих пор передавались через Варенна, об этом не было

ни звука. Наоборот, он сохранял в них прежний тон, легкий и игривый, с намеками

на оружие, которое его повелительница избрала сама и которое скоро решит их спор. Так писал король, когда уж очень скучны становились речи на собрании сословий его провинции Бретани, последней провинции его королевства, которую он завоевал. Борода у него была седая, а волосы русые.

Умалчивал он также о необычайных приключениях, которые всегда врывались в его самые разумные действия; так оно было и здесь. Это могло бы повредить ее естественной и здоровой беременности и оставить на ребенке следы столкновений отца со сверхъестественными обстоятельствами. Закончив дела с штатами, он пробыл сутки в Сомюре, в городе Филиппа Морней, старого товарища, который в мирских делах проявлял себя всегда человеком разумным и положительным. Возможно, что за последнее время кропотливое изучение богословских тайн ослабило его восприятие действительности, но только ему повсюду мерещился господин де Сен-Фаль.

— Что с вами? — спросил Генрих. Исхудалый, сторбленный Морней отвечал отсутствующим голосом:

— Он заглядывал в окно. Он издевается надо мной. Я оскорблен, и надо мной издеваются.

— Друг мой, опомнитесь! — умолял Генрих. — Вы в своем укрепленном замке, вы сами его укрепили. Как бы мог он войти, не говоря уже о том, что ему никак не выбраться отсюда.

— Для того, кто в союзе с дьяволом, — лицо несчастного преобразилось, стало потусторонним, — для того стен не существует, нет и поднятых мостов.

— А в каком укромном уголке успел бы он укрыться? — спросил Генрих.

— Вот здесь, — прошептал таинственно Морней, его вытянутый палец дрожал, но сразу же попал в определенную точку на большой карте, висевшей на противоположной стене.

Генрих думал только, как бы ему уйти отсюда:

— Скорей! — воскликнул он. — В погоню за ним!

У страдальца опустились руки. Он совсем съезжился и беспомощно захныкал.

— Злой дух предупреждает его, едва я соберусь за ним вдогонку. Сир! Вы мне дали слово. Поймайте его!

— Даю вам слово, — подтвердил Генрих и скрылся за дверью.

Он вскочил на коня, за ним следовал такой эскорт, что можно было захватить целую шайку. Всадники направились к лесу, где стоявший на воде дом служил якобы убежищем господину де Сен-Фалю. Олений след заставил короля свернуть с пути. Он разминутся со своими спутниками. В чаще Генриху пришлось спешиться, голоса охотников неизвестно откуда отвечали на его оклики, а между тем наступала ночь.

Благодаря простой случайности он натолкнулся в темноте на трех лиц своей свиты, один из них был председатель суда де Ту. Человек пожилой, он сопровождал короля в его путешествии только ввиду переговоров с Меркером. Устремившись за оленем, он упал с лошади и теперь хромал. Король решил не оставлять его одного, несмотря на убедительные просьбы судьи не беспокоиться и вернуться в город.

— Что это? Ведь мы сбились с пути, — сказал Генрих. Тем временем другой дворянин влез на дерево и сообщил, что видит вдали огонек. Когда они дошли до указанного места, что случилось не скоро вследствие увечья господина де Ту, перед ними предстал тот самый уединенный дом на воде. Верхом проскакали они по всем комнатам, двери были не заперты, и комнаты пусты. В одной из них горела свеча, она освещала приготовленную постель.

— Ясно, что человек, которого мы ищем, был здесь, — уверял Бельгард. — Он собирался лечь спать, мы его спугнули, он где-нибудь поблизости.

— Тогда приведи его сюда, Влеклый Лист, — приказал Генрих с таким видом, словно поверил всему.

Обер-шталмейстер с третьим дворянином сначала произвели в темном доме невероятный шум, им, надо полагать, было не по себе. После чего они удалились, шлепая по воде. Между тем король потребовал, чтобы господин де Ту прилег; ни в одной комнате не было другого ложа. Председатель суда отказывался, предоставляя кровать королю. Сильные боли принудили его прикорнуть на краешке ее, но он не пожелал в присутствии его величества снять башмак с поврежденной ноги. Генрих сидел в единственном кресле у очага, перед которым лежала охапка дров. Он поджег еловые шишки, раздул огонь и смотрел в него широко раскрытыми глазами.

Помимо своей воли, он задумался над тем, ради чего приехал он в свою провинцию
Бретань: ради важных государственных мероприятий, венчающих тщательно и терпеливо обдуманное приготовления. И вот он очутился здесь в погоне за пустой химерой – даже не его собственной. Но все же он не мог уйти от этой ночи среди леса в пустынном доме, где, впрочем, горела свеча. Если бы сейчас сюда проникли убийцы, при нем был бы только больной и еще, правда, его собственное оружие. Подумать только, как немощен наш разум. Разве не я сам напрашиваюсь на эти загадочные приключения и разве нельзя их рассматривать как урок, который моя несовершенная природа дает себе самой? Никогда не отступай от своего знания, непоколебимо осуществляй то, что в тебе заложено и на тебя возложено: тогда тебе не придется сидеть здесь, и впредь ты будешь огражден от еще худших чар.

Все это можно прочесть в полыхающем пламени, если достаточно высоко вздернуть брови. Не мешкай более, будь тверд, сделай королевой свою единственную! Он видит, как огонь чертит ее имя, а пламя напевает его.

Бельгард и его приятель вошли снова; на сей раз бесшумно, ибо они оголили ноги до колен, чтобы вброд перейти пруд. Они утверждали, что господин де Сен-Фаль, спасаясь от них, перепрыгивал с одного трещавшего куста на другой, пока, наконец, какая-то яма не поглотила его. Генрих в ответ только попросил их раздеть и укрыть бедного судью, который в изнеможении упал на кровать и уснул. Сделав это, они провели короля в комнату, которая не имела отдельного выхода, зато на полу там была постелена солома. Они приоткрыли дверь и остались снаружи, причем каждый прислонился к одному из дверных косяков. Только минуя их, можно было проникнуть к королю.

Генрих тотчас же погрузился в глубокий сон. Оба его стража переступали с ноги на ногу под плащами, дабы каждый был уверен, что другой бодрствует. Но в конце концов оба перестали шевелиться – пока пронзительный крик о помощи не прервал их сна. Сначала им померещилось, что они в лесу и набрасываются на господина де Сен-Фалья, а он кричит. Но потом они вспомнили про господина де Ту.

К тому в комнату проникла помешанная девушка. Бедняжка терпела в городе одни обиды, а потому избрала своим жилищем этот покинутый дом; при появлении

незнакомцев она, правда, немедленно убежала, но теперь сама позабыла об этом.

Она возвратилась на свое привычное место, сбросила в темноте мокрую одежду, — свеча погасла уже давно, — и повесила все на стул подле очага, где еще тлели угли. Когда рубашка чуть просохла, девушка легла поперек кровати у ног спящего, и скоро сама уснула. Господину де Ту во сне захотелось повернуться, при этом он столкнул сумасшедшую на пол, и от движения сам почувствовал такую боль, что проснулся.

Де Ту поднимает полог кровати, в окно проникает бледный свет, а по комнате бродит белый призрак. Это не может быть игрой воображения: вот призрак приближается и разглядывает его.

— Кто ты? — спрашивает судья.

— Я Владычица Небесная, — отвечает призрак.

Судье, разумеется, было ясно, что это вздор и выдумка. Тем не менее его охватил суеверный страх, и он стал звать на помощь. Подоспевшие дворяне выручили его и увели помешанную.

Генрих не проснулся и о происшествии узнал только утром, когда они вчетвером возвращались в город. Он сказал лишь, что на месте судьи очень испугался бы, после чего погрузился в молчание. Он думал о своем ночном самоуглубленном раздумье перед пламенем, которое чертило и пело. Вскоре после этого во время пасхального богослужения, когда раздались «Regina Coeli Laetare»[* * * — «Владычица небесная, радуйся» (лат.) — католическая молитва.], король поднялся и глазами стал искать в церкви господина де Ту.

Таковы были малопонятные события, если предположить, что смысл их не удалось до некоторой степени разгадать. О них ничего не упоминалось в письмах к Габриели. На обратном пути к ней Генрих встретил герцогиню де Меркер: столько смиренных и прекрасных обещаний ему не доводилось до сих пор слышать ни от одной гордой матроны. Тем недоверчивее отнесся он к ней, ибо он еще не знал, что его бесценная повелительница укротила эту особу. Он пригласил ее отправиться вместе в Анжер. В тамошнем замке много крепких башен, шестнадцать или даже больше насчитала герцогиня де Меркер, опасаясь, что в одну из них

могут засадить ее. Высокая стена вокруг замка была сплошь усеяна часовыми ее противницы.

Не успели они добраться до замка, как навстречу им выехала герцогиня де Бофор, она торопилась обнять гостью и тут же предложила ей место в своих носилках. Генрих дивился, как хорошо выучилась Габриель действовать наперекор своим чувствам и добиваться своей цели. Еще больше возросла ценность этой прелестной женщины как существа рассудительного, когда тридцать первого марта был наконец подписан великий договор: государственный договор под видом брачного договора.

В Анжерском замке королевский нотариус мэтр Гийо прочел вслух этот акт, и пока длилось чтение, блистательное собрание боялось проронить хоть одно словечко. Герцог и герцогиня де Меркер давали в приданое за своей дочерью Франциской, которая сочеталась браком с герцогом Цезарем Вандомским, целое состояние в деньгах и драгоценных камнях; но, между прочим, выплата должна была производиться из тех огромных сумм, которые герцог де Меркер получал от короля за то, что возвратил ему его провинцию Бретань.

Тут многие из присутствующих не могли совладать со своими чувствами, хотя и знали доподлинно все, что было договорено и решено.

— Хотя мы знали все доподлинно, — сказал кардинал де Жуайез протестанту герцогу Бульонскому, — однако поверить не могли. Лотарингский дом отрекается от последних остатков власти. Этот ничтожный Наварра становится наконец неограниченным государем всего королевства.

— Кроме моего герцогства Бульонского, — отвечал бывший господин де Тюренн, который унаследовал Бульонское герцогство и рассчитывал отстоять себя против короля, что впоследствии навлекло на него беду.

Мэтр Гийо прочел, что губернаторы и судьи провинции Бретань оставлены королем на прежних местах. Здесь один человек чуть не задохся от гнева — господин де Рони, лицо у него по-прежнему было каменным, но душа кипела возмущением. Всем известные плуты и изменники оставались тем, чем были, вместо того чтобы предстать перед судом, и он не мог воспрепятствовать этому. Королевская законность проявляла чрезмерную терпимость, ее защитник Рони про себя укорял короля в слабости. Непреклонный человек не понимал, что законности случается быть гибкой. О брачном договоре как предлоге для серьезного государственного договора Рони сказал: «галиматья», и все приписал честолюбию

бесценной повелительницы, которая уговорила короля.

Некий господин де Бассомпьер, недавно представленный ко двору, спросил: при чем тут мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля? Она действительно была призвана, и ее одобрение испрошено.

— Теперь все понятно; — решил новичок. — Король намерен дать протестантам эдикт. То, что происходит здесь, лишь предварительный шаг.

Вдруг голос нотариуса умолк, над собранием нависла глубокая тишина, затем послышался шелест двух платьев. Одно из сиреневого шелка, второе зеленое, обильно затканное серебром; то были мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля, и герцогиня де Бофор. Между ними король; так вышли они втроем не середину залы к столу, на котором лежал раскрытый договор. С противоположной стороны двинулись, только после вторичного вызова, герцог и герцогиня де Меркер. Другие особы, которым надлежало тоже приложить руку, выстроились в ряд, однако впереди осталось пустое пространство. Туда вели ступеньки, по ним взойшли двое детей, одетых, как кавалер и дама. Чинными шагами поднялись они и остановились наверху, их маленькие фигурки выражали достоинство, а из всех лиц самые серьезные были их лица.

Тут даже те, кто глядел сурово, не удержались от улыбки. Многие женщины выражали свой восторг громкими возгласами, со всех сторон неслись вздохи облегчения. Генрих следил за лицами супругов Меркер, которых он лишал имущества и власти. Сначала у них был вид пойманных преступников — они беспрерывно менялись в лице, глаза герцога покраснелись, герцогиня кашляла, чтобы не расплакаться или не закричать. Но когда дети очутились на возвышении, даже эта чета сразу изменилась. Обоим стала ясна их выгода. Наша дочь будет ближе всех к престолу. Другое дитя взойдет на него вместе с ней. Но король должен жениться на матери. Пусть женится незамедлительно!

Первым подписал договор король, затем передал перо герцогине де Бофор. У нее дрожала рука, должно быть от радости. Все шеи вытянулись, чтобы в этом удостовериться. Прекраснейшая рука в королевстве вывела титул, который в ее жизни оказался самым высоким. Она положила перо и взволнованно выжидала. Ее возлюбленный повелитель улыбался ей, ободрял ее. Едва сестра короля подписала свое имя, как супруги Меркер набросились на пергамент. Филипп Эмануил Лотарингский, герцог де Меркер, Мария Люксембургская, герцогиня де Меркер:

Габриель прочла это сияющими глазами, от счастья у нее закружилась голова. Свое счастье, которое было ей не под силу, она укрыла на плече возлюбленного, и он поцеловал ее разгоряченное лицо.

Свидетели с готовностью принимали один от другого гусиное перо, особенно господин Антуан д'Эстре, отец героини дня и теперь уж совсем не подозрительная личность. Без долгих проволочек тут же было совершено торжественное обручение детей; кардинал Жуайез благословил их в присутствии двора и послов. Однако вторично уж никто не поддается заблуждению и умилению при виде детей, которые участвуют в церемонии, не соответствующей их возрасту. Наоборот, здесь лишь припомнилось одно из условий договора. Когда нотариус громко и отчетливо прочел его, все пропустили его мимо ушей либо сделали вид, будто оно не имеет значения. Если впоследствии один из будущих супругов не пожелает заключить брак, он должен попросту уплатить за свой отказ и даже не слишком дорого для таких богатых семейств.

— В сущности ничего не случилось, — с удивлением сказал обер-шталмейстер Бельгард. — Четырнадцать лет пройдет, пока юная чета созреет.

— Разве моя племянница герцогиня де Бофор созрела не раньше? — возразила его соседка.

Бельгард взглядом нашел прелестную Габриель, даже не ища ее; и чтобы не встретиться с ней глазами, он потупил взгляд. Сердце его билось от воспоминаний. «Покажи мне ее!» — слышался ему голос. «На этих словах окончилось мое счастье, — подумал он вдруг, хотя вообще-то он в жизни преуспевал. — Если бы я тогда не напросился на эти слова, не было бы королевского сына, которого здесь обручили. Одно слово, и вместе со счастьем уходит молодость».

— Что было ей суждено, тем она и стала, — тихо сказал он.

— А мы этого не предвидели, — ответила со вздохом мадам де Сурди, сделав вид, будто не помнит о всех уловках, которые сама же некогда пустила в ход, дабы осуществилось назначение Габриели.

Бельгард разглядывал только что обрученных детей.

Маленький Вандом, не по летам развитой, большой и толстый, ему не

понравился. Тем не менее он расчувствовался вновь, он один. «Бедный мальчик, — сказал он про себя. — В сущности, ведь ничего не случилось. Кто знает конец песни».

Эдикт

Празднества в честь великого договора, хоть и вызвали большое стечение народа, в одном разочаровали всех. Прекраснейшая из женщин не присутствовала на них. Из-за беременности она уже не могла участвовать в публичных церемониях.

Как только обстоятельства позволили королю сопровождать ее, они вместе отправились в город Нант, и там его бесценная повелительница родила ему второго сына, Александра. После первого. Цезаря, второй — Александр, и как дитя Франции он получил титул Monsieur [68. — Monsieur (месье) — титул старшего брата короля.]

Замок и город Нант только что были сданы королевским войскам. И так как тотчас по прибытии ему был дарован его Александр, то король Генрих подписал Нантский эдикт — в порыве отцовской радости. Так это всеми было понято и сомнениям не подвергалось. А незадолго до того был подписан великий договор, в котором обручение двух детей обуславливало возврат последней из его провинций и тем самым умаляло важность этого события — разумеется, с заранее обдуманном намерением. Кто готов был поднять крик, теперь замолчал, впрочем неизвестно, надолго ли. Вот мы и дошли до другой залы, здесь подписывается Нантский эдикт.

— Вот до чего мы дошли, — говорили между собой католические вельможи. — Вот куда привел нас этот король. Побежденными оказались мы.

Кардинал де Жуайез:

— Он дарует свободу совести. Его день настал. По-прежнему ли он гугенот? Или теперь он уже не верит ни во что?

Коннетабль де Монморанси:

— Меня он именует своим кумом. Но я его совсем не знаю.

Кардинал:

— Некогда при Кутра он победил и убил двоих моих братьев. Другом я быть ему не могу. Но я дивлюсь его упорству.

Коннетабль:

— Мы ведь хотим, чтобы это королевство было великим? Лишь ценой свободы совести могли мы как победители заключить мир в Вервене. Остальных его намерений я не знаю.

Кардинал:

— Свобода совести: если бы наша святая церковь мыслила по-христиански, а не по-мирски, она сама даровала бы ее. Однако мы должны мыслить по-мирски, дабы существовать.

Коннетабль:

— Он хочет существовать во что бы то ни стало. Он называет свой эдикт несокрушимым.

Кардинал:

— Его эдикт несокрушим в той же мере, как он сам.

Тут кардинал повернул простертую руку ладонью вниз. Коннетабль понял, что этот жест означал поверженного на землю врага.

— Победенными оказались мы, — говорили католики, если не предпочитали умалчивать об этом. — Король дает волю ереси, но этого мало. Крепости ваши тоже остаются вам, протестантам. А где наши крепости? — спрашивали они представителя противной партии, который в суতোлке был оттеснен от своих и увлечен на другой конец залы. Обычно никого не трогало, какую веру исповедует то или иное лицо. Сегодня религии строго разделились.

— Вам будет позволено совершать свое богослужение во многих католических городах, нам же у вас это запрещено. Вам будут даны все гражданские права, вы будете чиновниками, даже судьями.

— А разве вам не разрешено быть ими? — через головы окружающих возразил Агриппа д'Обинье. — Кто, как не мы, отдали королю всю свою кровь, и если мы остались живы, то отнюдь не собственным попечением. Зато я знаю других, которые рука об руку с Испанией ревностно старались погубить это государство. А теперь,

когда наш король взял верх благодаря нами выигранным битвам, кто требует себе все должности и всю государственную казну? Те, что предали его и готовы предать вновь.

Слово «предали» Агриппа произнес, пожалуй, слишком громогласно. Правда, споры не прекратились, но голос спорщики понизили: король читал свой эдикт. За слово «предали» те господа, к которым обращался Агриппа, охотно бы проучили его. Но Агриппа был так мал ростом, что его нелегко было найти среди более высоких протестантов, а те поспешили оттеснить его назад, чтобы он успел скрыться.

В толпе протестантов маршал де Роклор говорил господину Филиппу дю Плесси-Морнею:

— У вас весьма кислая мина. Разве это не радостный день?

— Так называли мы день битвы при Кутра, — сказал Морней. — Тогда мы были войском бедных. Войском гонимых во имя справедливости.

Роклор:

— У нашего короля были впалые щеки, я как сейчас его вижу.

Морней:

— Обернитесь и увидите: щеки у него остались впалыми, и битва его продолжается. — Морней собирался добавить: «А у меня с господином де Сен-Фалем поединок не на живот, а на смерть. Хуже того — когда выйдет мой трактат о мессе, я утрачу милость короля». Маршал перебил его.

Роклор:

— Король выполняет сегодня данное нам слово и этим ограничивается. Нам бы следовало быть первыми в государстве, а мы получаем теперь такие права, какие дают тем, кого лишь терпят, и ни малейшего ручательства за их длительность. И это после двадцати лет борьбы за свободу совести!

Морней:

— Ее мы завоевали непреложно. Король говорит правду. — А про себя Морней думал: «Свобода совести — достояние души. Настанут времена, когда мы сможем сохранить ее лишь в сердце и в изгнании».

Между обоими протестантами возникло многозначительное молчание, оно возникло

из мыслей, которые обычно не высказываются. Под конец Роклор все же заговорил:

— Некогда он не владел королевством и не был велик. Он и мы с ним вместе ели сухой хлеб и молились. Язычники окружают меня, но именем Божиим я сокрушу их. А кто сокрушен теперь? И все равно, это было бы ни к чему. Свершения не стоят усилий, — в смятении говорил господин де Роклор, слывший при дворе шутником и насмешником.

Филипп Морней, человек, раздираемый мукой, возразил, причем оба избегали глядеть друг на друга:

— Нельзя стареть. Лишь один среди нас не стареет. — Он грудью и лицом подался к своему государю, его он избрал от юности своей.

Король Генрих на возвышении под балдахином оглашал свой эдикт. Никакому нотариусу не позволил его читать: наизусть возвещает его, как свою волю и свое свободное изволение. Кто старается держаться среднего тона между приказом и милостью, тот, прислушиваясь к собственному голосу, может позабыть, что он на самом деле объявляет здесь, под балдахином, — далеко не совершенный искаженный итог, с которым он медлил до последней минуты. «Переговоры и уступки для виду; распри, раскол, новое соглашение партий, напоказ красивые слова, на деле — злые козни, упорство, ненависть, неистребимая жажда наживы: сколько всего предшествовало моему эдикту. Включая и мои двадцать лет борьбы. Маленьким королем Наваррским, совсем не уверенным ни в сохранности своей жизни, ни во французском престоле, как далекую цель видел я перед глазами нынешний день. Это могло быть заурядным выступлением под привычным балдахином, и эдикт ничего бы не стоил: однако королевство — больше, чем деньги и добро, больше, чем просто власть над вами, людьми. Наконец-то я достаточно силен, чтобы сказать вам: впредь вы можете свободно верить и мыслить. Если бы здесь был и слышал меня тот, чьи глаза и уши уже засыпаны землей! Господин Мишель де Монтень, мы некогда беседовали с вами на берегу моря. «Что я знаю?» — говорили вы. Мы пили вино в изрешеченном ядрами доме, мы читали Горация, вы и ваш смиренный ученик, который сейчас стоит под балдахином и оглашает свой эдикт. Вы порадовались бы. Я радуюсь».

Он был единственный, кто чувствовал удовлетворение и сознавал это. Ни одна из партий не была довольна, они лишь принимали то, что он давал им, потому что был наконец достаточно силен: свободу совести — вместе с ее последствиями. Все глаза были устремлены на возвышение, где он стоял, как будто одного королевского величия довольно, чтобы вносить перемены в строй общества, и как будто не предшествовали этому дню превратности мира и войны. Генрих думает: «Труды долги, успех сомнителен, радость кратка. Будем покороче и закончим, пока они не слишком поражены. Помолвку детей, рождение моего сына — вот что мы празднуем; только лишь от избытка отцовского счастья я всех вас уравниваю и отнимаю у господ их провинции, их власть. По вероисповеданиям вас больше не будут различать в государстве, а значит, и по сословиям тоже почти не будут. Не слушайте слишком внимательно, мы постараемся говорить покороче».

— Я отвожу протестантам моего королевства десять областей, и каждая из них будет управляться через своих представителей: два пастора, четверо горожан и крестьян, четверо дворян. Их обиды и разногласия улаживаю я сам.

Король кончил. Из рук своего канцлера, старика Шеверни, он берет пергамент, подписывает его и прощается с собранием. «Это они проглотили, — думает Генрих. — А затем побольше мягкости и миролюбия, чтобы они привыкли».

Большинство просто созерцало королевское величие. Некоторые из тех, кто понял, переговаривались между собой.

— Четверо дворян против шестерых из третьего сословия. С протестантов он только начал.

— Это господство простонародья.

— Если не полновластие короля.

Генрих был в дверях, когда раздались возгласы:

— Да здравствует великий король!

Но он вышел, как будто относилось это к кому-то другому.

VI. Величие и власть

Речная прогулка

Бесценная повелительница не должна страдать от тягот пути. Король повез ее на корабле от Нанта до Орлеана, прогулка вышла долгая и весьма приятная. Река Луара ласково сияла на майском солнце, белые облака реяли и рассеивались. Королевский корабль медленно плыл под легким ветерком вверх по реке, а берега у нее были пологие и тихие. Цветущие луга и пашни тянутся до горизонта, а там синеет лес. Впереди встают замки – грозные громады, но башни их увиты розами. Если зелень молодит хотя бы одну из четырех башен, воды отражают уже не картину мрачного запустения, нет – в них переливается сказочный образ.

Города Анжер, Тур и Блуа один за другим погружают в поток свои мирные отражения; между ними на просторе раскинулись села, деревни, хижины. И когда приближался этот корабль, игравшие на берегу дети сразу замечали, что он не похож на другие корабли. Точно вкопанные, опустив руки, выпятив животики, ждали они его, взгляд у них становился сосредоточенным и очень внимательным.

У этого корабля навесы из тканей, с них до самой воды свисают гирлянды, так что цветы сопутствуют кораблю. А он плавно изогнут, раскрашен, и паруса его раздуваются под ветром. Позолоченная фигура на носу трубит в фанфару, то же делает, надо думать, богиня славы и, во всяком случае, молва. В нижней части корабля находятся спальни для кавалеров и дам: лишь король и герцогиня де Бофор живут на палубе. Обедают и ужинают все под шатрами, которые похожи на беседки. Здесь, на счастливой реке, король уже не вкушает трапезы один за столом, на возвышении. Он занимает место среди остальных, все рассаживаются по собственному усмотрению, веселый подле угрюмого, горделивая женщина против смиренной.

Все они в добром согласии друг с другом, ибо они совершают радостную прогулку и понимают, что для радостной прогулки и самим им надлежит быть радостными. Бесценную повелительницу короля носят на руках; обращаются к ней только лишь благоговейным тоном. На это оказался способен и маршал Бирон, как

ни был груб. Даже Рони, человек из камня, смягчился заметно для слуха и глаза. Супруга Рони превзошла мужа; сделав над собой усилие, она принудила себя к любезности. Мадам де Рони естественным образом ненавидела Габриель больше, чем ее муж, ибо это была его ненависть, которую она раздувала в себе. Но его тайное снисхождение к Габриели было ей чуждо, она не ведала заслуг противницы, муж не сообщал ей о них. Слепая ненависть жены подстрекала его ненависть, вполне зрячую.

Это была его вторая жена, богатая вдова с длинным носом, подслеповатыми глазами, белесыми бровями, огромным лбом и такими бледными губами, словно их не было вовсе. Когда эта уже стареющая женщина пыталась улыбнуться, она казалась беспомощной; вот чем она тронула Габриель. Герцогиня попросила своего дорогого друга, мадам Екатерину Бурбонскую, посадить мадам де Рони между ними. В тот день туча, проплывая мимо, брызнула дождем на крышу шатра. Крестьянки на прибрежных полях, не оставляя работы, накинули юбки на плечи, мужчины покрыли головы мешками, потом все бросились искать прибежища от ливня.

Мадам де Рони сюсюкала:

— Герцогиня, я так рада. Все мы радуемся вашей радости. Поглядите сами, как селяне спешат сюда приветствовать вас, ибо слава о вашей красоте, доброте и рассудительности достигла и здешних берегов.

— Мадам, неужто вы не видите, что народ бежит лишь из-за дождя? — спросила Габриель. Но тщетно, красноречие мадам де Рони не знало удержу. Близорукие глаза ее видели лишь то, что она хотела видеть, и ничего больше.

— Вот вам пастухи и пастушки из вашего парка Монсо, тут они в натуральном виде. И все такие опрятные и приветливые, как вы желали. Это ваша заслуга, — сказала лицемерка.

Габриель отвечала просто:

— Мадам, я рада, что ваши впечатления благоприятны. Вы говорите от чистого сердца. Однако король находит, что по сравнению с бедностью здешних жителей пастбища слишком тучны, пашни слишком плодоносны, леса слишком густы, а замки

слишком горделивы. Он надеется, что его крестьяне уже не так часто постятся, как до него. Но он не успокоится, пока у каждого по воскресеньям не будет курицы в горшке.

«Ах ты, мудрая змея, все на него сваливаешь», — подумала лицемерка. После чего сослалась на свою неопытность в хозяйственных вопросах, хотя на деле была до крайности скарредной хозяйкой, и слугам ее приходилось туго. Габриель знала об этом и потому в особенно ярком свете выставила господина де Рони и его труды. Процветание народа, а главное, сельского хозяйства, без него немыслимо.

Король никогда не расстанется с ним, — заверила она, во вред себе. Мадам де

Рони испугалась последних слов, она истолковала их в том смысле, что возлюбленная короля при первой возможности намерена отстранить его министра.

Она решила сообщить об этом мужу; несколько торопливых любезностей, и она поспешила улизнуть. Свою ненависть к Габриели, которая, собственно, была его ненавистью, она наращивала, как могла, и теперь возвращала ему проценты.

Но как была ошеломлена почтенная дама, когда Рони, устремив на нее суровый взгляд, произнес:

— У нас великий король. У нас король, чье счастье не закатится никогда.

Господин де Рони хорошо знал, что подразумевал под этим. Немного спустя отряд всадников подскакал к реке, на берегу они остановились, размахивая шляпами. Король приказал причалить.

— Маршал де Матиньон! — крикнул он на берег. — Вы привезли хорошие вести?

Голос его был тверд, но затаенное нетерпение столь велико, что казалось, он упадет мертвым, не дождавшись вести.

Матиньон описал шляпой полукруг и звонко возвестил:

— Сир! В Вервене заключен мир. Испанские послы на все согласились. Они едут в Париж воздать почести вашему величеству. Королевству обеспечен вечный мир, ибо великий король оказался победителем.

Последние слова Матиньон выкрикнул, обернувшись к селениям, там они были слышаны. Люди, еще не понимая, что происходит, тем не менее оставили свои пашни и хижину. Да, в самом деле все сбегались сюда. Сутолока у причала была очень велика, а позади люди становились на повозки, дети взбирались на плодовые

деревья, маленьких отцы сажали на плечи. Все притихли в ожидании, смотрели, как шевелятся губы короля, но самого слова не слышали. Наконец он громко, по-солдатски выкрикнул:

— Мир! Мир!

А тише добавил:

— Дети, вам дарован мир.

Одни после первого возгласа короля любовались его осанкой, а другие после второго — тихого — заглядывали ему в глаза. Они помедлили, внимательно присмотрелись к нему и лишь затем преклонили колени — сперва немногие. Когда все опустились на колени, посредине во весь рост встал молодой, дюжий крестьянин; он произнес:

— Государь! Вы наш король. Когда вам будет грозить беда, позовите нас!

Король и беда: те, что на корабле, снисходительно улыбнулись. Габриель д'Эстре испуганно схватила его за руку. Она чуть не упала, его рука поддержала ее. Дюжий крестьянин крикнул с берега, и многим слова его прозвучали угрозой:

— Государь! Вашу королеву мы будем оберегать, как вас.

Тут все на корабле стали сразу очень серьезны, смутились и застыли без движения. Хорошо, что тем временем подоспел белый хлеб и красное вино. Дети протянули дары королю, он же разделил их с крестьянином, который держал речь. Они разломали хлеб пополам, а вино пили из одного кубка.

Корабль поплыл дальше, но добрая весть о мире опережала его. К каким бы селеньям он теперь ни приближался, всюду наготове были руки, которые бросали ему канат, чтобы он причалил. Многие руки богомольно складывались и сложенными поднимались вверх. Когда же корабль скользил мимо, многие руки целыми охапками бросали цветы. Кавалеры ловили их на лету и клали на колени дамам. Собирая приветы и цветы, корабль плыл, приближаясь то к одному, то к другому берегу; часто деревья склонялись над ним и осыпали палубу снегом лепестков.

Под городом Туром ждали чужеземные послы; они скорее добрались от Нанта в своих каретах, нежели корабль, который, казалось, легко скользит по реке Луаре, на деле же принужден пролагать себе путь сквозь избыток чувств. Послы дружественных держав докладывали, что при их дворах, в их странах гремит слава

короля. Он осмелился даровать своим протестантам эдикт, и, несмотря на это, его католическое величество, король Испании, принял такой мир, какого пожелал он. И принял именно потому, что король Генрих сперва проявил свою волю и утвердил свободу совести. Раз он оказался достаточно силен для этого, значит, он для врага и для друга будет сильнейшим королем на земле.

Послы Голландии, Швейцарии, немецких княжеств, королевы Английской и послы более отдаленных стран с радостью и гордостью проводили короля до его города Тура, словно он был их королем. Колокольный перезвон, встреча у городских ворот, шествие по разукрашенным улицам, клики: да здравствует, ура, — а затем пиршество в замке. Некогда тот же замок был для короля, его предшественника, последним прибежищем от врагов. Из беды его выручил тогда Генрих Наваррский, он и тогда уже одерживал победы — для своего предшественника, который в конце концов пал от ножа.

За столом, в гуле голосов, некий господин д'Этранг сказал:

— Тому я поддерживал подбородок на смертном одре. Кому еще придется мне прижимать подбородок, чтобы он не отваливался?

Кардинал де Жуайез:

— Вместе с победами множатся и соблазны. Наш король об этом знает. Он ограждает себя именем Божиим, и нет христианина лучше его. Только смеху его верь не больше, чем его слезам.

На другом конце стола мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля, говорила:

— Король, мой высочайший брат, всегда шел прямым путем. Отсюда и его величие. Страх человеческий не угоден Господу, милость Господня осеняет того, кто тверд сердцем.

Маршал де Матиньон:

— Что это был за путь! От бедствий до всемирной славы, и как он проделал его? Безо всяких усилий, готов я сказать сегодня, хотя я часто видел его в поту. На крыльях песнопений, скажу я, ибо я сам слагаю стихи, как латинские, так и на родном языке.

— Только прочно ли это, — буркнул сидевший немного дальше Тюрэнн, герцог Бульонский.

— Раз это величие — значит, оно прочно, — просюсюкала мадам де Рони достаточно громко, чтобы слышала Габриель. Та тотчас склонилась к своему возлюбленному повелителю.

— Сир! Говорят, что величие — непреходящее благо.

— И никто не знает тех кратких мгновений жизни, когда он по-настоящему был велик, — сказал Генрих на ухо прелестной Габриели. — Мы все можем утратить, — шептал он ей. — Но любовь нашу не утратим никогда.

Близится вечер, все спускаются к реке, чтобы продолжать плавание на счастливом корабле. Стой, кто это спешит навстречу? Вооруженный отряд, посередине арестованный: господин де Сен-Фаль. Вот он, наконец-то попался. Морней! Где же Морней?

Его принялись искать и нашли в одном из тайников городской стены. Он и слышать не хотел о подобной встрече, а между тем жаждал ее, томился по ней, искал ее, бредил ею долгие месяцы. И вот теперь, когда они стояли друг против друга — побитый и его обидчик, — лишь один из них был бледен и дрожал. Второй опустился на колени, будто так и надо, и слово в слово по приказу повторил просьбу о прощении. Он вложил в нее столько поддельного жара, он до такой степени преувеличивал свое сокрушение, что всякий заметил притворство. Мало того, господин де Сен-Фаль явно злорадствовал, и если кто-нибудь получал тут удовлетворение, то никак не Филипп Морней.

Последний оглянулся на короля и просил разрешения сказать ему несколько слов наедине. Они отошли в сторону, меж тем как Сен-Фаль на коленях ждал, пока участь его будет решена.

— Сир! — сказал Филипп. — Рассудок вернулся ко мне. Я был лишен его, как вам известно. Окажите мне милость, отпустите господина де Сен-Фалья и не заключайте его в темницу.

— Господин де Морней, по справедливости он должен отсидеть. Обида была нанесена и дворянину, и его королю.

— Мне отмщение, глаголет Господь.

— Филипп, тебе следовало раньше слушать Господа.

Но так как побитый вновь покаянно повторил свою просьбу, Генрих решил, чтобы Филипп сам поднял с земли своего оскорбителя; тогда король сменит гнев на милость. Морней направился к своему обидчику.

— Сударь, встаньте, король прощает вас.

— Но сами вы, — возразил Сен-Фаль, злорадно глядя на лицо врага с покрасневшим кончиком носа. — Вы сами, сударь, не можете простить меня. Мне остается лишь искупить мое деяние.

Морней сказал:

— Вы недостойны того, чтобы я помог вам подняться. Однако поделом мне. — И он подхватил притворщика под мышки. Тот противился и оседал всей тяжестью. Под конец оба запыхались, в толпе зрителей кто смеялся, а кто, наоборот, цепенел от ужаса.

— Я пойду в тюрьму, тебе назло, — пыхтел Сен-Фаль.

— Я изо дня в день буду молиться за тебя, против твоей воли, — пыхтел Морней.

Тут король велел стражникам поднять стоявшего на коленях. Те выполнили приказ с помощью пинков и толчков, на которые не поскупились и после. Лишь когда Сен-Фалья уводили, он сообразил, что и в Бастилии с ним будут обращаться не как с дворянином.

Филипп Морней попросил короля отпустить его, ибо он намерен воротиться в Сомюр.

— Господин дю Плесси, — спросил Генрих, — ваш трактат о мессе так и останется под замком у вас в библиотеке?

— Сир! Я совершил бы величайший грех, если бы знал истину и не высказал ее.

После этих слов протестанта король повернулся к нему спиной. Все увидели: протестант впал в немилость. И некоторые удалились с облегченным сердцем.

Песня

Счастливым корабль уже не был столь оживлен, когда плыл под ночным ветром к Блуа и Орлеану. Большинство придворных отправились спать. Лишь немногие

бодрствовали на палубе подле короля и герцогини де Бофор. Господин де Рони отослал свою жену вниз, непокладистая вдова только помешала бы ему в одном намерении, ради которого он удостаивал высоких особ своего общества. Кроме него, наверху остались маршал де Матиньон, любитель поэтических ночей, а затем всего лишь некий паж по имени Гийом де Сабле. Двадцатилетний Гийом ничем не был примечателен, кроме большого родимого пятна на левой щеке, которое досталось ему от его матушки и допускало различные толкования. В нем видели то розу, то крепость, а то еще женское лоно. Габриель собралась уже удалить Гийома от двора, но Генрих упрямился пока что просто не смотреть на него.

— Красоты и миловидности в нем нет, — сказал ей по этому поводу Генрих. — Что в нем кроется, я и сам не знаю. Однако я уверен, что он не похож на других молодых людей. Он напоминает мне тех юношей, которым было двадцать лет в одно время со мной. У них об этом по большей части и воспоминания не осталось, но не беда. Наше поколение дает временами такие же ростки.

Оба дворянина и юноша отошли в сторону. Габриель покоится теперь в низком, точно детском, кресле, Генрих полулежит у ее ног. Он то кладет голову ей на колени и смотрит вверх на звезды, то опирается подбородком на ее руку, и тогда сияющие миры показывают ему ее прекрасный лик. Она проводит кончиками пальцев по его лбу, находит, что лоб горяч, и просит его безраздельно отдаться счастью минуты. День был богат радостными событиями, и отзвук их остался в сердцах у обоих. Отзвук выливается в слова, которых оба не знают и не ищут:

О звонкий смех, венки, раздолье волн,
Лишь вести радости летят на этот челн.

Генрих отвечает звезде, что сверкает над ним. Вот какие слова сказал бы он, если бы хотел подбирать слова:

— Из трудов рождаются новые труды, и так тянется до самой смерти, за ее пределы мои надежды не идут. Долгое время — тяжелое бремя. Ничего нет лучше покоя, но длится это лучшее не дольше вздоха. Покой, блаженство светлых снов — то дерево, что осыпает нас снегом лепестков. И речная прогулка с тобой.

— С тобой, — произносит Габриель, которая мыслит и чувствует с ним заодно. —
С тобой дойду я до нашей цели. Мой бесценный повелитель, на это я уповаю.

Она целует его, и он ее — долго, крепко, на всю жизнь. Вдвоем плывут они вверх по реке Луаре, а в сердцах звучит:

О звонкий смех, венки, раздолье волн,
Лишь вести радости летят на этот челн.

Опершись подбородком на ее колено, он смотрит ей в лицо, а она ему.

— Твое величие, повелитель, — говорит Габриель, — стало отныне верованием мира, и конца ему быть не может.

Генрих смеется тихо, смеется над ней, — а она над ним. «Мы оба ведь все знаем. Волны нашей реки меняются каждый миг бытия. Да и где она сама? Не влилась еще, пока мы созерцали ее, в забывчивое море?» Он подумал это — и сейчас же то же самое почувствовала она. В обоих прозвучало то, что можно было

бы выразить словами: все преходяще, а потому прекрасно. Покой, блаженство светлых снов — то дерево, что осыпает нас снегом лепестков. Ведь бrenно наших

жалких тел обличье, неужто вечным может быть величье?

Тут они услышали, как поодаль мечтает вслух маршал де Матиньон. Он говорил вдохновенно о замках над рекой, об их безмолвных отражениях в сверкающей воде, и сами эти замки лишь неверные видения, никто нынче ночью не пройдет под их зачарованные своды, и никто не желает владеть ими.

Собеседников не было видно, но тут раздался очень ясный, трезвый голос:

— Как бы не так — никто не желает владеть ими! Сейчас мы подплываем к замку Сюлли, принадлежащему господину де ла Тремойлю. Спросите-ка у него, отдаст ли он его даром, или потребует сто двадцать шесть тысяч ливров за замок и владение Сюлли.

— Речь идет совсем не о том, — перебил настроенный на иной лад Матиньон.

— Очень даже о том, — возразил господин де Рони и снова выговорил длинную цифру, тщательно отделяя каждую ее составную часть. — Не будь сумма так велика,

клянусь честью, я приобрел бы Сюлли. Правда, я мог бы получить его дешевле и

даже даром, но для этого я должен наперекор собственной чести оказать содействие герцогу Бульонскому, а значит, не быть верным слугой королю. Об этом

я и помыслить не могу. Ни ради самого величавого замка, ни ради самого

доходного поместья.

Он умолк, предоставив очертаниям замка говорить за себя. Его башни и кровли выплывали одна за другой, поднимаясь над чернеющими купами деревьев, и слали сияющий привет. Маршал и министр, которых не было видно, вероятно, отвечали приветом, восторгаясь каждый по-своему. Светлые стены купались в воде; река и ее приток окружали замок, задний фасад был выше, две самые высокие башни, самая обширная из островерхих кровель, находились на островке, и все было осенено отблеском ночного неба, все озарено сверкающей рекой.

— Как красиво! — сказала Габриель.

— Владение, достойное вас, мадам, — сказал Рони, выступая вперед.

— Не меня, — сказала Габриель. — А лучшего слуги. Таково, конечно, и мнение короля.

Генрих повторил, как будто думая о другом:

— Таково и мое мнение. — Он вернулся к действительности и заявил: — Господин де Рони, ваше счастье обеспечено, если в этом ваше счастье. О деньгах на покупку мы поговорим потом.

Рони испугался от радости — он не надеялся так просто приобрести желанное достояние. Он не из тех, кто безусловно верит в успех своего предприятия, хотя бы для него пожертвовал сном и остался бодрствовать подле высоких особ. От испуга он хотел поцеловать руку короля, но Генрих куда-то вдруг исчез. Рони пришлось обратиться к своей благодарности и своему малочувствительному сердцу, которое на сей раз было тронутым, к бесценной повелительнице.

Генрих скрылся в тени одного из шатров, стоял у самого борта корабля и смотрел на реку. Позади него замок Сюлли постепенно скрывался за стеной деревьев, блеснул в последний раз и исчез. Генрих о нем не думал, он размышлял о другом: «Власть, владение — прочно ли оно? Замок со всеми угодами может стореть, королевство можно утратить. Смерть всегда настороже и в положенный срок отнимет у нас то и другое. Это была счастливая поездка, я подчинил своей власти последние мои провинции и вынудил врага подписать мир. И более высокой

цели, стоившей больших трудов, — свободы совести достиг я, а ведь к ней я превыше всего стремился с давних пор. Я владею этим королевством, как ни один король до меня, владею его плотью и духом. Но чем я владею на самом деле?»

В то время как он размышлял и полагал, что своей волей направляет мысль, перед ним непрошеным явился образ молодого Генриха: восемнадцатилетнего, ничем не владевшего. С друзьями, двадцатилетними юношами, тот скакал на Париж, но по прибытии застал свою возлюбленную мать Жанну убитой и сам вскоре подпал под власть старой королевы, а она в своей преступной душе уже замышляла Варфоломеевскую ночь. И вот свершилось, друзья его убиты, а сам молодой Генрих надолго стал пленником злой феи. Предвидит он это, когда, окруженный друзьями, увлекая за собой многих, сплоченным отрядом скачет на Париж?

Сплоченный отряд единомыслящих смельчаков благочестив и неустрашим. Они соблазняют девушек по деревням, но между собой часто говорят об истинной вере. Все они непокорны сильным мира, которые покинуты Богом, ибо Господь Бог с этими двадцатилетними юношами — да так, что в любую минуту сам Иисус может появиться из-за гряды скал и стать во главе отряда. Для них всех его раны свежи и не перестали кровоточить. Его история для них действительность, они живут его жизнью, как своей собственной. «Иисус!» — восклицает один из них, Филипп Морней. Восклицает с такой силой, что все, встрепенувшись, оглядываются, готовые окружить Господа и воззвать к нему: «Сир! В прошлый раз вы были побеждены врагами и вам пришлось отдать себя на распятие. На сей раз, с нами, вы победите. Смерть им! Смерть врагам!»

На сорок восьмом году жизни Генрих вновь узрел это давнее видение; его бросило в жар, он крепче ухватился за борт своего счастливого корабля и собрался тяжело вздохнуть. Однако вспомнил, что плывет на счастливом корабле и владеет всем, к чему стремились юные смельчаки. «Но со мной ли теперь Господь? Что я знаю? Уж и тогда мне не верилось, что Иисус удостоит нас своим присутствием только потому, что мы протестанты. Остальные же истово ожидали Его, и за это я любил их».

— Эге! Да вон стоит один из них.

Генрих сказал это, увидев пажа Гийома де Сабле. Юноша тоже стоял в одиночестве у борта. Он как будто вырос; ночь и то таинственное, что

происходило в нем и в ней, в этой ночи, поднимало его над самим собой. Видно было, что он близок к звездам, их свет струился по его щеке вокруг загадочного родимого пятна. Зубы его были крепко стиснуты, оттого на худощавом лице проступали желваки. Глаза отражали светящиеся миры и жар его души.

— О чем ты гредишь? — спросил чей-то голос. Паж оглянулся, никого не увидел, но незримый голос продолжал:

— Тебе грезится, что ты — маршал Франции. Быть может, ты и станешь им. С нами вместе едет маршал, сочиняющий стихи. Ты, должно быть, воображаешь себя поэтом. Что ж, попытайся, подбери и сложи в строфы слова о короле, который завоевал самое драгоценное свое сокровище и владеет им. Когда бы ему ни приходилось разлучаться с ней, никакие битвы и победы не могли сравниться с муками любви. Битвами и победами мы приобретаем королевства, но только не прекрасную звезду, на которую мы не перестанем глядеть, пока не угаснем сами.

Голос из темноты замолк, юноша Гийом почувствовал, что он один.

Генрих уже некоторое время сидел подле Габриели. Господа Рони и Матиньон занимали короля и его возлюбленную. Все были веселы и окрылены, против своего обыкновения смеялся и новый владелец замка Скулли. Тут скромно и чинно к важным особам подошел юный Сабле. Поклонился, подождал приказа от короля. Король кивнул ему и сказал:

— Спой свою песню!

После чего нежданный гость герцогини де Бофор отвесил глубокий поклон и в самом деле сел.

— Сначала, — потребовал король. — Корабельщики тоже хотят послушать.

Многие из людей, крепивших паруса на счастливом корабле, потихоньку приблизились, услышав, как поет свежий, ласкающий голос. Благоговейное внимание, затаенные всхлипывания волн под скользящим кораблем, и Гийом, которого никто и не помыслил бы прервать, запел песню:

Прелестной Габриели —
Последнее «прости».
За славой к сладкой цели,
За бедами пути.
Жестокое прощанье!
Безмерность мук!
Умри в груди страданье
И сердца стук!

И пыльные знамена,
И твой печальный взгляд,
Под стягом Купидона
Вперед, лихой солдат!
Жестокое прощанье!
Безмерность мук!
Умри в груди страданье
И сердца стук!

Надеюсь, счастлив буду,
Покорствуя судьбе:
Я Францию добуду,
Вселенная — тебе!
Жестокое прощанье!
Безмерность мук!
Умри в груди страданье
И сердца стук!

Затмился день тоскою —
Задую, как свечу,
Но всходишь ты звездою —
И снова жить хочу.
Жестокое прощанье!
Безмерность мук!
Умри в груди страданье
И сердца стук! [69. — «Прелестной Габриели...» и т. д. — широко

известные в свое время стансы, автором которых, по некоторым источникам, считается Генрих IV.]

Когда Гийом умолк, долго стояла тишина, если не считать затаенного всхлипывания, подобного всхлипыванию волн под скользящим кораблем. Наконец герцогиня де Вофор поднялась; родимое пятно пажа Гийома де Сабле побледнело при свете звезд, оно могло быть и розой, и крепостью, и женским лоном. Габриель поцеловала это родимое пятно.

Корабельщики взобрались на мачты и там наверху принялись повторять то, что запомнили из новой песни. Гийом сказал королю:

— Сир! Это ваша песня.

— Я подсказал ее, но не я ее сложил, — возразил Генрих и протянул юноше руку. Бросил взгляд на нового владельца замка Сюлли — и лицо у него при этом было такое, с каким он обычно осмеивал людей. Но он не сказал, о чем думал.
«Наше владение? Песня, которая будет на устах у всех».

И тотчас же лицо короля приняло умиленно-растроганное, торжественное и благочестивое выражение. Он вспомнил о старых псалмах, которые часто пел

прежде, и им была подобна его песня. Он повторил ее на ухо прелестной Габриели, когда уходил вместе с ней.

Мир или война

При французском дворе в ту пору хорошо ели. После победоносного мира первой заботой короля было получить самых откормленных гусей со своей родины Беарна. Пиршествами, охотами и праздничными забавами он хотел убедить самого себя и весь мир, что опасностей больше нет, что он утвердился во владении. Мир как будто поверил ему. Во время частых парадных трапез король щеголял своим прославленным аппетитом, но на самом деле утратил его.

— Раньше ничего не было, — говаривал он в кругу друзей. — Теперь я ничего не хочу.

Товарищ юношеских лет, маршал Роклор, дал этому объяснение:

— Сир! Раньше вы были отлучены от церкви. А такие всегда прожорливы, как дьявол. — Но король лучше знал причину.

Он достиг гавани, пусть хоть временной и не вполне безопасной. Начинания еще большего размаха сделали бы его поистине спасителем Европы, до сих пор он был им в глазах других, но не в своих собственных. Он знал свою миссию, но откладывал ее из благоразумия и пока что отказывался от нее, не в страхе за себя — ведь ему досталась бы слава, — а во имя своего народа, ибо тому достались бы одни тяготы. Мир! Мир!

Милорд Сесиль и принц Нассауский [70. — Принц Нассауский. — Имеется в виду Мориц Нассауский (1567–1625), сын Вильгельма Оранского, наместник Нидерландов с 1584 по 1625 г., видный полководец своего времени.] были приняты в Лувре еще до того, как испанские послы совершили свой торжественный въезд. Король поспешил им навстречу.

— Дон Филипп умер.

Он снял шляпу, впрочем, тут же бросил ее наземь и предложил своим союзникам поступить так же.

— Испанский церемониал отслужил свое.

Милорд Сесиль :

— Понятно, что старый негодяй умер. После того как вы его побили, ему только и оставалось умереть.

Принц Нассауский:

— Ему самому — конечно. Но Испания..

Король Генрих:

— Вы подразумеваете вселенскую монархию?

Принц Нассауский:

— Я подразумеваю разбойников, которые прикованы друг к другу на одной галере и так управляют миром.

Милорд Сесиль :

— Мне отраднa мысль, что захватчики хоть и опустошают теперь нашу злополучную часть света, но прикованы к одной цепи, и за первым падут еще многие.

Король Генрих:

— Господа, бывает пора войны, но бывает и пора мира.

Милорд Сесиль :

— Я искренний друг мира.

Принц Нассауский:

— Дабы стать поистине миром, мир должен быть дорог и желанен обеим сторонам: не только нам, но и захватчикам. Они же играют комедию мира. После вашего, сир, достославного Вервенского мирного договора испанских войск в Европе больше не видно.

Милорд Сесиль :

— Зато им на смену являются отряды добровольцев, я бы назвал их шайками разбойников и всех бы перевешал. Добровольцы! Испанцами зовутся они, собраны из всех возможных стран, ни одно государство не посылало их, ни одно не объявляет войны и, Боже упаси, не собирается воевать. Новая ловкая выдумка, британскому

другу мира забавно наблюдать, как она осуществляется.

Принц Нассауский забывается, вскакивает, кричит:

— Только не нидерландскому! Не немецкому! Моя страна гибнет. Мой народ истребляют. Это хуже открытой войны, это страшнее и больше претит душе. Сир!

Помогите. Вы единственный из королей, кто держит меч.

Король Генрих молчит.

Милорд Сесиль:

— Принц Нассау, сядьте. Все можно сказать спокойно. Король не хуже нас знает, что происходит. Шайки разбойников, которые якобы никому не подвластны, но на деле всякий знает их хозяев, — эти шайки пожирают не одну Голландию, они подобралась и к Германии. Они вгрызаются в немцев, как в протестантов, так и в католиков. А католики и протестанты тоже начали истреблять друг друга. Это ведь дает известные выгоды.

Принц Нассауский:

— Выгоды! Я готов биться головой об стену.

Милорд Сесиль:

— Бросьте. С ваших соотечественников и без того снимут головы. Я имею в виду выгоды для захватчика. Он ни за что не ответствен, как мы уже упоминали. Вдобавок его замаскированная война не стоит ему ни гроша, его шайки сами себя окупают. И, наконец, главное — такое положение не ограничено временем. Оно будет длиться до тех пор, пока разбойники вселенской монархии видят в нем пользу.

Принц Нассауский:

— Целый век!

Милорд Сесиль:

— Полвека. Достаточный срок, чтобы довести до озверения весь материк. Я говорил «вгрызаться и истреблять» как бы иносказательно. Но люди в буквальном смысле слова научатся пожирать друг друга.

Принц Нассауский:

— Что же решит король, к которому Европа взывает как к своему спасителю?

Король Генрих:

— Милорд, поможет ли мне ваша великая королева, как помогала уже много раз?

Милорд Сесиль поднимается.

Принц Нассауский вскакивает.

Король Генрих встал с кресла.

Милорд Сесиль:

— Ее величество готова и намерена поддержать начинание всеми своими вооруженными силами на море и на суше.

Принц Нассауский:

— Нидерландские генеральные штаты пожертвуют всем, чем могут.

Король Генрих:

— Тогда я поистине могу оказаться сильнейшим; могу быть достаточно силен, чтобы предотвратить великую войну и чтобы имя мое стало благословенным перед Богом и людьми. Слишком вески должны быть причины, чтобы лишить меня спасения души, не говоря об уважении людей. Война для меня запретна, говорю я и требую, чтобы вы, господа, дали мне договорить до конца. Мне самому тоже пришлось выслушать папского легата, когда он здесь, в этой комнате, предрекал мне, будто я дойду до того, что подниму оружие против католическо-христианского мира. Будто на мне лежит подозрение, что я хочу повсеместно взять под свою защиту протестантство — и не во имя веры, а ради собственной своей славы. И я успел подтвердить подозрение легата, даровав в Нанте мой эдикт.

Милорд Сесиль, принц Нассауский говорят возбужденно и наперебой.

Король Генрих:

— Господа союзники! Поборники мира и просвещенных нравов! Захватчик творит мерзость. Свет был полон мерзости с тех пор, как я имею с ним дело. Однако я не унывал. Воевал я всегда лишь во имя человечности. Так я действовал в своем королевстве и так же выступил бы в поход против ваших разбойников.

Милорд Сесиль, принц Нассауский говорят вместе:

— Решено! Вы будете действовать. Вы наш великий предводитель. Пусть же распадется их Священная Римская империя, пусть рухнет их святая церковь.

Король Генрих:

— Точь-в-точь это же говорил легат, только добавил еще, что я тем самым стану повелителем мира.

Милорд Сесиль отстраняется от принца Нассауского, отступает на шаг:

— Это, должно быть, шутка. Ее британское величество и в мыслях не имеет вести войну с такой целью.

Король Генрих:

— Я тоже — и вообще не намерен вести ее.

Принц Нассауский — с трудом сдерживая слезы:

— Сир! Неужто у вас нет жалости к этому злосчастному миру?

Король Генрих:

— Есть! И прежде всего я жалею мой народ и мое королевство. Ибо у них за плечами двадцать лет войны, и теперешнее поколение будет помнить ее до конца дней. Я не считаю себя господином судьбы и взял бы на себя слишком много, если бы попытался уберечь другие страны от великой религиозной войны, которую вынесла моя страна и все же уцелела. Из долгих смут мое королевство вышло с новым тяготением к разуму, и это тяготение я буду поддерживать, а не пресекать. Границы моего королевства открыты, крепости полуразрушены, флот в плохом состоянии, многие провинции превращены войной в пустыню. Дабы народ мой мог есть досыта и рожать детей, я должен вложить меч в ножны.

Принц Нассауский:

— Ради того, чтобы ваши французы жили в достатке и довольстве, вы обрекаете большую часть Европы на величайшие ужасы. Ваше разоружение окончательно развязывает разбойникам руки.

Милорд Сесиль:

— Однако же здесь в стране благополучие крестьян и ремесленников заметно возрастает.

Король Генрих:

— А люди созданы для того, чтобы жить в благополучии. Кстати, они бы

прогнали меня, если бы я думал иначе. Мое собственное благополучие и мое государство зависят от одной или двух проигранных битв. Знайте же, господа, волей или неволей, но я распускаю свои войска.

Они говорят: велик

Испанские послы въехали в Париж. Они прибыли торжественно, как того требовал с трудом достигнутый, заключенный на веки вечные мир. Тем более удивила их непринужденность двора и короля, который считался великим. Они не заметили в нем величия. Король Франции прежде всего повел их в залу для игры в мяч, там высочайшая особа стала ожесточенно состязаться в игре со своим маршалом Бироном-младшим и принцем де Жуэнвилем. Дамы в масках следили из галереи за прыжками и ухватками неутомимого величества. Дон Луис де Веласко, адмирал Арагонский, граф Аренберг и вся испанская делегация искали среди масок герцогиню де Бофор и без труда нашли ее. Все внимание было обращено на нее. Невзирая на духоту июньского дня и переполненной залы, король играл лишь для нее, как заметили испанцы.

Кстати, он, должно быть, не прочь был показать и им, что он гибок, силен и достаточно молод, дабы внушать страх. Об этом послы подумали позднее, когда писали отчет. Теперь же в них преобладало удивление при виде того, как христианнейший король роняет перед ними свое достоинство и приносит его в дар женщине. По окончании игры в мяч он попросил свою возлюбленную открыть лицо, чтобы послы его католического величества могли вволю налюбоваться ею.

Нечто еще более возмутительное ожидало их впереди. Через два дня был парадный обед, а вечером бал. Во главе стола, под балдахином, вместе с королем сидела герцогиня де Бофор, ей же прислуживали знатные дамы, и первой по рангу была мадемуазель де Гиз, отпрыск Лотарингского дома, дружественного Испании и до недавних пор бывшего угрозой королю Франции. А тут вдруг дочь этого дома, которому по воле Испании надлежало царствовать, принуждена подносить блюда — и кому?

Позднее король сказал испанцам:

– При Амьене вы могли бы победить. Мое самое слабое место было там, где стояла палатка герцогини.

Дон Франсиско де Мендоса отвечал с подобающей важностью:

– Даже ради победы мы не стали бы штурмовать бордель.

Чем напыщеннее было последовавшее за этим молчание испанцев, тем искреннее расхохотался король. Тогда они увидели, что его не унизишь ничем. Хозяйкой бала считалась мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля, но рядом с ней была герцогиня де Бофор в изумрудном шелку, волосы ее искрились алмазными звездами, и прекрасна она была свьше меры: наконец-то это признали даже испанские послы.

Однако они продолжали возмущаться, ибо при французском дворе на переднем плане всегда были женщины. Танцы на время прекратились, и роскошные, пышные робы женщин образовали круг, а в середину круга вступил юноша, на левой щеке у него было родимое пятно; под аккомпанемент музыки он пропел песню. «Прелестной Габриели» – начиналась она.

До своего отъезда испанцы слышали ее часто и повсюду, под конец они ловили себя на том, что сами напевают ее. После того как они отбыли и Париж собственными глазами увидел побежденных врагов короля, сам король совершил торжественный въезд. Обставлено это было со всей возможной пышностью. Один только король Генрих восседал на коне, весь в коже и черной стали, на шлеме белый султан, как при Иври. Таким знал его мир и хотел, чтобы он был таким. В угоду миру он и поддерживал представление о великом короле и являлся перед ним великим королем.

Чужеземцы всех стран первыми приветствовали его. А затем неожиданно, после некоторой заминки, восторженное ликование охватило жителей его столицы. Поблизости от Луврского дворца он остановился: вдоль улицы, из домов и с крыш гремела хвала, какой никогда не выпадало на его долю, второй раз ему уже не услышать ничего подобного. Он вытянул руку. Под его рукой, у его ног, стояли носилки, слуги опустили их там. Генрих крикнул:

– Вот вам мой мир и ваше благо, оно и мое благо!

Он поскакал в свой дворец, они же верно поняли его, все знали, какая особа находилась в носилках и была возведена королем в символ лучших времен. «Прелестной Габриели» пели улицы, дома и крыши.

Генриху не удалось побыть одному после триумфа, хотя ему казалось, будто он что-то упустил, о чем-то позабыл. Слишком велик был наплыв людей, воздать почести королю явились двор и парламент, городские общины, его маршалы, его финансовый совет, а вооруженные герольды в кольчугах и золотых лилиях прокладывали чужеземным послам путь сквозь толпу.

Сюда прибыли, торопясь своим присутствием подтвердить торжество короля Франции, все послы, постоянные и чрезвычайные, — не только те, кого он знал, но и совсем неожиданные и отнюдь не одни дружественные. Напротив, враги особенно поспешили, и не открытые враги, не испанцы, не император, чьи представители еще не показывались и вряд ли вообще явятся. Больше всех усердствовали тайные ненавистники. Соседняя Савойя вероломно держит сторону врага, а так как герцог одной ногой стоит во Французском королевстве, то спор неизбежен. В лице итальянских князей Габсбург имеет послушных пособников; их агенты тут на месте, сейчас они воздают хвалу, а потом будут докладывать, как король Франции воспринимает свое счастье. И рейнские князья, духовные и светские, устами своих наблюдателей славословят великого короля.

Славословие удастся этим чужестранцам, оно даже звучало бы правдоподобно, если бы всякому не было понятно, что источник их чувств — страх. В них говорит недавнее потрясение, ибо победа короля оказалась настолько решительной, что князьям не осталось места между ним и императором. На западе Германии их страшит императорское владычество, которое обычно остается незримым и заявляет о себе только бесчинством безнадзорных шаек поджигателей. Их зовут испанскими до тех пор, пока никто не желает признавать их своими. Но превыше всего страшит этих князьков король Франции со своим войском, победившим Испанию; оно вплотную подступает к Рейну, кому под силу его задержать? Глава вселенской монархии, одетый в черное, сидит взаперти в своем уединенном венском дворце; здесь же, на виду у всех и повсюду памятный своими деяниями, — единственный из королей, кто держит меч.

Посланники немецких курфюрстов опасались со стороны скрытого протестанта

любых крайностей. Самый капитальный вопрос они рассчитывали обойти, хотя бы с помощью явной бессмыслицы. Отчаяние не выбирает, и времени ему отпущено мало.

От этого вопроса все зависит. Многим из курфюрстов одновременно пришла мысль избрать короля Генриха римским императором – во всяком случае, сделать ему такое предложение и выиграть время. Каждый из посланников по очереди просил его величество о милостивейшей аудиенции для весьма секретного сообщения, не терпящего отлагательства.

Обстановка не позволяла уединиться по-настоящему. Приток народа в галерею Лувра принял грандиозные размеры, все выходы запружены депутациями, жаждущими предстать пред очи его величества. Некоторые из незначительных иноземных посланников надеялись улучшить удобную минуту; а пока что они пытались отстоять свое место и безопасность своих особ от натиска толпы. По обычаю этого короля, простолужинам был открыт доступ во дворец. Особых приказов он не давал, офицеры действовали согласно его всегдашним правилам – вокруг него самого едва удалось оставить немного свободного пространства. Некоторые дамы от тесноты лишились чувств.

Король стоял не на возвышении, а на одном уровне со всеми; те, что увивались вокруг него, спешили изобразить на лице подобострастие и произносили хвалы – если долго слушать, они становятся однообразными и даже теряют связь с действительностью. «Они говорят: велик, – думает Генрих. – Непрестанно называют они меня великим королем, что лишено всякого смысла, и им бы это следовало знать. Победа, чего она стоит! Я побеждал не более, чем было нужно и допустимо для сохранения моего королевства. Вне этих пределов находится то, от чего мне пришлось отказаться, конечная победа, освобождение Европы от такого владычества, которое все народы превращает в шайки поджигателей. Я не смею помочь. Я сделал выбор между миром и войной. Великим я не смею быть».

Не смущаясь этим, он каждому давал величавый, обдуманый ответ, какого от него ждали и какой подобал великому королю. Втихомолку он размышлял, что мирская слава никогда не может быть принята вполне всерьез и вообще не выдержит испытания, если отважиться на него. «Главное, это нанесло бы обиду людям, ибо

им больше, чем мне, дороги слава и величие». Он поворачивал голову и корпус с гибкостью игрока в мяч. Он кивал, закидывал голову, переступал с ноги на ногу, и все одинаково властно и благосклонно. Нет, в недостатке величия ему нечего было упрекать себя, а другие и вовсе трепетали от благоговения. Правда, он не предвидел размеров и размаха этого праздника победы, отсюда и неподобающая суতোлка. Сам он изображал и олицетворял величие. «Но я еще научусь в совершенстве воплощать его в жизнь», – решил он.

«Они говорят: велик. Если бы они увидели меня в походном лагере, покрытым грязью траншей, когда битва еще впереди, – они заговорили бы иначе. Они, очевидно, не верят в промысел Божий, ибо мое счастье они приписывают случаю и потому именно готовы пасть предо мной ниц. Еще труднее им понять, как может разум хоть раз одержать победу здесь, на земле, пускай даже временную. А человека, который попросту пустил в ход здравый смысл, они встречают явной бессмыслицей: это их встречный удар. Вознамерились избрать меня римским императором, словно я или сами они не в своем уме».

– Господа, я скорее угадываю, чем слышу ваше знаменательное предложение, ибо вокруг стоит шум, а вы не без причины понижаете голос. Ваши надежды на то, что я не стану болтать, делают вам честь; иначе слух его апостольского величества был бы неприятно поражен. Я делаю из всего этого вывод, что вы в приподнятом настроении и, кроме того, истинные мои друзья.

Его ответы представителям курфюрстов выражали вежливое сомнение в их умственных способностях, ибо они явно мололи чушь. Их просьбы о секретных аудиенциях он пропускал мимо ушей и кивал следующим. Все двигались по кругу; кто прошел перед королем, приближался к герцогине де Бофор. Она сидела, окруженная принцессами. Отповедь, которую дал ее господин своим искусителям, не ускользнула от ее слуха. Впрочем, каждый из послов немецких курфюрстов неизменно просил ее заступничества; ей приходилось давать согласие. Все видели, как она побледнела, должно быть, от безрассудной радости. Тот, кто находил, что гордость только красит эту величавую женщину, полжизни отдал бы, лишь бы узнать, что же происходит.

Но герцогиня знаком подозвала своего друга, храброго Крийона. Тотчас же были освобождены выходы и расчищен путь от местопребывания его величества до

отдаленного уголка, где собралась кучка скромных людей, с трудом устоявших против давки и толчеи. Они никогда не добрались бы до короля. А теперь сам король, ведя на поднятой руке лютию Бофор, шел навстречу фламандцам. То были бургомистры городов, покидаемых испанцами. То были старосты сел, уничтоженных войной, и священники, чьи кафедры более не существовали. Они позабыли стать на колени перед своим освободителем, — слишком много пришлось им стоять на коленях.

Король обратился к ним с приветствием, а они сперва оглядели его, затем друг друга, не зная, кому держать речь. Один из них произнес медленно, с расстановкой:

— Государь! Отчего мы не французы и не ваши соотечественники!

— Вы люди, достойные уважения, — отвечал им король. — Довольствуйтесь этим. Ваша безопасность — в умении храбро защищаться. Ваше благосостояние — в привычке к труду. Идите с миром.

Один из них:

— Мы своими глазами видели великого короля.

Генрих — на ухо бесценной повелительнице:

— Без этого никак не обойтись. И они тоже говорят: велик.

После чего он пригласил их сесть за его стол.

Величие изнутри

Внимание, оказанное простым людям из Фландрии, поразило всех. Ясно, что это происки герцогини де Бофор; многие якобы заметили, что вовсе не король вел ее на поднятой руке, а она увлекала его. Но ведь, прежде чем испанцы вновь утвердят свое господство над Фландрией, король может завладеть этой страной и народом; силы у него достанет. Естественно, что фламандцам тогда пришлось бы круче, нежели под игом Испании. А вместо этого он обращается с ними, как со свободными людьми, и усаживает их за свой стол.

И при этом в его собственном королевстве землевладельцев вынуждают в самом

деле прокладывать те проезжие дороги, на которые они взимают пошлины с крестьян. Конечно, за такие действия многие считают его власть величайшей тиранией. Не то чтобы он сам выдумывал гнусные новшества – ни слова против королевского величия. Зато крамольники вроде Рони пользуются им во зло и посягают на крупные состояния, даже не останавливаясь перед благоприобретенными правами. Недобрый конец ждет эту власть; пусть министр поостережется распространять свои самовластные поборы на иноземных откупщиков. Всесильные мировые финансисты жестоко отомстят французскому королевству.

Что бы ни говорили, но на деле Рони подавал своему государю разумные и умеренные советы. Подсчет доходов откупщика Цамета Рони составлял долгими ночами. В тот день, когда он показал королю итог, бесценная повелительница находилась тут же; каждый раз это наново оскорбляло Рони, хотя он до сих пор не подавал вида, насколько был этим уязвлен. Король подскочил, увидев цифры, он потребовал высылки флорентийца. Верный слуга отсоветовал ему действовать в первом порыве гнева. Он уверял, что ему легче будет справиться с каким-то Цаметом, чем королю с всесильными европейскими финансистами, если он затронет их интересы.

Бесценная повелительница выразила удивление, почему господин де Рони именно в данном случае изменяет своей обычной непреклонности и старается сохранить королю такую дружбу.

– Меня и так достаточно ненавидят, – сухо возразил Рони. Но Габриель поняла: дело было не в сапожнике Цамете, который, кстати, считался ее добрым приятелем. Верный слуга прежде всего думал о великом герцоге Тосканском и его племяннице [71. – ...думал о великом герцоге Тосканском и его племяннице. – Речь идет о Марии Медичи (1573–1642) – будущей королеве Франции, дочери Франческо Медичи, брата великого герцога Тосканского Фердинанда Медичи.]. «Она должна вытеснить меня и стать королевой Франции. Расчет этого каменного человека неумолим, нечего и пытаться льстить ему. Нет, его еще недостаточно ненавидят; и я тоже буду ненавидеть его. Но пока что я молчу».

Король вслух восхищался мудростью своего министра:

– Взгляните на него, мадам. Он потому так мудр, что почти не спит. И мне тоже больше нельзя спать. Наша работа не ждет, как тогда у дубильщика на улице де ла Ферронри.

Рони, которому было позволено удалиться, подумал про себя, что весь вред не в крепком сне его величества, а в бесценной повелительнице, и она должна пасть. Габриель же отныне лишь дожидалась часа, когда ей удастся низвергнуть его. Он видел ее насквозь и впредь, когда прибегал к мероприятиям, вызывавшим чье-либо возмущение, не упускал случая приписать заслугу начинания герцогине де Бофор. Мало-помалу вся ненависть обратилась не на него, а на нее. Это она посягала на всесильных финансистов, она была в союзе с протестантами, и целью ее стремлений был престол. Как при здешнем дворе, так и при европейских дворах Габриель слыла подстрекательницей короля Франции ко всем действиям, грозившим незыблемому праву владения и полезным одним лишь смутьянам и простолюдинам.

Она знала это. Ее повелителя унижения не касались, только на ней изощрялись все, хотя с должной оглядкой. Никто не осмелился бы открыто оскорбить ее, ей осталось лишь полшага — и она будет королевой. Но когда знатные дамы прислуживали ей за столом, они повторяли у нее за спиной слова испанского посла и подражали его деревянной церемонности. Придворные дамы заглядывали в будущее, хотя бы и с помощью астрологов; мадам де Сагонн во главе их высказывала с глазу на глаз восхищение покинутой королевской супругой, которая отстаивала свои права и ни в коем случае не соглашалась на расторжение брака. Никогда не уступит она потаскушке, писала она из замка, где была заточена и откуда подслала к королю убийцу.

Мадам Маргарита Валуа, некогда знаменитейшая жрица любви, богиня Венера своей эпохи, не сохранила уже ни одного из природных даров, кроме страсти к интригам; эта страсть была самой неотъемлемой долей наследия, доставшегося ей от ее коварной матери Медичи. Еще в прошлом году она называла Габриель д'Эстре своей сестрой и заступницей, выпрашивала у нее подарки и только всячески изворачивалась, лишь бы не дать свободы королю. Теперь это стало ее заслугой, которой она открыто кичилась. Габриель была на вершине и пока держалась прочно; ненависть, кипевшая вокруг нее, не могла ее поколебать. Былая Марго, скучая в изгнании, ухватилась за сладостную утеху разжигать ненависть, как бы мало пользы это ни принесло ей самой. Дочь старой Екатерины, вдохновительницы

Варфоломеевской ночи, знала с давних пор, к какой развязке, жуткой и манящей, могут в конце концов привести ненависть двора и интриги женщин. Ее игра до известной степени бескорыстна, ибо сама она ни в коем случае не будет королевой, хотя ее астрологи, понятно, сулят ей это. Напротив, она даже навлечет на себя месть короля, если с его бесценной повелительницей стрясется беда. Все равно мадам Маргарита оживает и вновь чувствует себя в гуще событий, когда поносит Габриель д'Эстре.

Габриель знала это. От природы она не была наделена тонким умом, но необыкновенная участь сделала ее проницательной. Бок о бок с великим человеком, — таков он поистине для нее одной, меж тем как другие лишь именуют его так, — бок о бок с ним она познала много чудесного. Она одна видела составные части того, что именуют величием. О величии говорят, но его не знают. У него есть лицевая сторона, она обнаруживается на полях побед, в залах, где подписываются договоры и великий человек возвещает свой эдикт. Свобода, нация, мир — для их завоевания надо показывать величие с лицевой стороны. Габриель же знала не только внешность, не только гордую осанку своего великого человека. В душе его она открывала много трогательного, много сомнительного, но вовсе не думала, что тем самым проникала за кулисы величия. В своем благородстве эта женщина сердцем чуяла, что одно вытекает из другого. Восприимчивость к правде порой бывает следствием не ума, а природных свойств.

Этой женщине он доверялся, больше он никому не доверял; и тут она часто встречала в нем голубиную чистоту, так что змеиная мудрость выпадала на ее долю.

Она предостерегала его. Однажды вечером в спальне она начала:

— Возлюбленный мой, сейчас лесья сыплется на вас со всех сторон. Сюда прибыли фламандские граждане, они хотят заверить вас, что их родина жаждет принадлежать Франции.

Генрих указал на первый из восьми больших гобеленов, покрывавших стены их общей спальни. Первый изображал рай и змея-искусителя. На этот гобелен указал Генрих, лицо его приняло знакомое ей выражение. Он сказал:

— Меня они не поймут.

— Именно эти фламандцы были искренни, — сказала Габриель. — И другие иноземцы из более дальних стран не расточают зря красноречия, а честно желают стать французами. Мой возлюбленный повелитель, вы не видите, сколь велико упование мира. Чрезмерные тяготы сделали вас равнодушным к награде, которая досталась бы вам без усилий, из чистой любви.

— Ты имеешь право так говорить. Символ всей моей борьбы — ты одна, владеть тобой — моя награда.

Она думала: «И все же в день торжества, когда он был всемогущ, он не женился на мне. Ему известны письма королевы Наваррской, и он не собирается оградить меня от ее оскорблений». Но то, что Габриель высказала вслух, гласило:

— Вы многое упускаете.

Однако этими словами она задела его за живое. Он долго шагал взад и вперед по комнате, он вспоминал то чувство, которое тревожило его в первые часы после его победоносного въезда. Упущено то, что должно быть главным. Упущенный случай, как вернуть его? Когда он обнял любимую женщину, она была бледна и холодна. Он испугался и обещал ей, что наверстает все, что близок тот день.

— Моя власть должна стать неоспоримой, за меня говорят только мои дела, без них я ничто.

Габриель пожалела, что подумала о себе. Ее великий человек не знает, кто он: поэтому он во многом беспомощен, как дитя, она должна заботиться о нем. Ее недоверие должно быть настороже за двоих.

— Сир! Вы окружены шпионами.

— А вовсе не почитателями, как я мог бы возомнить.

— Вы едва не поверили послам немецких курфюрстов, когда те обещали избрать вас римским императором.

— Едва, но не вполне. Они тоже фантазеры, вроде фламандцев, и почитают меня освободителем Европы.

— Нет. Они предатели. На случай, если бы вы согласились, доклад был уже написан. Вот он.

Генрих побледнел. На бумагу он даже не взглянул: в прекрасном лице Габриели хотел он прочесть, впервые до конца прочесть лишь ее судьбу. Вот существо, которое делит со мной опасности и отводит нож от моей груди. И в ее грудь он не должен вонзиться, я все искуплю, ты будешь королевой.

Увидев, что он бледен и полон раскаяния, она пожалела своего великого человека, который велик даже в сомнении, в слабости, в нерешительности. Он не верит в свою легенду и ничего не видит в своем величии, кроме того, что оно непростительно. «Любимый, ты не женишься на мне, каждый раз на пути встает какое-нибудь важное дело, а затем еще одно, пока все твои дела, вместе взятые, не навлекут на нас лютую ненависть и стубят и наше счастье, и нашу жизнь».

Вот о чем она думала, когда Генрих предложил ей вновь одеться. Они пойдут к мадам Екатерине Бурбонской.

— Я рад, что ты любишь ее.

В этот вечер у сестры короля совершалось протестантское богослужение. Высокая чета уже за дверями услышала пение, и Габриель хотела повернуть назад. Но Генрих удержал ее.

— Вы увидите, мадам, что произойдет.

А произошло то, что король подхватил псалом гугенотов, псалом 58-й, гимн его давних сражений.

— Явись, Господь, и дрогнет враг.

Мадам де Бофор зажала ему рот рукой, чтобы он замолчал. Неужто он считает, будто ему все дозволено, раз он великий человек? Он не понимает своего величия и злоупотребляет им.

Далее произошло то, что по окончании торжественной службы король с герцогиней де Бофор предстал перед всем двором, ибо едва разнеслась весть, что он здесь, как все поспешили сюда. Оба они предстали перед двором, и его величество громко возвестил, что брак его с герцогиней де Бофор решен и что она — будущая королева.

После чего начались коленопреклонения без числа, и одно ревностней другого.
Королевское величие изъявило свою волю. Королевское величие священо в своей
сущности, в своем божественном назначении; гораздо меньше – в своих
мирских
намерениях. Тому, что свершено, приходится покоряться, потому что иначе
нельзя;
но невыполненным обещаниям никто верить не обязан. Коленопреклонение –
это
одно, другое дело – всеобщий стговор, имеющий целью помешать его
величеству
выполнить данное им слово. Его величество не возвысит над всеми женщину,
которая всем равна, да и то не вполне. Не уроженке нашей страны быть
королевой
Франции, а чужеземной принцессе, и всем известно – какой. И его
величество
знает это; в сущности, он тоже в заговоре, так полагали мудрецы или,
вернее,
скептики, которых было гораздо меньше, чем мудрецов.

Его величество в конце концов и не желает выполнить данное слово. Это
противоречило бы благу государства – уже не говоря о том, что наш король
не
может быть до такой степени привязан ни к одной женщине. Вот о чем
шушукался
двор. Впереди – коленопреклонения, позади – шушуканье.

– Стоит ему пресытиться любовницей, как на прощание он обещает ей высшую
награду, – сказала одна дама. А другая:

– Ваша правда, мадам. Кроме того, всякому видно, что прелести прелестной
Габриели на ущербе: как раз в то время, когда все распевают песню,
сложенную в
ее честь.

– Мадам, ведь у нее уже трое детей. На ее семи чудесах красоты, в том
числе
и на знаменитом двойном подбородке, это начинает сказываться. Она
толстеет, что
всегда было не по вкусу королю.

– Сударь, ваше мнение? – спросил кто-то. – Способен великий король в
самом
деле отважиться на такой брак?

– Только у великого короля может родиться подобная мысль, – ответил
другой,
втайне принадлежавший к ордену иезуитов.

– В таком случае он стал слишком велик.

– Вернее, он слишком возвеличил королевский сан, чтобы удержаться на
высоте

своего призвания, — возразил тайный иезуит.

Менее посвященный:

— Потому-то он и дерзает вступить в такой брак.

Тайный иезуит:

— Нет, именно потому, что величие его имеет предел, он никогда не вступит в этот брак.

Как бы то ни было, король дал слово и стал настойчивее хлопотать о расторжении его брака с королевой Наваррской и перед ней, и в Риме. Если бы он тут же мог получить свободу, он сдержал бы слово: даже Габриель целое лето была в этом уверена, она ожила. День за днем наслаждалась она этим чудесным летом, которое могло оказаться для нее последним. Генрих часто приезжал к ней в Монсо, и вот что вселяло в нее особенную уверенность: он являлся к ней не просто как возлюбленный повелитель или чтобы поиграть с детьми. Он вызывал сюда министров и обсуждал, государственные дела, шагая по парку, ибо для работы всегда нуждался в просторе и воздухе; в кабинете он ничего не решал. А тут подходил к своей бесценной повелительнице, прежде чем подписать указ, на счастье клал ее руку на пергамент, а рядом ставил свое имя.

В ее парке, опираясь на нее, он предписал, чтобы никто во всем королевстве, под страхом строжайшей кары, не смел носить при себе огнестрельное оружие, включая сюда и небольшие пистолеты, которые только что вошли в употребление. Это вопрос общественной безопасности, какое дело до нее власть имущим и искателям счастья. Но все трудящиеся сословия согласны со своим королем.

Король-чудак желает, чтобы суды его были независимы от двора и от губернаторов. Судьи впредь будут несменяемы. Другое новшество: он запрещает семьям, и без того достаточно состоятельным, заключать богатые браки.

— А это значит... — сказала Габриель тихо-тихо. Даже господин де Рони не должен был слышать ее. — Сир! Это значит, что все власть имущие вашего королевства будут желать вашей смерти.

— Никто не станет желать ее, — заявил король Генрих, не понижая голоса. — Мадам, спросите господина де Рони. Он сам хлопочет о богатом союзе, его сын

должен породниться с домом Гизов. Ему я это разрешаю. К верным слугам моего государства милость моя неизменна, вот что я хочу показать всем.

Габриель сказала:

— Это ваш лучший слуга. Я ни разу не противоречила тому, что он советовал вам.

А король:

— Он это знает. Он измышляет разные смелые новшества, а я доделываю остальное. Мужество для их осуществления даете мне вы, мадам.

— Вы имеете министра, достойного вас, — сказала Габриель и ждала награды за свои слова. Рони молчал.

Генрих взглядом дал ей понять, сколь мало он ценит Рони как человека — в противоположность министру. Не широкая натура, не обращай на него внимания, бесценная повелительница. Достаточно того, что он честен и, при всем своем упорстве, послушен мне. И мне он нужен.

Это он повторил ей словами, когда они остались наедине и беседовали откровенно. Чудесное лето в парке Монсо — пускай даже последнее для нее. Габриель отдавалась настоящей минуте, слушала своего возлюбленного повелителя и не перечила ему. Она знала многое, что он обходил. Господин де Рони был в союзе с флорентийским послом против нее. Он добился для посла разрешения предложить королю свою принцессу. Что делать, к чему бороться, королю нужен его слуга. Но еще меньше склонен он утратить свое бесценное сокровище, ни на какой мешок с золотом не променяет он его. Устала ли Габриель или слишком счастлива, чтобы ненавидеть, но только в эти минуты ее врагу не нужно бояться ее.

Она слушала Генриха.

— Мой Рони таков же, как и все окружающие: в сущности, он меня осуждает. Он отважен, но не великодушен. Он всех отпугивает, без пользы для кого-либо. Деньги, которые он отнимает у могущественных разбойников, лежали бы мертвым грузом в казне, в Бастилии и так хранится золотой запас на случай войны. А народ остался бы в бедности. Господин де Рони еще не понял, что только счастливый народ составляет счастье государства.

– И счастливый король, – вставила Габриель, тихо и томно от ласкового тепла и потому, что сама она пока была счастлива, несмотря на постоянное недомогание.

Рождение третьего ребенка она перенесла тяжело, первые два дались ей легче.

Генрих кликнул их, и оба бросились к нему в объятия, рослый Цезарь и милостивая, шаловливая Екатерина-Генриетта. Генрих приласкал и расцеловал детей, затем поручил им все поцелуи передать от него их милой матери.

Он оставил их и углубился в парк; он всегда шагал размашисто, когда размышлял и был взволнован. Никто не верит, что Цезарь действительно его сын.

Даже Рони считает отцом Бельгарда, по крайней мере он дал толчок такому подозрению. «Может быть, он хочет, чтобы об этом узнал я? И без того любые

слухи сперва обходят всех, прежде чем достичь нас. Моя бесценная повелительница

без конца слышит о Медичи; но мы об этом не говорим, мы друг друга понимаем. А

я, в свою очередь, узнаю, будто я рогоносец».

Он исчез в одной из зеленеющих зал. «Пол-Европы жаждет всучить мне эту Медичи. Стоит мне согласиться, как и сам я тотчас попаду в сети вселенской

монархии. Моя победа над Испанией будет сведена к нулю, вот откуда такое рвение. И содействует этому мой лучший слуга, ибо он чтит деньги. Дай ему волю,

он затопил бы меня золотом, а сердце мое задохнулось бы в нем».

Сейчас Габриель думала о своем слуге гневно: это случилось впервые и не скоро повторится. «Рони – труженик, превосходно, как таковой, он нужен. Сидит в

арсенале и пишет, а что – и сам не понимает. Выполняет даже то, о чем говорит

«галиматья»: достаточно, если так велит государь. Моя артиллерия без него не

была бы первой в мире. Мое сельское хозяйство – его конек, как будто оно нужно

само по себе, а не для народа, как будто оно не право и собственность каждого,

кто хочет есть. Тутовые деревья для шелковичных червей он предоставляет сажать

мне самому. Я их показываю ему в моих садах, и его голубые эмалевые глаза лезут

на лоб. Я даю распоряжение, чтобы каждый церковный приход был засажен десятью

тысячами деревьев, и он повинуется. Он пишет».

– Он пишет – и про себя считает меня глупцом, из тех, у кого бывают дикие фантазии, иногда они сходят благополучно. Его счастье связано с моим; но если

бы он мог безнаказанно предать меня, он все равно никогда бы не пошел на это,

натура у него честная. Такую встретишь лишь у избранных. Поистине глупец тот,
кто стал бы требовать большего, – сказал Генрих, обращаясь к стене своей зеленеющей залы, и благодушно пожал плечами. «Никто не обязан видеть во всем –
будь то промышленность или мореходство – благо королевства и проникаться жизнью
крестьянина, солдата, ремесленника, рабочего, как своей собственной. Кто способен на это, может быть одновременно избранником по рождению и обыкновеннейшим из смертных. Таков я, и чем дальше, тем больше почитаю я мой
обычай и мои поступки естественными и при этом несовершенными».

«И так же смотрит на меня народ. Что казалось ему спорным или необычным, вскоре станет привычно и забудется. Если я сейчас вмешаюсь в толпу, то увижу,
что многие уже лучше одеваются и едят, все равно, признают они меня или нет. Во
всяком случае, они простодушно считают меня себе подобным, а большего я и не
требую. Давно ли я сказал: когда вы не будете меня видеть, вы меня полюбите.
Это было слишком дерзко или слишком скромно. Лишь она одна любит меня».

Он вышел на лужайку, голос сына звал его. Сестренка плакала в испуге;
Цезарь
взял себя в руки, как мужчина, сказал серьезно:

– Маме нехорошо.

Генрих побежал к ней. Прекрасная головка склонилась на плечо. Генрих искал
глаза, они были сомкнуты, все краски померкли, сон ее казался зловещим. У Генриха замерло сердце. Он взял ее руку, она не ответила на пожатие. Он приблизил свои полуоткрытые губы к ее губам и не уловил дыхания. Он бросился на
колени перед лежавшей без чувств женщиной и ногой натолкнулся на рамку какого-то портрета. Тотчас же ему стало ясно, что произошло. Он поспешил спрятать портрет. Меж тем маленький Цезарь принес воды, и Габриель мало-помалу
очнулась. Вздохнув, но еще не совсем придя в себя, она произнесла:

– Я хотел бы навсегда забыть то, что сделала.

– Что такое? Тебе что-то приснилось, – неясно сказал Генрих, а затем добавил
настойчивее: – Расскажи мне твой сон, я хочу успокоить тебя.

Она улыбнулась, собрала все свое мужество и погладила его по голове – теснившиеся там мысли, к несчастью, не целиком принадлежали ей, они ускользали
к нелюбимой.

– Если бы ты любил ее, ты был бы осторожнее, – сказала она у самого его

лица.

Он не стал допрашивать — кого.

— Чем я провинился? — смиренно спросил он. Она отвечала:

— Ничем, все было во мне. Сир! Я согрешила перед вами, потому что видела, как вы ведете за руку некрасивую женщину, со всей грацией и почтительностью, какая мне знакома в вас. На самом деле вы бы так не поступили.

— А какова она была из себя? — спросил он нетерпеливей, чем желал бы. После этого Габриель окончательно овладела положением, она поцеловала его в висок и сказала ласково:

— Никакой портрет не даст вам верного представления. О женщине может судить лишь женщина, хотя бы во сне. У нее топорные руки и ноги, и, несмотря на неполные двадцать лет, у нее отрастает живот. Живописцы это смягчают и всякое глупое, пошлое лицо, даже дочь менялы, наделяют девственной прелестью, наперекор природе.

В ее словах он слышал ненависть и страх. Очень неясно он сказал:

— А сам я не замечал всех этих изъянов — в твоём сне?

— Вероятно, все же замечали, мой бесценный повелитель, — ответила Габриель. — Я видела, что ваша изысканная любезность была, в сущности, притворной. Но тут появился сапожник Цамет.

— И он тоже участвует в твоих снах?

— И не один: десятеро Цаметов, и каждый из сапожников нес мешок, под тяжестью которого стибался до земли. Все снизу косились на меня, и лица у всех были черномазые, а носы горбатые.

— Что же сделал я? Дал пинка каждому из десятерых?

— Боюсь, что нет. Боюсь очень, что вы до тех пор водили некрасивую женщину перед какими-то раскрытыми дверями, пока все мешки не очутились внутри.

— А потом?

— Конца я не видела, вы разбудили меня.

— Ты никогда его не увидишь, — пылко обещал он и поцеловал ее опущенные веки; единственное средство против твоих дурных снов, прелестная Габриель.

Величие, как его толкуют

Король раньше герцогини де Бофор покинул уединение, у себя в Лувре он произвел смотр двору. Дворянам, которые жаловались ему на обнищание своих поместий, он напрямик заявил, что на его щедрость им рассчитывать нечего.

Лучше

им воротиться в свои провинции, чем просиживать лари у него в приемной. Труднее всего пришлось ему с его земляками, гасконцами. Они полагали, что раз

свой человек сидит на престоле, значит, тужить им не о чем. Один из них светил

Генриху, когда тот читал письмо своей возлюбленной. Гасконец мог бы читать

тоже, но он отворотился, чуть не свернув себе шею. За это он получил от растроганного земляка обещание, которое не было выполнено. Всем пришлось под

конец признать, что ни хитростью, ни дерзостью ничего не добьешься у короля,

который долго был беден и знает цену деньгам. Стоило ему забыть ее, как он

принимался выспрашивать людей в толчее улиц, пока не узнавал, что можно получить за су и легко ли заработать его.

Тяжкие обвинения: во-первых, ничего не раздаривает, а затем — слишком много

знает. Представителям духовенства, когда те явились с жалобой на его Нантский

эдикт, он ответил перечнем их беззаконий, в которых он, разумеется, винил не

их, а лишь обстоятельства. Если же они согласны действовать с ним заодно, тогда

он восстановит церковь в ее прежнем блеске, сделает ее такой же, какой она была

сто лет назад. Они думали: «А разве тогда не было беззаконий?» То же думал и

король.

Сурово обходился он с буржуазией, которая захватывала государственные должности в целях обогащения. Еще суровее с судьями, которые толковали право в

пользу богачей. Бордоским судьям он бросил прямо в лицо: у них дело выигрывают

лишь самые тугие кошельки. А ведь своих законоведов он любил когда-то и отличал

перед всеми. С тех пор его королевство стало великим сверх ожидания — благодаря

ему самому. Если же теперь самоотверженные люди превращались в корыстных, а

честные даже в подкупных, то вина, собственно, падала на него самого, отсюда и

его гнев. Как-то на охоте он один, никем не uznанный, попал в харчевню, там для

скромно одетого кавалера еды не оказалось. Судейские чиновники, пировавшие наверху, передали через слугу, что не желают принять его в компанию, хотя незнакомец и вызвался заплатить за свой обед. Он приказал привести их вниз и высечь, — новость со стороны короля, который обычно ко всему относился легко и любил посмеяться.

Из тех, кто замечал разительную перемену в короле, одни говорили, что он неблагодарен. Другие находили, что он слишком заносится и берется за все сразу. К чему учреждать суконные, стекольные и зеркальные мануфактуры, когда он и без того совсем помешался на своих шелковичных червях. Ради королевских червей и затей расходуются деньги, мало того, избыток шелка распределяется среди простонародья: в шелку ходят трактирные служанки — тем скорее, чем хуже слава трактира и служанок. Однажды вечером королю был преподан урок.

Он сидел у себя в комнате за карточным столом, ибо, к несчастью, за игрой он тоже неумомим, невзирая на постоянный проигрыш, так как мысли его по большей части заняты другим. Комната была полна людей, многие, стоя позади короля, смотрели к нему в карты. Карты у него были плохие и не давали повода для радости. Он же, смеясь, выкрикнул свое обычное проклятие, швырнул на стол свои карты, вскочил и сказал:

— Здесь в Лувре у меня есть мастер, который делает их без шва.

Что это он? О чем он? Все скоро выяснилось. Король поставил ногу на стул, провел рукой по шелковому чулку и показал тем, кто усердно гнул спину, что ткань совершенно гладкая. Все дивились такому мастерству и восхваляли короля, словно изобретателем был он сам.

— У кого есть что-нибудь получше? — спросил он. — Мои подданные должны созидать и быть плодовитыми. Господин начальник артиллерии, у вас, кажется, что-то есть?

Это была попросту слива. Рони показал ее и объяснил своему государю, что ее долго выращивали на Луаре, подле замка Сялли, пока она не приобрела новый, желто-красный цвет и необычайную сладость. Крестьяне той местности называли ее сливой Рони. А так как теперь другие села и деревни разводили ее и происхождение ее было забыто, слива стала называться Руни.

— Ибо народ коверкает имена, — сказал начальник артиллерии.

— Правильным или исковерканным, — возразил ему король Генрих, — но ваше имя веками будет жить в народе — в образе сливы, — иронически заключил он. И тут же торопливо сунул под стол ноги в шелковых чулках без шва и сделал вид, будто всецело занят игрой. Однако урок он получил.

Все решили, что этот урок наряду с другими заставит его усомниться в своих безрассудных новшествах. Уволенные солдаты становились грозой проезжих дорог, попадали в тюрьмы либо превращались в убогих нищих. Видеть, как его солдаты ходят с протянутой рукой, — такое зрелище должно бы больше смутить всякого короля, чем если бы они грабили крестьян или приканчивали на перекрестке откормленного горожанина. А этот король требовал, чтобы они работали и помогали ему расширять его промышленность. Он заботился единственно о благосостоянии трудящихся сословий. Крайне предосудительное благосостояние, — оно делало людей заносчивыми и в корне изменяло взаимоотношения между бедным и богатым, знатным и безродным. Смирение, подобающее простолюдину, было позабыто. На рукоприкладство, которое считалось обязательным правилом обращения придворного кавалера с ремесленником, тот отвечал кулаками. Когда к нему посылали дюжину слуг, он выходил навстречу с сыновьями и подмастерьями, что тоже составляло дюжину. Но из кухни шел жирный дух, и голодные слуги, вместо враждебных действий, подсаживались к столу суконщика. Вот каковы плоды непозволительной склонности делать людей счастливее, меж тем как им полезна именно скудость, поддерживающая повиновение и порядок.

Кто привык, чтобы мирской порядок, так же как божественный, существовал ради себя самого, а не во имя счастья людей, тот, вероятно, видит во владычестве короля Генриха явление антихриста. Прежде всего такой человек порицает это владычество ввиду его последствий для общества. Не всякий порицает все последствия целиком, ибо одни подходят мне, другие тебе: мы по-разному смотрим на них. А некоторые не приносят пользы никому, только стоят нам денег. Почтенные люди неодобрительно смотрели, как для их же собственных ремесел обстраивалась Королевская площадь. Еще больше осуждали они затею короля —

послать суда в другое полушарие, — к чему это? Ради золота, воображаемого золота из стран, которые на карте остаются белым пятном, так они неизведанны, холодны, пустынно и чужды по своим свойствам? Мы никогда в глаза не увидим этого золота, и король тоже его не увидит.

Некий господин де Бассомпьер, любопытный от природы, отправился в трактир, где многочисленные посетители обсуждали общественные дела. В нем не узнали придворного кавалера; он назвался иностранцем. Тут он услышал истинное мнение почтенных людей, не считая того, что присовокупили менее почтенные. Через некоторое время Бассомпьер заметил:

— Я сам побывал в тех странах, что остались белым пятном.

Получив приглашение подсесть поближе, он спросил, верные ли ходят слухи:

— Король Франции будто бы выбрал самые холодные части Нового Света, чтобы переселить вас туда?

Он сказал это не с целью опорочить перед ними короля, а просто чтобы услышать глас народа и затем блеснуть при дворе своими сведениями. Кстати, он никогда не бывал в далекой Индии и даже не плавал по морю.

Почтенные горожане за столом предусмотрительно сдержали возмущение, хотя оно было бы вполне уместно. Пьянчужка, который пил кислое вино и рукава у него были в заплатах, тот заранее не соглашался, чтобы его с женой и шестью детьми погрузили на корабль. Со всяческими лишениями, так кричал он, он платит королю то, что полагается. Не хватает еще, чтобы королевское судно высадило его с семьей на краю пустыни, а затем преспокойно уплыло прочь.

Любопытный кавалер старался получше выпытать мнение людей. Именно в самой холодной Индии находятся золотиносные копи, в чем он воочию убедился, утверждал он; они доверху наполнены золотом. В ответ на явное недоверие он сослался на Испанию, которая всем своим могуществом обязана сокровищам Перу, без них она никогда не посягнула бы на это королевство, вашу родину.

— Зато наш король Генрих разбил испанцев, никакие богатства всех Индий, о которых вы толкуете, не помогли им. — Это сказал степенный мужчина в кожаном переднике дубильщика — Король — друг честного труда, это я сам испытал на себе. Он не станет посылать в дальние страны проходимцев, чтобы они загребали

незаработанное золото.

На одном конце стола пиршествовал судейский писарь, утром он получил взятку от одной из сторон, а вечером проедал ее. И без того красный, от гнева он совсем побагровел и зарычал:

— Лучше уж этим голодранцам убивать там дикарей, чем подкарауливать нас у дверей наших домов.

На самом деле у писаря своего дома не было, тем ретивее защищал он собственность. Многие согласились с ним. Любопытный, наслушавшись достаточно, собрался встать и уйти. Но при разговоре присутствовал, не принимая в нем участия, какой-то человек, он сидел на скамье у стены и что-то чертил на листе бумаги. Теперь, когда он выступил на свет, обнаружилось, что он стар. Сильно поношенная одежда, казалось, пострадала не на черной работе, да и фигура осталась стройной. На лице обозначались черты, накладываемые учением и знанием, но люди, которые работают руками, часто принимают их за следы скорби.

— Господин де Бассомпьер, — обратился он к любопытному. — Вы тоже именуете себя мореплавателем, посему я осмеливаюсь предположить, что мое имя вам знакомо. Я — Марк Лескарбо [72. — Марк Лескарбо (род. ок. 1580 г. — умер ок. 1630 г.) — адвокат, литератор и путешественник, в 1604 г. совершивший поездку в Новую Францию (Канаду) и написавший «Историю Новой Франции».] .

Тот, к кому он обратился, был очень смущен, ибо в самом деле слышал об этом человеке. Безо всякого злого умысла он ответил:

— Вы из приближенных адмирала Колиньи.

Люди за столом переглянулись. Протестант!

— Я действительно был в числе первых французов, которые отправились в Новую Францию, — сказал тот. — Так зовется северное побережье Америки с тех пор, как мы ступили на него. Это страна, где берега тянутся на тысячи миль, за ними материк, и мы обследовали его. В беглом наброске, который я сделал при скудном свете, обозначены богатства недр, рыбная ловля, охота на пушного зверя и плодородные земли, наряду с климатом различных времен года. Немного осталось белых пятен на моей карте. Я даю ее тем, кому она незнакома и кто никогда не предпринимал путешествия в холодную Индию, хотя она вовсе не холодна.

Человек, назвавшийся Лескарбо, положил бумагу на стол, а сам не спускал глаз с придворного. Пока посетители перешептывались над картой, Бассомпьер тихонько попросил:

— Не ставьте меня в неловкое положение за то, что я солгал. Я хотел лишь допытаться, что думают люди, и сообщить королю, ибо ему надо это знать.

— Однако, — возразил Лескарбо, — важнее было бы людям знать, что думает король.

Придворный держался почтительно, даже смиренно.

— Этим никто не может похвалиться. Великий король лучше постигает все «за» и «против», чем это доступно нашему пониманию. Его величество выслушал вас. Не отрицайте, — сказал он, когда собеседник сделал уклончивый жест, — Иначе я вас уличу во лжи, как вы меня. Его величество выслушал вас, а затем благосклонно внял и своему министру.

— Прославленному господину де Сюлли. — Это имя Марк Лескарбо произнес иначе, чем все другие слова.

В тоне слышались горечь, ненависть, духовная рознь, которая глубже всякой личной. «Отчего он далее не думает притворяться?» — спрашивал себя Бассомпьер. Его чувства к Рони обнаруживаются во всей наготе, и лицо ученого разом становится лицом каннибала.

— Прославлен, влиятелен, без него не обойтись, — беспечно бросил Бассомпьер. Старик, много повидавший на своем веку, оставил придворного и обратился к посетителям харчевни, изучавшим его карту. Им он принялся описывать Северную Америку с таким жаром, с таким необузданным рвением, что им казалось, будто они на ярмарке и, раскрыв рты, слушают, как лекарь-шарлатан выхваляет свои чудодейственные снадобья.

— Во что это обойдется? — спрашивали многие. — Снарядить корабли и отправить за золотом? А если флот погибнет?

— Не погибнет, — решил незнакомец, который побледнел от воодушевления и оттого стал еще подозрительнее. — А главное, выкиньте вы из головы золото. Вы рассуждаете как тупоумный министр, его трогают только богатства, которые блестят. Но благословенны лишь те богатства, какими природа награждает наши

труды. Я признаю лишь те золотые россыпи, что зовутся хлеб, вино и корм для скота. Если у меня будут они, то будут и деньги.

Слушатели призадумались. Одежда на нем поношенная. Значит, он не привез еще корма для скота из холодной Индии. Тем не менее один из сидевших за столом откашлялся, это был дубильщик, он сказал:

— Король Генрих не станет посылать проходимцев в дальние страны, я знаю его, он помогал мне в моей собственной мастерской, как всем известно. Если вы ему докажете, что работа там — дело стоящее, тогда он на все пойдет.

— Стакан вина! — крикнул Лескарбо, мореплаватель из времен адмирала. — Я еще трезв. Мне нужно чокнуться с дубильщиком.

Он залпом выпил стакан. Потом сел и заговорил, доверчиво заглядывая в лица гостям.

— Король желает этого, — сказал он. — Тут, как и во многих других делах, он кладет начало тому, что наметил себе в юности. Никакой министр не отпугнет его, сколько бы ни толковал ему, что выше сорокового градуса ничего не родится и не созревает. Король знает одно: там родятся люди. Они дикари и не ведают христианского учения, тем нужнее нам поехать туда и спасти их — под угрозой погибнуть самим. Ибо и там, и здесь живут люди, и они заслуживают того, чтобы мы даже погибли за них. Вы слышите меня?

Чем сосредоточенней они внимали ему, тем настойчивее спрашивал он. Один из сидевших за столом подпер голову обеими руками и, широко раскрыв глаза, всматривался во что-то далекое.

— Я слышу, — прошептал он, не шевеля губами. В полной тишине Лескарбо продолжал говорить:

— Здесь есть люди, которые не находят себе дела и не едят досыта, — это уволенные солдаты и безработные ремесленники. Даже многие из наших прославленных на весь мир суконных фабрик еще бездействуют.

— Кому вы это говорите? — прошептал гость, подперший голову руками.

— И там живут люди, они не знают ремесел и почти не обрабатывают земли. —
К

тому же они язычники. И ради них нам следует пуститься в море. Людям, которые живут там, и людям, которые живут здесь, наш король одинаково придет на помощь, если мы пустимся в море. В те времена, когда он звался Наварра и был гугенотом, он вопрошал вместе со всеми нами: смеем ли мы заполнить те страны, что стали именоваться Новой Францией после того, как мы приплыли к ним, смеем ли мы ограбить их обитателей? Нет. Напротив, мы должны заслужить их дружбу и постараться, чтобы они стали подобны нам. Мы и в мыслях не имеем истреблять их, как поступают с отдаленными народами испанцы. Мы следуем закону жалости и милосердия, по слову нашего спасителя: «Придите ко мне все страждущие и обремененные». Я успокою вас, а не истреблю, — такова воля Господа, и она же направляла нашего короля.

Полная тишина и озадаченные лица — всякий раз трудно поверить, что действовать надлежит согласно закону человечности, а именно так хочет действовать король. У гостя, который подпер голову руками, взгляд застилал слезы, тем лучше видел его внутреннее око. Перед ним встал мост под потоками ливня, парашет, он сам наполовину уже по ту сторону, вот он скользит и сейчас сорвется. Кто-то рванул его назад. А раньше никого видно не было; и вместо одиночества, которое он считал бесповоротным, кто-то возвращает его в жизнь. Прикрывает его наготу своим плащом, велит солдату проводить его в больницу, велит лечить его, дает ему работу, и пропащий студент богословия превращается в суконщика, сидящего здесь, в одного из возрожденных суконщиков, их много на фабриках, которые теперь пущены в ход.

Бывший самоубийца хочет говорить, впервые его тянет поделиться тем, что он знает. До сих пор это казалось ему малопочетным и не особенно примечательным. Внезапно перед ним возникает целый мир, полный свершений, и ему довелось заглянуть туда. Он запинается, преодолевает волнение, он говорит. Обращается он к судейскому писцу, неизвестно почему он выбрал его. Подкупленный и откормленный писец сам недоумевает, почему слушает с таким благоговением. Разве это судебный процесс и дело идет о больших деньгах?

Марк Лескарбо достиг своей цели и потихоньку удалился. За ним следом господин де Бассомпьер, он решил ни на шаг не отставать от этого влиятельного человека. Теперь уже нет сомнений в том, как решил король. Королевский

наместник для Новой Франции назначен и будет торжественно введен в должность.
Следующее действие на тему о колониях будет разыграно в пышной обстановке двора, любопытный заранее представляет себе все. Предыдущее действие имело место в харчевне, среди народа, а отсюда вытекает заключительное.
Любопытному повезло, что он при сем присутствовал.

Уходящих задержали ввалившиеся в харчевню музыканты: скрипач, арфист и певец, — здесь они нашли в сборе всех, кто имел уши: придворного, мореплавателя и ученого, оседлых горожан, почтенного, менее почтенного, совсем ненадежного, а также тех, что крали, и тех, кого спасли. И перед всем народом прозвучало: «Прелестной Габриели».

Величие, как оно есть

Король Генрих весь с головы до пят в отливающей серебром стали. Он стоит на возвышении подле трона, с которого свисает его пурпурная мантия. Над ним, алея, парит балдахин, свободно парит посреди залы, не поддерживаемый ничем. Белая стена воздвигнутого трона, узкая и гладкая, устремлена ввысь, золотая лилия на верхушке ее теряется под красным небосводом. У белой стены этого сооружения, не то часовни, не то трона, поверхность почти зеркальная. Она отбрасывает отражение величия. Ни величия на его уединенной возвышенности, ни его отблеска не видит человеческий глаз, ибо все спины до сих пор согнуты.

Габриель д'Эстре склоняется в долгом и низком поклоне. Из тех, кто воздаст почести королевскому величию, она ближе всего к трону. Впереди и позади него, посреди галереи, которой нет конца, трону поклоняется небольшое скопище смиренных плеч и лиц. Трон посредине, она же ближе всех к нему. Пока она еще падает ниц перед королевским величием, но вскоре сама поднимется по ступеням трона, коннетабль и начальник артиллерии поведут ее. Они потом вернуться и останутся внизу со всеми прочими. А Габриель д'Эстре беспримерно возвысится и над собой будет иметь одно лишь королевское величие. У ног его величества, на краю воздвигнутого трона будет она сидеть, но край ее платья должен свешиваться со ступеней в знак того, что она королева и все же не вполне королева.

Склоненное чело ее вопрошает: «Когда?» Она думает: «Скоро, в следующий раз или же сегодня, сейчас, ах, нет, никогда!»

Ее платье из белого шелка отликает серебром, как панцирь короля. Платье королевы будет из алого бархата, светло-алого, цвета сырого мяса.

Габриель

решает сшить его на всякий случай. Ее возлюбленный повелитель — она чувствует

это — протягивает ей сейчас руку, чтобы привлечь ее к себе. Она поднимает глаза: нет, его величество даже пальцем, даже суставом пальца не шевелит, чтобы

позвать ее. Его взгляд обращен вдаль, за пределы этой залы, поверх скопища

придворных и народа, который вливается в залу.

Во все двери вливается народ, ибо они отворены для него. Падает на колени,

на коленях ползет к алтарю величия, которое высится над согбенными спинами,

храня свой облик. Габриель думает: «Храни свой облик, возлюбленный, под панцирем я знаю твоё тело, крепкое тело, покрытое рубцами, сохранившее молодость, но подверженное болезням. Я много холила его, много любила».

Она едва не забыла свою роль. Коннетабль и начальник артиллерии берут ее за

обе руки и ведут вверх по ступеням к предназначенному ей креслу у края трона.

Она садится, ее платье свешивается на две ступеньки. Его величество меняет

положение ног, судорожно раскрывает глаза и хранит свой облик.

Коннетабль и начальник артиллерии вернулись на свои места. Это знак для всех

прочих выпрямиться и разбиться на заранее намеченные группы. Ступенькой ниже

Габриели садится мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля. Это самая широкая

из ступеней, ее платье не свешивается совсем. Еще ниже, так, чтобы не заслонить

высокопоставленных дам, стоят канцлер, коннетабль и начальник артиллерии.

Слева

от королевского величества, которое отделено от всех пустыми ступенями трона,

такими пустыми и недостижимыми, что пробирает дрожь, решительно становятся

какие-то невзрачные фигуры. Почему-то им отпущено слишком много места.

Двор располагается, как установлено, — тут дамы, там кавалеры, те и другие,

в зависимости от ранга и заслуг, ближе к трону или дальше от него.

Принцессы,

маршалы и судьи, королевские принцы вместе с маленьким Вандомом — все они стоят

впереди, куда падает свет. Занавеси улавливают его. Хитроумно
расположенные
стекла усиливают его. А самый лик бога солнца обращен к трону. Там, куда
не
достигают его лучи, направленные на одно лишь величество, расплываются
человеческие силуэты заднего плана. У самой отдаленной фигуры выступает
белым
пятном плечо, а от другой, целиком расплывшейся, уцелел только горбатый
нос.
Чем дальше в глубину, тем краски и очертания бледнее и, наконец, совсем
стираются. Но и передние фигуры подернуты серой дымкой, если только на их
лица
или контуры не падает отблеск королевского величия. Лик бога солнца
обращен к
одному лишь трону.

Вследствие божественного и человеческого предопределения середина залы
становится как бы источником света, явленное величие собирает его на себе
и
отбрасывает лишь разрозненные отсветы. Если оно и спит, то более всех
ослеплено само величество. Тщетно вздергивает оно брови и раскрывает
глаза. Вне
его собственного сияния различные степени тьмы остаются непроницаемыми.
Оно
пронизывает их лучами, но не видит их. Мягкий шорох в глубине темного
провала
позволяет его величеству угадывать коленапреклоненный народ. В мозгу
Генриха,
за наболевшими глазами, мелькает мысль: «Что за безумие! Разве этого я
желал?»

Настало время для его величества отрешиться от неподвижности и сделать
положенный жест. Старик канцлер протягивает к нему навстречу пергамент с
привязанной печатью. Генрих берет его; при этом он успевает приказать,
чтобы
волшебство прекратилось.

— Притушить! — шепчет он.

Хитроумно расположенные стекла отодвигаются, занавеси опускаются, живая
действительность снова становится видна. Внимание! Первый взгляд короля
отыскивает посредине длинной стены нишу, а за ее балюстрадой — мольберт,
скрывающий художника. Оттуда выглядывает его юное лицо, он кивает. Его
величество может не тревожиться. Его образ запечатлен опытным глазом,
уверенная, быстрая рука не упустила тех минут, когда король, который во
всем
мире зовется великим, отделился от мира и был воплощенным величием.
Художник
улыбается, благо станок скрывает его.

Теперь король говорит. Он свернул пергамент и упирается им в свое
серебряное
бедро. Другая рука указывает на самых дальних его слушателей, которые до
сих

пор стояли на коленях. По знаку короля они поднимаются с земли, и шум, который производят их подошвы, еще тише недавнего шороха скользящих колен. Они слушают.
Король говорит с трона.

— Здесь есть люди, которые не находят себе дела и не едят досыта, — это уволенные солдаты и безработные ремесленники. А в Новой Франции люди не знают никаких ремесел, почти не обрабатывают землю и не ведают спасения души. Ради этих и ради тех людей нам следует пуститься в море.

Теперь король обращает свою речь к невзрачным фигурам, которые стоят необычайно близко к трону. Надо иметь в виду, что до него то же самое говорил в харчевне один примечательный гость. Именно этого гостя мы вновь находим сегодня у самых ступеней трона в числе прочих невзрачных фигур, из которых первая — пожилой адмирал. Отнюдь не расфранченный морской герой, а обветренный непогодой адмирал, снаряженный так, чтобы осуществлять королевские начинания, крепкий духом и телом. Вскоре эти качества понадобятся и ему, и его спутникам. И Марк Лескарбо, чья одежда потрепана, а лицо сурово, и кучка остальных мореплавателей — все они готовы и снаряжены, чтобы тотчас же вступить на корабль для неверного плавания сквозь туманы и бури. Кто не погибнет, тот увидит Новую Францию.

— Смеем ли мы заполнить те страны, что именуются Новой Францией, и отнять их у исконных обитателей?

Нет. Напротив, мы должны заслужить дружбу этих людей, чтобы они стали подобны нам. Мы и в мыслях не имеем истреблять отдаленные народы. Я успокою вас, сказал Господь. Он не сказал: я истреблю вас; а его воля также и воля вашего короля.

Слова стары, смысл их свят, чего никто не отрицает, и они подобают королю. Однако колонии по-прежнему остаются опасной затеей: может, удастся, а может, нет. Каков, по всей вероятности, будет исход? Обломки многих кораблей и пустынный остров, а на нем несколько спасшихся от крушения. «Галиматья», — думает господин де Рони-Сюлли, он смотрит в пространство поверх тех, кто никогда не вернется с золотом.

Как раз напротив него Марк Лескарбо вспоминает старых

мореплавателей-гугенотов и одного канцлера былой Наварры. Тот первый считал колонизацию долгом гуманизма. Ему принадлежат слова, которые мы бережно хранили оба, и теперь каждый из нас извлекает эти слова из своего верного сердца. Я вновь несу их людям, он же произносит их с высоты трона. За это время мы успели поседеть. Долог путь до Новой Франции – так сказал бы человек, который пал бы духом. Когда посмотришь назад, еще длиннее кажется расстояние, которое предстоит пройти.

Король поднимает пергамент с привешенной печатью и протягивает адмиралу, но держит его недостаточно низко, чтобы тот мог дотянуться до него. Король возвещает во всеуслышание:

– Я назначаю маркиза де ла Роша моим генеральным наместником в странах Канада, Ньюфаундленд, Лабрадор..

Он перечисляет еще много названий. Мореплавателям они привычны, да и на площадях за последнее время можно было их слышать и читать на глобусах. Глобусы разукрашены картинками, морскими чудовищами, божествами, нимфами, каннибалами и невиданными животными, иногда страшными и всегда диковинными.

Поддавшись обаянию, каким обладают сказки, кое-кто из народа решает поверить королю и отправиться в неведомые страны с его наместником. Они здесь, они проталкиваются вперед. Пустите! Нам нужно к королю. Правда, душа у них уходит в пятки, но не из-за нимф или людоедов, а скорее оттого, что с каждым шагом трон становится к ним ближе.

И король сам спускается к ним. Адмиралу он попросту сует торжественное назначение за пазуху и целует его в обе щеки. Затем он подходит к добровольным колонистам, которые верят ему, но, может статься, умрут от цинги или будут выброшены кораблекрушением на пустынные острова. Он предостерегает их громким голосом – еще есть время разойтись по домам. Но никто не поворачивает назад, во всяком случае, сейчас, когда говорит король и кладет руку на плечо тебе и мне.

Сперва за пределами толпы, которой он окружен, еще слышны его уговоры и добрые пожелания. Затем он понижает голос, после чего следует взрыв веселья среди окружающих. Придворные переглядываются. Всякий знает его ухватки. Должно быть, какой-нибудь юнец поведал ему, что едет из-за нимф, а король способен

заранее так расписать их, что у того глаза разгорятся. Веселье охватывает всех.

Многие расхрабрились до того, что прикасаются к трону, они хотят на счастье дотронуться хоть пальцами, если не седалищем, до последней его ступени. Король тем временем куда-то скрылся.

Где он? Его ищут, расставленный в строгом порядке двор приходит в замешательство. Кроме него, исчезла и герцогиня де Бофор вместе с мадам Екатериной Бурбонской, сестрой короля. Ступенькой ниже покинутого ею места находят лишь пажа, который в непоколебимом сознании долга держит на весу тяжелый шлем короля, разверстую львиную пасть. Его допрашивают, он молчит. Самый любопытный из кавалеров говорит ему на ухо:

— Дружок Сабле, ответь же. Он наверху у художника? Даже я недосмотрел, ты один все видел. Немой Гийом! Что ж ты молчишь?

Паж нахлобучивает на любопытного шлем, у того мутится в голове.

В тот миг, когда Генрих вошел в верхнюю комнату, Петер Пауль Рубенс торопливо накладывал краски на свои наброски углем. Это были беспорядочные пятна, какие бросало солнце на картину в натуре, когда разрезало своими лучами фигуры и стирало четкие очертания, пока они не становились игрой света. Живописец запечатлел на бумаге все подробности происходившего: короля на троне, короля, который говорит, который сзывает свой народ и спускается в толпу. У себя, в расположенной высоко нише, художник видел то, что ускользнуло от всех: короля в толпе его мореплавателей и будущих колонистов, когда он стоял среди них, положив руку на плечо юноши, который в самозабвении закрыл глаза. Художник позволил себе позабыть о хохоте, хотя он и был достаточно громким. Просто люди вокруг короля так дивились, что у многих сам собой раскрывался рот.

Король действительно заслуживал удивления, видно было, что он уверен в себе, как может быть уверен лишь мореплаватель, который знать не желает о крушениях; но губа искривлена, вследствие удара ножом, и брови мучительно вздернуты, над правой вьется морщинка.

Генрих говорил:

— Это было совсем иначе. И все же это верно. Господин Рубенс, я спрячу этот

лист и не позволю вам так изобразить мое лицо на настоящей картине. Европейским дворам не годится видеть его таким.

— Сир! Дворы, которые призывают меня, получают от меня то, что им угодно видеть — один лишь внешний свой облик. Не везде полезно выворачивать наружу нутро.

Так беззаботно рассуждал юный Рубенс. Светло и подкупающе глядел он на этого великого короля, чей образ был уже запечатлен им, только он решил довести сходство до неправдоподобия.

Генрих:

— Вы собирались сделать из меня скорбного человека.

Рубенс:

— Не совсем так, сир. Любимца богов, которому они немало досаждают. Но в его многострадальные черты они вложили свое извечное веселье.

Генрих:

— Должно быть, общение с дворами научило вас искусно говорить. Обычно вы, фламандцы, не речисты; забавная у вас работа, господин художник. Распоряжаетесь людьми как вам угодно, да? Изображаете по их подобию то, чем они кажутся, но под шумок показываете в картине, каково там, под наружной оболочкой. Вот у вас еще гладкий лоб и белокурая борода, а вы наизусть знаете строение нашего тела. И я, когда был молод, любил штудировать анатомический атлас.

Король сделал жест, означавший, что в трудах своих он руководствовался прилежным изучением человеческой природы. После этого оба умолкли. Они стояли под окном, куда падал холодный свет. В комнате ничего не было, кроме стола с набросками. Они не замечали ни набросков, ни друг друга.

Дверь растворилась, впустив герцогиню де Бофор и мадам Екатерину Бурбонскую. Рубенс отвесил придворный поклон. Когда вошел король, он избавил от этого и его, и себя. Генрих представил художника.

— Это господин Рубенс, он уже познал славу, она же возвышает художника над государями. Только господин Рубенс не ронял кисти, и мне нечего было поднимать.

— Сир! — сказала сестра короля. — Мы жаждем увидеть ваш трон.

Художник сказал, почтительно склонившись:

— Мадам, вы знаете его лучше, чем я. Вы сами сидели подле короля.

Генрих ответил:

— Вот видите, господин Рубенс. Мадам поверит в свое и мое величие лишь после того, как вы изобразите его на картине.

Габриель кончиками пальцев перебирала рисунки. От нее не ускользнуло, что при ее появлении художник перевернул и прикрыл один из листов. Он внимательно следил за ее пальцами, он не знал: можно ли показать ей этот рисунок? «Благодарнее было бы сохранить его для себя, изменить лица и сказать, что это эпизод из античных мифов. Я напишу картину в пять футов высотой, в четыре шириной. Это будет просто моя картина, и больше ничего».

Но Габриель не натолкнулась на картину, которую художник перевернул и запрятал, она извлекла лишь наброски отдельных фигур. И самую первую с длинной и вогнутой спиной она узнала даже раньше, чем увидела каменный профиль. Она испугалась, лист упал ей на ногу. Генрих оказался, проворней художника — поднял его и поцеловал бесценную повелительницу, а потом зашептал ей на ухо:

— Вы правы. Здесь он страшилище. Полюбуйтесь лучше на себя в еще более прекрасном образе, если это возможно.

Мадам Екатерина Бурбонская сделала удачную находку и показала герцогине, чтобы ее утешить, собственную ее особу, схваченную во всем великолепии форм: тона тела слегка намечены, отлив шелка тоже. Вот восседает прелестная Габриель, уже сильно располневшая, если правду сказать, но тем более достойная престола; несколько ниже ее — Катрин. «Но паж! — увидела Катрин и ужаснулась. — Он стоит на ступени между нами обеими, держит на весу шлем — разверстую львиную пасть, и лицом подобен моему брату, когда он был молод. Что это взбрело на ум художнику? Лишь бы не заметила Габриель! Нет, она не может заметить. То время, когда мы были молоды, принадлежит лишь мне, и это лицо знаю я одна».

Больше Катрин не пожелала ничего видеть и напомнила, что пора уходить. Король взял руку своей возлюбленной, они собрались удалиться. У Рубенса вырвалось против воли:

— Я покажу вам еще кое-что.

Он подразумевал то, что намеревался, собственно, сохранить для себя, — моя картина, и больше ничего.

— В самом деле, — сказал король. — Вы показываете нам отдельные наброски. Где же общий вид?

Тогда Рубенс достал лист, который раньше перевернул и запрятал, теперь он расправил и растянул его в руках. Катрин достаточно насмотрелась всего, ей хотелось уйти, она мечтала в одиночестве вернуться мыслями к прошлому. Ибо что ждет ее в будущем? Она чувствовала, как надвигается грусть, которая часто посещала ее теперь и почиталась ею предзнаменованием недолгой жизни.

Генрих и Габриель держались за руки, ноги у обоих приросли к полу. Они были точно зачарованы, не могли сдвинуться с места и только вытягивали шеи.

Трон, белое пятно, посредине контур королевского величества, стертый ослепительным светом, но тысячи невесомых лучей принимают определенные формы. Это ангелы и амур, их сплоченный полет, сияющий полукруг их сплетенных тел, их неземное ликование, их неумирающий поток. Королевское величество — полустертый контур, широко раскрытые глаза ничего не видят, ни человеческих теней под ним, ни потока ангелов и амуров. Но у края трона сидит женщина, божественное сияние сошло с нее одежды, она нага. Во всем великолепии, во всей благодати выступает плоть женщины оттого, что над ней на троне высится владыка света, хоть и стертый собственным слепящим блеском.

Генрих заговорил:

— Как это сильно! Много, слишком много света, и нас совсем не видно, мы стерты. Вы должны написать эту картину, и я буду часто смотреть на нее, чтобы стать смиренным. Вот мы что — и больше ничего.

Рубенс сказал смущенно:

— Я вовсе не думал о смирении. Я назвал это величием.

Габриель, охваченная беспокойством, соблазном покаяться и унизиться, как ее возлюбленный повелитель:

— С женщины совлечена ее гордыня, а потому она нага. Не во славу пышной плоти, ибо плоть обречена тлению. Я вижу и готова присягнуть, что она стигает

колени и хочет пасть ниц перед возвышающимся над ней величием.

При этом она разволновалась до крайности. Сознавая, как опасно ее положение, эта женщина превращала прекраснейшую картину в страшную – отчего лицо ее выразило неприкрытый ужас.

Генрих увлек ее прочь. Художник хотел спрятать картину. Но она протянула к ней руку.

— Это мое тело, — сказала она совсем не своим, страдальчески надломленным голосом. — Значит, есть человек, кроме меня, который изучил его. Кто знает каждый изгиб моей плоти, наверное может сказать, что станется со мной, ведь он астролог.

— Не астролог — анатом! — воскликнул Генрих. Слишком поздно — Габриель бросилась к нему на грудь, содрогаясь. Она увидела, как живая плоть истлевает на ее изображении. У края трона, так и не достигнув его середины, сидел скелет.

Габриель о спасении своей жизни

Осенью этого года состоялись крестины Александра, носившего титул Monsieur; празднества были невиданной пышности. Двор мог убедиться, что после двух первых детей бесценная повелительница шагнула слишком далеко вперед, превысив допустимую меру, и пора уготовать ей конец. Иначе говоря, хорошо бы найти ей замену. Такой совет подала мадам де Сагонн, она же вызвалась подыскать новый предмет. Красавица, которую подобрали в согласии со вкусами его величества, была, разумеется, новинкой при дворе, юна, как Ева в первый день творения, и главное — худа. И в самом деле, она понравилась королю, когда танцевала в большом «балете иноземцев», почти раздетая, так как изображала одну из индианок. Это были обитатели Новой Франции, где, кстати, по слухам, слишком холодно для такого чрезмерного оголения. Однако господин де Бассомпьер, который тем временем дослужился до поста устроителя зрелищ, меньше сообразовался с географическими данными, чем с указаниями своей приятельницы Сагонн.

Каждый раз, как мадемуазель д'Этранг проходила мимо его кресла, король любезно пропускал ее, подбирая ноги, иначе она споткнулась бы. Ибо она думала

лишь о том, чтобы казаться стройнее и прямее держаться на своих длинных ногах, ступая при этом на кончики пальцев. Кстати, это позволяло смуглой красавице сверкать глазами на короля сверху вниз, частью представляя соблазны всех индийских земель, частью от своего имени. Король усмехался в бороду, но весь вечер не отходил от герцогини де Бофор.

Прежде всего он чувствовал себя усталым, почти немощным, но считал достаточной для этого причиной последний многотрудный год. Год приходит к концу. Неужто он принесет еще и болезнь? Генрих никогда не верил в свои болезни — в этом смысле он неисправим. Хотя он с давних пор изучал природу человека, но, собственное тело готовит ему все новые неожиданности.

— Сир! — сказала Габриель ему на ухо. — Я вижу, вам наскучило это зрелище. Я не буду в обиде, если вы покинете мое празднество и пойдете отдохнуть.

Генрих заключил отсюда, что ему надо успокоить возлюбленную насчет назойливой девицы.

— Юная Генриетта... — Начал он.

— Вы знаете ее имя, — заметила Габриель.

— Особенно знаком мне ее отец, — ответил Генрих. — Сколько ни случилось мне встречать его потом в походных лагерях, я всегда вижу его стоящим подле убитого короля, моего предшественника. Он стоял у изголовья и поддерживал подбородок покойника, чтобы челюсть не отваливалась. Раз он отпустил его, от бешенства, при моем появлении. Кавалеры, которые находились в комнате, предпочли бы видеть мертвым меня, вместо того. Но самое страшное впечатление осталось у меня от подбородка.

— Отдохните, мой возлюбленный повелитель, прошу вас, пусть даже говорят, что вы соскучились на моем празднестве.

Заботливость Габриели тронула Генриха. Он ответил:

— Я послушаюсь вашего совета, хотя самочувствие мое вполне хорошо. — И тотчас скрылся, даже не попрощавшись с гостями. Но про себя подумал, что от Генриетты д'Этранг ему становится жутко. Остерегайся дочери человека, который держал подбородок убитому королю!

Уготовать конец Габриели — это значит: найти ей замену. А не удастся — король, по-видимому, слишком прочно утвердился во владении и чувствует себя

слишком уютно, так что привычную женщину от него не удалишь, — тогда конец

должен означать нечто иное.

Господин де Френ[73. — Де Френ Пьер Форже (1544–1610) — сын президента парижского парламента Жана Форже, с 1589 г. государственный секретарь.

Один из составителей Нантского эдикта.], член финансового совета и протестант, был предан герцогине и считался ее единственной опорой в

высших кругах, наряду со стариком Шеверни, у которого на то были веские основания. Ибо канцлером ему суждено быть до тех пор, пока его

приятельница

Сурди, через посредство своей племянницы, красивой жирной перепелки, управляет

его величеством. Таково было ходячее мнение. Кто может знать, что любовь умудряет больше, чем корысть, и Габриель уже не слушается госпожи Сурди.

Люди

говорят: и тетка и племянница достигли высот через прелюбодеяние и обогащаются

наперебой. Господину де Френу, хоть он и держался скромно в тени, в свою очередь, выпал незаслуженный жребий прослыть автором Нантского эдикта.

Оттого

и ненавидели его больше, чем всякую другую среднюю фигуру в крупной игре.

Этот простак составил счет издержек на крестины маленького Александра, послал его в арсенал к главноуправляющему финансами, причем не преминул назвать

младенца — дитя Франции. Господин де Сюлли отпустил вместо нужной суммы значительно меньшую, из которой не могли быть оплачены даже музыканты.

Когда те

пришли жаловаться, Сюлли попросту выставил их вон.

— Никаких детей Франции я не знаю! — крикнул он им вслед. Они передали его

слова герцогине де Бофор.

И тут-то наконец герцогиня и ее жесточайший враг показали друг другу истинное свое лицо; дело было в присутствии короля, который вытребовал министра.

— Повторите то, что вы сказали!

— Никаких детей Франции я не знаю.

— Дети Франции имеют мать, которую вы осмеливаетесь оскорблять, а также отца, который прощает многое, но этого не простит.

Тут Генриху поневоле пришлось смешаться.

— Зачеркните расходы на музыку, Рони, я сам их оплачу. Зато вы зачеркнете

также свои слова.

— Сир! Я опираюсь на общеизвестные факты. Вы сами дали мадам титул и звание,
и на том покончено.

— Если я пожелаю, на том покончено не будет.

— Но надо, чтобы вы желали, — возразил Рони, или Сюлли, а каменное лицо его стало пепельно-серым, как у статуи.

Чудесные краски Габриели тоже не устояли. Она принялась высказывать министру ужасающие истины. Генрих не перебивал ее, он мечтал убраться подальше, а с собой он не взял бы ни того, ни другого. Рони холодно слушал. «Топи себя», — думал он и предоставил противнице выговориться до конца.

Габриель говорила с внешним спокойствием, которое, однако, было следствием чрезмерного душевного напряжения, вызванного кипевшим в ней бешенством. Она все равно что королева. Двор признал ее и воздавал ей небывалые почести, когда был крещен ее сын, дитя Франции. Она пустилась в подробности и перечислила тех, кто более других унижался, дабы снискать ее милость. Рони запомнил каждого, чтобы вразумить потом.

Генрих бродил от стены к стене, перед дальней он остановился. Его бедная повелительница показывала свою слабость, он жалел ее, а это уже плохо. Так как она особенно напирала на то, что носители самых больших имен украшают ее приемную, он впервые припомнил ее скромное происхождение. И взглядом приказал Сюлли умолчать об этом.

Габриель слишком долго страдала, слишком долго таилась. Возмущение вылилось у нее сразу и целиком.

— Я создаю людей, — кричала она. — Примером можете служить вы, господин начальник артиллерии и главноуправляющий финансами. Кто вас создал? Думаете, это было легко? Взгляните на себя и скажите сами, можете ли вы понравиться королю, может ли косный человек понравиться живому, дух немощный — окрыленному духу? Вам суждено было погрязнуть в вашей посредственности. Я одна извлекла вас на поверхность.

Много тут было истинного, и, прежде чем оно вырвалось из ее распаленных ненавистью уст, Генрих не раз думал так вслух в присутствии Габриели. Именно потому он почувствовал себя смущенным, как будто оскорбление наносилось и ему.

«Право же, я никогда не видел моего верного слугу в таком свете, как его изображают здесь». С этой минуты он открыто стал на сторону верного слуги. Если обезумевшая женщина этого не поняла – ах, она не услышала даже, как он гневно топнул ногой, – то Рони-Сюлли отныне был уверен в своем успехе, противница сама готовила себе погибель, и он не мешал ей. «Увязайте еще глубже, мадам». Он молчал, только глаза его готовы были выкатиться из орбит. Несчастная окончательно потеряла почву под ногами.

– Вы забыли, как пресмыкались предо мной! Моим рабом начали вы свой путь.

При этих словах пепельно-серое лицо мигмом окрасилось гневом или, быть может, стыдом.

– Довольно, мадам! Вы позволили себе лишнее слово. От меня оно отскакивает, зато, мне кажется, задевает короля. Моему государю угодно уволить меня? – спросил старый рыцарь. В его голосе дрожало воспоминание о битвах и трудах без числа; никогда мы не были уверены в победе и все-таки достигли того, что мы есть.

Генрих был в смятении. Любые ужасы пережил бы он легче, чем эту сцену и пагубную необходимость сделать выбор. Он чувствовал в смятении: как бы он ни решил, все равно это разрыв, пагуба, конец. Он отвернулся от стены с намерением посмеяться и вынудить их внять разуму. Подойдя к ним, он сказал против собственной воли, обращаясь к Рони:

– Я и не думаю увольнять вас. – А Габриель д'Эстре услышала из его уст:

– Отказаться от такого слуги ради вас? Мадам, этого вы не можете желать, если любите меня. – Это было сказано неласковым тоном.

Лишь после того как они были произнесены, он понял, что это не его слова, но иначе он поступить не мог. Повернулся и вышел вон.

Господин де Рони еще с минуту наслаждался поражением женщины, ее тело вздрагивало, а побелевшее лицо с трудом терпело свидетеля. К нему же вернулись

цветущие краски, которые не пристали мужчине его возраста, и он без поклона покинул свою жертву.

Когда позднее у Рони возникали колебания, он знал, чем отразить их. Служение королю превыше всего. Король сам сказал: «Такой слуга мне дороже десяти любовниц!» Ибо так именно прозвучали его слова для Рони, или же он сам переиначил их мысленно. Такое толкование опрометчивых слов он стал распространять повсюду, и вскоре весь двор знал их, а послы приводили в своих донесениях, что тем более оправдывало автора такого толкования. По чистой совести мог он утверждать:

На бесценную повелительницу, которая вдруг оказалась первой встречной любовницей, одной из десяти, совершенно ни к чему расходовать время и деньги. Теперь король сам признал: его любви не хватит на то, чтобы жениться на ней. Я был прав и оказал ему истинную услугу, когда наконец раскрыл ему глаза. Так рассуждал Рони и сообщил сделанные им выводы своей супруге, стареющей вдове, которая осталась ими весьма довольна.

Как человек совестливый, Рони считал нужным примирить служение королю с долгом человечности в отношении несчастной женщины. Он успокаивал свою совесть тем, что выполнил долг, если вспомнить, чего могла ждать эта женщина, не вмешайся он. Между короной и смертью – та и другая были близко, но совершенно ясно, которая раньше осенила бы ее – между ними двумя мы нашли лазейку: немилость короля. Для нее это тяжело – спору нет. Пока что она будет называть нас жестокими, вероломными и неблагодарными. Но позднее, когда она станет владелицей замка Монсо и будет жить там в безопасности на ренту, назначенную королем, тогда она поймет, кто спас ее. «Благодарить не за что. Того требовал долг человечности. Вы, мадам, иногда способствовали моему преуспеянию, я же за то спасаю вам жизнь. Мы квиты, только не начинайте сызнава».

Совесть успокоилась – до некоторой степени. Однако перед своей остроносой супругой Рони отнюдь не похвалялся добрым поступком в отношении Габриели д'Эстре. Нос был достаточно острый и длинный, чтобы добраться до обратной стороны доброго поступка. Пожилая вдова ждала слишком долго; и теперь торжествует победу всецело, без излишней щепетильности.

Герцогиня де Бофор поехала к мадам де Сялли, та не приняла ее. По этому поводу герцогиня обратилась с вежливой жалобой к господину де Сялли, тот не

ответил ей. Король возмущился бы поведением обоих, если бы узнал о нем. Он, без сомнения, принял бы обиду на свой счет. Однако Габриель не стала говорить с ним. У нее на руках было довольно улик, чтобы одним ударом поразить верного слугу. Но она боялась ответного удара – не от Рони, а скорее от перемены в душе ее возлюбленного повелителя; она была научена горьким опытом.

Самым сокровенным чувством ее был страх, который никогда не покидал ее вполне. Король казался прежним, он был бы преданней прежнего, если бы она проявила больше настойчивости. Он клял свой двор и остальные дворы, сеть хитросплетений, которой его опутали, свою неволю, всеобщий заговор, имевший целью умалить его победу над Испанией и обезвредить его самого. Габриель понимала и слышала то, о чем он умалчивал: «Прости мне, мое бесценное сокровище». Потому-то она никогда не переводила разговор на себя. Она не решилась бы на это без дрожи, ибо после сцены с Рони тело ее не могло отвыкнуть от дрожи, несмотря на все усилия воли. Только бы не обнаружить свой страх – вот чего она теперь страшилась сильнее всего.

Доверчивее, чем когда-либо, рассказывал ей Генрих о своих личных переговорах с папой Климентом относительно расторжения своего брака с королевой Наваррской. Истинное положение вещей неизвестно даже его Министрам. Взамен папа требует, чтобы он вернул изгнанных иезуитов. Король отвечал так: будь у него две жизни, одну он отдал бы его святейшеству. Она поняла: у него лишь одна жизнь, и у меня также. Стоит ему поступить, как желательно нам обоим, тогда он обречен. Сделать меня своей королевой и за то пойти на мировую с иезуитами – это все равно что решить обоим вместе умереть на престоле. Потому он и молит: прости мне. Однако она делала вид, будто речь идет лишь о благе королевства.

Король приказал устроить охоту в честь герцогини де Бофор – а не прошло и четырех дней после того, как он произнес жестокие слова, в которых не переставал каяться и от которых она до сих пор дрожала. На эту охоту он взял с собой лишь ее друзей и, главное, тех, кто стал ей другом, вроде Роклора. Все они были солдатами, а из них надежней всех – самые простодушные, храбрый Крийон, одноглазый Арамбюр. Своей рукой выбрали они когда-то из седла убийцу короля, ему же самому сказали:

— Сир! Женитесь на своей возлюбленной. — С ними и осенний день станет ясней
любого другого. Скачешь на просторе, и все как будто знакомо: копыта наших
коней перепахали это поле, когда мы давали здесь бой. Лес необозрим, лес до
самой границы Пикардии — солнце щедро озаряет его сквозь безлиственную
чащу
ветвей, мы же узнали бы все пути и перепутья даже в глубокой тьме.

— Помнишь, Блеклый Лист? — сказал Генрих своему обер-шталмейстеру Бельгарду
и склонился к своей возлюбленной, ибо ее конь шел между их конями. — Как темно
было здесь, когда мы в первый раз возвращались из замка Кэвр. До того темно,
что ты помышлял убить меня, Блеклый Лист. Неплохая затея для ревнивца. Мне
самому она приходила в голову позднее, должен тебе признаться в этом, старый
друг Блеклый Лист. Мадам, взгляните на него, теперь и он уже седеет.

Нет, она не хотела думать ни о седобородом, ни о том другом, с седеющими
висками. Она лелеяла в душе своей радость от сознания, что ее возлюбленный
повелитель сохранил молодое чувство к ней, да, к ней, и голос его звучал
счастливо, хоть и взволнованно: былая мука оттого, что он мог утратить или
вовсе не добиться ее, миновавшая мука возвращается вновь и трепещет в его
голосе.

— О прекрасная жизнь! — сказала Габриель. — Как я люблю тебя!

Странно, но вместо ускоренной рыси, которая должна бы последовать за
этим,
все трое пустили своих коней шагом. Потому сопутствующие кавалеры
приблизилась,
и слышались их голоса.

— Я постоянно говорил ему, — слышался голос. — Рубить плеча. Воззвать
к
народу, как во всех его деяниях. Священника сюда и, хочешь не хочешь, а у
нас
будет королева-француженка. Дальше же посмотрим.

Это был храбрый Крийон. Одноглазый Арамбюр заговорил гневно:

— Чего мы добились теперь? Что монахи опять громят его в проповедях.
Предрекают ему вездеход за грехи. Призывают ко всеобщему покаянию, дабы
небо
не обрушилось на это королевство. Со времен мира Испании снова дозволено
вытряхивать на нас содержимое своих монастырей. Капуцины заявили сюда с
терновыми венцами на плешивых головах, а впереди — дамы семейства Гиз.
Могли мы

еще недавно ждать чего-нибудь подобного? И от кого?

— Одноглазый! — крикнул Генрих через плечо. — Они опять изгоняют бесов из одержимых. Я же предпочитаю, как и раньше, посылать врача. Мой обычай не меняется, ты не дожدهшься, чтобы я уступил.

— А предзнаменования, — сказал кто-то. — Ваши враги, сир, занимаются подделкой предзнаменований. Раз уж очередь дошла до них, берегитесь!

Это Генрих оставил без ответа, ибо он знал: бывают предзнаменования, которых не подделаешь. Наша задача избегать того, что они возвещают. Между тем он узнал просеку, на которую они свернули, он пожелал здесь спешиться и закусить. Слуги устроили на пнях стол и положили вокруг спиленные стволы. Только один они сделали со спинкой и устлали попонами; туда усадил Генрих прелестную Габриель.

Платье на ней было зеленое с серебряным позументом и такая же шляпа. Остывшее солнце не зажигало ее волос ярким блеском праздничных времен, когда алмазы сверкали в них. Ни к чему. Тихое сияние, окутывающее существо, которое еще с нами, но готово покинуть нас, медленно, но верно проникает в сердца. Генрих поглаживал кончики ее пальцев, прислуживая ей. Щеки ее — снег перед тем, как растаять, и розы расцветают под ним. О прекрасная жизнь! Как я люблю тебя! Эти слова она сказала давно, только ее возлюбленный повелитель все еще полностью не уловил их тона. Он вслушивался и сидел задумчиво, к концу завтрака разговоры смолкли.

подавая ей руку, чтобы помочь подняться, Генрих сказал Габриели:

— Открою вам тайну, мадам: с этого места мы тронулись в путь, я и Блеклый Лист, к замку Кэвр, и там я увидел вас спускающейся по лестнице.

Герцог де Бельгард стоял всех ближе к королю и его возлюбленной; казалось, будто он здесь третий.

Затем было решено всерьез поохотиться за дичью; кавалеры и их единственная дама углубились в чащу, а тут легко потерять друг друга, разминуться, и голос, отвечающий на оклики, слабеет, под конец он доносится отовсюду и ниоткуда. Герцогиня де Бофор исчезла, хотя Генрих старался не упускать ее из виду. Обер-шталмейстер побежал куда-то будто наугад и тоже исчез. Король приказал

своим спутникам обыскать лес. Сам он сел на коня; как он и ожидал, двух лошадей недоставало.

Сперва он поскакал напролом, через засеки, рвы и овраги. Внезапно ему вспомнился господин де Рони. «Тот сомневается, что Цезарь мой сын. Если бы я допросил его, он стал бы отрицать, а может быть, и нет, он под конец всегда оказывается прав, так было всего четыре дня назад». Генрих рванул поводья и остановился. В нем кипел гнев против Рони, который под конец оказывается прав, — от злобы всадник готов был повернуть назад. Ничего не желал знать, но разыгрывать глупца он тоже не желал. Так он долго стоял на месте, конь его бил копытом и ржал; перед ним предстал замок Кэвр, который на самом деле был еще вне поля зрения. Помимо его воли и даже несмотря на мучительное внутреннее сопротивление, взгляд его проник сквозь стены в знакомый покой.

Но после того как он уже заглянул туда, ему захотелось видеть все воочию и тем усугубить муку, он страстно пожелал присутствовать при том, как те двое будут лежать на кровати. Сам бы он лежал под ней, как некогда тот, другой. «И я еще швырял ему туда конфеты. Целых семь лет не переставали они смеяться надо мной. Неужто я, я сам позволял всему миру злословить о короле-рогоносце? Почему я прикидывался глухим?»

— Потому что это неправда! — крикнул он и поскакал вперед; ему вдруг стало ясно, что он найдет замок пустым. «Семь лет владею я ею, как ничем на свете. Наша плоть и кровь — дети, сотворенные из нашей плоти и крови, и одно сердце бьется в каждом из нас. Она чувствует то, что я не высказываю, я же знаю о ней все».

Он поклялся, что, если найдет замок пустым, завтра же заставит священника обвенчать его и Габриель. Кое-кто останется ни при чем — владелец замка Сюлли, мой начальник артиллерии. Не додумав этой мысли, он испугался испытания, в замке Кэвр его подстерегал рок, — кому охота добровольно идти навстречу року. Он повернул назад. Тщетно. По-прежнему нестерпимо — не знать, и разум все подчинится страсти, ее самовластным заключениям, ее страхам. Тогда он повернул

снова. Хотел наверстать упущенное время, боялся наверстать его и скакал то быстрее, то медленнее в зависимости от смены страха и желания.

Прибыв к мосту, он решил, что и без того опоздал, они уже скрылись, а он в дураках. Это была последняя его попытка спастись бегством. Когда он въехал во двор замка, его коня приветствовали два других, ржание их доносилось из выступавшего вперед левого крыла здания. Под башенкой ажурной архитектуры, вот где привязаны кони. Третий отвечает им; жаль, что людей там, в комнате, вспугнули прежде времени. В каком виде будут они застигнуты?

Войдя, Генрих нашел их иначе, чем ожидал. Габриель выглядывала из окна; к своему спутнику, который был в сапогах и при шпорах, она повернулась спиной.

На ее плече Генрих заметил увядшие листья, которые зацепились, когда она скакала по лесу; разве листья остались бы на месте, если бы она после этого раздевалась? Бельгард глядел на большую дикую птицу у своих ног, лапы у нее были связаны, она сильно била крыльями. Обер-шталмейстеру его добыча отчаянно выпачкала руки, такими руками он никак не мог касаться женщины.

Хотя Генрих понял все сразу, но жестокий страх истекшего часа, чтобы не быть посрамленным, вылился в гнев.

— Что тут происходит? — крикнул король, меж тем как те двое растерянно вперили в него взор. И он, должно быть, показался им иным, чем они ожидали. У них и мысли не было, чтобы он мог измениться точно после болезни и так исступленно кричать. От испуга они дали ему отбушевать, пока он не выбился из сил или был близок к умиротворению. Габриель отошла от окна и с просительным жестом приблизилась к нему; когда же его голос после стольких несдержанных слов стал тише, она решила взять его за руку. Как суха и горяча его рука! Габриель сказала:

— Мой высокий повелитель! Зачем я поступила так! Я думала дожидаться вас здесь и вместе с вами припомнить минувшие дни. А получилось неладно, и я жалею, что явилась сюда, хоть и с благим намерением.

Он произнес менее уверенно, но с прежним бешенством:

— Вы лжете, мадам. Я знаю истину. Вы выглядывали из окна в надежде, что это не я. У вас достало бы времени до вечера, чтобы не один раз посмеяться над

рогоносцем.

Бельгард стоял, как-то странно спорбившись, лицо у него сразу постарело. Он схватил пойманную птицу за ноги и собрался уйти.

— Оправдывайся, Блеклый Лист, — потребовал Генрих. В ответ на этот окрик Бельгард повернулся вполоборота и признался:

— Сир! Я не могу.

— Ваш сообщник предает вас, мадам, — выдавил из себя мученик; до сих пор он не верил тому, что говорил, теперь же приходилось поневоле поверить.

Габриель беспомощно передернула плечами. Бельгард сказал:

— Сир! Мне остается лишь перейти на службу к туркам. Султан казнит своих приближенных без допроса. А перед вами я должен держать ответ. Я был верен и предан вам не из привычки и не по обязанности. Нет, все долгие годы я заглядывал вам в душу и находил, что вы достаточно драгоценны, чтобы заплатить за вас жизнью, достаточно велики, чтобы отдать вам мое собственное счастье. Я от всего давно отрекся, и вы сами это знаете, а непреложней всего убеждена в моей искренности герцогиня де Бофор. Иначе она ни за что не позволила бы мне сопровождать ее в этот замок и эту комнату.

Генрих отвел от него взгляд, он пробормотал ни для кого и даже не для себя:

— Слова, ловкие слова, они рассчитаны на умиление.

Габриель вмешалась в нужную минуту:

— Он недоговаривает. Он говорит, будто я позволила ему сопровождать меня сюда. Нет. Не позволила, а приказала.

Она умолчала — зачем. Ее возлюбленный повелитель понял сам; едва войдя, он разгадал ее чувства. Он знает ее страдания, ее страхи, ему ясна ее отчаянная попытка еще раз возбудить в нем ревность. Она уводит его назад в те прошедшие невозвратные времена, когда он дрожал, а теперь дрожит она. Тогда — чего бы вы тогда не сделали, мой высокий повелитель, чтобы удержать меня. Дорогое дитя, чего бы ты не сделала.

Он читал на ее лице, ведь в это лицо он глядел чаще всего, — читал каждую ее мысль, каждое ее чувство, не исключая и сострадания. В сцене с Рони он жалел ее, теперь она его. Мы не должны подавать повода к жалости, ни ты, ни я. Мы сильны. Хорошо, что вы напомнили мне об этом.

Сперва он обнял Бельгарда и поцеловал в обе щеки. Когда дошла очередь до его бесценной повелительницы, она с трудом переводила дух от пережитого потрясения и сияла от достигнутого успеха. Его слова она услышала прежде, чем он заговорил. И в самом деле, он сказал, прижав ее к груди:

— Завтра все будет свершено и закончено. Завтра я призову священника. Хочет или не хочет, а он нас обвенчает завтра.

Она повторила «завтра», по-прежнему сияя, но про себя подумала: «Если бы священник был здесь в комнате!»

Едва выехав из замка Кэвр, они повстречали охотников со сворой и травили оленя, пока не стемнело. Когда зверь был пристрелен и выпотрошен, а собаки насытились и затихли, охотники обступили короля, которому пришлось сесть: он успокоил их, сказав, что лишь слегка ушиб колено. Тут в молчании леса послышался шум второй охоты, лай, крики, звук рога, все на расстоянии не менее полумили. Не успели они опомниться, как тот же шум раздался в двадцати шагах. При этом ничего не было видно, между деревьями залегла тьма.

Король спросил в изумлении:

— Кто осмеливается мешать моей охоте? — и приказал графу де Суассону посмотреть, кто там. Суассон устремляется в чашу: он различает очертания черной фигуры, которая, едва появившись, снова исчезает, выкрикивая одно слово:

— Собирайся! — А может быть, это значит: — Покайся!

Граф де Суассон воротился и сказал, что голос был грозный. Смысл его повеления можно было спутать по созвучию. Король ничего не ответил, вскочил на коня и поехал рядом с герцогиней де Бофор, а остальные охотники тесным кольцом окружили их. Никто не упоминал о том, что от второй охоты, хотя она недавно так шумно подавала голос, теперь не доносилось ни звука.

Тем временем они достигли ближайшей деревни, и король с седла принялся

допрашивать всех крестьян и пастухов, которые в столь поздний час показывались на пороге, что означает такое явление. Многие отвечали, что это проделки злого духа, здесь будто бы его округа и называется он Великий охотник. Далее король, продолжавший допрашивать, получил объяснение, будто святой Губерт [74. – Святой Губерт – покровитель охоты.] сам нередко избирает эти леса, чтобы травить зверя со своей охотой и сворой, незримой, но слышной.

– Святой – это звучит уже утешительнее, – заметил Генрих, обратясь к Габриели, но окончательно он успокоился, лишь когда последний из опрошенных проговорился, что некий плут браконьер изображает нечистого духа и таким путем безнаказанно охотится на королевскую дичь. Однако король до всего дознается и поймает его. – Непременно, в следующий же раз, – обещал Генрих; успокоенный, поскакал он дальше и уверил свою возлюбленную, что наконец-то они получили верный ответ.

Габриель хоть и сказала: да, получили, но в глубине своей тревожной души думала: «Собирайся или покайся – так не станет кричать браконьер». Это было предзнаменование. То же подозревали и многие из кавалеров, которые тесным кольцом окружили ее и короля, а кто знает, о чем умалчивал он сам. О предзнаменованиях, поддельных предзнаменованиях, была речь в начале охоты. Однако всегда ли они ложны, если мы наперекор природе и убеждению непрестанно наталкиваемся на них?

Сегодня о предзнаменовании заговорил господин де Роклор. И он же тотчас по прибытии в Лувр попросил его величество позволить ему сделать сообщение с глазу на глаз. Маршал Роклор весьма сожалел, что не высказался своевременно. Теперь он явился слишком поздно, король отослал его.

– Вы мне не нужны. Сейчас мне нужен хирург.

И с этими словами упал навзничь. Слишком долго промучился он оттого, что один из его органов был затруднен в своих отправлениях.

Потому-то Роклор не успел ничего сообщить – зато потом был даже доволен, хотя совесть и укоряла его. Слишком много придворных пришлось бы запутать в это дело. Враги герцогини де Бофор разыскали двух шалопаев, которые от безделья

научились голосом подражать целой охоте, крикам, лаю, звуку рога, по желанию приближая или отдаляя их. Когда же лес умножал шумы, кто угодно мог поддаться обману. А тем более если в чаще возникала черная фигура и страшный голос требовал: покайся!

Габриель о спасении своей жалкой жизни

Источник этой болезни уже не в одних душевных тревогах. Усталость души обычно разрешалась телесным недугом. На этот раз тело не помогает, оно усугубляет страдания. Понадобилось вмешательство хирурга, он должен ежедневно содействовать органу, который отказывается служить. Генрих переносит страдания; труднее переносить мысль, что тело его становится немощным. В бреду он говорит:

— Будь у меня две жизни, одну я отдал бы святому отцу. — Он говорит: святому отцу, язык говорит не то, что подразумевает рассудок; рассудок ищет ту, что находится здесь в комнате. Напрасно больной напрягает свои широко раскрытые глаза, чтобы ее узнать, ей хочет он отдать одну из двух жизней. Он протягивает к ней нетвердую руку, но Габриель избегает прикосновения.

Ее собственные веки сухи, они покраснели от бдения у изголовья возлюбленного повелителя, и страх ее дошел до того предела, когда он уже переходит в холод. Ни дрожи, ни слез, разве что мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля, вместе с ней преклоняет колени и молится. Это бывает не часто. Габриель боится ослабеть в общении со Всемогушим. Она должна оставаться рассудительной и сильной, заступая место Всемогущего, как Его слуга, и сохранить этого человека для жизни. Она выполняет самые унижительные обязанности, помогает прекраснейшими в королевстве руками его органу, который отказывается служить. Час за часом проводит у изголовья любимого, наполовину склонившись и прислушиваясь к его несвязным словам, вовсе не тем, какие он держит в мыслях, ибо все его слова устремлены к ней. Его разум, который блуждает по темным лесам, теряет ее образ всякий раз, как тянется за ним. Однако и она упускает и ищет его, хотя он лежит здесь и страдает.

Ее терзало ужасное предчувствие, что они больше никогда уже полностью не обретут друг друга, с открытым взором и душой, как бывало прежде. Несмотря на

все их старания, что-то загадочное будет удерживать и разлучать их, деревья в тумане, отзвук незримых событий, охота призраков.

В ту ночь, когда он впервые спокойно уснул и спал слишком бесшумно, как ей показалось, она вдувала в его открытый рот свое дыхание до тех пор, пока сама не изнемогла. Наутро он проснулся совсем здоровым. Враги Габриели говорили во всеуслышание: невзирая на ее присутствие у ложа короля, Небо еще раз проявило долготерпение. А врач Ла Ривьер[75. – Ла Ривьер Рош ле Байиф (? – умер в 1605 г.) – французский врач и астролог, протестант. Был первым врачом и доверенным лицом Габриели д'Эстре.] заявил: госпожа герцогиня де Бофор помогала здоровой природе короля, это угодно Богу. К сожалению, выздоровело только тело, а не душа. Впрочем, лихорадка не совсем отпустила Генриха, но печаль и утомление гораздо более угнетали его. Такой усталости он не знал ни от одной битвы, ни даже после своего смертельного прыжка. Труды истекшего года – вершина его царствования, неужто им наградой скука, которой ничто не может противостоять? Тщетны самые удачные театральные представления, хотя феи и дриады летают по воздуху, волшебные видения возникают в зеркалах, птицы разыгрывают комедию – чему дивятся и радуются все, кроме короля. Тщетны самые соблазнительные балеты – избранные красавицы позволяют любоваться своими неприкрытыми прелестями, наперебой стараясь излечить меланхолию короля. В своем честолюбивом стремлении исцелить короля дамы изгибали перед ним свои обольстительные тела, чтобы ни одна складка их плоти не оставалась тайной. Они усердствовали из великодушия, ему же, впервые в жизни, не нравились их природные достоинства.

– Мне это не нужно, – сказал он. – Ничего мне не нужно, – пробормотал он и отвернулся, не обращая внимания на герцогиню де Бофор, сидевшую рядом с ним, и делая вид, будто ее нет здесь. Но едва он оперся лбом на руку и отвратил взор от зрелища, а слух от приятных звуков, тотчас же незаметно для короля одна за другой исчезли танцовщицы, музыканты и весь двор. После долгого раздумья он в конце концов вернулся к действительности и увидел, что остался один. Перед ним

пустая зала, за поднятым занавесом громоздятся следы празднества, инструменты, механизмы, позолоченный шлем, увядший букет. Одинокий король склонился в другую сторону, кресло рядом было пусто и даже перевернуто. Значит, и Габриель вместе с остальными обратилась в бегство. Он вопрошал свою душу, однако она отказывалась дать ответ, отрадно или обидно ей в одиночестве. — Мне больше ничего не нужно, — проговорил он в пустоту, и эхо возвратило ему его слова.

Теперь все хвалили герцогиню де Бофор: она поняла, что ее игра проиграна, и переселилась из Луврского дворца в свой собственный дом. Только из-за тяжелой болезни короля она позволила себе жить с ним в королевских покоях, которые ей не суждено когда-либо назвать своими. Значит, пришло время устранить ее окончательно — по возможности без применения крайних мер. Ибо ее жалели еще больше, чем ненавидели. Многие заранее раскаивались в том, на что решились бы на худой конец — в крайних мерах. До сих пор все это не выходило за пределы устных нападок, разве что, прослышав о слабости и печали короля, проповедники и монахи осмелели и вещали, что на сей раз жизнь ему еще дарована, дабы он мог покаяться. Отсюда и приток народа во двор Лувра, где раздавались многоголосые мольбы и требования, чтобы король спас страну и свою душу, то и другое путем удаления Габриели.

К ней тоже являлись весьма странные посетители, правда, каждый раз в одиночку. Все хотели узнать, действительно ли к ней приезжал папский легат, хотя, в сущности, не верили слуху. Он якобы в сумерках тайком посетил ее дом, без большой свиты, без единого факела, и так же якобы неприметно покинул его, несмотря на расставленных наблюдателей.

Чуть ли не так же таинственно явилась к Габриели мадам де Сагонн, самый давний ее смертельный враг. Она была принята не сразу, Габриель только тогда допустила ее к себе, когда через час ей доложили, что дама дожидается терпеливо и смиренно. Войдя, она ухватилась за стул и заговорила с большим усилием.

— Мадам, я всегда желала вам добра, — пролепетала она.

— Мадам, ваше пожелание осуществится, — высокомерно отвечала Габриель.

Высокомерие было подчеркнутое: у Сагонн искривилось лицо, будто она собиралась заплакать, или это была плаксивая улыбка. Каким маленьким стало ее птичье лицо.

— Простите меня! — воскликнула она визгливо, и обе ее руки затряслись. — Этого я никогда не хотела.

— Чего? — спросила Габриель. — У меня все благополучно, король здоров, и его решение жениться на мне вполне твердо. У нас нет врагов, раз и вы мне друг.

— Мадам, будьте осторожны! Молю вас, берегитесь, ревностней я не могла бы просить о спасении своей собственной жизни.

Ее невзрачное лицо так позеленело, она так явно готова была соскользнуть со стула на колени, что Габриель удостоила ее откровенности.

— Вы очень много говорили, мадам. Если бы все, что вы долгие годы говорили с намерением погубить меня, хлынуло теперь в эту комнату, мы обе непременно утонули бы. Однако злые речи действительно превратились в целый поток. Я вижу, что этот поток пугает вас. Так облегчите же себя и поделитесь наконец не выдумками, а тем, что знаете.

— Ах, если бы я знала! — Теперь Сагонн, наверно, ломала бы руки, если бы они не тряслись.

— Кто хочет меня убить? — спросила Габриель.

Сагонн, вдруг окаменев, взглянула на нее.

Габриель:

— Господин де Рони?

Сагонн — безмолвное отрицание.

Габриель:

— Я вам все равно не поверила бы. Значит, агенты Тосканы, и каким способом?

Сагонн:

— Кругом только и знают, что шнырять и шушукаться, можно подумать, что всполошилась вся Европа, столько тайных посланцев от всех дворов пробирается в Париж: и затем немедленно улетучивается. Сердечные дела короля Франции очень

заботят папу и императора, но это ведь вам известно.

Габриель:

— Что вы можете сообщить мне нового?

Сагонн, почти неслышно:

— Цамет. В его доме, говорят, это было решено.

— За карточным столом, разумеется, — сказала Габриель. — Кто при этом присутствовал?

Сагонн знаком показала, что ее сведения и даже силы уже истощились.

— Избегайте посещать этот дом! Не ходите к сапожнику Цамету даже с королем —
прошептала она еще таинственной. — А тем более без него.

Она хотела встать, но не сразу собралась с силами, а так как минутная слабость дала ей время опомниться, Сагонн поняла вдруг собственное положение и то, что не одной Габриели придется теперь дрожать за свою жизнь.

— Я сказала слишком много, — в ужасе шепнула она; вскочила, закрыла лицо руками и зарыдала. — Теперь я в вашей власти.

— Никто не подозревает, что вы здесь, — сказала Габриель.

— Как будто не следят за всеми, кто к вам приходит, — возразила Сагонн. — Даже и легата застигли.

Это она сказала по привычке хитрить, а потому, отняв от глаз свои костлявые пальцы, насторожилась. На самом деле легата никто не приметил. «Если я это выведу и смогу подтвердить слух, то мое собственное посещение будет оправдано, и я спасена».

Однако Габриель отвечала:

— Легат? Я его с самого лета не видела.

«Окаянная лгунья, — подумала Сагонн. — Так умри же, умри, герцогиня де Свиньон», — думала она в запоздалой злобе на себя самое из-за допущенной ошибки. Тем задушевней она распрощалась, еще раз дала волю раскаянию и на сей раз объяснила его причину. Вначале, когда раскаяние было искренним, она этого сделать не могла.

— Я всегда вас любила, мадам. Только любовь смутила меня и заставила поступать так, словно я вас ненавижу.

Она запуталась в чрезвычайно сложных оправданиях, стараясь изобразить полное душевное смятение, а пока она разглагольствовала, они дошли до потайного выхода, через который надо было выпроводить посетительницу. Тут Габриель сказала:

— Мадам, вы можете успокоиться. Тайну вашего посещения я унесу с собой в могилу.

После чего Сагонн поперхнулась, во-первых, потому, что она была разгадана, а затем из-за необычайной простоты, с какой эта женщина, окруженная столь большими опасностями, говорит о своей могиле, и притом безо всяких элегических жалоб и стенаний.

Совершенно сбита с толку, Сагонн споткнулась о порог.

Габриель же призвала к себе господина де Фронтенака, старого товарища короля, он имел честь командовать небольшим отрядом ее телохранителей. Она спросила без предисловий:

— Где сейчас находится этот человек?

— В двух часах ходьбы! Но только завтра вечером прибудет в город. Мадам, прикажите, и я изловлю его еще нынешней ночью.

— Подождите, — сказала Габриель. Солдат заметил:

— Ни к чему ждать дольше. Ни с одним из прежних убийц короля мы так не церемонились. За этим я установил неусыпную слежку с той самой минуты, как он перешел границу королевства. Мы могли его поймать уже двадцать раз, ведь фламандца, как он ни переряжайся, всегда узнаешь.

— А как бы вы могли его изобличить? Его нужно захватить во дворе Лувра при большом стечении народа, король смешается с толпой, и я тоже.

Фронтенак предостерег:

— Единственная улика — длинный нож, который мы видели у него. А нож легче всего пустить в ход в сутолоке.

— Когда вы его задержите, — не смущаясь, сказала Габриель, — подсуньте ему вот эту записку. Брюссельский легат дал ему свое поручение устно. Но надо, чтобы он имел его при себе написанным черным по белому, только тогда король поверит вам, что нашелся человек, который осмелился поднять на него руку.

— Да и трудно этому поверить, — признался старый воин. — Священная особа, победитель и великий король. Но с каким бы правом он ни почитал себя неприкосновенным и в безопасности, вы, мадам, глядите зорко. Приказывайте, я повинуюсь.

Вот каким делом усердно занималась Габриель, а потому не позаботилась о себе самой. Все случилось так, как она предвидела. Король и герцогиня де Бофор проезжали в полдень верхом по Луврскому мосту, — не обычным своим путем, но он хочет видеть, что произойдет, а она знает это заранее. Через сводчатые ворота они сворачивают в старый двор, именуемый колодцем, вокруг него расположены присутственные места. Люди, которые заявляли, что пришли по делу, могли собираться здесь беспрепятственно. При появлении герцогини многие бросились вдруг в ее сторону, выкрикивая проклятия, которым их обучили. Так как она повернула лошадь и оставила короля одного, толпа постепенно отхлынула от него. Не тронулся с места только один-единственный человек, которого легко было захватить, когда он в пяти шагах от короля обнажил нож.

— Сир! — сказал господин де Фронтенак. — На сей раз вы обязаны жизнью только госпоже герцогине. — Старый соратник короля был очень взволнован. Придворный не сказал бы этого. Король слез с лошади. Бледный от гнева, он подбежал к страже в сводчатых воротах; платье на его бесценной повелительнице было разорвано, солдаты с трудом охраняли ее от нападающей толпы. Он приказал повесить тех, что оказались впереди.

— Сир, — сказала Габриель, — в благодарность за ваше спасение прошу вас сохранить жизнь этим людям, ибо это все обманутые. Ваш народ думает по-иному.

Генрих не отвечал. Он не хотел терять время на утешения и благодарность.

— На коней, мадам! — И он даже не подставил свою руку под ногу Габриели. Торопливой рысью проехал он рядом с ней через мост и последние ворота. Всеи страже было приказано сопровождать его, но как ни бежали солдаты, а все-таки потеряли из виду обоих всадников, только господин де Фронтенак верхом, со шпагой наголо, не отставал от них ни на шаг.

Они направились не прямо к дому герцогини, король поехал по самым людным улицам; он пустил коня еще более скорой рысью, не обращая внимания на прохожих; тем приходилось разбегаться с середины мостовой. Кто правил каретой и не сворачивал немедленно, того офицер торопил ударом и окриком:

— Дорогу королю!

Все видели, что король бледен от гнева, и спрашивали:

— Что случилось?

Женщины заметили, что на герцогине де Бофор разорвано платье, и молва понеслась быстрее, чем может спастись бегством даже король.

Едва он проезжал, как за его спиной начинались толки:

— Теперь он бежит с ней, потому что его хотели убить из-за его любовных шашней.

— И ее с ним, — добавлялось немедленно.

— Неужто это достойный конец для короля, который зовется великим?

— Он любит, — возражали женщины. — Вы его не понимаете, потому что вы ничтожные мужчины, — говорили пожилые увядшие женщины, у которых были рабочие руки, а на лице запечатлелась забота о насущном хлебе.

Молодые люди, выпячивая грудь, утверждали:

— А все-таки он добьется своего, и мы поступили бы, как он.

Некий священник повторял на каждом перекрестке:

— Но госпожа герцогиня сделала сегодня больше. — При этом священник многозначительно кивал головой, хотя всякий раз исчезал раньше, чем ему успевали задать вопрос. Папский легат строжайше приказал ему оставаться неузнанным.

После подобных слов не наступала тишина, какая бывает, если есть над чем призадуматься. В толпе настроение меняется резко, даже посреди шума и крика.

Когда король, его возлюбленная и офицер ехали обратно прежней улицей, вместо

того, чтобы скрыться или вернуться с подмогой, о бегстве словно и речи не было.

Напротив, тот же самый народ теснился за ними следом, иные даже опередили их,

двое взяли лошадей под уздцы — они шли теперь шагом. Таким образом народ проводил своего короля и свою королеву, которая была ему угодна, к широкому

новому въезду в Луврский дворец.

Господин де Фронтенак вложил шпагу в ножны, ибо слышал совсем иные голоса и

смотрел в глаза ближайшим. Глаза влажно блестели, вначале в них отражались лишь

рыцарские чувства народа. Чем длиннее дорога, тем ярче будет в них вспыхивать возмущение. Король сам поощрял его.

— Дети! К дому герцогини! — приказал он.

Снова он поехал обходным путем. Из дверей мастерских выбегали ремесленники, сначала они топтались в нерешительности: не ввязаться бы в неподходящее дело.

Меж тем гнев короля, разорванное платье его дамы были достаточно красноречивы.

Тут-то прозвучали первые проклятия против убийц Габриели. Она как услышала — зашаталась в седле. Генрих снял ее с лошади и повел в дом.

Под ее окнами раздавались невнятные возгласы, она заткнула уши пальцами. Раз

проклинают ее убийц, значит, то действительно были ее убийцы.

Невежественный

народ больше занят ею, чем ее повелителем. Это предрекает развязку, и среди

всех тайных хитросплетений это первое открытое признание, что она должна умереть.

Генрих сказал:

— Что они толкуют о ваших убийцах, мадам? Ведь убийца был мой, а я к ним привык.

Он послал людей очистить двор. Когда он вернулся, Габриель уже покинула комнату. Он стал искать, подошел к ее запертой спальне, которая обычно была их

общей спальней; теперь дверь оказалась заперта и не открылась.

— Отвечайте!

Придушенные звуки в платок. Она смеется? Он предпочел бы, чтобы она плакала.

Такого смеха он у нее не слышал, этот смех звучал бы жестоко, если бы не был

придушен.

— Я хочу знать только одно, — крикнул он. — Кто сообщил вам о прибытии фламандца?

— Угадайте, — произнес изнутри ледяной голос, и она хлопнула какой-то дверью.

Сделала она это нарочно, чтобы он ушел. Когда его шаги удалились, она хотела

его вернуть, но упала на постель, зарылась лицом в подушки, где обычно покоилась его голова, и это создало такую иллюзию близости возлюбленного, что

она заговорила с ним.

— Сир! Мой высокий повелитель, как печально все обернулось.

И тут наконец хлынули слезы. Очнувшись от долгого плача, она увидела, что она одна на мокрой подушке. Она подумала, что и он, конечно, запер за собой дверь, отмахнулся от всех пожеланий и приветствий, — и, быть может, лежал, как она, поддавшись слабости тела, а затем мерил комнату крупными шагами, останавливался, прислушивался, уловил звук колокольчика. Он звонит упорнее, чем всякий другой. Любимый! Он призывает нас обоих.

Она вспомнила, что он в своем воображении не мог слышать звон похоронного колокольчика. Конечно же, ведь у него не побывала госпожа Сагонн. Да и легат, — кого предостерегал легат? Не его, и не в тот час, когда Мальвецци снаряжал в Брюсселе фламандца. Как понять, что папский легат, вопреки всякой логике, хочет сохранить жизнь королю Франции?

— Я этого не знаю, — сказала Габриель, поднялась с постели и стала напряженно размышлять.

«Что-то связывает легата и короля, чего сам Генрих даже не знает. Ибо легат предостерегал не его, а меня и приказал мне не говорить об этом моему повелителю. Догадайся сам, бесценный повелитель. Подложное письмо. Сир! Вы извлекаете его из-за пазухи убийцы, обнаруживаете подделку и после этого читаете его с еще большей для себя пользой. Вы поймете из него, как затруднительно и опасно оказалось на этот раз спасение вашей жизни. Вы больше не спросите: что они толкуют о ваших убийцах, мадам?

Вы больше не станете задавать глупые вопросы. Любимый, как ослепляет тебя твой сан! Ты стоишь на возвышении, у трона, и ничего не видишь в лучах своего собственного величия. Я спасаю твою жизнь от тех, кто посягает на мою собственную; они покушаются на мою жизнь из-за тебя и из-за меня — на твою. Мы должны умереть вместе или я одна. Но только не ты без меня, это не предусмотрено. Мы хотели, чтобы у нас навеки, нерасторжимо была одна жизнь — но у нас оказалось две смерти, и они бегут наперегонки, какая скорей достигнет цели».

Явилась тетка Сурди, и Габриель охотно приняла ее, потому что она томилась в одиночестве и хотела убежать от него, — подумала даже об одном доме, который

манил ее. Но он был для нее запретным.

Мадам де Сурди обняла свою многообещающую племянницу, что случалось не часто, но сейчас радость обуревала ее.

— Вы спасли королю жизнь. Теперь уж ему ничего другого не остается, мы попадем прямехонько на престол.

Ее свежевывкрашенная куафюра пламенела, белели воздетые кверху руки. Несмотря на всю свою пронизательность, она не сразу поняла, что ее воодушевление не встречает отклика.

— Народ вел вашу лошадь под уздцы. Народ за нас, — восклицала госпожа Сурди. — Двор должен пасть перед нами ниц, — резко выкрикнула она. — Воля народа — воля Божия.

— Тише — попросила Габриель. — Ему бы это не понравилось, если бы он вас услышал.

— Мадам, в своем ли вы уме? — спросила тетка. — Как же ему не быть счастливым, когда он вам обязан жизнью.

Габриель молчала. Она ничего не сказала бы и в том случае, если бы ей самой была понятней вся цепь событий. «Я не должна его принуждать, — чувствовала она. — У него не две жизни, хотя моя и принадлежит ему».

Так как взволнованная родственница наседала на нее, Габриель наконец объяснила, что жизнь королю спасали очень многие и не раз, если предположить, что он сам не умел себя уберечь. Это был второй или третий убийца, которого ловил господин де Фронтенак. Спасителем короля были господин д'Обинье и даже шут Шико.

— Но никого мой высокий повелитель не награждал так, как свою слугу, — произнесла Габриель д'Эстре и, к величайшему изумлению госпожи Сурди, преклонила колени. Повернулась к комнате спиной и в углу обратилась с молитвой к Святой Деве.

Тетке надоело ждать, и она удалилась, внутренне негодуя. «Если бы ты, дурища, не глупела с каждым днем, ты бы держалась своих протестантов и заставила бы их поднять хороший бунт, чтобы добиться возведения на престол королевы из дворянства своей страны!»

— Пресвятая Матерь Божия, — молилась Габриель. — Тебе открыто мое сердце, которое развращено с юных лет, и лишь ты укрощаешь его гордыню. Мой возлюбленный повелитель показал меня народу как я была, в разорванном платье,

такой благодарности и награды я не заслужила. Пресвятая Дева, сохрани мне его жизнь!

Сюда была включена и мольба о собственной жизни – не прямо, но Габриель верила, что ее поймут, и больше не добавила ничего.

Габриель обречена

Генрих пропустил весь следующий день и не пришел к ней. Вечером она получила от него письмо. «Мой прекрасный ангел, – писал он из Луврского дворца. – Ты думаешь, быть королем хорошо, однако у меня на сердце часто бывает куда тяжелее, чем у последнего моего подданного. Нищий под моим окном менее достоин жалости, чем я. Одни, католики, говорят обо мне: от него разит гугенотством. Другие, протестанты, говорят, что я их предаю и что я больший папист, чем сам папа. Могу я тебе только сказать: сердцем я француз, и тебя я люблю».

Она все поняла из этого письма, поняла глубокие причины его грусти, поняла, что воля его скована, по сравнению с ним даже нищий свободен. Не суждено нам соединиться, означало все это. Она же от этого не пришла в отчаяние. Его жалобы придавали ей упования и силы.

Неожиданно вынырнул еще один убийца. Этого никто не выследил в пути, он беспрепятственно мог бы выполнить свое задание; король сам обнаружил его и схватил за руку. Король был особенно настороже, ибо он один понимал, почему к нему подсылают убийц и что за первым очень скоро должен последовать второй. Кстати, первый был доминиканец из Фландрии, второй, капуцин, явился из Лотарингии. Одного поля ягода. Испания или Рим, Лотарингский дом или Габсбургский – истинной дружбы между ними не существовало, только в одном они были согласны: королю Французскому лучше умереть.

Любого подданного императора, друга ли, врага ли, независимо от его веры, испанцы, – вернее, те, что именовали себя испанцами, – уничтожали, резали, сажали на кол, жгли и вешали на дереве у дороги. Это была прелюдия широко задуманного предприятия, по сию пору еще ни к чему не обязывающего, никто не зовет его войной – зачем слово, которое всех пугает? Однако захватчик, по-прежнему без войны, завладел переправами через Рейн по дороге на Клеве.

Немедленно же двинулись в поход полки короля Генриха. Он проложил для них удобные дороги, и его численно сокращенное войско строго блюдет добровольную дисциплину, каждый солдат знает своего короля Генриха, а потому и верит в него.

Вот причина, по которой повсюду, куда вступали войска короля, неприятель давал тягу. Солдатам не на пользу иметь над собой недостойных начальников, не уважать самих себя и в своем недостойном поведении полагаться лишь на случайную безнаказанность.

Захватчик рассчитывал, что полки короля сдадутся, потеряв свой главный оплот; значит, важнее всего уничтожить его. Но так как убийство не удалось, прекратилась и война, если бы слово война было произнесено. Король Генрих не находил причин самому идти к Рейну. Хотя ему больше чем когда-либо хотелось сражаться. Во-первых, король его толка чувствует себя безопаснее среди войска, нежели за всеми караулами Луврского дворца. Сразиться в бою и забыть, сколько позора принесли ему его убийцы, – словно он первый встречный бунтовщик, которого надо постоянно держать под угрозой смерти. Нет, я принц крови, так буду же вести себя наваррским королем.

Первого из двух убийц он хотел помиловать; только бы не раздражать Рим! Теперь же их обоих вместе судили и предали казни. Кроме того, он пригрозил процессом против мадам Маргариты Валуа за совершенное прелюбодеяние. Она тотчас же стала стоворчивой, и Рим понял, что король Франции исцелился от своей гнетущей тоски. Ничто не остановило Генриха, ни отлучение от церкви, ни отеческий совет, когда он вновь пожелал доказать свою твердость. Королевский парламент усердно старался обойти Нантский эдикт, так что он все еще не вступил в законную силу. Теперь же Генрих говорит свое властное слово.

Он говорит его своим законоведам, которых он некогда любил, и они, быть может, любили его.

– Ныне опять проповедуется бунт, снова маячат баррикады, вы, господа судьи, за это время нажили состояния, вы спите на мягких перинах в собственных домах, а не в тюрьме на соломе. Потому и позабыли, по какую сторону баррикад вам назначено быть судьбой и долгом. Если же опять возникают тревожные предзнаменования, то внимайте им. Для меня они мало значат, зато для всякого

другого — много. Когда-то, очень давно, я играл в карты с герцогом Гизом, и из-под карт потекли капли крови, тщетно старались их стереть, дважды, трижды. К кому относилось это предостережение — ко мне или к нему? Оказалось — не ко мне.

С этого он начал, повелев законооведам явиться к нему в кабинет, дабы они оказались ближе к власти и утратились бы ее.

— Войны против протестантской религии, вот чего вам захотелось? Баррикады! Моя выставлена у Рейна, на нее я пошлю вас так, как вы есть, в длиннополых одеждах, и каждому дам в руки ружье.

Они приняли это за шутку, но, кроме того, он пригрозил увеличить их число вдвое и втрое, а это значило, что жалованье их уменьшится наполовину, на две трети, такая возможность усмирила их больше, чем угроза отрубить головы подстрекателям.

Эдикт был утвержден парламентом. Рим не противоречил.

В порыве решимости он выдал замуж свою сестру за герцога де Бара. Мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля, — протестантка, а навязанный ей жених — католик. Генрих вызвал архиепископа Руанского, это был его собственный, правда, сводный брат, но не все ли равно. Не успела Катрин опомниться, как была обвенчана в кабинете короля.

Герцог не замедлил удалиться, да и архиепископ понял, что он уже лишний. Брат и сестра остались с глазу на глаз. Катрин сказала:

— Сир! Я дивлюсь вам, как вы молоды. Как стремительны.

Он почувствовал в ее тоне скрытую иронию с оттенком покорности судьбе.

— Мадам! Это должно было наконец случиться, — услышала она его слова, так сухо он не говорил с ней никогда в жизни. — Должно было, и для престола и для наследования. Граф де Суассон не может дольше преграждать путь моим наследникам.

Жалкое лицо сестры дрогнуло. Она исподлобья взглянула на брата; надо надеяться, что в ее взгляде была лишь строгость, а не что-то еще менее лестное.

— При теперешней вашей стремительности, — заговорила она, — вам следовало бы тут же на месте совершить другое венчание.

Он смолчал и отвернулся. Она собралась уйти, тогда он мигом очутился подле нее и заключил ее в объятия. Они долго стояли, прижавшись друг к другу, и ни один не желал разомкнуть объятия. Он ничего не объяснял, и она ничего не спрашивала. И брат чувствовал: «Вот так мы состарились. Прости мне твои утраты. Для своей славы я пожертвовал твоим счастьем — отнюдь не сторяча. Я дал тебе с ним состариться. Катрин, ты ведь память о нашей дорогой матери, она твоими глазами смотрит на меня. Пока ты здесь, не все еще миновало».

А сестра чувствовала:

«Снова, как встарь, мы вместе, пусть перед концом. Трижды смерть подбиралась к тебе. Благодаря опыту в обращении с ней ты избег ее покушений, не поддался ни болезни, ни убийцам, теперь довольно. Откажись, дорогой брат, от прелестной Габриели, которая стоит тебе жизни. У нас достаточно было времени, чтобы смириться. Между тем ты остался молод, твоя внутренняя твердость противостоит годам, тебя, в сущности, ничто близко не задевает. Ты не можешь увянуть, можешь только сломиться. Неужели я, такая усталая, увижу, как ты будешь лежать на парадном ложе с крестом в сложенных руках?»

Он заметил, что она вздрогнула у него на груди. Он отклонил голову, заглянул в ее лицо, а она в его. Глаза сухи у обоих. Где вы, слезы, где то время, когда мы ссорились, мирились, бывали добрыми или злыми и смех и слезы давались нам без труда?

Прелестная Габриель изменила своей природе и стала проявлять капризы: не будучи больной, она на целую неделю закрыла свои двери, мало того, она заперла потайной ход между своим домом и Луврским дворцом... Генрих послал к ней пажа Сабле, узнать — каковы будут ее приказания. Она велела отвечать, что очень занята со своими астрологами, они доводят ее до головной боли. Юный Гийом преклонил колени и попросил выслушать его наедине.

— Довольно, — сказала она, всплыв, и отослала его прочь. В эту пору она была занята только своими предсказателями.

Генрих опасался влияния подобных людей, он говорил:

— Они до тех пор будут лгать, пока, чего доброго, не выскажут правды.

Ввиду этого его встреча с ними вряд ли сошла бы благополучно; а потому он обратился за помощью к сестре. Она отправилась через потайной ход; у дверей она стучала, пока ей не открыли. Она бесшумно вошла в комнату, где раздавались голоса и был полумрак. Единственная свеча освещала звездочета, гадалку на картах и третьего, который читал по руке. Несчастливая красавица отдала себя во власть трем мудрецам, выслушивала беспрекословно их приговоры, от которых у нее не раз вырывался стон. Катрин почувствовала к ней глубокую жалость. До чего мы дойдем, — эти слова она часто повторяла с недавних пор; они, увы, были применимы и к женщине, которую она прежде почитала счастливейшей из смертных. Каждый из колдунов был в соответствующем одеянии, но безразлично, в мантии или в остроконечной шапке, в маске или внушительном обличье врача, они не умели ясно растолковать ни одно видение или знамение, вместо уверенности пробуждали тревогу и вселяли неопределенные страхи, от которых их жертва стонала. Бедняжка знала только свой молитвенник; ей становилось жутко от одного перелистывания толстых фолиантов, а гороскоп ее ничего не показывает, кроме того, что замужем она будет всего один раз. Неужто звезды считают, что она уже была замужем? Когда брак не был осуществлен и объявлен недействительным? Но вот по руке ее прочли, что она умрет молодой и не выполнит своего назначения, — в случае если у нее будет еще ребенок. Тут она вырвала руку и судорожно сжала ее. И как раз в эту минуту гадалка в маске сама смешала карты, так, что они полетели со стола на пол. А Габриель бросилась бежать.

Ее перехватила мадам Екатерина и повела в отдаленнейший покой; по дороге Катрин поворачивала все ключи.

— Мой дорогой друг, наперекор всему я знаю достоверно, что вы достигнете своей цели, — сказала Катрин, искренней, чем прежде, желая ей этого.

Габриель произнесла беззвучно:

— Мои созвездия и линии руки показывают противное, не говоря уже о картах.

— А воля короля? — возразила ее доброжелательница.

Габриель, едва слышно:

— Она бессильна.

Мадам Екатерина Бурбонская:

— Вас обманывают. Я уважаю тайны небес, но три предсказателя, да еще завидующих друг другу, не давали бы одинаковых ответов, если бы не действовали по чьему-то наущению.

Габриель, сквозь горькие рыдания:

— И все-таки они сказали правду. Я ношу под сердцем дитя, которое помешает мне выполнить мое назначение.

И тотчас же судорожно обхватила Катрин за плечи, умоляя:

— Ни слова об этом!

Катрин поцеловала ее.

— Теперь-то все и наладится! — возразила она с нежной улыбкой.

Габриель не верила.

— Ребенок этот — мой рок, — упорно твердила она. Под конец Катрин посоветовала ей принять юного Сабле и выслушать то, что он надумал. Ибо он предан и смел.

— Он ничем мне помочь не может.

— Он сочинил о тебе песню, прелестная Габриель. Люди поют ее во всем королевстве. Ему стоит только пойти и призвать их.

— Кого? И зачем? Чтобы они спели песню? Ненависть кричит много громче.

В конце концов Габриель обещала исполнить просьбу сестры короля. После беседы с пажом она от имени короля отпустила его домой, и Гийом спешно отправился в свою провинцию Турень, где течет Луара.

Габриели же между тем впору было взобраться на высокую башню и оттуда звать на помощь, так сильно возрастали в ней страх и гнев оттого, что происходило тем временем и о чем она узнавала.

Новый канцлер [76. — Новый канцлер. — Имеется в виду Никола де Силлери (1544–1624), французский дипломат, с 1589 г. советник парижского парламента, маршал Франции.] был ее ставленником. На место старика Шеверни, которого невозможно было дольше терпеть, несмотря на его

отношения с госпожой Сурди, бесценная повелительница посадила некоего господина де Силлери. Для этого ей пришлось пустить в ход все свое влияние на короля, зато среди самых ближних его советников она располагала теперь одним против двух, которых звали Вильруа и Сюлли.

Король совершал противоречивые поступки. Так как сестра открыла ему тайну его возлюбленной и настойчиво просила утешить ее, в нем возобладали неясные чувства. Он поспешил лично повторить свои клятвы — и на этот раз принес с собой кольцо. Примечательное кольцо, — епископ Шартрский надел его на палец королю во время его коронавания и обручил Генриха с Францией.

— Сир! Что вы делаете, — сказала Габриель. К своему ужасу, она сказала больше, чем следовало. — Мои звезды превращают ваш подарок в несчастье, — призналась она. Генрих ответил:

— Бесценная любовь моя. Мы никогда не можем принести друг другу несчастье. У нас обеих одна звезда, и зовется она Франция.

И тут кольцо, отягощенное символами и драгоценными камнями, действительно соскользнуло с его пальца на ее палец. Она же едва сдержала крик: кольцо обожгло ее, она встряхнула рукой, и оно упало на пол.

Генрих убедился, что у нее нет уже прежней силы и решимости. Он приписал это ее положению. А его собственная медлительность, — почему сам он медлит? Причины к этому как будто нет, кроме финансов его королевства, тех громадных сумм, что он должен великому герцогу Тосканскому. Кто же способен помочь ему? Он вызвал к себе Рони. Верный слуга своего государя, по свойственной ему прямоте и трезвости, наверно, успел забыть свою ссору с герцогиней де Бофор. А если и не забыл, то размолвка эта, столь бессмысленная и жестокая, несомненно, заставила призадуматься его рассудительную голову... «Он будет стоворчивее, чем раньше, не потому, что сердце его смягчилось, нет, но служение, служение мне требует от господина де Рони, чтобы он облегчал мои заботы, вместо того чтобы их усугублять». Так думал Генрих, когда вызвал к себе своего министра.

Генрих, сам не зная почему, ожидал этого разговора с некоторым смущением. Осторожно, окольными путями подошел он к планам своей женитьбы, словно это не его планы, а так нужно для блага государства. Даже сам папа ставит его перед

такой необходимостью, ибо он теперь, по-видимому, готов расторгнуть его первый брак.

— Если бы все делалось по моему желанию, — сказал Генрих, оправдываясь, — то моя будущая избранница обладала бы семью главными добродетелями сразу и, кроме красоты, скромности, ровного характера, живого ума, высокого рождения и плодоносного чрева, имела бы еще и большие богатства. Только такая родится не часто, — сказал он в надежде услышать ободряющее слово. Но не дождался его. — Ну, подумаем вместе, — попросил Генрих, однако принужден был сам перебрать принцесс, испанских, немецких и из своего собственного рода. Из семи добродетелей каждая обладала лишь немногими, о протестантках вообще не могло быть речи. Говорят, будто у флорентийского герцога весьма красивая племянница, розовая и белокурая. — Только она из рода старой королевы Екатерины, которая причинила столько зла мне и моему королевству.

Таким образом Генрих старался предупредить худшее. Теперь пришла очередь верного слуги, который не на шутку поразил своего господина. Он не стал противоречить. Явно наперекор своему нраву он высказал мысль, что ни богатство, ни королевское происхождение отнюдь не обязательны. Король хочет иметь жену, которая бы ему нравилась и дарила ему детей. Пусть же оповестит по всему королевству, чтобы отцы красивых взрослых дочерей в возрасте от семнадцати до двадцати лет привезли их в столицу.

От семнадцати до двадцати — Габриель уже вышла из этого возраста. Генрих понял, что Рони преувеличивает свою покорность и уступчивость, дабы отпугнуть его. Он придал желанию короля вид некоей сказки. Отцы, привозящие из всех провинций своих дочерей на смотрины; девушки, собранные под охраной в каком-нибудь доме, чтобы король вволю налюбовался ими. Насмотревшись на них сколько его душе угодно и изучив их сокровенные прелести, он может решить, которая из них родит ему лучших сыновей.

— Впрочем... — прибавил господин де Рони и от иронии и сказки перешел к поучениям, в которых был особенно силен. — Впрочем, выдающиеся личности и прославленные государи производили на свет весьма хилых детей, чему можно привести достаточно примеров. — Он сосчитал их по пальцам, начав с мифических имен из древних сказаний, затем перешел к персидским царям, римским императорам, не пропустил ни одного и закончил Карлом Великим.

Школьная премудрость — лишнее доказательство посредственности этого человека, не стоило и слушать его. Генрих сказал резко:

— Довольно притворяться. Вы знаете, кого я имею в виду. Этим я еще не хочу сказать, что женюсь на ней, — такую оговорку Генрих сделал, чтобы ему не чинили слишком больших препятствий. — Я вам приказываю говорить свободно и с глазу на глаз сказать мне всю правду.

Министру ничего не оставалось, как только открыто заявить государю, что его союз с герцогиней де Бофор никем не одобряется. Надо ли это повторять?

— Вы сами устыдитесь, когда волны любви перестанут захлестывать вас. — Эти слова были оправданы приказом говорить свободно. А далее: — Наследование вашего престола будет оспариваться, даже оба ваши сына будут спорить о нем. Первый — отпрыск двойного прелюбодеяния, второй — одностороннего. Я не говорю уже о тех, которые родятся у вас позднее, в браке; те будут считать себя единственно законными.

Рони, ныне Скулли, в конце концов забылся, взял снисходительный тон и в снисходительности обнаружил надменность:

— Я хочу, чтобы вы это обдумали на досуге, и пока больше ничего не скажу.

— Вы сказали вполне достаточно, — сурово ответил Генрих и отпустил министра.

Он охотно выслушивал так называемые истины. «Все, чем люди могут поделиться, многообразно и назидательно, мне это открывает сущность человека и с одной стороны всегда справедливо. Но единая истинная истина, — где она? Что я знаю?» И все же от разговора с Рони у него осталось какое-то раздражение — не потому, что ему, королю, пришлось выслушать, что когда-нибудь ему будет стыдно. В течение долгой жизни случается стыдиться многих поступков и положений, без которых не проживешь. «Мое бесценное сокровище, самое дорогое мне существо на свете, только бы не слишком много прилипало к тебе от так называемых истин. Я должен сердиться на тебя, я раздражен против тебя и сам теперь совсем уж не знаю, чем это кончится».

Габриель, которая знала — чем, изо всех сил стремилась приблизить развязку. В свои лучшие времена она хладнокровно смотрела навстречу судьбе, а если и боролась, то без поспешности. Теперь же она не уставала торопить события и каждый вечер в спальне требовала, отстаивала свое право, о котором раньше всегда молчала; право возвысить ее она раньше предоставляла единственно своему повелителю. Прелестная Габриель сама себя не возвеличивала, все свершили природа и удача. А несчастная Габриель пользовалась своей красотой как орудием. Она напоминала королю о блаженстве, которое дарила ему; но когда она дарила его на самом деле, это было так же естественно, как прорастание зерна.

Если она в такие вечера показывала на свой живот и громко похвалялась своей беременностью, ради которой он должен на ней жениться, то всякий раз они оба пугались в глубине души. Он — из-за происшедшей в ней перемены. Она — потому, что ссылалась именно на то дитя, которое грозило ей бедой, звезды и линии руки не допускали сомнений. Если ей дорога жизнь, она должна отступить от своей цели; ей не нужны звезды, чтобы понять это. Однако, вопреки ее знанию и желанию, она злобно и настойчиво стремилась к развязке, а у самой сердце замирало, ибо это противоречило разуму и чувству самосохранения.

Генрих ласкал отчаявшуюся женщину. Его собственное раздражение исчезало, а ее болезненная ненависть, если она и ненавидела в эти минуты своего возлюбленного, растворялась в слезах, и они дарили друг другу счастье. Наслаждением, страстью, нежностью он убеждал любимую и самого себя в том, что это все то же замкнутое кольцо радостей, чувственных и сердечных. Но ведь другое кольцо, соскальзывая с его пальца на ее, причинило такую боль, что она уронила кольцо.

Они снова выезжали вместе на охоту. Генрих почти не покидал ее. Ибо он чувствовал ее страх и сам испытывал опасения за нее, хотя и не такие определенные, против которых можно принять меры. Однажды в надвигавшихся сумерках они возвращались с охоты в сопровождении только двух дворян, Фронтенака и Агриппы д'Обинье. Вчетвером достигли они города с левого берега реки, который здесь, неподалеку от старых мостов, зовется набережной Малакэ. Работы на Новом мосту[77. — Работы на Новом мосту... — Речь идет о строительстве моста через Сену — Пон-Неф, одного из красивейших парижских мостов. Строился с 1578 по 1606 г.], сооружаемом

Генрихом, были приостановлены по причине важных событий в королевстве, только в этом году они возобновлены вновь, пока же нужно переправляться на тот берег в лодке. Вот и челн, и угрюмый лодочник, который своих пассажиров не видит и не знает. Король спрашивает, ибо он хочет из каждого извлечь правду:

— Что ты думаешь о мире, который заключил король?

Лодочник:

— Ну, мне-то этого прекрасного мира и вовсе не видно. Ведь налоги на все остались, даже на этот жалкий челнок, как же прикажете жить с него?

Король:

— И король не старается внести порядок во взимание налогов?

Лодочник:

— Король-то, пожалуй, и хорош, но у него есть бабенка; он ее содержит, ей то и дело нужны дорогие наряды, разные побрякушки, а кто за это платит? Мы. Хоть бы она по крайней мере была ему верна. А то она, говорят, прямо гулящая.

Смех короля оборвался. Герцогиня де Бофор была в широком плаще, капюшон закрывал ей все лицо. Лодка причалила, оба дворянина выпрыгнули и подали руку даме. Король последним вышел на берег и крикнул вслед перевозчику, который отчаливал:

— Я ей это передам! — Тот, долговязый и костлявый, стоял, склонясь над веслом, и даже головы не повернул. Герцогиня громко сказала королю, чтобы слышали придворные и лодочник:

— Его надо повесить.

По-настоящему это испугало только одного человека, Агриппу д'Обинье.

Генрих успел привыкнуть к раздражительности бесценной повелительницы. А ведь еще недавно, обезвредив с опасностью для собственной жизни первого из двух убийц, подосланных к королю, она просила для него пощады. Генрих сказал мягко:

— Не троньте этого беднягу. Нужда ожесточает его. Я хочу, чтобы он впредь ничего не платил за свою лодку. И тогда, я убежден, он будет каждый день петь:

«Да здравствует Генрих! Да здравствует Габриель!»

Пройдя несколько шагов, Габриель заговорила, сбросив свои покрывала, и в голосе ее слышались и горечь и боль:

— Этот человек был кем-то подучен. Вас хотят убедить, что я всем ненавистна.
Сир! Когда после нападения на вашу священную особу наших коней вели под уздцы,
ваш народ не питал ко мне ненависти. Вы помните, какие потом раздавались возгласы во дворе и под моими окнами? Народ не питал ко мне ненависти.

— Мадам, о ненависти нет и речи, — сказал Генрих. Он обнял ее и чувствовал
под широким плащом, что она дрожит всем телом. — Вы никогда не создавали себе
врагов. Вы были добры, и благодаря вам я становился лучше. Я простил моему
Морнею трактат против мессы, потому что вы уговорили меня. Моему Агриппе,
у
которого длинный язык, я часто возвращал свое расположение благодаря вашей
доброте. Я люблю вас, а потому будьте спокойны.

Дул холодный ветер. Генрих крепче запахнул на ней плащ. Сквозь плотную ткань, которая глушила ее голос, она жалобно шептала:

— За что меня ненавидят? Я не хочу умирать.

Они подошли к дому Габриели. Она содрогнулась.

— Сир! — воскликнула она. — Мой возлюбленный повелитель! Сядем на коней.
Вы
увидите, что ваш народ любит меня.

Тут Агриппа д'Обинье понял, что пора ему прервать свое испуганное молчание.
Кто же не знает, что происходит? Каждый что-нибудь да слышал либо видел одним
глазком. Все догадываются, кроме короля.

— Выслушайте меня, сир! — сказал Агриппа. — Госпожа герцогиня, простите
мне
то, что я скажу.

Генрих не узнавал своего дерзкого боевого петуха: Агриппа, которому не по себе и который лепечет, как уличенный грешник!..

— Сегодня вам в самом деле предстояло увидеть в своей столице много деревенского люда. К вашему Луврскому дворцу должны были собраться большие
толпы и воззвать к вам, дабы вы услышали, чего хочет ваш народ. Вам надо решиться и дать ему королеву одной с ним крови.

— Почему же я не вижу этих людей? — спрашивал Генрих. — Откуда они пришли? —
лихорадочно спрашивал он.

Агриппа:

— С Луары пришли они.

Генрих:

— Я знаю. Речная прогулка. Один крестьянин обещал мне тогда: вашу королеву мы будем оберегать, как вас. Я их не звал. Их здесь нет. Что же случилось?

Агриппа:

— Когда они прибыли к арсеналу и хотели пройти в город, господин де Рони с помощью военного отряда принудил их повернуть обратно. Их жоака он арестовал.

Генрих:

— Человека, который пообещал нам свою защиту? Этого я не желаю.

— Привел их сюда другой, — пробормотал Агриппа и боязливо оглянулся, не подслушивает ли кто-нибудь. Но и у Фронтенака было такое же лицо; оба слишком многое знали и слишком долго молчали. Ветер, тьма, тайна и четыре фигуры, застывшие на месте. Кто сделает шаг, кто произнесет слово?

Габриель:

— Это господин де Сабле. Я послала его. Ему не повезло, потому что он повел свой отряд мимо арсенала. Сир! Накажите не его, а меня.

Генрих ничего не ответил. Он приказал Фронтенаку проводить герцогиню домой. Его же самого Агриппа проводил до первого караула и остановился. Генрих уже отошел на некоторое расстояние, но вернулся и сказал:

— Благодарю тебя, старый друг.

Один из солдат высоко поднял фонарь, и Агриппа увидел на лице Генриха все муки совести. Это не настроило его ни на йоту снисходительнее. К нему вернулся его прежний дерзновенный тон.

— Вы благодарите меня слишком поздно. Если бы я заговорил в должную минуту! Вначале было всего несколько таких, кого вам следовало изгнать и обезвредить. Теперь же это обширный заговор, один не знает другого. Но все замешаны в нем, и все окажутся виновными, в том числе и я и вы.

При последнем, самом дерзновенном слове приземистый человечек выпрямился, стал в позу поклона – отставленная нога, шляпа на весу. В сущности, не король отпустил его, а он короля.

Генрих заперся у себя. Он хочет сделать подсчет, провести черту и подписать итог, как некто в арсенале. «У того чистая совесть, следствие точных расчетов, а другой ему и не нужно. Он может в любую минуту доказать мне, что крестьяне шли на мою столицу как бунтовщики и что тот, кто их привел, по справедливости сидит в тюрьме, ибо он молод и дерзок. Я же не смею быть таким, иначе я, право же, знал бы, что мне делать».

Он забегал по комнате, он сбросил на пол два больших кувшина, звон металла долго отдавался в воздухе. Наконец король громко застонал, тогда из глубины комнаты появилась фигура его первого камердинера д'Арманьяка, который держался очень прямо.

– Сир! – начал он без разрешения, голосом, чрезвычайно напоминавшим другой, недавно слышанный Генрихом. Сперва Агриппа, а теперь этот, все старики как-то сразу осмелели.

– Что тебе нужно?

– Вы должны узнать правду, – решительно заявил д'Арманьяк. – Затем вы будете действовать, как подобает великому королю.

Генрих сказал:

– О величии мы все знаем. Вот правды нам не хватает, а тебе она якобы известна?

– Она известна вашим врачам. Вашим врачам, – повторил спутник всей его жизни. Он несколько сбавил важности и скривил рот. – Они доверились мне!

– Почему не мне? – удивился Генрих, пожав плечами. – Их братия любит торжественность. Когда я был болен, все собрались у моей постели и мой первый врач Ла Ривьер обратился ко мне со строгими наставлениями. Конечно, тот, кто изучил мою природу, знает долю правды обо мне.

– У господина Ла Ривьера не хватило мужества сказать вам ее в лицо. –

Д'Арманьяк говорил глухо, опустив глаза.

Генрих побледнел.

— Ничего не тай! Это касается герцогини де Бофор?

— И ее. — Старик попытался еще раз принять бравую позу, но то, что он выговорил, звучало беспомощно.

— Говорят, вы больше не сможете иметь детей.

Генрих скорее ожидал чего угодно.

— Да ведь у меня опять будет ребенок. Она носит его под сердцем.

Он услышал:

— Это — последний. Ваша болезнь положила этому конец, как утверждает господин Ла Ривьер.

Король ничего не ответил. В его голове замелькали мысли, выводы, решения; д'Арманьяк следил за всем. Чем больше их сменялось, тем непреложнее был он уверен в последнем, которое непременно должно возникнуть и подвести черту. Так и есть, увидел д'Арманьяк. Твердо принято и не изменится впредь. Он женится на женщине, от которой у него есть сыновья, ибо больше у него их быть не может.

Первый камердинер отошел в сторону. Ему господин его об этом не сообщит, ибо это сама судьба и она не нуждается в доводах «за» или «против». Если бы у него спросили совета, д'Арманьяк осторожно намекнул бы, что, может быть, господин Ла Ривьер находится в стоворе с герцогиней де Бофор. А если не в стоворе, то по собственному почину захотел угодить ей. Впрочем, он считает, что служит этим королю. И плохо служит, подумал д'Арманьяк. Ла Ривьер лжет, король, конечно, может иметь детей, да и ложь его запоздала. Король уже принял решение. Но по той же причине, что и он, враги герцогини не станут мешкать.

Старик, сразу постаревший на несколько лет, с трудом поставил на место тяжелые кувшины. Король верит врачам. Астрологам он не верит, но тем крепче верит врачам. А они уже не в силах помочь. Габриель обречена.

О совести

Дом финансиста Цамета стоял уединенно, хотя и на шумной улице, которая начинается у Сент-Антуанских ворот. Эта улица триумфальных въездов расширялась

вправо к Королевской площади короля Генриха, которая все еще не была закончена.

Дом напротив повернулся тылом к прекрасной улице и был к тому же отгорожен

высокой стеной; чтобы попасть в это обособленное владение, приходилось завернуть за угол в узкую улочку, оттуда — в небольшой тупик. Иногда случалось, что железная дверца не была заперта. Для посетителя, явившегося в

этот ранний час, она отворилась.

Он попал на широкий двор и, как человек бывалый, не слишком подивился обширным строениям итальянской виллы. Все здания низкие, а крытые галереи и

террасы легкие, изящные и поднятые над землей. Любитель красоты мог прогуливаться по ним, когда день был ясен и сад благоухал. Жилой дом, купальни,

конюшни, службы и помещения для челяди были устроены на широкую ногу, однако

без излишеств, — «ибо, в противоположность варварам, мы никогда не стараемся

казаться выше, чем нам приличествует», — подумал посетитель.

Он спросил привратника, встал ли уже господин. Неизвестно, гласил ответ. Этот ранний час, после того как удалились последние гости и он позволил себе

краткий отдых, господин проводит в своей спальне у секретера, но мешать ему не

дозволено. Конечно, не считая особых случаев, — добавил слуга с непонятной

учтивостью — посетитель не похож был на богатого человека. И все же его тотчас

же проводили в дом, ступая при этом на цыпочках. В доме его с поклоном встретил

дворецкий и, приложив палец к губам в знак молчания, прошел впереди

таинственного гостя и тихонько постучал в стену, а затем нажал невидимую пружину.

Себастьян Цамет не сидел за расчетами, как предполагалось. Таинственный посетитель проник в комнату несколько преждевременно и застал финансиста за

молитвой. По крайней мере так могло показаться, ибо он, запахивая шелковый

халат, поспешно поднялся с пола. Свет занимающегося зимнего дня боролся с мерцанием свеч.

— Вы давно уже встали. У вас утомленный вид, — заметил мессер Франческо Бончани, агент великого герцога Тосканского.

— Я ждал вас, — сказал сапожник Цамет, кланяясь совсем так же, как

дворецкий. Он не ложился вовсе, его душа была полна тревоги, и он изо всех сил старался не обнаружить ее. Но политический агент уже отвел от него взор и оглядывал богато убранную спальню. У этого человека было больше вкуса к красивым вещам, чем охоты наблюдать за людьми. Их он знал и так, и, кроме того, естественно, чтобы богач низкого происхождения молился. Кому же быть религиозным, если не таким людям?

Взгляд посетителя блуждал по изящным колонкам кровати из розового дерева и по узорчатому шелку на стенах.

— Что-то у вас тут изменилось, — заметил он.

— Не угодно ли вам позавтракать? — поспешно сказал Цамет. — Я сейчас отдам приказание, — Но, прежде чем подойти к воронке рупора, он приблизил лицо к свечам и задул их. Благодаря этому в углу стало темно, тем легче Бончани обнаружил картину. — Так я и знал, — сказал он.

— Что вы знали? — спросил Цамет, жестоко сожалея, что позабыл спрятать картину. Неудобный гость сказал:

— Вы правильно сделали, потушив свет. Такие краски сверкают сами по себе, точно алмазы.

Он прекрасно знал, что ни камни, ни смеси из масла и разноцветной пыли сами по себе не имеют блеска. Зато им обладает богатство. А не благоговеть перед богатством, хотя бы это было недостойно человека просвещенного ума, Бончани не мог. Он презирал богатых и преклонялся лишь перед идеей богатства; в этом было его оправдание.

Цамет настойчиво предлагал ему кресло. Он клал на него одну подушку за другой, но Бончани нельзя было оторвать от картины. Он угадал художника по особенностям его письма, понял также, что это был первый набросок, позднее дописанный на потребу зрителю.

— Раньше это, несомненно, было лучше. Готов биться об заклад, что осуществление в большом масштабе, которое непременно должно было соблазнить этого варвара, много отняло от первоначального вдохновенного замысла. Такой гений, несомненно, изучал наших итальянских мастеров, однако не уразумел главного. Ему даже при большом старании почти не удастся выйти за пределы чувственного восприятия. Яркие краски и изобилие плоти; но совершенство недоступно ему, ибо оно находится в области духа.

— Пожалуйста, — сказал Цамет у накрытого стола, который бесшумно поднялся снизу. Бончани продолжал говорить:

— Все равно, вначале замысел был вдохновенный. Король недвижим на своем троне, как идея величия, а подле распростерта голая возлюбленная. Плакать хочется, что это не удалось. Что с этим сделал бы любой из наших!

— Ничего не сделал бы, — отвечал Цамет, ибо богач не любил, чтобы хулили его
собственность. — Далек не у всех художников есть способность к смелым выдумкам. А чего стоило добиться, чтобы он продал большое полотно королю, а набросок мне. Конечно, предложенная мною сумма была настолько высока, что никто в Европе не мог бы ее превзойти.

Бончани оглянулся на него.

— Я уплачу вам вдвое за счет герцога.

— Из достойного почтения я охотно предоставил бы его высочеству столь ничтожную вещь безвозмездно. — Цамет прижал руки к груди, где испуганно билось сердце. — Но король никогда бы мне этого не простил, — робко закончил он.

Политический агент всем корпусом повернулся к нему. Опасений этой твари он не принял во внимание; небрежно окинул он взглядом фигуру сапожника, опущенные плечи, женские бедра, лицо, которое порой, в жажде наживы, становилось волевым и тем не менее оставалось плоским, как у рабов. Зрелище малоинтересное. Бончани отвернулся — меж тем как Цамет не мог отвести круглых глаз от тягостного гостя. Он чувствовал, что этот сухопарый, но благообразный человек в поношенной одежде принес с собой большие осложнения. Какая польза, что он с недавних пор предвидел их. Цамет внезапно заахал, что печеные устрицы остынут.

— Я велю подать другие.

— Нет, — сказал Бончани. — Я не ем устриц. А если съем, то лишь из уважения к вашей знаменитой кухне.

Он сел за стол и сделал вид, будто ест. Глядя на его запавший рот, нельзя было поверить, что он действительно поглощает пищу. Над ввалившимися щеками возвышался выпуклый лоб и сильно развитые надбровья. Трудно было решить: череп ли оголен спереди, или лоб слишком высок. Бончани не опирался на спинку кресла,

ни разу не опустил головы, и когда Цамет сидел, наклонясь над тарелкой, на нем неотвратно покоился холодный взор. Гость молчал и не мешал ему жевать — это была отсрочка, как понимал сапожник. Набив рот, он, чтобы выиграть время, принялся извиняться, что сегодня пятница и у него имеются лишь рыбные блюда, запеканка из камбалы с устрицами в лакомом соусе, приготовление которого хранится в секрете. Король любит его из-за травы эстрагон, которая напоминает ему его родину Беарн.

Цамет поспешил налить гостю второй стакан; первый тот осушил без заметных результатов. Светлое вино горячило кровь, но холодный взгляд оставался холоден.

Цамет злился на гостя; нищий, которого великий герцог содержит весьма скудно.

Богатый вельможа знает, кому следует платить; меньше всего тому, кто добровольно постится и кому собственный ум заменяет любые сокровища. Ему дают возможность применять свои способности и втихомолку вести опасную работу, меж тем как официальный посол окружен соответствующей пышностью, но редко посвящается в самые важные дела.

— Больше не угодно? — спросил Цамет, решив положить конец как завтраку, так и раннему визиту. Однако он предчувствовал, что это не удастся. Гость заговорил.

— Только у Цамета знают толк в еде, — сказал он.

Хозяин с облегчением вздохнул.

— Вы повторяете то, что говорят все. Господин Бончани, сравните только, как скудно питаются при здешнем дворе.

— Я не бываю при дворе, — возразил агент и напрямик подошел к делу. — Я упомянул о вашей кухне, ибо при известных обстоятельствах даже важные государственные вопросы могут быть разрешены через посредство кухни.

«Разрешены — так он это называет», — подумал финансист, и ему стало тяжело на душе, ибо теперь уже не отвратить судьбы.

Бончани начал:

— Люди, которые говорят, что для них священна жизнь других людей, бывают двоякого рода. Во-первых, те, кому она действительно священна. Это глупцы, и они становятся опасны, когда чернят перед общественным мнением смелые и жестокие деяния или, чего доброго, осмеливаются разгласить то, что решено и

неминуемо свершится.

Слова сопровождалось грозным взглядом в круглые глаза собеседника. Затем агент продолжал свою речь невозмутимо, как книга:

— Вторые говорят, что их совесть никогда не позволила бы им убить, хотя они часто убивали, что известно всякому. Наш монарх, великий герцог, мудрый и справедливый государь...

Бончани остановился и наклонил голову в сторону двери.

— Будьте спокойны, — сказал Цамет, готовый ко всему. — Я умышленно держу туземных слуг, они не понимают нашего языка.

Тот продолжал невозмутимо, как книга:

— Государю не надобно иметь собственной совести, ему нужна только совесть власти. Мой государь убил своего брата и жену брата, что знают все, и все молчат, ибо он этим доказал свое нравственное достоинство и силу. Это признают именно заурядные и слабые люди, которые сами никогда не могли бы убить. Посредственность так создана, что охотно переносит господство убийц, в чем нет никакого противоречия с ее готовностью верить убийце, когда он говорит, что уважает жизнь.

Бончани выпил второй стакан, но и после него сохранил желтоватую бледность.

Цамет не все понял из его ученой речи, но тем явственнее слышал поступь судьбы.

Подняв длинный восковой палец, ученый говорил:

— Лишь очень большой и очевидной лжи верят безоговорочно. Если ты умертвил ядом или мечом тринадцать человек, не говори: их было двенадцать. А скажи: ни одного. Это будет принято и станет неоспоримым при условии, конечно, что ты обладаешь властью насильственно приучить угнетенный народ к легковерию. Тогда в дальнейшем не понадобится и принуждение. Народ верит и блаженствует.

Мыслитель превосходно сознавал, что мечет бисер перед свиньями, он ни на минуту и не думал приобщать какого-то Цамета к своим изысканным откровениям.

Он отнюдь не удостаивал этой чести ростовщика, кто бы тот ни был; он видел

перед собой богатство, как таковое, — идея, величие и сущность которой не обуславливается людьми. Невзирая на меньшую одаренность богатых, установлено,

что их орбита имеет какую-то тайную притягательную силу для мощных и

блистательных творений или деяний, которые они покупают. Если приглядеться внимательнее, то плата за прекрасные дерзновенные создания определяется не деньгами, а скорее низостью тех, кто может за них заплатить. Искусство не знает совести. Мысль бесовственна. Оба существуют благодаря наличию той породы людей, которой не полагается знать нравственные препоны, хотя бы какой-нибудь из финансистов по слабодушию стоял на коленях и молился. Однако же Цаметы необходимы, дабы могли существовать Бончани.

В то время как мыслитель без долгих проволочек шел прямо к делу, Цамет, в свою очередь, напрягал все силы ради безнадежной попытки, — а может быть, и не вполне безнадежной. В конце концов, перед ним ведь всего лишь жалкий тунеядец, брызга и шпион, и никакими злодеяниями ему никогда не попасть в сильные мира сего. И какая польза ему от его бахвальства.

— Почтеннейший! — попытался заговорить Цамет. — Я, подобно вам, ценю красоту формы. Ваша речь доставляет мне несравненное наслаждение. Избавьте мой менее утонченный ум от словесного ответа. Разрешите мне лучше, так как я богат, показать вам скрытые сокровища моего дома. Это настоящие чудеса ювелирного искусства! Толпы блюдолизов, которые дни и ночи тунеядствуют и шпионят в моих залах, даже не подозревают о них. Вам же будет предоставлено самое ценное, и не только чтобы полюбоваться, а и унести с собой что понравится!

После такого предложения, которым его рассчитывали подкупить, тайный агент вперил взгляд в хозяина. Гладкое лицо гостя, такое гладкое, как будто мысль пощадила его, покрылось морщинами и перекошилось, — но не сразу, а настолько медленно, что Цамет некоторое время был в недоумении, чего ждать дальше. Наконец его взорам предстало воплощенное презрение; такого совершенного презрения он не видел никогда, как ни часто сталкивался с ним в жизни. Несмотря на сильнейший испуг, он сохранил еще некоторую способность иронизировать над собой и подумал: «Себастьян, ты раздавлен». После этого он перестал сопротивляться и жестом показал, что готов теперь выслушать главное.

Тогда Бончани стал выказывать своей жертве чрезвычайное почтение, которого до сих пор не было заметно, но, по сути, расстояние между ними осталось прежним. Он заговорил:

— Весьма важное государственное дело должно благополучно завершиться через посредство кухни. Выбор пал на вас и на вашу кухню. Поздравляю вас с такой честью.

— Незаслуженная милость, — пробормотал несчастный Цамет.

— Особа, — сказал Бончани, отчеканивая каждый слог, — которая здесь часто и охотно кушала, должна вкусить в этом доме также и последнюю трапезу.

— Я повинюсь. Прошу вас не думать, что я хочу ослушаться высочайшего приказания, но по моему скромному разумению, которое совсем не идет в счет, и человек вашего веса, конечно, не обратит на него внимания, — так вот, по моему разумению, известная особа и без того не достигнет своей цели. К чему же еще...

Цамет проглотил слово, он продолжал:

— К чему подносить ей плохое блюдо?

— Очень хорошее. Чрезвычайно полезное. Оно пойдет впрок, если не той особе, которая его вкусит, то его высочеству великому герцогу. Затем королю Французскому. А в дальнейшем и всему христианскому миру. Картина, которую я у вас покупаю, обойдет скоро всю Европу. Зрелище этой плоти, нагло распростертой подле королевского величия, убедит дворы и народы, что спасения можно ждать лишь от пресвятой руки Божией.

«Неужто рука моего повара столь свята? — мысленно спросил себя Цамет, серьезно призадумавшись. — Неужто это и вправду будет доброе дело? Но возможность угодить потом на колесо или на виселицу тоже мало заманлива. Все равно уже поздно, страха мы больше не обнаружим. Страшнее всего — человек, что сидит сейчас у нас в комнате. Он или я. Разве позвать людей, чтобы они избавили меня от него», — думал Цамет. Но думал нерешительно; от одного острого взгляда гостя весь пыл его погас.

— Я повинюсь, — лепетал он. — Мне очень лестно, что выбор пал на меня. К сожалению, я не вижу подходящего способа, если можно так выразиться, залучить сюда известную особу.

— Она придет сама в надлежащий час, — гласил ответ.

С этими словами посланец судьбы достал листок бумаги и прочел вслух новости, которые услышал от королевского духовника Бенуа. Раньше чем лист был сложен вновь, Цамет привычными зоркими глазами разглядел, что он совсем чист. А если бы он и был исписан, все равно то, что Бончани прочел, никак не могло быть запечатлено на бумаге. Такое не удостоверяется подписью и печатью, и эти двое просто столкнувались без свидетелей и документов. Да, чистый лист бумаги убедил Цамета, он отбил у него всякую охоту откаться от навязанного ему решения.

Когда Бончани несколько раз обернул вокруг себя большое полотнище, служившее ему плащом, и собрался уходить, Цамет все еще продолжал бормотать торжественные клятвы. Непрошенный гость наконец-то удалился, и тут Цамет оцепенел. Он поднял было кверху обе руки, громко застонал, попробовал встать на колени, но отбросил эти попытки и застыл в неподвижности, ощущая лишь сразивший его удар. Его совесть говорила: «Я, Себастьян Цамет, сапожник Цамет, должен отравить возлюбленную короля. И сделаю это, ибо я труслив, как сапожник, а не то яд достанется мне самому».

Из боязни, что его уединение может броситься в глаза, он покинул спальню и занялся обычными делами. В глубине души он продолжал неумолимо считать, но только не деньги. Он мысленно клал на одну чашу весов великого герцога Фердинанда и его страшного ученого, а на другую короля Генриха и его бесценное сокровище. Как бы он ни поступил, в обоих случаях ему грозит гибель. Только от Бога можно ждать спасения; если бы Он простер Свою святую длань, Он, наверно, оградил бы бедного Цамета. Сапожник испугался оттого, что внутренний голос назвал его бедным. Он давно отвык быть бедняком.

Тут финансист возмутился. Хотя робко и тихо, но он воззвал к Всемогущему, прося пощадить его. Святая рука Божья легко может обойтись без ростовщика при французском дворе, где он составил свое счастье и хочет его сохранить милостью короля Франции. И с помощью благосклонности герцогини де Бофор, присовокупил он. «Ей постоянно нужны деньги, я сейчас сосчитаю, сколько она мне должна, и могу ли я решиться собственными руками лишить ее возможности когда-либо

заплатить мне. Наоборот, она должна стать королевой, чтобы погасить счета!»

Цамет предавался этим размышлениям, сидя в своей конторе, между его пальцами скользили деньги, кругом скрипели перья писцов, то и дело входили и выходили клиенты. Цамет наклонился над мешками с золотом, дабы никто не заметил, что глаза у него влажны. Он печалился о Габриели.

В его памяти над ним снова склонялись все ее божественные прелести, как в ту ночь, когда она потребовала шесть мешков золота для военного похода короля. «Прекраснейшая женщина разрешает сапожнику Цамету созерцать свою красоту только за большие деньги, иначе и быть не может. Однако же я поступил тогда как благородный человек, она сама это сказала. К чему было становиться благородным по ее милости, если я должен воздать ей теперь за это таким супом. Дабы она почувствовала, что съела, а я бы стоял подле, и ее последнее слово ко мне было: негодяй? Нет, я не хочу этого. Этого я не сделаю».

Вечером, в переполненном доме, под музыку и крики игроков настроение Цамета изменилось, теперь важны были лишь Тоскана и Габсбург, всемогущие властители, верное обеспечение для делового человека. Здешние дворяне – все бедняки, клячат, чтобы он отсрочил им карточные долги, да и королева не уплатит никогда. А при этом позволяет себе презирать его, как только он почтительнейше обращается к ней со счетами, будь то лишь проценты на проценты. И все-таки на следующий день Себастьян Цамет отправился в арсенал к господину де Сюлли.

Кареты у финансиста были роскошней, чем у короля.

На этот раз он воспользовался скромным экипажем, принадлежащим его дворецкому, и поехал окольными путями, чтобы не бросаться в глаза. Он сидел, упершись руками в колени, в уме его непрерывно мелькали слова, с которыми он обратится к министру, за ними следовали ответы благородного господина. Цамет намеревался называть его сегодня «благородный господин», хотя обычно, во время их постоянных сношений, между ними был принят деловой тон. Он скажет: «Благородный господин! Ваша деятельность, равно как и моя, подвергается большой опасности. Случилось так, что мы сейчас находимся в одинаковом положении и в

смысле выгоды, и в смысле ущерба, что не всегда имело место. События, которые надвигаются, уравнивают ростовщика и благородного господина».

Министр скажет: «Я знаю, то, что происходит, мне известно. Между тем все ограничивается до сих пор одними слухами. А где факты? Как мне быть в случае, если бы я захотел вмешаться?»

Цамет скажет: «Вы захотите, благородный господин, когда я вам расскажу, какого посещения я удостоился вчера ранним утром, второго такого я себе не желаю. Если в самом деле случится несчастье, что будет с нами? Мне не видать моих денег, а вам? Может ли кто-нибудь при таком ненадежном положении в королевстве советовать моему государю, великому герцогу, чтобы он и дальше вкладывал сюда капитал? Вы возразите, что ведь он сам отдал приказ совершить злодеяние. Это выдумка агента, я знаю моего государя. Если же он обо всем осведомлен, тогда, значит, он просто хочет удостовериться, может ли самая высокая дама в стране быть уверена в своей безопасности – и этим будет руководствоваться. Как же ему прислать сюда свою племянницу, если ей грозит такая же участь? Благородный господин, об этом нечего и думать. Ваш деловой ум направит вас по верному пути, если даже несчастная женщина подала вам повод для не совсем добрых чувств».

Министр сделает протестующий жест: «Недобрые чувства здесь ни при чем. Я лицо ответственное. В столице моего монарха подобные сомнительные происшествия не должны иметь место, не говоря уже об их финансовых последствиях. Господин Цамет, вы показали себя мудрым и храбрым, ибо вполне ясно, что вы открываете мне заговор с опасностью для собственной жизни. За этим человеком будут следить».

Цамет, растроганный до глубины души: «Благородный господин!»

Министр: «Дайте мне вашу руку и не зовите меня благородным, я не более благороден, чем вы. Поистине достойно удивления, что человек, занимающийся лишь коммерческими делами, сам собой превращается в дворянина. Это не иначе, как предопределение. Король сделает нужный вывод и возведет вас в дворянство. На вашем гербе будет ангел с распростертыми крыльями, ибо вы спасли от беды высокопоставленную даму и все королевство».

До таких высот вознеслись в уме финансиста его слова и ответы на них, которые он предвидел. Когда коляска подъехала, с запяток соскочил лакей и

побежал вверх доложить о своем господине, как это всегда бывало.
Вернулся он
много медленнее: господин де Сюлли не принимает.

Разве он выехал, спросил Цамет. Нет. Значит, у него совещание? Нет, он один.
Почему же он никого не принимает? Никого — это не сказано. Ответ относится
только к господину Цамету.

Тот не понял — не сразу понял. Пылкие мечты и возвышенные чувства, с которыми он приехал сюда, до сих пор держали его в плену. В его коляске имелись
письменные принадлежности. Цамет спешно написал, что он единолично владеет
государственной тайной и требует аудиенции. Лакей побежал вторично. Вскоре
сверху послышался грохот, стук, и к подножию лестницы скатился его посланец: на
сей раз головой и руками вперед. Кто это сделал, спросил Цамет и услышал: господин де Сюлли самолично. Тогда он понял и повернул назад.

Рони снова принялся за работу, помехи словно не бывало. Не смело быть. Однако взять себя в руки было нелегко. Человек с длинной вогнутой спиной покинул свой громадный стол и очутился перед портретом рыцаря в латах: это был
он сам. Он тотчас же отошел от портрета, только глаза рыцаря следовали за ним и
глядели на него, где бы он ни находился. Это была знакомая особенность портрета, но сегодня краска залила лицо преследуемого и жгла его.

«Не приказать ли воротить сапожника? Да, я его верну. Долг требует, чтобы я
его выслушал. Как я предстану перед королем, если он будет знать, что я уклонился: как я предстану перед ним — потом! А если ничего не случится? Не в
моих привычках тратить время на болтовню. Недоказанную болтовню, ибо, кто занимается предприятиями такого рода, не оставляет никаких следов, это предусмотрено. Следовало бы совсем не знаясь с ним и ему подобными. Против
разбойников я могу выслать солдат — этому же я все равно не воспрепятствую. Я
стану соучастником, если призову к себе доносчика. Соучастником я быть не хочу.

Я ничего не сделаю, я умываю руки. Разве не предупреждал я, когда еще было
время, не советовал им обоим отказаться от своей прихоти, раз она негодна
Богу. Богу неуютно все, что противно порядку и высшему служению. Королевское
служение превыше всего. Я призван радеть о его служении больше, чем он сам. Ей

я уже однажды спас жизнь. Мне она обязана спасительной немилостью короля. Тем хуже для нее, раз она не внемлет разуму и не устраняется, а, наоборот, добровольно стремится к гибели, хотя и знает, что ей суждено.

Поздно, я не могу ей помочь. Она сама затянула веревку, и оборвется веревка лишь с ее жизнью. Без моего участия. Отец Небесный видит мое сердце. Я по долгу соглашаюсь на тот конец, который предназначил Ты, Господь Саваоф [78. – Господь Саваоф – одно из имен Бога в еврейской мифологии и имя Бога-Отца в христианской.]!»

Сказав это, Рони почувствовал, как совесть его словно чудом успокоилась. Он уселся за свой гигантский загроможденный письменный стол, и на взгляд рыцаря, который последовал за ним и сюда, он ответил твердым взглядом.

Прощание

Габриель узнала великую новость из письма от двадцать четвертого февраля 1599 года, в котором Генрих назвал ее своей государыней. Много превосходных имен давал он ей и не раз заимствовал хвалы своей любимой из сфер могущества и величия. Но только не эту хвалу, не это имя.

Она была счастлива. От избытка счастья она стала молчалива. Она ему не ответила, не чувствовала никакого нетерпения, наоборот, неделя казалась слишком коротка, чтобы из многочисленных слов королевского письма разглядеть каждое в отдельности и продумать его смысл. «Мой прекрасный ангел». Еще недавно я была от небесного бесстрастия. И прекрасна – разве могу я быть прекрасна, нося под сердцем наше четвертое дитя? Но ты говоришь это, мой бесценный повелитель. «Такой верности, как моя, еще не знал мир». Это истинная правда, и не по принуждению он на восьмом году более верен мне, чем в первый год. Долгие годы, они-то и связали нас.

Тут ей вспомнились былые времена, ее собственное превращение, как она постепенно сделалась вполне его собственностью, а ведь была жестокосердна и горда, когда была еще ничем. Здесь же, на вершине счастья, созданного только из любви, ее и его, у нее явилось желание склониться перед обездоленными и немощными.

Семь дней протекли для нее сладостно, под сердцем она чувствовала ребенка, а мыслями витала в грезах, это были счастливейшие дни в ее жизни. Второго марта ее возлюбленный возвестил своему двору, что он решил жениться на ней в Фомино воскресенье. Так как день был наконец назначен, папе Клименту тоже был положен предел для колебаний и оттяжек. Несколько дней провел он в молитве и приказал поститься всему Риму в самый разгар карнавала, ибо он вскоре должен был расторгнуть брак короля Французского и разрешить ему возвести на престол дочь своего народа.

То кольцо, которое однажды упало на землю, король теперь открыто надел на палец своей королеве. Он прибавил к нему драгоценные свадебные подарки, впрочем, стоили они ему не больше, чем кольцо, потому что он сам получил их в дар от городов Лиона и Бордо. Двор не отказывал себе в удовольствии подчеркнуть это и еще многое другое, что могло умалить значение происходящего. Между тем настал карнавал, всеобщее веселье смягчало злобу, ранее она была более настойчива: даже слухи и предзнаменования, вместе с проклятиями, исходившими из уст проповедников, замолкли на это время.

Сама Габриель вначале не могла прийти в себя, столько приготовлений предстояло ей к великому дню. Она заказала себе подвенечное платье из алого бархата, цвета королев. Оно было заткано золотом и тонкими серебряными нитями, на нем были шелковые полосы, стоило оно тысячу восемьсот экю; мастер, который его шил, держал его у себя, пока оно не будет оплачено. У нее дома ее личный портной работал над вторым праздничным одеянием, которое обошлось не дешевле и особенно нравилось ей тем, что на пышных испанских рукавах переплетались буквы Н и G. Пятьдесят восемь алмазов ценой в одиннадцать тысяч экю должны были украшать круглое золотое солнце в волосах королевы.

К этому надо еще добавить такое трудное дело, как выбор мебели для покоя королев Франции в Луврском дворце. Для мебели были сделаны рисунки, отвергнуты, сделаны снова; в результате получились обыкновенные кресла, только обитые пунцовым шелком. Но это были кресла королевы и потому казались достойными удивления, и хранились они у мадам де Сурди, пока ее племянница не вступит во владение покоем королев. Габриель между тем жила уже в Лувре, но едва Генрих оттуда отлучался, она немедленно покидала дворец через свой потайной ход.

Ход этот отныне охранялся ее пажами, среди них был юный Гийом. Когда она однажды вечером проходила мимо него, он остановил ее странным предостережением.

— Мадам, — сказал господин де Сабле, — вы можете, как вам привычно, бродить по всему своему дворцу, но избегайте, Бога ради, маленькой лесенки в северном крыле, ведущей в чердачные помещения. Там вы, чего доброго, наткнетесь на ядовитого паука.

На следующий же день она случайно оказалась одна и, сама не зная как, очутилась у запретной лесенки. Биение собственного сердца предостерегало ее.

Однако она поднялась по сломанным ступенькам, покрытым густой пылью.

Чердачная

комната была отперта, у подслеповатого слухового окошечка сидел дряхлый старик,

склонясь над большими фолиантами, над теми самыми таинственными книгами, по

которым посвященные читают судьбу. Габриель, пригнувшись, стояла на пороге, не

делала дальше ни шага, хотела, должно быть, уйти от судьбы, но не поворачивала

обратно. Ей был виден только профиль древнего старца, и профиль был черен от

морщин. Старик бормотал что-то, перелистывал фолианты, царапал знаки на стене.

В конце концов он связал воедино все, что прочитал. И вдруг заговорил громовым

голосом:

— Не говори этого никому, Бицакассер. Ты один на свете обладаешь верным знанием того, к чему она придет. Мало того, что она никогда не выйдет замуж за

короля Франции. Ее глаза не узрят свет пасхального воскресенья. Но тише, Бицакассер, флорентийские мудрецы умеют хранить свою тайну.

Габриель с трудом добралась до людных покоев дворца. Она поспешила принять

тех лиц, которые желали ее видеть и не ожидали таких милостей, которые посыпались на них. Она же думала про себя: «Слышал он меня? Я спотыкалась на

каждой ступеньке, когда спускалась с лестницы. Но она была густо покрыта пылью».

Она силилась побороть свой страх и не верить обманщикам. Свет пасхального воскресенья брезжит ей уже сейчас, и ее великая пора более не зависит от расположения звезд: эта пора наступила. Когда она утром просыпается, знатные

дамы подадут ей рубашку, скоро это право будет предоставлено только герцогиням.

Лотарингские принцессы присутствуют при ее одевании. Самая преданная из всех, мадемуазель де Гиз, причесывает ее. Во время трапез за ее стулом стоят телохранители короля. По его велению при каждом ее выезде господин де Фронтенак берет с собой удвоенный конвой. Что же может случиться с ней?

Это была самая великая пора ее жизни. Самая счастливая? Нет, та уже миновала, самая счастливая была, когда он писал ей: «Такой верности, как моя, еще не знал мир». Когда он обратился к ней в письме «мой прекрасный ангел» и назвал ее своей государыней. То длилось семь дней.

А король претворял свои чувства в действительность, которые осуществлял спешно и решительно. Он оградил будущее и матери и детей от всяких возможных опасностей. Не станет его, тогда пусть другой обладает достаточной властью, чтобы сберечь их; и пусть будет уверен, что это на пользу ему самому. Генрих остановил выбор на своем маршале Бироне, сыне человека, которого он любил, а в дальнейшем перенес любовь и на сына. Ему он обещал меч коннетабля и в жены назначил ему Франциску, младшую сестру Габриели. Она, однако же, не считалась дочерью старого господина д'Эстре, а родилась будто бы от внебрачного союза своей матери с маркизом д'Алегром, что причиняло теперь много хлопот. Прежде всего воспротивился Бирон. И Антуан д'Эстре грозил отречься от Франциски и поднять шум из-за давно забытого бесчестья – если король не согласится заплатить.

Бирон получил новые чины и доходы. Брат Габриели[79. – Брат Габриели. – Имеется в виду Франсуа Аннибал, маркиз Кэврский, герцог д'Эстре (1573–1670), французский маршал. Сделал военную и дипломатическую карьеру при сыне Генриха IV Людовике XIII и Людовике XIV.], храбрый воин, по имени Ганнибал, всецело ей преданный, был назначен помощником маршалу, в случае если бы понадобилось защищать королеву и отстаивать право на престол ее сына Цезаря. Кроме того, король задумал соединить браком Ганнибала с мадемуазель де Гиз, красавицей на ущербе и неприемлемой для высокопоставленных женихов по причине ее прошлого. А Габриель была бы через нее связана с Лотарингским домом. Чего же еще недоставало для ее безопасности? Королевские принцессы дали слово королю быть за нее. Ее сторону принял владетельный князь, герцог Савойский[80. – Герцог Савойский Карл-Эммануил Великий (1562–1630) – с

1580 г. правитель Савойи. Будучи родственником Генриха IV, в 1588 г. претендовал на французский престол. Генрих IV захватил большинство его владений.], ибо он был удостоен чести обручить свою дочь с наследником французской короны. Хотя юный Цезарь был уже помолвлен, но при новых обстоятельствах какая-то мадемуазель де Меркер оказалась значительно ниже его по положению. Ей по справедливости был предоставлен отпрыск рода Конде, одиннадцатилетний принц из дома Бурбонов; единственный, кто, по человеческому разумению, мог быть опасен для сына Габриели. Король подумывал даже, не сделать ли из возможного претендента на престол священнослужителя.. «Кардинал, очень богатый – тогда всякая опасность будет устранена для Габриели и моего рода», – думал Генрих.

Между тем и до него долетело жестокое предсказание флорентийского мага, но прошло мимо его слуха, даже не задев его. Он действует; и если бы судьбу можно было остановить, он все бы предотвратил. Спустя два года Бирон окажется предателем, голова его падет, что будет худшим горем для короля, чем для изменника. А где через два месяца будет Габриель?

О волшебнике Бицакассере ей рассказала мадемуазель де Гиз, в то время как заплетала ей волосы. Габриель не испугалась, она повторила то, что Генрих говорил о звездочетах: они до тех пор будут лгать, пока в конце концов не скажут правды. Ее судьба ничего не имеет общего с древним старцем, который все-таки не сумел сохранить при себе свое знание. Ее судьба лежит открыто в сильной руке ее повелителя. Она в безопасности, ибо она с ним и пойдет с ним, куда бы он ни шел.

Это хорошо для часов бодрствования. Если бы только не было снов! Однажды ночью она лежала на большой кровати королев, ее возлюбленный рядом с ней, и окружали их все стены Луврского дворца, как вдруг на нее надвинулось страшное пламя – охватило ее и чуть не пожрало. Она проснулась, от ее стонов пробудился возлюбленный, и он тоже видел во сне огонь и испытал еще больший страх, ибо был бессилен ее спасти. Оба они поднялись и прижались друг к другу. То, что они говорили, утешение, которого они искали, ужас, который их потрясал, – все это было чем-то второстепенным. В глубине души оба были ошеломлены сознанием, что конец их любви неотвратим. Столько сделано, столько подготовлено и

предусмотрено – и все искусственное здание покоя и уверенности опрокинуто одним сном.

Утром они уже не помнили, когда, собственно, была принесена жертва.

Генрих

сказал своей государыне – этим именем он снова назвал ее: лишь

беременность

причина ее беспокойства, а оно, естественно, передалось и ему; потому им было

бы лучше провести пост на лоне природы. Со всем двором они отправились в Фонтенбло, там Габриель наслаждалась последними неделями блаженного бытия.

Возлюбленный не отходил от нее ни на шаг; не было и речи о том, что они могут

когда-нибудь в жизни разлучиться. Именно это вскоре предстояло им, но о беде не

хочется думать; пока она не наступит, она забыта. Тем чудовищнее кажется она

потом, когда разразится.

Патер Бенуа, простой священник, опекал души простолюдинов в рыночном квартале города, прежде чем король сделал его своим духовником. Король Генрих

считал, что можно довериться священнику, который привык обращаться с народом, –

такой скорее будет без фальши. И вот патер Бенуа, из чисто религиозной взыскательности, потребовал, чтобы страстную неделю король провел в одиночестве, а дабы показать себя готовым к покаянию, он должен на это время

услать прочь герцогиню де Бофор. С возлюбленной не каются, иначе соблазн, которого и без того было довольно, еще приумножится. Будущей королеве надлежит

подавать добрый пример. Патер Бенуа, у которого намерения самые благие, отсылает ее в Париж, чтобы она открыто выполнила свой долг благочестия.

Генрих сначала воспротивился. «Кто ему это внушил?» – напрямик спросил он патера. Тот стал ревностно отпираться, заявил, что не слушает людей, а поступает согласно долгу священнослужителя, и Генрих поверил ему. Бедный священник всецело ему предан: Генрих произвел бы его в епископы, если бы не

сопротивление Рима, который считает этого человека тайным протестантом. Сказать бы, что он против Габриели?.. Но Генрих не припомнил ни одного слова,

которым Бенуа попытался бы повредить ей. Он не против Габриели, он, несомненно,

действует по чистой совести.

Так же думает и сам Бенуа: позднее, после того как события совершатся, он будет сколько возможно успокаивать свою совесть и считать, что его роковое

вмешательство никем внушено не было. Кто сказал, что ему не дожидаться буллы о

возведении в епископы, разве только он не допустит, чтобы король принял святое причастие, пребывая в смертном грехе, и отошлет королевскую возлюбленную в Париж? Кто? И сколько их было? Может быть, нечистый заронил это семя в душу священника, — но чьи же черты принял при этом нечистый? Он, должно быть, перевоплощался попеременно в разные невзрачные образы, должно быть, пускал в ход любые чары, дабы ничто не выдало его. Тем не менее патер Бенуа мало-помалу нападёт на след нечистого позднее, после того, как свершатся события. Он заболит от этого и станет просить короля отпустить его обратно в рыночный квартал.

Когда Генрих сообщил ей о неизбежной разлуке, Габриель тотчас же, без всякого перехода, после глубокого спокойствия впала в бурное отчаяние. Она это предвидела. Бицакассер окажется прав. Патер Бенуа участвует в заговоре, ее злейший враг Рони направляет все, даже звезды. Непривычный тон беспредельного отчаяния испугал Генриха. Рыдая, она упала к его ногам. Не покидай меня! Тогда он тоже опустился на колени, привлек ее к себе на грудь и принялся задушевно утешать в огорчении, которое одинаково сильно для них обоих, но его надо пережить. Она стонала:

— О бесценный повелитель, мы больше не увидимся никогда.

Он отвечал:

— Все пройдет! Моя рука простерта над тобой, где бы ты ни была. Кто посягнет на тебя?

Он и в самом деле думал: «Никто не посягнет». Кроме того, он все приписывал ее положению: и дурные предчувствия, и эту вспышку отчаяния. Ему самому стоило большого труда не возмутиться против навязанного решения. Оставшиеся дни он видел ее измученной, чувства ее, особенно зрение, были ослаблены головной болью, виски ей с утра до ночи сжимал какой-то незримый железный шлем. «Только не захворай, мое величайшее сокровище и единственное владение».

Двор был распущен, все разъехались по своим приходам для исповеди и покаяния. Они остались одни, только с теми людьми, которым надлежало сопровождать Габриель в путешествии и отвечать королю за нее. Пятого апреля, в понедельник на страстной, они выехали, — герцогиня де Бофор в носилках,

возлюбленный провожал ее верхом. По дороге они сделали привал, чтобы поужинать, но есть не могли. Затем остановка на ночь, их последняя ночь, объятие, которое больше не соединяет. Габриель отворачивает голову, сжатую незримым шлемом. Она не уснет; давно уже, несмотря на большую усталость, она проводит ночи без сна.

К утру они достигли берега Сены, на воде их ждало громоздкое медлительное судно, запряженное лошадьми; оно должно было спокойно, без толчков везти драгоценное сокровище. Далее последовали строгие наставления короля женщинам из свиты герцогини, герцогу де Монбазону[81. – Герцог де Монбазон Эркуль де Роган (? – умер в 1654 г.) – государственный деятель Франции. Был наместником короля Генриха IV в Париже.], начальнику охраны, и господину де Варенну, управляющему почтовыми сообщениями. Они не смеют ни на шаг отойти от герцогини и отвечают за нее головой.

В последнюю минуту она обняла его с небывалой силой. Мы больше никогда не увидимся, никогда, никогда. Он был близок к тому, чтобы произнести слово избавления и воротиться вместе с ней. Но ее прекрасные руки ослабели, он бережно снял их со своей шеи, целуя ее в губы. Наконец она покорилась неизбежной разлуке, еще раз поручила ему детей, и он покинул судно. Пока они могли видеть друг друга, Габриель без усталости слала ему приветы своей прекрасной рукой, а Генрих размахивал шляпой. Когда она совсем исчезла из виду, он вытер глаза: для него дорогой образ скрылся еще раньше за пеленой слез.

Черная курица

Услужливый спутник Бассомпьер немедленно вытащил колоду карт. Нет? Если герцогиня не желает сыграть партию, тогда, быть может, она позволит развлечь себя беседой. Но и беседа не задалась. Бассомпьер, продолжавший вести себя непринужденно и даже дурачиться, сообразил, что путешествие это может быть опасным. Любопытный от природы, он проведал много больше, чем другие. При первом же удобном случае он покинул судно и вернулся к королю. Он был приставлен к герцогине только в целях увеселения. «Сир! Должен довести до вашего сведения, что никаким способом нельзя было отвлечь герцогиню от тоски по вас, которая томит ее. Но особенно угнетает ее страх – на этот счет у меня свое мнение, которого я вам не выскажу. Если обнаружится, что страх ее обоснован, то

меня при этом не окажется. Как вы можете убедиться, я здесь». После долгих часов пути скорбный корабль причалил к арсеналу. Герцогиню де Бофор уже ждали. Ее брат, ее зять маршал Баланьи, дамы Гиз, в том числе высокопоставленная девица, которая часто заплетала ей волосы, и многие другие были налицо. Все заметили ее заострившиеся черты, бледность, покрасневшие веки, однако сказали ей, что у нее очень здоровый вид, и торжественно приветствовали ее. Дом ее сестры, супруги маршала Баланьи, был неподалеку. Габриель попыталась там отдохнуть. Однако вскоре явились посетители, они проникли даже в комнату, где Габриель хотела уединиться. Она поднялась. «Куда?» – спросила она господина де Варенна.

С господином де Варенном случилось то же, что и с патером Бенуа; он посоветовал, по его разумению, наилучшее, и впоследствии так и не понял конца, почему оно оказалось наихудшим. Кое-что впоследствии стало ему яснее, чем бедному священнику. Варенн имел постоянные сведения об агенте Бончани. Разумеется, тот ни разу сам не сказал ему: привези ее туда. Неведомо кем посланные посредники и наушники, бесспорно, являлись и к нему, но он не обратил на них особого внимания. Отсюда напрашивается вывод, что это были повседневные знакомые, и сами они, надо полагать, не догадывались, кто их направляет. Когда он указал Габриели дом, в котором она найдет больше покоя, чем где бы то ни было, в его памяти не всплыло ничье лицо, ничей голос. Он и сам не сознавал, каким коварным нашептываниям подчинился, указывая этот дом. Это пришло, когда все было уже позади. А тогда уж у Варенна были все основания сохранить правду про себя, если предположить, что он был вполне в ней уверен.

Габриель велела отнести себя в этот дом. Несмотря на сонливость, она была возбуждена, в голове ее проносились лихорадочные мысли. «Вот дом, который для меня запрещен; я не смею переступить его порог. Сагонн меня предостерегала: ни с королем, ни тем более одна. Моей тетки Сурди нет в городе. Мои слуги разбрелись, все каются в грехах. Король кается в грехах. Мне не миновать этого дома. Я никогда не думала, что попаду туда, но теперь у меня нет выбора, и я подчиняюсь».

С ней в носилках сидела мадемуазель де Гиз, одетая одинаково с ней, словно была ее сестрой. Лицо этой девицы изрядно поблекло, и так как поприще жрицы любви близилось к концу, то она видела свое спасение единственно в браке с Ганнибалом, братом будущей королевы. Вообще же она ненавидела Габриель, как, впрочем, ненавидела всякую, кто еще имел право на счастье. Она приняла твердое решение повсюду сопровождать герцогиню де Бофор, ведь она единственная из всех принцесс оказалась на месте, и король должен зачесть ей это в заслугу. По дороге она сплетничала, ей было безразлично, что Габриель не слушает ее.

А трое людей с волнением ждали этих носилок там, куда они направлялись. Первым был сам хозяин дома, двое других – противоположные и враждебные друг другу стихии. За несколько дней до того у Цамета в конторе появилось некое существо, которое он охотно приказал бы выкинуть вон; уродство его было зловещим и, без сомнения, служило зеркалом его преступной души. Между тем это дряхлое чернолицее существо шепнуло несколько слов, которые немедленно вынудили сапожника запереться с ним в пустой комнате. Вошло оно дряхлым и согбенным, но, когда ему был предложен стул, оно воспользовалось им не так, как прочие люди, а улеглось на него животом и обвилось вокруг него, высунув из-под сиденья голову и не касаясь пола. Прделано это было с изумительной ловкостью, и не успел Цамет опомниться, как оно уже преспокойно сидело на стуле.

Цамет понял, что существо это отнюдь не дряхлое, наоборот, проворство его показалось финансисту просто демоническим. Какие страшные слова шепнуло оно! Запуганный Цамет позволил себе сослаться на черные морщины, на выступы лба, напоминающие рога. Как же скрыть столь глубоко запечатлевшиеся отметины. Тот, у кого на лице заранее написано черное деяние, вряд ли подходящий человек, чтобы совершить такое деяние у всех на глазах. На этот счет Цамета успокоили, вернее отняли у него последнюю надежду. Таинственное существо пообещало в нужную минуту обернуться духом света. После чего, старчески сторбившись, удалилось.

Третьим был паж Гийом де Сабле; он не спускал глаз с Бицакассера, едва только чародей появился в чердачной комнате под крышей Луврского дворца. Он

мог бы тут же обезвредить злого духа, но тогда бы ему не удалось узнать, какого рода была опасность. Гийом тоже обладал искусством становиться другим, например, маленьким, неслышным, как мышь. Бицакассер ни разу не заметил, что кто-то следил за ним, наблюдал за его превращениями и даже присутствовал в кабинете агента Бончани, когда они вдвоем изготавливали яд.

Вскоре, после того как убийца Габриели покинул сапожника, к последнему явился юный Сабле, тоже шепнул ему несколько слов, и Цамет зашатался от испуга.

Он открыл ту же пустую комнату, старательно запер дверь и принялся клясться в своей невинности. Господин де Сабле пристально взгляделся в него и понял, что в лице Цамета он имеет не врага, а скорей союзника, правда запуганного.

Юный

Гийом все еще сохранял свежесть чувств, доходящую до веры в человеческое сердце. «Какой человек, — думал Гийом, — если только он не последний грешник, способен ненавидеть прелестную Габриель».

Желает он добра герцогине де Бофор, спросил паж у ростовщика? Тот ответил утвердительно, а по лицу его текли крупные капли пота.

— Меня запугали, это тягчайшее испытание в моей жизни, — сознался он. — Не она действовала против меня в вопросе о государственном долге, а господин де Рони, который все сваливает на нее, ибо он ей враг. — Цамет схватился за голову, он позабыл, что говорит с восемнадцатилетним дворянином. После этого его речь стала невразумительна, однако Гийом глядел и понимал. Он сказал:

— Она достойна любви, мы спасем ее.

— Слава господу Иисусу, — воскликнул Цамет. — Сударь, будьте столь любезны, пойдите к моему мажордому и попросите, чтобы он приставил вас к хозяйству на тот день, что здесь будет высокая посетительница. Демон поступит так же.

— Поверьте мне, я не меньший демон, — смело заверил Гийом. А так как Цамет рассматривал родимое пятно у него на щеке, он предупредил возражения сапожника: превращаться он тоже умеет. На этом они и расстались.

И вот настал ожидаемый день, носилки прибыли, опускаются на каменные плиты сада, и сапожник Цамет, сияя от выпавшей на его долю чести, касается всеми

пальцами земли, еще немного, и он поцеловал бы землю. Господин де Монбазон, начальник стражи, распределяет солдат по всему владению. Обеих дам и господина де Варенна сопровождает сам хозяин. Пологая лестница, за ней – большая зала, где мы когда-то ужинали и играли; как весел был тогда король, несмотря на то что ему вскоре предстояло выступить в поход. «Как мы были счастливы!» – думает Габриель, вспоминая прошедшие времена, хотя ей и тогда было так же страшно. Она возвращается к действительности. Сюда ей нужно войти? Это та же комната, которая некогда внушала ей страх. Страх необоснованный, казалось тогда. Теперь ясно, что он был обоснован. Ноги сопротивляются. Однако Габриель входит.

Она отдыхала до ужина. Мадемуазель де Гиз ее не покидала. Господин де Варенн поставил у дверей стражу, прежде чем позволил себе пойти поиграть в карты. Он нашел партнеров, которые были так же богаты, как и он, хотя дам и кавалеров его ранга не оказалось. Те, что обычно были на заднем плане, спешили занять место отсутствующего придворного общества. Весть о том, что герцогиня де Бофор находится у Цамета, облетела весь город. Новые богачи подъезжали к его дому в собственных каретах, бедные дворяне прокрадывались туда же, стараясь, чтобы их не обдало грязью, и все вместе наводняли дом финансиста. Одни ради почета с готовностью собирались проиграть здесь свои деньги, другие были не прочь выиграть. И все одинаково горели желанием приветствовать будущую королеву.

Господин де Варенн неохотно отвлекался от игры, а потому они осаждали хозяина дома, чтобы он исхлопотал им доступ в ту комнату. Только этого ему недоставало к прочим его заботам; Цамет пригрозил вышвырнуть всех вон, если они не будут спокойно сидеть за картами. Лицо у него посерело, он часто вытирал со лба пот, страх за жизнь высокой гостьи не давал ему покоя. Он самолично наблюдал за прибытием заказанных товаров, среди них была корзина с птицей, из которой вышмыгнула черная курица, неожиданно вспорхнула на лестницу и едва не потревожила почтенное собрание. К ней навстречу выскочил поваренок и поймал ее. Насколько черна была курица, настолько светлое видение представлял собой проворный мальчуган. Он был не только одет во все белое, без единого пятнышка

на платье, как полагалось для такого торжественного дня, но и голова его, очевидно, была снята с плеч какого-нибудь ангела и посажена на туловище ничтожного поваренка. Пока Цамет разгадывал загадку, кто-то дернул его сзади за полу кафтана.

Голос его мажордома проговорил:

— Это он. Вглядитесь повнимательней, и вы увидите искусственную кожу на лице, которую он сделал из свиного пузыря и разрисовал ангелоподобными красками. Эти светлые золотистые кудряшки поодиночке приклеены к черепу и, кроме того, прикреплены шпильками к фальшивой коже. Они ловко завиты вокруг выступов на лбу. Однако кому знаком дьявол, тот знает, что у него есть рога. К счастью, я его вижу насквозь, он же до сих пор считает меня вашим настоящим мажордомом.

Тут Цамет стремительно повернулся на каблуках.

Одна неожиданность следовала за другой, оказывается, и мажордом был фальшивый. Между густой бородой и париком пожилого человека на него смотрели два блестящих глаза.

— Сабле! — пробормотал он и застонал: — Что из всего этого выйдет?

Паж Гийом поклонился, будто получил приказание от хозяина.

— Моя обязанность наблюдать, чтобы суп удался и ничего ненадлежащего туда не попало. — С этими словами он в образе мажордома степенно пошел своим путем.

Цамет вовремя вспомнил, что не должен следовать за ним через ход для прислуги. Он возвратился в свои залы, там он застал привычную картину: гости пьют вино, громко спорят из-за выигрыша. Даже не верится тому, что сегодня происходит на самом деле. Между тем в открытой напоказ кухне пылали очаги, вокруг стояли любопытные и все приставали к финансисту. Когда же наконец появится ее светлость герцогиня? Из уважения к своему званию и к обществу ей подобает вкушать пищу не иначе, как публично. Особенно некая госпожа де Мартиг настойчиво претендовала на честь прислуживать за столом герцогине де Бофор. Более почтенные особы ее пола, к сожалению, отсутствовали, и Цамет даже обрадовался, что под рукой оказалась эта вульгарная интриганка. Едва он обещал

исполнить ее просьбу, как ему пришло в голову, что именно она может оказаться отравительницей. Он крикнул: «Нет!», с ужасом заметил, что ведет себя подозрительно, и нырнул в толпу.

Мажордом стоял в кухне, спиной к зале. Его заслоняли дюжие лакеи, они показывали зубы и кулаки тем, кому не полагалось входить. Образцовая кухня и так была полна челяди — кроме постоянных, немало было вновь нанятых слуг, которых никто не знал; вдобавок приходили и поставщики. Суэта и беспорядок царили ужасные, работа почти не двигалась. Мажордом надзирал за всем сразу, за кухонной посудой, за руками каждого и за тем, что эти руки делали, особенно за ангелоподобным поваренком. Последний шнырял повсюду, старший повар не давал ему покоя, он все приказывал ему ловить черную курицу, которая беспрестанно ускользала. Поваренок клял ее, а она искоса поглядывала на него и, чтобы он не поймал ее, перелетела через его курчавую голову прямо под пылающий очаг. Мальчуган на животе пополз за нею, как потребовал старший повар. Черной курицы под очагом не оказалось, все уже решили, что она сгорела, как вдруг из отдаленного угла блеснул ее злобный взгляд.

Тут кухонных дел мастер потерял терпение, изо всей силы ударил он по нежно-розовому лицу своего подчиненного: удар не оставил никакого пятна, ни красного, ни синего. В то время как мальчуган гонялся за курицей, что-то произошло между поваром и мажордомом. Каждый из них прищурил один глаз, вторым они подали друг другу знак. Теперь уже, наоборот, курица стала врагом ангелоподобного поваренка, и не он ее, а она преследовала его. Не иначе как она замыслила вырвать клювом один из его золотистых локонов. Когда преследуемый пробегал мимо мажордома, тот снял курицу у него со спины.

— Тебе не удастся свернуть шею черной курице, как бы ты ни старался, — сказал он спокойным голосом человека, привыкшего пользоваться властью и уважением; и добавил вдруг звонко и вызывающе: — Я настороже.

Ангел пристально взглянул на него.

— Сегодня у нас суп из птицы, — прошептал он и вслед за тем проскрипел, как заржавленный: — Из черной курицы и из белой гусыни. — Сделал в воздухе прыжок и исчез.

Позади мажордома Цамет воскликнул фистулой:

— Госпожа герцогиня благоволит выйти, а суп все еще не готов.

Волнение помогло ему. Виляя толстыми бедрами, он протиснулся сквозь толчею, поспешил навстречу дамам, когда они выходили из своей комнаты, и с поклонами провел их к столу. Стол был накрыт для них на самом видном месте, слишком длинный и широкий для двух, даже и сиятельных, гостей. Мадам де Бофор и мадемуазель де Гиз сидели далеко друг от друга, промежуток заполняли их обширные юбки, одинаковые по цвету и покрою. Цамет стоял напротив высоких особ у пустого края стола – вернее, не стоял, а вертелся, подпрыгивал, кивал лакеям направо и налево, чтобы они держали толпу на расстоянии. Очистить место, дело идет о незаменимой жизни. Зоркий взгляд: ни одна миска, ни один прибор не оставлены без внимания, а главное, ни одно движение госпожи Мартиг не ускользает от его глаз.

Вино откупорил сам Цамет, вытер бокалы, сам наливал вино и был спокоен, пока дамы пили: в это время с ними ничего не могло случиться. Госпожа Мартиг становилась ему все более не по душе. Она добилась разрешения подносить высоким особам кушанья. Господи, думал Цамет, как мог я подпустить ее. Она мала и костлява, сооружением из волос она увеличивает свой рост, тем подозрительней кажется лицо, под румянами у нее черты истой отравительницы, мелкие и жесткие. Если предположить, что Бицакассер здесь с кем-нибудь в стоворе, так это только с ней. Паучьими руками берет у лакеев самые тяжелые блюда, но хватка у нее железная. Опасная интриганка разрезает дыню, не подмешает ли она чего, упаси боже, в сок? Только мадемуазель де Гиз съедает ломтик. Цамет с беспокойством следит за ней – все равно мысленно он жертвует этой менее значительной особой. Она первая протянула тарелку, волей-неволей Мартиг положила ей кусок, предназначенный для герцогини. Цамет ждет, что принцесса изменится в лице, вот сейчас она упадет. Так и быть, хоть это и ужасно. Лишь бы Габриель была спасена. Но никто не падает без чувств.

Будущая королева просит апельсин, сама его чистит – и внимательно разглядывает со всех сторон. Круглые глаза хозяина со страхом ищут в кожуре дыру, дырочку, крошечный укол. Господи помилуй, драгоценное создание откладывает апельсин прочь, кривит рот, говорит:

– Он горький.

Тут пришла очередь Цамета лишиться чувств. Он схватился за живот, он завизжал:

— Вон! Долой всех!

Лакеи получили приказ уговорами или силой спровадить гостей в другие покои.

Финансист торопил их, энергично размахивая руками.

— Что случилось, что с вами? — спрашивал господин де Варенн, который до сих пор мирно играл в карты.

Цамет пришел в себя и, пристыженный, забормотал:

— Госпожа герцогиня...

— Очень бледна, — договорил за него Варенн. — Она на пятом месяце. И из-за этого такой шум?

Но Цамет уже отошел от него, он сделал открытие. Пока никто не следил за столом, за которым, оцепенев от изумления, сидели высокие особы, — госпожа де

Мартиг что-то ощупывала на шее у герцогини де Бофор. Совершенно верно, она

отстегнула застежку жемчужного ожерелья, ожерелье упало. Цамет одним прыжком

очутился рядом, своим перстнем с печатью стукнул воровку по руке, а затем опустился на колени.

— Мадам, вот ваше ожерелье, оно отстегнулось.

— Благодарю вас, а больше ничего не случилось? — спросила удивленная Габриель.

— Больше ничего. Ничего не случилось. Будьте покойны. Ничего не случилось, — повторил он, и глаза его наполнились слезами. «Отстояли. Ничего не случилось».

Как счастлив был Цамет! Габриель смотрела на него так, будто он ребенок и она знает о жизни больше, неизмеримо больше его. Она была очень бледна и утомлена, веки покраснелись, она сказала:

— Зачем мне есть суп? Я лучше пойду спать.

Финансист услышал только «суп», после чего сам впопыхах выкрикнул это слово,

вскочил и бросился на кухню. Вот что он увидел здесь: все повара, впереди старший повар, позади водоносы, судомойки, дровоколы, поломойки — все, кто

успел прибежать, обратили кверху глаза и раскрытые рты, лишь бы не упустить

ничего: мажордом и поваренок сражались в воздухе.

Предметом их борьбы был стеклянный шар, который ослепительно отсвечивал от
пламени очага и то переходил в руки одного, то скатывался по плечу
другого, но
не выскользнул у них ни разу. Сначала мажордом вырвал его из рук
поваренка,
когда тот хотел открыть его над горшком с супом. Ангелоподобный юнец
ударил
мажордома головой в живот и снова завладел шаром. Он подпрыгнул,
ухватился за
нижний край галереи, которая шла поверху вдоль стен, и, подтянувшись на
руках,
собирался улизнуть. Однако мажордом, невзирая на парадную ливрею и пышные
бакенбарды, с помощью такого же гимнастического прыжка оказался за
перилами.
Там наверху они боролись до тех пор, пока поваренок не перелетел через
перила.
Насмешливый возглас, и он уже летит в пустоту. Но что это? Он схватился
за
балку под потолком, на которой обычно висели окорока. Ее он обхватил
всеми
своими четырьмя конечностями, что не помешало ему толкнуть мажордома. Ибо
тот,
в свою очередь, перелетел сюда, он с непостижимой быстротой скользил по
соседней балке, по-прежнему стараясь овладеть шаром.

Между тем шар перекачивался у поваренка с груди на спину, в зависимости
от
положения самого мальчугана, который безостановочно вертелся, как и его
противник. Каждый из них увеличивал скорость своих движений, а значит, и
движений противника, так что в конце концов стало казаться, будто они
парят в
воздухе, а шар танцует вокруг их вращающихся тел. Тем более что шар
освещал
обоих огненными вспышками по всему потолку вплоть до самого очага с
суповым
горшком. Снова насмешливый возглас – вот теперь оно должно свершиться. Но
добрый дух выбил у злого духа шар, когда он уже был открыт и содержимое
его
должно было попасть в суп. Что же случилось? На каменных плитах
стеклянный шар
разбился вдребезги, а зеваки поспешно обернулись в другую сторону,
привлеченные
новым диковинным событием. Неведомо откуда появилась черная курица, как
раз на
том месте, где упало небольшое зерно, продолговатое зернышко: она его
клюнула и
проглотила. Тотчас она крикнула человеческим голосом, как уверяли
впоследствии,
упала, забилась в судорогах и кончилась. Повара и все прочие тотчас вновь
обратились к двум демонам, но их не было нигде, чему никто не удивился, и
все
лишь осенили себя крестом. Вполне очевидно, что злой дух, после того как
был

разоблачен, вылетел в дымовую трубу. Многие видели, как он перед этим сбросил ангельское обличье и превратился в черную летучую мышь. Добрый дух растворился в дивном благоухании, потому и суп имел такой аромат, как никогда.

Когда представление окончилось, у входа в кухню очутился паж Гийом — он, по-видимому, немало дивился происходившему и теперь еще качал головой. Кто-то коснулся его плеча — Себастьян Цамет, человек с весьма смиренным лицом, он повел господина де Сабле за руку к столу высоких особ, причем сам Цамет шел на цыпочках.

Дамы сидели в прежнем положении, фижмы и пышные рукава заполняли пространство между ними. Они не спросили, почему им пришлось ждать. Торжественно приближалось шествие поваров, впереди кухонных дел мастер с высоко поднятой миской. Сам хозяин наполнил золотые тарелки, повара стали на колени. И оставались на коленях до тех пор, пока герцогиня де Бофор не отведала супа и не сказала, что он очень вкусен. Тогда Цамет подал им знак удалиться.

Мадемуазель де Гиз осведомилась, что же, собственно, произошло.

— Мадам, — сказал Цамет, — откуда-то появилась черная курица. Если верить людям, то были и другие знамения.

Мадемуазель де Гиз отложила ложку. Габриель продолжала есть, поглядывая на пажа Гийома, для него одного ела она лакомый суп, и глаза ее разрешали ему служить ей по-своему.

— Мадам, — ответил он, — говорят многое.

— Я знаю, — сказала она, улыбнулась и взглянула на него, — ему же суждено было помнить до старости, как она взглянула на него и улыбнулась. — И будут еще многое говорить. — Это были ее последние слова, обращенные к нему. При этом ее окружало сияние, излучаемое каким-то незримым источником света, казалось, будто она растворяется в нем. Позднее он понял, что она подразумевала свою смерть и обстоятельства своей смерти и благодарила его, как благодарит живого та, что уже уходит из жизни.

Конец песни

На следующее утро, когда оказалось, что она еще жива, ее посетил господин де Сюлли. Он из-за нее остался в городе, убедился теперь, что она не умерла, но не нашел слов для приветствия. Зато Габриель обратилась к министру со словами лести и заверениями, что она его любит и преклоняется перед ним самим и перед его великими заслугами. Он выслушал ее, а затем прислал мадам де Сюлли, чтобы и та попрощалась с ней перед их отъездом в свои поместья.

Жена важного министра, который останется таковым, весьма неохотно отправилась на поклон к любовнице короля, после которой у него будет немало других: таков был ее взгляд на это дело. Вытянувшись всем своим длинным, плоским туловищем, сидела она подле больной, и та испугалась холодных глаз, которые бесстыдно подсчитывали, какая ей сегодня цена. Мадам де Рони решила, что хватит ее ненадолго, а потому всякие уверения сочла излишними. Габриель сама попыталась расположить к себе черствую особу.

— Вы должны стать моим лучшим другом, — сказала она.

Должно быть, она совсем потеряла голову, потому что прибавила:

— Я всегда буду рада вашему присутствию при моем пробуждении и отходе ко сну.

На это дама поднялась с места, отчего едва ли стала выше и прямее. Вместо поклона слегка опустила подбородок и угловатым движением схватилась за ручку двери. Почтенная дама из мелкого дворянства, без единого пятнышка на репутации всей родни, чему очень способствует протестантская религия, была настолько возмущена, что даже на обратном пути в карете сидела точно палка, сжав тонкие губы.

Только дома она дала себе волю и устроила своему супругу сцену за то, что он послал ее к потаскушке. Развратная семья, всенародный скандал, закатившаяся звезда: пристало ли честной женщине тут лебезить и угождать.

— Я должна присутствовать при том, как она ложится и расставляет ноги! Это я-то! — кричала мадам де Рони, не помня себя от гордости и несокрушимой добродетели. Рони, слегка испугавшись, решил внести успокоение: кто знает, на

ком вдове вздумается сорвать свою злобу. Он обещал ей, что она увидит интересное представление, хорошо разыгранное, если только не оборвется веревка.

В своих мыслях он не ставил это в прямую связь с веревкою. Зато у супруги оброненное им слово отняло дар речи, могучий рыцарь воспользовался ее изумлением, чтобы поспешно уйти от опасности.

Если даже Габриель и была уже отравлена, она тем не менее ревностно выполняла свой долг благочестия. Ночь она провела беспокойно, ее мучили обычные кошмары, утром к этому добавилось посещение злобной женщины, и все же она не замедлила отправиться к исповеди. Церковь, называемая малой Сент-Антуанской, была близко, мадемуазель де Гиз сопровождала прекрасную грешницу. Она уверяла ее, на основании собственного опыта, что женщины затем и созданы, чтобы грешить через любовь, и в прощении им сомневаться не приходится. Девица решила сделаться первым лицом при будущей королеве, признания ее имели целью побудить Габриель выдать что-нибудь из своих собственных приключений. То, что знаешь, всегда может пригодиться.

Габриель молчала – не по расчету, она была только слаба и грустна. Фривольная беседа мадемуазель де Гиз даже нравилась ей, это был остаток того мира, который окружал ее, последнее легкомыслие, которое обращалось к ней и улыбалось ей. В исповедалине она не покаялась ни в одном из своих поступков и меньше всего в своей искренней любви к бесценному повелителю. Зато она созналась, что была нерадивой христианкой, о чем очень сожалеет, но теперь ей уже поздно исправляться. Она так и сказала, получила отпущение и вернулась в дом к сапожнику.

Она покинула его еще раз под вечер в эту же самую среду, чтобы в той же церкви прослушать концерт. Первые дни апреля 1599 года стояли необычайно теплые, у дороги цвел виноград. При виде носилок будущей королевы люди сбегались со всех сторон. Носилки охраняла королевская стража под начальством господина де Монбазона, за ними следовала карета лотарингских принцесс. В этот прекрасный весенний день еще раз открыто появляется французская королева, уроженка Франции, второй такой королевы после нее не будет. Народ знает больше, понимает много лучше, чем посвященные. Когда мимо движутся носилки, болтовня умолкает и головы склоняются. Ожидаемая свадьба обсуждалась часто и повсюду. Но

это зрелище сразу прерывает мысли о свадьбе. Роскошные одежды для венчания и коронации подробно описаны и всем знакомы. Однако здесь приходится вспомнить о другом, последнем одеянии, какое каждый наденет когда-нибудь. У герцогини де Бофор строгий вид, такой строгости не бывает у живых. Она устала той усталостью, от которой нельзя отдохнуть. Сердце сжимается, когда заглянешь в носилки. Большое, всеобщее несчастье пока что только предчувствуется; едва оно случится, как его значение уже будет забыто. Сейчас же оно открыто шествует под многочисленными взглядами.

Габриель в последнем своем обличье была прекрасна, уже не в мирском смысле, ибо одета она была строго и скромно, прекрасна той красотой, объяснить которую нельзя. Она знала это и желала, чтобы ее повелитель мог увидеть ее, когда она шла по церкви. «Люди сами расступались передо мной, мой бесценный повелитель, обычно же нашей страже приходилось раздвигать толпу. Руки непроизвольно складывались на груди. И вы и я, мы оба любимы народом». Это говорила она мысленно, потому что в голове у нее странным образом перемежались знание и утешительные иллюзии. Над усталостью и отречением еще и теперь не раз одерживала верх привычная жажда жизни, под конец она заговорила особенно властно.

В стороне для герцогини был устроен отдельный помост, дабы ее не теснила толпа. Церковь была полна из-за хорошей музыки и оттого, что там, на возвышении, можно увидеть знаменитую Габриель. Пока в священных звуках еще царит мрак и наш Господь медлит во гробе, прежде чем воскреснуть, — мадемуазель де Гиз воспользовалась этим промежутком времени, чтобы снискать себе благодарность приятными вестями. То были письма из Рима, где сообщалось, что брак короля будет вскоре расторгнут. Однако папой Климентом это понимается иначе, чем говорится; он расторгнет брак короля, но не для того, чтобы тот женился на своей наложнице: иначе хула за соблазн падет на папу. А посему он надеется, что Божий промысел выведет его из затруднения, он ежедневно об этом молится, и действительно, событие станет ему известно в тот же день и час, когда оно совершится: обстоятельство сверхъестественного порядка.

При тусклом свете лампад и под скорбные песнопения у гроба Господня Габриель

с трудом разбирала радостную весть и верила ей, хотя холодный страх обволакивал ее. Между тем девица, которая лебезила перед ней, напоследок преподнесла самое лучшее: две весточки от короля, их девица отобрала одну за другой от двух гонцов. Габриель читала о его тоске, нежности и о том, что рука ее возлюбленного простерта над ней, где бы она ни была. Тут ей стало тепло и отранно в последний раз в жизни. Ее спутница увидела, что она улыбается, как дитя, мадемуазель де Гиз это пришлось по вкусу, обещая в будущем легкий успех. Когда отзвучала торжественная блаженная мелодия воскресения, дамы отправились домой в очень хорошем расположении духа. Только они слишком разогрелись в переполненной церкви: у Габриели слегка кружилась голова. В саду у Цамета она упала и потеряла сознание.

Едва ее успели поднять и отнести на постель, как у нее начались судороги. Все лицо дергалось, и каждый мускул дергался в отдельности, веки и глазные яблоки двигались особенно быстро. Глаза закатывались влево, заметна была неподвижность зрачков. Как страшно исказился привыкший к поцелуям рот! Челюсти сжаты, точно тисками.

Спустя полминуты все дергающиеся мускулы конечностей, туловища, шеи и лица сразу застыли в неподвижности. Голова была теперь запрокинута назад, лицо повернуто влево, спина выгнулась дугой. И тут же у этой женщины, которая только сейчас еще была выше всех, остановилось дыхание, отчего лицо ее вздулось, посинело и являло собой ужасающее зрелище. Язык высунулся изо рта, зубы закусали его, и кровавая слюна забрызгала щеки, волосы, подушку – словом, все признаки налицо, поспеши же покинуть особу, которая только сейчас еще была выше всех, дабы злой дух не вселился в тебя самого. Или по меньшей мере во избежание заразы.

Габриель пришла в себя, огляделась и увидела только господина де Варенна, который растерянно, с ужасом смотрел на нее. Он отвечал за нее перед королем, его совесть была тревогу, потому что он привез ее в это роковое место.

– Увезите меня прочь из этого дома! – гневно воскликнула герцогиня де Бофор; он испугался для себя самого худшего. А потому не решился вызвать врача или священника. Он попросту послушался ее приказаний. Она пожелала, чтобы ее отнесли в дом ее тетки мадам де Сурди, и отправилась туда в своих носилках,

куда усадил ее Варенн и подле которых шел один Варенн. Она, верно, думала, что там ее ждут прислужницы и с ними знатные дамы, которые тоже служили ей, а главное, мадемуазель де Гиз. Нигде ни души, ей больше не служил никто, кроме Варенна, бывшего повара и вестника любви, теперь же он заменил ей камеристку и уложил ее в постель. Слуги тетки были отпущены на все то время, какое сама мадам де Сурди проведет в своем сельском приходе. Варенн отправил к ней гонца, чтобы она спешно приехала.

Между тем у Габриели беспокойство сменилось изнеможением. Она плакала и в пустом доме призывала своего повелителя. Чтобы быть к нему поближе, она настойчиво стремилась в Луврский дворец:

— Я могу идти! Ведь это очень близко. — Господин де Варенн без кафтана, в фартуке уверял ее, что там ей покажется еще пустынной.

— Что вам, собственно, нужно в Лувре? — спрашивал он, теряя терпение. Она не говорила, хотя сама знала, что ей нужно. Благодетельная усталость облегчала ей мысль о смерти, но только бы умереть у ее повелителя, в той комнате, которую она делила с ним, где самый воздух был оживлен их смешанным дыханием.

Наконец она задремала, ночь прошла спокойно, утром она сама нашла, что вид у нее обычный. Варенн был изумлен, с его помощью она без всякого труда прошла через дорогу в церковь Сен-Жермен-л'Оксерруа и там приняла причастие. Это было в четверг на страстной неделе. Еще два дня, надеялась она, и снова она будет вместе со своим повелителем. На этот раз она проявила истинное благочестие, ибо сердце ее было полно признательности. После обеда ей стало худо, она вынуждена была прилечь. Перед наступлением новых мук она нашла в себе силы послать к королю одного дворянина, которого выбрала сама, ибо считала его надежным. Она просила у своего возлюбленного повелителя разрешения немедленно вернуться к нему и была уверена, что после этого он явится сам. Конечно же, он не оставит ее в беде, когда прочтет то, что она пишет, а об остальном догадается.

Она уже представляла себе, как он садится на коня, меж тем как Варенн прибавил к ее письму еще несколько слов: спешить особенно ни к чему. Ведь он

играл в карты, пока герцогиня ела подозрительные кушанья. Он будет наказан тем суровее, чем раньше королю станут известны все обстоятельства. Кто не знает его: после того как она будет спасена, он простит. Пожалуй, он простит и в самом худшем случае, ибо будет слишком опечален, чтобы быть строгим. Так или иначе, а гонец все-таки скакал по дороге, время подошло к четырем часам, и Габриель извивалась в муках.

Насколько мог понять растерявшийся Варенн, такое состояние бывает перед родами. Он по собственному почину побежал за женщиной, которая три раза принимала у герцогини; но внизу столкнулся с пажом Сабле, и побежал тот. Гийом привел не только мадам Дюкки, но и настоятельно потребовал господина Ла Ривьера. Юный Гийом так понял господина де Варенна, по крайней мере такой довод намеревался он выставить в свое оправдание. Впрочем, врача не было дома, он явился к больной только через час, в пять часов. До тех пор мадам Дюкки прямо голову теряла, ничего подобного она никогда не видела.

Приступ прошел, как и первый, только был тяжелее. После неистовых судорог наступило оцепенение, сопровождаемое удушьем, от чего лицо непостижимо изменилось. Прежде при исполнении своих обязанностей мадам Дюкки знавала лишь прелестную Габриель, а не эту посиневшую искаженную маску с вращающимися во всех направлениях глазами, — и теперь не вынесла такого зрелища, повернулась лицом к стене. При больной остался один Варенн, во время этого приступа, как и следующего, он держал герцогиню в своих объятиях.

Он бормотал про себя: «Вот наконец-то возвращается дыхание. Оно вырывается с шумом, естественно, ему мешают пары яда. Все вполне нормально», — последнее говорилось для собственного успокоения. В конце концов все умирают, тут ни при чем колдовство, даже необычного тут ничего нет, говорил господин де Варенн, который успел побывать всем, чем угодно, а в настоящее время был управляющим почтовыми сообщениями, губернатором, умел ладить с иезуитами, как с любой опасной силой. Почему бы ему не поладить и со смертью. Пока что со смертью других, своя собственная ему еще отнюдь не улыбалась, своя собственная, если так уж необходимо подумать о ней, была чрезвычайно далеко, в образе сказочного

траурного кортежа, который все не двигался с места.

С присущим ему трезвым взглядом на жизнь он относился к несчастной, которую в самые ужасные для нее минуты держал в объятиях, как к существу, вследствие несчастья обратившемуся в ничто. Он считал бы своим долгом покинуть ее, как сделали все остальные. К сожалению, за этой грозной смертью стоял не менее грозный король, который еще ничего о ней не знал. Опаснее всего для Варенна было бы, если бы король узнал о смерти Габриели помимо него, от людей, которые вину за нее возложили бы на Варенна. А потому он уже подумывал — не послать ли ему вслед за первым гонцом второго: поздно, сир, не стоит беспокоиться.

Вообще же он вполне по-человечески обращался с отребьем, которое больше нечего принимать в расчет. Приходя в себя после каждого из приступов, отребье на время снова становилось женщиной, которая с удивлением озиралась по сторонам. То, что она говорила, было маловразумительно, так как она искала себе язык. Варенн тем не менее все понимал; он поддерживал ее, когда она писала королю, всякий раз это был новый крик о помощи. Он обещал доставлять ее послания, но ни второе, ни третье так и не достигли назначения. В пять часов появился господин Ла Ривьер, первый врач короля.

Теперь изменился и внешний вид больной, и все положение: Ла Ривьер обильно пустил ей кровь, сделал промывание соленой водой. Между тем мадам Дюкки по его приказу приготовила теплую ванну, и они вдвоем посадили в нее герцогиню. Подобного рода меры обычно применяются против отравлений, поэтому они испугали господина де Варенна, которому малейшее подозрение грозило бедой. Но тут, в противовес этому страху, возникла новая возможность: герцогиня не умрет. Врач спасет ее. И так как она могла остаться в живых, Варенн стал проявлять неистовое рвение. Он пробовал рукой, достаточно ли тепла ванна, не смущаясь обнаженной красотой, наоборот, он громко восторгался ею. Король будет очарован. Прелестью она превосходит самое себя, хотя, казалось бы, это невозможно. И тут же шепнул на ухо господину Ла Ривьеру, что, по его мнению, яд уже вышел из ее тела.

Врач ничего не ответил. Он вслушивался в то, что говорила больная, — не ради самих слов: она высчитывала часы, когда ее посланные достигнут короля, первый перед вечером, а второй и третий встретятся с ним, когда он будет уже на пути к ней, нынче же в ночь. Конечно, и слова были интересны врачу, а больше звук речи, прерывистый и несвязный. Он следил за изменениями лица, уже не одутловатого, а осунувшегося и совершенно белого. В воде он ощупал ее живот. Вдруг он приказал господину де Варенну оставить его наедине с герцогиней. Жидкость, вытекавшая из ее тела, окрашивала воду в темный цвет. Однако это была не кровь.

Тогда врач вместе с мадам Дюпки отнес больную обратно в постель, чтобы дожидаться того, в чем он теперь был совершенно уверен. Тем не менее он не переставал ухаживать за ней и заботливо следить, чтобы жизнь не пресеклась до тех пор, пока она не окончится сама собой. По его разумению, это продлится еще много часов, ибо больная оборонялась против смерти с необычайной силой: силу давала ей мысль о ее повелителе, о том, как он скачет верхом, торопясь к ней.

Когда начался новый приступ, Ла Ривьер схватил край простыни, засунул его больной между зубами и прижал язык к небу. Он сделал это своевременно, иначе в такой страшной судороге она откусила бы себе язык. Точно так же он в нужную минуту перед началом рвоты велел мадам Дюпки подать сосуд. Сам он в это время щупал пульс, который невероятно частил от напряжения, и сосчитать удары не было возможности — впервые врач стал опасаться слишком скорого прекращения жизни. Он продолжал давать указания, имея в виду не смерть, а жизнь. Господина де Варенна он послал за молоком. При чем тут молоко, спросил Варенн.

— Ступайте! Нам нужна вода, смешанная с молоком!

Господин де Варенн покинул комнату и воспользовался случаем осуществить свое намерение. Он написал королю: «Сир! Умоляю вас, не приезжайте».

Он задумался. «Вы увидели бы ужасное зрелище, — приписал он. — Сир. Госпожа герцогиня навсегда отвратила бы вас от себя, если ей суждено вернуться к жизни».

Здесь он встал. Из-за другого слова, которое ему предстояло написать, сомнения вновь одолели его. «Врач ухаживает за герцогиней как за человеком, которому суждено жить. У него непреклонный и решительный вид, за показной, бесцельной работой нельзя так держать себя, как держит он. Что, если и в самом деле выйдет по-иному и слово, которое мне остается прибавить, окажется ложью? Все равно мое будущее так мрачно, что хуже оно быть не может. Рискну, ибо выбора у меня нет». Варенн написал, не присаживаясь:

«Бесполезно спешить, сир. Герцогиня умерла». И послал самого быстрого гонца.

Мадам Дюпки вышла на минуту, чтобы поплакать.

— Все кончено? — жадно спросил Варенн.

В комнате оставался врач и она, та, кого когда-то звали: прелестная Габриель. Он говорил с ней так, словно она и сейчас была прежней. Он говорил, что ее легкое недомогание связано с ребенком, после разрешения от бремени она выздоровеет. Она чуть шевельнула головой на подушке в знак отрицания, и его наблюдательный взгляд прочел в ее глазах равнодушие, словно она не узнала его. А ведь она всегда была к нему расположена, доверяла ему и, когда король заболел, позвала его, прежде чем позвать хирурга. На вопрос, хорошо ли она себя чувствует, она только ответила, что апельсин показался ей горьким. Потом стала жаловаться, что у нее болит голова, что она понять не может, где же король.

— Усните, — посоветовал он, и она послушалась. А он стоял и наблюдал, как ее воля препятствовала ей крепко уснуть, вопреки ее потребности забыться. Тогда он постарался принять все известные ему меры, чтобы отдалить следующие приступы. Через короткие промежутки он давал больной воду с молоком, после чего почки стали в большем количестве выделять черную жидкость. Мадам Дюпки усердно помогала ему, ибо видела, какое действие оказывает лечение, и восхищалась врачом. Он же понял, пока им восхищались, что старания его напрасны. Больная впадает в зловещий сон, лицо становится бессмысленным. Вот снова начинается возбуждение, дыхание делается прерывистым. Она открывает глаза, видны расширенные зрачки. Врач попытался пресечь припадок, он снова пустил кровь. Тщетно.

Когда те же муки повторились еще дважды, истощилась выносливость не больной,
а сиделки. Врач разрешил ей отдохнуть.

— Сейчас уже восемь часов.

Женщина ужаснулась.

— Она уже четыре часа терпит такие схватки, другая умерла бы после первого приступа. Ребенка нельзя вынуть. А нет ли у нее там внутри еще чего-нибудь,
кроме ребенка? — тихо спросила женщина и перекрестилась.

Врач остался на ночь совсем один с умирающей. Он стоял подле кровати и наблюдал. Истошив ее, припадки истощились сами. Это, если угодно, умирающая. А что иное представляем собой мы все, пока мы живы? Она будет жить еще завтра.
Завтра пятница, святая пятница перед Пасхой, Страстная Пятница; ее она переживет, это почти несомненно, а в большем никто не может быть уверен.

«Мне следовало бы расширить шейку, чтобы извлечь ребенка. Ребенок все равно не жил бы, зато мать могла быть спасена. Ее воля преодолевает изменчивую природу. После таких сверхчеловеческих усилий она в полузабытьи говорит о своем повелителе, она наконец настигла его, она лепечет в упоении... Я не смею слушать это. Я должен действовать! Врач, спасай жизнь!»

«А что, если мое вмешательство оборвет ее? Роды ни в какой мере не прекратят действие отравления. С ядом она могла бы бороться дольше, без насильственного вмешательства, которое я не могу сделать безболезненным. Природа, даруй ей получасовое бесчувствие, и я помогу твоей целительной работе. Нет, это невозможно, она все равно погибла бы в жестоких муках от внутреннего кровоизлияния; а если бы мне удалось воспрепятствовать и этому, так или иначе при следующем приступе удушья не пройдет и двадцати секунд, как кровь зальет мозг. И больная моя умрет от паралича».

Врач тяжело опустился на стул и закрыл лицо руками. Блаженный лепет, который он слушал, не смея от него уйти, еще усиливал его смятение. «Как бы я ни поступил, я всегда окажусь виновным перед природой, которая была бы милосердна, будь я в силах помочь ей, и виновным перед людьми, они лишь ждут, как бы погубить меня».

Со стыдом и внутренним возмущением сознался он себе, что испытывает страх перед людьми. Его ненавидят как друга и любимца герцогини де Бофор. Тем скорее будут утверждать, что он убил ее. Он не протестант и не католик, медицину изучал у мавров, долго жил в Испании. Но особенно навлек он на себя подозрение в ереси тем, что по приказу короля возвращал рассудок одержимым — такие случаи бывали совсем недавно — и при этом осмеливался говорить, будто они не одержимы. Врач понял, — и сам отчаялся в себе, — что искусственных родов он испугался не только для больной, но и для самого себя. У меня нет уверенности, что и я переживу Страстную Пятницу.

Это признание он сделал вслух, и тотчас на постели затих неясный шепот. В комнате было совсем темно, он зажег свечи, и свет упал на преображенное лицо.

Живая женщина лежит здесь вместо той, что обречена умереть. Щеки округлились и стали бело-розовыми, а дыхание ровным. Поистине, милосердная природа совершила здесь чудо. У Ла Ривьера голова пошла кругом от безрассудной радости, он поспешил распахнуть окно. И тотчас снизу раздалось пение, голос был звонкий и молодой:

— «Прелестной Габриели». — Песню эту пел Гийом.

Габриель открыла глаза, и в глазах ее был живой блеск. Габриель чуть приподняла голову с подушки, она услышала и улыбнулась.

— «Вселенная — тебе», — донеслось до ее смертного одра, и сама она шевельнула губами.

Затмился день тоскою —
Задую, как свечу,
Но всходишь ты звездю
И снова жить хочу.

— Я иду, — сказала Габриель, звук голоса был ясный и нежный. — Любимый, я иду. Я здесь уже, мой высокий повелитель.

Голова ее запрокинулась, она упала на подушки, но все же услышала еще раз жестокое прощание.

Жестокое прощанье!
Безмерность мук!
Умри в груди страданье
И сердца стук!

Конец песни, она услышала его.

Корни моего сердца

Генрих получает первое ее письмо, из трех ее последних писем лишь первое достигло его. Она хочет приехать к нему и настойчиво просит его дозволения, читает он. Дальше она пишет, что умирает — как же она может ехать? Она надеется, что он успеет на ней жениться ради детей. Разве ей так худо? Приписка Варенна противоречит ее страхам: «Спешить нечего», — говорит Варенн, который ответствен за нее.

— Господин де Пюиперу, — спрашивает Генрих гонца. — Кто послал вас?

Дворянин отвечает: сама госпожа герцогиня, и она выбрала именно его.

— А она была в сознании?

— В полном сознании.

— А жизни ее грозила опасность?

— Этого заметно не было, — гласит ответ. — Однако прошел слух, что с ней был обморок.

Генрих размышляет: «После третьего ребенка она стала подвержена обморокам. В Монсо я сам присутствовал при том, как она лишилась чувств — из ревности к Медичи и к ее портрету. То же самое и теперь. Она боится, как бы в ее отсутствие я не переменял решения. Я успокою ее. Но венчания на скорую руку я не желаю. Она не умрет, как может она уйти от меня!»

Он тотчас же шлет гонца обратно с известием, что он едет и скоро будет держать ее в своих объятиях. Такой верности, как моя, еще не знал мир, могла бы она прочесть вновь; но в пятницу, в ее последний день, зрение ей изменило. Впрочем, его письма ей не передали.

Он был в тревоге, даже в страхе, хотя и успокаивал себя. Наконец он уснул, но пробудился от кошмара, лежал и прислушивался к воображаемому стуку копыт. На заре воображаемый стук превратился в подлинный. Генрих, который спал не раздеваясь, бросился к дверям, в неясном предутреннем свете разобрал послание: рука была не ее. Писал один Варенн, он сообщил, что болезнь противится врачу и подтачивает больную. Жизнь герцогини обречена, красота ее уже начала разрушаться. «Сир! Не приезжайте, избавьте себя от жестокого зрелища».

Она умерла — там написано не было. В последний миг Варенн дал гонцу другое, более осторожное письмо. Сам он в конце концов не решился прежде времени объявить Габриель умершей. Он довел ложную весть до сведения третьих лиц, а те уже с чистой совестью передадут ее королю.

Генрих, похолодев от ужаса, садится на коня. Он мчится во весь опор. В четырех милях от Парижа он нагоняет Пюиперу, тот не слишком торопился. Генрих не спрашивает почему. Он бранит гонца, не решается допытываться, оставляет его позади и мчится. У самой дороги стоит дом канцлера Бельевра [82. — Бельевр Помпонн де (1529–1607) — французский государственный деятель, начавший свою карьеру еще при Карле IX. Занимал ряд высших должностей.], отсюда навстречу королю выбегают маршал д'Орнано и господин де Бассомпьер. Генрих видит растерянные лица, сердце у него останавливается. Они склоняют головы и говорят:

— Сир! Герцогиня умерла.

Генрих оцепенел. Неподвижной статуей сидел в седле, забыл, где он и куда спешил. При виде короля, пораженного смятением и ужасом, господин де Бельевр выступил вперед, он нарушил тишину, подтвердив весть, которую сам считал правдой, и описал страшный вид того, что называл трупом; а между тем пока это была еще живая женщина — еще дышала, еще звала своего повелителя.

Наконец у Генриха хлынули слезы. Он спешился и, отвернувшись, долго плакал. Потом он сказал, что хочет видеть герцогиню де Бофор. На что канцлер с твердостью возразил: каждый его поступок у всех на виду и всесторонне обсуждается. Открытое проявление его горя навлечет на него большую укоризну. Он рискует оскорбить религиозные чувства своих подданных в самый канун Пасхи.

Генрих был не в силах спорить: он еле держался на ногах.

Подъехал экипаж канцлера. Генрих позволил увезти себя в ближнее аббатство. Полный беспредельной скорби, бросается он на постель какого-то монаха. В глубоком отчаянии и неумных рыданиях проводит он день, ту самую пятницу, когда Габриель еще живет и призывает его среди мук предсмертной борьбы. Медленно добирается Генрих до Фонтенбло, он уже чувствует себя осиротелым, она же переживает и ночь, так страстно она ждет его. Вместе с надеждой убывают силы. С последним приступом она не может бороться. В субботу, на заре, она выпускает

дух.

Одному-единственному человеку доверил Варенн в пятницу вечером приблизительную правду – он написал господину де Сюлли, которого считал склонным одобрить его поведение. Он признался, что обманул короля, и, как мог, оправдывал свой обман, а главное, старался свалить на Цамета подозрение, которое неминуемо упало бы на него.

В порыве радости Рони не стал думать о вине и расправе. Он разбудил жену, обнял стареющую вдовицу и сказал:

– Детка, герцогиня больше не встанет, тебе не придется присутствовать при ее вставании. Веревка оборвалась.

В этот самый час она действительно умерла. В этот самый час папа Климент VIII вышел из своей часовни, сверхъестественное прозрение явственно озарило его задолго до того, как почта могла прибыть в Рим, и он изрек:

– Господь радеет о нас. – Означало же это, что многие, и в том числе папа, будут избавлены от больших затруднений, когда не станет герцогини де Бофор, а им известно, что тот, кому следует, должен об этом порадовать. Именно поэтому они не знали всей правды о свершившихся событиях. Кто дерзнет утверждать, что знает правду? Так думал врач у постели, на которой лежала покойница.

Ему не удалось вовремя скрыться; едва герцогиня испустила дух, как комната наполнилась людьми – непонятно, где они прятались, откуда проведали, что случилось. Любопытствующие взгляды, суета и толчея, у всех любопытствующие взгляды, зато все и были вознаграждены жутким зрелищем, которого жаждали. Вот лежит прекраснейшая женщина в королевстве, шея свернута, глаза заведены, а лицо почернело. Первые из видевших ее сказали: «Дьявол», и это мнение утвердилось среди множества народа, которому не удалось полюбоваться таким зрелищем.

Врач очутился посреди толпы, его притиснули к самой кровати; и так как толпе хотелось сильных ощущений, она и его сделала предметом своего суеверного ужаса, что он увидел сразу. Он понял, что ему грозит, если он немедленно не отречется – от покойницы и как врач не снимет с себя ответственности за ее неестественный конец. Он вытянулся так, что прибавил к своему росту два дюйма,

и, изображая ангела с карающим мечом, крикнул через головы толпы: «Nie manus Dei».

Тогда все посторонились, и стена тел раздвинулась перед тем, кто видел воочию «руку Божию», — он мог уйти. Хоть он и предал покойницу, короля, свою совесть, но держал голову высоко и мысленно давал себе слово, которого, впрочем, не сдержал, ибо человек может быть разумен, но он слаб: «Никогда больше не буду я применять свое искусство».

Когда мадам де Сурди прибыла в свой дом, она нашла его без всякого присмотра: кто хотел, тот входил в него. Подле кровати она упала в обморок, больше приличия ради, — она была не из пугливых. Однако дурнота не помешала ей поймать воровку. Это была мадам де Мартиг: жемчужным ожерельем ей завладеть не удалось, зато она стащила с пальца покойницы драгоценные кольца и прицепила их к своим четкам. Сурди отняла у нее награбленное, а интриганку передала в руки полицейского офицера.

Две недели, предшествующие погребению Габриели, ни у кого не было столько дела, как у ее тетки. Госпожа Сурди даже не задумалась над обстоятельствами ее смерти, озабоченная тем, как бы напоследок извлечь всю возможную пользу из этой смерти. Она одела племянницу в свадебный наряд королевы: пурпур с золотом, а поверх белый шелк. Но это была не сама племянница, ибо останки прелестной Габриели никак не могли быть выставлены напоказ. Сделанная по ее подобию кукла возвышалась на парадном ложе в аванзале дома и принимала почести от двора и города.

Тогда как она сама спала вечным сном в заколоченном гробу, ее неискusstvenное подобие красовалось между шестью толстыми свечами из белого воска. В гробу грубый саван и почерневшее лицо; восемь монахами, поющими псалмы, окружена кукла в золотой мантии, и золото герцогской короны сверкает на восковом лбу. Отринутый прах, а подле насупившей подделанной красавицы бодрствовала вся ее семья и два священника читали мессу за упокой ее души. И герольды с алебардами, в черных кольчугах, усеянных золотыми лилиями, стояли перед пышным сооружением.

Не в гробу лежит королева со своими лилиями, а принимает в салоне гостей, двадцать тысяч человек проходит мимо нее. Стоит появиться какой-нибудь герцогине, как ей спешно подсовывают подушку, чтобы она опустилась на

колени.

Весь этот церемониал тетка неукоснительно выполняла в течение трех дней. Для восковой куклы к каждой трапезе накрывался стол, как это делалось в стародавние времена для усопших королей; ей подносили кушанья, капеллан читал застольную молитву. Но это все было лишь началом. Наконец-то подошел день погребения, двадцать три городских глашатая возвестили его народу, имена и титулы высокородной дамы Габриели д'Эстре еще раз прозвучали по улицам. Церковь сияла бесчисленными свечами, число нищих, которых нарядили в траурное платье и поставили шпалерами, достигало семидесяти пяти человек. Шествие из церкви открывали телохранители короля под начальством герцога де Монбазона: он сопровождал ее живую, после того как она рассталась с королем, ему подобала честь идти подле ее гроба. Тут уже не было никакой восковой фигуры. Она сама была тут. За гробом ее, впереди всех всадников и карет, шли трое ее детей. Четвертый был с ней вместе в гробу.

В толпе провожающих говорили многое; только родственники покойной вместе с главой семьи, маршалом де Баланьи, хранили упорное молчание, они придерживались туманных слов врача о руке Божией. В толпе провожающих говорили, что король рад был избавиться от нее; нашелся человек, который позднее повторил это ему в глаза. В народе, теснившемся вдоль улиц, слышались соболезнующие слова: хоть она и умерла, как сука, без соборования, однако незадолго до кончины она все-таки приняла причастие и получила отпущение грехов. Господа из числа провожающих утверждали, что предвидели для нее именно такой конец. Толпа шепталась о каре небесной, которая постигла ее, прежде чем дьявол выполнил свой договор с ней и сделал ее королевой Франции. Двор и город были согласны в том, что король не осмелился самолично принять участие в ее погребении по королевскому ритуалу. И не велел хоронить ее под сводами собора Сен-Дени, где стоят гробницы французских государей. Правда, в соборе над склепом королей ее отпевали вторично, но похоронена она была в Монсо.

Генрих уединился. Первую неделю после кончины Габриели никто из приближенных не видел его. Только его министр Сюлли явился в ту же субботу к шести часам вечера. Габриель тем временем умерла на самом деле, и ее враг поспешил

приехать. Генрих не знал, что оплакивал ее, когда она была еще жива: Рони об этом умолчал. Генрих обнял своего верного слугу, и тот за него прочел псалом «Кто предался во власть Господню», – после чего Генрих поднял взор и долго молча вглядывался в лицо Рони.

При этом Генрих понял многое и прежде всего, – что он имеет право остаться наедине со своим горем, которого никто не разделяет. От этого сознания он сразу как будто утешился. «Его горе неглубоко», – подумал министр, закрывая за собой дверь.

Чужеземных послов, которые нарочно приехали в Фонтенбло, не принять было невозможно. Точно так же Генриху пришлось скрепя сердце слушать, как депутация его парламента выражала свою казенную скорбь столь возвышенными словами, словно речь шла о королеве. Затем они снова предоставили его грустным думам, и он застыл на месте как вкопанный. Они рассказывали: как вкопанный и весь в черном, такого траура не носил до сих пор ни один король, даже и по настоящей королеве.

В начале второй недели он сменил черный цвет на фиолетовый, как принято для государя, потерявшего близкого родственника, но пробыл в уединении еще три дня; только детей своих часто призывал к себе в покои, тогда оттуда слышался плач, что находили естественным. С неодобрением было отмечено, что вороны начали слетаться.

Первым дерзнул явиться протестант Морней – словно истинным источником зла не был Нантский эдикт, ведь лишь после него несчастного короля едва не вынудили посадить на престол ставленницу и заступницу еретиков, да порадел Господь. Морней прибыл не один, с ним явился дряхлый пастор, которого многие еще помнили, имя его было Ла Фэй. Этих двоих пустили к королю; но беседа их с его величеством осталась тайной. Ни звука не проникает на сей раз сквозь дверь, как ни прикладывай к ней ухо. Подглядеть тоже не удалось, оказалось, что ключ вставлен в замочную скважину.

Вслед за этим посещением, прежде чем открыть свои двери и стать таким, как

всегда, Генрих призвал к себе господина Ла Ривьера, первого королевского врача.

Так как Ла Ривьер вошел без доклада, а галерея была длинная, Генрих не сразу заметил, что происходит на другом ее конце. Он сидел перед окном у стола, выпрямив спину и чуть наклонясь вперед. Рука его держала перо, но была неподвижна. Немного погодя он заметил присутствие постороннего, чуть повернул голову и без слов указал господину Ла Ривьеру место напротив себя. Тот повиновался с нелетким сердцем; король обычно вел разговоры, шагая по комнате.

«Неужто дело мое так плохо?» — думал несчастный, который для своего спасения изобрел «руку Божию», но тут она была бесполезна.

У Генриха глаза были широко раскрыты и веки воспалены. Некоторое время, показавшееся врачу бесконечностью, эти глаза удерживали его взгляд; затем Генрих сказал:

— Теперь поговорим.

У врача вырвалось:

— Государь! Клянусь...

— И я тоже, — прервал его Генрих. — Но к чему клясться; никакие клятвы не оправдают нас.

Он тихо заключил:

— Она не была отравлена.

— Вам это известно? — Ла Ривьер не верил ушам своим. — Ваш высокий разум... — начал он. Генрих не дал ему договорить.

— Оставим в покое мой разум. Не будем говорить ни о моем, ни о вашем разуме.

Не я посылал ее на смерть, и не вы убили ее. Вот все, что мы можем сказать в свое оправдание.

— Да, это все, — признался врач. — Я, со своей стороны, могу лишь добавить, что не решился на искусственные роды, ибо больная и без того была отравлена выделениями почек и нездоровой печени. Не полученный извне, а накопившийся внутри яд погубил ее. Ребенок лежал вне матки, в брюшной полости, и закупоривал почки. Когда мы потом вскрыли живот, мы по кускам вынимали его. Всем факультетом удостоверяем мы естественное течение болезни, которой наше искусство до сих пор не в силах противостоять.

При каждом «мы», которое произносил Ла Ривьер, он видел, как подергивается бровь короля над широко раскрытым глазом. Он понял, что должен без поддержки факультета, ни в ком не ища защиты, отвечать за себя. Тот, что сидел перед ним, не ссылался ни на кого.

И врач дал полный отчет, начав с того, как впервые подошел к постели герцогини. Он описал все признаки болезни, один за другим убеждавшие его в тщете его стараний и сводившие на нет все попытки отстоять жизнь больной. Чем страшнее были подробности, тем хладнокровнее излагал он их – отчего сам в конце содрогнулся; оборвал доклад и попросил извинения. Как это ни ужасно, но, увы, неизбежно показать внутреннюю картину того тела, что было самым любимым в королевстве.

– Кем бы я был, – медленно промолвил Генрих, – если бы любил лишь ее оболочку, а не нутро.

После чего врач не в силах был продолжать. Он следил за переменой в лице этого человека – величеством зовут его. Нет сомнений, он не простит, он будет обвинять. Королевское величество может обвинять кого угодно. И даже природу? В самом деле, Генрих сказал:

– Она могла остаться в живых.

– Сир! – осмелился возразить врач. – Не я, природа исцеляет. Она же равнодушна к бытию и небытию. Мой учитель Гиппократ [83. – Гиппократ (ок. 460–377 гг. до н. э.) – выдающийся врач Древней Греции, оказавший большое влияние на развитие медицины в последующие века.] сказал бы, что герцогиня де Бофор исцелилась.

– Аминь. – Генрих скривил губы в усмешке. – Все мы обречены смерти. Вопрос только, в какую минуту она еще не была обречена ей. Что мы упустили, дабы природа исцелила ее иначе, нежели небытием?

Ла Ривьер снова испугался, он сделал попытку оправдаться. Герцогиня ухаживала за королем во время его болезни без усталости, без жалоб. По ней ничего заметно не было, заявил он. Внезапно покраснел, запнулся и, наконец, перечислил перемены, которые давно уже должны были сказаться в ней. Кошмары? Головные боли? Обмороки и ослабление памяти, зрения? Генрих все подтверждал. После этого

Ла Ривьер признался, что его обмануло благополучное течение прежних ее беременностей. Третья уже была сопряжена с подобными недомоганиями, хоть и в более слабой степени. Теперь ясно, что у нее тогда еще началась болезнь печени и заранее предопределила тот конец, который в самом деле постиг ее.

— В самом деле постиг ее, — повторил Генрих. Он пробормотал: — Только вникнуть: ее в самом деле постиг конец. Потому что я ничего не видел и не желал верить ее страхам. Каждую ночь делил я их с ней, как она, просыпался от сна в ужасе. Оба от одного и того же сна.

Тут он вскочил с кресла и зашагал по галерее. Ла Ривьер отступил к стене. Больше для себя, чем для осиротевшего человека, который вслушивался лишь в свои воспоминания, он заговорил словами своего учителя Гиппократата:

— Жизнь коротка, искусство долговечно. Возможности мимолетны, опыт обманчив, судить нам трудно. — Чем Ла Ривьер по мере сил уменьшал свою ответственность, ибо возможность наблюдать герцогиню де Бофор была для него в самом деле мимолетна.

Генрих, напротив, с каждым шагом сильнее ощущал тяжесть своей вины. Ему не следовало удалять ее от себя, не следовало ни на миг выпускать из рук свое бесценное сокровище. Он не поспешил тотчас же на ее последний отчаянный зов. Ах, нет, начало вины уходит далеко в прошлое. Ей давно надлежало быть его законной королевой; тогда не стало бы всех ее страхов, а причина ее смерти именно страх, что он покинет ее. Покинет, как некогда несчастную Эстер, — ту пастор Ла Фэй вызвал к жизни и показал ему — не женщину, а тень, неузнаваемую после долгого небытия. «Пастор, я неисправим. Как быть, чтобы и эта не исчезла в небытии, подобно всем забытым?»

«Сир! Этого не будет, ибо вы получили жестокий удар и сами по летам уже близки к той меже, откуда начинается поворот».

«Мне страшно за себя, господин Ла Фэй. Ведь эта покойница будет смотреть, как я старею. А что, если моя старость будет недостойна ее и меня?»

«Сын мой! Вы любили дитя человеческое, Габриель. Силой своей любви вы стали великим королем».

Последние слова вместе с рыданием громко вырвались из его груди. Врач,

прижавшись к стене, боялся подслушать слишком много, ибо дух короля вел воображаемые беседы и полагал, что они не имеют свидетелей. Однако господин Ла

Ривьер не получил разрешения удалиться, а потому не смел сделать ни шага. Перед одним из окон Генрих остановился и прильнул лбом к стеклу. Тогда господин Ла Ривьер неслышно покинул комнату.

За дверями его встретил назойливый шепот придворных, поджидавших его. Король очень гневается? Кого он винит, чего надо опасаться?

Первый врач отвечал, по своему обычаю, уклончиво и туманно:

— Король вне опасности, ибо он помнит о своем величии.

Пока эти слова обсуждались, Ла Ривьер скрылся.

Генрих, прильнув лбом к стеклу, обращался к той, которая все равно не вернется.

«С тобой, лишь с тобой стал бы я тем, кем мне надлежит быть».

Он снова сел в кресло, еще раз перечитал письмо своей сестры, герцогини де Бар. «Если бы угодно было Богу, я отдала бы остаток своих дней, чтобы облегчить вашу скорбь», — писала Катрин.

«Это ничему бы не помогло, сестра моя и ее друг». Он взялся за прерванный ответ. «Тоска и сетования будут сопровождать меня до могилы, — стояло там. — Однако Бог дал мне жизнь не ради меня, а для королевства». Он приписал: «Корни моего сердца мертвы и больше не дадут ростков».

VII. Поворот

Мы продолжаем свое дело

Король со своим начальником артиллерии отправился в горы. Они захватили с собой в Савойю сорок пушек, сопровождали их полторы тысячи пеших, две тысячи

конных, маршал Бирон, граф де Суассон и многие другие. Храбрый Крийон командовал французской гвардией — наконец-то вновь забрезжили ратные подвиги,

их давно недоставало. Истая удача, что герцог Савойский нарушил договор. Не

отдал ни маркграфства Салуццо, ни провинции Бресс. Потому-то и отправились они

в Италию без дальних слов отобрать эти области — дело было осенью 1600

года.

Герцог Савойский, без сомнения, выполнил бы договор, если бы Цезарь, сын Габриели, по-прежнему был наследником французской короны и его зятем. Сын Габриели не был уже ни тем, ни другим. В скором времени королю предстояло, через подставное лицо, вступить в брак с принцессой Тосканской.

Чужестранная

королева должна была незамедлительно отплыть на корабле во Францию и привезти

очень много денег на своей галере, стены которой, по слухам, были выложены

великим множеством драгоценных камней. Габриель д'Эстре не имела их в таком

количестве. Старые боевые товарищи короля любили ее оттого, что он любил ее;

все равно с обстоятельствами надо считаться. Ни корабля с сокровищами, ни такого веселого похода от покойницы ждать не приходилось, а посему никто не

оплакивал ее, в особенности на людях.

Они твердили: сам король утешился. Не только потому, что он женится на чужестранке. Через четыре месяца после утраты возлюбленной он взял себе новую —

находка не из удачных. Матушка ее, например, заколола кинжалом пажа. Не сладко

живется с ней королю. Он сам рад избавиться от маркизы и выступить с нами в

поход. Пока по каменистым тропам втаскивали пушки, воины не знали, чему больше

дивиться — трудному ли начинанию короля, или тому, как благополучно оно осуществляется. Одна-единственная ночь — и разом захвачено в двух областях две

крепости; маршал Бирон не встретил значительного сопротивления в Брессе, а

господин де Креки[84. — Креки де Бланшфор де Канабль (1567-1638) — французский

полководец и дипломат. В 1605 г. стал начальником французской гвардии.] занял жемчужину Савойи,

Монмелиан — пока что только город, а не замок. Замок был сильно укреплен и как

горная крепость не имел себе равных. Однако и до него очередь дойдет неминуемо.

Пока же пушки были двинуты против другой твердыни.

Пушка на лафете весила восемь тысяч фунтов, в каждую впрягали по двадцать три коня, в большие кулеврины — по девятнадцать. Храброму Крийону больше по

душе было бы открытое поле битвы, нежели ущелье между скалой и горным ручьем.

Ему хотелось, по старой памяти, бросить в атаку своих французских гвардейцев;

но ничего не поделаешь, эта страна создана для начальника артиллерии, его пушки

творяют чудеса без всяких битв. Когда мы подступили к Шамбери, тамошний гарнизон собрался было обороняться. Господин де Рони даже не пустил в дело батарею в шесть орудий, только показал ее, как ворота уже распахнулись, и мы вступили в город. Жители встречали нас так, словно мы высшие существа, хотя боги древности были менее тяжеловесны, чем мы со своим обозом. Впрочем, мы мигом стали легконогими и задали бал.

Одноглазый Арамбюр сказал своему другу в то время, как они с трудом карабкались вверх:

— Кого мы чествовали на этом балу? Мадам де Рони, из почтения к пушкам ее супруга, которые много красивей ее. Маркиза ничего не стоит, новая королева будто бы не понимает по-французски. Вспомни прошлое, Крийон!

— Не вспоминай прошлого, Арамбюр! Что было, то сплыло. То ли еще приходилось нам хоронить. Она была прекрасна и добра.

— Неужто король забыл ее?

— Довлеет дневи злоба его. Вот сейчас он карабкается вместе с нами.

Тут им пришлось задержаться; остановилась вся вереница войск, необозримая в своих изгибах, стиснутая между скалами и горным ручьем. Тучи хлынули на нее дождем, которым грозили давно; а когда они разошлись, в небе вдруг вырос замок, прежде он не был виден. Шагая впереди войска, начальник артиллерии обратился к королю:

— Сир! Шарбоньер. Стоит вашему величеству приказать, и мы возьмем его.

— Мне легко приказывать, — вполголоса отвечал король себе в бороду. — Господин начальник артиллерии, вы и так уже промокли насквозь, невзирая на толстый плащ. Подвезите орудия, не забудьте также ядра, порох, все запряженные четверней повозки со снаряжением: работы хватит на три дождливых дня.

Рони закончил все в тот же день, от усталости у него по телу разлилась краснота, пришлось пустить ему кровь. На другое утро он опять был на коне. Он хотел отправиться на разведку; замок был окружен скалистой броней, более несокрушимой, чем бывает обычно земная кора. Господин де Рони надеялся нащупать слабое место. Но тут наконец потерял терпение храбрый Крийон.

— Проклятье! — вскричал он. — Господин начальник артиллерии, вы, видно, боитесь, что будут стрелять. В вас — может быть, только не в меня.

Тогда начальник артиллерии решил научить его уму-разуму — взял полковника за руку и с ним вместе вышел из-за прикрытия. Назидательно свистели мимо их ушей пули, пока Крийон не сдался.

— Теперь я вижу сам, прохвостам дела нет ни до вашего жезла, ни до моего креста Святого Духа. Они, чего доброго, могут подстрелить нас. Уйдем под прикрытия. Вы храбрый и честный товарищ, — сказал Крийон, от восхищения перед начальником артиллерии забыв о перенесенном страхе. А прежде смотрел на него не иначе, как на извозного подрядчика.

В войске составилось новое представление о Рони. Во время этой войны королевство по-настоящему узнало то, на что не раз роптало раньше с меньшим правом, — тираническую власть. Король сделал своего Рони всемогущим, дабы тот выиграл для него войну. Финансы и артиллерия в руках одного министра дают такую мощь и силу воздействия, от которых можно содрогнуться. Рони приостановил все платежи государства, кроме затрат на военные нужды. Он заставил людей по суше и по рекам подвозить к самому театру военных действий невероятные тяжести, составляющие его боевое снаряжение.

И наконец, что было самым непривычным, — он начал гонение на нерадивых и изменников. У него в артиллерии все офицеры — молодежь, которая предана ему и зорко следит за высшими чинами. Маршал и губернатор, по заведенному обычаю, имел бы полное право вступить в особое соглашение с врагом. А потому предпочел бы не слишком рьяно побеждать его, и в конце концов оба — маршал Бирон и герцог Савойский — поделили бы между собой выгоды. Что касается герцога Савойского, он полагался на Бирона, не считал нужным тратить на борьбу с ним большие усилия в своей провинции Бресс. Но Бирон волей-неволей вынужден идти от победы к победе; артиллеристы господина Рони ничего знать не желают и зорко следят за ним.

Эта война совсем необычная и всецело находится во власти короля; кто идет своим путем, того тотчас объявляют изменником. Вот увидите, от начальника артиллерии все равно не скроешься. Грабить и резать тоже не разрешается, население приказано щадить. Король сказал, что враг у него один — герцог. Его

обновленное войско дивится ему. Об его министре у нас тоже создается новое представление. Может статься, он вовсе не пугало, а великий слуга великого короля.

Перед горной крепостью Шарбоньер Рони немало положил терпеливых трудов, прежде чем пушки были установлены надлежащим образом. Черная ночь, непрерывные потоки дождя — четыреста волонтеров, швейцарцев и французских гвардейцев, каждому начальник артиллерии обещал по эю. И тем не менее, промокнув до костей, они побросали всю работу, ему пришлось силой извлекать их из-под крыши, при этом он даже лишился нескольких человек. Сам он был в грязи по уши, спал всего час, зато к утру шесть кулеврин были установлены. После этого начальнику артиллерии пришлось вступить в пререкания с королем. Королю не терпелось увидеть действие огня до сумерек. Рони возражал. Сперва надо было подмостить под орудия настил из балок, а также замаскировать их ветками. Король разгневался.

— Вы во всем хотите главенствовать. А глава — я.

После чего верный слуга уступил, хоть и с недовольством и лишь науки ради. Попытка не удалась, как и следовало ожидать.

— У меня нет охоты стрелять по воробьям, — сказал начальник артиллерии и оставил королевское величество под дождем.

Наутро густой туман застлал горизонт вместе с мишенью. Ни следа крепости, король высмеивает своего начальника артиллерии. Тот не унывает. Едва рассеивается мгла, как он наводит орудия. Одно, которое он навел собственной рукой, пробивает брешь в укреплении. Сверху отвечают, канониры короля падают, он насчитывает десять убитых, среди них двух офицеров. Генрих говорит про себя: «Мой начальник артиллерии был при Иври, трудно поверить этому. Там сражались по-иному, я бы сказал: тогда мы умирали во всеоружии. Он был покрыт рублеными и колотыми ранами, высокаторжественная процессия провожала его домой. Странный человек! Все мы странные люди — трудно постичь, как можем мы продолжать свое дело после всего, что произошло и что осталось позади».

Когда у них там, вверху, взлетела на воздух пороховая башня, они капитулировали, и начальник артиллерии верхом на статном коне совершил въезд, а

жители встречали его, стоя на коленях. Когда они показали ему своих раненых, он при виде стольких растерзанных, обожженных тел смягчился и предоставил им почетные условия сдачи. Только из суммы, которую он потребовал, выторговать ничего не удалось.

От замка шли каменистые уступы, покрытые скудной растительностью. Там прогуливался король с начальником артиллерии, он один во время беседы созерцал горный кряж, светлый, как стекло. Начальник артиллерии не замечал пейзажа, он был всецело занят мыслью взять теперь и Монмелиан. Эта крепость неприступна, в один голос сказали ему на военном совете. То же во время прогулки утверждал и король, однако втайне думал раззадорить этим начальника артиллерии, чтобы он превзошел собственное мастерство. При этом король созерцал горный кряж, светлый, как стекло, голые вершины, холодные, прозрачные краски, которыми ранняя осень покрывала далекие зубцы и утесы. Над снежными просторами парило небо, голубое и пустынное. Будь это родные Пиренеи, на голову короля, на лесистые горы лились бы потоки слепящих лучей. Здесь же воздух легкий и морозный, он так и просится в грудь и отчетливо рисует очертания мишени, на которую мы направляем пушки.

Начальник артиллерии напомнил королю один случай. Он постоянно напоминал ему о чем-нибудь. Герцог Савойский осматривал королевские пушки в арсенале, когда договор еще не был нарушен и отношения казались дружественными. Герцог был с первого взгляда потрясен мощной артиллерией, почему начальник ее сейчас же заверил его:

— Сударь, этими пушками я возьму Монмелиан. — Ух! Как тут затопал ногами горбатый герцог и весь побелел от бешенства, если не от страха.

— Господин начальник артиллерии, — сказал король, — вы требуете месяц сроку для захвата крепости. Это гордость герцога, так быстро вам не завладеть ею. Но все равно, даю вам месяц сроку и предоставляю свободу действий: я буду лишь зрителем.

Господин де Рони не желал и слышать о том, чтобы королевское величество подвергалось всем опасностям осады. На самом деле он боялся, как бы король не стал мешать ему. Чем он будет дальше, тем лучше. Король понял, а потому перевел

разговор. Он сказал, что путешествие это весьма приятное, не будь шальных пуль.
Ему оно освежает тело и душу, ибо здесь он отдыхает от женщин, а значит, и от сводников.

Во время этой речи короля начальник артиллерии покосился на него сперва сурово, потом с усмешкой. Он был выше своего государя, но при быстрой ходьбе подавался теперь вперед своим негнушимся станом, а руки любил держать за спиной. Король сохранил прежнюю ловкость движений, он спрыгнул с уступа и вернулся с осенним цветком в руке, не прервав своей речи.

— Господин начальник артиллерии, впервые здесь, в горах, чувствую я приближение того времени, когда женщины перестанут восхищаться, а значит, и мучить меня. Из всех одна лишь была моим счастьем и моим владением. Это не воротится никогда. — До сих пор он ни разу не упоминал об утраченной; наступило молчание.

— Сир! — отважился немного погодя Рони. — Корабль с вашей августейшей королевой и великим множеством денег принесет вам то и другое — владение и счастье. Вам прискучили лишь любовницы, с чем вы согласитесь без труда, когда я расскажу вам историю одного короля былых времен. — И рассказал королю не что иное, как его собственную историю, и притом с нравоучительной целью. Хотя будущий герцог Сюлли и был моложе своего государя, однако считал себя призванным поучать его во всем, будь то артиллерия или любовь.

— Шестьсот лет тому назад, — начал господин де Рони, — у одного прославленного властителя Востока умерла самая любимая наложница. — «Прошло шестнадцать месяцев», — подумал Генрих, поняв намек.

— В порыве горя султан дал торжественную клятву, — утверждал сказочник, — он поклялся, что никогда не переступит порог своего гарема. Но подобное намерение противоречило его природе, отчего всякий, кто имел честь приблизиться к нему, опасался за здоровье короля.

— Да, — вскричал Генрих. — При восточных дворах в большом ходу сводники. Могу себе представить, как они докучали государю.

— Во всяком случае, он не заставил себя долго просить, — отвечал Рони. — Он купил для своего гарема восемнадцатилетнюю девственницу.

— Которая уже отнюдь не была таковой, — вставил Генрих.

— В той мере, в какой эта оговорка может служить извинением, я принимаю ее, — сказал протестант. — Печаль и осиротелость легко переходят в необузданную жажду утех. Так и случилось с нашим султаном, он не ограничился одной-единственной покупкой. Он приобрел много женщин, среди них даже кузину своей усопшей повелительницы, должно быть, из уважения к ее памяти. И, подумать только, — он водил своих мимолетных подруг в тот же пышный приют некоего ростовщика, который так часто видел в своих стенах самого султана вместе с его бесценной повелительницей.

Генрих пошевелил губами. Хотя слова его были мало внятны, Рони переждал.

— Этот султан, — шептал Генрих, — понял, что ему больше нечего ждать от любви. Он махнул на себя рукой, он опустился ниже дозволенного ему предела.

Рони ничего не слышал, он впервые с начала их прогулки созерцал горный пейзаж.

— Мы забыли о восемнадцатилетней девственнице, — заметил он наконец.

— В самом деле. — Генрих был удивлен. — Ваш султан очень забывчив, господин начальник артиллерии. С ним нередко случалось, особенно на войне, что новая возлюбленная ускользала у него из памяти на день, а то и на неделю. Затмился день тоскою, — ничего похожего с ним не было. Жестокое прощанье, — избави Боже, он только радовался.

Сказочник рисовал теперь другой образ, — несговорчивого визиря. — У нашего султана был суровый, расчетливый визирь. Этот сановник уже и с покойницей не ладил из-за того, что она со всей своей семьей очень дорого стоила государю, а под конец даже пожелала стать королевой. Новая же с этого начала. Мало того что отец этой особы продал ее невинность султану за сто тысяч золотых и визирю пришлось выплатить их. Как описать ужас сановника, когда его государь показал ему бумагу, за печатью и подписью, где алчной особе был по всем правилам обещан брак. Визирь просчитал до трех и затем... разорвал высочайшее обязательство.

— Господин начальник артиллерии, вы сочиняете сказки.

Король остановился и вперил взгляд в своего спутника.

— Этого вы не посмели сделать!

— А какой бы из этого был прок, — возразил Рони. — Вы написали бы второе. Вы были без ума от мадемуазель д'Этранг и боялись только, как бы не упустить эту, подобно той. Вашему слуге оставалось лишь возможно скорее женить вас на богатой принцессе.

Король скорчил гримасу.

— И получили мы меньше половины того приданого, какое потребовали, но мне пришлось согласиться, чтобы оплатить эту войну. А мое брачное обязательство осталось в руках господина д'Этранга, того самого, кто стоял у смертного одра короля, моего предшественника, и держал ему подбородок, чтобы он не отвалился. Вы могли придумать что-нибудь поумнее, господин начальник артиллерии.

— Так уж, видно, суждено... — начал было Рони.

Никто не узнал, что именно суждено, ибо начальник артиллерии закрыл рот и даже опустил веки: этого за ним не водилось. Король зашагал снова быстрее прежнего. По оголенным осенним садам горного склона молча шагали они, начальник артиллерии подле короля, который спрашивал про себя, что же суждено. «Любви длиться вечно, — наверно, не это. Я так же мало люблю Генриетту, как она меня. Я спешил покорить ее, потому что нельзя терять время, когда стареешь. Ноги мужей, которые вынесут тебя, уже у порога, вот что мне суждено...»

— Господин начальник артиллерии, выкладывайте ваши истины. Я жду от вас истин.

Голос слуги не был, как обычно, сух. Как ни странно, он чуть ли не дрожал:

— Сир! Самые суровые истины относятся ко мне самому. Я ревновал вас к вашей бесценной повелительнице, которая вас любила и была вашим владением. Как бы то ни было, я выполнил свой долг перед королем и не смею каяться в этом. Остальное довершила смерть. И теперь вы шагаете по этим уродливым уступам со мной одним.

Генрих думает: «Верный слуга. Примерный слуга наперегонки со смертью освобождает меня от всех, кого я люблю. Чей теперь черед?»

Рони не заставил его долго ждать. Он назвал изменником маршала Бирона, которого Генрих любил. Когда Генрих возмутился, он привел ему доказательства измены.

— Ваше величество, соблаговолите сами посетить место его подозрительных действий.

— Господин начальник артиллерии, вы хотите, чтобы я вам не мешал здесь.

— Сир! Здесь и повсюду вам надлежит побеждать. Мне враг всякий, кто становится вам поперек дороги. — Снова послышался знакомый непоколебимый тон. —

Снимите с меня голову. Если же вы оставите ее мне, то падут головы тех, кто изменяет королю, будь это даже люди, получившие от него обещание за подписью и печатью; мстительность делает их заговорщиками против моего государя.

— Господин начальник артиллерии, вы считаете, что одна лишь ваша голова прочно сидит на плечах. Не хочу верить, что вы правы.

На том окончилась их прогулка. Генрих думает: «Под конец он всегда оказывается прав».

Извращенный возврат

Король посетил своего маршала Бирона на месте подозрительных действий. Бирон начал с того, что постарался направить пулю врага в короля. В осажденной крепости никак не могли знать, где находится король, разве только по особому уведомлению.

— Объясните мне столь странную случайность, — потребовал Генрих, как будто он не знал, что случайности необъяснимы. Но еще непонятнее была ему измена. — Ваш отец любил меня, а я его, — в сотый раз повторял он сыну, ибо одна лишь память о старике оправдывала милость к молодому. — Сперва он был мне врагом и стал тем более надежным другом, когда судьба свела нас. Не думаете ли вы, господин маршал, что незаслуженная дружба толкает на ненависть и месть того, кому она достается?

— Это мудреные вопросы, — буркнул Бирон-сын; из такого, каков он был, тупоголового, кряжистого, с мертвенно-мрачным взглядом, часами нельзя было выудить больше ничего. Генрих дал себе слово, что сломит его упрямство и

привлечет его к себе – одним только доверием. В самом деле, изменника можно смягчить и в конце концов даже одолеть избытком доверия, при условии, что он по натуре не склонен к измене, а идет на нее лишь потому, что война не только допускает измену, но и превращает ее в разумную обязанность. Сильные мира сами создают смуту, чтобы каждый мог захватить бóльшую власть, чем ему пристало. Как же тут оплошать маршалу Бирону?

Поймать Бирона в его собственные сети – это дело начальника артиллерии. Генрих уже сейчас видел то, в чем Бирону предстояло убедиться позднее, а именно, что противник вроде герцога Савойского не стоил измены. Крепости его сдавались одна за другой, войско уклонялось от боя. Он потерял честь, велел передать ему Бирон, но у всякого свое понятие о чести.

Первые отбитые знамена Генрих послал своей фаворитке мадемуазель д'Этранг, ей в утешение. Ибо, когда в ее комнату ударила молния, она разрешилась младенцем, который вскоре умер. Ввиду этого брачное обязательство потеряло силу, как бы ни шумела и ни грозила потом ее семья. Едва поднявшись после родов, молодая особа отправилась вслед своему старому любовнику, а он поспешил ей навстречу. Вначале она была измучена и жалка, ах, как она умиляла его. Что же он делает? В тот самый день, девятнадцатого октября, пришла весть, что во Флоренции совершен обряд его бракосочетания. Генрих дает полномочия хлопотать в Риме о признании его нового брака недействительным: он связан обязательством в отношении мадемуазель д'Этранг. Обязательство же это потеряло силу, как он сам доподлинно знал.

Молодая особа пресекла его умиление. Получив полномочия для Рима, она потребовала, чтобы он даже не принял флорентийки, когда та приплывет на своем корабле сокровищ; а не то она сама будет открыто участвовать в торжествах в качестве его возлюбленной. К изумлению всех, кто присутствовал при этой сцене, король ничего не возразил. Он как будто не понимал, насколько чудовищно такое положение, а возможно, ему все это было на руку. В комнате находился Бассомпьер, человек искушенный и большой приятель новой фаворитки. Однако и он опешил от того, что тут происходило; даже у господина де Вильюа перехватило

дыхание, а вряд ли кто-нибудь меньше его считался с соображениями благопристойности.

Генриетта металась по комнате, меж тем как Генрих сидел спокойно. Ее же бесила именно его стоворчивость и мягкость.

— Чего доброго, мне еще велят снимать башмаки дочке чужеземного торговца, — кричала она срывающимся голосом, довольно неблагозвучным, какой бывает у мальчиков в переходную пору. Бешено размахивала она худыми руками, одежда соскользнула с них, и даже маленькие острые груди выглянули наружу. — Видеть не желаю толстую банкиршу, — кричала она, явно противореча своему недавнему требованию. Короля забавлял ее буйный нрав, почему он и сидел спокойно и наблюдал за ней. Либо это разозлило ее, либо она хотела усилить впечатление. Только она подошла к нему вплотную, так что ему пришлось отодвинуть ноги, и поднялась на носки, словно в танце; в такой позе он увидел ее впервые.

Тогда в кресле подле него покоилась прелестная Габриель. Их хотели разлучить, под предлогом балета ему показали девушку, которая порхала перед ним на кончиках пальцев, так что ему приходилось отодвигать ноги; и она старалась сделать свою тонкую фигурку выше, еще выше, чтобы сверху сверкать на него черными глазами, которые, впрочем, были как щелки. И тут она повторяет прежнее. Получила звание маркизы, на что Габриели потребовалось гораздо больше времени, и присвоила себе право обзывать королеву как ей заблагорассудится. Генрих пожал плечами. Он попытался перемигнуться с присутствующими при сем кавалерами, но они отвернулись.

Генриетта д'Этранг неожиданно перешла от крикливого буйства к опасной кротости. Она сама считала это новое поведение угрожающим; короля же оно забавляло не меньше прежнего. Он уже стар, соболезнующе сказала она и издала горлом кудахтающий звук. Ему пришлось купить ее, другие получали ее даром. Теперь уже она попыталась подмигнуть господину де Бассомпьеру — и потерпела ту же неудачу, что и король до нее. Дворянин даже вознамерился улизнуть потихоньку.

— Оставайтесь, — через плечо бросил король. — Вы здесь по должности.

Новая маркиза продолжала тактику оскорблений кротостью. Она пролепетала:

— Эта должность, сир, у вас никогда не пустует. Герцог де Бельгард занимал ее при моей предшественнице.

Король вскочил с кресла, он изменился в лице.

— Это вас задело за живое! — крикнула одержимая и, показывая на него длинными острыми пальцами, радостно выкрикнула: — Рогоносец!

Вслед за тем она поднялась на кончики пальцев и минуты две выделяла пируэты, стараясь держаться в свете люстры и при этом блеснуть всеми тонкостями своего искусства. Тело змеей выгибалось назад, пока руки не коснулись пола, а длинные ноги с напрягшимися мышцами продолжали стоять прямо. Тем временем ловкая девица успела освободиться от последних покровов. Так как голова ее была откинута и заслонена туловищем, кавалеры рискнули молча обменяться впечатлениями с королем. Дитя, она не понимает, что говорит. Пусть ее пляшет головой вниз. Дитя, и притом взбалмошное.

— Госпожа маркиза де Вернейль, вы превосходите самое себя и дарите зрелище, достойное королевства. — Министр Вильруа, нарочито или нет, принял тон старичка, на долю которого неожиданно выпадает такая утеха: он развлекается со знанием дела, однако не без грусти.

Юность, которая здесь выставляла себя напоказ — воплощенная юность, и больше ничего, — вдруг высоко подпрыгнула и закружилась в воздухе. Прыжок завершился коленопреклонением перед королем — юность бездумно приняла красивую позу, ничего не испытывая при этом, кроме легкой иронии. В щелочках глаз поблескивали искры, но трепещущие руки показывали, как ревностно воздаст хвалу влюбленная рабыня. Только рабыни с любящим сердцем здесь явно не было.

Король рассмеялся, все прощая, и накинул одежды на лукавую наготу. Едва войдя в милость, она уже приказала подать ужин себе и королю отдельно от других. Кивком головы отпустила она кавалеров.

За дверьми один обратился к другому:

— С этой вам не следовало спать.

— Почему, собственно, — возразил другой. — Во-первых, я отказывался. Во-вторых, король к подобным вещам привык, он выше их. В-третьих, именно я доставил ему маркизу. По заслугам и честь. Если же вы собирались предостеречь меня от умалишенной, то вы не подумали, как трудно удовлетворить короля, когда у него, в сущности, уже нет желаний. На это способна только такая юная дурочка — она долго продержится, а я вместе с ней.

Утро было подобно вечеру. Все часы дня протекали для Генриха одинаково, пока он терпел возле себя эту женщину. Она забавляла его больше, чем он считал для себя еще мыслимым. Она была полна неожиданностей, ее очарование напоминало переменчивый ветерок. Когда она прикидывалась слабой – это была комедия, слезы ей приходилось выжимать из себя. Однако неясно, насколько непритворна была ее твердость, какую цену имели ее угрозы, которые она подкрепляла чересчур трагической мимикой. «Хищнические наклонности, – думал Генрих, – а в семье их развивали». Утратив свою настоящую подругу, он чувствовал себя таким усталым и разочарованным, что не смел призывать ее, избегал даже вспоминать о ней, позабыл ее – Генрих, что же осталось тебе?

Осталось тяготение к женщинам, осталась чувственность. Неотъемлем до конца дней давнишний экстаз, сир, и то, на что он воодушевлял вас всю жизнь. Чем было бы иначе дело рук ваших? Кем были бы иначе вы сами? В вас бурлят силы: своей прелестью эти хрупкие создания вызывали в вас подъем сил. За одними все чаще следовали другие, каждая новая превосходила прежнюю, пока с последней, настоящей не исполнилась отпущенная вам мера величия и власти. Вы тяготели к женщине, что порочно и в конце концов не приводит к добру; это было вам предсказано давно. Власть чувства возвышает человека в молодую пору, вы же были молоды дольше обычного предела; и даже потом эта власть способна оплодотворять. Только тут все чаще выпадают полосы оскудения.

Беспристрастная природа уже не подчиняется своеобразию личности, бесплодное чувство превращается в собственную пародию. Полоса оскудения, и стареющий любовник наталкивается на женщин хищнической породы, – с ними все идет быстро, ничто не имеет цены. Вспомните, как медленно вы завоевывали свою прелестную Габриель, сколько терпения и трудов пришлось вам приложить, сколько унижений вытерпеть, дабы искупить свою страсть. Ваша цель была трудна, как сама жизнь: эту я должен покорить, эта станет моей – и она стала всецело вашей, покоренная вами. А можно ли вообще покорить Генриетту д'Этранг, вашу скороспелую маркизу, вашу бесстыдную хищницу? Да вы этого и не хотите. Здесь равнодушны вы.

Зато юная маркиза ненавидит всю, ибо она хочет слишком многого зараз и уже не знает, как себя поставить, чуть ли не вниз головой. Она ненавидит вас за обещание жениться на ней, за ненужные роды, за королеву, которая должна прибыть. Пренебрежение, окружающее вашу возлюбленную, больше разжигает ее ненависть, чем все хулы, вместе взятые. В отместку за пренебрежение двора она голой танцует перед кавалерами. Самое же непоправимое, да будет вам известно, это ваше собственное глубочайшее равнодушие. Ради Генриетты вы не стали бы служить не то что семь лет, даже день один. Вы гораздо больше торопитесь, чем ваша требовательная подруга, что вполне понятно: полоса оскудения. Ее надо миновать беглым шагом как нечто мимолетное. Вновь стать плодоносным! Ваши силы ждут, сир, вы копите запасы и излишки. Вам нечего страшиться.

Торопливо прошли для короля дни с возлюбленной, которая не отступалась от своих притязаний. После каждой ночи с ним она поднималась будущей властительницей, что могло быть лишь забавно и дать кавалерам и дамам повод для смеха. Но шутки Генриетты бывали злы. Вставая, она обзывала короля своим «рыцарем доброй воли». Так как это только потешало его, то кавалеры и дамы сами не знали, над кем, собственно, они глумятся исподтишка. Оттого-то им трудно давались официальные почести, которых требовала от них мадам де Вернейль. Впрочем, мадам сама недолго соблюдала церемонии, она накидывалась на короля, выставив острые коготки. Он обманул и одурачил ее. Он со своим Бассомпьером – ярмарочные шарлатаны, они провели ее. Он еще узнает ее.

Против этого никто не возражал, а потому ее давно перестали бояться. Ее отец, орлеанский губернатор, мог наделать хлопот королю, все равно неприятности его величества тоже многим на пользу. Жениться он на этот раз не собирался. Значит, настоящая опасность исключена; кому охота строить козни, как во времена бесценной повелительницы. Пусть юная Генриетта куролесит сколько душе угодно. Даже любопытно, какую месть готовит она королю. А пока что она забавляет его, – извращенная забава. Всем ясно, что чувства короля в смятении. Ну и отлично!

Дело принимало нешуточный оборот, когда маркиза задевала своими оскорблениями покойницу. Она это заметила и каждый раз заходила все дальше. Она

не обладает терпением наседки, она не из числа женщин с двойным подбородком, осмелилась она вымолвить однажды и ломающимся, но свежим голосом запела: «Прелестной Габриели». Тут король круто повернулся и крикнул:

— Бассомпьер, коней! Едем обратно к начальнику артиллерии.

Придворный имел дерзость приказать, чтобы оседлали коня только королю.

— Я принимаю сторону мадам де Вернейль, — заявил он, — и остаюсь при ней. Ибо я вижу: и у вашего величества то же намерение. — В самом деле, он до тех пор бегал из ее комнаты в его комнату, пока враждующая чета не исчезла в общей опочивальне.

Все это пустяки, если вспомнить, что Генриху придется удалить свою прихотливую забаву, когда явится королева. Третьего ноября она высадилась в Марселе. Общая опочивальня в Шамбери от этого не перестала быть общей. Королева привезла с собой папского легата, он имел поручение добиться мира с Савойей: мешкать не приходилось, Монмелиан готов был сдаться, герцогу грозило полное поражение. Когда Мария Медичи и кардинал Альдобрандини[85. — Кардинал Альдобрандини Пьетро (1571–1621) — папский легат, племянник папы Климента VIII.] оказались в двух днях пути, любовным утехам в веселом местечке Шамбери пришел конец.

Маркиза неистовствовала. Она намерена сунуть под нос кардиналу пресловутое брачное обязательство, чтобы он тут же объявил недействительным флорентийское бракосочетание. Король немедля должен жениться на ней. Все дивились, как он стерпел такую выходку. Он выдвигал доводы, он спорил, как будто это могло к чему-нибудь привести, но ни одного повелительного слова не вырвалось у него. Он держал себя как подчиненный, чем довел ее до неистовства. Не к этому ли он стремился? Когда она совсем обезумела и сама испугалась, он сразу овладел положением. Удивительнее всего, что вся сцена и превращение заняли четверть часа. Он обхватил ее твердой рукой и отвел на корабль, который радовал глаз изящным убранством и стоял на живописном озере. Необузданная особа разом смирилась и захлопала в ладоши, радуясь предстоящему приятному путешествию.

Однако она тотчас же принялась проливать слезы, как приличествует при прощании влюбленных, которые должны претерпеть разлуку, хоть и недолгую. Генрих обещал поспешить за ней, что он намерен исполнить в самом деле, и

возлюбленная знает это. Он машет вслед кораблю, пока тот не скрывается, но его затуманенный взор уже раньше потерял из виду женскую фигуру, а она еще продолжала кивать. Когда это все уже было? Куда он отсылал другую, среди молений, слез, обетов, поцелуев? Тогда это не делалось наспех, как сейчас, тут в сердце пустота и в мыслях беспечность. В ту пору все было напоено болью и раскаянием и длилось долго – длится по сей час. Отсюда и торопливый извращенный возврат.

Чужестранка

Мария Медичи сошла с корабля, стены которого сверкали драгоценными камнями. На якорь стала не одна эта галера, ее сопровождали три флотилии: тосканская, папская и мальтийская. Королева привезла с собой семь тысяч итальянцев, которые должны были остаться здесь, кормиться за счет французского народа и повсюду громко говорить на языке чужестранной королевы.

Большей части ее свиты не терпелось поскорее добраться до французского двора. Французские кавалеры, прибывшие с королевой, ехали медленнее, всех медленней обер-шталмейстер герцог де Бельгард. Король пожелал, чтобы его Елеклый Лист отправился во Флоренцию с секретным поручением, и, должно быть, нетерпеливо ждал его донесений. Однако Бельгард не спешил забираться в горы; он полагал, что успеет ответить на вопросы, когда король приедет в город Лион и сам увидит Марию Медичи.

Прежде всего она посетила папскую область Авиньон [86. – Папская область Авиньон. – Имеется в виду город Авиньон (в Юго-Восточной Франции), где с 1309 по 1377 г. находился папский престол. После перенесения резиденции папы снова в Рим Авиньон находился в их владении до Великой французской революции.], где иезуиты оказали ей прием в своем новом стиле: с чересчур пышными триумфальными арками и цветистыми речами. Город находился в королевстве и все же вне его. Еретиков здесь могли жечь, хотя бы для виду, что и показали королеве на театре, заставив ее испытать приятную жуть, впрочем, не только от этого. Вот, например, цифра семь: ученые отцы проникли в ее тайну [87. – ...Вот... цифра семь: ученые отцы проникли в ее тайну. – Числу семь в середине века придавалось мистическое значение. Это число часто

встречается Библии и особенно в Апокалипсисе, как «число зла»]. Семерка, в частности, определяет жизненный путь короля, который, к несчастью, отрицает все сверхъестественное и стремится неподобающим образом ограничить область неведомого. Еретиков у него не жгут, а почитают превыше христиан. Трудно поверить, что у нас сейчас 1600 год.

Королевство отстало от века, и притом по вине одного лица, если говорить начистоту. Патер Сьюрес, в папском городе Авиньоне, поборол естественный трепет, ибо королевское величие всегда священо. Тем строже надо судить государя, в случае если он чужд величию и своему веку. Мы – воплощение передовых идей и новых времен, мы усвоили их стиль и вкус, согласно которым божественное снисходит до мирского, – так поучал иезуит королеву, когда она стояла на коленях в исповедальне.

Первое, чего она должна добиться у короля, – это возвращения в королевство ордена Иисуса, и не ради чего иного, как ради спасения собственной души. Патер снова напомнил ей о благодетельной суровости, ибо увидел, что она и без того властолюбива и ограничена, и угадал в чужестранке подходящее орудие. Ей назначено сломить человека свободной совести, поскольку он сам еще не потерял себя. Женщины ослабляют разум старика, а эта, надо надеяться, доконает его.

Когда эта женщина покидала город, она сама наполовину утратила разум. Когда же отцы на прощание пожелали ей ребенка, она не замедлила впасть в мистический транс, так что лучше и желать было нечего.

Ее собственный конвой из двух тысяч всадников сопутствовал ей до Лиона, где она целую неделю прождала короля. Его теперь задерживала в Савоие не возлюбленная, эту роль взял на себя папский легат. Едва исчезла одна, как другой высунул голову из-за горы. Первое разочарование: Альдобрандини, родственник Медичи, думал сыграть в руку герцогу Савойскому и ничего не добился. Король Франции обнаружил юношескую стойкость. Не тратя лишних слов, он приказал палить из пушек в знак приветствия пурпурно-красному ангелу мира. Священники перекрестились. Король крикнул, покрывая шум, что у него имеется таких сорок штук, и они разнесут крепость Монмелиан, после чего герцогу не о чем будет договариваться.

Война началась бы снова, но тут выпал снег в небывалом количестве. Кругом

выросли новые горы, превратив осаждающих в пленников. Кардинал сказал, что Небо решило за них; на что король не возразил ни слова из уважения к вере, а попросту отправился, опережая кардинальскую карету, в Лион. Он вдруг заторопился увидеть королеву.

Он взял с собой тысячу человек охраны, ибо прослышал, какой пышной свитой окружила себя чужестранка, и не хотел ни в чем уступать ей. Однако войско его после трех месяцев войны в горах было в неприглядном виде – грязное, оборванное. Король был одет в старье, сапоги забрызганы доверху. Он решил показать ей зрелище победителей, памятуя, что лучшим украшением любовника всегда бывала победа. Он и в самом деле собрался войти к ней в комнату как был.

Перед домом ему повстречалось несколько изящных кавалеров, их одежда была с иголочки, их обхождение соединяло грацию с коварством – неподражаемое сочетание. Обычно люди бывают либо тверды, либо слабы. Генрих вдруг увидел: «Эти мне знакомы. Достаточно им подобных шныряло в давнопрошедшие времена по Луврскому дворцу, когда я был пленником старой Екатерины Медичи. Снова является королева из того же племени и тащит за собой спутников старого пошиба». Тут он умерил свой шаг.

Он послал к ней Варенна, испытанного вестника любви, который ничему больше не удивлялся. Однако наружность королевы все-таки поразила его. Она сидела за трапезой в мехах и покрывалах, даже голова была закутана. Архиепископский дворец, первое ее местопребывание в новой стране, казался ей нестерпимо холодным: в руках она, между блюдами, перекаtywала шар, наполненный горячей водой. Чтобы согреться, она выпила уже немало вина, и когда Варенн не без труда, вследствие различия языков, сообщил ей о прибытии короля, кровь бросилась ей в голову. Сперва она собралась было доестъ мясо, которое горой лежало у нее на тарелке, а слуги непрестанно подносили еще. Но какой-то ужас сковал ее. Варенн приписал это холоду или же помехе в еде. Чтобы рослая крепкая особа лет под тридцать испугалась мужчины, этого он из своего богатого опыта не мог припомнить и верить этому не хотел.

Королева попыталась скинуть свои многочисленные покровы, но усилия ее оказались тщетны, слишком плотно она была укутана. Она сильно разгневалась и принялась бранить отсутствующих придворных за то, что ее оставили одну. Но

Варенну все имена были незнакомы, кроме имен двух пожилых кавалеров, которые, по-видимому, предпочли лечь спать. Было восемь часов вечера. Дабы простые слуги не касались королевы, Варенн взял это на себя и обхватил ее рукой — так же поддерживал он и по мере сил оберегал другую, пока еще не было решено, ждет ее могила или трон. На трон теперь вступала новая, но Варенн опять был на своем посту. На этот раз он заработал увесистую пощечину. Он поблагодарил раболепно и понял, что прибыла истинная королева.

Генрих ждал, скрывшись за спинами своих дворян, в галерее, через которую она должна была пройти. Здесь он бросил первый взгляд на Марию Медичи, — осмотр поневоле поверхностный. Он нашел ее поступь величавой, хоть и тяжелой; щеки ее, несколько обвисшие, дрожали при ходьбе. Лицо уже расплывшееся, нос длинный, но приплюснутый, а поблекшие глаза бессмысленно смотрят в пространство. Как бы то ни было, новая женщина с незнакомым телом прошла мимо него в спальню. Он спросил своего обер-шталмейстера:

— Как по-твоему, старый Блеклый Лист, — лакомый кусок?

В голосе слышалось некоторое сомнение. Бельгард не спешил ободрить его. Он заявил, что боевой конь, несущий рыцаря в полном снаряжении, подлежит иной оценке, «нежели любезные вам стройные кобылицы, которые, пританцовывая, задевают вас за живое, сир», — дословно сказал он.

Генрих спросил печально:

— Должно быть, у нее очень большие ноги. Ты не отвечаешь мне? Ты ехал вместе с ней, ты знаешь ее ноги.

— Они соответствуют остальному, — извернулся Бельгард.

Генрих поспешно покинул его, но, всего раз пройдясь по галерее, подошел снова.

— Друг мой, я послал тебя в Италию, чтобы ты увидел многое, а через тебя и я. Но после возвращения из Флоренции ты стал особенно неразговорчив. Когда человек путешествует, он становится словоохотливым. О чем ты молчишь?

— Сир! У королевы есть молочная сестра [88. — У королевы есть молочная сестра. — Имеется в виду Леонора Дори, прозванная Галигай (род. ок. 1571 г. — умерла в 1617 г.), — молочная сестра Марии Медичи, последовавшая за ней во Францию. Пользовалась огромным влиянием на королеву, которое современники объясняли колдовством.] .

— Я о ней слышал. Мои послы доносят: королева держит при себе кавалеров для услуг, по обычаю своей страны. Это будто бы невинный обычай, духовник королевы не порицает его. Тебя это беспокоит? — спросил Генрих, попытался засмеяться, умолк и уставился на Бельгарда, который смущенно глядел в сторону.

— Что еще? — приказал король; послушаться было невозможно.

— Сир! У королевы есть молочная сестра, — повторил Бельгард.

У Генриха вырвалось привычное проклятие.

— Это все, что ты узнал во время путешествия? Женщина, которая караулит другую женщину, либо отваживает любовников, либо поставляет их. Какую из двух обязанностей исполняет молочная сестра?

— Сир! Третью, весьма диковинную. Ваши послы сообщают собственные домыслы. — Бельгард запнулся. Брак был желанен всем, остановить его не могло ничто.

Генрих пожал плечами.

— Быть может, молочная сестра наделена особыми прелестями? Не тревожься, я удовольствуюсь королевой. А теперь постучись к ней!

Герцог повиновался, он постучал, восклицая:

— Да здравствует король! — Другие дворяне поддержали его старания; чужестранка должна понять, что пробил урочный час. Двери в самом деле растворились, король вместе с придворными собрался войти. Однако королева, окруженная своими дамами, встретила его на пороге, она подобрала платье и очень низко присела, приветствуя его.

Она была выше его, лишь когда она пригнулась, он мог достойным образом обнять ее и даже поцеловать в губы, что казалось естественным одному ему. Для нее такой обычай был внове, от испуга она без его помощи, по-прежнему подобрала платье, поднялась на ноги, и на них он, дольше чем следовало, задержал взгляд.

Но, тотчас же спохватившись, подвел ее к камину; рука ее, которую он держал, была безжизненна. Он многословно заговорил о суровых морозах, о трудностях пути. Она медлила с ответом, и то, что она под конец пролепетала тоном школьницы, не имело для него никакого смысла; ему пришлось допустить, что она так же плохо поняла его, как он ее.

Ввиду различия языков и затруднительности беседы он решил произнести речь. Ей не требуется ни понимать, ни отвечать, пусть ей потом растолкуют его слова. У него же будет время оценить ее прелести. Прежде всего он извинился, что заставил ее ждать неделю. «К несчастью, всего лишь неделю», — подумал он, ибо его второе впечатление подтвердило первое: прелести ее созрели больше, чем следовало. Оказывается, портреты изображали ее на десять лет моложе, такого тупого и упрямого выражения у нее тогда не было.

Он заставил ее ждать, гласила его речь, потому что ему требовалось время на расправу с разбойником. Освобождение французских земель, бесспорно, по душе французской королеве. При этом он определил, что объемами и внушительным весом она, по-видимому, обязана матери — Иоганне Австрийской, ограниченностью и упорством, написанным у нее на лице, — испанскому воспитанию; а прекрасный город, откуда она была родом, ничем не наделил ее, кроме звуков речи. Он решил, что долго не проживет с этой женщиной. Только ночь, если сойдет особо удачно, может спасти ее. Это вскоре предстояло испытать.

Говорил он с полминуты, со времени его прихода истекло не больше двух минут, а он вдруг ощутил голод. Он представил ей свою свиту, она ему свою. Вон они, изящные молодчики, которых он видел на улице, один колючей другого, несмотря на внешний лоск. Кинжал может иметь рукоятку чеканного золота и бархатные ножны. Двое из них были кузены королевы. Вирджинио Орсини и брат его Паоло. Генрих, как увидел их, — уразумел чужеземный обычай кавалеров для услуг, в котором духовник не находит ничего, достойного порицания. Он явился с явным опозданием, но не на восемь дней, а, пожалуй, на восемь лет, их же не наверстаешь.

Внутренне Генрих выругался, внешне показал лицо, полное иронии: оба Орсини переглянулись, недоумевая, что смешного нашел в них государь. Он поклялся покарать тех, кто вовремя не донес ему обо всех этих щекотливых обстоятельствах, главным образом Бельгарда, который ездил во Флоренцию и мог бы предостеречь его. Тут он обнаружил умышленно скрытого позади дам красивейшего из кавалеров.

— Как его зовут? — спросил король и кивнул на человека, который был красивей кузенов, но до сих пор находился на заднем плане. «Этот способен отомстить за меня, если бы я сам не мог показать себя, принимая во внимание седую бороду и грязные сапоги».

Молочная сестра

Его звали Кончини[89. — Кончини (? — умер в 1617 г.) — итальянский авантюрист, муж молочной сестры Марии Медичи Леоноры Галигай, благодаря ей пользовавшийся влиянием на королеву и использовавший это влияние для личного обогащения.]. Когда он выступил вперед, отвесил блистательный поклон и удостоился от короля рукопожатия, Мария Медичи улыбнулась впервые за все время. Лицо ее утратило благочестивую строгость и расплылось в глуповатом восхищении. Она заговорила, у нее нашлись даже слова, вместо прежнего лепета. Эти слова не должны были пропасть даром, герцогиня де Немур перевела их, так как знала оба языка и, кроме того, была осведомлена о взаимоотношениях действующих лиц. У королевы есть молочная сестра, высокородный Кончини — супруг высокородной дамы Леоноры Галигай. Тут снова заговорила сама королева, она принялась восхвалять вышеназванную даму пространно и с жаром, выдававшим страх. Глуповатое восхищение исчезло с бледных щек, они дрожали.

Как ни странно, но молочная сестра оставалась незрима, только ее красавец супруг распускал павлиний хвост; королева избегала смотреть на него.

Переводя слова королевы, мадам де Немур вставляла другие слова, свои собственные, предназначавшиеся для одного короля.

— Два авантюриста с фальшивыми титулами. Будьте настороже!

Далее перевод похвального слова королевы благочестию и добродетели высокородной дамы Галигай; затем снова Немур от своего имени:

— Опасна только карлица, потому что она умна. Муж просто-напросто глупый павлин. Вам следует знать с первого же часа, сир, ваша жена находится под чужим влиянием, — сказала мадам де Немур, желая предостеречь короля.

На этом пришлось кончить. Королева становилась все беспокойнее. Казалось, будто широкая роба прикрывает не одну ее, посторонняя сила колыхала юбку, король даже испугался. Но вдруг королева вместе с широкой робой отодвинулась в сторону, сделав не шаг, а прыжок и притом в полном смятении.

— Моя Леонора! — выкрикнула Мария Медичи голосом говорящей птицы или театрального механизма, подражающего человеку. Когда она вторично произнесла: «Моя Леонора», голос ее был чуть слышен и рука указывала вниз.

Что-то осталось на том месте, которое покинула королева: разглядеть, что именно, можно было только нагнувшись.

Генрих видит хорошо сложенную особу маленького роста; карлицей ее назвать нельзя по причине полной соразмерности. Она явно не любила быть на виду. Должно быть, она проводила жизнь за юбками королевы, если не под ними. У нее был нездоровый цвет лица, свойственный существу женского пола, чья жизнь протекает в алькове другой женщины. Подобные загадки природы обычно находятся во власти бурных вождлений и страстей. У данного экземпляра глаза были прикрыты вуалью. Но тщетно: два угля зловеще сверкали сквозь тонкую ткань.

Генрих невольно отшатнулся. «Это и есть молочная сестра, только ее мне недоставало», — думал он, вздернув брови и широко раскрыв глаза. Это испугало молочную сестру, ее первым движением тоже было бежать. Только крайняя мера могла сейчас спасти положение. Генрих собрался поцеловать миниатюрное создание в губы, однако оно отвернулось и воспротивилось. Едва он отпустил ее, как высокородная дама бросилась бежать.

Комната была переполнена людьми обоих лагерей, приближенными королевы и свитой короля. Хрупкое существо пробилось сквозь толпу одной силой своей воли. Придворные короля и королевы расступились с одинаковой поспешностью. Кто-то подставил ей ножку, но она не споткнулась, она поднялась на цыпочки и приблизила лицо к лицу обидчика. Тогда он сам растворил перед ней дверь. Это был храбрый Крийон.

Генрих, обращаясь к Марии Медичи:

— Мадам, я хотел бы оказать долг вежливости вашей молочной сестре.

Она не поняла его, но угадала его намерение и обеими руками закликает его воздержаться.

Бесполезно вдаваться в объяснения с чужестранкой. Генрих проходит мимо мадам де Немур, ей он говорит: ему нужно узнать, что за этим скрывается.

— Сир! Быть может, нож, — отвечает герцогиня. Пробравшись вглубь, Генрих видит, что никто не последовал за ним. Только супруг молочной сестры, господин Кончини, отвешивает свой блистательный поклон и предлагает королю переступить порог. Дверь позади него остается отворенной.

Генрих очутился в коротком полутемном проходе, свет проникал с другого конца сквозь занавес. Король прикрыл грудь рукой, памятуя предостережение о ноже. Прыжок вперед, и занавес отброшен. Тяжелые складки поддались с трудом: ничего удивительного, высокородная дама завернулась в них. Прикрытые вуалью глаза ее искрились торжеством, она ждала его тут. Она приподняла занавес, скрывавший спальню, показала ему альков, постель королевы и немногими выразительными жестами разъяснила ему, чего требует от него и что ему воспрещает. Она не говорила и от этого казалась еще загадочнее. Роль этого существа была в высшей степени сомнительна, но оно превозмогло остатки робости и дало себе полную волю.

Генрих смотрел на карлицу твердым взглядом, что было ей тягостно, она ужасающе косила. Теперь он, в свою очередь, указал на постель; вместо связанных слов, которые лишь запутали бы объяснение, он с расстановкой произнес три имени. Два первых породили у молочной сестры все признаки ревности, тягостного смятения; бедняжка собралась было снова укрыться за занавесом. Когда он назвал третье имя, она одумалась и попятилась назад, вплоть до кровати. Ухватившись за этот важнейший предмет обстановки, она всем своим видом являла злобную решимость защищать его против всех и вся.

Генрих раньше, чем ожидал, появился в первом покое среди гостей королевы, где никто, невзирая на растворенную дверь, как будто не заметил происшествия. А для короля время, проведенное во внутреннем покое, промелькнуло особенно быстро

потому, что все произошло совершенно безмолвно. И когда он вернулся на люди, ему показалось, что это был только сон. Но вот он перевел дух и засмеялся, королева последовала его примеру. Она высказала удовольствие по поводу его милостивого обхождения с ее молочной сестрой, что мадам де Немур перевела, а он подтвердил.

Теперь, сделав здесь все, что от него зависело, он без церемоний отправился есть. Предложил мадам де Немур проводить его до порога, и когда слова его не могли уже долететь ни до чьего слуха, он сообщил ей, что намерен провести эту ночь у королевы, пусть герцогиня предупредит ее.

Потребность в пище перешла тем временем в зверский голод.

— Должно быть, я очень долго пробыл в той комнате? — обратился он к своим дворянам. Бассомпьер, у которого всегда был готов ответ, сказал:

— Сир! Меньше чем половину четверти часа. — Необычайные события всегда представляются бесконечными, как ни стремительно они разворачиваются.

Поглощая обед, он сказал своим дворянам, что, несмотря на их доблестный воинственный вид, они не произвели никакого впечатления на королеву.

— Почему вы не выкупались и не издаете приятного аромата? Какие же это победители, которые только что вылезли из грязи и не блещут ни изяществом, ни молодостью!

Они поняли, что он говорит для самого себя и боится своей чужестранной королевы и ее молочной сестры. Поэтому они засмеялись и обещали ему, что отважнейший из воинов будет нынче же ночью спать с карлицей. Генрих возразил на это с неожиданной серьезностью:

— Неспроста мне почудилось, когда карлица вдруг появилась, будто она выползла из-под юбки королевы.

После этих слов он погрузился в размышления; его дворяне осмеливались теперь только перешептываться между собой. Он же задумался и представил себе общество, которое будет окружать его и обитать впредь под одной с ним кровлей: зловещая молочная сестра, ее непристойно красивый муж, оба кузена, они же кавалеры для услуг, все в тесном союзе с чужестранкой, с которой он обвенчался, — в первый раз через подставное лицо. При втором бракосочетании он собственной рукой

поведет ее к алтарю, после чего его трон будет принадлежать и ей. А ведь она мясная туша, которой вместо доброй воли управляют предрассудки. Французскому языку она не обучилась умышленно; как ему докладывали, — докладывал господин де Бассомпьер, гордый своей осведомленностью, — не обучилась потому, что считает французский языком еретиков.

Это не сулит добра, вся честная компания проходимцев наверняка будет перекачивать ее со стороны на сторону, словно бочку. Иначе быть не может, пока при ней молочная сестра. Молочная сестра сильнее всех в этой компании, ввиду извращенности ее природы. У Генриха многообразный опыт в отношении безумия; человечество изобилует его образчиками. Генрих встречается его повсюду, и вот наконец безумие, укрывшись под юбкой королевы, собирается вместе с ней подняться на трон. Карлица его ненавидит, ей страшно встретиться с ним взглядом, и это страх предательский. Генрих мог бы сломить ее власть. Ее угли, пылающие изнутри адским пламенем, избегают посторонних взглядов: она боится быть разгаданной. Дурной глаз, которого она постоянно опасается и даже носит против него вуаль, это тот глаз, что может разгадать ее.

Зала резиденции лионского епископа, где Генрих обдумывал свое положение, была слабо освещена. Его боевые товарищи очистили место по обе стороны от него, они шушукались на нижнем конце стола при одной свече и вскоре умолкли. Только Бельгард остался подле Генриха, но предоставил короля его внутреннему созерцанию и даже отодвинул от него канделябр.

«Власть молочной сестры над королевой — в ее красавце муже, — рассуждал Генрих. — Иначе к чему он ей? К ней самой он не смеет прикоснуться, и горе ему, если бы он посягнул на ту, другую: карлица отравила бы его. Медици должна постоянно пребывать в глуповатом восхищении, какое я заметил у нее. Кончины нужен для того, чтобы ослеплять, ни на что другое его суетная особа и фальшивое имя не годятся. В сущности, если уж становиться на столь шаткую почву, власть молочной сестры не в ее красавце муже, а в собственной ее извращенной природе. Королева боится ее. Стоит хотя бы задним числом вслушаться повнимательнее: голос ее дрожал всякий раз, как она упоминала о молочной сестре и произносила ее фальшивое имя. Королева — несчастная женщина».

Генрих делает открытия за слабо освещенным столом перед пустым бокалом — верны они или ложны, это он узнает впоследствии. Они приводят его к сочувствию

королеве: очень уж двусмысленно ее положение из-за сборища масок, управляющих

ей. Гнев — нет, его Генрих уже не чувствует: не зря у человека седая борода и

глаза, которые видели слишком много. Однако двусмысленность и сборище надо

устранить. Правда, спорно — удастся ли это. Хорошо бы приручить карлицу. Бельгард решил уже, что король позабыл о нем. Но Генрих неожиданно пригнулся к

нему и заговорил шепотом:

— Блеклый Лист, наши друзья были правы, отважнейший из воинов должен нынче ночью спать с карлицей.

— Сир, они похвастали, — отвечал обер-шталмейстер, — такого отважного среди них не найдется.

Генрих попытался принять строгий тон.

— А ты знаешь, что я думал покарать тебя, когда понял, в какое общество попал и каково мне придется отныне вследствие твоей нерадивости?

— Сир! — взмолился Бельгард. — Я сознаю свою вину, хотя предостерегать вас все равно было бы поздно и совершенно бесполезно. Во Флоренции я не видел молочной сестры, она прячется по альковам и избегает дневного света.

— Лжешь, Блеклый Лист, ты знал, что королева дрожит перед ней. Мадам де Немур призналась мне сегодня в этом, а ты нет. Во искупление всех твоих грехов, тебе бы следовало спать с карлицей и укротить ее, ты для этого подходящий человек.

Так сказал Генрих, и Блеклый Лист тотчас разгадал его намерение. Оно пришлось бы ему по душе, если бы речь шла не о нем самом. В сильной тревоге он оглянулся за помощью — в самом деле, кто-то подслушивал позади них и теперь попытался улизнуть.

— Сир! — шепнул Бельгард. — Любопытный. Лучше вам не найти никого.

— Эй! — крикнул Генрих в темноту. — Выходи!

Застигнутый врасплох не торопился. И тем не менее он был самым подходящим, прежде всего по причине своего любопытства, а еще больше потому, что хотел

всюду поспеть.

— Бассомпьер, — сказал Бельгард, — король нуждается для своего плана, который вам уже известен благодаря хорошему слуху, именно в таком человеке, как вы: молодом и привлекательном, честолюбивом и ловком.

— Вы поняли? — грозно спросил Генрих. Несчастный взмолился:

— Сир! Я с женщинами робок.

Вместо короля ответил Бельгард; ему было особенно важно, чтобы воле короля не перечили.

— Вы можете быть робки сколько вам угодно; темнота на арене ваших действий скроет вас от глаз красотицы. Вы найдете себе укромное местечко в той зале, где нас сегодня приветствовала королева. Будут приняты меры к тому, чтобы свечи не горели. Молочная сестра когда-нибудь покинет покой королевы. Вам придется подслушивать, что для вас, впрочем, привычно.

— Незачем подслушивать, — вмешался Генрих. — Перед дверью спальни в конце совершенно темного прохода висит занавес. Вы спрячетесь за ним. Едва отворится дверь, как вы выставите ногу, чтобы вышеназванная особа упала вам в объятия.

— Эта особа испугала даже храброго Крийона, — возразила несчастная жертва.

— Вы не только робки, — сказал Бельгард, сменив Генриха. — Вы трусливы. И поэтому не видите даже, какая несравненная честь выпала вам на долю.

— Я сознаю, сколь она велика и сколь мало я достоин ее, — заверил Бассомпьер торопливо и горячо. — Мне дозволено присутствовать при королевской брачной ночи по другую сторону двери.

— Вы любите маленьких женщин? — спросил Генрих.

— Ведь это молочная сестра королевы, — произнес честолюбец. Видно было, как он с тревогой прикидывает, много ли все это добавит к его славе.

Королевская брачная ночь

Генрих, омытый ароматными эссенциями, в шелковом халате и мягких туфлях вступил на путь к своей брачной ночи. Впереди несли канделябры. Позади

следовали Варенн и другие дворяне, но открывал шествие герцог Бельгард.

Король Генрих думал, что предпочел бы не совершать этот путь, если же уклониться теперь, то потом совсем не найдется времени. Лучше сейчас, чем никогда. Королевское бракосочетание осуществляется не забавы ради. Тут можно быть в летах и не казаться смешным. Кавалеры, которые сопровождали его по всему дому, с такими же официальными лицами светили бы и молодому королю; забыли бы, что он отправляется для плотского сожителства, и помышляли бы лишь о высоком назначении королевского сана. Генрих оглянулся, желая узнать, серьезно ли они относятся к этому свадебному шествию, включая сюда и халат, который волочится по полу. Ну да, вполне серьезно, или же они попросту хорошо владеют выражением лица. Варенн, который поставлял ему женщин без числа и из любых сословий, здесь изображает достойнейшего слугу престола.

Вместо того чтобы рассмеяться, Генрих вздыхает. Он шагает впереди и думает:
«Многого мне от этой брачной ночи ждать не приходится. Любовь королевы я не завую никаким искусством и тщетно буду играть роль рыцаря доброй воли, — думает он, ибо так во всеуслышание назвала его дерзкая маркиза. — Приближенных чужестранки я не подчиню себе, — он подразумевает обоих кузенов Марии и третьего кавалера, красивейшего из всех. — А вдобавок еще молочная сестра. Чужестранка никогда не будет сердцем заодно со мной, что чревато опасностями для королевства», — это он понимает особенно ясно по дороге к брачному ложу.

«Все могло бы уладиться, — признает он под конец, — если бы я по-настоящему желал ее любви. Но я сам не имею любви. С этим покончено, и этому не поможешь. К чему же брачная ночь? Ради приданого? Нет, у нас на уме другое. Наследника нужно нам зачать: моего наследника из племени Медичи. Так как она не желает меня и я не желаю ее, то он все унаследует от нее и ничего от меня, но будет моим законным наследником».

Во время этого исполненного провидения пути он, углубившись в себя, едва не наткнулся на дверной косяк: то была дверь залы, где королева сегодня принимала его. Он остановился, все недоумевали почему, но шествие тоже задержалось.

Генрих думает: «Мой наследник — я имел его и никогда не спрашивал, сколько в нем моей крови, а сколько крови его матери. Наша кровь стала единой благодаря единению сердец и одинаковой любви к нашей стране и королевству. Я все сделал, все предусмотрел и сделал, дабы сыну Габриели был обеспечен престол. Теперь мне самому приходится лишать его престола и наследства. Они правы, я иду свершать акт королевского величия, а не забавляться, иначе плохая бы это была забава».

Герцог де Бельгард объяснял промедление короля их тайным стовором с господином де Бассомпьером. Он шепнул ему, что беспокоиться нечего, никто прежде времени не вздумает поднять известный им занавес и не найдет там кое-кого. Пока что данное лицо скрывается в другом месте — но оно рвется навстречу приключению, сказал Бельгард.

— Не будем завидовать ему, — возразил Генрих с таким взглядом, который мог бы понять лишь его Блеклый Лист, если бы не находился здесь при исполнении служебных обязанностей.

Подбодрив себя таким образом, король и его свита пересекли залу и короткий проход перед спальней королевы; им самим пришлось растворить туда дверь, ибо сколько они ни скреблись и ни стучались, ответа не последовало. Причина сразу стала ясна, в комнате все потеряли голову. Королева лежала замертво на постели, ее растирали нагретыми салфетками.

Короля встретили немые укоры за то, что он поторопился с брачной ночью и напугал королеву. У нее действительно похолодело все тело, в чем он убедился сам. От прикосновения его рук она заморгала, но тотчас опять закрыла глаза и снова уже лежала замертво. Молочная сестра протиснулась между королем и кроватью; она отстранила его, жестом указав ему на возмущенные лица присутствующих. То были прислужницы королевы, приехавшие с ней врачи, а также и многие из смазливых кавалеров. Король без труда обнаружил среди них тех трех, о которых вспоминал.

При виде их его бросило в жар. Вопреки недавней своей покорности неизбежному, он внезапно распалился гневом. Мадам де Немур, заметив это, предупредила вспышку. Она попросила его принять во внимание, что слуги королевы, а главное, ее служанки, отнюдь не на ее стороне, они скорее возмущаются ею, чем порицают короля. Королева ведет себя в свою брачную ночь

точно пятнадцатилетняя девочка, что совсем ей не к лицу; однако делает она это с благим намерением возбудить любовь короля, — полагала мадам де Немур.

Генрих еле слушал ее. Лица обоих кузенов и красавца Кончини явно нравились ему все меньше. Бельгард, с нетерпением ожидавший приказа, прочитал его на хмуром челе короля.

— Да здравствует король! — крикнул он, остальные французские кавалеры гневно подхватили его клич, напали на чужестранцев и вытеснили их из комнаты. Это далось не легко, по причине сутолоки, и прошло не совсем гладко, ибо у королевских дворян накопилось много досады. Весьма вероятно, что у того или иного из смазливых кавалеров королевы после этого раскрывался лишь один глаз. Дамы неистово визжали, убегая от погони через залы и галереи. Под конец все сдались, и одни вознаградили своих победителей, другие нет.

Когда наконец водворилась тишина, Генрих приказал посветить герцогине де Немур. С ней он снарядил последнего из оставшихся лакеев. Она обернулась.

— Сир! — сказала она. — Желаю вам счастья с вашей королевой. Герцогу де Бельгарду не следовало наживать вам столько врагов для того лишь, чтобы вы несколько раньше остались с ней наедине.

То же подумал и Генрих, когда все удалились. Что было, то было, тон теперь задан, и отношения между сторонниками короля и королевы определились. Все скопом будут занимать Луврский дворец и напропалую хозяйничать там, держа оружие наготове. Поединки он им воспретит, но убийства? Он предвидит в будущем много хлопот из-за своей чужестранной королевы и ее свиты. Он вспоминал свой двор во времена другой, когда женщины пользовались уважением, а среди мужчин вывелись прихлебатели и задиры.

Таковы обстоятельства. «У нас нынче 1600 год. Не злополучный Блеклый Лист ускорил перемену обстоятельств, а я сам и моя женитьба, которая была неотвратима, вместе со всеми ее последствиями». Тут он поднял голову, поникшую в раздумье. Произнес про себя свое проклятие. «Последствия? Лишь одно — дофин. За тем я и здесь. Хороши мысли для брачной ночи!»

Королева все еще лежала в оцепенении: но на ощупь она теперь была тепла. И

мигала она сейчас тоже явственно и с определенным намерением, то ли завлекая, то ли предостерегая его. Оказалось, что правильно второе, ибо она едва заметно шевельнула головой в сторону прохода между кроватью и стеной: пусть он поищет там. Генрих осторожно заглянул туда. Молочная сестра, — она спряталась, лицом зарылась в полог кровати и не знает, что ее обнаружили. Однако в узком проходе может поместиться лишь она одна. Невозможно извлечь ее оттуда иначе, как применив силу. Но в этой комнате и так достаточно совершено опрометчивых поступков. Генрих не хочет их повторять. Никто больше молочной сестры не может повредить его браку.

Ее надо деликатно удалить из комнаты. За дверью ей грозит приключение: в самом деле, об этом мы позабыли. Как подступиться к ней? Генрих и Мария переглядываются, впервые они единомышленны.

— Леонора! — просит Мария. — Моя Леонора! — воркует она. На ее нежный возглас ответа нет.

Тогда она говорит, и смысл ее слов понятен всякому:

— Мы одни. Король ушел. — А на него она смотрит настойчиво и жестом, который обнаруживает опытность, она переплетает все десять растопыренных пальцев; разжимает, снова переплетает — притом с большой сноровкой. Генрих глазам своим не верит, тем более что ее глаза говорят ему, каков смысл этого жеста, в случае если бы он не знал. Вдобавок она приподымает краешек одеяла. Он следует приглашению, заползает под одеяло и скрывается с головой, а на грудь ему наваливают подушку.

О том, что произошло дальше, он мог более или менее догадываться, очевидцем он не был. Вероятно, молочная сестра выбралась из своего убежища и принялась искать короля, а для того, чтобы она не заглядывала в постель, королева оперлась локтем на своего супруга, которому и без того мешала подушка, теперь же от нажима увесистой дамы он едва не задохнулся.

Молочная сестра что-то отрывисто говорила, в злобе глотая слова, разобрать их не было возможности. Но что иное мог означать поток ее красноречия, как не гнев на Марию. Ты донельзя плохо сыграла роль холодной женщины, должно быть, говорила она. Дофин, — что мне за дело до твоего дофина. Пока его у тебя нет,

король в нашей власти. Она сказала, должно быть: нашей, а подразумевала: моей.

Весьма вероятно, что королева почувствовала на лице карающую руку молочной

сестры; нечто похожее на звук пощечины долетело под одеяла и подушки. В ответ

Мария внятно произнесла три слова, то были: жар, жажда, лимонад, они постепенно

превращались из беззвучной просьбы в страдальческий вопль. При этом Мария зарылась частью своих телесных прелестей в подушку, на которой уже тяготел

достаточный груз. Этим она давала понять, что устраняет Леонору, отправляет докучную свидетельницу за лимонадом.

Высокородная Галигай не желала одна бродить по темному дому. Новый поток упреков скорее всего означал, что Мария сама виновата, если лежит теперь покинутая, одна как перст. Как она позволила разогнать свою свиту! А чтобы

высокородная Галигай жертвовала собой ради глупой кувалды, которая изображает

королеву перед еретиками и варварами этой страны? И речи быть не может о лимонаде, сопряженном с неведомыми опасностями. Не будет по-твоему, Мария,

можешь делать что угодно.

Так Мария и поступила. Тяжкий вздох, и на короля обрушилась вся громада ее

тела; она ничем не обделила его и, застыв на месте, снова лежала замертво.

Молочная сестра встретила эту выходку резким хохотом. Положительно у нее нет

потребности перевести дух; поневоле начинаешь опасаться этого, когда самому, в

силу обстоятельств, совершенно нечем дышать. Под конец Генрих все-таки услышал,

что смех слабеет и как будто удаляется. Груз перестал тяготеть на нем. Мария

отвернула одеяло и кратко пояснила ему происшедшее. Ребром правой руки она

ударилась по левой, что означает: убралась прочь.

Генрих сам убедился, что карлица в слепом бешенстве очистила поле битвы. Он

ринулся к двери, дважды повернул ключ в замке, задвинул засов и оглянулся.

Мария лежала в полной готовности, как ее создал Бог. Она встретила его словами:

— По завету отцов, следуя долгу перед религией и приказанию моего дяди великого герцога, я согласна иметь от вас дофина.

Лишь позднее он вникнет в ее слова и вряд ли будет доволен их смыслом. В данную минуту ее речи мало занимают его. Ему предстоит иметь дело с весьма

объемистыми формами – в те времена, когда он был жаден до всякой новизны, такое изобилие плоти не отвратило бы его. Теперь в нем этой жадности нет, что стало ему ясно при виде чужестранки и ее выставленных напоказ прелестей. Он мог бы уклониться; это было бы впервые в его жизни и как раз с той женщиной, которая хотела родить ему дофина.

Перед ним, между темными занавесами постели, лежала женщина, в опытности которой сомнений быть не могло. Обмороки пугливой девочки – одно дело, допустим, без них обойтись нельзя. Другое дело – без околичностей завладеть мужчиной, чтобы он исполнил свою повинность. Левая ее рука обхватывала одну из увесистых грудей, мощная волна плоти перекачивалась через руку. Другая, раскрытая, свисала с крайне широкой и необычайно плоской ляжки: новинка для наблюдателя. Дочерей чужих стран приходится познавать во многих смыслах; прежде всего они удивляют своеобразием строения. Ни единой линии тела без складок и отеков. Раскрытая рука выражает вожделение, неуклюжее, голое вожделение. Живот содрогается, вся его громада отклоняется вбок. Содрогаются и выпуклые бедра. Но всего наглядней раскрытая рука.

Так как вожделение красит, то и тут налицо своеобразные красоты, только надо уметь понимать их. Голова закинута назад, за валик, что прежде всего изображает жертвенную покорность: целомудренная дама предпочитает не знать, что произойдет дальше. Кроме того, такое положение показывало лицо в ракурсе, что было ему на пользу. Оно стало как-то уже, щеки, обычно отвислые, подтянулись, каждую прорезала борозда. То мог быть след усталости от тягот тела и жизни, надо постараться понять, что же именно. Тень заслонила волосы, иначе обнаружился бы их прискорбно тусклый цвет, и прикрыла глаза – зачем глупым гляделкам быть причастными к возвышенному акту. Резкая граница тени придавала остальной части лица неясную белизну. Губы приоткрылись, казалось, непроизвольно. Они дышали еле заметно, но если бы они заговорили, их язык был бы понятен.

«Вот лежу я, чужестранка, приехавшая к вам, к чужому, издалека. У нас общий интерес, только не любовный. Вы любите других, чему же вы дивитесь, если и я

люблю других? От этого я не счастливей вас. Если бы вы одним ударом избавили меня от всех моих приближенных, мне никого не приходилось бы бояться, кроме вас. Вы стали бы мне ненавистны сверх меры – я уже и теперь достаточно ненавижу вас, ибо мне и моему сыну суждено наследовать вам. Тем сильнее вождедею я вас, дабы вы исполнили надо мною свою повинность. Моя грудь, живот и руки не лгут. Возьмите же между темными занавесами, возьмите изобильную белую плоть. В нынешнем столетии мода на пышную плоть. Приди!»

Он не заставил ждать себя. Отбросил всякие соображения, на это ушло не больше полминуты – ровно столько требовалось тем, что за дверью, для своих дел. Как раз, когда королевская чета была занята собственными переживаниями, снаружи раздался крик, стук, шум борьбы, убегающие шаги, множество неожиданностей для того, кто не был посвящен. Казалось, следовало бы выглянуть. Однако жена по плоти после свершившегося еще крепче сжимала супруга в объятиях. Она говорила или лепетала, все еще не открывая глаз, – по большей части то было бессмысленное сотрясение воздуха. Леонора, лепетал детский голосок. Леонора, молочная сестра, может отправляться в преисподнюю или быть на пути туда, для настроения Марии это не составит разницы. Она хочет сохранить его, он не смеет идти навстречу опасностям за дверью, пока она не убедится окончательно, что зачала от него дофина.

Она знает, что зачала, небо помогло им обоим. Дофин и небо, по этим двум словам он понял все остальное. К несчастью, дело не исчерпывалось этой общей заботой, хотя и она не была по-настоящему общей, ибо чужестранка ждала дофина от короля, и тем не менее против него. Он мог бы почувствовать это в ее объятиях, если бы не был осведомлен заранее. Теперь же она приподнялась на локте и не долго думая завела речь об авиньонских отцах: он должен воротить их. Это его долг перед ней за ее покорность; затем, этого требует новый век, а также нравственное состояние Европы, тому и другому отвечает единственно орден Иисуса.

Она повысила голос, потому что полагала: кто громко говорит, бывает понят и

добивается своего. Он и в самом деле уловил уверенность, с какой чуждая власть обращалась к нему, требовала и присваивала себе права кредитора – все это в брачной постели. Едва он исполнил свою повинность над телом женщины, как оно обернулось агентом врага. Кончены лепет и обольщение. Оставлены целомудрие вместе с вожделием. Теперь уже нет намека на двусмысленность, теперь ему откровенно показывают властолюбие и со всей самодовольной тупостью чужестранки толкуют о том, чего не могут ни понять, ни охватить.

Но ведь здесь на земле глупость – залог победы, и Генриху это известно. Сам он, когда побеждал, лишь от разу до разу выигрывал время в борьбе с глупостью. Разве он когда-нибудь считал, что это навеки? Или на очень долгий срок? Пока что у него хотя бы одна надежда, – до конца его дней. Иезуиты, должно быть, со временем вернуться в королевство; он до сих пор не допускает, что сам может призвать их. Его народ не должен преклонять колени перед их непомерными триумфальными арками и одурманиваться их цветистыми речами. Он не должен ощущать сладостный трепет от разыгрываемых ими мистических представлений и терять остатки разума над тайнами цифры семь. Он не должен поддаваться нелепому насилию над духом и тяготению к смерти, которое противно природе. Мы здесь еще. Мы настороже. Недоставало только допустить в страну их многочисленные писания в защиту убийства тиранов. Нет, король еще здесь.

Это поняла Мария Медичи, не ожидала этого и до крайности испугалась. Она вдруг увидела короля, стоявшего возле ее ложа в накинутом халате: лицо его сулило наихудшее. Только бы ей отделаться заточением в монастырь! В страхе она заколебалась между двумя уловками. Первая была снова упасть замертво, на этот раз похолодев как лед. Она остановилась на второй, она заговорила по-французски. Языка она в самом деле не знала, но на корабле, по пути сюда, ей дали прочитать любовный роман, чтобы она извлекла оттуда подходящие выражения. Она снова пустила в ход слабый голосок, который совсем не соответствовал ее пышным формам. Она залепетала:

– О прекрасный юноша! Под твоими стопами вырастают розы. Даже суровая скала

вспоминает, что у нее есть сердце, когда ты приближаешься к ней с такой благородной грацией, с такой невинностью, перед которой преклоняется вся природа. Скала, как нам известно, заколдованная дева, и она проливает чистые слезы. В честь твою отныне бьет родник, которого доселе не видел ни один пастух.

Что тут поделаешь? Пастух не видит, где бы ему напиться, королева не видит, что она смешна.

— Мадам, — заметил Генрих, — прежде всего рекомендую вам исправить произношение. На это потребуется некоторое время, а пока помолчите о том, что не касается заколдованных дев.

Он был уже у дверей, он отодвинул засов.

— Разрешите мне взглянуть наконец, что произошло за дверью.

Там была крошечная Тьма. Генрих ощупью пробрался через короткий проход в залу, где королева впервые принимала его. Здесь что-то шевелилось и как будто слышалось хрипение.

— Кто там? — Никакого ответа, кроме более внятного стога. Генрих пошел в том направлении, откуда доносился стон, и наконец различил в кресле у последнего окна фигуру, которая ежилась и прятала лицо.

— Бассомпьер! Так-то вы проводите ночь? Почему вы не откликаетесь?

— Сир! От стыда. Я получил удар кинжалом. Я — и от карлицы.

— Зато она молочная сестра, — напомнил Генрих.

Господин де Басомпьер признал, что вследствие этого похождение его может считаться почетным. Тем не менее завершилось оно неудачно. Как это вышло? Трудно понять из-за стремительности событий, беспорядочных, нелепых, вразрез со всеми хитроумными планами. Решено было, что честолюбец выставит ногу из-за занавеса и повалит карлицу. А вышло так, что она повалила его. Знала ли она, что в складках ткани спрятан кто-то? Она раздвигает занавес, он теряет равновесие; он едва успел, падая, схватить ее за ноги, когда она пыталась перескочить через него.

— Но вам ведь удалось повалить молочную сестру.

— Не так, как я предполагал. На полу я принялся доказывать ей свою любовь, я

в самом деле готов был на всякую жертву. Однако она защищала свою честь когтями и зубами.

— Отважная карлица! — заметил Генрих и про себя пожалел, что вторая молочная сестра отнюдь не так рьяно оберегала свое целомудрие, отчего была теперь обладательницей дофина.

— Что же было дальше? Тяжелое у вас ранение? — спрашивал он менее преуспевающего товарища этой ночи. Товарищ вздохнул.

Он рассказал, как взял на руки свою любезную, чтобы, невзирая на сопротивление, отнести ее на ложе утех. Так как он старался держать ее подальше от себя, чтобы оградить нос от ее зубов, она высвободила руку и взмахнула острым предметом прямо над его сердцем. Счастье, что он перехватил оружие, оно скользнуло по плечу, не проникнув глубоко. После этого он, надо сознаться, отшвырнул от себя высокородную даму. Он сам жалел о таком не деликатном обхождении. Ему все еще слышится, как она скулила, когда после жестокого падения улепетывала прочь на четвереньках и больше не появлялась.

«Может быть, она спряталась здесь в зале и слышит нас?» — предположил Генрих, но оставил свою догадку при себе, ибо в темном проходе могла стоять и подслушивать Мария Медичи.

— Болит ваша рана? — спросил он. — Надо бы позвать хирурга.

— Сир! Избавьте меня от такого позора, — взмолился Бассомпьер. — Сбегутся люди. Есть поражения, о которых принято умалчивать.

— Принято умалчивать, — повторил Генрих. — Скоро забрезжит день, и каждый пойдет своей дорогой.

Сказав это, он тоже подвинул себе кресло, и оба стали ждать конца ночи.

Об измене

Далее последовали празднества. Последовало также новое покушение на жизнь короля, однако его сохранили в тайне. Настал день, когда легат торжественно благословил новобрачных. После чего Генрих уехал бы немедля, ночи с чужестранкой угнетали его сверх меры. Однако еще предстояло заключение мира с Савойей, сложные счеты, хотя герцог и был разбит. Он соглашался уступить спорную часть своих родовых владений, но французскую провинцию Бресс он желал сохранить за собой. В этом Генрих и его начальник артиллерии усмотрели подлюю

ловушку.

В Савойе еретики были многочисленны и подвергались преследованиям. Если король Франции назначит губернатора-протестанта, ему сейчас же придется держать ответ перед папой, – в противном случае перед приверженцами истинной веры.

Начальник артиллерии доказывал ему еще в Лионе: все это условлено между Савойей и Бироном.

– Сир! Вы сами убедитесь, что Бирон неисправим и что ему нет спасения. Вы возвели его в адмиралы, маршалы, герцоги, пэры. Вы доверили ему управление Бургундией, где губернаторами всегда бывали принцы крови. В его руках была граница королевства, дабы он охранял ее. Вы знаете, что он сделал вместо этого.

– Не знаю, ибо не могу поверить, – возразил Генрих. – Предательство противно природе.

Сюлли:

– Это не подлинное ваше мнение. Вам известна наша человеческая сущность, которая требует предательства, хотя бы в нем не было пользы, а один лишь задор и соблазн на собственную погибель.

Генрих:

– Весьма рассудительно, господин начальник артиллерии. Однако мне приходит на ум человек, который ни разу...

Он осекся. Лучший слуга тоже предал Габриель д'Эстре – останется навеки непонятно, ради чего.

Сюлли, после долгого молчания, очень глухо:

– Допустим, что один существует, но двух таких нет.

И при этом взгляд голубых эмалевых глаз, сказавший королю: «Вы тоже изменили своей вере, что достаточно само по себе, а скольким людям вы изменяли и сколько раз изменили своему слову! Была ли в этом необходимость?»

Генрих спросил свою совесть, была ли в этом необходимость, но не нашел ответа. Одного он добился от начальника артиллерии – что они выждут и испытают маршала Бирона. Сюлли покинул короля с предостережением:

— Он потребует от вас город Бург-ан-Бресс, это будет для вас знаком, что он стоворился открыть вашим врагам границы королевства.

Когда Бирон наконец явился, его сопровождало множество народа. Вся улица желала видеть знаменитого полководца; он и в самом деле был весьма внушитель, лицо багровое, неимоверно мускулистые плечи и руки, ни один грузчик не осилил бы его, он сам раздавил бы всякого. Глаза у него по любому поводу наливались кровью, как у быка, тело носило следы тридцати ран, он побеждал всегда и неизменно, завоевание Савойи было всецело делом его рук. Таково мнение людей, которые по большей части смешивали его с отцом и считали обоих за одно лицо. Словом, народным героем был маршал Бирон, а вовсе не король.

Славословия улицы поднимали изменника надо всем: над сомнениями, если они могли у него быть, и над страхами — они у него были. Король не попался в ловушку, он не брал ни пяди савойской земли, он оставил себе Бресс, французскую провинцию. Что король знал об измене? Ничего, решил Бирон, судя по приему, оказанному ему народом. Кроме того, он полагал, что к народному герою не посмеет притронуться никто.

С хмурым видом предстал он перед королем, который был весел и приветлив.

— Хорошая награда за вашу верную службу, — сказал Генрих и кивнул на окно.

Бирон кичливо выпятил живот. Он возразил:

— Народ меня знает. Я был бы Роландом, будь вы Карлом Великим[90. — Я был бы Роландом, будь вы Карлом Великим. — Роланд (? — умер в 778 г.) — французский маркграф. Принимал участие в походе Карла Великого в Испанию в 778 г., где и погиб. Сказания о Роланде легли в основу героического эпоса французского народа «Песнь о Роланде»]. Но своим мирным договором, который продиктован трусостью, вы пускаете на ветер все, что завоевано моей отвагой. Мне жаль вас, сир, — выкрикнул Бирон в бешенстве за свой недавний страх.

Генрих не обратил внимания на дерзости. Он показал маршалу статуэтку бога Марса с чертами короля и лавровым венком на челе.

— Кузен, как вы думаете, что бы сказал на это мой брат, король Испанский?

Намек и предостережение, Бирон пропустил мимо ушей то и другое.

— Он-то! — буркнул маршал. — Надо думать, он вас не боится.

Генрих хлопнул его по животу и рассмеялся.

— Потешный малый, жаль только, что жиреешь, а вообще ты мне по душе.

После этого лицо глупца побагровело еще сильнее. Взгляд его, до сих пор тупой, стал растерянным и беспокойным. «Возможно ли? — думал Генрих. — Безумие, безумие повсюду. Знал бы мой начальник артиллерии, как неустойчив слабый дух, он счел бы предательство болезнью. При этом в запущенном состоянии она не поддается врачебному искусству».

— Кузен, — сказал он, — какая нужна сумма, чтобы погасить ваши долги?

Бирон:

— Мои кредиторы.. мне надо стать могущественней вашего величества, чтобы удовлетворить моих кредиторов.

Генрих:

— Опасная шутка, однако не плохая. Каждый из нас склонен преувеличивать свое значение, иначе чего бы мы стоили.

Бирон:

— Отдайте мне Бург-ан-Бресс!

Вот оно, сказано. Изменник выдал себя. Генрих со скорбью душевной глядел на него.

Генрих:

— К чему вам этот город?

Бирон:

— Я завоевал его.

Генрих скорбно, но уже резче:

— За вами по пятам следовали люди начальника артиллерии, потому вы и шли прямым путем.

Бирон:

— Шпионы вашего начальника артиллерии. Король, и не верит своему маршалу.

В словах этого человека слышится затаенное бешенство, он ни от чего не

отступится и ни в чем не сознается. Генрих заговорил языком величия. Создал должное расстояние между собой и этим человеком и холодно подтвердил ему свое доверие. Это был правильный прием, чтобы сразу образумить одержимого. Тот откашлялся, но голос остался хриплым; запинаясь, он пробормотал:

— Сир! Искушение было так близко. Каждому большому вельможе вашего королевства представляются случаи стать еще больше за ваш счет. Вас никто не боится.

— До поры, до времени, — промолвил Генрих, недостаточно громко, чтобы быть понятым по-настоящему.

Изменник недоверчиво взглянул на него: что это значит, в какой мере ему надо быть откровенным? Наконец он промямлил себе под нос что-то о деньгах, которые Испания хоть и уделила ему, но разве этим заткнешь его дырявые карманы. Его никто не обогатит.

— Я умру либо на эшафоте, либо в богадельне. — На этом он закончил свои признания, только добавил, что король должен простить его, ибо он лишь вел переговоры, но ничего по-настоящему не делал, а потому для них обоих поставить точку.

Генрих, с внезапной силой:

— Чем вы мне грозите?

Бирон смиренно:

— Напротив, я прошу милостивейшего прощения вашего величества.

Генрих:

— То, что мне известно до сих пор, я вам прощаю.

Бирон:

— Прощаете все? Безразлично, совершил я эти проступки или нет?

Генрих:

— То, что мне известно, — а большего вы не совершите.

Мигом очутился он подле друга и обнял его за плечи:

— Мы с вами, — шепнул он ему на ухо.

Генрих:

— Мы с вами — чтобы предали друг друга? За какую плату — раз деньги вам не помогут, а после моего конца вы не были бы больше знаменитым маршалом Бироном; тот же народ, что вел под уздцы вашего коня, отвернулся бы от вас. Вам пришлось бы скитаться по чужим странам. Вашим повелителем стал бы мой злосчастный брат, король Испанский, который уже не властитель мира.

Бирон — в смятении, явно борясь с собой:

— Берегитесь, сир! Пусть Филипп Третий[91. — Филипп Третий (1578–1621) — испанский король с 1598 по 1621 г. из династии Габсбургов. Время его правления характеризуется упадком абсолютизма и господством придворной камарильи.] слаб, но убийца может к вам подослать и он! — Едва слово было произнесено, как он увидел, что король испугался.

Слабое место Генриха! Изменник коснулся его не с целью утратить короля, он и сам был слишком неспокоен. Но, увидев, что король испугался, он обрел храбрость для своего замысла. Король не боится ни битвы, ни осады, его тело тоже носит следы ран, хоть и не тридцати, но стольких нет и у Бирона. Он часто мог пасть от руки врага, в последний раз его собственный маршал хотел, чтобы его подстрелили из крепости. Позабыл об этом Генрих? Насильственная смерть знакома нам в разных обличьях, но лишь одно заставляет нас содрогаться.

Бирон, с такой же хмурой тупостью, как в начале беседы, и с безучастным взглядом:

— Отдайте мне должное за то, что я предостерег вас. Правду сказать, я лишь с этой целью чуть не вступил в соглашение с заговорщиками. Я был и буду вашим преданным маршалом.

Генрих:

— Мое искреннее желание поверить вам.

Бирон:

— И отблагодарить меня. Уступите мне Бург-ан-Бресс.

Генрих:

— Нет.

Бирон, уходя:

— Сир! Подумайте хорошенько. Ведь я ваш преданный маршал.

В сторону закрывшейся двери Генрих произнес:

— Придется в самом деле пораскинуть мозгами, как бы спасти тебя, мой друг,
от плахи.

Он немедленно отправился в Париж. Предлогом ему служила его возлюбленная маркиза; после стольких ночей, проведенных по обязанности с чужестранной королевой, ему не терпелось свидеться со своей французенкой. Однако он, как полагалось, посылал королеве письма с обращением «бесценная душа моя». Генриетта все еще именовалась просто «душа моя» и обижалась на такое различие. Она устраивала ему привычные сцены, которые забавляли его, не слишком выводя из равновесия. В ней воплощалось все, что он почитал французским; и это приобрело особую цену со времени его женитьбы. Кроме того, она ждала от него ребенка, как оказалось вскоре, и Генрих радовался этому, даже будущий дофин не мог сильнее взволновать его.

Обе женщины обманывали его наперебой, с первой минуты, без проволочки. Неверность королевы была ему докучна, впрочем, и сама она была ему докучна. Он даже не встретил ее, когда она прибыла в Лувр. Дело было вечером, королевский дворец стоял без огней, свита чужестранки запоздала, ей пришлось ощупью пробираться по темному зданию, по лестницам и через пустынные залы. То, что ей удавалось разглядеть из убранства, был обветшалый хлам, все жилище убого и недостойно ее звания. Она проплакала бы всю ночь, если бы столь высокая особа могла плакать. По злопамятности своей она до конца жизни не забыла, что в тот вечер заподозрила, будто попала вовсе не в Лувр, будто над ней посмеялись. Лишний повод для мести, вдобавок ко многим другим.

Мстительность маркизы больше развлекала Генриха, она полна разнообразия и обильна вспышками. В свое время Генриетта попытается тайком увезти сына в Испанию; спор о наследовании королю возгорится неминуемо, старинный враг, Испания, поспешит, как всегда, поддержать мятеж. Генриетта постоянно в союзе со

всеми заговорщиками: даже сейчас, когда выслеживает своего маршала Бирона и всячески старается спасти его от палача.

При этом она сумасбродна; выбалтывает то, о чем надо молчать, оставляет распечатанные письма – все затем, чтобы престарелый любовник принимал ее всерьез. Наконец она добивается своего, он требует отчета, вместо того чтобы развлекаться ее танцами, проделками и дешевыми шутками. Он грозит наказанием, она смеется над ним. Она кричит у самых его губ своим ломающимся голосом, от которого он по-прежнему без ума:

– Заприте меня в монастырь, чтобы я избавилась от вас. По-вашему, вы очень красивы? От вас хорошо пахнет? – Даже это она осмелилась бросить ему в лицо и вовсе не с глазу на глаз. Следствие было таково, что Генрих стал употреблять больше благовоний, а сердитая маркиза по-прежнему разыгрывала сцены в том же духе.

Когда он выведал у нее почти все касательно обширного заговора, у него было одно желание – пресечь ее болтливость.

– Мадам, ваши опасные тайны не подлежат огласке. Пока они известны мне одному, я сделаю все, чтобы оградить вас. Однако берегитесь! Граф Эссекс тоже верил в свое счастье, потому что был любим королевой и считал измену своим законным правом. Под конец моя сестра, королева Англии, принуждена была дать приказ отрубить ему голову – у нее самой с тех пор болит шея.

Взбалмошная женщина вытянулась, как только могла. Насмешливо выкрикнула:

– Да. Но она – помужественней вас.

На этот раз король не смеялся.

Тем же летом он посетил провинции, где правили главари заговора; теперь он знал всех, у самого начальника артиллерии не было против них таких улик. Эпернон в Меце, герцог Бульонский в Седане, даже губернатор Лангедока, его коннетабль Монморанси, был в их числе, и все они настойчиво утверждали, что верны ему. Король привел с собой солдат, заговорщики увидели, что разоблачены, но отпирались тем настойчивее. Однако он явился не для того, чтобы слушать их

ложь. Ему нужно было припугнуть их, и этого он достиг. Кроме того, ему хотелось собственными глазами увидеть изменников, проверить свое давнишнее знание людей.

В особенности его друг коннетабль умножил его опыт, а также и скорбь.

Испанцы тем временем осадили фламандский город Остенде, и потому Генриху нужно было припугнуть своих заговорщиков. Его друг, королева Англии, в ту пору настоятельно предлагала ему вместе помочь Нидерландам. Наступательный союз,

Елизавета не щедра на них. Однако именно сейчас он не вправе покинуть свое

королевство. Стоит ему повернуться спиной, как они поднимут бессмысленный мятеж, никакое вражеское вторжение не отпугнет их. Король один едет на побережье. Один взбирается на крепостную стену в Кале, прислушивается к пушкам

Остенде; он грызет себя, ему горько его бессилие.

После того как он долгими трудами и стараниями сделал свою страну и народ лучше и счастливее – его французы терпят друг друга, невзирая на различие вероисповеданий, что много значит, и в самом деле имеют по воскресеньям курицу

в горшке, во всяком случае чаще, чем до этого короля – когда, наконец, жизнь

стала терпимее, тогда, именно тогда, между ним и его успехом вторгается измена,

ядовитый гад с холодной кровью, противно даже дотронуться до него. В Кале, на

крепостной стене, Генрих, чтобы противостоять буре, держится за железные кольца; он страдает до глубины души, потому что все не прочно, ничто не защитит

его от упадка и крушения. Одного знания всегда было мало, – что я знаю.

Но дело

так же неверно, как и знание. Ему остается лишь отвага и стойкость, они помогут

ему жить час за часом.

По ту сторону пролива, в Дувр, в этот самый день прибыла королева, его союзница, и ждала слова, которое он не смел вымолвить. Ее корабли отчалили бы,

если бы он двинул свои войска. Но эти войска нужны были ему против измены.

Елизавета написала ему, чтобы он изловил и казнил всех изменников и в первую

очередь своего маршала Бирона. Он сказал:

– Она ученая, она знает толк в заговорах и лечит измену по способу хирургов,

топором. Я не могу с ней состязаться, ибо я испытал не раз, что насилие не

решает ничего. Решает лишь любовь.

Он думал: «Из двух моих жен я не люблю ни одной. Отсюда их обман. Я купил

их, королеву так же, как маркизу. Обманывая меня, они хотят забыть свое унижение. Женщины, которые наставляют нас рога, отстаивают свою личность. Хорошо это или плохо? Кто не любит их, может отвернуться. Но Бирон? Его я любил и спасти его хочу еще сейчас. Нелегкое это будет дело, наперекор моему другу, королеве Английской, наперекор моему начальнику артиллерии».

Воротясь из путешествия, он отправился в арсенал – не с радостным чувством; то, что он намеревался открыть, не было почетно ни для его власти, ни для его имени.

Рони отнюдь не разделял недоумения своего государя по поводу измены, бессмысленной измены, которая никак не могла пойти на пользу изменникам и была лишь посягательством на общее владение, на общую землю. Не король лишится власти, а погибнет страна, нация! Разве не вопиет это против разума? Не говоря уж о долге совести.

У верного слуги были свои соображения. Тому, кто на вершине могущества, трудно понять, почему на него покушаются. Так просто объяснил все Рони. Его удивляло лишь, откуда король узнал столько подробностей. Однако он коснулся самого больного места, упомянув о господине д'Этранге, отце маркизы. Генрих тотчас прервал его.

– Против него у вас нет улик. Наоборот, маркиза сделала все возможное, чтобы осведомить меня.

Только это и желал услышать министр, он про себя решил произвести обыск как у дочери, так и у отца. Генрих, успокоившись насчет своей маркизы, потребовал отсрочки для своего Бирона.

– Во-первых, он не в нашей власти, ведь у него самого есть войско и пушки.

– Тогда мы отнимем у него пушки, – пообещал неподкупный.

– Желая успеха, – сказал Генрих. – Все же проще сперва арестовать остальных.

Однако неподкупный требовал головы маршала Бирона. Под конец у Генриха на лбу выступил холодный пот, так судорожно боролся он за своего заблудшего друга.

Неподкупный спокойно и четко, как всегда:

— Вы знаете, сир, что вам нельзя выступать с армией во Фландрию. За вашей спиной немедля вспыхнул бы вооруженный мятеж.

— Ваша правда. — Генрих сразу стал хладнокровен, как его верный слуга. — Мой друг, королева Англии, советует мне снести голову всем моим заговорщикам: так поступила она со своим собственным любимцем Эссексом.

— Это истинная правда, — подтвердил начальник артиллерии. — Первый, кого вы должны обезглавить, — Бирон.

— Его судьба решена, — заключил Генрих. — Он отправится послом в Лондон, он сообщит моему другу, королеве Англии, что я вступил в брак. Вернется он оттуда другим человеком.

В этом Рони сомневался; однако он понял, что король сказал свое последнее слово.

Бирон действительно поехал в Англию, старая королева восхваляла перед ним его государя. Один лишь порок есть у короля Генриха — мягкость.

— Расскажите-ка ему, как поступают с изменниками.

Она показала послу некий предмет за окном; он постоянно у нее перед глазами, чтобы она могла созерцать его, это голова молодого Эссекса, которого она любила. Остались одни кости, но Бирон привык к черепам, он боится их не больше самой Елизаветы. Елизавета видела, ни страшное зрелище, ни ее предостережения, ничто не действовало на Бирона. Об этом она написала королю Франции, прежде чем Бирон успел вернуться.

Во время его отсутствия один из его агентов донес на него, так что сам предатель оказался преданным. Его соумышленники перестали верить ему, когда он выступил в роли королевского посла. Они поняли: король все знает и понимает их встречными ударами; ни с того ни с сего отбирает у них городской налог. Откуда же вельможе взять средства, чтобы вести войну даже против короля, если народ перестанет платить налоги? Страх пронизал их до мозга костей, и они отправились в королевскую резиденцию, не ожидая, чтобы Генрих явился к ним. Могущественный герцог д'Эпернон заверял господина де Рони, хотя тот был всего лишь министром,

что у короля нет причин созывать тайные совещания, никто не помышляет о бунте.

Начальник артиллерии предложил ему повторить свои слова самому королю, но именно на это никто уже не отваживался.

Ненависть к королю разжигалась преимущественно среди протестантов: король будто бы намеревался лишить гугенотские крепости субсидий из собственной казны.

А вместо этого собирал у себя в арсенале пушки, чтобы сокрушить все вольности

как той, так и другой веры. Крупнейший из заговорщиков сам был протестант, это

Тюрэнн, ныне герцог Бульонский, богатый владетельный князь, его гордыни не

сломить ничем. Некогда он был беден, вместе с Генрихом, и будущее короля казалось не надежней его будущего. Спутник тощих лет менее, чем кто-либо, способен соблюдать меру, когда наступят тучные годы. Как другой бедняк прежних

времен будет стоять над ним? Этот король — враг каждого независимого князя в

королевстве, особенно из числа тех, что исповедуют истинную веру, он не знает

благодарности к своим протестантам за прежние битвы. Этим словам верили, ибо

так говорили те, кто владел чем-нибудь, чаще всего слишком многим.

Генрих получал такие сведения со всех сторон и видел, как вельможи, один за

другим, отпадают от него; протестанты были настроены против него больше, нежели

католики, расположение которых он приобрел хотя бы в размерах городского налога. Кроме того, простолюдины-паписты помнили, что он все-таки одолел их

угнетателей, меж тем как его собственные бывшие борцы за веру позабыли даже о

данном им эдикте. Тогда он претерпел жесточайшие сомнения — будучи вообще склонен к сомнению. И вот теперь этот обширный заговор, вина за который безусловно падает на него. Неспроста после стольких деяний, добившись воссоздания королевства, он покинут всеми и остался один, как вначале.

Он призвал своего Рони в Фонтенбло — хоть и был уверен, что его глубокая внутренняя тревога и раскаяние в собственных ошибках не могут быть понятны

начальнику артиллерии. О них Генрих молчит и в этом остается одинок.

Тюрэнн и

его бородатый приятель де ла Тремойль возвратились в свои замки. Ни д'Эпернон,

ни кто другой не пожелали задержаться.

— Разве что мне пришлось бы высказать им правду в лицо. — Он все еще молчит

о том, что воспринимает их измену как свой позор.

Верный слуга похвалил его за хитрость и притворство.

Тем легче попадутся в ловушку вожаки преступного предприятия. Понятно, он понимает Бирона, уж очень он алчет его крови. Король шагает слишком размахисто для небольшого сада, это Рони отметил. Мне нужно кое-что рассказать ему. Верный слуга не без ловкости умел смягчать советы и самые трудные решения: он обезоруживал государя примерами людей былых времен или перечнем обыденных событий, которые текут своей чередой наряду с чудовищными, и чудовищные тем самым становятся обыденными.

У маршала Бирона уже нет пушек, начальнику артиллерии удалась одна хитрость. Он убедил губернатора Бургундии, что его пушки никуда не годятся. Простак пошел на приманку, он отправил старое добро вниз по реке, и, как было уговорено, навстречу, в сторону Дижона, вышел корабль с новыми орудиями. Но, к несчастью, пропал в ночи и тумане, пока невзначай не пристал снова к арсеналу, туда же успели прибыть и пушки маршала. Ловкий маневр, король поневоле засмеялся.

Рони, напротив, произнес с величайшей серьезностью:

— Сир! Дело идет о вашем королевстве. Превозмогите все, воспоминания, чувствительность и...

— И стыд, — закончил Генрих, отчего его слуга растерялся, задумался, но не нашел оснований для этого слова.

— Превозмогите все, — потребовал он еще настойчивее. — Пример, который вы покажете на самом сильном из ваших врагов...

— Силен без пушек? — спросил Генрих. — Или обезоружен, беден, как бездомный нищий? Я могу отпустить его с миром, ему останется лишь бежать без оглядки.

— В Испанию. — Сюлли говорил медленно и веско. — Сир! Милость Божия покинула его. И вы не вправе быть к нему милостивым.

Генрих ужаснулся. Громовое веление свыше не могло бы с большей силой призвать его к порядку и долгу. У его сурового слуги хватило ума оставить короля одного, прежде чем он понял, что призван к порядку и исполнению долга.

Полночь

Вот он, небольшой отгороженный сад замка Фонтенбло, сад испытаний:

испытываемый говорит со своей совестью. Никто не смеет тревожить его, но издали за ним следят, королева и министры из окон, а любопытные, также исподтишка, подглядывают сквозь шпалеры. Все дни, что Бирон находится в пути, Генрих мысленно сопровождает его; порой он советует ему повернуть назад, бежать; чаще же просит его признаться, упасть к нему на грудь. Тринадцатого июня ранним утром в этом саду Генрих решает: «Маршал не приедет», и то же он повторяет своим людям, которые стоят наготове, оцепив шпалеры. Бирон горяч, он намерен заколоть своего врага, Рони, он поклялся в этом, но, стань он даже убийцей короля, ему все равно терять нечего. Генрих успокаивает остальных на этот счет.

Впервые он без страха ждет ножа. «Неужто жажда жизни пропала у меня? А была очень сильна. Бирон – его дорогу сюда, его дорогу в смерть, такую трудную и долгую, я совершаю вместе с ним. Но и радостными путями мы прежде скакали бок о бок по этому королевству». Генрих подразумевал больше отца, чем сына, смешивая их по примеру народа. «Неужто мне суждено разойтись и разлучиться с самыми близкими людьми. Раз они считают надежнее перебежать к моим побежденным врагам, значит, что-то неладно со мной. Лишь тот, кто теряет себя, теряет и других, и никто бы не изменил мне, если бы я сам себе не изменил».

Он углубился в себя, он мучительно искал причин измены – увы! Они ничего не объясняют. «Я ли спустил с небес на землю осененное благодатью величие, ведь я и сам не верил в такое чудо. Каждый мой день отнюдь не светлый праздник. Я не был тираном, которого они могли бы ненавидеть и чтить. Напрасный труд – у одних отбирать лишь избыток, вместо всего сразу, а других насыщать лишь по воскресеньям. Кого я исцелил от глупости, кого от безумия? Кто на это не способен, того не считают освободителем. Мой обычай привел к тому, что последнее покушение на мою жизнь мне пришлось замять и утаить. Бирон, избавь меня от бесчестия, оно было бы слишком громогласно. Оно отчаянно вопиет с твоего эшафота!»

Снаружи произошло замешательство, Генрих решил было, что наступает страшный час. Оказалось, что это лишь неизвестный горожанин, который рвался к королю с

таким пылом, таким отчаянием, что его наконец допустили в беседку. Он упал на колени, умоляя короля пощадить жизнь его племянника, которого суд приговорил к смерти. Король сам подписал приговор, он знал все обстоятельства дела, они не допускали помилования. Он бледнел, пока длились стенания на земле у его ног. Какой-то несчастный юноша взойдет на плаху; а ты, король, втайне борешься с изменником, чтобы он пощадил тебя.

Человеку на земле он сказал:

— Вы исполняете свой родственный долг. Я поступаю, как должно королю.

С этой минуты его колебания относительно Бирона кончились. Тот явился, когда его и ожидали, ни в чем не изменившись, что тоже можно было предвидеть. Снаружи наблюдали, как они вдвоем шагают по аллее, король молча и твердо, маршал в ярости и гневе за несправедливое подозрение, а больше оттого, что он обезоружен. Он то с размаху ударял себя в неповинную грудь, то обвинял вероломного Рони, который предал его.

— А я разве предавал вас? — спросил Генрих; на это закоренелый лжец не нашел ответа.

Тогда король обнял его, широким жестом показал, что они одни и он может довериться ему.

— Я-то! — крикнул Бирон. То был крик мрачного безумия.

Они показались из-за шпалер, один был весел, второй же задыхался от нестерпимых оскорблений. За столом, в присутствии всего двора, Бирон сидел напротив короля, и речь шла лишь об осажденном Остенде. Генрих сказал: его брат, король Испании, вместе с испанскими министрами должен дрожать, как бы он не покарал своих изменников. Тогда война во Фландрии была бы проиграна для Испании. Бирон поглощал кушанья и не сдавался, как ни легко было разгадать его. «Посмей только! — говорило его побагровевшее лицо. — Ты уже не король своих дворян. Теперь созывай простой народ, но еще не известно, пожелает ли он умереть за тебя, как некогда умирали мы».

После обеда Генрих повел несчастного в тот же сад. Как будто не все еще было потеряно, он спорил о человеческой душе; но она уже отмерла.

— Господин маршал, опомнитесь, ведь это вы, а перед вами ваш король Генрих.
Вы не найдете никого другого, кто бы так любил вас. Какие бы улики ни имела против вас Савойя, каков бы ни был данный вам от Испании завет молчания, забудьте их! И я все забуду после первого же свободного слова.

Свободен Бирон уже не был. В Лионе, при всей своей ярости и гордыне, он еще мог быть свободен. Здесь он идет навстречу своей судьбе, хоть и не верит в нее; он оцепенел, он поражен немотой и обращен уже к лобному месту. Генрих отсчитывал по четверть часа, он дал себе срок до четырех четвертей, потом прибавил и пятую.

Внезапно он оборвал на полуслове, опустил руку и торопливо зашагал к дому.
Он заперся с Рони и королевой.

Министр, во имя безопасности государства, требовал выдачи повинной головы, однако он мог не тратить слов: королева была еще настойчивей. Ее супруг думает пощадить изменника; его дело, если он хочет лишиться престола, Мария Медичи на это не согласна. Она знает, что король, на случай своей смерти, некогда поставил того же Бирона охранять свою любовницу и ее незаконного отпрыска. Мария не должна платиться за то, что он ошибся в выборе доверенного лица, ее сын, дофин, вырастет под регентством матери.

Регентство — слово высказано. Мария знает его на любом языке. Между тем в самых важных для нее вопросах она изъясняется по-французски — тягостно для слуха, но метко. Генрих понимает, что временем, когда его не будет, уже распорядились и рассчитывают на это время. Но пока он жив. Умереть, умереть немедля должен друг его юности, спутник его возвышения и его истекшего века. Это тягостно слышать, независимо от французского выговора чужестранки. То, о чем ему напоминают, это естественный порядок и закон природы, все равно его пробирает озноб.

Обстоятельства меняются слишком быстро для того чувствительного возраста, в который он вступает. Осиротеть, последних послать на смерть, прежде чем он уйдет за ними — и без отсрочки? Оставим чужестранку.

— Господин де Рони?

— Сир! Так как у маршала Бирона не осталось сомнений насчет ваших планов, он может бежать. Его надо заключить под стражу.

— Подождем до полуночи, — решил Генрих.

Вечером играли в карты. Наконец общество разошлось, Бирон без приглашения остался с королем. Генрих видел, что он и не помышляет о бегстве. Если дух его не омрачен окончательно, в этот час он, несомненно, прояснится: у короля сердце забилось надеждой. Он еще раз воззвал к старой дружбе, увы, в ответ увидел сухие глаза и рот с печатью молчания — и пробило полночь.

Генрих отвернулся, медленно направился в свой кабинет, помешкал, прежде чем закрыть дверь. После мучительной минутной паузы вновь растворил ее — Бирон стоял на месте, скованный своим безумием.

— Бог с вами, барон Бирон. — Генрих назвал его старым именем, тем, которое он носил в течение двадцати лет их совместных опасностей и ран. Только слушать было некому.

— Вы поняли, что я сказал?

— Нет.

Тут же при выходе маршал Бирон был арестован, нагло сделал вид, что принимает это за скверную шутку, и продолжал играть роль оклеветанной невинности — в Бастилии, где некий монах снова приказал ему молчать, а затем и на суде, невзирая на уличающие его документы за собственноручной его подписью; он никак не ожидал их увидеть и тем не менее яростно отрекался от них. Он рассчитывал, что нажим со стороны заговорщиков и чужеземных держав вынудит короля отпустить его. Его партия сильна и смела, судьи побоятся осудить Бирона из-за ее мести. Среди судей тоже имеются приверженцы прежней Лиги, а Лига ожила теперь, словно еретик никогда не побеждал ее, словно владычества этого короля и не бывало.

Дороги стали снова ненадежны, шестьсот родственников обвиняемого прибыли из Гаскони, вооруженные шайки учиняли нападения. Свидетель, предъявивший письменные улики, был убит посреди Парижа, невзирая на охрану, а убийцам его

помогли скрыться. Королю Генриху потребовалось все его великое мужество, больше мужества для того, чтобы судить изменника, чем встретить врага, если бы тот вступил в пределы его королевства. Враг страшнее всего, пока он издалека, золотом, печатным словом, распрями среди партий внутри страны вносит в нее смуту и подготавливает себе почву.

Генриху пришлось это пережить; все дела его, умиротворение и благосостояние его королевства не избавили его от необходимости покинуть свою столицу и выжидать за ее стенами, держа ногу в стремя. Не изменник, а король спасся бегством. Своего министра Скулли он настойчиво предостерегал от заговорщиков; стоит им поймать его, как он своей головой будет отвечать за Бирона. Рони, должно быть, принял меры и, надо думать, по-своему рассчитал, что одно только неправо дело опирается на преступления: они же не имеют корней.. Взросло, укоренилось по-настоящему лишь величие, лишь власть, то и другое добросовестно выхожено, и лучший слуга печется о них.

В кругозор министра включено многое, но королевство, как таковое, ему не принадлежит. Для него величие — это величие его государя, сам он на худой конец может попасть в руки врага. Генрих один постиг тогда, держа ногу в стремя, всю непрочность своего достояния в целом, всю брэнность своей собственной жизни, пока ему удастся сохранить ее — а дальше рассчитывают одни глупцы. То, что пережил он в эти дни, были бесконечные двенадцать ударов полуночи.

Там, за стенами города, он принял родственников арестованного, говорил с ними мягко и сочувственно, как уполномоченный правосудия и государственной необходимости, против которых он бессилён. Отказал им, не подав виду, чего опасался и чего мог ожидать на самом деле — насильственного освобождения пленника и открытого возмущения столицы. Умы были достаточно подготовлены. Бирон — хороший католик, за то он и страдает. По рукам ходило трогательное письмо, Бирон никогда не писал его, но высказывал в нем все, что могло возбудить ненависть к королю. Хороший католик в своей темнице не помнил даже толком «Отче наш» и предпочитал заниматься астрологией, ибо страстно хотел жить, в чем и был обнадёжен. Король слаб, страх сломит его. А судьи дрожат уже сейчас.

Однако у Генриха в судах были не только люди, которые отговаривались насморком или уклонялись под любым другим предлогом. Из больших вельмож одного ранга с Бироном никто вообще не соглашался быть ему судьей. Оставались старые старые законоведы короля Генриха – некогда они пребывали в Туре, потому что Париж принадлежал еще Лиге; некогда, на тюремной соломе, некогда, в нищете. Они-то покинули теперь мягкие постели, удобные жилища; перед лицом опасности они вновь стали прежними. Они вооружились мужеством, они боролись. Если королевству суждено погибнуть, то в первую голову погибнут они; но эти гуманисты спасали его, нападая. Они брали пример с короля, он же не поддавался никаким искушениям, его приказ был – следовать правосудию.

Надо сказать, что многие стремились помочь ему. Как часто Рони, под сильным военным конвоем, выезжал к нему. Старая Елизавета, его друг, писала ему, дабы внушить этому королю свою непреклонную волю. Она знает, что ее брату, королю Франции, неприятно видеть из окон своего дворца черепа, когда к тому же он в прошедшие времена целовал плоть, облакавшую их. Она все знает, ибо она близка к концу и возьмет с собой в могилу свой век, заранее возьмет с собой немногих живых избранников, которые творили великое, подобно ей.

Зато Бирон, человек полнокровный, нуждался в кровопускании, но о смерти не помышлял и отдаленно. Своим сторожам и всем посетителям, которым был открыт доступ в его камеру, он изображал презренные заседания суда, корча рожи и рыча. Зубоскальство и уверенность в победе лишили его узды. До последнего дня он считал, что на его стороне то и другое – власть и право. Власть – потому, что, пока он неистовствует здесь, взаперти, от нерастраченных сил, заговорщики там, за стенами, непременно достигнут своей цели, а испанские солдаты спешат сюда, чтобы вызволить его. А право было на его стороне по трем причинам. Во-первых, измена – законное право сильнейшего, а таковым он считал себя... во-вторых, король все простил ему в Лионе, за исключением того, в чем он не желал сознаться. Ну, да это увертки, не могут же они повлиять на решение судей. В-третьих, и это самое главное, для всех богатых и сильных мира существует

непреложный закон и нравственное право защищать свое богатство. То богатство, которое дало им великую власть, они при первой же угрозе должны пускать в ход против государства и нации, так гласил закон, таково было их нравственное право. На крайний случай их закон гласил: призови в страну врага, чтобы он спасал твоё владение. Враг обычно печется отнюдь не об этом, но богатые хотят в это верить. Со своей верой и совестью они в ладу, а потому могут говорить напоследок, как изменник Бирон:

— Взгляните, господа, перед вами человек, которого король посылает на смерть за то, что он хороший католик.

Он нетвердо знал «Отче наш», зато питал веру в богатство и с ней сошел в могилу — предварительно подняв большой шум. Палача он задушил бы, если бы не считал его обманщиком. Чтобы ему, человеку в расцвете сил, король осмелился прислать палача!

Король Генрих, несомненно, рассчитал, какой дорогой ценой заплатит он за эту казнь. Но первый же успех оправдал ее: заговор распался, заговорщики боялись вздохнуть, смерть одного лишь Бирона устранила угрозу мятежа и войны, призрак Лиги развеялся так же мгновенно, как возник. При возвращении в свою столицу король был встречен восторженными кликами народных толп, которые были единодушны с ним: он наш отец, он дал нам мир, жизнь и право на счастье. Слава! Слава! С этим, впрочем, быстро освоятся и забудут это скорее, чем вновь наполнится казна королевства и ремесла достигнут прежнего размаха.

У побежденных память не так коротка. Они заказывают бесчисленные мессы за упокой души их мученика, погибшего на эшафоте. С течением лет за этим заговором следуют многие другие, их пресекают, Рони начеку, король больше ни разу не усомнится в своем советнике: он у него один. И все же оба они прегрелили против богатства, против власти богатства. Последнее слово казненного было: «За то, что я хороший католик». Этого достаточно, чтобы присудить короля к насильственной смерти, если она и раньше не была для него предreshена. Отныне он будет шагать по своему королевству до первого зова. Плодотворнейшее из правлений, но за правителем следуют шаги; он чувствует их, ничего не слыша. Кто оглянется, не увидит никого. Остается жить нынешним днем, который всегда достаточно светел, пока бьется сердце.

Однажды, когда он проезжал многолюдной улицей де ла Ферронри, впереди него очутились незнакомые носилки. Кони не могли миновать их, пришлось остановиться. Случилось это возле дома со сводчатым подвалом, над ним вывеска: увенчанное сердце пронзено стрелой. Король наклонился, ему непременно хотелось заглянуть в те носилки, но они исчезли в толпе. Никто не мог понять, почему король, хотя ему расчистили дорогу, в раздумье не двигается с места.

У него тогда вошла в привычку поговорка:

— Верно, как измена Бирона. — Вскоре после казни изменника он посетил в арсенале своего министра и обратился к нему: господин маркиз де Сялли. За что верный слуга поблагодарил всего лишь как за должное — он ожидал возведения в герцоги и пэры. Это были титулы изменника, доставшиеся ему не по заслугам, а из-за любви короля. К лучшему своему слуге Генрих питал не любовь, а почтение, слишком непреложное, чтобы без ропота терпеть его. Дабы Сялли мог полностью проявить себя и стать великим министром, Габриели д'Эстре пришлось умереть. Умирает Бирон, и Сялли становится маркизом. Он станет и герцогом, и для этого многим еще придется погибнуть. Нелегко терпеть безупречного человека, который избавляет нас от всех, кого мы любим.

Огромный стол министра был завален бумагами. Вот он сидит над своими расчетами, благодаря которым процветает королевство. Король повернулся к своим спутникам:

— Столько сидеть! Хотели бы вы быть на его месте? Я бы не выдержал.

Заглянув в одну стопку бумаг, Генрих умолк, он увидел: это были записи о нем самом. Рони хранил лишь те воспоминания, которые были связаны с ним самим. Как и следовало ожидать, большая часть записей посвящалась процветанию королевства, «Королевское хозяйство» были озаглавлены они. Министр, в действительности все писавший сам, якобы беседовал в этих дневниках со своими секретарями; на их обязанности было напоминать ему всякий раз об его деяниях, трудах и заслугах,

словно он и без того не знал о них. «Гордыня! — сказал Генрих про себя. — Как может человек писать дневники, ведь каждая жизнь полна позора».

И тут же, помимо его воли, глаза его увлажнились. Он отослал всех остальных.

Оставшись наедине с Рони, он обнял его и промолвил:

— Отныне я люблю вас одного.

Траур

Какая внушительная фигура истекшего столетия отошла в вечность со смертью ее британского величества в апреле 1603 года! Королева Елизавета, старая союзница короля Франции против испанской всемирной державы, помогла ему завоевать и удержать престол. Его дружба ограждала ее остров от испанских десантов. Оба государства были сильны лишь совместно, оба монарха в течение двадцати лет ни на час не забывали друг о друге. Но когда Елизавета умерла, Генрих не надел траура и не отдал такого приказа двору, потому что подчинились бы ему, возможно, не без замешательства. Двор, со своей стороны, тоже постарался: все, словно по уговору, избегали упоминать о покойнице.

Король и королева Франции жили в своем Луврском дворце, богатой резиденции, которая с недавних пор стала неузнаваемой благодаря новому блестящему убранству. Подумать только, что особый ювелир, Никола Роже, был назначен надзирать за драгоценностями их величеств. Королева пользовалась золотым умывальным прибором. Ее придворный штат состоял из четырех сот шестидесяти пяти человек, из которых сто семьдесят пять были на полном содержании, как они сами выражались, «кормились при дворе». Полторы тысячи придворных чинов короля получали жалованье, хотя и небольшое, и каждый носил какое-нибудь звание. Во дворце не хватало места, чтобы поселить всех, ночью же внутренние покои и входы охранялись семью сотнями солдат.

Генрих засыпает с трудом с тех пор, как скончалась Елизавета. Спальной ему служит его кабинет, только теперь в глубине сооружен резной и позолоченный альков. В кабинете, слева от кровати, дверь в спальню королевы. Генрих после

смерти Елизаветы запирает дверь на несколько замков. Здесь он лежит в одну из первых ночей, что она лежит в могиле, и думает о ней, потому что днем его одолевают толпы живых, а имя ее запретно. Ибо она была еретичка, она утверждала во всем мире новую веру с таким успехом, как никто, если не считать короля Франции, его битв, его эдикта. Все же он совершил свой смертельный прыжок и отрекся от веры, сперва только для виду, что Елизавета прекрасно поняла, хотя первоначально не одобрила его. Она притворилась даже, что верит ему, когда он позднее заявил, будто диспут между кардиналом дю Перроном и господином де Морнеем действительно убедил его в правоте нового исповедания. Они оба равным образом считали своим истинным исповеданием гуманизм, иначе говоря, веру, что земное назначение человека — быть разумным и храбрым, свободным, имущим и счастливым.

«Она много убивала, хотя у нее не было жажды крови. У меня тоже ее нет, и все же я казнил Бирона. Гуманистам надо быть непримиримыми и поднимать оружие всякий раз, когда враждебные силы хотят воспрепятствовать назначению человека. Мои воинственные гугеноты защищали право и религию, то же самое делал я всегда, что верно, как измена Бирона. Елизавете и мне надлежало быть сильными и безмерно возвысить королевское звание — не затем, чтобы унижить людей. В короле они должны видеть перед собой и познавать воплощение своего собственного величия.

Ночь пройдет, пока я успею обдумать все свои дела. Что это, с неба упал уже первый луч света, и река отбросила его в мое окно? Часы пробьют пять и наш двор будет на месте. Они пробьют шесть, и начнется утренний туалет, мой и королевы. В соседний покой никто не смеет войти с покрытой головой. Все склоняются перед моей парадной кроватью, хотя я по большей части и не лежу на ней. Каждый обязан соблюдать почтительное расстояние, одно прикосновение к кровати было бы посягательством на мою священную особу. Камергер стоит на страже у кровати, даже громкий говор считался бы покушением на меня. Я знавал иные покушения и еще узнаю иные.

Люди с тех пор не научились уважать самих себя, а значит, и жизнь. Убийство

стоит в моей столице четыре экю. Во сколько оценят мое собственное, и будут ли по мне носить траур? Меня одолевает дремота, рассудок туманится. Остается только предоставить им поклоняться моей кровати как символу, значение которого им не понятно. Мысли людей заняты теперь только церемониалом; этого я не хотел. Они становятся суетнее, вместо того чтобы стать проще. Как я живу еще среди них, почему я замешкался? Однако я уже не вполне здесь; умирая, Елизавета взяла с собой частицу меня.

Не просыпаться! Может случиться, что я в конце концов признаю иезуитов, раз они все равно признаны новым веком. Если я призову их обратно, дабы примириться с веком, Елизавета никогда об этом не услышит. Благо ей. Частица меня уже с ней, по ту сторону. Признаем ли мы друг друга там? На земле мы ни разу не виделись.

Не виделись ни разу иначе, как на портретах. Когда я был еще мальчиком, ей предложили в мужья маленького Наварру, что было хитро задумано: моя партия лишилась бы таким образом главы, и Франция истекла бы кровью в гражданской войне. Позднее я публично поцеловал ее портрет, чтобы она узнала об этом и помогла мне. В связи с голландскими делами я впоследствии заключил мир с Испанией, невзирая на договор с ней. Под конец мы упустили Остенде и напрасно ждали друг друга, она на побережье по ту сторону пролива; однако стену, на которую я взошел здесь, омывало то же море. Упустил, не видел никогда – а между тем кто был так жив для меня, как она? Никто так много не значил для меня, как и я для нее. Кто, кроме нее, был равен мне?»

Этого вопроса он себе ранее не задавал, пока Елизавета жила и, казалось, будет еще время встретиться с ней. Вопрос этот возник незванный в полусне предутреннего часа. Ответ последовал тоже. «Мы встретимся друг с другом в будущем; мы не умрем». Что было опровергнуто тут же в полудреме. «Нет, мы окончим свои дни. Но след нашего сознания перейдет в другие умы, потом еще в другие. Спустя столетия явится порода людей, которая будет думать и действовать, как мы. Мы не умрем со своим веком. Я и мой друг, королева Англии, будем вечно знать друг друга».

Он подскочил, било шесть часов. Так как король не подавал знака, то не

показывались ни его пять камердинеров, ни избранные из числа его придворных, которые имели право присутствовать при его утреннем туалете. Спустя несколько минут позади алькова слегка приотворилась потайная дверь, в нее заглянул господин д'Арманьяк. Он уже не прислуживал самолично, но тем точнее соблюдал время и в должный час был на месте. Тут он увидел своего господина совсем одетым, и как сам он заглядывал в дверную щель, так и король смотрел через дверь справа в парадный покой.

Он звался парадным покоем, имел тридцать футов в длину, двадцать в вышину, из трех его окон два выходили на реку, третье на запад. На потолке, ставшем знаменитым, вокруг королевских гербов было замысловато и очень красиво расположено оружие всякого рода из резного дуба, ореха и липы, покрытое позолотой, начинавшей темнеть. Стены были завешены тканями картинами из античной жизни, золото и шелк изобиловали на них. Бархат на мебели был цвета увядшей розы. Кровать стояла на возвышении.

Парадная кровать его величества возвышалась под балдахином на особом помосте, называемом «паркет», и была обнесена позолоченной балюстрадой. Мимо нее на носках проходили дамы и кавалеры, и, проходя, каждый поворачивался всем туловищем, чтобы воздать почести задернутым занавесам. За ними скрыто королевское величество, все равно находится ли оно там во плоти или нет. Шествие заключали принцессы де Конде и де Конти. Когда Генрих достаточно нагляделся и собрался войти, в покое появилась еще одна особа — она ждала, пока весь двор будет в сборе, и совершала торжественный путь медленно, тщательно стараясь скрыть хромоту. Подле парадной кровати брата герцогиня де Бар, сестра короля, низко склонила колена. Ты склоняешься, Катрин.

Генрих поспешно захлопнул дверь, стоял за ней, прикрывая глаза рукой, но видел многое. «Сестра, эта парадная кровать занимала твой ум, когда мы были еще совсем юны и были еще ничем. Ты достигла своего, и все-таки ты не счастлива. Думаешь ли и ты, что эта парадная кровать пуста, между тем как в могиле — склонись перед ней — покоится Елизавета? О ней ты умалчиваешь, как и все другие, но знаешь: мы одни, и мы тоже уйдем. Свидания по ту сторону вряд ли стоит желать после всего, в чем мы провинились здесь друг перед другом, особенно я перед тобой; а мог бы я увидеть Бирона? Или даже моего друга, королеву Англии? Разве что мы стали бы тем временем всеведущими, тогда никто ни в чем бы не упрекнул другого».

После нескольких ночей, подобных этой, все увидели по нему, что он страдает.
Всеобщий стовор молчать об умершей оставался в силе, король первый соблюдал его. Он выполнял все свои повседневные обязанности. Самая главная — жить и быть на высоте. Однако часто наблюдалась в нем рассеянность; посредине оживленного разговора он умолкал и закрывал глаза.

Один из приступов рассеянности случился с ним при двух придворных, их звали Монтиньи и Сигонь. Эти последние догадались о причине и думали попасть в милость, произнеся наконец запретное имя. Сперва они убедились, что не будут никем услышаны и что могут довериться друг другу. Затем Монтиньи сказал тихо, что разделяет скорбь короля. Сигонь вполголоса дал понять, как глубоко он чтит королеву Елизавету. Генрих поднял веки. Без всякого ответа он окинул обоих отчужденным взглядом.

Они испугались. Король, который обычно держал себя со всеми как равный и только что так и говорил с ними, вдруг проявил суровую неприступность. Встретив холодное презрение, они поспешили удалиться. Они полагали, что величаяя обособленность проистекает лишь от его сана, не от природы. Неужто он поддерживал тайные сношения с особой, которой нет более и которая уж никогда не прибудет сюда? Они долго не могли опомниться от своего открытия, однако остереглись о нем упоминать. Двор, без сомнения, не простил бы им, что они случайно обнаружили нечто новое в государе, который всегда был у всех на глазах, и потому все полагали: сверх того, что они видят, нет ничего.

Тем же самым дворянам стало не по себе, когда король спустя три дня приказал явиться к нему в сад. Каждый из них был в тревоге, не числится ли за ним какой-нибудь провинности в прошлом. Монтиньи в свое время оказался ближайшим свидетелем одного из покушений на короля, ибо он как раз в эту минуту целовал ему колено. Сигонь, автор аллегорических пьес, на высокопарном языке богов и героев при всяком удобном случае воздавал хвалу великому государю. Зато его повседневная речь отнюдь не отличалась торжественностью, а частенько задевала герцогиню де Бофор. Оба были обычные и привычные царедворцы, таких у Генриха всегда найдется тринадцать на дюжину, если считать без разбора. Именно потому

он призвал их сегодня к себе, в свою зеленеющую залу под лиственным сводом; из окон Лувра сюда нельзя заглянуть. Своим друзьям и старым соратникам он не доверил бы того, что сказал этим двоим.

— Вы счастливее меня. Я хотел бы умереть!

Они склонили головы и спины. Он зашагал еще быстрее и сказал: если бы он только мог, он переменял бы звание и ремесло. Он стремился бы к уединению и обрел бы наконец истинный покой души.

— Отшельник ни в чем не терпит недостатка. Манна падает сверху, ворон приносит с небес хлеб.

Он сопровождал свое признание страстными вздохами, затем сжал губы и разомкнул их, лишь когда самообладание вернулось к нему. Тогда он продолжал:

— Но такая жизнь не для монархов, они рождаются не для себя, а для своих государств и для народов, над которыми они поставлены.

Для слушателей короля речь его была неожиданностью; они считали его во всем, что ему пришлось пережить, человеком забывчивым и называли вечным весельчаком. Печаль была скрыта в глубине его души, ибо услышанные здесь слова он хоть и произносил много раз, но отнюдь не перед чужими. Впрочем, он тут же пожалел, что показал себя печальным и благородным перед господами Монтињи и Сигонем, а потому он поспешил еще кое-что добавить, дабы заключение было созвучно остальному и они без ущерба могли бы разглашать его слова.

— У монархов на житейском море нет иной пристани, кроме могилы, и умирать им суждено в самый разгар трудов.

Оба особенно постарались запомнить последние слова и немедля пересказали речи короля, ибо сами были поражены таким доверием и никак не могли молчать. Но слова о смерти в разгар трудов они впоследствии, когда дойдет до того, истолкуют как пророчество. Король был поистине исполнен гордыни. Он кончает жизнь так, как сам желал.

Генрих скорбел о Елизавете лишь до этого часа, но не дольше.

Новый век

Первым его делом, когда он узнал о ее кончине, было приказание Рони

готовиться к путешествию в Англию. Дружеского расположения от преемника покойной королевы ждать не приходится, а еще меньше такой же, как у нее, твердости и постоянной бдительности в отношении общего врага. Печаль короля сменяется неудовольствием, которое усиливается по мере того, как Яков Первый [92. - Яков Первый (1566-1625) - английский король из династии Стюартов с 1603 по 1625 г.] обнаруживает свои слабости. Спустя полтора месяца его уже узнали, и тут Рони пора было пускаться в путь. В то утро, когда Генрих ожидал к себе министра, королева Мария Медичи опередила его. Она намеревалась воспрепятствовать тому, чтобы Рони получил окончательный наказ. Ее поведение было недвусмысленно, она явилась к своему супругу как кредитор, каким была с самого начала и осталась навсегда.

Генрих не дал ей слова вымолвить. Он был подготовлен к ее вмешательству. Хорошо, что удалось отсрочить его. Дело было без всякого шума слажено между ним и Рони. Однако послу приходилось выбирать себе свиту, немало дворян хотели сопровождать его и охотно совершили бы путешествие за счет казны. Мария была осведомлена давно, но молчала. Она выбрала последний решающий день, чтобы вмешаться. Генрих тотчас же взял со стола первые попавшиеся бумаги и принялся с жаром объяснять ей внутренние дела королевства. Но по ее лицу было видно, что уловки его ни к чему. Она никогда не старалась вникнуть в дела королевства, может быть, была недостаточно умна - вероятно, и по этой причине. А главное, она считала владычество короля непрочным и нечестивым, пока он не подчинится папе, не заключит союз с Испанией и не призовет обратно орден иезуитов.

Заметив, что она не слушает, а только ждет случая заговорить о своем, он внезапно пожелал увидеть дофина. Кормилица вскоре внесла дитя, ему было уже от роду полтора года. Генрих взял его из рук кормилицы и опустился с ним на пол. На полу, на одном уровне с личиком ребенка, он устремил на него особенно пристальный взгляд: почему, не могли бы сказать ни кормилица, ни королева.

Однако они не прерывали молчания. Генрих думал: «Этот увидит все столетие». Больше он не думал ничего.

- Бурсье, - обратился он к кормилице. - Дофин, когда родился, был очень слаб. После королевы он обязан жизнью вам, ибо вы своими губами вдвудали ему в рот вино, когда он уже начал синеть.

— Сир! — ответила кормилица. — Будь это другой ребенок, я сделала бы то же по своему почину. Но тут я отважилась на это, когда вы мне приказали.

Она обратилась к королеве:

— Наш государь, — сказала она, — весь дрожал, пока не увидел, что это в самом деле дофин. Разочарования он бы прямо не пережил. От счастья он обезумел, он впустил в комнату двести человек, я рассердилась, а он сказал, что это дитя принадлежит всем, пусть всякий делит с государем его радость.

— Не болтайте попусту, кормилица, — отвечала королева. В ее глазах мелькнула тень испуга. Пол ребенка, безусловно, решил и ее судьбу. Если бы это оказалась девочка, тогда сын, которого в то же время родила маркиза де Вернейль, без сомнения, занял бы место дофина.

И Мария Медичи должна была бы уйти той же дорогой, какой явилась.

Воспоминание о миновавшей опасности было мимолетно, и все же Генрих его заметил: он обнял и поцеловал жену, что она приняла за должное. Она была из тех, кому превосходство не к лицу. Генрих стал подбрасывать дофина. Мария смотрела на веселье обоих с таким видом, как будто добром это кончиться не могло. Действительно, случилось так, что отец слишком высоко подбросил ребенка; и поймал его не он, а подросла кормилица. Все испугались, первой обрела дар речи Мария.

— Вечно молоды, сир, — сказала она злобно. — Вечный весельчак, того и гляди, убьет моего дофина. — При этом она подбоченилась и стала похожа на торговку рыбой. Грозу, по-видимому, можно было отвести, лишь отослав кормилицу с ребенком.

— К вашим услугам, мадам, — сказал он затем, раз это было неизбежно.

Она не заставила себя просить. В качестве матери дофина она была уверена в своем праве и безопасности, король бессилен против нее. Чтобы указать ему верный путь, она не нуждалась в ночи и чувственном дурмане. Она при свете дня заявляла свою волю.

— Вы не пошлете господина де Рони в Англию.

— Дело решенное, изменить ничего нельзя, — отвечал Генрих. — Британское

адмиральское судно уже готово выйти навстречу его послу.

На что Мария холодно указала ему, что собственное его положение в достаточной мере шатко и ему незачем искать дружбы слабейшего. Ей хорошо известно, что король Яков долго не продержится. Она повторила, что ей это известно, чем задела Генриха за живое и заставила прислушаться.

— Если Яков лишится престола, разве в вашей власти выбрать для Англии лучшего короля? Нет. Зато в вашей власти выбрать папу с помощью моего дяди, великого герцога, который имеет обещание от Климента Восьмого, что его преемником будет один из Медичи. Забудьте наконец ваше еретическое прошлое. Подумайте о своей и моей пользе. Ваше королевство нуждается в защите церкви, а еще больше ваша жизнь.

Все это было не ново, всего менее дядя, который якобы поставляет пап. Но что такое папа, будь он Медичи или нет? Он орудие Испании. Если Генрих подчинится, он изменит своему королевству и ни в какой мере не спасет свою жизнь.

— Вы советуете мне призвать обратно иезуитов, чтобы они меня не убили.

Мария вознегодовала. Святые отцы, по ее словам, отличались мягкосердечием, жизнерадостностью, обходительностью и скромностью, чуждались всяких козней. Ему надо узнать их поближе. Достаточно было бы одной или двух бесед с ними, чтобы он понял, где для него благо.

Генрих попытался засмеяться и сказал, желая полюбовно закончить разговор:

— Если они не убивают тиранов, значит, мне нечего их бояться. Пусть остаются там, где были.

Тем не менее оба они, и он и королева, знали, что нож всегда грозит ему. Они не сказали этого. Чтобы он как следует понял ее, Мария упомянула еще о Бироне, о его смерти и о последствиях. Именно она в свое время требовала смерти изменника; это не помешало ей напомнить королю, как он с тех пор одинок. При его собственном дворе многие думают, что его мучает раскаяние, откуда и его болезнь в прошлом июле. Он потерял терпение и покинул комнату, крикнув с порога:

— Тухлые устрицы, вот от чего я заболел, вовсе не от раскаяния, — это верно,

как измена Бирона.

Мария Медичи стояла неподвижной громадой, лицо без смысла, глаза тупые, тем удивительней было ее властолюбивое вмешательство и заключительный вывод:

— Вы раскаетесь, если, наперекор моим советам, пошлете своего Рони в Англию.

Он убежал; лишь очутившись у себя в саду, вздохнул он свободно. Здесь он ждет своего верного слугу, ему не терпится услышать разумное слово. Он хочет снабдить маркиза де Сюлли наставлениями перед поездкой к английскому двору. Он хочет умолчать о том, что не рассчитывает ни на короля Якова, ни на его дружбу. Времена Елизаветы не возвратятся. Ему самому надлежит врать в это столетие. Если бы можно было при этом не изменить себе.

Рони будет настаивать, чтоб он, после своего маршала Бирона, покарал и сокрушил другого старого соратника — Тюренна, герцога Бульонского. Протестантский вельможа порочит короля перед всей протестантской Европой, по его словам, Генрих, в согласии с папой, готовит новую Варфоломеевскую ночь. Генрих вновь напомнит министру самые тяжкие свои опасения: как бы его собственные протестанты не заключили союз с Испанией. Рони ответит, что это невозможно. Он отвечал так уже не раз. Что такое Испания? В Брюсселе в честь инфанты заживо похоронили одну женщину. С теми, кем гнушается весь мир, не станет вести переговоры даже Тюренн, — который, впрочем, заслуживает участия первого изменника.

Генрих слово в слово предугадывает все, о чем он и Рони будут сейчас говорить; они друг друга знают. Оба постоянно обмениваются мыслями, пусть не всегда правильными и полновесными. Но, главное, действуют они сообща — и в то время как протестанты с недоверием смотрят на своего короля, он вместе со своим начальником артиллерии готовит оружие. Зачем? Чтобы спасти их. Свободу совести во всей Европе неизбежно придется защищать оружием, иначе погибнет это королевство; оно может жить лишь в духе и истине или не жить вовсе.

От настойчивых мыслей и шаги стали быстрее. На полном ходу Генрих остановился. Что подразумевала королева под раскаянием, от которого ему не уйти? Откуда у нее сведения о Якове и об опасности, грозящей ему? Мария Медичи

не умна. В затаенных глубинах мысли ее супруг присовокупил: и столь же непривлекательна. Тем не менее его тревожит явное несоответствие между ее ограниченным умом и теми намеками, которые она роняет. Откуда это знание или затверженный урок? По чьей указке она предостерегает его? В будущее заглядывает не она. Что должно случиться, лучше всего знает тот, кто сам намерен действовать.

Надо бы отдать приказ вскрывать письма королевы. Задача нелегкая, раз начальник почтовых сообщений на ее стороне. Варенн с не меньшим усердием хлопочет о возвращении иезуитов. Допустим, что этот силится загладить свое предосудительное прошлое; ну, а Бассомпьер, любопытствующий попутчик! А все прочие, которые только и знают, что держат нос по ветру. Генрих чует повсюду заговорщиков, не плахой и топором избавиться от них, ибо измена зарождается в мыслях, путем немого стовора. А быть может, они уже бьются друг с другом об заклад, как он умрет? Естественной ли смертью, например, объевшись устрицами. Либо через Божии кары, из которых одна – раскаяние, а другая – нож.

Королева говорила о «своем» дофине. Она помышляет о регентстве с расчетом на малолетнего и на покойника. «Я не думаю, чтобы она желала моего исчезновения в ближайшем будущем, она только подготавливает почву. Пока что она предостерегает меня чистосердечно. Впрочем, она не обладает ни коварным умом своей родственницы, ни большим числом фрейлин, с помощью которых старая Екатерина держала в руках весь двор. Призрак старухи Медичи, чьим пленником я был, все-таки бродит здесь. По мне, пусть Луврский дворец будет борделем. Мне меньше нравится, что он пороховая бочка. А вот и мой начальник артиллерии!»

Маркиз де Сюлли появился на крыльце перед разукрашенным фасадом дома, сам горделивый и великолепный. Он нарядился ради чрезвычайного посольства, которое собирался ему поручить его государь. Его походка выражала несказанное достоинство. «Он даже не стигает ног, – заметил Генрих. – При незабываемых обстоятельствах я, будучи ребенком, видел герцога Альбу, который выступал так же. В обоих случаях причина, вероятно, в гордости и сидячей жизни, хотя Альба был недостойный человек, а Рони остается лучшим из людей». Глаза министра шурились от мягкого рассеянного света в саду, они стали чрезмерно чувствительны, вследствие избытка трудов. Солнце искрилось на его драгоценностях, он носил, по прежней моде, цепи и застёжки из камней, на шляпе

редкостную камеею с головой Минервы в шлеме. Его официальные выходы в отжившем образе иного века часто вызывают усмешку, правда, за его спиной — он очень могуществен.

«В самом деле, мы немного устарели, — видит Генрих. — С каких это пор? Ничего, у нас еще есть в запасе новинки. Если мне даже придется допустить в мое королевство отцов иезуитов, то кончится это иначе, чем они ожидают».

Фигура у постели

Король слышал в это лето проповедника, непривычные приемы которого казались ему двусмысленными; во всяком случае, они были достойны удивления. Восторги его двора, в особенности дам, вынудили Генриха внимательно приглядеться к господину де Салю, хотя поток его речей погружал распятого Спасителя в благовония, окружал птичками и цветочками его израненное и окровавленное чело, пока оно переставало быть мученическим. Да, оно утрачивало суровость страдания и делалось пригожим, как сам дворянин духовного звания, которого иезуиты прислали из Савойи королю Франции. Франсуа де Саль [93. — Саль Франсуа де (1567–1622) — правовед и теолог, с 1602 г. женеvский епископ. Ревностно насаждал католицизм в Северной Савойе. Известен рядом теологических трудов, причислен к лику католических святых.] не принадлежал к их ордену, он только приятнейшим образом подготовлял для них почву. У него были глаза с поволокой и белокурая борода. Кто его слышит и видит, у того должно сложиться впечатление: безобидней человека не найдешь.

Вскоре после этого король заболел; это был второй приступ того же недуга. От первого его исцелила герцогиня Бофор, ухаживая за ним денно и нощно. Так как теперь он заболел в дороге и лежал в городе Меце, то изо всего двора при нем находился один Варенн. Быть может, Варенну дарована особая привилегия находиться у одра болезни высоких особ; во всяком случае, он умело пользуется ею. В Лотарингию иезуиты были допущены, и двух из них он приводит сюда: патера Игнациуса и патера Коттона [94. — Коттон Пьер (1564–1626) — французский теолог, иезуит, духовник Генриха IV, от которого добился разрешения на возвращение иезуитов во

Францию и восстановления их имущественных и иных прав.], который впоследствии станет духовником короля. Этот последний глуп и по глупости хитер, или наоборот. Он заохал при виде высочайших страданий и не мог надумать ничего лучшего, как заговорить с больным о покаянной кончине. Это будет по крайней мере естественная смерть, и королю не придется больше бояться ножа, за что он должен благодарить небо.

Тут вмешался патер Игнациус. Варенн толкнул его в бок, но в этом не было нужды, патер Игнациус все равно не упустил бы случая. Королю, который лежал без сил, патер властным голосом обещал жизнь, если он допустит орден в страну. В противном случае это неминуемо сделают его преемники, ибо таково требование времени. Генрих ничего не ответил, втайне он согласился с иезуитом, поскольку речь шла о Марии Медичи. Что касается требований времени, дело обстоит несколько иначе; их легче направить на добро, чем ограниченную и строптивую женщину. Надо только выздороветь и твердо стать на ноги.

Негодование и сила воли способствовали тому, что мысли его вдруг прояснились и жар стал спадать. Он испустил притворно усталый вздох, прежде чем сознаться, что учение знаменитого Марианы о праве убивать королей сильно занимает его ум[95. - ...учение знаменитого Марианы о праве убивать королей сильно занимает его ум. - Хуан де Мариана (1536-1624) - испанский историк, иезуит, идеолог контрреформации. Вся его деятельность была подчинена основной цели ордена иезуитов - созданию космополитического «вселенского» теократического государства. В борьбе с представителями королевского абсолютизма выступил вдохновителем ряда террористических актов, осуществленных в конце XVI - начале XVII в. агентами иезуитов (в частности, убийство в 1610 г. короля Генриха IV). В одном из своих наиболее известных трудов, «О короле», Мариана доказывал, что тиран, действующий против церкви, с полным правом может быть убит своими подданными.].

- Не из страха, - сказал он. - На меня посягали часто и под различными предложениями. Это считалось до недавнего времени преступлением, - во всяком случае, смелой политической мерой. Впервые ученый возводит это в священный закон. Что же это значит?

Иезуит у постели начал расти. Вытянувшись во весь свой черный рост, он спросил одновременно дружелюбно и строго:

— Если бы вашему покойному врагу, дону Филиппу, в то время как он был всего опаснее для вас, всадили между ребер нож, стали бы вы тогда говорить о беззаконии?

— В том-то и дело, — подтвердил Генрих. — Всегда найдется кто-нибудь, чтобы одобрить нашу насильственную смерть. Но разве это уже возведено в закон и кто его утвердил?

— Не мы, как вы полагаете, — возразил иезуит. — А тот приговор, который громко или тихо выносят народы, их совесть, одобрение всего человечества — но уловить это одобрение, разумеется, дано лишь человеку посвященному.

«Иначе говоря, тебе, мошенник», — подумал Генрих, но умолчал об этом. А наоборот, высказал мысль, что в таком случае иезуиты — истинные гуманисты. Они учат людей распознавать добро и зло даже и в монархах и действовать сообразно этому. Вот поистине шаг вперед, знаменательный для нового столетия.

— Мы с вами могли бы столкнуться, ибо моя совесть отнюдь не причисляет меня к тиранам.

— У вас ясновидящая совесть, — сказал патер Игнациус. — Сир! Мы, отцы ордена Иисуса, предназначены быть вашими лучшими друзьями и видим в вас единственную нашу опору, ибо король Испанский нас преследует и скоро изгонит из своих владений.

Эта грубая ложь окончательно показала Генриху, с кем он имеет дело, и он даже узнал лицо патера. В давние времена молодому королю Наваррскому случилось видеть его, оно принадлежало тогда некоему подозрительному испанцу, который называл себя Лоро и говорил, будто намерен выдать королю Наваррскому одну из пограничных испанских крепостей. Преподобное воплощение патера Игнациуса явно косило, что в нынешнем его облике почти не было заметно. Принимая во внимание зияющие ноздри и шишковатый лоб, старого знакомца нельзя было назвать красивым мужчиной. Та же наружная оболочка была у иезуита насквозь пронизана внутренним огнем, что меняет многое. И все же перед ним снова человек, который некогда стремился приблизиться к нему с целью убийства: так это понимает Генрих.

Между тем он достаточно окреп на одре болезни, чтобы выполнять свое

призвание, и он начинает с меткого сравнения человеческих пород. На другом конце комнаты шептались Варенн с Коттоном. Их вид обнаруживал воровскую радость оттого, что патер Игнациус так ловко сладил с королем – меж тем как Генрих, а равно и его новый приятель узнали, чего им ждать друг от друга. Иезуит думал: «Тебя не одолеешь болтовней, только силой, и ее я покажу тебе». Генрих думал: «Того убийцу мои дворяне привели в открытую галерею, каждый из них уперся одной ногой в стену, чтобы убийца говорил со мной через живые преграды. И так как ему нечего было предъявить, кроме лживой болтовни, и на следующий день тоже нечего, то его пристрелили».

Патер Игнациус начал снова:

– Право на убийство тирана всего лишь вопрос диалектики. Поймите же, что посягательства на вашу особу прекратятся лишь в том случае, если решение будет зависеть от высшего разума, от нашего ордена.

– Понимаю, – сказал Генрих. – Убийство тиранов не должно быть предоставлено другим орденам.

– Мы предлагаем вам защиту от монахов, проповедников и мирян, поскольку иные из них считают себя осененными благодатью и присваивают своей ничтожной личности высшее назначение. Не таков наш обычай. У нас светское мышление, все подчиняющее разуму, даже и силу.

– В этом мы согласны, – заметил Генрих, не без удивления. – Как же ваш орден учит людей правильно мыслить?

Вместо ответа иезуит спросил:

– Мог ли когда-нибудь король похвалиться тем, что каждый его подданный мыслит как надо? Люди сделаны не по одной мерке. Великий человек не может завоевать единодушную любовь своего народа, ибо народу разрешено иметь много мнений, а они тем превратнее, чем самостоятельнее.

– В этом много правды, – согласился Генрих, но тотчас заметил, что его искушают, и в самом деле дьявольское копыто не замедлило выглянуть наружу. – Чего требует ваш орден?

– Школ. О! Без всяких преимуществ. Наши коллегиумы так хороши, что в

протестантских княжествах Германии почтенные люди становятся католиками, лишь бы их дети могли получать воспитание у нас. Но не подумайте, что у нас предубеждение против светских наук. Мы нанимаем математиков, и врачи учат у нас анатомии.

— Прекрасно, — сказал Генрих. — Что вы оставляете себе?

— Почти ничего. Латынь, если хотите. Любая наука предоставляет нам возможность лепить для вас подданных, всех по одному образцу, всех воспитывать в одинаковом и полном повиновении.

Генрих:

— Вы поставите в классах мой портрет на алтарь и будете жечь перед ним свечи?

Патер:

— Мы избегаем преувеличений и уклоняемся от предосудительной ясности. Выражаясь точнее, королевское величие, независимо от его воли, является для нас поводом заставить людей не думать, а слушаться. Ради их же блага.

Генрих:

— По-вашему, их благо в глупости и безответственности.

Петер:

— Мы зовем это: благочестие и радостная покорность.

Генрих:

— Следовательно, они живут и борются, не зная за что.

Патер:

— Глупо и безответственно было прошлое столетие, оно непомерно гордилось своим мышлением, открытиями, изобретениями, бесчисленными и беспредельными начинаниями, всем тем, что отнюдь не ведет к истине. Свободная человеческая личность переоценивает свои силы, пока наконец не очутится, стесняя, на одре страданий, осиротелая, одряхлевшая.

Генрих, тихо:

— А если бы я приказал заключить вас в тюрьму?

Патер, склонившись над постелью больного:

— Мне следовало бы этого желать, ибо я сидел бы в тюрьме во славу Божию. Вам я этого не желаю. Вспомните, что мы по сию пору не смогли искоренить самоволие умов. Фанатики проникают повсюду, даже в самый дисциплинированный орден. Долго ли обнажиться ножу. Сир! Давно пора, чтобы орден Иисуса назначил вам, вашей безопасности ради, духовника.

Старая угроза — с ней патер Игнациус решил покинуть короля и уже отошел от него. Генрих знаком остановил иезуита.

— В Германии, — сказал он, — орден Иисуса пользуется наибольшим успехом. Там все умиротворены, кроме пресловутых разбойничьих банд, грозы несчастных крестьян. Казалось бы, надо радоваться тому, что и монастыри отчуждаются. К сожалению, народ ничего от этого не имеет, богатеют только князья и дворянство. Ваш орден отдает предпочтение дворянам.

— Немецкое дворянство — наш меч, — сказал иезуит. Он заявил об этом без гордости, но и без смирения.

— Мы на пороге великой войны, — сказал Генрих, — это будет ваша война. Война против народов.

— Но за государей и князей, которые по нашему указу изгоняют своих протестантов, как, например, император Рудольф [96. — Рудольф II (1552–1612) — император Священной Римской империи. Воспитанный иезуитами при дворе Филиппа II в духе слепой ненависти к протестантизму, был послушным орудием в их руках, проводя политику жестокой католической реакции в габсбургских землях.]. Сир! Вы христианнейший из королей. Вы любите всех своих подданных без изъятия, даже еретиков, вы хотите вернуть им веру и естественное неравенство. С нашей помощью вы осуществите это, избегнув жестокой войны, путем кротости и терпения.

— Аминь, — заключил Генрих и завел глаза, по примеру пресловутого слащавого проповедника. — Птички, цветочки, — бормотал он про себя. — Почему именно мой народ так крепок духом? — спросил он вдруг резко. — Почему мои французы видят в израненном и окровавленном теле побуждение быть сильным?

— Вам же необходимо беречься, — наставительно заметил патер Игнациус, ибо

больной понапрасну тратил силы. Ему и в самом деле стало очень худо, он призвал на помощь Варенна, оба иезуита покинули комнату. Между двумя мучительными припадками король Генрих подписал распоряжение, которым разрешал ордену Иисуса вернуться в королевство. Что бы ни воображал господин де Варенн, решено это было без него. А почему, собственно, — не знала до сих пор даже фигура у постели.

Слабость, спешка и насилие

Все известно и испытано. Отказался служить один из органов тела, но вот он уже служит опять. Когда открыто выступает новый предатель, он встречает многоопытного короля, который прошел всю школу предательства. На верность женщин все равно нельзя полагаться. Какие еще новые беспокойства готовят они, буйная д'Этранг и плотская Медичи? А его протестанты, крайне озлобившиеся, упадут ли снова в объятия своего наваррского короля? Вся Европа, словно поговору, затевает великую войну, боясь одного: как бы ее не пресекли. Король Франции призвал обратно своих иезуитов, чтобы наперекор всему избежать крайностей, как он надеется. Но чего он добьется с ними? И чего добьются иезуиты с королем Англии, который надавал им необдуманных обещаний? Союз обоих королей может взорваться в любую минуту, подобно тому, как взрываются крепости. Что только не предстоит еще пережить Генриху — вихрь событий пронесется через его годы, которые сосчитаны, как он сам начинает понимать.

Чрезвычайный посол, маркиз де Сюлли, едва не попал в морское сражение. Английский корабль, которому он из учтивости доверил свою особу, собрался было обстрелять французский флот. Этот последний, высадив в Дувре многочисленную свиту посла, повернул назад и поднял для приветствия флаг, усеянный лилиями, что англичанами было принято как вызов, ибо имело место в подвластных им водах. Этот случай, немислимый при Елизавете, показал Рони, какие перемены произошли после ее кончины и ждали его у цели путешествия.

Обнаружилось это тотчас же, на пути от берега к столице. Квартирьеры английского короля отметили знаками, где французским гостям надлежит останавливаться на ночлег, однако некоторые граждане стерли эти знаки со своих

домов. При въезде в Лондон представитель короля Франции был встречен салютом орудий со старой башни, с большерка, с кораблей. Среди большого стечения народа он сел в парадную карету и отправился во дворец постоянного посла, графа Бомона. А для его свиты оказались закрытыми все двери, многие чуть не остались на улице. Объяснение давалось такое: господа, бывшие здесь в прошлый раз с маршалом Бироном, повсюду заводили ссоры, кого-то даже закололи. Маркиз де Сюлли немедленно же преподал своим молодым спутникам урок пристойного поведения. К несчастью, они посетили публичный дом и там, в свою очередь, закололи кого-то.

И надо было, чтобы это случилось с ним, с самым почтенным из всех французов. В жесточайшем гневе он грозил снести голову юному забияке, лорд-мэр Лондона с трудом удержал его. Между тем он сам лишь случайно избег величайшего промаха. Он намеревался отправиться на прием в глубоком трауре. Милорд Сидней успел предупредить его, что он оказался бы единственным одетым в черное. Король Яков и его двор поставили бы ему это в упрек, особенно сам обидчивый монарх, прежде только король Шотландии, ныне же король Англии, притом не по заслугам, а по наследованию. Имя его великой предшественницы не должно было даже произноситься здесь. Сюлли осудил ничтожество живых. Мировая слава забывается не так скоро, как людям хотелось бы, и они прикидываются глухими.

Тем уверенней воспользовался посол для своего приветствия в Гринвичском дворце принятым теперь витиеватым стилем, которому пришлось обучиться и Рони. Он назвал своего государя и его британское величество истинными чудокоролями, они сочетают в себе все величие современности и древности. Он никогда не дерзнул бы так обращаться к его предшественнице: с ней говорили либо деловым, либо ученым языком. Он заверил, что его государь вполне утешился в тяжелом горе, причиненном кончиной Елизаветы, благодаря мирному восшествию на престол наследника, обладающего добродетелями более нежели человеческими. Король Франции, пославший его, составил себе о величии Якова столь высокое представление, что дружба и расположение короля Франции далеко превосходят никогда ничем не омраченное согласие с просвещенной королевой, которой не стало.

Елизаветы нет, это верно, а все остальное выдумка. Рони договорился до уверений, что желает этому наследнику с невыразительным лицом такого же счастливого царствования, как своему собственному монарху.

— Пусть ваше могущество и слава возрастают неизменно. Только с помощью Божией у меня могло бы хватить для них красноречия.

Это недалеко от истины, пожалуй, лесть имеет пределы, ее человеческой меры недостаточно, чтобы вдохнуть в подозрительного монарха, который сам себе не верит, доверие и силу воли. Дабы услышать торжественные славословия, король Яков спустился на две ступеньки с трона. По окончании речи он, запинаясь, начал ответное слово. Его смущал не посол, который опустил глаза, щадя несчастного наследника английской короны. Собственные сановники шотландского короля тем пристальнее смотрели на него, чем труднее давалась ему речь. Это были прежние слуги старой королевы, все они, а в особенности милорд Сесиль, рады были показать чужеземному повелителю, какая случайная, ни с кем не связанная фигура этот король, явившийся извне и всю силу заимствовавший у покойницы. Они постоянно экзаменовали его, почему он теперь и запинаясь. Он с живостью потянулся за бумагами, которые ему протягивал маркиз де Сюлли.

Это были собственноручные письма короля Франции. Король Шотландии и Англии сразу заметил, что тут уж не было витиеватых фраз, а просто перечислялись условия, и назывались они Голландией, вспомогательными войсками против Испании, и точно указывалось число их. Нерешительный король скользил взором по письмам и радовался, что мог укрыть в них лицо; право же, из непритворной благодарности к послу и его спасительным бумагам Яков охотно сразу обещал бы все. Ведь и противной стороне, своим услужливым иезуитам, он посулил то, о чем они просили. Однако под взглядом милорда Сесилия он осекся, да и позднее не на все получил разрешение. Во всяком случае, письмо его брата, короля Франции, воодушевило его на признание, что он всегда питал к личности короля Генриха истинную страсть и не оставил ее в Шотландии, уезжая оттуда.

Неожиданно он затронул богословские вопросы, затем перескочил на охоту и на погоду. Рони, который не был охотником, принялся восхвалять искусство своего государя в этой области, как и во всех прочих. Он рассчитывал окольным путем

подойти наконец ближе к политике, что, однако, не удалось. Торжественный прием не привел ни к чему. А потому посол стал просить аудиенции с глазу на глаз и был настойчив, ибо знал, что Филипп Третий Испанский неотступно домогается союза с британским величеством[97. - ...знал, что Филипп Третий Испанский неотступно домогается союза с британским величеством. - Имеются в виду неоднократные попытки Испании заключить мир с Англией, завершившиеся подписанием в 1604 г. мира на выгодных для Испании условиях.]. Яков Первый держал себя весьма благосклонно, пригласил посла на богослужение, затем речь неизбежно перешла на охоту, и остаток беседы был посвящен чрезмерно жаркому лету.

Рони вместе с постоянным послом был допущен к королевскому столу, они оказались единственными гостями. Монарху прислуживали удивительным способом - на коленях. «И это единственное проявление его власти, - подумал Рони. - Больше ему нечего сказать».

На следующий день к Рони явился посол Нидерландских Соединенных штатов Барневелт; он описал ему отчаянное положение своего народа. Удержать Остенде больше нет возможности, и так геройская защита от превосходящих сил Испании длится уже двадцать месяцев. Голландцы нуждаются в подкреплении как войсками, так и денежными средствами.

Барневелт:

- Дайте их нам! О, помогите же нам! Разве вы не видите, что полное изгнание испанцев из наших провинций решает судьбы всего материка?

Рони:

- Король Франции желает лишь заручиться союзом с Англией, после чего немедленно выступит в поход.

Барневелт:

- А когда великая Елизавета в Дувре ждала от него знака, и ждала понапрасну...

Рони:

- Ее время истекло. Ее наследнику прислуживают за столом на коленях, и так

же правит он сам. Мой король правит по-иному. Такой благочестивый человек, как вы, должен понимать, что помрачения нашей свободной воли во власти Божией. Всевышний допускает даже появление предателей, дабы мы, верные, встречали на своем пути препоны и научились тем большей твердости.

Барневелт:

— Понятно ли вам, почему Англия позволяет врагам своей религии и свободы укрепляться на противоположном берегу?

Рони:

— Из миролюбия, несомненно. Кроме того, Испания — оскудевшая держава, последние судороги которой кажутся уже не столь опасными. Гораздо менее желательно, чтобы мой король стоял на противоположном берегу, лучше, чтобы две державы, оскудевшая и живая, уравнивали друг друга на материке, дабы не прекращалась война. Здесь это называется — европейский мир.

Барневелт:

— О, скажите же советникам короля Якова, скажите его парламенту ту правду, которой вы владеете. Милорд Сесиль считает себя истинным другом мира.

Рони:

— Вы полагаете? Вполне чистосердечен лишь король Яков, ибо он не обладает никакой властью, не считая, конечно, коленопреклоненного прислуживания.

Только это объяснение, начатое им с целью просветить другого, окончательно вразумило и его самого. Вслед за тем он целыми днями, с привычной ему логикой и красноречием, подкрепленным цифрами, излагал британским господам достойные их внимания обстоятельства; не унывал оттого, что господа эти, в сущности, ничего не желали знать, нетерпеливо пропускали мимо ушей перечень тягот, которые навалились бы на короля Франции в случае нападения со стороны отчаявшейся Испании. Ему пришлось бы оборонять свои многочисленные границы сразу на море и на суше. Испания и ее вассалы вездесущи. Со времен императора Карла Пятого одна-единственная династия в своем стремлении к полному вселенскому владычеству держит под угрозой народы Европы и все свободные страны.

Рони обязан сказать это, таков данный ему наказ. Впрочем, он заранее знал,

что бедствия и разлад на материке не вызывают здесь сочувствия и представляются более далекими, чем Новый Свет. В том-то и было особое, ей одной присущее величие Елизаветы, что она — старая женщина — думала и чувствовала заодно с Европой, в молодости ей это еще не было дано. Господина де Рони даже в жар бросило, когда собеседники просто-напросто прервали его обзор мировой политики, чтобы вернуться к цифрам, — на этот раз к своим собственным. То были займы, сделанные королем Французским в их стране, во времена покойной королевы. Ни один британский солдат не ступит на материк, покуда не будут погашены все займы без остатка.

«Господи помилуй», — мысленно воскликнул Рони. Поборник мира, лорд Сесиль, возвысил голос. Его величество, король Англии, не собирается губить себя ради Голландских Генеральных штатов. Если ни они, ни король Французский не расплатятся, тогда придется остаться добрыми друзьями, но без всякого союза, ни оборонительного, ни тем более наступательного.

«Господи помилуй, — мысленно молился Рони. — Как бы мне вразумить их! Дело ведь идет столько же об их существовании, как и о нашем. Они толкуют о займах. Орден Иисуса допущен и сюда, у них у самих Испания водворилась в стране. А они взыскивают займы».

Попад на широкое поле финансов и процентов, он вынужден был по целым дням торговаться с советниками короля. Он утверждал, что в качестве члена финансового совета осведомлен о намерениях короля Франции. Так как в действительности ему одному была точно известна платежеспособность королевства, он выразил намерение делать ежегодные взносы, весьма умеренные, чтобы осталось достаточно средств для войны.

— Если его британскому величеству благоугодно взвалить на моего государя все тяготы и жертвы войны, чему я никак не могу поверить, ибо мудрость и великодушие короля Якова убеждают меня в противном, то тем более нельзя требовать, чтобы мой монарх при столь грозном положении согласился опустошить государственную казну.

Нет, можно. Советники короля Английского настаивали на этом. Посол объяснял

их упорство желанием показать себя тверже, чем их слабый государь, и действовать в духе покойной королевы, совершенно ложно толкуя его.

Рони решил подробно осведомить Якова, раз никто до сих пор не удосужился посвятить короля в политические взгляды его знаменитой предшественницы. Эта задача представлялась ему необычайно сложной. Но последовавший разговор неожиданным образом сложился сказочно просто.

Король Яков берет посла за руку, ведет его в свой кабинет, приказывает запереть двери и просит его говорить откровенно. Это послужило для Рони знаком.

Он высказал беспомощному наследнику всю правду. Он не побоялся сослаться на великую женщину, она не стала бы взвешивать старые долги, когда на другую чашу весов положена дружба обоих королевств. Шагнув за пределы правдоподобного, господин де Рони приоткрыл перед ослепленным взором Якова нечто сверкающее ослепительным блеском, чему имя — бессмертие. Он говорил целых два часа, после чего Яков сам попросил его тут же немедленно составить договор. Но в этом не было нужды. В кармане у Рони оказался набросок договора. Яков собственной своей королевской рукой внес кое-какие малозначащие изменения; как же не быть изменениям, когда государь только что постиг свое призвание — пусть не больше, чем на один день и на один этот час. Рони не обольщался относительно своего успеха. Для начала довольно и того, что Яков одобряет договор и сразу же призывает к себе министров, дабы они узнали его волю.

Милорды Сесиль и Монжуа, графы Нортумберленд и Саутхемптон слышат из уст монарха, что он тщательно взвесил все доводы маркиза де Сюлли. И решил в области внешней политики неизменно действовать в согласии с королем Франции.

Тесный союз обоих королевств против Испании — дело решенное. Тише! Не перебивать! Я приказываю. Голландским Генеральным штатам он предлагает свою королевскую поддержку и гарантии всякого рода.

— Ну-с, господин посол, теперь вы довольны мною?

Рони целует руку, которая кажется ему окрепшей чересчур скоропалительно. Он благодарит горячо и в самых изысканных выражениях. Это была его последняя речь в Англии. От всех многочисленных речей у него открылась возле рта рана, получил он ее при Иври; старая битва и победа, оказавшаяся непреходящей. Несколько дней

он пролежал в жестокой лихорадке, затем явился на прощальную аудиенцию к королю Якову, получил от него великолепную цепь, золотую с драгоценными камнями, более прочную, чем договоры; в собственноручном послании, которое король передал послу, он заверял своего брата, короля Франции, что тот выказал ему величайшее благоволение, послав к нему маркиза де Сюлли. Так доволен остался Яков.

Со своей стороны, Рони сделал драгоценные подарки: королю – шесть великолепно обвешанных коней, королеве – венецианское зеркало в оправе из золота и алмазов. Не забыты были даже министры, которые посильно вредили договору; за это они получили изящнейшие вещицы, достойные куртизанок. С этим насмешливым намеком посол отбыл. Его государь с нетерпением ждал его, даже выехал ему навстречу.

После бурного переезда и ночи в почтовой карете Рони увидел на берегу под деревьями короля с господами де Вильруа, де Бельевром и Суассоном. Первый из них передаст в Мадрид все, о чем сообщит посол. Второй молчит о своих сомнениях. Третий, в качестве королевского кузена, считает себя вправе высказать их.

– Раз господин де Рони так хорошо столкнулся с англичанами, – сказал граф де Суассон, – ему следовало бы привезти домой нечто более существенное, нежели пустые обещания, если допустить, что он получил их.

Открытое недоверие. Однако королевский кузен не остановился перед этим. Рони пришлось стерпеть обиду, Генрих сам дал ответ. Хулить легко, так заявил он недовольным, когда кто-то другой сделал все, что только в человеческих силах. Большого не добился бы никто. Сам он удовлетворен вполне.

В Париже они, король и его начальник артиллерии, возобновили беседу.

– Что же вы думаете на самом деле? – спросил Генрих.

– Сир! Я думаю, что нехорошо, если чужеземный король по наследству и без борьбы вступает на престол. Я это понял, когда у меня от бесконечных разговоров открылась рана возле рта; получил я ее в вашей битве при Иври.

– Ничего положительного? – спросил Генрих. – Ни уверенности, ни маломальской надежды?

— Мы всегда будем содействовать победе разума, — заявил Рони. — Сколько бы времени это ни казалось тщетным, мы с вами знаем, на основании честно добытого опыта, что разум рассчитывает на более долгие сроки, нежели вырождение. Последнее спешит, потому что оно слабо.

— Слабо... спешит, — сказал в сторону Генрих. — А потому и тяготеет к насилию.

Следующий год показал на деле тяготение слабости к насилию. Король Испании предложил королю Франции союз, с целью совместного десанта в Англии, которую им следует завоевать — дабы искоренить всех протестантов. Генрих сообщил об этом королю Якову. Тем временем пал Остенде[98. — Тем временем пал Остенде. — 20 сентября 1604 г. после более чем трехлетней осады Альбертом Австрийским совместно с генералом Спинолой Остенде — последний оплот Соединенных провинций на побережье Фландрии — сдался испанцам.]. Сорок тысяч человек потеряла Испания под стенами героического города. Когда наконец генерал Амброзио Спинола победителем вступил в него, король Яков до крайности испугался. Ко всем его страхам ему недоставало лишь угрозы десанта на острове. Королю Генриху, хотя тот чистосердечно предостерег его, бедняга верил не больше, чем себе самому. Союз со стремящейся к насилию слабостью, отвергнутый Генрихом, был заключен Яковым. С французским договором он медлил без конца. А королю Испании он поспешно вручил документ.

Он, должно быть, надеется задержать судьбу. Против слабых, которые спешат и потому совершают насилие, не помогут никакие уступки. Испания, разлагаясь, хочет властвовать, обескровленная, хочет побеждать и крепче впивается в свои последние жертвы, чем в первые. Ее предвестники и палачи уже посланы в намеченную ею страну. Это английские отцы ордена Иисуса, от которых при таком короле, как Яков, не приходится ждать ничего хорошего, ни мягкости, ни даже сдержанности. Для этого надо быть другим человеком. Король Генрих тоже допустил их к себе; почему — знает лишь его Рони. Парижскому парламенту, который выдвигает оговорки, — впрочем, он и Нантский эдикт долгое время не принимал безоговорочно, — своим законооведам Генрих отвечал:

— Весьма признателен, вы заботитесь обо мне и о моем государстве. Меж тем сопротивление иезуитам оказывают два рода людей: во-первых, протестанты и затем — духовенство, поскольку оно невежественно и безнравственно.

Сорбонна, не зная святых отцов, отвергла их, а последствие то, что ее собственные аудиторы пустуют. Все просвещенные умы, что ни говори, обращаются к иезуитам, и за это я их уважаю.

Тем самым он подтверждал их соответствие духу времени, их успех. Далее он доказывал, что учения об убийстве тиранов у них не существует вовсе. Те же, кто покушался на его жизнь, к ним отношения не имели, и менее всех Шатель, хотя и утверждал противное. Чему из всего этого он верил сам? Он сознался своему Рони, что предпочитает иметь опасных людей у себя в стране, нежели за ее пределами, где они приобретают романтическую притягательность и завоевывают себе здесь во Франции восторженных последователей, которые всецело им подчиняются и добровольно подкапываются под государство, пока оно не взлетит на воздух. Будучи допущены на законном основании, иезуиты действуют в открытую.

— Их школы поставлены образцово. Правда, с дворянскими детьми они обращаются лучше. У меня они просили мое сердце в качестве реликвии для своей церкви. Возлюбите меня, ибо я люблю вас, так мы мыслим.

Рони полагал, что это не иначе как личина. Такой бескорыстной преданности малым сим не было даже у первых учеников господина нашего Иисуса Христа, при всей их чистоте, которой не приходится ждать от их позднейших преемников.

Генрих назвал своего начальника артиллерии неисправимым протестантом. Ведь отцы только и знают что лебезить и чирикать, у них все птички да цветочки. Серьезно он сказал:

— Я знаю своих врагов. Орден Иисуса — агент всемирной державы, которая хочет пожрать меня. Мне остается только показать им, что моя пасть страшнее. Господин начальник артиллерии, прокатите-ка мои пушки по улицам.

Торговец женщинами

Пушки не могут быть вполне надежным средством, если повсюду предательство,

если предательство выползает все в новых образах. Женщина, которая нужна королю и от которой он не хочет отказаться, становится орудием его врагов. Вначале маркиза, чтобы сильнее разжечь его, играла в заговорщицу – по тем же побуждениям она танцевала перед своим поклонником, извиваясь змеей и освобождаясь от последних покровов. Со времени допущения святых отцов пустой комедией уже не отделаешься. Принимайся за дело, моя красавица, а не то берегись. Ты погибнешь еще раньше, чем он. Знаешь ли ты, кто мы такие? У нас много имен: Испания, Австрия, папа, император, деньги и орден Иисуса, но и это еще не все. Безыменная воля обращается к вам, госпожа маркиза. Приговор века произнесен, против народов, а потому и против этого короля. Понимаете вы это или нет, все равно служить вы должны.

«Благочестивый отец, как ужасно. Я же думала, что все покамест ограничится игрой и танцами. Я ненавидела его за невыполненное обещание жениться на мне, но взгляните на меня, я ведь не совсем в здравом уме. Такие вещи говорят, но не делают. Как? Я? На самом деле? Я вас не понимаю, или же я и вправду... А если я немедленно расскажу ему о ваших подлых предложениях? Нет. Больше ни звука, забудьте мои последние слова. Я хочу жить. Я повинюсь, чтобы жить».

Генриетта д'Этранг зашла слишком далеко. После падения Остенде безыменная всемирная держава полностью вовлекла ее в свою орбиту, вся семья содействовала этому. Когда заговор был обнаружен, его назвали именем д'Этрангов. Маршал, слабый человек, и его преступный сын д'Овернь [99. – Овернь Шарль де Валуа, позже герцог д'Ангулем (1573–1650), – побочный сын Карла IX, фаворит Генриха III. Одним из первых признал королем Генриха IV. Участвовал в заговоре Бирона и был заключен в крепость.] держали себя в последующем процессе крайне униженно. Генриетта имела мужество настаивать на своих правах. У нее есть обещание короля, ее дети единственно законные. Убить его? Ах, боже мой! Что она понимала и чего хотела! Ее родной брат все валит на нее. Она потихоньку плакала, но гордо просила у судей пощады для отца, веревки для брата, а для себя самой требовала лишь справедливости.

«Веревка», из всех ее просьб, была самой странной. Генрих, который не желал

убивать, старался проникнуть в самые тайники души каждого из своих поверженных врагов. Эта женщина была привязана к нему больше, чем хотела признаться себе в самые лучшие дни. А когда она наконец говорит об этом внятно для него одного, между ними все должно быть кончено. Нет. Он помиловал старика, сына велел заключить в тюрьму, а опасную метрессу сослал в монастырь. Если бы он только оставил ее там и забылся с другой. Это ему не удалось; у кого еще нашел бы он ее легкое, язвительное остроумие, ее причудливый нрав и столько грации в проказах, искусство все дерзать, не теряя при этом самоуважения; в ком еще так полно воплощено все то, что Генрих зовет истинно французским.

Довольно ей искупать вину, он воротил ее. Это произвело на нее самое невыгодное впечатление: она предпочитала терпеть опалу, нежели любовь, которая не владеет собой. Он сделал больше, он признал ее детей. Но к чему это привело? «Ее дофин», как она говорила, все равно остался непричастен трону. Господину д'Этрангу пришлось, в виде выкупа за свою вину, вернуть письменное обещание брака. Человек, который унижал ее, все больше возвышая, только теперь стал ей по-настоящему ненавистен. Ей были отведены покои в Лувре; с этого самого времени под его кровлей приютилась самая лютая злоба. Те, что, кроме нее, желали смерти короля, были по крайней мере в своем уме; они сознавали, что в воздухе носится какое-то поветрие, чума заговоров, и лишь по недостатку сопротивляемости заранее соглашались с тем, что великий король должен пасть.

В его Лувре все питали взаимную ненависть, королева, маркиза, оба кузена королевы и непристойно красивый Кончини. Но его карликоподобная жена, молочная сестра, превосходила остальных. Все вместе рассчитывали на смерть короля, что отнюдь не давало оснований щадить жизнь друг друга. Каждое утро все готовы к тому, что мадам де Вернейль будет найдена убитой в своей постели. Королева вне себя, потому что король воспитывает незаконнорожденных отпрысков маркизы вместе с ее собственными детьми, кстати, и с детьми прелестной Габриели: он хочет иметь перед глазами все свое потомство. Однажды дофину сообщили о рождении нового брата — у любовницы его отца родился еще ребенок.

— Это н-не м-мой брат, — сказал дофин, маленький заика.

Дофин Людовик благоговел перед Генрихом, он подражал ему во всем, чего делать не следует: лить в суп вино, небрежно одеваться. Он чувствует его превосходство, которого взрослые не хотят замечать, и непонятный им восторг охватывает ребенка.

— Король, мой отец. — Людовик тогда уже научился ненавидеть, прежде всего придворных кавалеров своей матери, а затем и ее — конечно, с ребяческой забывчивостью, между поцелуем руки матери и пощечиной, которой она наградила его.

— Господин чичисбей, — он подслушал, как называют дамских угодников, — поберегитесь входить к королеве. Там король, мой отец. — Когда красавец попытался рассмеяться и позволил себе погладить мальчика по голове, дофин обратился к караульному у ближайших дверей с приказанием высечь его. Произошла суматоха, прежде чем придворному удалось улизнуть. Королевская чета, появившись на пороге, успела заметить, как он убежал. Генрих остался доволен незадачей блистательного Кончини.

Мария Медичи взяла себе за правило скрывать всякое чувство, в особенности доброе. Дофин Людовик понес суровое наказание — впрочем, его матушке скорее следовало похвалить его. Кончини стал ей ненавистен, ибо она наконец поняла, что с помощью его красоты молочная сестра водит ее за нос, но перед той она испытывала суеверный страх. Леонора Галигай жила в верхнем этаже, одиноко и неприступно, хотя шли толки, что по ночам она бродит привидением. Все ее помыслы были о деньгах, она копила их и переправляла к себе на родину, на случай бегства. Очевидно, более всего склонны ей платить были враги короля, то трудно определенное сообщество, которое за отсутствием точного имени звалось «Испания». Без своей подкупленной молочной сестры Мария вряд ли стала бы пособницей целого ряда предприятий. Она не выслушивала бы Кончини, если бы его не посылала Леонора — к краю постели, не ближе. Наоборот, она позабыла бы в объятиях супруга чужие поручения, она недолго оставалась бы соучастницей всемирной державы в заговоре против него, ибо он дарил ей прекрасных детей и предлагал даже больше — свое сердце.

Наращение ненависти происходит на глазах у всех. Наверху обитает сумасшедшая, скрывающаяся из страха перед дурным глазом. Внизу лежат рядом женщина без души, с нечистой совестью, и мужчина, чьей возлюбленной она могла бы стать. Он открылся своему Рони.

— Она мать моего дофина, и не будь она королевой, лишь ее имел бы я возлюбленной.

Но до этого дело не дошло никогда, по причине нечистой совести и вследствие растущей ненависти. Мария не давала уснуть своему супругу, она досаждала ему своим ненавистным чичисбеем, своим напыщенным красавцем, который, кстати, разжирел и отрастил женскую грудь, не говоря уж о том, сколько денег он ей стоил.

— Мне тоже, — сказал Генрих.

— Вышвырни его вон, — сказала Мария, в безумном страхе, что он это сделает. Коварная молочная сестра донесла бы на королеву ее духовнику или наслала бы на нее какую-нибудь болезнь. Отравление было дело нелегкое, каждое блюдо открыто отведывали трое мундшенков, прежде чем его подавали их величествам. И тем не менее королева неохотно ела вместе с королем; они по большей части были в ссоре, и тогда Мария утверждала, что ей грозит опасность. Яд? И от этого короля? Люди качали головой. Никому не понять, какая горечь подступает изнутри от нечистой совести и сдавливают Марии горло. Во тьме ночи перед ней проходят тени убийц венценосного супруга, они ей не знакомы, но и незнакомыми их назвать нельзя. Он просыпается в испуге, когда она кричит со сна.

Часто он жалел ее за страх, в котором ее держала молочная сестра, хотя эта власть самому ему приносила известные выгоды: она устраняла влияние кузенов Орсини. Ни Вирджинию, ни Паоло не осмеливались одни и без открытого присмотра посещать комнату королевы: за их жизнь никто бы не поручился. Они были отставные любовники и вели при дворе жалкое существование, какими бы опасными ни старались казаться. Всем было известно: они боялись господина Кончини, кастрата, который к женщинам не ходил, но торговал ими. Для королевы у него были политические покупатели, которые обогащали его и его карлицу. От других дам он получал доходы за то, что приводил к ним короля. Сам король не отличался щедростью.

Однако он открыл ловкий способ подкупить Кончини.

Если пустую душу ничем нельзя завоевать, то можно по крайней мере держать ее в руках, разжигая ее тщеславие. Когда этому молодцу удавалось выманить у своей скупой карлицы и у собственной супруги короля немного денег, он осмеливался подносить королю подарки, например, прекрасных лошадей, и король принимал их.

Сир! Что за благородный конь под вами. — От господина Кончини. А вслед за лошадьми — женщины. Лувр был полон красавиц, одна из них спала как раз над кабинетом короля. Как-то ночью король лежал в своей постели за позолоченной балюстрадой, ибо королева заперлась у себя в спальне. В дверь кто-то тихо скребется: Кончини.

— Сир! Вы подали даме, что наверху, знак, который она не захотела понять из одного лишь благоговения. Ваш покорный слуга объяснил ей, что это ее фортуна, и после моего умелого вмешательства неприступности словно не бывало. Человек, подобный мне, в делах любви может считаться врачом, каких мало. И его вы, конечно, не откажетесь вознаградить. В размерах, которые король сочтет достойными, — заключил он, протянув руку.

Дело слажено, хоть и без наличных, и оба, король и торговец женщинами, пустились в путь в дружеском согласии. Впрочем, особа, жившая наверху, была заодно с Генрихом. Мадам де Гершвиль, статс-дама королевы, ненавидела всех интриганов, которые обосновались здесь: маркизу, скупаемую злобой, и подлую чету, у которой все сводилось к деньгам. Она для видимости сторговалась с гнусным Кончини о ночи любви; в действительности же она искала случая без помех выложить королю все сведения, которые собрала для него — тайны королевы и ее молочной сестры и козни, которые затевала эта последняя вместе со своим красавцем супругом или маркиза с королевским духовником. Мадам де Гершвиль нравилась королю, иначе никакой Кончини не мог бы помочь ее фортуне. Дабы она убедилась, что все устроил он и заслужил награду, Кончини отпер ее дверь, так как для него не существовало замков, впустил короля, а сам исчез. Она рассказывала, а король сидел у ее постели. Он находил ее умной и преданной. Когда он решил найти ее и желанной, она сказала с чуть заметной дрожью в голосе:

— Сир! Вы меня позабыли. Когда-то, очень давно, я пригласила вас к столу, накрытому на множество приборов, но без гостей. Из слабости, ибо иначе я вняла

бы вам, я оставила вас одного в пустом замке. Спасаясь от моего собственного сердца, я горько плакала. Я звалась де ла Рош-Гюйон, вы меня позабыли.

— Узнал бы из тысячи! — воскликнул он. — Разве иначе я назначил бы вас статс-дамой? В вашем лице, Антуанетта, я впервые повстречался с добродетелью.

Но что я слышу, из-за меня тогда проливались слезы?

— Сир, — сказала мадам де Гершвиль, — женщины, которые вам не уступают, именно потому остаются вернее всех.

— Жестокий приговор произносите вы надо мной, — хоть и ответил он, однако обрадовался, что в Лувре, весьма кстати для репутации двора, нашлась целомудренная особа. Она принарядилась; локоны отливают шелком, глаза сияют, рука, на которую она оперлась, сверкает белизной. В разрезе ночной рубашки вздымаются и трепещут прелести, которые хотят оградить себя — и в этом их редкостная прелесть. Король почтительно держит в своих руках руку добродетели. Свечи кротко мерцают. Вот наконец-то один отрадный час.

Тот же самый час был весьма безотраден для Марии Медичи. За своей запертой дверью она подслушала то, что происходило у Генриха. Происки плута Кончини не оставляли никаких сомнений. Мария ошиблась только в отношении особы, к которой ее супруг не замедлил направиться. Добродетельная Гершвиль даже не пришла ей на ум. Она выждала некоторое время, дабы безнравственная чета не имела возможности отрицать причину своего совместного пребывания. Затем королева поспешила наверх, дорогой она потеряла туфлю, не стала искать ее в темноте, стремительно ворвалась в комнату — дверь была не заперта. Маркиза де Вернейль сидела на постели и читала. Она улыбалась, книга была, видимо, забавная, невзирая на вес и величину. Маркиза держала книгу на приподнятых коленях, из-за которых насмешливым взглядом приветствовала взволнованную королеву, ибо ее тяжелую походку она узнала давно, слышала также, как с августейшей ноги слетела туфля.

Вид королевы превзошел ожидания госпожи де Вернейль. Локоны в папильотках, глаза глупее обычного от беспомощной злобы, на расплывшееся тело стареющей женщины накинута прозрачные покровы, сплошь расшитые цветочками, как у невинной девушки. Генриетта д'Этранг поистине никому не согласилась бы уступить такое

зрелище.

Испуская кровожадные стоны попеременно с пронзительным визгом, королева металась взад-вперед и при этом прихрамывала, одна нога в туфле, другая — босая. Когда она в конце концов опрокинула ширмы, из-за которых не появился никто, она уперлась руками в бока и задала вопрос:

— Где он?

— Кто? — еле слышно спросила маркиза.

Книга! Из-за фолианта, наверно, вынырнет его голова.

Мария бросилась туда. Генриетта сказала серьезно:

— Осторожней. Мадам, он в книге, сейчас он заговорит.

Мария прищурилась, она плохо видела без очков, наконец разглядела: один из отцов церкви, по-латыни. Но тут послышался голос ее супруга, которому превосходно подражала Генриетта:

— Иметь сношения с женщинами — значит быть прахом телесно и душевно.

Мария испугалась.

— Вы занимаетесь колдовством, — завизжала она. — Ученая шлюха!

— Жирная банкирша, — отвечала Генриетта, с виду спокойно и уверенно, но подготавливая себе отступление под защитой фолианта. Когда Мария накинута на нее с кулаками, то нашла одни подушки. В проходе между стеной и кроватью танцевала и смеялась бесноватая. Мария сделала попытку добраться до нее, та вмиг нагнулась и взмахнула каким-то сверкающим предметом.

— Ай! — вскрикнула Мария. — Вот вы как! У вас это наследственное. Ваша матушка заколола пажа.

— Мы закалываем пажей, но не почтенных дам. — С этими словами Генриетта спрятала кинжал. — Моя мать любила короля Карла Девятого, прежде чем вышла замуж за господина д'Этранга. Она тоже была ученой куртизанкой. Мое происхождение стоит вашего, мадам. У нас общий муж, и у каждой по дофину. Мой законней вашего.

Тут началось преследование. Мария, при всей своей дородности, перемахнула через кровать. Генриетта ловко проскользнула под кроватью и запрыгала на свободе по всей комнате.

— Вот и я, поймай меня, — напевала она, меж тем как Мария едва переводила дух. — Раз-два, — считала юная особа. — Мадам, вы побеждены.

— Сдаюсь, — прохрипела Мария.

Она в изнеможении лежала в кресле. Противница прикрыла ее наготу и, преисполненная смиренной учтивости, стала перед королевой на колени, подала ей вина.

— Подкрепитесь. Во всем дворце нет никого, кто бы меньше меня думал подмешать вам яду. Вы меня перепугали, я легко теряю голову. Мы могли бы столкнуться. И вам и мне во многом можно упрекнуть короля.

— Откройте мне, что вы знаете, — потребовала Мария. — В эту минуту что-то происходит с ним. Вы бодрствовали и ждали.

Ужасные предчувствия вдруг нахлынули на несчастную. Тревога нечистой совести поднялась изнутри и сдавила ей горло. Генриетта безмерно наслаждалась.

— Он похищен, — кротко призналась она. — Наконец-то. Мы обе довольно для этого потрудились.

— Не я! — вскрикнула Мария.

— И не я. Успокойтесь, — сказала Генриетта. — Но как ученой куртизанке, так тем более королеве нужно иметь мужество отвечать за свои тайные мысли.

Мария склонилась на локотник кресла, закрыв лицо руками. Ее плечи сперва сильно вздрагивали, потом меньше, наконец совсем перестали.

— Вам нельзя оставаться здесь, — уговаривал ее мальчишеский голос. — Скоро час вашего утреннего туалета. Я явлюсь воздать вам почести, ибо я прах телесно и душевно.

Обратный путь королева совершила, опершись на маркизу. Та нашла туфлю и надела на ногу ее величеству.

Что здесь происходит?

К обязанностям главноуправляющего финансами и начальника артиллерии прибавилась еще одна: министерство иностранных дел. Министром оставался господин де Вильруа, ему даже не полагалось знать, что Рони уполномочен следить за ним. Однако это настоятельно требовалось, ибо Вильруа, не будучи прямым изменником, а только сторонником союза с Испанией, не имел секретов от мадридского двора, а равно и от эрцгерцога в Брюсселе. Король и его Рони готовились к войне, хотя и не помышляя о завоеваниях. Всемирная держава того и

добивается. В ней происходит распад, но, имея все меньше сил для войны, она яростно отвергает мир. В своих поступках она напоминает обреченных, которые напоследок отводят душу, она развивает лихорадочную деятельность, алчно посягая на чужую землю, хотя у нее и так слишком много места. Ее шпионы кишат в иноземных владениях, она навязывает чужим народам докучные догматы, которые предназначены спасти у них порядок; но это порядок вчерашнего дня, он непристойным образом распадается у самих спасителей. Беззаконие и ложные идеи, царившие в Германии, по всей видимости, должны были вырождаться и дойти до бессмыслицы, они сулили Европе нескончаемую войну.

Король, который стремится разумно устроить свое бережно выпестованное королевство, не станет празднично ждать захватчика по слабости и его войны, которая была бы бесконечно оттягиваемой гибелью. Он предупреждает события. Смелый надрез пресекает гангрену. Ян-Виллем, герцог Клевский, Юлихский и Бергский, не имел наследников. После его смерти Габсбург немедленно заявил бы притязания на его земли; они были бы превращены в императорский лен. Однако король Франции обнаружил решение, по которому Австрия и Испания лишались права наследования. Это было первое его предостережение, он придрался к данному поводу: герцогств он не домогался. Он домогался мира в своем духе, который соответствует духу народов, и в этом его преимущество. Все дело в том, чтобы быть в согласии с народами. У каждого есть шанс либо выиграть, либо проиграть. Одно достоверно, что все принуждены считаться с королем Французским, Генрихом, и что народы зачастую меряют своих государей по нему. Вот отчего и вопрос о судьбах маленьких прирейнских герцогств примет впоследствии несоответствующие размеры.

Стоит взглянуть на ближние владения Испании: в испанских Нидерландах властвует эрцгерцог и инфанта, народы от этого приходят в содрогание. В честь инфанты одна женщина была заживо погребена, этого достаточно. Здесь власть имущие определенной породы еще не успели уразуметь, что такое человеческая жизнь: они перешагнули через целое столетие открытий, самое славное для Запада. Их высокомерие зиждется на могилах, в которые они зарывают живых людей. Победа

заранее обеспечена королю Франции, стоит взглянуть на испанские Нидерланды. — Тем не менее он по-прежнему проявляет миролюбие, выхаживает свое королевство, точно сад; мало того, он содействует соглашению Соединенных провинций Голландии с их врагом в Брюсселе. Как ни в чем не бывало, принцесса Оранская посещает двор инфанты, обе дамы принадлежат к самому просвещенному обществу Европы. Одна из них понимает просвещение нравов как стойкость в вере и жертвенность. Другая следует этикету и моде, носит цепочки из золотых шариков, наполненных благовониями; жертвенность не ее дело, заживо погребенная пожертвовала собой для нее, чем облегчила ее совесть. Образцы обеих пород по сию пору живут бок о бок при одном дворе, и одну и ту же землю обитают люди, не имеющие между собой ничего общего, кроме утробы. Король Франции дает им отсрочку, хотя сам вооружается.

Чего он хочет? Так гласит недоверчивый вопрос, но ясного ответа король не допускает, ибо вовне он печется о мире, а внутри находится в добром согласии со своими иезуитами; кроме того, он не дает отставки министру Вильруа, который тяготеет к Испании. Но тут произошло недоразумение, ибо господин де Рони ревностно взялся за свои новые обязанности. Он изобличил одного из писцов министра Вильруа. Сам министр остался непричастен, ему не полагалось прослужить изменником. Тем не менее для большего спокойствия он решил убрать свидетеля; а потому этого писца выловили из Сены, только он не утонул, а был удушен. Вскоре после того наступило первое января; рано поутру Рони явился с праздничными подарками в покой королевы, где их величества еще почивали. В полумраке он произнес свое приветствие и, по обычаю, протянул два кошелька, они были наполнены фишками из золота и серебра. Король взял первый кошелек. Когда же никто не протянул руки за вторым, Рони обратился прямо к королеве:

— Мадам, вот еще один для вашего величества.

Она не отвечала, и тут Рони заметил, что она повернулась к нему спиной. Король, раздраженно:

— Дайте его мне. Она не спит, она злится. Всю ночь напролет она мучила меня, вам тоже досталось. — С этими словами он повел своего верного слугу к себе в кабинет и стал горько жаловаться на Марию, на сцены, которые она ему

устроивала, и на ее тяжелый нрав. Разумеется, оба понимали, что прежде всего ее расположение духа оставляет желать лучшего. Можно ли исправить его? Рони подал совет окольным путем, он выразил сокрушение по поводу чрезмерных даров маркизе. Последняя посетила его в арсенале, чтобы подольститься к нему: она хотела знать твердо, что он действительно выплатит ей все обещанное королем. Государственный казначей, по ее мнению, на то и был посажен, чтобы удовлетворять ее требования. Тщетны старания объяснить ей, что король не вынимает деньги из своего кармана, а что купцы, ремесленники, крестьяне кормят и его и всех нас.

— С них довольно одного господина. Содержать заодно всех родных, кузенов и фавориток они вовсе не намерены. — Вот что слово в слово сказал Рони маркизе и то же повторил королю.

Хороший урок для короля. Оба понимали, что он заслужен и тем не менее ничего изменить не может. Но легкое недовольство возникает из-за этого между двумя людьми, у которых в конечном итоге кроме друг друга нет никого. Духовник Коттон, иезуит, протак с хитрецей, доказывал королю, что любовь к нему в народе убывает. Вина за это лежала, если верить Коттону, на жестоком сборщике неправедных поборов, который помышлял лишь о стяжании и вводил короля в смертный грех скупости. Это ошеломило Генриха, который считал своей заслугой, что народ его стал жить не труднее, а счастливее. Своей маркизе, которая жаловалась на министра, он дал отпор, однако какой-то осадок остался. Король сделал резкие замечания по поводу управления финансами, кстати, вполне справедливые. Королевское хозяйство стало благодаря Рони честным и потому именно суровым. Что толку с пользой употреблять доходы государства, после того как отобрана единственная корова в семье бедняков. Хороший урок для Рони: и тут оба понимали, что он заслужен, но напрасен.

Коттон чуял благоприятные веяния; он обнадеживал своих начальников, что король готов отставить неподкупного протестанта; тогда он будет совершенно одинок и всецело в их руках. Рони оборонялся, он поднял на смех Коттона. Его проворная полиция доставила ему документ, в котором духовник обращался с различными вопросами к дьяволу; ответы должны были быть даны из уст какой-то одержимой. Рони огласил обман; он показался наивным, и поднявшийся смех заставил забыть, какой вопрос обсуждался с нечистым. Речь шла о смерти

короля.

Дабы загладить сделанный им промах, Коттон подстроил покушение на самого себя или же сам нанес себе легкий порез, который двор и город приписывали протестанту Рони. Генрих, как услышал об этом, поспешил в арсенал и обнял своего верного слугу.

— Если бы вы даже были кровожадны от природы, с этого дурака иезуита вы бы не стали начинать.

В этом Рони, между прочим, не был уверен, однако воспользовался благоприятной минутой.

— Сир! — заговорил он убедительно. — Вам и мне дано распознавать серьезную подоплеку смешных происшествий.

Генрих:

— Нас хотели разлучить: дело достаточно серьезное.

Рони:

— Удар был направлен против вашей войны. Не в вашего министра финансов, а в вашего начальника артиллерии метил он.

Генрих — произнес обычное проклятие:

— Я был уверен, что на сей раз я достаточно напустил тумана и укрылся за ним.

Рони:

— Ваш истинный, навеки неизменный облик выступает из тумана, помимо вашей воли. Всем удивительно, что вы из горячей любви к ордену иезуитов удалили от себя своих протестантов; так далеко король Яков не заходит, и вам верят меньше, чем ему. Было бы разумней умиротворить их.

Генрих:

— Хоть бы дожить до этого! Но приверженцы протестантской веры вместе с Бироном предали меня.

Рони:

— Забудьте! Поспешите! Кто знает, быть может, протестантскому войску скоро придется защищать вас и спасти вашу власть.

Генрих:

— До этого, полагаете вы, дойдет снова? Допустим, испанские клеветы осмелеют, а я окружен ими. Все равно вы надзираете за Вильруа, я — за королевой. Я об этом молчу, но вы знаете больше моего.

Рони, быстро:

— Благоговение не позволяет мне вникать глубже. Я полагаю, что супруга короля всецело покорена его величием и о нем лишь помышляет. Впрочем, никто из лиц вашей семьи и свиты не облечен властью призвать врага в страну. Заговорщик сидит в своем городе за валами и стенами. При нем войска, а позади него граница. Мое первое и последнее слово, сир: герцог Бульонский должен быть низвергнут и предан смерти.

Генрих:

— Господин начальник артиллерии, вы, на мой взгляд, слишком легко посылаете людей на смерть. Неужто королева умней вас? Королева не любит еретиков, а этого она хочет пощадить. Посудите сами, верное ли вы предлагаете средство умиротворить моих протестантов. Бирон, которого они мне простить не могут, не был из числа ваших. А этот — да.

Рони:

— Тем важнее им увидеть силу своего монарха и узнать в нем прежнего короля Наваррского. Сир! Снисходительностью не многого достигнешь, особенно у нашего упрямого гугенотского племени.

Генрих:

— Будь по-вашему. Если те, что в Ла-Рошели, расположены и готовы добровольно впустить меня в свою крепость, я поеду к ним. Я положу старикам руку на плечо и напомню им о первых трудах и заботах, их мы делили пополам, и они остались наилучшими.

Министр понял последние слова короля как приказ и поспешил подхватить его.

Он повинуется, он прямым путем направится на предстоящее собрание протестантских депутатов.

— Внимание! Я возвещаю вам прибытие нашего государя, как министр я лишь один из вас, но, будучи почтен близостью к королю, я лучше знаю его. Король ни от

чего не отрекается, он ни в чем не отчаивается, ни в общем деле, ни в борьбе за него, которой нет конца, — властно изрек Рони, словно был не в своем арсенале с одним-единственным слушателем, а стоял в городе Шательро перед всем собором.

Генрих повторил:

— Которой нет конца. — Он приложил палец к губам. Его война — благодетельная война, и ей надлежит опередить войну пагубную. Мы выжидаем, готовимся и молчим.

Министр все продумал и склонил короля назначить его самого губернатором Пуату: в этой провинции находится город, где состоится собор, — Шательро, а также Ла-Рошель, крепость у океана. Пятого июля 1605 года он пустился в дорогу, но не один. Губернатор взял с собой полторы тысячи конных, ибо намеревался высказать своим единоверцам немало жестоких истин. Собор встретил его с почетом, какой подобает представителю короля. Рони никогда не предполагал, что они могут быть изменниками. Если бы несовершенство их природы даже допустило это, их крепости были слишком слабы и, по Нантскому эдикту, оставлены за ними лишь на время.

— Можете спокойно владеть ими и дальше, — сказал им министр. — Вам это важно, королю — ничуть. Однако он более не намерен выслушивать ваши жалобы, ибо они ему известны, вам же его намерения не известны. В особенности должно вам, согласно его воле, избегать всяческих переговоров не только с чужеземными его врагами, но и с городами и владетельными князьями в самом королевстве, поведения которых он не одобряет. — Рони назвал их по именам, и тот, кто у всех был на уме, прошел незаметно с остальными; они же поняли, что пробил час решительно стать на сторону своего государя и товарища с давних пор. Тогда они дали согласие на все, чего потребовал от них его посол, а их брат по вере.

После заседания они, правда, послали к нему наивлиятельнейших из своей среды — между прочим, господина Филиппа де Морнея, но как раз ему Рони намыллил голову, вместо того чтобы внять его просьбам о смягчении королевской воли. Что это? Морней до такой степени укрепил свой город Сомюр, что он один требует

восьми тысяч солдат гарнизона. Нелепость — укрепления без пушек. Пусть
господа
протестанты объединят свои войска! И держат их наготове!

— Самые грозные враги вашего короля пока еще притаились, — заявил Рони.
Знал
ли он больше, чем высказывал, и, может быть, не один лишь уже раскрытый
заговор
герцога Бульонского привел его сюда?

Он предоставил им догадываться. Понять они должны одно — что на них
рассчитывают, в случае безыменной опасности, когда отравленная чаша
обессилит
страну и народ. Если же раздастся незабываемый шаг гугенотских полков, чаша
минует
их. Странно, именно непреклонный министр, их брат по вере, который
требовал,
чтобы они пожертвовали всеми привилегиями и общественными свободами, даже
безопасностью — именно он укрепил их упование на короля. Казалось бы,
жителейские
труды, а также его проступки успели не на шутку разобщить их, однако же
они
вновь увидят его в своей среде неизменным. Явись, наш Генрих! Крепость
Ла-Рошель впустил тебя; хотя бы даже ты привел с собой многотысячное
войско, мы
настежь откроем ворота, снесем стену на триста локтей!

В Ла-Рошели

Настал сентябрь, явился он сам, и тут пошло по его гугенотским землям
великое ликование, втихомолку смешанное со слезами. Чтобы видеть его,
обитатели
Ла-Рошели взбирались на крыши, арки, на мачты в гавани. Колокола звонили
для
него, и звук их был давно знаком. Так же гудели они, когда он въезжал
сюда
белокуром юношей, только что убежав из плена старой Екатерины.

Тогда, из предосторожности, он сперва отрекся от навязанной ему религии и
вернулся к исконной, и лишь после этого показался своим единоверцам.
Нынче они
принимают его таким, каков он есть, со всем, что сделала из него суровая
жизнь:
волосы и борода его побелели прежде времени.

— Вихрь невзгод пронесся по ним, — пояснил он старейшим из своих
товарищей,
когда они все вместе сидели в зале за семнадцатью столами по шестнадцать
приборов каждый.

Молодое поколение дивилось сверх меры, видя перед собой во плоти образ

легенд. Он поднимает стакан, вытирает рот, широко раскрывает глаза. Те же глаза при Иври приковали к месту врага, так что он остановился со всеми своими копьями, пока наши не налетели на него. Те же глаза хранят облик всех людей в королевстве, отныне также и мой. Я пребываю в них, и прекраснейшая из когда-либо живших женщин запечатлена в них. Она была нашей веры, и он втайне тоже наш единоведец, но враги отравили его прелестную Габриель. В его глазах запечатлен облик мертвецов: как велики и печальны должны быть эти глаза, дабы вместить всех, кто живет еще только в них. Сами мы живы потому лишь, что он так много боролся. Вот что думало молодое поколение, которое, однако, дивилось не так уж долго, напротив, оно вскоре освоилось с невиданным явлением, побороло неловкость и принялось обсуждать повседневные дела, спорить, смеяться. То один, то другой вскакивал, чтобы получше рассмотреть короля. Кто осмеливался, тот целовал ему руку, а у кого хватало храбрости, тот просил перемолвиться с ним хоть словом.

Генрих и его старые соратники пересчитывали друг друга. Они были веселы, оттого что сидели вместе за столом и ход истории пощадил их, но часто поминали своих мертвецов. Они становятся многочисленней нас по мере того, как седеют волосы от вихря невзгод. Последним мертвецом из числа приверженцев истинной веры был господин де ла Тремойль, смешной человек, даже память о нем способна была бы развеселить. Но как друг герцога Бульонского он стал ненавистен королю и вовремя убрался из жизни, прежде чем был пойман. На его имени не стали задерживаться. Что поделать, после долгой разлуки королю и его протестантам не следует тревожить иных мертвецов.

Отвлечь от этого покойника более всех имел причины Агриппа д'Обинье. Он заявил: мертвых нет, есть только отсутствующие. Агриппа утверждал, что они могут подавать о себе весть оттуда, где находятся, и даже бесспорно, что некоторые из них возвращаются. В тот день, как пал его младший брат, Агриппа лежал на соломе между двумя товарищами и вслух читал молитву. При словах: «И не введи нас во искушение» — кто-то трижды ударил его ладонью так явственно, что оба товарища вскочили и поглядели на него.

— Помолись еще раз, — сказал один; и когда он послушался — при тех же словах снова три удара, нанесенные рукой брата, как понял Агриппа после, когда нашел его мертвым на поле битвы.

Генрих сказал:

— Агриппа, ты поэт. Не всякий, у кого умирает любимое существо, чует это за милю, а тем более за двадцать. — При этом он подумал о Габриели, о ее последнем дне, когда она еще была жива, он же оплакивал ее, и никакие три удара не побудили его поспешить к ней.

Агриппа, ярый защитник сверхъестественного как проявления воли небес:

— Капитана Атиса мы сами похоронили с воинскими почестями, и все же он ночью прокрался к себе в постель; он был весь холодный и убрался прочь через окно. Но пусть судят богословы, — заключил он, смущенный общим молчанием.

Генрих молчал не потому, что ему стало жутко, напротив, он заметил, что теперь ничего не чувствует при рассказах о предзнаменованиях и чудесных происшествиях, которые прежде имели для него значение символов, если не большего. Он смотрел на простодушного вояку, который крепко надеялся на загробную жизнь и принимал на веру самые неправдоподобные случаи из страха перед смертью. Однако совесть Агриппы явно предостерегала его, и потому пресловутые три удара всякий раз следовали за теми же словами: «И не введи нас во искушение».

Старый боевой товарищ отбросил смущение, он предпочел засмеяться и сказал, что богослов у них под рукой, лучше Филиппа Морнея не найдешь. Генрих в самом деле спросил его мнение; но так как Морней, отмахнувшись от призраков, вдавался в рассуждения о вечном блаженстве с усердием и педантизмом мирянина, овладевшего наукой о Боге, Генрих перестал его слушать. Он задумался, опершись головой на руку, а кругом шумел пир.

Немного погодя он огляделся — где же он? Среди участников своей незавершенной юности, на прежнем святом месте, кругом привычные соратники, а над ним нет балдахина. «Мнимый возврат нашего первоначального душевного строя, но с того расстояния, на котором мы находимся теперь, нам уже не измерить ни

его безрассудной отваги, ни его слабости. Нам пришлось состариться для того, чтобы нож перестал быть пугалом. Лишь сейчас и здесь обнаружилось, что страх за жизнь отпустил нас. Что же касается вечного блаженства, смысл его для нас утрачен. То и другое – потеря страха за жизнь и упований на вечность – одинаково печально, человек становится все печальнее и трезвее, чем больше сделано, и притом несовершенных дел».

Сидя вполоборота, он увидел из окна больверк в гавани, туда он всходил еще во времена своей возлюбленной матери Жанны, пятнадцатилетним юношей. Была ночь, волны с такой же силой набегали, перекатывались, и рев их был голосом дали, не знавшей его, но в ветре он ощущал вкус иного мира – свободного от ненависти и насилия, свободного от зла. С тех пор королевские мореходы и колонисты в самом деле переплывали океан, терпели кораблекрушения, обитали на пустынных островах. Воротившиеся не пали от этого духом, они добиваются нового флота, лишь теперь они прониклись сознанием своей правоты, своего назначения, и гибель не страшит их.

«Ничего не страшиться – это в сущности и есть поворот, как мы видим на собственном опыте. Поворот начался незаметно. Когда? Не вспомнишь. Знаешь лишь одно: борьба, в которой нам суждено пасть, – далеко не последняя, и, когда не станет нас, она будет продолжаться, словно мы тоже участвуем в ней.

Мне кажется, война, которую я готовлю, необходима. Если же я паду раньше, не беда, всего так или иначе не завершишь. Это и есть поворот посреди служения».

Пока он так думал и рассуждал, остальные глядели на него, и у них защемило сердце, они и сами не понимали почему. Наш король Наваррский, – молча сказали они друг другу вместо словесных пояснений. Поседевшим обрели мы его вновь. У Агриппы д'Обинье первого навернулись слезы. Морней прервал свою речь о вечности, и Агриппа перегнулся через стол:

– Сир, когда я вижу ваше лицо, я становлюсь дерзок, как прежде. Расстегните три пуговицы на камзоле и окажите мне милость пояснить, что побудило вас возненавидеть меня.

Генрих побледнел, из чего они безошибочно заключили, что он даст волю чувству.

— Разве вы не предали меня? — спросил он. — Вам мало было Бирона, вы столкнулись с герцогом Бульонским. Мне известны твои письма к его другу де ла Тремойлю, который смешно квакал, когда говорил. Он умер, впредь он будет квакать и предавать на том свете.

И ответил Агриппа:

— Покойный был настолько слабее вас. Я же от вас, сир, смолоду научился держать сторону гонимых и обремененных.

Тогда обнял Генрих простодушного вояку и сказал:

— Приверженцы протестантской веры добродетельны и за своих изменников.

После этого все стало ясно между королем и его протестантами; на прощание они пожали друг другу руки.

Между тем Морней был молчалив за столом, если не считать рассуждений о вечном блаженстве, они же нагнали на Генриха печаль. Теперь он был один с господином дю Плесси-Морнеем в зале, которая опустела, и настал вечер. Замешкавшиеся гости оглядывались напоследок с порога. Король, видимо, хотел поговорить о самом главном, ибо он направился к оконной нише со своим старым советником, с первым среди протестантов, его называли их папой. Тогда последние из двухсот гостей удалились, ступая бесшумно, и тихо притворили дверь.

Генрих за руку повел Филиппа к окну, остановился перед ним, всмотрелся в состарившееся лицо: каким маленьким стало оно под непомерно выросшим лбом.
«Глаза глядят разумно; мы держимся стойко, невзирая на случайные провалы, как тогда с Сен-Фалем. Глаза глядят мудро, но по-вечернему: дерзаний нечего ждать от этого человека. Когда мы были молоды, мое королевство Наварра, спорное по самой своей сути, имело в его лице ловкого дипломата, который одной силой своей любви к истине умел перехитрить всех лжецов. Далекое времена, где вы? Но именно тогда мы превыше всего боялись ножа, как способны бояться лишь люди, еще не оправдавшие себя, алчные до своих будущих деяний, которые им страшно упустить».

— Многого мы достигли, Филипп?

— Сир, всего, что было вам назначено или на вас возложено. Почему не хотите

вы признать, что сверх того Господь наш не спрашивает и не попускает?

— Известно вам, господин дю Плесси, что великая война готовится на свете?

— От ваших решений я устранен. То же, что решает воля Всевышнего, я постигаю через испытания. Новые открытые раны жгут меня, и последняя еще впереди.

Что он шепчет во мраке? Чело склоняется, выражения лица не видно. Морней поднимает голову, говорит отчетливо:

— Сохраните на земле мир до конца ваших дней. Сир, едва вы испустите дух, ваша высокая ответственность снимется с вас и возвратится к Господу.

— И это все? — спросил Генрих. — Таково, по-твоему, бессмертие, Филипп? Таково вечное блаженство?

Когда вместо ответа последовал лишь вздох, Генрих собрался отвернуться. Однако сказал:

— Ваше познание Бога необычайно расширилось. Вы говорите о Нем слишком по-ученому для того, чтобы Он, как прежде, мог жить в вашем сердце. Ныне мы снова встретились с вами здесь на земле, у вас же в мыслях одна лишь диалектика вечности.

— Мой сын пал при осаде Гельдерна, — сказал Морней ясно и просто.

Генрих привлек его к себе:

— Бедняга!

Руки их долго оставались сплетенными. Глаза их не увлажнились. Морней впоследствии напишет трактат «О слезах». В действительности он не плачет, а Генрих проливает теперь слезы лишь по ничтожным поводам. Для значительных он вооружен.

— Ваш единственный сын, — сказал Генрих с ударением. Быть может, он подразумевал: к чему же ваша вера.

Морней, по-прежнему просто:

— У меня теперь нет сына, а потому нет и жены.

Что он хочет сказать, спросил Генрих. Получила ли уже мадам Морней злую весть?

— Она ничего не знает, — сказал человек, побежденный жизнью. — Гонец явился

сегодня ко мне. Я сам должен принести ей это известие: она не переживет его.

Тогда я буду разлучен с ними обоими, а лишь ради них мне еще стоило жить —
неужто же не бывать свиданию?

— У вас есть внутренняя уверенность.

— У меня ее нет, — выкрикнул Морней. И продолжал уже спокойно: — Мало того что Шарлотта уйдет от меня, она уйдет по своей воле. Меня обуревают страх, что любовь кончается и с ней кончается все, особенно же надежда на бессмертие.

— Друг, нам нечего бояться, — сказал Генрих. — Я познал это сегодня, а потому благословляю свою поездку в Ла-Рошель. Перед концом некий голос промолвит: мы не умрем — но будет это только значить, что мы свершили свое.

По вещему испугу в своем сердце Морней понял это как последнее слово короля.

Он поклонился и отступил. Король приказал напоследок:

— Если пророчество ваше сбудется, я хочу узнать и услышать от вас о том, как скончалась мадам де Морней.

Благодарность

Истинный успех посещения королем Ла-Рошели обнаружился лишь на обратном пути. Гарнизон Ла-Рошели сопровождал его до ближайшей протестантской крепости;

оттуда выступил новый отряд, чтобы пройти с ним следующий этап. Отовсюду спешили к нему дворяне, безразлично какой веры, все стремились увидеть его; и

не раз карета его ехала шагом вследствие стечения народа. Люди смешивались с

его охраной, они намеревались проводить его до самой столицы. Он про себя объяснял, что их к этому побуждает. Сами они не могли ни осмыслить, ни истолковать свои побуждения.

Не успел Генрих вернуться в Париж, как из Лондона пришла весть о заговоре против короля Якова^[100]. — ...пришла весть о заговоре против короля Якова. — Речь

идет о так называемом «пороховом заговоре» против английского короля Якова I,

составленного католиками при поддержке иезуитов. Загрузив подвал под парламентом бочками с порохом, заговорщики рассчитывали взорвать парламент в

день открытия сессии вместе с королем, его сыном и важнейшими государственными

сановниками. 5 ноября 1605 г. заговор был раскрыт, его участники казнены.]. Под Вестминстерский дворец были подложены груды пороха, что успели вовремя обнаружить. В противном случае все собравшиеся были бы разорваны на куски – король, принцы и пэры, весь парламент; от английской короны ничего бы не осталось. Такого громадного количества пороха хватило бы, чтобы взорвать целые городские кварталы. Это было бы самым жестоким злодеянием века. Доподлинно известно, кто своим учением способствует смуте. Кто подкапывается под нас, кто поставляет средства взорвать нас всех на воздух, кто ввозит их в каждое христианское государство, пока оно еще свободно. Долготерпение свободных народов облегчает работу их врагам, не говоря о том, что у последних повсюду есть сообщники и что правительства очень шатки.

Без лишних слов было признано, что здесь действовал орден Иисуса, а за его спиной Испания. Держава, которая сломлена, но еще не вполне, никак не может угомониться. Разуму и смирению она не научилась, зато научилась хитрости и злодейству. Из старой власти рождается новый боевой отряд, духовное воинство, если убийство свойственно духу и входит в число воинских добродетелей. Иезуит Мариана проповедовал право убивать королей. Его английские адепты оказались старательными, впрочем, в их книгах об этом мало говорилось. Все же покушения предшествуют книги; король Генрих послушался недоброго совета, когда отстаивал перед своими законоведами возвращение святых отцов, доказывая, что они чисты сердцем.

Правда, здесь, в стране, друзья детей усердствуют в любви к малолетним, меж тем как где-то там после первого испуга убирают порох. Птички, цветочки, мы тут ни при чем, пуританский парламент сам по себе заседает на пороховых бочках. Однако допустим, что король Французский оставил бы вас без присмотра, как Яков. Допустим, он окончательно порвал бы со своими протестантами и не вернулся бы только что из путешествия, которое было, в сущности, смотром войск, они же стоят наготове. Тогда здесь, несомненно, повторилось бы вестминстерское

покушение. Но по улицам столицы короля Генриха громяют пушки его начальника артиллерии.

Генрих ожидал его в тот самый час, когда «пороховой заговор» стал известен им обоим. Верный слуга, по своему обычаю, должен был бы тотчас же появиться в дверях и напомнить своему государю, кто послал его в Ла-Рошель, кому он обязан тем, что союз цареубийц отступил перед ним. День прошел; Рони не явился. Генрих как бы невзначай велел справиться о нем в арсенале. Министр работает, как всегда. Генрих думал: «Он ждет, чтобы я посетил его либо чтобы он был возведен в герцоги и пэры. Точный расчет входит в число его добродетелей. Однако мне уже многие спасали жизнь, и не становились за это даже капитанами. Да и я многих выручал из беды и делал это даром». Генрих, впрочем, сам знал, что в его рассуждениях было неверно, что — недосказано. «Рони обнаружил поразительное чутье, или назвать это дальновидностью? Что случилось бы с королевством без моих протестантов? Сам Рони — закоренелый еретик, почему эта идея и возникла у него и ее осуществление оказалось так просто. Все равно, он никогда не был человеком окрыленного духа; он был человеком, призванным сидеть и считать».

Здесь Генриху пришлось признать, что его Рони переменялся. С каких пор? Мы позабыли об этом, как и о перемене, постепенно свершившейся в нас самих. Рони был неподкупен, но всегда усердно добивался награды; таким он остался и теперь. Ему и до сих пор свойственна ревность, стремление поучать и устрашать — в этом скорее сказывается мелочность натуры, нежели значительность. «Как же можно при мелочности стать значительным? Счастье и заслуги, какая между ними связь? Получите сто тысяч экю, господин де Рони, если объясните это. Держу пари, вы не лучше моего разбираетесь в этом, Максимильен де Бетюн, или, если вам приятнее, герцог де Скулли. Но имена становятся тем громче, чем ближе к нам пора внутренней тишины».

В тот час, когда стал известен «пороховой заговор», Генрих долго думал о своем помощнике, ибо их теперь осталось двое и им следовало крепко держаться друг друга. На душе его была тишина, судьба Якова Английского едва его испугала, а теперь не осталось и тени страха. Кто испугался, так это Мария

Медичи. Она ворвалась в кабинет своего супруга и начала с упреков, настолько бурных и необдуманных, что ей не хватало французских слов.

— Я вас предостерегала. Теперь сами вы каетесь, что посылали своего Рони в Англию для заключения союза.

— К сожалению, союз не состоялся, — отвечал Генрих.

— Зато состоялся с другими еретиками, в Ла-Рошели! — взвизгнула Мария. — Ваша гибель в еретиках, и вы стремитесь навстречу своей гибели. Я это знала, — проговорила она. На ее счастье, она была вынуждена остановиться, так как ей сделалось дурно. Кто знает, что бы она еще выболтала. Едва она пришла в себя, как на ее лице вместе с сознанием явственно проступило нечто новое: нечистая совесть. Она была еще очень слаба или притворялась такой и шепнула чуть слышно: — Сир! Не забывайте никогда о небесной каре. Святые отцы стараются отвратить ее от вас.

— Это я прекрасно знаю, — сказал Генрих, чтобы успокоить ее. Он и в самом деле думал, что подвалы, начиненные порохом, вряд ли могли быть делом рук небесных блюстителей нравов.

Когда король собрался лечь спать — сегодня на парадной кровати, и зала была наполнена придворными, все явились на поклон, кто только мог, старался попасться на глаза монарху, ибо счастье явно покровительствовало ему, — тут как раз пришел начальник артиллерии. Он возвышался над склоненной толпой. Генрих тотчас заметил его и отпустил всех остальных. Затем открыл позолоченную решетку и за руку повел начальника артиллерии в свой кабинет.

— Если я не ошибаюсь, нам надо поговорить.

Рони принес в папке все, над чем он проработал целый день; дела были разнообразные, хотя все в той или иной степени относились к «пороховому заговору». Королевские послы по всей Европе, у султана, у папы, все должны были получить обязательное предписание, в каком смысле им надлежит говорить о «пороховом заговоре». Указания были разнородные, но все направлены на то, чтобы представить взорам и чувствам дворов единую опасность, прежде всего запах пороха, не намекая на серу и ногу с копытом.

Только в протестантских княжествах, республиках и вольных городах послы короля должны были говорить обо всем прямо и ставить точку над *i*. Император вместе с королем Испанским, эрцгерцог в Брюсселе, а также великий герцог

Флорентийский и другие финансовые силы вселенского колосса на глиняных ногах — все они вкуче готовят войну. Открытая их цель, которой они кичатся, это уничтожение свободы совести, а кроме того, они не намерены более терпеть ни свободную мысль, ни свободные государства. Доказательством служит неудавшееся покушение на английскую корону. Пусть каждый отметит в своей Библии, которую читает по утрам, что и ему уготовано то же самое. Далее следовали тексты из Священного писания, которые Рони советовал протестантским князьям подчеркнуть.

Он говорит: христианский мир имеет короля, единственного, который держит меч и пускает его в ход не для собственных выгод, а лишь для мирской пользы. На него взирают народы, наполовину уже вовлеченные в войну, которая охватит весь Запад целиком на долгие пагубные годы. Имеющие уши да слышат. Избави нас от лукавого! Послам короля рекомендовалось пользоваться всеми языками, религиозным нарядом с военным, а также простонародными выражениями, помимо обычного дипломатического красноречия. Генрих отложил все это в сторону, зато дважды прочел черновик письма к королю Якову.

— Господин начальник артиллерии, вы грозите ему. Несколько странный способ уверить его в моей радости по поводу его спасения.

— Сир! Теперь или никогда добьетесь вы союза.

— Чтобы его заключить, он должен, согласно вашей воле, казнить своих иезуитов. Этого я не скажу, ибо он этого не сделает и вряд ли простит мне свою слабость.

Рони приготовился возразить. Но одумался и просто сказал:

— Вы правы. Короли знают друг друга. А кто я?

Генрих взгляделся в него. Вот каков Рони, когда он близок к смирению. Оно пришло неожиданно, в особенности сейчас.

— В некоторых делах вы проявляете предусмотрительность, на какую не способен ни один король, — сказал Генрих слово в слово. — Опасности избегнул не только Яков и его корона.

Министр выпрямил спину, он снова стал тем, кого изображал в молодые годы, каменным рыцарем с соборного фасада. Однако он при этом покраснел. Генрих с удивлением поглядел на него. Прежде, когда он менялся в лице, причиной бывал гнев, и вспыхивал он мгновенно. На сей раз кровь в тонах вечерних облаков проступила под кожей, которая осталась нежной и прозрачной.

В самом деле, Рони испытывает стыд, ибо он спас своего короля и боится благодарности. Вот до какой степени слились они воедино. Благодарность была бы чем-то чуждым.

— Воздадим хвалу милосердию Божью, — сказал Генрих. — Каждый в своей каморке, — сказал он. — День был долог, вы много писали, а я имею право лечь в свою постель, ваше посещение избавляет меня от парадной кровати.

С этими словами он проводил своего друга до порога.

Не страшись

Недобрые времена для изменников. Впервые с начала этой власти, не похожей на другие, ей поклоняются не по торжественным дням и не бессознательно. Постоянное большинство объединилось, оно следует за необыкновенным королем. Мало того, оно забегает вперед. Стоит королю появиться, как раздаются возгласы: «К границе!» Сам Генрих об этом слова не вымолвил.

В тот год и в последующие у него было немало причин для грусти, но с этими новыми свидетельствами преданности явилось и счастье. Оно шепнуло ему на ухо: ты всегда действовал именем своей страны и народа, иначе они не кричали бы теперь: «К границе!», чтобы защищать государство, которое создал ты. Ты создал для них государство; но кто сотворил тебя самого? После Бога твой народ. Вот что шепнуло ему на ухо счастье.

О войне Генрих никогда не упоминал. Открытые проявления ненависти к убийцам, месть за измену доказывают ему, что это королевство начинает понимать одно: свою обособленность как военной силы, противостоящей всем врагам народов. И свое процветание — не забудьте о том, как оно претит многим. Угнетателям, да

будет вам известно, особо опасна наша терпимость, наше уважение к совести и к жизни. Оно все еще несовершенно; тем не менее наша гуманность — самый тяжкий грех в глазах держав, которые не могли бы безнаказанно подражать ей и вообще не постигли ценности человека. Напасть немедленно, воспользовавшись дерзким заговором, который открыл глаза многим, этого Генрих не хотел. Европа насчитывает немало народов, которые захотят завоевать или защитить свою частицу счастья вместе с нами, когда наше призвание станет для них несомненным. Потому-то король Франции и задумал тогда привлечь на свою сторону народы и занимался этим четыре года. Так долго ему не надо было тянуть, ибо следующего года для него уже не было.

Рони взял разбег покороче; у него все время была мысль, что завтра надо выступать. Между тем он обрабатывал общественное мнение в согласии с королем, но гораздо решительнее. Чужеземные наблюдатели сравнивали брошюры, которые в ту пору призывали Европу встать за правое дело короля Французского, с прокламациями на стенах Парижа и убеждались, что источник их одинаков. От этих воззваний, равно как и от брошюрок, все отпирались, а полиция убирала их после того, как они всеми были прочитаны. Уцелевший от покушения на короля Якова порох сохранил свою взрывчатую силу. Теперь он служил для того, чтобы откалывать уже малочисленных противников существующей власти от их подстрекателей, и те получали по заслугам от господина Рони, если, конечно, предположить, что тут был замешан он.

Патер Коттон плакал в исповедальне, умоляя короля признаться ему, что он замышляет против церкви. Ничего, сказал Генрих. Святой отец имеет доказательства его смиренного послушания. А в отношении ордена Иисуса, которому сам король разрешил вернуться сюда, он ссылается на собственные слова патера Игнациуса, являвшегося к нему во время болезни. Фигура у постели говорила: не их орден решает, должно ли умереть королю, и также не догматы и не настоятели, — уверяла фигура у постели, — а большинство людей, их совесть.

Итак. Что же произошло с совестью большинства со времени покушения на короля Якова? Как решает совесть? Незнакомцы, которые скрываются в толпе единомышленников, печатают жалобы на иезуитов и их мирских союзников. Это возбуждает гневное одобрение народных масс.

— Разумеется, я к этому не присоединяюсь, — сказал Генрих. — Для меня отцы остаются непорочными душами, хотя фанатики могут проникнуть и в самый дисциплинированный орден. Таково было мнение патера Игнациуса, почему события в Англии вряд ли удивили его. Что касается меня, то должен покаяться, что вчера ночью я спал с чужой женой, а не со своей.

От плачущего Коттона король получил божественное прощение. Между тем появились другие печатные воззвания, назначением которых было превратить большинство сторонников короля в меньшинство. Эти воззвания тоже прибывали к стенам домов под покровом темноты; но как ни беззастенчиво задевали они господина де Рони, как ни кололи глаз оскорбительные выпады против короля, полиция их не трогала. На одной и той же церкви висело воззвание, автором которого предполагался министр, и рядом другие, противоположного происхождения. В полдень первое было сорвано городскими стражниками. А нападки на семейные обстоятельства короля можно было читать и дальше.

Враждебная партия не осмеливалась укорять его за воинственные намерения, для этого время было упущено. «К границе!» — раздавался клич, как только ему случалось проезжать сквозь толпу, пока он наконец не предпочел ходить пешком, в плохой одежде, один и никем не признанный. Тогда он услышал то, что предназначалось не для него, однако знать это не мешало. Во-первых: у нас великий король. Вслед за тем следовали собственные соображения, а также прочитанные, одно подкреплялось другим. Во-вторых, обсуждалось то, что смело могла печатать враждебная партия, ибо каждый в той или иной степени должен был признать ее правоту, даже сам Генрих: он несчастный, обманутый человек. В его собственном доме водворилась дочь Габсбургов, которая всех нас ненавидит, а его в особенности. Его Луврский дворец полон ее любовников, сплошь предателей, да и собственные метрессы предают его, не говоря уже о рогах, которые они ему наставляют. Молочная сестра королевы ездит на помеле, как истая ведьма. Всеобщий заговор окружает его.

Большинство возражало на это: тем хуже. Мы должны объединиться, даже с протестантами. Мы, правда, не любим протестантов — они упрямы, суровы и обижают нас всех своим чванством. На сей раз они ему нужны, и мы должны терпеть окаянных еретиков под страхом поплатиться спасением души. Вот оно — Французское королевство. Его сделал таким, какое оно есть, наш король Генрих. Он не должен

быть несчастным человеком. Недобрые времена для предателей. Когда Генрих послал своего начальника артиллерии против герцога Бульонского, за которого никто не вступился и менее всего его единоверцы, королева с Вильюа и другими сторонниками Испании советовала его пощадить. Тюренна и в самом деле не казнили, как Бирона; обстоятельства позволили пренебречь им. В его город Седан попросту был назначен губернатор-гугенот.

Меньшинство, однако, не унималось. На его стороне внутри государства были самые богатые из вельмож, и для христианского мира в целом оно чувствовало себя большинством. Оно снова стало злокозненным, как во времена Лиги, с кафедр произносятся подстрекательные речи, на улицах столицы льется кровь; вот протестант, которому не следовало ходить одному по дорогам, не лежал бы он теперь убитый. Дамы из рода Гизов снова выступили на сцену, они устраивали по старому затасканному образцу процессии кающихся женщин, босых, с терновыми венками в волосах. Все равно кругом плачут, принесенные в жертву женщины всегда возбуждают жалость. Раздаются голоса, призывающие возмездие.

— Долго ли проклятие будет жить среди нас? Проклятие — это король. Спрашивается: долго ли еще?

Не страшись! Король приказал выстроить протестантский храм ближе к Парижу, только на расстоянии двух миль, вместо дозволенных четырех. Свирепые нарекания, а он смеется:

— Да будет известно, что отныне туда четыре мили. — Он заставил признать, что две мили равны четырем с помощью виселицы, которую поставили по пути к храму. Все увидели: гугенот, который некогда выморил голодом столицу, предал огню и грабежу ее предместья, наконец-то, став королем, показывает свое истинное лицо. Все же он пока имеет большинство, настолько королевство шагнуло вперед, а вы с ним. Преданное ему большинство получало даже прирост из меньшинства, по мере усиления его суровости. Только терпимость, которая становится суровой, убеждает самых закоснелых. Правда, остаток закоснелых делается кровожадным. За это время королю не раз грозила смерть от ножа.

Королева в ту пору была несчастна, не понимая противоречия в собственных чувствах: она желала ему смерти и в то же время боялась за его жизнь. Она устраивала своему супругу бешеные сцены по поводу совместного воспитания ее детей с его незаконными отпрысками, а в мыслях держала при этом все обиды испанской партии, главным образом союз с Англией. Генрих добился своего, обе

державы впредь ручались за свободу Голландии. Рони, воротясь из Седана, вошел в ту минуту, когда Мария подняла руку на короля. Он отвел ее руку и сказал:

— Мадам, это может стоить головы.

Вот чего она не простит ему никогда. Пусть он лучше следит за своим государем, дабы с ним ничего не приключилось. Когда в конце концов убитый будет принесен в Лувр и в его кабинете положат тленные останки — пусть Рони пеняет на себя, что не был на страже, разве мы бессмертны? Сегодня он отводит руку Марии и говорит: это может стоить головы. Генрих принялся успокаивать растерявшуюся женщину.

— Мадам, — сказал он, — этот человек — гроза моих врагов. Но вам и мне он самый верный друг. Я даю ему звание герцога де Скулли.

Это было пожалование. Мария отнюдь не простила тех обстоятельств, при которых Генрих огласил его. На ближайшем своем большом приеме она повернулась спиной к герцогу де Скулли, прежде чем он успел открыть рот. Сама же поднялась и даже сделала несколько шагов навстречу какому-то чужеземному посетителю. Вид у него был невзрачный, но она знала его как тайного агента, посланного генералом ордена иезуитов. Впрочем, и Скулли не спускал с него глаз.

Невзрачный посетитель заговорил резким шепотом, порицая поведение Марии; к счастью, никто как будто не подслушивал.

— Какой проступок против обязательной дисциплины — приветствовать меня, словно я что-то значу, и внушать протестанту подозрения. Тем незамедлительней должны вы исполнить приказ, который я передаю вам. Распорядитесь отлить из бронзы короля верхом на коне [101. — Распорядитесь отлить из бронзы короля верхом на коне. — Конная статуя Генриха IV была поставлена несколько позже описываемых событий, уже после смерти Генриха IV, в 1635 г., у моста Пон-Неф.]. Статуя, знак тщеславной суетности, должна быть поставлена на самом видном месте, ее созерцание усилит любовь народа. А главное, статуя живого человека послужит доказательством того, что наша благочестивая дочь заранее печется о посмертной славе короля и открыто желает ему бессмертия.

Слова и то, чего они не договаривали, были для Марии слишком бездонны: ей

понадобилось еще несколько лет, чтобы созреть для таких страшных глубин. Все же она повиновалась, за что генерал иезуитов в знак своей милости подарил ей китайский письменный столик. Через какой-то срок памятник был готов занять свое место. Выбор пал на Новый мост, король сам построил его. Тайну всячески старались сохранить, но в конце концов король неминуемо должен был открыть ее – и вот, когда он увидел работы, производимые в начале моста, он немедленно приказал их прекратить. Слезы Марии, гнев Марии, болезнь Марии, ее отсутствие на приемах чужеземных делегаций, а они-то сейчас больше чем когда-либо интересовали короля. Он наконец сдался, но поставил условие: никаких торжеств, никакой надписи. Памятник изображает римского полководца – таков он действительно на вид. Но, к несчастью, в лице большое сходство с ним самим.

Уже две недели стоял он на высоком цоколе, без имени, вокруг него непрерывно теснился народ. Ни всадники, ни кареты не решались расчистить себе путь сквозь толпу: в воздухе чувствовалось возмущение. Громкие голоса требовали надписи; многие самовольно поставили бы ее, одни с хвалебным текстом, другие изрыгнули бы всю свою ненависть. Королевская стража препятствовала и тем и другим, в особенности по ночам. Люди короля сновали в толпе, они клялись, что это не он. Разве это его нос, у нашего настоящего короля Генриха он свисает до губ, а рот кривой. У нас совсем не такой красивый король.

А ему хочется быть таким, отвечали злопыхатели. У кого такая героическая осанка? Никак не у рогоносца и похотливого старика. Этот не стал бы преследовать нашу веру и не боялся бы войны. Тут инакомыслящим следовало бы признать, что они сами, а не король часто, очень часто вызывали войну. Они об этом позабыли, ибо в публичных спорах правда дается нелегко, не говоря о том, что она и небезопасна. Многие предпочитали потешать толпу за счет иезуитов; недаром святые отцы произносили изысканные проповеди, полные изящества и остроумия во вкусе двора, но малопонятные простому человеку.

В толпе очутился какой-то сумасшедший, было это ровно через две недели после установки памятника. Он по-собачьи лаял на коня под бронзовым всадником. Раньше он по очереди, в зависимости от обстоятельств, поносил то короля, то иезуитов, а теперь лаял у самого цоколя; его для потехи протолкнули вперед.

Швейцарская стража сочла его собачьи повадки разумнее многого другого и не стала ему мешать. Неожиданно он вскарабкался на цоколь и сперва обхватил ногу всадника. Потом вытянулся, стараясь сровняться с высоким латником, и выкрикнул, что он также гугенот и намерен призвать Божий гнев на столицу.

Играл он неплохо. Глаза его зловеще пылали, голос был глухой, каркающий, всем так и представился ворон на амвоне. Черная мантия безумного, для вящего впечатления, развевалась вокруг него. Когти его тянулись вдаль, где другим ничего не было видно; только пылающий взор одержимого обнаружил там кого-то.

К определенному месту где-то в толпе направлял он гнусные проклятия королю, его друзьям, врагам и всем сильным мира. В образе еретика проповедовал сам дьявол. Стражники были швейцарцы, в своем смущении они не уразумели смысла его речей. Прежде чем они собрались стащить безумного вниз, он уже спрыгнул в самую гущу толпы и с лаем пополз между ногами.

Там, где скопище было не так густо, он поднялся во весь рост. Какого-то человека, собравшегося уходить, он схватил за плащ. Его собственный плащ сильно топорщился, под ним не было видно, как он обнажил нож и держал короля под угрозой ножа добрую минуту. Король, однако, с такой силой вперил взгляд в глаза безумца, что несчастный не выдержал и закрыл их. Чтобы отнять у него нож, не понадобилось никаких усилий.

По знаку Генриха к нему подвели коня. Бледен был господин де Бассомпьер, а не король. Сидя в седле, он заметил двух капуцинских монахинь, которые во время процессий ловко разыгрывали гонимых. Бассомпьер приветливо передал им просьбу короля: чтобы они попросили своего духовника изгнать беса из одержимого.

Люди, державшие пойманного убийцу, громко возроптали. Тут нужен врач, а если сумасшествие окажется притворным, тогда виселица! Вот чего требовали они для убийцы, под одобрительные возгласы остальных горожан, которые передавали из рук в руки нож. Король не такой человек, чтобы утаивать покушение на свою жизнь. Он выкрикнул, сидя в седле:

— Дорогие друзья, вы уже многому научились. Отныне узнайте, что бывают трусливые бесы и они говорят правду, когда их изгоняют. Этот же, без всякого сомнения, открыто отречется перед вами от всех своих поклепов на меня, будто я преследую вашу веру, будто я жажду войны, и от клеветы, будто я рогоносец.

После этого поднялся неудержимый хохот, невозмутимым остался лишь бронзовый полководец с лицом короля. Сам же он тронул своего коня. Толпа кричала ему вслед:

— Бес во всем признается, ложись на нас. Иначе мы с ним разделаемся.

Король прищпорил коня и помчался вдоль берега. Не страшись!

Отчет

Когда мадам де Морней узнала, что ее единственный сын умер, господин де Морней протянул обе руки, чтобы поддержать ее, если она лишится чувств. Но это оказалось излишним, мадам де Морней не пошатнулась. Она сказала:

— Мой друг, я была подготовлена. Наш сын недаром воспитывался для ратного дела. Вы справедливо решили, что с девятилетнего возраста он должен не только учиться по-латински и по-гречески, но и развивать свое тело, наподобие атлета, дабы сделать наш век лучше, вместо того чтобы, уподобившись ему, самому стать дурным.

Слова ее звучали однотонно, но воля придавала ей твердости. Она глядела мимо господина де Морнея, его вид мог бы лишить ее мужества. Он с трудом прошептал:

— *Utinam feliciori saeculo natus* [* * * - О, если бы он был рожден в счастливый век (лат.)]. А где же счастливый век? Наш сын, рожденный для него, где он?

Она запретила ему задавать малодушные вопросы и сказала, что родители, подобные им, должны быть преисполнены благодарности, ибо земной путь их сына протек и завершился во славу Божию.

— Нашему Филиппу пошел двадцать седьмой год.

Здесь голос отказался ей служить. Господин де Морней подвел ее к столу, где

супруги просиживали друг против друга долгие вечера и каждый вечер проходил в разговорах о Филиппе де Морней де Бов, их сыне. Как он тринадцати лет, бок о бок с отцом, участвовал в осаде Рошфора; таково было волею судеб его первое впечатление от ремесла, к которому его готовили. Пятнадцати лет он был взят на службу принцессой Оранской; Голландия предоставляла юноше протестантской веры благоприятные условия для успехов на военном и научном поприще. А потом он отправился путешествовать. Король высказал намерение приблизить его к себе. Морней нашел преждевременным, чтобы его сын знакомился с нравами этого двора.

Он сам в юности своей был воспитан на путешествиях, сначала как изгнанник, позднее как дипломат. Изгнание подарило ему жену и сына. Оно дало ему возможность посвятить двадцать пять лучших лет своей жизни королевской службе. Его сыну следовало воспользоваться преимуществами, какие давало знакомство с Европой, не испытав одиночества тех, у кого за спиной нет родины. Он тоже отправился в Англию, как некогда его отец, но не униженным бедняком, знакомым с мистерией зла. Родители по вечерам за столом умилялись благосклонности высшего английского общества к молодому де Бову, дворянину-атлету, исполненному жизнерадостного познания. Отец послал его на франкфуртскую ярмарку для изучения вопросов хозяйства, он дал ему возможность посетить Саксонию и Богемию, прослушать лекции в знаменитой Падуе; но из Венеции он вызвал его в Нидерланды, чтобы сын с оружием в руках боролся за право чужого народа и за свободу совести.

Однако не война пресекла многообещающую будущность юноши, а скорее богословские споры его отца, которые снискали ему немилость короля, задевшую и сына. Она помешала его преуспеянию. И обстоятельства тоже перестали подчиняться счастью. Король разрешил господину де Бову набрать полк против Савойи, но тут противники заключили мир. Прошло еще три года, старика за это время сломали горести, а сын сторал от нетерпения. Король сказал:

— Он не молод, ему сорок лет. Двадцать — его настоящий возраст, а поучения отца прибавляют еще двадцать. — Устав от безделья, Филипп пошел снова добровольцем в Голландию. Там он и пал в бою.

— На двадцать седьмом году жизни, — сказала мадам де Морней своему супругу, который сидел напротив нее. — И все же не слишком рано, раз на то была воля Божия. Жизнь всегда достаточно долга, насчитывает ли она его годы или еще лишних тридцать лет.

Этим она назвала свой собственный возраст, и господин де Морней заметил, что сейчас она уже не так преисполнена благодарности, как вначале. Он принялся увещевать ее.

— Милая, любимая, ныне нам ниспослано это, ныне Господь испытывает нас, веруем ли мы в Него и покорны ли Ему. Так Ему угодно, мы должны молчать.

После чего мадам де Морней на самом деле умолкла и целый месяц, пока еще не слегла, не упоминала о ниспосланном им испытании. Для вида она носила благопристойный траур, без преувеличения. Но так как истинное состояние ее духа не находило иного выхода, оно вылилось в телесный недуг, который на этот раз не удавалось облегчить. Он, правда, мучил мадам де Морней с молодых лет, со времен несогласий, которые возникли между ней и священнослужителями вследствие проявленных ею мирских слабостей. Сердцебиение и другие признаки меланхолии мало-помалу стали для нее неотделимы от политических дел и общения с людьми. Особе высокого положения не пристало отказываться от своих обязанностей; кстати, мадам де Морней обладала как апломбом, так и деловитостью. Ей приходилось пускаться в ход то и другое во время частых отлучек супруга, который всегда опасался по возвращении застать жену тяжелобольной. Таким образом, господин де Морней хоть и уповал на Бога, однако научился верить и в медицину. В королевстве, по которому он много странствовал, ему были знакомы самые отдаленные уголки, где обитали сведущие аптекари. Он читал Парацельса [102. — Парацельс Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (1493–1541) — знаменитый немецкий врач и естествоиспытатель. Выступая против схоластики и слепого почитания авторитета древних, стремился создать медицинскую науку, основанную на опыте и наблюдениях.] и все, что знаменитый врач особенно советовал в подобных случаях: купоросное и коралловое масло, равно как и жемчужную эссенцию — все это с пути посылал больной.

Ранее лекарства помогали ей. Но в утрате сына ее не могло ни на один час утешить даже собственноручное письмо короля. Еще меньше облегчали ее скорбь другие выражения сочувствия, в большом количестве получаемые родителями, среди

прочих от принца Морица, господ Вильруа, Рогана, герцога Бульонского, мадам де ла Тремойль и герцогини Цвейбрюкенской. Печальнее всего было то, что материнские мемуары, предназначавшиеся для сына и имевшие целью явить перед ним пример отца, потеряли свой смысл. Господин де Морней застал несчастную женщину, когда ее руки тщетно пытались приписать к мемуарам хоть одно еще слово.

— Не могу, — сказала она. — Страдания не позволяют. Но там, куда за нами не следуют телесные немощи, я скоро, скоро вновь обрету его. — Этим она невольно выдала себя. Она хотела умереть, чтобы воссоединиться с сыном. С самого начала только это и таилось за ее сдержанной скорбью.

Высказав это наконец, она слегла, чтобы больше не встать. Муж ее понял, что она самовольно отреклась от обязанности жить, которую никто не может снять с нас. Он не осмеливался напомнить ей об этом; вид человеческого существа, которое не хочет быть по эту сторону жизни и уже не помнит о нас, вселяет робость. Суконные занавеси ее простого ложа были сдвинуты, оставляя небольшую щель, откуда свисала ее рука, бледная, серая, как давний снег, только жилки удивительно яркой синевы набухали на ней. По руке можно было бы судить обо всех телесных и душевных муках страдальцы, если бы даже не слышать ее стонов. Господин де Морней чуждой тенью стоял, прислонясь к голой белой стене, посреди нее виднелся крест, такой же черный, как его одежда. Мадам де Морней никогда не желала иметь в своей спальне иных стен, кроме выбеленных известью, как в храме. По ее положению ей пришлось повидать много богатых и пышных покоев. Но в самом укромном, где она чувствовала себя свободно, единственной прикрасой был свет отречения.

Однажды она призвала своего супруга и принялась выпытывать, каково заключение врачей. Верно ли, что ей следует теперь думать лишь о Боге. Со скорбью в душе он признался, что она в опасном состоянии. Но Господь всесилен, мы будем молиться о твоей жизни. Из его слов она ясно поняла, что смерть ее несомненна. Она открыто обрадовалась этому и тотчас обрела в себе силы выполнить последние обязательства. Она распорядилась, как известить членов семьи, что раздать слугам. Призвала пастора Бушера и сама указала места из

Писания, которые он должен читать ей, преимущественно псалмы, но ни одного не дослушала до конца – слишком много оставалось ей дела. Ей надо было ободрить всех слуг, которые стояли на коленях у ее постели. Все должны услышать, что она верит во всепрощение Божие и упование свое черпает из обетов Евангелия.

Однако, при всем ее ревностном благочестии, ей становилось все хуже, пока она в великой тоске не стала молить об избавлении. Задыхаясь, давась мокротой, она наконец сорвала с себя чепец. И тут на жалкое, искаженное, потное лицо упали волосы, все еще рыжеватые, вперемешку с белыми прядями. Из-за них-то пошатнулось некогда ее здоровье, затем последовали добровольные кары, а теперь она довела себя до того, что присутствующие в испуге попятились прочь. Слуги скрылись поодиночке, пастор посоветовал господину де Морней попросить у врача усыпительного средства – врача он пришлет сам.

Больная услышала последние слова, она принялась жаловаться, что пройдет слишком много времени, пока ее усыпят. Она мучилась, насколько у нее хватало сил, теперь довольно. У нее истощилось терпение и покорность, она, видимо, полагала, что умирающей их и не требуется.

– Я хочу остаться одна с Богом, – приказала она супругу, когда он вытирал ей лицо. На что господин де Морней громко окликнул ее, чтобы она пришла в себя.

– С Господом не встречаются случайно, – увещевал он. – Надо бороться за последнюю частицу жизни, она дарована им, и от нее, быть может, зависит вечное блаженство. – Тут же он напомнил ей о смертельной опасности, которой избегнул король по милости Неба и в силу собственной твердости. Это великий король, ему подобного христианство не знало последние пятьсот лет, и ему вдруг стал неведом человеческий страх, с тех пор он поступает простодушно, как младенец, хотя и с мудростью старца. Видишь, от последнего остатка жизни зависит вечное блаженство.

Мадам де Морней была настолько потрясена смелым сравнением с его королевским величеством, что перестала задыхаться и вмиг позабыла о своих страданиях. Она

приподнялась, обняла супруга, уверяя его, что будет терпеть вместе с ним; она больше не думает о том, чтобы малодушно уклониться.

— Наш сын сражался, пока не пал. Я не хочу усыпительного средства, под действием которого я безболезненно усну навеки. Пойди, мой милый, встретить врача, — потребовала она, меж тем как муки бросили ее назад на подушки.

Господин де Морней поступил, как она желала. Пока он у себя в библиотеке сообщал ученому медику, что больная чувствует себя лучше и без его помощи, из ее спальни вновь донеслись хрипенье и тяжкие стоны. Врач попытался проникнуть в спальню, однако господин де Морней преградил ему путь. Человеку, который слыл неверующим, невозможно было объяснить, почему умирающая не хочет принять от него средство более легкого перехода в иной мир. За это неприятный посетитель косо посмотрел на господина де Морнея и даже быстро оглядел полки с книгами, словно там могло быть спрятано что-нибудь недозволенное. В самом деле, взгляд его мог упасть на нечто подобное: на трактаты, осужденные парламентом и повлекшие за собой немилость короля. Господин де Морней отнюдь не обнаружил мужества, которое тут же рядом воодушевляло умирающую; он прислонился к опасным фолиантам, сдвинул их назад и принудил врача покинуть дом. Он сказал, что в спальне находится некая высокая особа и не желает быть потревоженной.

Его объяснение могло показаться правдоподобным, ибо мадам де Морней как раз начала говорить. Она говорила с перерывами, вначале язык плохо повиновался ей.

— Узнаю тебя, Господи. Готовится пиршество. Вот вступает музыка. В ярком свете появляются гости. Влизится Господин дома сего.

Ее супруг тщетно заглядывал в комнату, где темнело. Сам он не видел Господа, чувствовал себя незванным, обездоленным и только отдаленно угадывал ответы, следовавшие за ее словами.

— В Твоем доме, о Господи, много жилищ. Прими меня к себе.

— Что ты свершила?

— Я во имя Твое пошла в изгнание... Я каялась в своей мирской суетности и от укоров совести заболела неизлечимым сердцебиением.

— Не забудь лучшего.

— Я отдала Тебе мое дитя. Я защищала моего мужа даже перед королем.

— Не забудь последнего.

— О! Не это ли последнее? Я пожелала без смягчения своих мук ждать, пока Ты
придешь.

— Ты принята. Возвеселись на Моем пиршестве.

Тут умирающая, очевидно, избавилась от всех своих страданий, включая и сердцебиение, вздохнула полной грудью и запела, тихо подпевая тому, что слышала; хоры голосов и незримых инструментов задавали ей тон.

Незванный соглядатай уловил лишь одно — что все здесь молоды, ибо и жена его помолодела, судя по звукам, исходившим из ее груди. Он чувствовал себя старым, слишком усталым для пиршества; он не мог повиноваться, когда его позвали. Его жена крикнула:

— Филипп! — Голос звучал ясно и молодо, в нем было неосознанное очарование, как на заре жизни. Он никогда не знал ее такой, они встретились изгнанниками. —
Филипп! — ликовала она; тут он понял: она лежала на груди сына.

Когда она умолкла, он вошел к ней с подсвечником в руках, и что показало ему пламя свечей? Его жену, ставшую вновь молодой спустя долгие годы. Она была в полном сознании и неизъяснимо прекрасна. Она шепнула ему:

— Вот оно наконец. Будь мужествен и тверд, не сдавайся. Блаженство приходит на краю могилы.

Перед тем как испустить последний вздох, она сама закрыла глаза, которые так и остались закрытыми. Блаженство приходит на краю могилы, а потом ничего. Диалектика вечности, ваше величество, вы были правы, отвергнув ее. Поверьте лучше тому, кто слышал, видел и по высочайшему повелению дает отчет.

VIII. Великий план

Слова к чужим

Король был одет с небывалой пышностью, когда швейцарцы явились возобновить союз. По пути в столицу многие оказывали им гостеприимство, богаче и щедрее других господин де Вильруа. А в Париже гвардейский полк был построен от дворца до улицы Сент-Оноре. Вдоль парадной лестницы дворца стояли солдаты, по двое на каждой ступени, и между ними не без гордости поднимались швейцарцы. В большой зале Лувра они увидели двойные шпалеры шотландцев; этим им наглядно показывали, что король Франции располагает как собственными, так и чужеземными войсками. И сами они – не единственные его друзья.

Зато они были очень старые друзья по битвам, договорам и прибыльным сношениям. В прошлой войне с Савойей король спас их пограничный город Женеву. Герцог де Монпансье с избранной свитой встретил их, граф де Суассон приветствовал их. В приемной короля их ждал принц Конде, он провел их к его величеству, восседавшему на троне. Его величество поднялся, снял перед ними шляпу. На черной с белым шляпе была алмазная пряжка неслыханной ценности, еще больше алмазов усеивало перевязь. Швейцарцы готовы были целовать руку короля хотя бы из-за одного этого внушительного богатства, не говоря о всем прочем. Правая рука короля была опущена, и каждому швейцарцу, который целовал ему правую, он клал левую на плечо, что было им в высшей степени лестно.

Речь от них держал Загер, адвокат из Берна. Толмачом служил адмирал де Вик[103. – Вик Доминик де, виконт д'Эрменонвиль (умер в 1610 г.), – один из старых боевых друзей Генриха IV.], – моряку скорее понятны наречия разных народов, а в случае чего навык поможет ему угадать смысл. Король отвечал кратко, но весьма складно, они были в полном восторге. На многочисленных празднествах, которые были затем даны в их честь, отсутствовал лишь кардинал Парижский, под тем предлогом, что среди швейцарцев много еретиков. Король поднял его на смех. И в пику ему приказал на славу разукрасить церковь Нотр-Дам – прекраснейшая месса была пропета в соборе Богоматери. Сидя на коврах, затканых лилиями, поставив ноги на турецкие ковры, союзники короля клятвенно подтвердили свою испытанную верность. Духовному концерту вторил из арсенала гром пушек господина де Рони.

Швейцарцев поили и кормили лучше, чем всех других иноземных послов.

Французский двор заключил по их сложению, что никакие почести не заменят им поварню и погреб. Стоит поглядеть на потешную братию – лица красные, широкие зады – так и представляется большущая бочка, налитая до краев богом Бахусом. Швейцарцев посадили за королевский стол в ряд по чину и достоинству. Напротив каждого сидел кто-нибудь из знатнейших придворных кавалеров. Барабаны, флейты и другие инструменты оживляли беседу, и тосты произносились часами за короля, за королеву, господина дофина, за крепость союза, затем снова за благополучное разрешение королевы и так до бесконечности.

Их величества обедали в отдельном покое, но, откушав, показали гостям. Королева осталась на пороге, она хотела посмотреть, как часто эти люди осушают бокал. Король выпил с ними, он подивился на одного из граждан швейцарского союза, у которого было подвязано брюхо, а другого, столетнего старца, он заставил рассказать о былых битвах его отдаленных предшественников. Пять часов высидели они, после чего, сытые и довольные, отправились на ночлег. Пока они храпели, пушки в арсенале вторили им.

Это были швейцарцы, испытанные друзья, почти что подданные. Но вот Любек, город на берегу Балтийского моря, глава могущественного Ганзейского союза [104. – ...Любек... глава могущественного Ганзейского союза... – Ганза – торгово-политический союз северонемецких городов в XIV-XVII вв. Ганзейские города были торговыми посредниками между востоком, западом и севером Европы. Любек, находившийся на скрещении путей, ведущих в Германию, был одним из крупнейших центров Ганзейского союза. Покровительствуя внешней торговле, Генрих IV заключил в 1607 г. торговый договор с Ганзой.], в это же время посылает ко французскому двору своего бургомистра Рейтера, ратмана Веста, нескольких богатых купцов и опытных законоведов, в сопровождении конной стражи и магистратских писцов, которые в открытых повозках следовали за каретами господ. Предлогом служили торговые привилегии, которых они добивались от Испании. Привилегии были вскоре утверждены в Мадриде, чему послужил толчком визит, который ганзейцы нанесли в первую очередь королю Франции, весьма озадачив кое-кого.

Тронулись они в путь в конце ноября 1606 года. Они ехали и ехали, пока не

прибыли, и двадцать девятого января следующего года король Генрих принял их.
Гостям с севера явился совершенно иной король, ни единого украшения на его строгой одежде. Даже самый Лувр притушил свой блеск. Гвардейцы стоят шпалерами, на прием явилось меньше дворян, нежели членов королевского парламента и пасторов. Переговоры ведутся по-латыни. О мессе даже речи нет, так же как об услаждении слуха и других роскошествах. У новых гостей, в противоположность предшествующим, серые суровые лица и тяжелый костяк, скудно прикрытый мясом; они говорят неискусно и, кажется, никогда не смеются.

Эспаньолки, удлиняющие и без того длинные лица, черные одежды, вокруг шеи пышные брыжи, на груди ратманов цепи червонного золота, — разве не те же это надменные испанцы, только с другого конца материка? Король направляется к ним мерным шагом, у каждого спрашивает имя и запоминает его, так же как и внешние различия. Каждому протягивает он руку и отнюдь не ждет, чтобы ее поцеловали. Затем отступает от них на определенное расстояние и подает знак, что стоящий впереди может говорить. Это бургомистр Рейтер, и придворному красноречию он не обучался. Он деловито объясняет, что христианству грозит жестокая война. Она уничтожит торговлю и прежде всего вынудит к бездействию любекский флот, а протестантская религия претерпит новые гонения. Они уже начались, и торговые пути тоже стали небезопасны как на воде, так и на суше. Ганза понимает, что все смуты в мире исходят от императорских приспешников, которые равно не уважают разумную веру в Бога и мирный обмен товарами. По неведению и ложному рвению, отрицая право на свободу торговли и свободу совести, кои дарованы нам Творцом, Габсбург злодейски разжигает войну — она же будет его погибелью, сказал бургомистр; впервые возвысил он голос и расправил грудь, отчего звякнула его золотая цепь.

Король пристально поглядел на него. Он знал, что этого человека именуют ваша светлость, он глава государства, чье могущество намного превышает пространственные размеры. «Он приехал издалека и, надо полагать, обдумал — зачем. Когда он кончит речь, как отвечать ему, много ли сказать? Я не желаю войны, это первое».

Бургомистр напомнил королю о договоре, который он три года назад заключил с Ганзой. Тогда предметом договора была совместная оборона против морского разбоя. В северных водах им занимались английские корсары. С тех пор зло было пресечено благодаря союзу королей Франции и Англии. Ныне же не случайные пираты побуждают вольные города отправлять своих послов к прославленному властителю, а его Великий план спасения христианского мира, весть о котором дошла до них. Каково бы ни было расстояние. Великий план короля Франции проникает повсюду, хотя дипломаты почти не упоминают о нем в своих докладах, иначе эти доклады походили бы на сказку.

— В чем он заключается и что государь соблаговолит нам доверить? — спросил Рейтер напрямик.

Генрих прежде всего оглянулся на две фигуры позади него, слева адмирал де Вик, справа Рони. У них были лица, по-военному безучастные ко всему, кроме приказов. В этом деле Генрих был одинок. Он принял решение, вперив свои широко раскрытые глаза в переносицу чужестранца. Башмаки у него ради торжественного приема были на непривычно высоких каблуках. Но нечто другое сделало его равным по росту иноземным гостям: его статность и гибкость, высоко поднятая голова и глаза, которые ничего не страшатся.

Король заговорил было, но снова закрыл рот. Ожидание, тишина, он размышляет: почему, собственно, он верно понял раскатистую латынь бургомистра, когда в устах француза она звучала бы совсем иначе? Внезапно у него вырвалось старое, привычное проклятье: он нашел. Прибегни к латинскому диалекту твоих Пиренеев. Постарайся, насколько возможно, выбирать классические обороты, а главное, положить на родной язык: они поймут тебя! Он начал:

— Я приветствую вашу светлость. Я вижу, что столько представителей вашего достославного союза предприняли трудное путешествие единственно из дружбы. Я питаю те же чувства. Вам ненавистна война, которая близится к христианским странам и захватывает их одну за другой. Я не хочу войны.

Король остановился. По его знаку внесли стулья; послы оставались на ногах

из-за важности сообщений, которые, быть может, им предстояло услышать.
Генрих повторил непривычным голосом и сам подумал, что это голос его возлюбленной матери Жанны:

— Я не хочу войны. Война не должна уничтожить ваши свободы и грозить моему королевству. Избави нас от лукавого, молимся мы и будем услышаны Всесильным, ибо сами мы сильны. Через моего адмирала де Вика до стран севера донеслись мои подлинные слова, и вам стало известно, что я здесь и что я начеку. Мой посол де Вик сказал вам, что я держу меч не ради собственной выгоды и не ради одной мирской пользы. Я достаточно силен, и, хотя бы другие начали войну, я не хочу ее.

«Трижды, — думает Генрих, — скажи им это трижды, и довольно».

— Знайте же, что у меня не только самое большое войско и много хороших кораблей. Важней всего, что у меня сторонники во всем мире. Государства, как люди, примыкают к тому делу, которое обещает им благо, и я в силах сдержать это обещание. Из всех моих союзников назову вам Голландию, такую же республику, как ваша, и Швейцарскую федерацию, союз, подобный вашему.

Он пропускает папу и других, с кем договаривался тоже; этим протестантам, надо думать, все известно, но о многих именах они умолчат так же охотно, как и он сам. Зато он возвысил голос, чтобы упомянуть Англию, Венецию, снова Нидерланды, Скандинавию, протестантских князей Германии, Богемии, Венгрии.

— Вы видите, что я не был праздным. — Это и последующее он подчеркнул особо, не спуская при этом глаз с его светлости. — У всех моих союзников вкупе еще больше солдат, чем у меня; столь мощного войска еще не видывали в Европе. Не говоря уже о количестве и сокрушительной силе моих пушек. Мой начальник артиллерии, герцог де Сюлли, покажет вам их, а также и мою золотую наличность на случай войны — мало у кого имеется равная ей. Все, вместе взятое, в первую очередь имеет целью отпугнуть захватчика и добиться мира, так как по сию пору это дано лишь неоспоримо превосходной силе.

Генрих понижает голос, он неожиданно переходит на доверчивый тон с

чужестранцами, которых считает скрытными и расчетливыми. А если они и проговорятся, это лишь пополнит неправдоподобные легенды, которые и без того ходят о нем.

— Мой Великий план понятен вам, высокоумные господа. Он исходит из расчета, что мир, достигнутый путем вооружений, обходится чересчур дорого. Вы люди торговые, но и мы смыслим в счетоводстве; господин герцог де Сюлли тут не уступит вам. Мир окупит свою цену, если издержки лягут не на одних нас, а на все христианские государства вместе. Я и мои союзники сумеем доказать всем странам, в чем их выгода и их безопасность. Только лишь в союзе народов.

Выражения лиц показывали ему, что произнесено неслыханное слово; он предвидел их сомнения, прежде чем высказал его. Многие переступили с ноги на ногу, там и тут послышался шепот, кто-то шумно уселся. Генрих переждал, пока утихнет движение. Затем промолвил привычным голосом, только с необычайной внушительностью:

— Если, по словам его светлости, только война свергнет властолюбцев, тогда мы первые должны бы взяться за оружие. Но мне известно лучшее средство — оно зовется правом. Пятнадцать государств христианского мира будут заседать в совете, которому надлежит улаживать их распри и устанавливать наши совместные мероприятия против неверных, что грозят востоку Европы. Дом Габсбургов, который его светлость назвал властолюбивым, будет рад, если войска союза народов придут ему на помощь. Зато союз установит точные границы государств. Прошло время возмущать чужой покой и по произволу наново делить страны просвещенного мира, как будто они случайно стали тем, что есть. Они таковы только волей истории, у которой было время настоять на своем. И вероисповедания должны иметь незыблемые границы, подобно государствам. Снова религиозная война? Никто из государей не знает ее лучше меня, — воскликнул Генрих тем голосом, который появлялся у него перед сражением: то был боевой тон команды, поднимающий дух. — Я знаю религиозные войны. Пусть кто-нибудь осмелится вновь накликать их, пока я жив!

— Пока я жив, — услышал он шепот.

Странно, человек, который сел от удивления, теперь вскочил и по-французски

произнес эти три слова. А на глаза у него навернулись слезы. Сейчас настал черед Генриха удивляться. Однако он и виду не подал; дальнейшее он произнес отеческим тоном, и звучало оно вполне естественно как наставление, на которое дает право опыт и знание. Только раз он пожал плечами; удивления достоин был не сам Великий план, а то, что простая истина доступна ему одному, остальные же постигают ее пока лишь наполовину.

Пятнадцать христианских государств заключают союз — вот что хотел он внушить купцам, ибо они ездили по морям и могли оповестить мир, ничем себя не связывая, до всяких дипломатических шагов. Но поверит ли мир? Все равно. Шестнадцать наследственных монархий, он перечислил их. Шестнадцать суверенных держав, избирающих себе главу, начиная с папы и императора и кончая Богемией и Венецией. Из республик король Франции, разумеется, упоминает Нидерланды и Швейцарию, но он называет и третью, о которой никто не подумал: Италию, ее объединение мелких княжеств. Пятнадцать христианских государств заключают союз; и так как союз народов будет обладать вооруженной силой, чтобы покарать всякого захватчика, то будет мир.

— Внутренняя независимость каждого государства и внешняя его неприкосновенность, свобода веры, незыблемое право — вот вам мир, который окупает свою цену.

Готово. Он отвел глаза от своих гостей, чтобы они лучше прониклись тем, что услышали. Он заговорил с господами де Виком и Рони; расстояние строго отмерено, чтобы можно было слышать толки чужестранцев. Они говорили между собой, что до их сведения доведены высокие идеи, глубокомысленные выводы, хотя все это пока и неосуществимо. Может статься, в отдаленные времена... Но как далеко должно быть то время, когда настанет вечный мир. Народы всегда будут покорны, а власть имущие — ненасытны. Надо признаться, мы и сами таковы, недаром нам закрывают торговые пути.

Король попросил господина де Вика быть толмачом, ибо моряк знал всякие наречия. Тут кто-то сказал:

— У этого достанет силы осуществить свой Великий план. Он часто побеждал.

Он должен победить снова.

— Ого! — вскричал король и рассмеялся, оттого что его разгадали. — Не забудьте про мои пушки, они прочистят уши пятнадцати христианским государствам.

Покажите путешественникам мой арсенал.

Он взял за руку начальника артиллерии и адмирала и, стоя между ними, отпустил чужестранцев. Вот подходящие для них провожатые, незачем им смотреть на него как на мечтателя, он в облаках не витает. Не говорите: горние выси — вот где блуждает этот человек. Говорите лучше: его путь был долог, был неизменно труден, но он пройдет его до конца.

Одного из них он подзвал кивком и принялся расспрашивать, пока другие направлялись к выходу. Этот человек вначале от изумления не совладал с собой, а потом прошептал три французских слова. Под конец он сказал: у этого достанет силы. Король спросил:

— Ратман Вест, почему вы плакали?

Вопрошаемый отрицательно покачал головой. Он словно все позабыл — только веки у него были опущены слишком долго. Когда он поднял их, спокойствие вернулось к нему. Он прижал подбородок к груди и этим прощанием ограничился.

Затем он попятился к двери, вперив взор в глаза короля. Ответа он так и не дал.

Давид и Голиаф

Шведский посол при французском дворе звался Гроций[105. — Гроций Гуго де Гроот (1583-1645) — голландский ученый-юрист, историк и дипломат. Идеолог ранней буржуазии, один из основоположников буржуазной теории естественного права.] и был ученым с мировым именем. Король Генрих пригласил ученого до того, как тот получил официальную должность. Временами он запирался с господином Гроцием неизвестно для чего. Двор подозревал протестантский заговор против христианского мира. С таким же враждебным недоверием встречались и остальные его поступки, приемы чужеземных делегаций, вроде ганзейской; не менее подозрительны были его собственному двору военные приготовления короля. Его суждение о прирейнских герцогствах, которым не бывать габсбургскими, обратил в предательское оружие против него не кто иной, как его министр Вильруа.

По Европе то и дело распространяли обвинение, будто захватчик — он, и от него одного исходит опасность великой войны. Народы этому не верили. Они видели и ясно чувствовали, кто доводит до предела тяготы их жизни насильственным присоединением к своей религии, пыткой, хищениями детей и добра. Немцы, у которых нечисть разгулялась вовсю, создали королю Франции славу спасителя. Он беспристрастен, сторонникам обеих религий готов он даровать право исповедовать свою веру, не боясь за свою жизнь. Но ведь мнение света исходит от грамотеев, спрашивается только, кому они угождают. Они умеют одинаково убедительно доказывать как истину, так и ложь, а происходящее у них на глазах вряд ли побуждает их к прямоте. Однако всем известно имя Гроция, и это-то светило международного права будто бы состоит советчиком при короле Франции, что отнюдь не говорит о бесчестных замыслах. Осторожно, тут можно поплатиться собственной репутацией!

При дворе императора толковали:

— Пусть он владеет империей. Пусть будет истинным римским самодержцем, а папе оставит лишь его сан. — Так говорили между собой, а не ему в глаза, как прежде, когда искушали его.

Неотразима бранная слава, если вдобавок она вооружена мечом духа. Обвинения, имеющие целью убедить Европу, встречали недоверие и отпор. Неточное представление о Великом плане делало его и заманчивей и страшней для одних и тех же людей. При дворе императора склонялись к тому, чтобы сложить оружие, и не только с тех пор, как оно стало бессильным. Но, возможно, оно и теряло силу оттого, что упование, непонятное всем и называвшееся Великий план, увлекало даже врагов короля Генриха — и они начинали колебаться.

Курфюрст Саксонский приказал в своем присутствии произнести проповедь об очевидном сходстве короля Генриха с Давидом, побивающим Голиафа. В Швейцарии вышла книга «Воскресение Карла Великого». Жители Венеции бросались вслед каждому французу.

— Ты видел его? — кричали они. Мало того, даже иные испанцы уповали на него.

Его тогдашнее положение разительно напоминало наблюдателям первые его шаги, когда молва отнюдь еще не избрала его королем всей Европы; она в лучшем случае

именовала его королем Франции. Но и это в ту пору было неверно, ибо повелевал он, пожалуй, лишь там, где стояло его войско. За короля была мысль королевства. Теперь за него Великий план, который приобретает некоторую правдоподобность, хотя по-прежнему остается непонятен. Все попросту думают, что его войска победят, так как они к этому привычны. Его собственный начальник артиллерии только в этом и убежден. Он записывает мысли своего государя, невольно искажая их. Он видит одно: «Король готов ринуться в бой, чем скорее, тем лучше, остальное уж наша забота. То, что он измышляет с господином Гроцием, то, что он однажды доверил чужеземным купцам, да и сам я непрестанно узнаю о новых затеях, хоть и с опозданием, — все это в конце концов фантазия. Но королю, который много действовал, разрешается пофантазировать. Мы же все старательно запишем на случай, когда он, пусть нехотя, потребует нашего согласия. Оно ему обеспечено. А проще всего — ринуться в бой».

Для решительного и короткого удара, по мнению начальника артиллерии и короля, более всего подходили Нидерланды. Война откладывалась, самому Рони пришлось признать существенность помехи, когда Нидерландские Генеральные штаты заключили самостоятельное перемирие с Испанией. Это был встречный удар со стороны Габсбургов, так как Европа явно собиралась упасть в объятия своего спасителя. Король Франции отмечает неудачу — не в глазах народов, которые без ума от него, и больше всех самые дальние. Но державы видят, как ближайший из его союзников устраняется еще до испытания.

— Сир! Ваша победа была бесспорна, — сказал Рони. — На мой взгляд, она обеспечена и сейчас, хотя бы и остальные ваши союзники имели поползновение последовать примеру принца Оранского.

Отсюда король заключил, что лучше подождать благоприятных перемен. Их не будет, он это знал. Твой успех достиг предела; не жди, чтобы он ослабел! Что такое в конечном итоге твой успех? Собственная готовность, которая излучается из тебя. Власть твоего духа такова, что перед тобой больше нет равнодушных. Друг или враг — все одинаково пленены. Но власть духа труднее всего растянуть надолго. Не упустит минуты! Будь в движении! Теперь или никогда начинай свою

войну, иначе она проиграна заранее.

Генрих, по натуре подвижной, с этого времени все чаще посиживал. Кабинет его был буквально заполнен мыслями, которые возвращались непрошено и вновь проходили весь свой путь. Он не хотел сознаться, что кабинет был для него прибежищем от его двора, ближайшего из дворов Европы, а потому самого недоверчивого. Здесь сомневались в короле, ибо знали человека, или дерзали судить о нем, каждый по своему ничтожному опыту, который, однако, был привычен и проверен. Король – закоренелый игрок, старый волокита и нечестивец. Такой неутомимый ум опасен в любом государе, а тем более в том, для кого нет ничего святого. Он разрушитель от рождения. Если бы он двадцатилетним юношей в Варфоломеевскую ночь встретил смерть, незачем было бы искать ее теперь в войне против целой Европы.

Он возвысил простонародье, унизил вельмож и, будучи первым, кто презрел наследственные права, сам отступник, карает за отступничество, казнит маршалов, отнимает у князей их княжества. Выставляет посреди Нового моста свою собственную статую, чтобы чернь поклонялась ей. Чернь – это его протестанты, неизменные участники всех его бесчинств. Едва бы его не стало, как наступил бы мир и покой. Королевству сверх меры прискучило грозить христианским странам и быть для них страшилищем. Скорей бы конец этому владычеству! Регентство королевы – вот что нам нужно. Тогда восстановится порядок и у нас и во всем мире.

Все это, по приказанию свыше, говорилось с амвона. Как было некоторым мирянам не поддаться на такие речи. Произносились они с камней на перекрестках перед толпами народа, однако народ был научен другому. Он сохранил память о делах короля Генриха, против которых всякие слова – пустой звук. Люди делили с ним любовь к родной стране. Трудно было очернить перед ними всеобщее благополучие, так, же как государственную веротерпимость, ибо и то и другое достигалось долгими трудами. Без него они и не пытались бы чего-либо добиться, он же действовал за них. Простой люд, ремесленники и прочие обитатели парижских улиц, держали тайную связь с королем Генрихом: правда, случалось, что они забывали о ней. Ораторам на перекрестках нередко удавалось стяжать у них успех. Так было однажды, когда король, возвращаясь с охоты, очутился в толпе.

Она загородила улицу де-ла-Ферронри возле одного дома — на нем вывеска, где увенчанное сердце пронзено стрелой. Подкупленный оратор на придорожном камне хрипло лаял, горло у него было разъедено болезнью. Прежде он в качестве судейского писаря брал взятки с обеих сторон, но был уволен не за это, а потому, что заразился дурной болезнью. Теперь он проедал по харчевням, что успевал набрехать, хотя голос временами совсем отказывался ему служить. Тогда он высовывал язык на целый локоть, пускал в ход еще другие ужимки, а потом вновь начинал каркать и обзывал короля похотливым стариком. Промышлял он этим за счет герцога д'Эпернона, того самого, который ехал сейчас бок о бок с королем. Кроме того, короля сопровождал герцог де Бельгард. Далее, в карете, окруженной дворянами, следовала королева; вместе с ней на подушках сидела маркиза де Вернейль, ибо обе дамы успели столкнуться.

Д'Эпернон не ожидал никого увидеть на придорожном камне. К тому же он был туг на ухо и сведен подагрой. Но, узнав им самим подкупленного плута, он все же не растерялся и пришпорил лошадь. Однако это ему не помогло. Плут совсем лишился голоса, зато какая-то женщина затянула песню. Песню короля — едва она зазвучала снова, как все подхватили ее, она не была забыта. И самому королю ничего не оставалось, как придержать коня.

— Блеклый Лист, — сказал он, — нам как будто уже случалось слышать это. «Прелестной Габриели — последнее «прости», за славой к сладкой цели, за бедами пути».

Песня несется над толпой, подобно псалму. Расстояние между всадниками, которые остановились, и продолжавшей ехать каретой вскоре было наवरстано. Королева в ярости приказала кучеру: вперед. Посторониться было некуда; королю пришлось снова тронуться в путь. До него доносилось все отдаленнее, все тише: «Жестокое прощанье, безмерность мук, умри в груди страданье и сердца стук».

Король скакал быстро, все быстрее; все отстали, кроме его обер-шталмейстера.

— Д'Эпернон, — приказала королева пожилому кавалеру, который угодливо сунул голову к ней в окно, — прикажите засадить в тюрьму столько наглой черни, сколько удастся изловить.

Кавалер много раз переспрашивал «как» и «что», прежде чем понял, и заверил ее величество, что распоряжение уже дано. Затем пришел черед маркизы: она всякому умела надорвать душу, что нетрудно для особы, у которой до конца жизни ломается голос.

— О себе я не думаю вовсе, я привыкла к обидам, слезы — моя пища. Лишь судьба вашего величества тревожит меня, мне очень страшно. От государя, поступающего так жестоко, как мы только что видели и слышали, можно ждать всего. Жутко вымолвить, на карту поставлена жизнь королевы. Господин д'Эпернон, изобличите меня во лжи, я на коленях возблагодарю вас.

— Как? Что? — спрашивал подагрик. Он перегнулся в седле со всей возможной угодливостью, которая вообще была свойственна ему, если не считать, что на уме у него было убийство.

Сподвижник короля и его любовница в последующем заговоре играют главные роли. Д'Эпернон получил предостережение, начальник артиллерии не спускает с него глаз, он уже поймал Бирона и Тюренна, не упустит и его — если не забежать вперед. То же, раз и навсегда, решено в злобной головке юной Генриетты. Что бы ни обрушилось на Генриха, все заранее предусмотрено дряхлеющим вельможей, чьи последние привилегии под угрозой, и женщиной, которая предъявляет королю не меньшие обвинения. Остается лишь внушить королеве, что это необходимо; она еще не знает, что именно. Никаких опрометчивых шагов — теперь бы она еще испугалась и покаялась супругу. Лишь бы удалось довести ее до того, чтобы она выслушала — он должен умереть — впрочем, можно не беспокоиться, дойдет и до этого, а высказанное слово равносильно делу.

Карета ехала теперь медленно, по желанию королевы, которая больше не спешила. Улицы пустели, наступило время садиться за ужин, надвигались сумерки.

В другое окно с Марией заговорил ее кавалер для услуг Кончини. Его она ненавидела за то, что он не спал с ней, но любила его, когда он сидел на коне.

Слишком он был красив, с этим она не могла совладать. Она открыто играла роль его дамы на турнирах, где он сражался за нее. Это были попросту состязания с кольцами, смешно и только. Король в самом деле смеялся. Если же он и чувствовал стыд, то об этом слышал один Рони.

Лакей, которому так бессовестно повезло, как Кончини, не без труда придает своей наглой физиономии смиренное выражение. Он старался изо всех сил, разговаривая с королевой, он сокрушался о короле.

— Его вероломные друзья предложили ему убить меня.

Мария приглушила свой зычный голос.

— Если он отважится на это...

Все затаили дыхание — вот сейчас слово будет произнесено ею самой, и не понадобится никаких трудов, но она сказала:

— Тогда я готова к тому, что он отравит меня.

Больше ничего; лишь одна мысль, которая давно посетила ее убогий мозг, казалось, засела в нем неистребимо крепко. «Она непозволительно глупа», — думала маркиза, сидя рядом. «Никак не ожидал, что с особой из дома Медичи будет столько возни», — заключил д'Эпернон, когда разобрался во всем. Неизменный лакей, по другую сторону кареты, закусил белыми зубами стебелек цветка и ухмыльнулся.

Отцовские радости

Генрих спешил перед караульной Лувра. Когда он повернул из сводчатых ворот, кто-то сильно толкнул его; извинения не последовало, правда, было темно.

Бельгард, который шел позади короля, задержал грубияна, обозвал его подходящим

именем и спросил, разве он не знает короля. Неизвестный отвечал, что даже и в

темноте разбирается, кого следует узнавать. После чего он был брошен на землю,

а когда поднялся, подоспела стража.

У себя в кабинете Генрих увидел своего первого камердинера.

— Посмотри-ка на мое левое плечо.

— Сир! Ничего не видно, — сказал господин д'Арманьяк. — Если же у вас чешется плечо, попросту раздавите клопа.

Генрих ответил:

— Старые дворцы всегда полны всякой дряни, надо немедля приступить к очистке.

Д'Арманьяк вздохнул. Про себя он подумал без метафор, что его государь в

невыгодном положении перед своими злыми недругами, ибо внутреннее благородство обезоруживает его. «В нашей юности мы были на волосок от того, чтобы укокошить герцога де Гиза, чего он впоследствии не избежал, когда слишком возвысился. Теперь мы выше всех и питаем к мелкой сволочи недопустимое пренебрежение. Она нам этого не простит. Мелюзге обидней всего, когда ее щадят из внутреннего благородства. Лучше бы мы жили в своем низменном Луврском дворце, а не в Великих планах или в горних высях».

Так размышлял старик без метафор, поскольку предмет размышлений мог обойтись без них. Непрерывно вздыхая, он удалился, ибо заметил, что его господин впал в раздумье. Генриху просто слышалось пение. «Песня прозвучала на улице, как некогда. Дофин уже большой. Мертвая спит уже давно. Однако, когда мне впервые были возвещены краткая война и вечный мир, пятнадцать государств и прочный порядок в Европе? Когда я сказал, что хочу это осуществить, хочу низвергнуть царство мрака? Однажды в парке Монсо был фейерверк. Сидя подле моей бесценной повелительницы, я увидел колесо, которое рассыпало серебряные искры, а над ним парил лебедь. Все мое внутреннее небо пламенело тогда, я увидел свободный союз королевств и республик. С того часа целью моей стало, чтобы народы жили и чтобы, взамен живого разума, не терзались от злых чар во вспученном чреве вселенской державы, которая поглотила их все. Вот подлинный источник моего Великого плана. Довольно отвлеченный, но в конечном итоге каждое озарение приобретает трезвую основу. Теперь господин Гроций разбивает его на параграфы, а Рони вычисляет его.

Сначала я уклонился от Великого плана, позабыл о нем, изгнал его в горние выси, которые не от мира сего. Он развивался помимо моей воли, претерпевая разнообразные видоизменения. Правда, в то время я был обременен множеством начинаний, правильных и ошибочных. Изо дня в день приходилось мне творить добро и зло. Дела скоры, но бесконечны их следствия. У меня умерла возлюбленная. Многие умирали, либо я убивал их. Верно, как измена Бирона, что теперь я живу среди одних лишь изменников в моем Лувре, который стал нестерпим. Господин Кончини собирается приобрести княжеское владение стоимостью в несколько

миллионов. Кому бы поручить предостеречь его? Мне самому это не к лицу:
народам
и дворам непривычно видеть меня в роли обманутого, который просит только
о
соблюдении внешней пристойности.

Они видят меня вооруженным до зубов, в союзе со всем миром, и если я даю
время моим врагам перевести дух, то это моя особая милость. Изю дня в
день
милую я собственную королеву. Она держит руку заговорщиков, хотя преемник
ее
дяди во Флоренции связан со мной договором. Все заключили со мной
договоры и
выполняют или нарушат их в зависимости от того, буду ли я жить, или нет.
Но я
буду жить, ибо Великий план стал прочной действительностью: не я измышлял
ее,
она создана природой. Мы не умрем. У кого есть время созреть, тот
познает, что
будет впоследствии, хотя бы его самого уже сто лет не было на свете. Я
же, с
помощью Божией, осуществляю все, — однако должен выждать немного, прежде
чем
ринуться в бой. Кончини я велю предостеречь».

И он немедленно препоручил это герцогине де Скулли, даме, которой, как ему
казалось, было обеспечено почтительное послушание всякого, по причине ее
разительной суровости и еще потому, что ее супруг внушал страх. А вышло
все
по-иному. Мадам де Скулли, во избежание соблазна, направилась не к
придворному
кавалеру королевы; она обратилась к самой королеве, впрочем, со
всяческими
предосторожностями, королевское величие ни в коем случае не должно быть
предметом сплетен. Это вызвало бешеный гнев кавалера, или чичисбея. Он не
потрудились сам отправиться к даме, а назначил ей явиться в Луврский
дворец,
словно тот уже был его собственностью. В присутствии королевы он устроил
чопорной протестантке гнуснейшую сцену. Смешная старая карга, она, должно
быть,
имеет виды на него. Пусть доложит своему королю, что здесь на него плюют;
при
этом Кончини метался, словно дикий зверь, и лицо у него было как у
хищника.
Чтобы он да испугался короля? Ничуть не бывало. А королю лучше сидеть
смирно,
иначе с ним стрясется беда.

Дама сохраняла полное хладнокровие, она стыдилась его непристойной
разнузданности. Лакей продолжал бесноваться, когда она уже удалилась.
Просто
неслыханно, чтобы человек осмелился возмутиться против рыцаря своей
жены — и

вдобавок какой человек! Король заблуждается насчет себя и своего положения.
Повсюду только и рассчитывают на его смерть, ничего не стоит убрать его.
Регентство королевы – для посвященных оно уже наступило.

Все это она выслушала. Она была так ослеплена яростью своей и своего прекрасного рыцаря, что совсем не заметила, о чем впервые открыто шла речь: о том, чтобы убить ее супруга. Она не приняла этого всерьез, решил Генрих, когда ему донесли о происшедшем. Но не мадам де Сюлли, которая крепко сжала тонкие губы. Донес дофин; из своего укромного уголка он жадно слушал и становился все бледнее. Он поклялся убить господина Кончини и сдержал клятву, когда стал королем.

Дофин Людовик, у отца в кабинете:

– Сир! Вас хотят убить. Моя бедная мать в заговоре.

Генрих:

– Мой мальчик, я знаю ее на девять месяцев дольше, чем ты. Она горячится и ворчит, она властолюбива; однако твоя мать не волчица.

Людовик:

– Но тот был как целая стая волков, они шныряли по всей комнате. Меня бы они сожрали с кожей и костями.

Генрих:

– А королева?

Людовик:

– Она слушается его, мой высокочтимый отец, вам ведь это известно.

Генрих:

– Она с ним не спит. Знай, что это главное. Без этого нельзя подчинить себе женщину.

Людовик:

– Сир! Прикажите мне обезвредить вашего убийцу.

Генрих:

– Не он мой убийца, и он был бы недостоин твоей руки.

Людовик, бледный, вытянувшийся не по летам, захлебываясь от слез:

— Папа, милый папа! Пусть другие увидят страшный пример. Труп будет лежать на внутреннем мосту Лувра. Всякий, кто входит или выходит, должен будет перешагнуть через него.

Так именно и случится, во времена короля Людовика. Но сейчас его великий отец обнимает его и говорит, глядя ему прямо в глаза:

— Ты долго еще будешь ребенком. Не забудь: сегодня мы говорили друг с другом как мужчины. Врагов мы приобретаем своими делами, другими делами мы должны их побивать. Этому нет конца, и убийство ничего не доказывает. Я больше боюсь за твою мать, которую надо беречь, ибо она всегда беременна.

Дофин готов был разрыдаться. Король поспешно прикрыл ему рот: снаружи послышались шаги. Когда дверь отворилась, король на четвереньках бегал по кабинету. Дофин сидел на нем верхом, накиннув ему на шею носовой платок вместо повода. Вошедший был испанский посол. Дон Иниго де Карденас явился в Париж с чрезвычайной миссией — узнать подробно о вооружении и замыслах короля Франции. При случае ему следует потребовать объяснений. На сей раз обстановка показалась ему неподходящей.

Дон Иниго был не только гордый испанец, но к тому же и застенчивый. Отчужденность от прочих людей, которая досталась ему в наследство от длинного ряда предков, в конце концов настолько извратилась у него, что отнюдь не могла бы уже называться самоуверенностью. Стоя в дверях, дон Иниго созерцал странную скачку, происходящую на полу. Он чувствовал себя лишним или попавшим некстати и был не то что поражен, а скорее опечален. Король подпрыгивал еще выше, стремясь сбросить дофина. Тот цеплялся что было сил и кричал от возбуждения и удовольствия. Его высокий рост, бледное серьезное лицо противоречили ребяческим повадкам.

Король остановился. Не поднимаясь с полу, он спросил:

— Господин посол, у вас есть дети? Тогда я пробегусь еще.

И уже принялся описывать круг по кабинету. Дофин произнес, заикаясь:

— Э-т-то мы ч-ча-сто делаем.

Во время недавнего разговора с отцом он ничуть не заикался.

Дон Иниго удалился. Первое впечатление, вынесенное им, было, что этот король не опасен для всемирной державы.

Чума

Вышеозначенный посол не позабыл, однако, о своей миссии. Если поведение короля и не отличалось торжественностью, зато у него был начальник артиллерии и было войско. Его золото прибывало в неимоверном количестве, меж тем как испанское — таяло. Его Великий план, в который никто особенно не вникал, именно дон Иниго сумел уразуметь в силу своей бесстрастной отчужденности, исключавшей предубеждение. Он единственный, насколько известно, почти отгадал, что невдалеке маячит новый мировой порядок без всевластия Габсбургов. Вековая привычка к общепринятым взглядам чрезвычайно затрудняла его понимание; да, высокомерный гранд достоин был всяческой хвалы за свою скрытую застенчивость и ослабленную самоуверенность, которые прояснили его разум.

Он, конечно, не затрагивал вопроса о Великом плане и лишь стороной пытался разведать о нем. Никогда не упоминал о нем вслух, зато настойчиво старался вконец рассорить королевскую чету при помощи двух испанских бракосочетаний. Королева, конечно, сразу же загорелась мыслью обручить дофина с инфантой. Король отказал наотрез. Он не давал лживых обещаний, он открыто сказал: нет. Даже не будь предъявленного Испанией требования, Генрих остался бы тверд. А условие гласило, что он должен отказаться от Голландии.

Дон Иниго был упрям оттого, что его втайне точил червь. Он не давал покоя королю, пока Генрих однажды не потерял терпения. Он произнес свое обычное проклятье и затем воскликнул:

— Если король Испанский еще долго будет досаждать мне, я неожиданно нагряну к нему в Мадрид.

— Сир! — отвечал посол с большим достоинством. — Вы были бы не первым королем Франции, который сидел бы там.

И как сидел! В темнице, величиной с курятник.

— Господин посол, — сказал Генрих более миролюбиво. — Вы испанец, а я

гасконец. Если мы начнем бахвалиться, нам удержу не будет.

После своего гордого ответа и других в таком же роде дон Иниго стал героем дня; это скорей докучало ему, чем льстило. Королева сделала открытие, что они в родстве. Двор стал употреблять благородные кастильские обороты, которые он ввел. Все было направлено к тому, чтобы унижить короля. Однако дон Иниго, человек, безусловно, более щепетильный, чем подобные ему господа, не желал превосходства над его величеством. Случайно мимо него проносили меч короля. Он взял меч из рук слуги и долго вертел в руках, чтобы лучше разглядеть. Поцеловал его, сказал:

— Я, счастливец, держу в руках доблестный меч доблестнейшего из королей мира.

Он остался в столице и тогда, когда ее посетил другой высокий гость: чума.

Почти все придворные бежали в свои поместья. Грозная слава этой болезни сохранилась с давних пор, чума вселяла все больший страх со времени своего первого появления — триста лет назад. Бубонная чума и легочная чума, либо порознь, либо обе вместе, свирепствовали, согласно воспоминаниям очевидцев, десять лет назад во время осады, но самой большой силы мор достиг пятьдесят лет назад. Единственной больницы, именовавшейся Божий дом, обычно было достаточно; только когда появлялась чума, на одну кровать сваливали по восемь больных. Крайне удивительно, что как раз там, ближе всего к Богу, умирало больше всего людей. Шестьдесят восемь тысяч во время предпоследнего бедствия; еще живы были старики, которые помнили это число. Последнее поветрие унесло меньше жертв, возможно, причиной тому был приказ архиепископа отделять зачумленных от всех других больных. С тех пор болезнь получила новое название, которое было равноценно открытию: заразой именовалась она.

Король отказывался покинуть Париж, несмотря на настойчивые требования королевы, на которую, с своей стороны, наседали чета Галигай-Кончини. Истошив все доводы, Мария взвалила вину за поветрие на своего супруга. В прошлый раз он наслал чуму на свою столицу, когда еще не владел ею и хотел взять измором. Проклятие живет в нем самом, теперь оно сказывается снова. Кто однажды был

бичом Божиим, им и останется, утверждала отчаянно перепуганная Мария Медичи.

Кончини-Галигай не скрывали от нее ни единого смертного случая: даже из луврской челяди уже пришлось увезти несколько человек. Следуя уговорам высокородной четы, королева приказала снарядить корабль. Она хотела пробыть на море все время, пока длится зараза. Дофина она намеревалась взять с собой, а также, разумеется, всех своих кавалеров для услуг и даже отставленных от услуг. Короля же она предоставляла его возлюбленной чуме.

Все его помыслы в самом деле были направлены на нее. Он рассчитывал ослабить ее с помощью воздуха и огня, двух очистительных стихий. По его приказу все окна в Луврском дворце были открыты настежь и повсюду жгли можжевельник. Этот кустарник, наделенный сильным запахом, Генрих вывез из лесов, для обеззараживания людных городских кварталов. Главной заботой его было пресечь пути заразе. Вели же эти пути, как он считал, из-за Рейна. В Германии царила неурядица, которую пока что не называли войной. И зараза была провозвестницей других бедствий, которые предстояло породить этой стране. Но близ границы в Лотарингии живет Катрин.

Герцогиня де Бар, сестра короля, его милая Катрин – он сам заставил ее выйти замуж за тамошнего вельможу. Неужто в нем на самом деле таится проклятие? Дерзкая болтовня, достойная презрения. А каково приходится праведникам? Во время их крестных ходов по улицам, где поминают всех святых и бубнят отходные молитвы, в толпе неизменно падает несколько человек, пораженных болезнью. Чума не проклятие, не кара; она поддерживается невежеством и смятением. Прочь страх! Катрин, ты ведь не знаешь страха? Смотри, твой брат, который много зла причинил тебе в жизни, шлет за тобой верховых гонцов, с ним ты будешь сохранней всего.

Он стал подыскивать такого, за кем она охотно последовала бы. И остановился на своем родственнике, молодом Конде [106. – Конде Генрих де Бурбон (1588–1646) – сын Генриха Конде, друга и соратника Генриха IV.]. Принц от природы был молчалив, по крайней мере в ту пору его другим не знали. Несколько позднее он стал весьма шумливым. Пока же он был печален и кроток, с

благодарностью принимал от короля скромную пенсию, сам он ничего не имел. Он был сыном кузена Конде, который некогда попытался опередить юного Наварру. Затем кузен умер, по всеобщему мнению отравленный принцессой, своей женой. Она не созналась в этом никогда. Ее арест и обвинение относятся к далеким временам. Теперь она живет при дворе; у каждого свое прошлое. Известно лишь, что сын ее очень молчалив и скрытен. Генрих сказал ему:

— Привези мне сестру. Только увидев тебя, она поймет, насколько это для меня важно.

Конде пустился в путь, и тут брата охватила величайшая тревога. «Хоть бы она была уже в моих объятиях! Слишком мало счастья она видела по моей вине, слишком мало счастья. Поклон перед моей парадной кроватью был единственной ее гордостью, но ведь не может это быть целью. Мы с ней одни на свете помним, что были у нас детские глаза, грезы юности и что сердца наши наполняла любовь. Катрин, тебе я в конце концов запретил любить и заставил уйти к человеку, который для тебя ничто; но ты тогда уже утомилась жизнью. Ты была уже отдана во власть смерти, мне следовало удержать тебя. Мне следовало удержать тебя, а я что сделал!»

Полный раскаяния и страха, он ежедневно спешил в Божий дом, чтобы прикоснуться к больным. Они верят, что прикосновение короля их исцелит. Он убеждал себя, что это правда. Он прикасался к твердым бубонам и к красным язвам, которые зовутся углями. Мыл руки и шел на зов другого дрожащего голоса, пока голос человека еще не угас вместе с сознанием. «Если я увижу, как хотя бы один из них встанет и пойдет, значит, моя сестра приедет, я обниму ее, и все искуплю». Какого-то зараженного монаха, который, быть может, ненавидел его, он попросил помолиться за одну особу, которая находится в пути, чтобы она достигла своего прибежища.

Ночью он поднимался с постели. При мерцающем пламени очагов блуждал по дворцу. Однажды он забрел в чердачное помещение, где окна не открывались и не были устроены очаги для хвороста. Тьма была полная, однако он заметил, как из

отдаленного угла приближается множество пляшущих огоньков, непостижимо близко от пола. Продолжая свой путь, видение осветило себя. Это была карлица, какая, угадать нетрудно, хотя она была без одежды. Совершенно нагая, вся в пятнах алой краски, а между вытянутыми пальцами она держала восемь свечек. Генрих хотел было вникнуть в происходящее, но тут человек, бежавший от видения, упал к его ногам. Свечки обнаружили, что это господин Кончини.

Этого человека было еще труднее узнать, чем молочную сестру, его любезную супругу. Ни намек на лоск и коварство, нет и прилизанных волос. Выпуклая грудь и гибкие бедра-все превратилось в бесформенный ком мяса. Что касается лица, то такую бледность, такую ужасающую растерянность трудно было представить себе у этой твари. Что делает страх! Высокородный Кончини принял высокородную Галигай за чуму во плоти. Краснота — это краснота «углей» и вдобавок еще сальные свечи с зараженных гробов; его страх не поддавался описанию, он испускал вопли истязаемого кота.

— Сир! Я встретил чуму. Сжальтесь, сир, мне грозит смерть. Прикоснитесь ко мне, священное величество! Небо посылает вас, прикоснитесь ко мне! — Вот что визжал, пищал, выл придворный кавалер королевы голосом, непохожим на человеческий. Услышала бы это королева в присутствии всего двора! Но долго ли действуют уроки? Чума — не урок. Ее обрызганное красной краской изображение настолько близко проплыло мимо, что со свечек капнуло на злосчастного Кончини. Это его доконало, он лишился чувств. Изображая чуму, молочная сестра, видимо, не сознавала производимого ею действия. Закатив глаза, она блуждала без сознания. Генрих покинул чердак.

Положение столицы ухудшалось, больше вследствие страха, который одни разжигали в других. Распространение болезни даже приостановилось, ибо врачи короля руководствовались его указаниями. Аркады его королевской площади превратились в просторные светлые лазареты. Купцам они показались слишком пышными, зато теперь достались больным. Генрих не вел счета часам, которые проводил здесь. На улицах ему либо никто не встречался, либо мимо спешили закутанные люди с крытыми носилками. Когда он наконец приходил туда, его встречал ветер, гулявший по площади, и дым от костров. Ветер разносил дым по открытым аркадам, но долго он нигде не задерживался. Сквозь дымную завесу

виднелась синева неба, благовонный дым вился вокруг больных, их было не меньше тысячи, а то и много больше. На всех лицах, которые выступали из дыма, Генрих видел жажду жизни. Его собственная тоска по сестре здесь находила себе наилучший приют.

В этот день Генрих никак не мог оторваться от своих больных — он прикоснулся почти к двум тысячам. Навстречу ему тянулись все новые лица, почерневшие от дыма или же от чумы. Он был неутомим. Сегодня должна прибыть Катрин. Отдан приказ немедленно оповестить его. «Исцеляйтесь! Сегодня мое прикосновение обладает силой врачевать вас, хотя бы вы сплошь почернели от сыпи и пузырей и самое ваше дыхание было отравлено». Он не завязал рта, он чувствовал себя сильным и неуязвимым. Близко от него, за облаком дыма, звенел колокольчик, он возвещал таинство причастия. Священник с незавязанным ртом говорил слова, сопутствующие смерти.

Когда облако дыма рассеялось, поп и король увидели друг друга. Один из них был мал ростом и щеделушен, лицо заострившееся, но горящие глаза. Он обратился, к королю:

— В вас так много мужества, словно вы веруете в Бога.

— Я верую, — сказал Генрих. Тут он обнаружил неподалеку фигуру человека, который стоял, не шевелясь, и молчал. Молчал, не оставляя надежды. — Конде? — спросил Генрих с мольбой в голосе, но приговор был произнесен, и он это понял. — Конде! — Тот только наклонил голову. Облачко дыма разделило их.

Подле короля стонал больной, который был близок к смерти и лежал без помощи.

— Это еретик, — сказал священник. — Я послал за пастором, но он не успеет прийти.

— Мы пришли, — сказал Генрих. Он преклонил колени так, словно его сестра, протестантка, встречала здесь свой последний час. Опустившись на оба колена, он тихо пропел на ухо умирающему: хвали душа моя Господа.

В своем Луврском дворце он знал одно-единственное место, где мог без помех проплакать всю ночь. Это была его парадная кровать, там под строгой охраной, за сдвинутыми занавесами — самое надежное одиночество. Из своего кабинета он прошел в большую залу, где начинало темнеть; двора своего он сперва не заметил,

хотя все были в сборе. Все, что осталось от его двора, двадцать или тридцать человек искали прибежища возле священной особы короля, быть может, затем, чтобы он отвратил от них чуму. Король, когда вошел в залу, явно противоречил их представлению о величии. Он явился испачканный, подозрительно почерневший и, вместо того чтобы предохранить кого-нибудь от чумы, верно, сам принес ее с собой. А кроме того, время его миновало, жизнь его имеет мало цены, и, как сказано, регентство уже началось.

Большая дверь с противоположной стороны распахнулась. Слава Богу – королева, она ведет за руку дофина, впереди несут канделябры. Двор, или то, что от него уцелело, всем скопом бросился из мрака навстречу грядущему блеску. Все поспешили поклонами, приседаниями, хвалебными возгласами почтить дофина. Отделенный пустым пространством, совсем один, стоял король.

Первый, кто опомнился, был строгий, печальный Конде. Без торопливости, но и без колебания, весьма достойно направился он в сторону короля. Бельгард и Бассомпьер тоже спешили к нему, вскоре Генрих был окружен, но только что он стоял совсем один.

Марго былых времен

Королева Наваррская появилась после того, как с чумой было покончено и празднества при дворе стали особенно пышными. Все любезные кавалеры и дамы, покинув свои замки, по большей части убогие и замшелые, потянулись обратно к единственному месту, где по-настоящему наслаждаются жизнью. Радости поделены между выигрышем денег и тратой денег. Кому посчастливилось в игре, появляется на ближайшем приеме в Лувре нарядным, как ясный день, как утренняя заря или как усеянная звездами лунная ночь. Иные продавали свои замшелые замки, чтобы блистать здесь.

Маргарита Валуа самовольно решила, что изгнание ее длится уже достаточно долго, целых восемнадцать лет. Тридцати четырех лет от роду рассталась она некогда со своим супругом Генрихом – в этом был повинен не он один. Последняя представительница вымершей королевской династии не могла стерпеть, чтобы другой, хотя бы и ее муж, вступил на престол ее покойных братьев. Она ненавидела его до такой степени, что подослала к нему убийцу. После этого

прошло много времени, кому охота вспоминать о прежних убийцах, о прежней ненависти. Даже забытую любовь узнают с трудом.

Генрих принял ее, раз уж она явилась, пусть без предварительного уведомления, но с полным сознанием своих прав, в качестве последней Валуа и его первой жены. Он начал с приятельского тона, осведомился о замке Юссон, ее местопребывании в эти последние восемнадцать лет. Втихомолку он подсчитал, что ей теперь пятьдесят три года. Да и по виду не меньше.

— Что, в Оверни хорошо едят, а?

— И любят хорошо, — заявила она с тем задором, который вдруг воскресил все, всю Марго былых времен.

Под заплывшими жиром и густо наrumяненными щеками, под белокурым париком он узнал подружку щедрых утех своей чувственности. Варфоломеевская ночь предпослала им мрачную тень, сладострастие граничило с мукой. Эта женщина была богиней своего века, прекрасная, блистательная и просвещенная. Случалось, когда проходила процессия, люди забывали поклониться святыне, они поклонялись мадам Маргарите. «И вот чем стала она за это время, — думал Генрих. — А чем стал я?» В замешательстве он принялся уверять ее, что она превосходно сохранилась.

— Да и вас ваша любвеобильная натура уберегла от старости, — сказала она, хотя впечатление ее было иным. Он показался ей печальным, мало удовлетворенным своим счастьем и славой. Сама же она теперь была настроена благодушно. Бешеные вспышки страстей были еще возможны, как в этом предстояло убедиться. Но по пути злонравия она не пошла. Она сказала: — Вас справедливо называют вечно веселым и вечно влюбленным. Мои глаза не обманывают меня: вы истинный *Vert galant*.

Ее глаза остались ласкающими, слова были доброжелательны. Он протянул ей руку, приветствуя ее, мало того, подтвердил, что молодость была хороша: он и она — король и королева Наваррские, его маленькие победы, ее маленький двор муз. На это она заявила, что приехала с намерением собрать вокруг себя академию просвещенных умов. К несчастью, средства ее истощились.

Он не заставил себя просить. Ей было обещано то, что она на первое время пожелала: пенсия, дом в Булонском лесу. Однако он поспешил прервать разговор во

избежание дальнейших требований, он боялся, что скажет Рони, в случае если еще одна дама глубоко запустит руку в казну. Она, со своей стороны, удовлетворенно улыбнулась, ибо он оправдал свою репутацию: игра, женщины и скопидомство.

— Теперь я нанесу визит королеве, — заявила она. — Она мне близкая родственница по матери, мадам Екатерине. Без Медичи, оказывается, не обойтись. — С этими словами она удалилась в наилучшем расположении духа.

Министр в вопросе о деньгах оказался стоворчивым. Его небывалая уступчивость к требованиям двора могла бы показаться неправдоподобной. Генриху были известны причины. Дипломаты короля повсюду ратовали за его дело, союзы с Англией и Голландией снова были закреплены. Стоило только умереть герцогу Клевскому, как Габсбург подал бы повод к нападению. Довольно мешкать, мы выступаем. Удар должен быть нанесен неожиданно, почему французский двор предается самым необузданным увеселениям: игра, любовь и вместо вынужденной бережливости пир без конца.

Королева Наваррская стала главным лицом после своего второго официального приема в Лувре. Прием этот не походил на ее первый скромный визит, когда она попросту вышла из кареты, рискуя не быть принятой. Теперь король в полном параде поспешил навстречу своей прежней супруге до середины нового двора. Королева Мария Медичи, окруженная своим штатом, ожидала гостью у подножия лестницы. Всех втайне забавляли обе дамы, торжественность их встречи; придворным тоже не терпелось привести туловище и конечности в почтительнейшее положение. Марго былых времен и Генрих сошлись один на один у всех на виду; получилось очень величественно, они никак не ожидали, что им будет так горько. Лица застыли в официальной благосклонности. Взглядами, которые не уклонялись, но разобщались, они сказали: «Да, я помню минувшие дни. Нет, я не хочу их возврата».

После этого начались развлечения. Играли везде, особенно в арсенале. Мадам де Рони приказала устроить залу для празднеств. Господин де Рони вручил королю для игры кошелек, полный золотых монет, остальным участникам — кошелек поменьше. Все равно, они дочиста обобрали короля, ибо у него попутно были другие заботы. Он был неприятный партнер, но, впрочем, скоро забыл досаду из-за проигрыша по причине других забот. Господин де Рони снизошел до шуток, чего за ним никогда не водилось. Перед фрейлинами королевы он поставил два кувшина,

один с темным вином, другой с чем-то светлым, что они приняли за воду. А на самом деле это была очень крепкая настойка. Они думали одно разбавить другим и не успели опомниться, как разгулялись вовсю. В своей резвости они были очень милы; все одеты одинаково, в посеребренный холст.

Королева и принцессы развлекаются – так принято было говорить, но обычно это означало попросту, что предстоит попойка. Мария Медичи появлялась только на балу. Она избегала есть за столом короля, причины ей лучше было оставить при себе, они испортили бы веселое настроение. Скорей переходите к балам и балетам. При короле Генрихе господа научились плясать по-деревенски мимические танцы с раскачиваями и беготней, выразительные и подвижные. Кто вызовет смех, тот заранее преуспел у своей дамы. Но что все это по сравнению с пышностью спектаклей – Лувр, лестница, большая зала, настоящие декорации, костюмы. После лихорадочных приготовлений и интриг с целью попасть на спектакль все места оказываются занятыми. Сам король очутился в сутолоке, он оглядывается, смотрит, кого следует удалить. Но те, кто вправе этого опасаться, уже нырнули в толпу.

Высочайшие особы участвуют в представлении, им по большей части полагается говорить глупости, музыка и смена выходов только предлоги. Все дело и для высших и для низших в одном: чтобы в чарах золота и сказочных красок на одну ночь казаться тем, чего не достигнешь за целую жизнь, – каскадом великолепия, пестрым облаком. Зрители подражают актерам, соперничая в пышности, они создают феерию не хуже диковинных театральных машин, которые из незримых источников озаряют волшебным светом красавиц на сцене, и каждая становится звездой, розой, жемчужиной. Их опутывают кольшущиеся сети, где они изгибают и выпрямляют свои обольстительные тела. Их поворачивают, они показывают другое лицо, маску целомудрия; серебристо-белые ангельские одеяния облекают обратную сторону явления. Чрезвычайно волнующая перемена, но в конце концов машина перестает давать свет, греза исчезает. Ее сменяет комическая интермедия. Верблюды, составленные из нескольких человек; другие люди непонятным образом сидят на них верхом. Через сцену, громокая, катится башня, в каждом окошке турок,

размахивающий саблей, к счастью, он бросает в толпу сласти, меж тем как толстые женщины — на самом деле это обложенные подушками мужчины — с ловкостью акробатов сбивают друг друга с ног. Все вместе, при участии зрителей, производят адский шум.

В заключение длинного спектакля, которым тем не менее никто, кроме одного человека, не пресытился, все участники, к общему восторгу, прошествовали по мосту, перекинутому над залой и над шумом. Зрителям представлялся случай вблизи подивиться на них или пожелать их, в зависимости от того, были ли это блестящие вельможи или верблюды, красавицы с гибкими телами или неуклюжие уродцы. Кое-кто припоминал, что видел подобные, но менее совершенные увеселения при дворе Валуа. Недаром последняя из этой династии, мадам Маргарита, была душой всего зрелища, ей мы обязаны им. Генриху зрелище было не по вкусу, прежде всего из-за воспоминаний.

Он, весело принимал в нем участие, даже шествовал по мосту, одетый богом Марсом. Надеялся только, что никто не призадумается над этим нарядом, а главное, испанский посол. Генриху нужно заполнить время, пока пробьет час: так он порешил со своим Рони. Ему необходимо отвлекать европейские дворы и особенно свой собственный, дабы ни один глаз не следил за стрелкой часов, которая движется неудержимо. Однако в суеде и вихре развлечений Генрих испытывал одно желание: быть одному, обдумывать свое дело, накапливать силы, не уставать, чтобы не возникло сомнений.

Известно, что в это время охота утомляла его. С давних пор она была для него лучшим отдыхом; теперь он, сойдя с коня, прямо ложился в постель. Однако неясно, была ли это усталость только телесного свойства. Даже смех обессиливал его в ту пору, хотя он любил пошутить с друзьями; а к друзьям он причислял всех, кто прошел с ним через жизнь. Насчет роли д'Эпернона сомнений нет, но ведь он такой старый товарищ. Право же, глухого подагрика нетрудно поднять на смех, если искать мишени для шуток. Двор, однако, предпочитал высмеивать честных друзей короля. Маршал Роклор держал свою дражайшую половину у себя в провинции и никогда не показывал ее, предоставляя догадываться почему. Быть может, по причине какого-нибудь изъяна, не то она глуха, не то глупа. Семейные

обстоятельства старого вояки служили неисчерпаемым источником острот; ничего удивительного, если в конце концов насмешки зашли слишком далеко. Уж не потому ли, что при этом присутствовал король? Случилось это однажды вечером в его присутствии, и он помешал Роклору обнажить шпагу. Он взял маршала под руку, и оба покинули общество.

— Пожалуй, я чересчур долго вторил их смеху, — сказал Генрих. Маршал проворчал:

— Я осел, что обиделся на шутку.

Генрих:

— А была ли это шутка и в кого она метила?

Роклор недоуменно качает головой.

Генрих:

— Вы меня поняли?

Роклор, решившись:

— У д'Эпернона здесь слишком много друзей.

Генрих:

— Скажите лучше: сообщников.

Роклор, довольно неуверенно:

— Сообщников, если хотите.

Генрих, оглядевшись по сторонам:

— В мой кабинет нельзя. Потайная дверь, может быть, лишь притворена. Роклор!

— Сир, я слушаю.

— Достанет в вас бодрости снова выступить в поход?

— Как всегда, — сказал маршал чересчур громогласно. Он счел вопрос короля коварным. Уж не собираются ли его отставить? Генрих увлек его за выступ стены.

— Будьте осторожны, королева, кажется, не спит, она ведь беременна. После нашего путешествия в Савойю прошло... несколько лет. Вы не замечали, что точный

счет можно вести лишь двум третям жизни, а последней уже нельзя?
Молодость
кажется бесконечной, старость — точно один день.

Роклор, в виде самозащиты:

— Мы с храбрым Крийоном часто припоминаем, что сделано нами в каждый час
вашего последнего похода. И задаемся вопросом, когда же нам снова будет
так
привольно житься.

Генрих:

— Рад за вас и за храброго Крийона. А я? Мне, например, лучше бы не
встречаться вновь с королевой Наваррской.

Роклор, убежденно:

— Женщины для нас крест, это всегда было и будет истиной. Их надо
оставлять
дома, для чего война — лучший предлог.

Генрих кладет руку ему на плечо, стоит теперь рядом с ним и говорит в
пространство:

— А мы разве с годами становимся приятнее? Трудно отрицать, что и мы под
конец можем надоесть. Долгое время мы были законодателем мод и создавали
моду,
моду на весельчака, моду на вольнодумца, моду на благодетеля народа.

Роклор:

— Моду на храбрость, рассудительность, моду на Францию, моду на служение
женщинам.

Генрих:

— Моду на рогоносцев. Словом, моду. Как бы ее ни называть, она надоедает,
и
мы вместе с ней. Люди жаждут противоположности, хотя бы она не сделала их
счастливее. Неужто вы думаете, что моему сыну Вандому на пользу
итальянский
порок?

На это маршал не нашел утешения для отца, который имел от прелестной
Габриели, именно от нее, сына с извращенными наклонностями.

Генрих, повернувшись к стене:

— Что я знаю.

Под чем он подразумевал не только различные способы любви. «Имею ли я еще
право на мой Великий план? Предприятие новое, трудное, вполне реальное —
в

такую пору жизни, которая приобретает нереальность от дружных желаний
убрать
меня».

Роклор видел: минута слабости, он понимал больше, чем можно предположить.
После краткого колебания он решился, обнял за плечи своего государя, рука
у
него при этом дрожала, но он промолвил:

— Наварра. — На ухо своему государю: — Мой принц Генрих Наварра.

Король привлек его к себе, обнял за шею, поцеловал в обе щеки. Обратился
к
нему на «ты», как в давние времена. Произнес:

— Роклор, ты был всех нас красивее от побрякушек, которые навешивал на
себя,
особенно в бою.

— В бой! — вскричал маршал. Увидев, что господин его приложил палец к
губам,
он шепнул: — Там мы не умрем. Скорее здесь.

Генрих посмотрел на него долгим глубоким взглядом. Простецу всегда
открыта
истина. Нужно быть как можно проще.

Сперва оба оглядели все углы и закоулки, не подслушал ли их кто-нибудь.
Потом Генрих пошел к себе в кабинет.

Точно один день

В ту пору он познакомился с «Дон-Кихотом» в брюссельском издании 1607
года.

Бассомпьер читал вслух, но не мог продолжать от смеха. Генрих надел
большие

очки, взял книгу и вполголоса стал читать комические приключения рыцаря
печального образа. Хоть он и вторил смеху своего слушателя, однако ему
было при

этом не по себе. Говорят, короля Испанского весьма распотешил этот роман.
Почему все смеются? Человек думает, что борется, а в действительности его
водят

за нос. Он хранит в сердце вымышленную повелительницу, на самом деле она
низкого звания, но он даже не пригляделся к ней. Он принимает баранов за
войска, служанку за богиню и жаждет подвигов, нелепость которых ясна
всем,

только не его помраченному рассудку. Единственный, кто предан ему, это
его

оруженосец, верный слуга. Верный слуга понимает не больше того, чем ему
дано.

«Счастье еще, — подумал Генрих и рассмеялся от души, — что мой начальник

артиллерии не коротышка и толстяк, а господин его не долговязый и тощий. Успокоимся на том». Он держался за бока, Бассомпьер также; для передышки они
взялись за «Амадиса Галльского» [107. – «Амадис Галльский» – популярный в
средние века
рыцарский роман.],
настоящий рыцарский роман, где битвы подлинны, а дамы благородны. Кроме
того,
Генрих неизменно изо дня в день отводил полчаса «Театру
агрикультуры» [108. – «Театр агрикультуры» – произведение французского
агронома и политического деятеля Оливье де Серра (род. ок. 1539 г. – умер
в
1619 г.), в котором он, адресуясь к дворянству, призывал пользоваться
передовыми для своего времени методами ведения сельского хозяйства.]: так
называлось сочинение по сельскому
хозяйству, которое он очень одобрял. Век живи, век учись, особенно в
нашей
области. Пашня и пастбище – вот два сосца, питающие государство, сказал
когда-то Рони. Его королю запали в сердце эти слова, и сердцем он
прилепился к
здешней стране, меж тем как план его охватывал мир.

По его мысли Европа возродится для новой, всем понятной действительности,
едва честолюбивое стремление Габсбургов к вселенской монархии будет
пресечено.

«Право же, тут дело посерьезней, чем борьба с баранами и ветряными
мельницами.

Скорее этим занимается вселенская монархия, химера на веки вечные, а наша
ясная

идея союза свободных народов рано или поздно одержит победу. «Что я знаю»
сюда

не подходит. Это мы знаем. И доказательством служит то, что, имея в виду
самые

отдаленные цели, мы ни на миг не теряем почвы, а продолжаем ближайшее
простейшее дело, наряду с Великим планом, который тоже прост».

Генрих учредил в Париже королевскую библиотеку, она должна стать
достоянием

народа. Он успеет основать музей ремесел и ботанический сад за тот срок,
что

ему еще отпущен. На существовании одного зиждется многое. Он перестал
охотиться, охота его утомляла. Зато он неутомимо изучал причины нищеты. А
«Театр агрикультуры» он скорее созерцал, чем читал. Крестьяне на полях
воочию

показывали ему свои нужды. Он силился помочь им – как будто завтра не
могла

разразиться война. Ногами на пашне, сердцем в своей стране, в мыслях
простое и

смелое видение будущего: на существовании одного человека строится
многое. Но

этой поре жизни уже нельзя вести счет – она проходит, точно один день.

Маркиз де ла Рош, королевский наместник в странах Канада, Ньюфаундленд,

Лабрадор, потерпел кораблекрушение; его экипаж пять лет пробыл на пустынном острове, сам он в лодке добрался наконец до Франции. Вернулся он разбитым человеком. Но его примеру последовали другие, то были старые приверженцы истинной веры или новые представители торговых обществ. Господин де Мон[109. – Мон Пьер дю Га (1560–1630). – один из основателей французских колоний за океаном. Был губернатором Понса. В 1603 г. получил от Генриха IV патент на должность вице-адмирала и наместника Акадии и Канады.] получил полномочия вице-короля и вел торговлю пушниной, имея королевские привилегии, что возбуждало зависть. Для борьбы с контрабандой у него было три сильно вооруженных военных судна. Он заседал землю, строил дома, укреплял колонию. Она состояла из семидесяти двух человек; первая зима убила половину. Во вторую только шестеро умерло от цинги.

Король стоял за господина де Мона, когда все осуждали его или поднимали на смех; об этом старались торговцы пушниной, которые не могли допустить, чтобы их ремесло превратилось в королевскую привилегию и дело государства. К чему это приведет? Начинает король с одного товара, а под конец вся внешняя торговля окажется в руках его правительства. Все почтенные люди не замедлили поднять голос против бессмысленных бредней; они высмеивали фантазеров. Затаив ярость, они вооружились смехом против затеи короля, пока он не уступил и они получили право устанавливать цены. В этом деле он был одинок и действовал против своего Рони, который не понимал, к чему оно могло бы привести; в данном случае он скорее поддержал бы купцов, нежели своего короля и его странную выдумку сосредоточить в руках правительства внешнюю торговлю.

Одно удастся, другое нет. Генрих дважды посылал еще по три корабля с ремесленниками и их семьями, дабы положить начало «Христианско-французским республикам» по ту сторону океана. Старый приверженец истинной веры основал город Квебек. Имя его – Самюэль де Шамплейн[110. – ...Самюэль де Шамплейн (1567–1635) – французский путешественник, исследователь Канады. Убедил Генриха IV основать колонию в Канаде, неоднократно совершал туда путешествия, которые описал в ряде сочинений. Основал в 1608 г. совместно с Моном город Квебек.]. Ни разу Генрих не допускал туда ко всему привычных искателей приключений; самые смелые его предприятия обошлись без них. Туземцы, успевшие выучиться его языку, ездили к нему, он беседовал с ними. Когда

Шамплейн пустился в последнее плавание, чтобы донести ему об открытых озерах Гурон, Мичиган, Онтарио, король, надо полагать, порадовался бы. Только его уже не было.

В его собственном доме помещались ремесленники, он часто посещал их мастерские. Один вырезал гравюры по дереву. Генрих вошел, унес к себе в кабинет лист, который как раз был оттиснут, взгляделся в него, когда сел в кресло. На ходу, как прежде, теперь всего не сделаешь, да и сидя тоже нет. На листе был изображен скелет, вспахивающий поле. Смерть в обличье пахаря. Пусть мы умрем, все равно мы не сдаемся и дело наше будет продолжаться.

Несчастье в счастье

Мария Медичи была в ту пору дурно настроена, весьма раздражительна, состояние ее дошло до постоянной озлобленности. Своему Рони Генрих признавался, что даже не может говорить с ней, не то что получить от нее утешение и помощь.

— Вот возвращаюсь я домой и вижу ее лицо, холодное и презрительное. Пытаюсь с ней целоваться, миловаться, шутить. Все напрасно! Отдохновения мне приходится искать в другом месте.

Обычно она, увидев его, прерывала беседу с определенными лицами, например, с д'Эперноном; беседа, правда, касалась ее супруга, но вряд ли могла бы порадовать его. Новостью, для большинства удивительной, была ее строгость к общению полов. Одну из своих фрейлин она за такую провинность решила даже предать казни. Генрих пожал плечами, однако был принужден объясниться с одержимой. Она была в черном испанском наряде, он в сапогах со шпорами, словно собрался в дорогу. Мы живем при просвещенном дворе, поставил он ей на вид. Не говоря уже о совершенно недопустимой суровости королевы, всеобщее возмущение, дошедшее и до чужестранных дворов, вызывает то обстоятельство, что здесь повсюду шныряют шпионы в юбке и даже в самом уединенном покое никто не может быть огражден от надзора.

— А вы меньше всех, — подтвердила Мария. — Я не желаю больше слушать, что вы похотливый старик.

— Запретите вашим друзьям повторять эту кличку, — возразил он, искренне стараясь сохранить терпение. Она сказала ледяным тоном:

— Лувр не должен называться публичным домом.

— Кто его сделал таким? — в свою очередь, спросил он. — Мадам, вы ввели у нас чужеземные нравы. Перемена ваших вкусов была бы похвальна. Но теперь, мадам, вы переусердствовали в сторону морали.

Тут Мария дала себе волю. Девушка должна быть казнена. А самое главное:

— Испанский посол видит вас насквозь.

— Давно, пора, — заметил Генрих. — Наконец-то он убедился в моем миролюбии. Дон Иниго открыто говорит: король, который достиг таких успехов в сельском хозяйстве, в искусствах и ремеслах...

Мария:

— Неминуемо проиграет войну. Таково его заключение, иногда он о нем умалчивает, иногда высказывает его.

Ей он высказал его, понял Генрих.

Мария, продолжает:

— Нападет, а потом будет разбит; вот какого героя выбрала себе несчастная Европа. Но теперь уже ненадолго.

Ей пришлось перевести дух. Она страшно побледнела под черным кружевом. Юбка со множеством воланов скрывала беременность. Но не только ее положение смягчало Генриха; он искренне скорбел о том, что она, повернувшись спиной к их королевству, жестоко заблудилась на ложном пути. Она вредит самой себе, сознавал он и был готов выслушать все, лишь бы с ней не стряслась беда.

Мария оставляет всякую сдержанность, иначе она не могла бы договориться до основного. Размахивает своими большими руками, топает ногой, кричит:

— Вы отжили свое, неужто вам никто об этом не сказал? Вас ненадолго хватит. Одних ваших пороков довольно, чтобы доконать человека; вы же растрачивали свои силы не только на женщин и карты, вы приложили руку ко всем делам неба и земли, а также и ада. Смута, которую вы разжигаете, воцарилась в вашей собственной голове, и она больше не повинуется вам. Скоро, очень скоро с вами стрясется

беда.

«Скорее с ней», – подумал Генрих. Он протянул руки, чтобы подхватить эту башню в виде женщины, если она пошатнется. Этого не случилось, наоборот, королева вдруг заговорила спокойней, меж тем как малейшее движение ее лица и тела обнаруживало трусливую настороженность:

– Назначьте меня регентшей!

И так как он не отвечал:

– Подумайте о вашем сыне. Вы умрете, он потеряет престол, лучше заблаговременно назначьте меня регентшей.

С терпеливой улыбкой Генрих предложил ей сделку.

– Взамен регентства я требую жизнь девицы, которую вы хотите казнить.

Обморока не последовало, однако Марии пришлось присесть на корточки, живот ее вдруг непомерно отяжелел. Должно быть, колики, цвет лица ее принял зеленоватый оттенок, взгляд стал тупым и жалким.

Генрих нагнулся, чтобы помочь ей; при этом он сказал нежно, но твердо:

– Мадам, на вас неотступно наседали. Забудьте об этом. Помните, что ваш лучший друг подле вас.

Она поднялась на ноги. Чтобы извлечь пользу из его жалости, она заговорила неподобающим ей голосом, слишком тонким и слабым для такого обилия плоти.

Мария, по-детски:

– Когда вы назначите меня регентшей?

Генрих, кротко:

– Когда мне будет восемьдесят лет.

Мария, властно, как завоеватель:

– Вы не достигнете и шестидесяти.

И удалилась, топоча так, что застонали половицы. С порога она пригрозила ему. Это не была злоба. Он понимал, что несчастная облакает свое отчаяние в ярость.

Мария:

– Никто не поручится за вашу жизнь.

В тот же день она отозвала своих блюстителей нравов, и общению полов в Луврском дворце больше уже не ставились препоны. Многие только этого и ждали, и в первую очередь девица, которую недавно собирались казнить. Казалось, воротились обычаи времен старой Екатерины, к тягостному удивлению короля. Однако он молчал, ибо угадывал умысел и презирал его. Он сам должен подать повод к нападкам, которые не заставили себя ждать. Проповедники с новым пылом набросились на благодарную тему о похотливом старике, который разоряет и губит королевство, и он же один держит в тревоге весь христианский мир. Своего духовника Коттона, который и теперь, верно, скрывался за кулисами, Генрих предостерег на свой лад. Он покаялся для вида, что совесть мучает его за давнишнюю смерть некоего господина де Лионна. Последний только и совершил преступного, что грел ноги во вспоротых животах крестьянских девушек. Тут нет намека на похоть, все были бы довольны стариком, который решил погреться.

— Сын мой, — произнес Коттон, трудно понять, была ли в его словах глупость или лукавство: — Пекитесь о своем добром имени. Тот, кто уже утратил его, сам не знает, на что становится способен.

— Отец мой, — возразил Генрих. — За мое доброе имя отвечает именно вы. Сообщите проповедникам, что опасно оскорблять королевское величество.

После этого все стихло. Только король стал печален. Что ж, хотя бы эта цель достигнута. Тремя годами раньше он бы посмеялся. От злой молвы, преследующей человека, зависят события, которым он идет навстречу. Европа за него, это важно. Королем всей Европы называли его. В марте 1609 года умирает герцог Клевский. Народы не спускают глаз с короля Франции, дворы затаили дух. Начальник артиллерии торопит его ринуться в бой. Генрих стоит на том, чтобы действовать в согласии с международным правом. Габсбург забирает Клеве и Юлих, лишь после этого Генрих позволяет своим германским союзникам занять Берг с городом Дюссельдорфом. Долго тянутся переговоры, и никто не вступает в бой.

Впоследствии все запутается из-за его колебаний. Но причина его нерешительности — козни в собственном доме.

Канун похода настанет, а самый день — никогда. Король соберется выступить, внутренним побудителем его будет Великий план; он один всегда и неизменно. Но если бы не существовало никакого Великого плана, никакого союза народов в целях

вечного мира, выступить ему пришлось бы все равно, чтобы защитить свой престол:
так далеко зашло дело. Будут даже говорить, что лишь ради юбки затеял он войну,
этот вечно влюбленный Vert galant, который под старость потерял чувство меры и
попросту рехнулся. Вот на что способна молва; в конце концов иезуит Коттон
скорее хитер, нежели глуп.

Из государя, чей дух властвует как над данным миром, так и над предначертанным, молва в последний год его пребывания на земле сделает одряхлевшего распутника: вот на что способна молва. Порождена она здесь, его двором, его столицей.

В предпоследний час она даже перелетит границы, отнимет у него друзей за пределами страны, но ни один народ не отступится от него. Особая глубокая мудрость, должно быть, руководила народами, когда они продолжали в него верить,
и его народ прежде всего. Ему не следовало печалиться из-за молвы, хоть и порожденной его ближними, а он из-за этого упустил предпоследний час. Он созрел
для ножа, чего раньше не было.

В пору знакомства с юной, слишком юной дамой по имени Шарлотта де Монморанси[111. – Монморанси Шарлотта-Маргарита (1594–1650) – дочь коннетабля Генриха де Монморанси. Вышла замуж за принца Конде, с которым бежала в Брюссель от преследований влюбленного в нее Генриха IV.] – за несколько дней до первой
встречи он совершил примечательную прогулку по городу. Король пешком, подагрик
д'Эпернон в носилках, а с ними и другие господа гуляли по холмам, откуда можно
охватить взором весь город. Король был очень шумлив; глухой, сидя в носилках,
слышал почти все. Король только что вышел из своего кабинета; о чем бы он там
ни размышлял, глаза его невольно обращались к некоей гравюре. Тем шумливее был
он после этого в обществе. Когда его столица распростерлась перед ним вся целиком, он повернулся к ней спиной, нагнулся и с гибкостью юнца просунул голову между расставленными ногами. Стоя так, он крикнул:

– Я вижу одни публичные дома.

Ему весело отвечал его славный Роклор:

– Сир! Я вижу Лувр!

Этим он думал поднять дух короля, намерение было доброе. Из носилок раздалось хихиканье, которому, казалось, не будет конца; носильщикам пришлось

похлопать своего господина по спине.

После этого король отстал от своей свиты. Один лишь человек, которого он не замечал, держался подле него, хоть и в сторонке, на почтительном расстоянии.

Это был один из поэтов или ученых, которых приглашали ко двору, дабы каждый мог побеседовать с ними и блеснуть отраженным светом. Отец чуть ли не чулочник, сын получает заказы от его величества: переложить для потомства в искусные строфы балет, которым любовался Лувр, или тщательно описать одно из пернатых созданий, что живут и умирают в птичьем покое. Маленькое созданище, подобно нам, вступает в жизнь весело и вполне непринужденно; в дальнейшем дерзновенно захватывает власть над себе подобными, злоупотребляет ею, его карают за это, ранят; оно отрекается от всего, ищет одиночества, кричит, исполненное страшных предчувствий, когда его хочет коснуться чья-то рука.

Между тем сейчас речь идет не о птичках. Тут поэт или ученый обнаружит свой искушенный ум, он не сделает и не скажет ничего неосторожного, хотя знает лишь ради его словесного дара приняла его в свою среду, как будто он дворянин или отважный воин. Во время этой прогулки он избегает приближаться к королю, которому явно нежелательны спутники. То, что сын плебея бормочет про себя на почтительном расстоянии, предполагает глубокий, но ни к кому не относящийся смысл. У короля слух тонкий, тем не менее никто не ожидает, что он станет прислушиваться к столь малозначащему монологу.

— Счастье весьма утомительно. Ничто не отнимает столько сил, как счастье. Даже моему довольно умеренному счастью мне все же приходится ставить предел, лишь при добровольном ограничении счастье может сохранить свой призрачный облик. Представь себе, что у всей Европы на устах твоя слава, созданная одними словами; мало того, она будто бы долетела и до обитателей Новой Франции. Как быть? Мне придется либо умножить, либо уничтожить мое счастье. Даже такое умеренное, как оно есть, оно навлекает на меня лютую вражду, нож тут как тут. Меня же счастье мое обязывает становиться все счастливее. Предпринимать труды и путешествия — хотя бы конец их был по ту сторону могилы. Сын неизвестных родителей имеет право определить тот миг, когда следует сойти со сцены. Он может укрыться в монастыре, в птичнике, в библиотеке. Он может умолкнуть. Он не

настолько велик, чтобы быть счастливым в самом несчастье. Он не монарх, на чьем существовании зиждется целый мир и падет вместе с ним. Infelix felicitas от него не требуют и не ждут. Но у того, кто велик, выбора нет. Он должен пройти твой трудный путь, infelix felicitas.

Последняя перед концом

Нельзя сказать, чтобы мадам Маргарита Валуа способствовала доброй славе Лувра или своей собственной. Это не было ей дано. В отличие от Марии Медичи, королева Марго поступала без фальши; у нее не было иных дурных советчиков, кроме своих страстей, зато они сохранились в полной силе. Она занимала теперь дом, который уступил ей архиепископ. Там у нее наряду с хорошей кухней процветала академия просвещенных умов – со временем этому ее творению суждено было удостоиться общегосударственного признания. Другая сторона ее натуры не могла обойтись без молодых любимцев.

Однажды утром она возвращалась после мессы; в карете напротив нее сидел ее двадцатилетний красавчик. Когда карета прибыла к дому, на подножку вскочил один из пажей королевы Наваррской и пристрелил теперешнего любимца; сам, верно, был предыдущим. Он пытался бежать; но, несмотря на смятение по поводу запятнанного кровью платья и другого понесенного ею урона, мадам Маргарита велела схватить убийцу. Когда последнего подвели к труп, он толкнул его ногой и сказал:

– Он убит? Тогда можете прикончить и, меня, как-никак, а я доволен.

Сказать это даме, чье терпение он и без того подверг испытанию! Она не выдержала и крикнула:

– Удушить его! – Сняла с себя подвязку, ноги были все еще хороши, хоть и несколько полны. Швырнула ее слугам. – Удушить! Да поскорее!

Приказа королевы Марго, которая не помнила себя, не послушался никто. Восемнадцатилетний юноша, который с нескрываемым удовольствием убил двадцатилетнего, подлежал наказанию законным порядком. Король подписал приговор, больше ему ничего не оставалось. Запоздалые страсти его первой супруги вместе с их последствиями были бы поставлены в укор ему самому, если бы он оказал снисхождение. Мстительная женщина, правда, злоупотребила приговором

суда. Под ее окном, на парадном дворе ее дома, всего в трех шагах от нее – вот где юноша должен взойти на плаху! Он был храбр и тверд, о помиловании не стал просить. Что за польза престарелому кумиру иных времен, с отвисшими щеками, в распахнутом пеньюаре, смотреть, как падает молодая голова, и радоваться, этому?

Ее прежний супруг думал про себя: «Бедняжка Марго сама страдает от своих неистовств. Раньше она и не знала, до чего способна пойти. Мой Коттон мог бы подать ей совет на основе старой мудрости, не своей, а своих предшественников: «Берегись!» Тая в душе такие чувства, король присутствовал на состязании с кольцами, устроительницей была мадам Маргарита. С ее приключения прошел целый год, оно уже не тяготило ее. Тем внимательнее следил Генрих за дальнейшими проявлениями ее натуры: его самого они могли бы предостеречь.

А задумала Марго ни много ни мало как навязать ему новую возлюбленную. Это была мадемуазель де Монморанси, Маргарита-Шарлотта, родившаяся в 1594 году. Девочке шел пятнадцатый год, когда королева Марго созвала гостей на состязание с кольцами. Многие дамы, словно стоворившись, с той же мыслью остановили внимание на юной красавице. Первый толчок дал стихотворец Вуатюр[112. – Вуатюр Венсан (1598–1648) – французский поэт, представитель салонной литературы.], назвавший ее утренней зарей. Едва занявшийся день, без сомнения, может быть полезен – причем всякому ясно, что подобное существо, не созревшее и не определившееся, лишь впоследствии осуществит то, что обещает. В сущности, юная красавица – плод фантазии стихотворца Вуатюра.

У прочих дам были корыстные побуждения, в первую очередь у мадам де Сурди, которая с этой стороны уже себя показала. Она просила руки девицы для своего сына, отказываясь от всякого приданого. Госпожа Сурди унаследовала от своей племянницы Габриели пятьдесят тысяч ливров ренты. Если выйдет то, что она замыслила, они могут обратиться в сто тысяч. Отец Шарлотты был в опале; разве пристало коннетаблю, которого король называет кумом, вступать в заговоры против него? Он каялся в своей глупости; он ни перед чем не остановился бы, чтобы снова войти в милость. Брак был решен, без приданого, хотя Шарлотта считалась самой богатой наследницей.

Тут в дело вмешалась одна старая принцесса, ей тоже не хотелось выпустить из рук нити интриг. Мадам Диана Французская, внебрачного происхождения, обломок прошлого, взяла на себя заботу о девочке, когда ее мать захворала; Сурди пришлось поставить крест на своих расчетах. Как раз в это время королева Марго приглашает на состязание с кольцами. Состоится оно в ее владениях.

И она, кроме всего прочего, не забывала о себе. Немало нужно денег, чтобы построить новый дворец; дом архиепископа стал ей неприятен по воспоминаниям.

Кроме того, ей не хочется быть единственным престарелым кумиром, который любит нежные бутоны. А тут как раз распускается свежий бутончик для спутника ее юности и неминуемо должен ввести его в соблазн. Оставляя в стороне расчет, который свойствен всякой женщине, это снова Марго былых времен, мыслящая гуманистка с широким кругозором. Моему бывшему супругу, так высказалась она, чего-то недостает для его высоких начинаний — я-то знаю каких, они непременно должны быть высокими, и обидно было бы, если бы он не превзошел собственной славы и не обессмертил ее. Словом, он лишен чего-то. Он лишен, и ему не хватает того, что в конечном итоге давало ему силу на все его дела: восторга перед женщиной. Смешно, что человек восторгается нами! Разве мы этого стоим? Восторгается до тех пор, пока не становится великим королем.

Не только смешно, так высказалась Марго, наивно и благородно принимать нас всерьез. Пока ему это свойственно, еще не все погибло, и я не потеряла его. Не потерять мужчину — это значит видеть его перед собой живого, вместе со всеми воспоминаниями, в особенности дурными. Потому-то я и строю себе дворец напротив его Лувра и могу с того берега заглядывать к нему в окно, если надену хорошие очки.

Состязание с кольцами стяжало блестящий успех человеку, который совсем не был принят в расчет: господину де Бассомпьеру. Он победил придворного кавалера королевы, Кончини, что повергло Марию Медичи в ярость. Король был этим доволен. Его Бассомпьер с годами много преуспел в рассудительности и добродетели. Телесные достоинства не отстают от прочих. Любопытствующий новичок вырос в почитателя короля и понимает, как тяжело королю нести свое несчастливое счастье.

«Каждый друг мне дорог», – про себя говорит Генрих, меж тем как сияющий герой дня по кругу объезжает трибуны.

Он опускает коня на колени перед их величествами, взмахивает шляпой, ждет приказа. Какую даму избрать ему, чтобы с ней разделить славу победы? Весьма затруднительно, при обилии высокопоставленных особ. Королева Наваррская принимает решение, она указывает Генриху на весьма юную девицу, которой выпала честь сидеть как раз напротив него. Целый час сияла перед ним новая звезда, но он не обращал на нее внимания. Во-первых, отец ее у него в немилости. Дочь была ему представлена, когда и где – он сразу же позабыл. Дитя, каких много, право же никакого сходства с утренней зарей. Однако он замечает, что много глаз устремлено на него. Бассомпьер ждет спокойно, зато другие в волнении.

Но ведь Генрих угадывает их привычную уловку. Ему предлагают женщину. Искоса оглядывает он окружающих; обе королевы, должно быть, осведомлены. Затем он видит юную девицу напротив себя: лишь теперь видит ее и содрогается, как будто перед ним чудо или нож убийцы. Еще немного – и он лишился бы чувств. Он ни в чем не знает меры.

Хитроумный Бассомпьер понимает своего государя, – во всяком случае, решает, что получил приказ, которого добивался. Он едет по кругу, лошадь его вновь опускается на колени. Юной Монморанси помогают пробраться вперед; каждой даме хочется посмотреть, как Бассомпьер посадит малютку в седло. Зрители вскочили с мест, чтобы видеть, как восходит новая звезда. Бассомпьер ведет коня на поводу. Девочка гордо и радостно смотрит сверху на толпу, окружающую ее. Она удовлетворена и даже забывает, куда ее везут. Когда шествие достигает наконец цели, оказывается, что король удалился.

Он, верно, подумал: «Они меня разгадали. Я хочу наконец отделаться от женщин, и без того довольно тягостных забот». У своей приятельницы Марго он усмотрел корысть, которая лишь отчасти руководила ею; остальное ускользнуло от него. Те времена, когда восторг перед женщиной побуждал его к действию, теперь казались ему далеки, словно так вел себя совсем другой человек. И тем не менее дело неудержимо двигалось вперед. Прежде всего коннетабль не дал согласия на

брак своей дочери Шарлотты и сам заявил: ни с кем, кроме господина де Бассомпьера, хотя последний не слишком усердствовал. Нет ничего прекрасней под небесами — это-то всякий способен сказать об утренней заре.

А что, собственно, мог он предъявить, дабы получить самую богатую наследницу? Храбр, как собственный меч, остроумен по привычке. Без всяких средств, бесшабашный рубака, случайно оказался на свету и быстро исчез бы, едва лишь король пресытился бы им. Все равно Монморанси хотел вновь войти в милость.

Его приятель д'Эпернон задал ему вопрос:

— Какой срок даете вы этому королю?

— Большой, нежели вам, — отвечал коннетабль раздраженно, потому что слишком долго слушался страдающего подагрой заговорщика. Затем они отправились обедать с Роклором и Цаметом, повелителем миллиона восьмисот тысяч экю, как он себя именовал. «Этот и здесь приложил руку? — про себя заметил Генрих, когда ему сообщили о помолвке. — Как странно, что через одну жизнь проходят все те же персонажи, можно сказать, остатки прежней личности».

Над событиями в доме Монморанси Генрих не задумывался, он поздравил избранника и напросился гостем на его свадьбу. Но вдруг случился приступ подагры, обычной болезни стареющих воинов. Она в одно время поразила Монморанси

и короля: д'Эпернон еще раньше страдал ею. Прикованный к постели Генрих требовал, чтобы ему читали вслух. Бассомпьер сменялся с юным Грамоном.

Оба были

послушны моде, они разделяли всеобщее восхищение романом господина д'Юрфе [113. — Юрфе Оноре де (1568–1625) — французский романист, главный представитель пасторального жанра во Франции.], «Астрея»

назывался он. В нем пастухи и

пастушки любят друг друга бесплотной любовью, телесные утехи и муки остаются в

стороне — больному подагрой это должно быть приятно.

Но, с другой стороны, придворные дамы навещали короля, лежавшего на одре болезни. И ни одна не преминула рассыпаться в похвалах достоинствам юной Шарлотты. Из них редчайшее — ее простодушная невинность, о, сколь чуждая придворных расчетов. Глядя на это создание, начинаешь верить в радужную родину

пастушек и их идиллических овец. Из уст королевы Марго такие слова звучат

совсем непривычно. Ей Генрих отвечал:

— Малышка строит из себя невинную овечку. В лучшем случае она пока что на самом деле такова. Но едва я сделаю из нее свою метрессу, как она пожелает

стать королевой. Этого не миновать.

Однако сильные боли могут довести мужчину до того, что он станет искать самых неразумных утешений. Страна невинных овец тоже принадлежит к земной юдоли; все равно хочется думать, что болезней там не бывает. Лежать в постели скучно. Роман господина д'Юрфе хоть и скучен тоже, но рисует неизведанные приключения, которые недурно бы испытать. Бесплотная любовь была бы явно новым переживанием. Каково на этот счет мнение Блеклого Листа?

Бельгард, обер-шталмейстер, носил это звание уже так давно, что при дворе его звали просто господин Обер. В вопросах, которые снова стали на очереди, король обращается к привычному советчику. Когда Генрих пригласил его для беседы с глазу на глаз, старый друг понял свою ответственность, он сказал: *distinguo*[* * * - Делаю различие (лат.)]. Он настаивал на различии между пастушками, о которых был невысокого мнения, и некоей юной девицей безупречной наружности.

— Дитя, — сказал Генрих. — Блеклый Лист, ведь это дитя.

— А почему дитя должно принадлежать одному Бассомпьеру? — возразил Блеклый Лист. Статную осанку он сохранил, только теперь у него постоянно с носа свисала капелька — мишень для шуток, подобно жене маршала Роклора.

Генрих про себя решил, что его Блеклый Лист сдает и не может уже вникнуть в особенности данного случая. Обладать малюткой ему и в голову не приходило. Своему обер-шталмейстеру он дал лишь одно поручение:

— Приведи мне ее! — Таковы были его слова. Другие, много лет назад, гласили: «Покажи мне ее!» Об этом вспомнил только Бельгард; перед его внутренним взором еще раз промелькнули минувшие дни.

Король бодрствовал всю ночь. Оба его чтеца спали попеременно. Роману «Астрея» не было конца, нетерпеливое ожидание собственной пасторали гнало короля с постели. Утром он назвал юную Монморанси овечкой, даже овцой, он и видеть ее не желает. Это не помешало ему сказать ее жениху Бассомпьеру, едва тот вошел, что он любит Шарлотту, что от любви он не помнит себя.

Зимний день, восемь часов утра. Августейший, обожаемый монарх опирается на

своего молодого красивого фаворита, который преклонил колени на подушке подле кровати. Слезы его орошают молодого человека или текут по его собственной седой бороде.

— Ели ты женишься на ней и она будет любить тебя, Бассомпьер, я тебя возненавижу. Ты меня возненавидишь, если она будет любить меня. Я не хочу ссоры. К чему разрушать нашу дружбу! Я решил выдать ее замуж за моего племянника, принца де Конде. Она войдет в мою семью и будет утешением моей старости.

Бассомпьер застыл на месте от испуга, а затем вспомнил, что произошло во время состязания с кольцами. «Бедный, обожаемый государь, хорошо бы набраться храбрости и попросить, чтобы он описал предмет своей любви. Сир! Вы по-настоящему даже не видели моей невесты». Однако он решил, что все это лишь причуда больного. А потому, оставив при себе свои истинные мысли, предпочел прибегнуть к искусным и чувствительным выражениям:

— Сир! Пусть эта новая любовь принесет вам столько радости, сколько горя сулит мне ее утрата, если допустить, что почтение перед вашим величеством позволило бы мне горевать.

Ему предстояло немало неожиданностей. Целый день томилось его королевское величество. Когда Генрих потерял уже надежду и в алькове был поставлен столик, ибо он затеял играть в кости с тремя своими дворянами, тут-то и явились обе женщины. Мадам де Монморанси для такого случая даже исцелилась от своей болезни. Король сидел по другую сторону кровати и через нее беседовал с матерью и дочерью; по правде сказать, он находил мать привлекательнее. Но как же пастушки, из романа «Астрея»? Кто, подобно им, сулит неизведанное счастье? Снискал ли ее одобрение брак с господином де Бассомпьером, спросил он малютку. Она с видом полной невинности:

— Я подчиняюсь отцовской воле.

Несчастный жених стоял как громом пораженный. Ведь раньше он слышал:

— Ты мой единственный, на всю жизнь.

Когда король повторил вопрос, Шарлотта просто пожала плечами. Бассомпьер увидел, как хладнокровно он отринут. У него пошла носом кровь, он удалился и два дня не показывался. Он не ел, не пил и потерял сон. Король вновь вытребовал

его к себе. Обездоленный фаворит понял, хоть и ценой страданий: это вовсе не добрая заря, она без сердца и обещает стать тварью не хуже всякой другой, чего не уразумел старый король. Девичья красота была для него порукой добродетели. Он отдал бы половину своего золотого запаса, мысленно, не на деле — за несуществующую добродетель.

Конде не спорил и принял все, что выпало на его долю: обручение, увеличенную ренту и даже слухи. Король женит его, чтобы самому получить любовницу. Король выбрал именно его, потому что его подозревают в извращенных наклонностях: надо полагать, он даже не прикоснется к жене. Все это Конде терпел целых два месяца, пока не был заключен брак. Это время королю предоставлялось мечтать. Всякий доброжелатель мог видеть, что склонность его чиста, согласно рецепту господина д'Юрфе; и что стихи в честь предмета его страсти, сколько бы он их ни заказывал и ни сочинял сам, одинаково плохи. Его придворный поэт Малерб[114. — Малерб Франсуа де (1555–1628) — французский поэт и критик, один из основоположников классицизма. С 1605 г. придворный поэт Генриха IV.] обычно писал лучшие. «Отрадно вспоминать о радостях былых» безусловно удачный афоризм, правильно определяющий человеческие настроения. Он подходил к человеку в летах, которому больше пристало воспоминание, нежели отчаяние или упоение.

Свой взгляд на это несообразие Конде высказал, едва женился. Сперва он все-таки взял те десять тысяч ливров, которые король подарил новобрачной, а также на восемнадцать тысяч ливров драгоценностей от королевы. Он не отказался и от уплаты его долгов, и от трехмесячной ренты. Король пригласил молодую чету в Фонтенбло, и тут оба они показали свое истинное лицо. Мнимое дитя, отныне принцесса королевского дома, по мере сил натравливала одного на другого, питала ревность своего молодого супруга, разжигала своего престарелого обожателя. Однажды вечером она вышла при свете факелов на балкон с распущенными волосами. Король был близок к обмороку, на сей раз непритворному.

— Господи! Вот сумасшедший, — сказала юная невинность.

Конде, обращаясь к Генриху:

— Сир! Вы молодеете с каждым днем. Вы без конца меняете костюмы, бороду подстригаете на новый лад и носите не только воротник с зашитыми внутри

благовониями, но и цвета моей жены, всем напоказ. Сир! Это мне не нравится, вы нас обоих, и себя и меня, выставляете в смешном свете.

Такой тон позволял он себе и день ото дня становился все более дерзок. Он был мал ростом и худощав, с резкими чертами лица. Мрачную молчаливость он отбросил. Он представлялся беспечным и простодушным, на деле же был весьма расчетлив. Без сомнения, он взвесил все свои шансы, когда решился бежать вместе с женой. Позади останется король, чья воображаемая любовь превратится в бешенство. Тем более если принц крови вместе с женой найдет прибежище у его врага, Габсбурга. «Какой щелчок ему, победителю и великому королю, — думает Конде. — Европа не простит своему идолу этого унижения. Он сам не стерпит обиды. Он устремится навстречу гибели, которая и без того достаточно тщательно подготовлена. Не робей! — сказал себе юный интриган. — Король будет убит, только осел этого не видит. Тогда я окажусь прямым претендентом на престол, на который возведет меня Габсбург. Ни малейшего сопротивления в королевстве. Протестанты считают развод своего Генриха недействительным, а дофина незаконнорожденным».

Президент де Ту предостерегал Генриха. Тщетно. Генрих клялся в чистоте своих намерений.

— Ваше прошлое свидетельствует против вас, — напоминал де Ту. Тщетно. Генрих написал Рони, что в конце концов принц выведет его из терпения. Рони посоветовал засадить Конде в тюрьму. Он чуть было не послушался совета, когда Конде бросил ему упрек в «египетской тирании». Народному королю не очень приятно слышать это. Генрих прекратил выплату содержания предприимчивому юноше. А Бастилия осталась лишь угрозой.

«Не робей!» — сказал себе Конде. И начал с того, что увез жену в свой охотничий замок в Пикардии — совсем неподалеку от границы испанских Нидерландов. В Брюсселе правят эрцгерцог с инфантой. Но пока что мы во владениях египетского тирана, а потому надо быть осторожней. Для отвода глаз предпринимаются поездки, например, в Амьен к губернатору, господину де Треньи. С принцем и принцессой находится его мать, она некогда отравила своего супруга, чьим сыном принц якобы вовсе не был, правды не знает никто. Мать малютки охотно отдала бы ее королю в любовницы. Мать принца тоже. Многие дамы не отказали бы в помощи. Королева Мария Медичи говорила:

— Тридцать сводниц заняты этим благородным делом. При желании я была бы тридцать первой.

Несомненно, и она поспособствовала бы, если бы таков был приказ. Генералу ордена иезуитов стоило только дать знать Марии: надо пойти на такую жертву. Это последняя перед концом.

Новая Елена

День святого Губерта, ясная погода, путешественникам не приходится удивляться, что им повстречалась охота. Но это королевские охотники, что как-никак странно. Они поясняют молодой принцессе, что местный лесничий.. Она не слушает их, она узнала короля.

Король одет лесничим. Он держит на своре двух собак. На левой руке у него повязка. Никто не узнал его, кроме предмета его страсти. Она проезжает вплотную мимо него, говорит сверху:

— Этого я вам никогда не прощу, — и скачет прочь.

На этот раз трудно поверить, чтобы Генрих забыл, как низкорослый старик крестьянин, с закопченным лицом, со связкой хвороста на согбенной спине некогда пробрался в замок Кэвр напрямик через вражеские позиции. Сир! Какой вы некрасивый, сказала тогда Габриель д'Эстре. Но затем он тронул и пленил ее, перед ним лежали годы, годы величия и власти. А что теперь? Он хочет воскресить минувшие дни, он подражает самому себе. Что может знать об этом дитя, но оно говорит: этого я вам никогда не прощу. А что было бы, если бы она понимала все!

Впрочем, как не быть польщенной, что ради нас король меняет свой облик. Значит, мы ни с чем не сравнимая дамочка. Только будем помалкивать, решила дамочка или овечка. Наученный горьким опытом, Бассомпьер дал ей еще другое имя. Между тем хозяйка того дома, который был целью поездки, настойчиво советовала овечке полюбоваться пейзажем. Ее взгляд при этом невольно упал на окно бокового крыла: король, стоя у окна и приложив руку к сердцу, слал воздушные поцелуи.

— Боже мой, что ж это такое! Мадам, король в вашем доме.

Мадам де Треньи хотела повести к нему испуганную малютку: доброе словечко

никогда не пропадает даром. Милая малютка думала: «Добрые словечки, не говоря о всем прочем, пока что отложим. Пускай старик сперва выгонит свою старую толстую королеву со всеми своими девятью незаконными отродьями. А я сама найду, откуда мне взять законного дофина».

Принц и принцесса де Конде не доверяли друг другу, у них ни в чем не было согласия. Оба хотели наследовать королю, каждый на свой лад. Под конец оба остались ни при чем. Принцесса-мать боялась громкого скандала; она покинула этот кров, не преминув сперва открыть глаза сыну. Генрих печально воротился в Париж. Теперь или никогда, Конде решил хитростью увезти жену за границу. Ей он сказал лишь, что они едут осматривать какое-то поместье. Из первого испанско-нидерландского городка он послал инфанте просьбу оградить его честь и жизнь от египетского тирана. Эта дама, собственная честь которой была под надежной защитой заживо погребенной женщины, пригласила гонимую жертву в свою брюссельскую резиденцию. Примерное дитя было принято и водворено со всеми отличиями, подобающими его званию. Но с возвращением на родину дело обстоит по-иному. Все попытки неизменно приведут к неудаче.

Король получил ошеломляющее известие вечером за карточным столом. Присутствовали при этом его кузен Суассон, герцоги де Гиз и Эпернон, Креки и Бассомпьер, последний сидел всех ближе к королю. Он сказал шепотом, отнюдь не желая быть услышанным:

— Сир! Я не поступил бы, как принц де Конде, да и быть на его месте не хотел бы. — Король пожелал видеть одного лишь Сюлли.

Начальник артиллерии уже лег, он не хотел вставать, пришлось показать ему депеши. Тогда он явился. Как ни странно, король отправился к королеве, она недавно лишь родила. Но настроение скорее подошло бы к комнате умирающей. Король выслушивал нелепые и предательские советы. Министр Вильруа рекомендовал дипломатический путь, потому что он был самым медленным. Президент Жаннен [115. — Жаннен Пьер, прозванный «президент Жаннен» (1540–1623), — французский государственный деятель, судья и дипломат. Принимал участие во всех политических событиях царствования Генриха IV.] признавал только одно — применение силы. Каждому государю, который даст приют Конде, пригрозить войной. А Генрих добивается мнения своей жены. Она лежит, отвернувшись, лица ее он не видит.

Слишком поздно станет ему известно, что в эту ночь Мария окончательно освоилась с мыслью о его смерти. Но сейчас он надеется тронуть ее сердце.

Когда Сюлли вошел, Генрих взял его за руку.

— Наш приятель сбежал и все захватил с собой. Что вы на это скажете?

Сюлли забарабанил марш на оконном стекле. Генрих понял его, они привыкли друг к другу. Наш приятель давно бы мог сидеть в крепости, означал марш.

— А что ж теперь? — спросил Генрих.

Сюлли посоветовал ничего не предпринимать. Чем меньше раздувать дело, тем это будет благоразумней перед лицом европейской общественности и тем скорее возвратится принц. Хотя бы из-за недостатка денег.

На этом закончился государственный совет, если можно назвать его таковым. Сюлли видел то, что королю в его состоянии было еще неясно: предпринять нельзя ничего — даже и для войны уже поздно. Король медлил, пока Европа ждала его как избавителя. Как мог бы он выступить в поход, чтобы добыть себе из Брюсселя метрессу! И тем не менее обстоятельства сложились так, что его поступки приобрили именно этот смысл. Папскому легату Генрих скажет:

— Нелепо думать, будто я действую, повинуюсь страсти. Во Франции найдутся женщины покрасивее. — Но изменить он не мог уже ничего. Народы ни на миг не поверили этому; двory и придворные иезуиты только притворялись, будто верят. Однако же все пишут, сообщают, обсуждают: новая Елена послужила для короля Франции поводом разжечь войну.

Альбрехт Австрийский правил испанскими Нидерландами вместе с женой, инфантой Изабеллой. Он был эрцгерцогом и пронырливым чиновником. Он незамедлительно принял решение воспользоваться родственником короля Франции как орудием против него, не останавливаясь перед крайностями, вплоть до оспаривания престолонаследия и бунтов в королевстве. Предлогом он выставлял сомнения правового порядка и охрану своей чести. Чтобы он, Габсбург, отослал нетерпеливому любовнику жену другого, оттого что влюбленный прозрит военной силой! Генрих в самом деле велел оповестить, что явится за принцессой во главе пятидесятитысячного войска. Эрцгерцог решил выждать. В конце концов, может быть, сластолюбивый старец и потерял голову, однако это маловероятно.

Эрцгерцог смутно догадывается, что Генриху важнее прибрать к рукам принца, нежели принцессу.

После того как получилось предписание короля Испанского, Конде был объявлен претендентом на престол. Двор инфанты отпраздновал это событие восьмичасовой трапезой и танцами. Эрцгерцогу так и не удалось привести веские доводы, почему он не выдает принца крови главе семьи, — когда наперекор воле этого главы никто, разумеется, не может оставаться членом королевского дома и превращается попросту в мятежного подданного. В дальнейшем события вынудили короля предать Конде гражданской смерти. От этого бывшая мрачность сменилась проворством и живостью. Эрцгерцог посоветовал Конде путешествовать, и он принялся колесить на испанские деньги по всей Германии, в Триенте едва не был схвачен венецианцами, которые выдали бы его своему союзнику. Однако он сбежал в Милан, который стоит Мадрида.

При этом известии Генрих втихомолку отступился. Про себя он отказался от своей последней любви, но официально еще нет. Малютка и не подозревала об этом; только что ее брюссельскими покровителями была расстроена попытка похитить ее. Ганнибал д'Эстре, брат Габриели, плохо оправдал королевское доверие; Генрих, который уже отправился навстречу своей красотке, обозвал его дураком. Тогда он еще не знал, что Ганнибал неповинен в неудаче, ибо весь замысел был выдан еще до его прибытия в Брюссель. Кем — Генрих узнает вскоре.

Овечка в роли новой Елены не переставала упиваться сознанием того, сколь важна ее роль. Мадам де Верни говорила с ней по поручению короля, советуя призадуматься: ведь король уже однажды развелся с женой.

— Вы совершенно правы, — отвечала Шарлотта. — Пожилой человек, обожающий меня превыше всего, куда лучше молодого с наклонностями моего мужа. Мадам, напишите вы его величеству, ибо мои письма здесь читают; заверьте его, что я знаю одну-единственную любовь: любовь к его величию, к его славе. А посему по мере сил буду стараться наконец-то подарить ему совсем законного дофина.

Супруга посла сомневалась в этом, ибо милое дитя принимало, кроме того, ухода генерала Амброзио Спинолы, завоевателя Остенде. Рубенс написал для

него портрет Шарлотты; генуэзский купец, которому лишь из-за его богатства испанцы открыли доступ к военному поприщу, упорно преследовал принцессу. Его честолюбие было устремлено не на обладание первой встречной красоткой: на войну с Генрихом было оно устремлено. Он хотел достичь вершины; встретиться на поле брани с прославленнейшим полководцем жаждал он. Эрцгерцог, как осмотрительный чиновник, мнимыми уступками оттягивал войну до другого события, о котором был предуведомлен. Мертвецы не воют.

Неугомонный Спинола доказывал ему: надо раздробить и задержать мощное войско захватчика, пока вселенская монархия не начнет наступать со всех сторон и не раздавит его. Однако это было весьма недостоверно; эрцгерцог знал свою династию. Убийство много надежнее. Если же Генрих отрекается от своей любви и втайне называет ее скотницей Дульцинеей, налицо остаются интриги Конде и Спинолы, который больше торопит события, чем сам Генрих.

Генрих слал в Брюссель письма, полные сердечной тоски. Позднейшие были лживы. Пусть он прослывет помешанным от любви, тем труднее будет разгадать его планы. Впрочем, то, что он продолжал писать малютке, почти ничем не отличалось от первых нетерпеливых излияний. Овечка, во всяком случае, ничего не замечала. Письма великого короля она прочитывала вслух инфанте, та выражала почтительное удивление, но выпустить добычу из Брюсселя не соглашалась. Ответы Шарлотты прямым путем попадали к Генриху, считалось, что они для него яд.

— Меня называют новой Еленой, — сказала овечка.

— Так оно и есть, — сказала инфанта. — Но почему вы обманываете своего августейшего обожателя со Спинолой?

— Он к этому привык, ему бы этого не доставало, — сказала овечка. — Позвольте

и мне задать вопрос вашему высочеству. Почему вы так решительно помешали господину д'Эстре увезти меня? Во все не обязательно, чтобы это удалось. Пусть ваши солдаты в пути отняли бы меня у людей короля. Борьба за новую Елену прогремела бы по всем европейским дворам.

— Эрцгерцог предпочитает действовать без огласки, — сказала инфанта.

— Но вы-то разве не можете понять женщину? — вкрадчиво спросила малютка.

— Француженку — нет, — отвечала инфанта с таким высокомерием, какое не охватить неискушенному воображению. Легкомысленная малютка не поняла, как ее хотели уязвить.

Человек в одиночестве

В начале 1610 года военное положение короля было лучше, чем когда-либо.

Он

добился договора с Савойей против Испании: герцог обязался защищать юго-восточную границу. Мориц Нассауский с отрядами своих старых вояк готовился

обрушиться на империю, не дав ей опомниться. Швабский город Халль был свидетелем встречи протестантских князей с послами короля. Его советник Буасис

образовал союз князей и вольных городов против императора. Целью союза выступало возвращение свободы и империи и князьям; лишены они ее оттого, что

императорская корона слишком длительно находится во владении дома Габсбургов.

Если предприятие удастся, дофин будет провозглашен римским королем.

Генрих подразумевал нечто иное и метил дальше. Но кому втолкуешь это.

Великий план создается в одиночестве, он — достижение целой жизни одного человека, и для него он уже действительность. Когда он станет действительностью

и для других? Едва только выступишь, начнешь действовать, тотчас же наталкиваешься на чужие притязания и запутываешься в них. Союзники короля досаждали ему своими распрями, кознями, они боялись и друг друга, и императора.

Немецкие отряды вкуче составили бы войско не меньше его собственного, если бы

кто-нибудь взялся сосчитать их. Вообще же чужеземные полки спешили на зов барабана, в чаянии добычи. Пример бескорыстного полководца был им чужд.

Его

дело — научить их, как можно бороться только за веру. Воспитать ли нам вновь

борцов за свободу и веру? Десять лет истекло с нашей последней войны.

Великий

план созрел под конец жизни.

Он, разумеется, поделился своими сомнениями с неизменным Рони, который рассеял их. В этом королевстве, в этом народе нет более ни одной мятежной клики. Заговор двора против короля мы отрицать не станем, напротив, он у нас

под наблюдением. В народе заговорщики не имеют опоры, невзирая на своих пресловутых ораторов с амвонов и придорожных камней. Однако мы поступили бы

разумно, если бы потихоньку устранили господина Кончини, засадили господина

д'Эпернона и воспрепятствовали тайным переговорам многих лиц, по крайней мере до начала войны.

Многих лиц. Генрих понял, что подразумевалось одно-единственное лицо — королева. Но обстоятельства сложились так, что не ей, а ему самому деловые встречи были затруднены. Вот эта, например, происходит в арсенале. Собственный дом не ограждает могущественного монарха от предателей.

Рони спешит рассеять подобные мысли своего государя. Он следит за каждым душевным движением своего государя. Человек расчета и действия обычно делит людей на друзей и недругов. Недруги его подразделяются на семь родов. Но в сердце он заглядывает одному своему государю.

— Сир! — молвил он. — Ваша власть не опорочена необузданностью и произволом. Именно этим страдают император и империя, вселенская монархия в целом. Помните вы те времена, когда крепости ваши были в запустении? Теперь им нет равных. Король Испанский сам ослабил свою мощь, и, между нами говоря, также ослабела после смерти королевы и мощь вашего британского союзника. Ваше величество — богатейший из монархов. Угадайте, сколько миллионов я сберег для вашей войны?

— Одиннадцать, — сказал Генрих.

— Больше, — сказала начальник артиллерии.

— Пятнадцать.

— Больше.

— Тридцать.

— Еще больше. Сорок.

В порыве радости Генрих повторил много раз, что меньше всего намерен расширять свои границы. Завоевания он поделит между своими союзниками. Он будет воевать за мир на веки вечные, за свободу наций, за счастье человечества, за разум.

Он хочет быть третейским судьей Европы, — понял верный Рони. Пока что итог сходится. Дальше видно будет, не оставим ли мы все-таки себе кое-что из завоеванного.

— Сир! — молвил он. — В вашем Великом плане для меня бесспорно одно — что вы прогоните дом Габсбургов за Пиренеи.

Это была та область горних высей, где вольнее всего человеку в одиночестве.

Король покинул арсенал, даже не упомянув о предмете своих отдаленных заветных мечтаний. И все же он в ту пору объединял одним чувством дитя в Брюсселе и цель своей жизни. Живая цель имеет облик женщины, которую он добудет, хотя бы с помощью пятидесяти тысяч провожатых. Чувство изменилось после того, как Конде добрался до Милана. Похищение юной Шарлотты не удалось; хитрость и уговоры — все пошло прахом; даже родному отцу не выдали дочь, как ни настойчиво ходатайствовал коннетабль у эрцгерцога о ее возврате, горя желанием заслужить милость короля. Тут лишь Генрих заметил, до чего довел себя. Вот письмо принцессы Оранской, ранее бегло просмотренное и отложенное. Генрих один у себя в кабинете берет его в руки, он видит наконец, что добродетель против него. Престарелый государь, пишет ему мадам д'Оранж, не вправе преследовать молодое существо.

Добродетель призывает его отречься от этой любви, запоздалой и последней. Господь возбраняет ему жертвовать во имя своей страсти бессчетным множеством людей, и прежде всего невинным созданием, которое по-детски чтит его. При наступлении его войск на Брюссель ее удалят оттуда и отошлют к супругу, чего она боится превыше всего: он бьет ее. На этом месте Генрих перестал читать. Теперь он знает: дитя горячо призывает его из страха, что ее прогонят и будут обижать. Суровый натиск злого рока, указующий одновременно предел и его королевской власти, и его права на любовь.

Он страдал бы еще сильнее, если бы ему вдруг не пришла мысль взглядеться в ее образ. Нарисованного он не имел, слишком мало случалось ей быть подле него. Внутренний взор его силился воскресить ее, что тоже оказалось тщетно. Потому ли она ускользает от него, что этому не суждено быть? Или встречал он ее слишком редко, видел бегло, и то, что любил, было игрой воображения? Но когда он отчаялся увидеть ее внутренним взором, перед ним действительно предстал образ —

только отнюдь не далекой незнакомки, прозванной новой Еленой. Как живую увидел он женщину, которая была его бесценной повелительницей и осталась ею. Габриель явилась, она говорит ему: «Сир! Мой возлюбленный повелитель. — Она говорит: — Недаром ваш Великий план зародился в мою пору. Я все знаю о вас — я одна, ибо под конец я стала вашей плотью и кровью. Не в могиле лежу я, я живу в вас. Мы не умрем».

Она умолкла и скрылась; он же увидел, какой предмет был перед его телесными очами во время их свидания: скелет в обличье пахаря, мертвец, который не перестает творить. При этом он испытал небывалое счастье — пока Габриель была с ним не воспоминанием, а живой действительностью, усладой и упованием. Он сидел, думал и мысленно перечитывал отчет своего Морнея. «Мадам Морней познала счастье лишь при завершении своей строгой жизни. Так ли это? Она исполнилась такого блаженства, что стала молода и красива. Блаженство приходит перед могилой. Так ли это? Будь отважен и упрям, не сдавайся». Генрих вслух произнес эти слова. Отныне ему ясно: смерть придет рано или поздно в том обличье, какое назначено ей — он же шагает ей навстречу.

К концу марта Луврский дворец стал нестерпим для него. Сюлли велел приготовить ему комнату в арсенале, там король спал под охраной начальника артиллерии, его солдат и пушек.

— Малоподобное положение для могущественнейшего монарха Европы, — сказал он в последний вечер месяца марта, сидя при этом на краю постели, одетый в шелковый халат, и собирался посмеяться. Но герцог де Сюлли имел суровый и официальный вид, как будто тысячи зрителей смотрели на них и что бы они ни делали, предназначалось для всего мира.

— Сир! — молвил Сюлли. — Причин, по которым вам пришлось искать здесь прибежища, несколько. — Он перечислил их в строго установленном порядке: — Первая — это ваша дурная слава, вторая — измена ваших союзников. Заговор вашего двора отходит на третье место, ибо при самой лютой злобе ваших врагов он никогда не претворится в действие. А чего стоит заговор сам по себе! Позвольте

привести вам пример сиракузского тирана Дионисия[116. - Позвольте привести вам пример сиракузского тирана Дионисия. - Дионисий I Старший (род. ок. 431 г. - умер в 367 г. до н. э.) - сиракузский тиран с 406 по 367 г. до н. э., не стеснявшийся в средствах для достижения своих целей и из демагогических соображений принявший сторону бедных граждан.]. Он спасся тем, что позаботился о своей доброй славе, вместо того чтобы умышленно порочить ее.

- Довольно о древних тиранах, - потребовал Генрих. - Займемся лучше современными.

Сюлли поднял брови, а также указательный палец.

- Король Англии - с ним, правда, одно горе - только и ждал случая отказаться: ради какой-то новой Елены он не вступит в войну. Его министры опять уже хлопочут об европейском равновесии, что всякий раз бывает дурным знаком. Ваше величество соблаговолили облегчить задачу этим малодушным людям. Вы, в премудрости своей, показывали вид, будто ваша любовь к принцессе де Конде непреодолима, почему вы и ставили возврат этой особы условием европейского мира. Будь вы другой государь...

- Тиран Дионисий, например, - ввернул Генрих.

Рони:

- Я бы сказал: высокий повелитель, великий сиракузский монарх любит маленькую девочку, пока это ему удобно. Вы давно уже перестали любить ее. Но вы настаиваете на своих особых правах и королевских привилегиях. Не хотите сдаваться. Слишком горды, чтобы оспаривать свою пагубную славу.

Генрих:

- Все становится безразлично, когда летами уподобишься древнему Дионисию.

Рони внезапно меняется, голос делается насколько возможно мягким:

- Сир! Возлюбленный государь мой! Не смешивайте только последнюю любовь с завершением жизни. Одно совсем не равнозначно другому. Освободясь от привычных цепей, большое сердце будет впредь биться лишь во имя высших трудов.

Генрих пошевелил губами, сжал их и просто протянул руку своему верному слуге. После этого Рони попросил у него две недели на размышление. За это время министр успеет разгласить, что роль новой Елены кончена.

— А пока что будем бить в барабан, но людей не выставим. Скажем, что у нас нет денег. У короля Испании их в самом деле нет. Эрцгерцог в Брюсселе и так уже начал увольнять солдат. — Сир! Много лучший повод ринуться в бой, чем была новая Елена, вы всегда найдете в Клеве, Юлихе и Берге. По человеческому разумению, вам не подобает вести войну на два фронта.

Война на два фронта обычно не пугала начальника артиллерии. Король поднялся с края постели, спокойно заявил он свою волю:

— Вам дано две недели, господин начальник артиллерии. И больше ни единого дня. Если я должен один нести ответственность за свою войну, хорошо: буду один. Для двух фронтов я велел изготовить себе двое доспехов. На фронтах они защитят меня, спрашивается: защитят ли здесь? Две недели — срок долгий. Господин начальник артиллерии, вот увидите: они убьют меня.

Король лег в постель и вскоре уснул. У его изголовья стоял на страже его Рони. Надо бы ему всегда стоять на страже!

Когда король проснулся, было первое апреля, ранний утренний час. Под сильным конвоем воротился он в Луврский дворец. Жандармы из охраны короля не покидали его, они окружали весь его кабинет, двери, окна, письменный стол. Как услышали это заговорщики, смятение охватило их. Король воротился из арсенала, полный новой твердой решимости, он всем нам уготовит заслуженную участь. Мы опоздали. Маркиза де Вернейль бросилась искать защиты у господина д'Эпернона; опустив на лицо покрывало, она окольными путями отправилась к нему на дом сообщить ему, что оба они погибли. Человек в фиолетовом кафтане, по знаку герцога, вышел из комнаты. О нем в разговоре не было упомянуто; и даже нечистая совесть не подсказала госпоже маркизе, кто он такой.

Д'Эпернон без конца спрашивал «как» и «что», впрочем, принял новости довольно легко, когда разобрался в них. Спешить некуда, заявил он. Если кто-нибудь вздумает посягнуть на известное лицо, что совсем недостоверно, известное лицо в конце концов предоставит такую возможность. Кабинеты не полны солдат. Некий испанский доктор богословия предсказал на нынешний год знаменательную кончину. Это отчасти убедило госпожу маркизу. А некий немецкий математик даже указал самой жертве чисел определенный день, четырнадцатое мая.

Госпожа маркиза наполовину успокоилась. Д'Эпернон заметил: события, которые не предвещены, могут быть под сомнением. Но они наступят обязательно, едва в них поверят — особенно тот, кого они касаются.

Этим же утром молочная сестра королевы впала в умоисступление. Воображаемый шар, который застрял у нее в горле, теперь уж никак нельзя было проглотить. Между припадками удушья она откапывала золото, с которым собиралась бежать. Ее красавец супруг узнал при этом о тайниках, которые были неизвестны даже ему. С каждым мешком, который извлекался наружу, он становился все нежнее. Тут же непосредственно им овладел очередной приступ ярости.

— Мы — такие знатные господа! Высокородный Кончини, высокородная Галигай — и чтобы мы бежали от короля, который только числится королем? Вот выдумала. Когда регентша у нас в руках.

— Пока она ненавидит короля, — возразила карлица. — А потом? Словом, ты должен спать с ней.

— Твоя вина, что раньше мне это не было дозволено, — крикнул он, занеся кулак над больной гадиной.

А она, отчаянно давась:

— Болван, сам не постарался раньше. Чтобы это было сделано! Не смей на глаза мне показываться, пока не добьешься своего.

Вместо ответа он, вихляя бедрами, повернулся своим соблазнительным станом и благополучно выскользнул в дверь.

Среди дня королю доложили о доне Иниго де Карденасе. Король пообедал у себя в кабинете — без аппетита, о чем свидетельствовали обильные остатки. По стенам стояли его жандармы. При входе посла они взяли ружья наперевес. Посол отпрянул, но вовсе не от испуга. От неловкости. Ему и так тягостно было это посещение. Он откладывал его со дня на день, но приказ из Мадрида не допускал больше промедлений. Теперь он неожиданно наталкивается на неподобающее поведение этого короля. От него дон Иниго никак не ожидал ничего подобного; вельможа, лишенный самоуверенности, чувствовал себя раньше вполне сносно подле этого

безыскусственного человека. Величие, еще не извратившее своей сути, всегда просто. Каждая из встреч с ним была для дон-Иниго истинной отрадой. И вдруг — ружья наперевес. Значит, ход их беседы предрешен.

Король повернул свое кресло, указал на второе в пяти шагах от себя и спросил:

— Вы понимаете шутку?

Начальнику своих жандармов он сказал:

— Это еще не настоящий. Ему самому это было бы скорее в тягость. Ружья к ноге!

Все приклады стукнули об пол. Минута тянулась бесконечно. Послу пришлось начать без приглашения.

Посол:

— Я послан сюда королем Испанским, моим повелителем, дабы ваше величество соблаговолили сообщить мне, к чему вам столь мощная армия. Не против него ли?

Король:

— Если бы я так провинился перед ним, как он передо мной, он вправе был бы жаловаться.

Посол:

— Настоятельно прошу ваше величество сказать мне, чем погрешил король, мой повелитель. — Последнее было сказано вызывающим тоном, тем более что дон-Иниго предвидел обвинения короля Франции и склонен был согласиться с ними.

Король:

— Он совершал нападения на мои города. Он подкупил маршала Бирона, графа д'Оверня, а ныне не выдает мне принца де Конде.

Посол:

— Сир, он не мог закрыть двери перед принцем, который искал его защиты. И вы поступили бы не иначе, если бы чужеземный принц искал у вас прибежища.

Король:

— Я бы постарался разрешить спор и отослать его обратно на родину. Помимо

этого, ваш повелитель ни за что не соглашался дать деньги взаймы императору, теперь же отсчитал сотни тысяч ливров на поддержку войны против моих друзей и союзников.

Посол:

— Вы перед лицом всего мира ссужали деньгами голландские Нидерланды. Повторяю, я хочу знать, не против короля ли, моего повелителя, держите вы столь мощную армию.

Король встает с кресла:

— Я прикрываю броней мои плечи и мою землю, дабы защитить себя от удара, и поднимаю меч, дабы нанести удар всякому, кто заслужит мой гнев.

Посол, стоя и сдерживая дрожь:

— Что же мне доложить королю, моему повелителю?

Король, поворачиваясь спиной к послу:

— Можете докладывать ему, что вам угодно.

Он послал за герцогом де Скулли, чтобы тот решил, означает ли это объявление войны.

Две недели сроку дал ему Генрих. Если я должен один нести ответственность за свою войну, хорошо: буду один.

Партия

Если допустить, что это было объявление войны, то Европа всячески постаралась не понять его. Скулли получил две недели отсрочки, даже много больше. У министра Вильруа и ему подобных явилась при этом возможность стать в позу добродетели. Ради Бога, только бы не проливать кровь! Это значит, кровь своих сторонников. Здесь они составляют меньшинство, хотя и деятельное; большинство они имеют у врагов короля, вот почему Вильруа и ему подобные против кровопролития. Если бы дело обстояло иначе, он бы так не хныкал. Со слезами на глазах предостерегал он господина Пекиуса, который состоял послом обезоруженного эрцгерцога. Вскоре последовал поклеп из Брюсселя: король доведен своей страстью до полного безумия. Те сведения, которые герцог Скулли

распространяет в последнее время – простая отговорка. Спор, как и раньше, идет о новой Елене. Против этого говорило многое, стоило только взглядеться повнимательнее.

Во-первых, юную пленницу больше не чествовали в Брюсселе трапезами и танцами. Ее письма к королю приходилось подделывать; ее излияния вряд ли могли кого-нибудь убедить, да и его тоже. Конде, со своей стороны, чувствовал, что Брюссель его предает. В самом деле, эрцгерцог и инфанта рады были бы никогда с ним не встречаться. Эрцгерцог, пронырливый чиновник, никак не думал, что его упорные ссылки на честь и справедливость приведут к таким последствиям. Теперь его гонцы летали во все стороны, в Мадрид за деньгами, в Рим за посредничеством. Папа Павел Пятый [117. – Павел Пятый (Камилло Боргезе; 1552–1621) – римский папа с 1605 по 1621 г.] в самом деле послал чрезвычайного легата; однако король Франции, не дожидаясь его суждения, тотчас назвал ему путь, которым намеревался следовать: через Люттих в Юлих. Для вторжения в испанские Нидерланды стягивались в громадном количестве войска. Но это было ничто по сравнению с истинной мощью короля и его союзников.

Во главе Габсбургского дома стояли два весьма посредственных властителя, император Рудольф и король Испании Филипп Третий. У них на службе не было министра, равного Сюлли, их войска не подчинялись одному-единственному полководцу. Их страны враждовали между собой, их народы были склонны к возмущению. Сам император имел противника в лице своего брата Матвея [118. – Сам император имел противника в лице своего брата Матвея. – Матвей (1557–1619) – австрийский эрцгерцог. Вступил в междоусобную борьбу со своим братом, императором Священной Римской империи Рудольфом II, принудил уступить ему в 1608 г. Австрию, Венгрию и Моравию, а в 1611 г. – Чехию, Силезию и Лужицу. Германский император с 1612 по 1619 г.]. На всемирную державу, которая заявляла бессильные, но невысказанные требования, в самом деле ополчилась вся Европа, что каждому легко подсчитать. В начале мая 1610 года были готовы к выступлению: на стороне Италии шестьдесят тысяч человек и сорок шесть пушек, французские войска, папские, савойские, венецианские, все под началом француза Ледигьера. На границе Испании, на обоих концах Пиренеев, сосредоточились две армии по двадцать пять тысяч человек каждая. Тринадцатого мая король, у которого оставался всего лишь этот один день, возвел в маршалы герцога де ла Форса.

На немецкую ветвь австрийского дома через Юлих и испанские Нидерланды надвигалось двадцать пять тысяч французов с двенадцатью тысячами швейцарцев и ландскнехтов, под начальством короля. Англия, которая присоединилась в конце концов вместе со Швецией и Данией, поставляла двадцать восемь тысяч солдат, протестантские князья в Германии выдвинули тридцать пять тысяч; Соединенные провинции, а также протестанты Венгрии, Богемии, Австрии – по четырнадцать тысяч. В совокупности Европа собрала: двести тридцать восемь тысяч солдат с двумя сотнями пушек. На долю Франции пришлось две пятых. Военный фонд союзников превышал сто пятьдесят миллионов ливров.

Подобные усилия, обещавшие далеко не обычную войну, предпринимались и претерпевались во имя того, чтобы ставшая непереносимой вселенская монархия была низвергнута еще до тех бед, которыми она грозила. До гибели Европы и ее бесценной культуры; до распространения варварства из центра материка; до того, как у народов на долгие годы будут отняты права и свобода совести, до новой религиозной войны на целых тридцать лет. Эти усилия предпринимались со времен Вербена, когда король победил Испанию. Тому уже двенадцать лет. Медленно росла и развивалась его личность, пока его Великий план не стал по праву ее достоянием. Его дипломатия, его предназначение, его престиж медленно привлекали к себе Европу; и соединили наконец в руках одного никогда не виданную мощь князей и республик, их войска, их деньги – спустя двенадцать лет.

Довольно трудно утверждать: король Франции готовится к войне, дабы добыть себе из Брюсселя метрессу. А таково именно было ходячее мнение. Достаточно, чтобы его подхватила одна партия. Партия, которой движет ненависть к народам и людям, существует везде и будет существовать везде и всегда. Пусть этот век переходит в другой, и каждый последующий перерождается в свою очередь. Жизнь будет беспрестанно менять свое лицо. Убеждения будут называться по-иному. Одно остается неизменным: здесь люди и народы, там их извечный враг. Но и друг у них, некогда король Франции, Генрих – и он тоже непреходящ, что они понимают и никогда вполне не забывали. Его убьют только временно. И все-таки его

убьют.

Этого нельзя было допустить. Судьба и история были против этого. Но никто не понимал его, кроме народов в их бессловесных сердцах. Президент Жаннен, тот самый, что советовал прибегнуть к насилию, когда король вздыхал о похищенной малютке, воочию увидел начало Великого плана и сказал, что не уверовал в него.

Доспехи

Генрих потребовал от герцога Альбрехта, чтобы тот пропустил его войска через испанские Нидерланды. Это было восьмого мая 1610 года. Так как этим самым хребий был брошен, он особенно настойчиво пожелал вернуть дружбу королевы.

Когда он выступит в поход, она будет назначена регентшей королевства. Невозможно, чтобы она предпочла другие интересы королевству. Волей судеб она его подруга, и если не чувство, то выгода должна привлечь ее на его сторону.

Впрочем, он верил и в ее материнское сердце. Его собственная любовь к детям несокрушима и безраздельна, это отцовское чувство простого человека. А может быть, он вообще прост?

Случилось, что он вошел как раз в ту минуту, когда Мария ударила дофина за то, что он сбросил ее собачонку с подушки, чтобы сесть самому. Ее раздражение значительно превосходило повод.

— Ты будешь у меня последним, — сказала она Людовику, который в ответ долго смотрел на нее, как бы спрашивая: кто она, собственно, такая. Когда вошел отец, он бросился было к нему. Генрих сказал:

— Твоя мать подразумевала: последний, который у нее остался бы, если бы все ее покинули.

Мальчик проскользнул мимо отца в дверь. Родители стояли безмолвно, оба дышали тяжелее, чем обычно, не знали, с чего начать. В этот же самый час герцог д'Эпернон крался в ту часть своего дворца, куда ему не случалось заглядывать. Убогая мансарда под крышей; чистильщик серебра, ночевавший там, был сегодня

отослан вместе со всей прочей челядью, которая могла попасться навстречу. Герцог просунул голову, кто-то поднялся с пола, ибо сидеть было не на чем.

Прежний судейский писарь, теперь оратор на перекрестках, только головой покачал.

— Его еще нет? — прошептал д'Эпернон. — Как бы он опять не удрал от нас вместе со своим ножом и чувствительной совестью!

Это, конечно, никак не могло долететь до Лувра. Меж тем королева прислушивалась, ее рот непроизвольно приоткрылся, глаза растерянно блуждали.

Генрих, который пришел, чтобы поговорить с ней о регентстве, осекся; беспричинный ужас охватил его. Поэтому он сказал только, что в ближайшее время должен обсудить с ней нечто крайне важное.

— Вы? — спросила Мария Медичи. Ее блуждающий взгляд медленно возвратился к нему. Сперва ее взгляд выразил сомнение: «нечто важное, вы?» означал ее взгляд.

А разве вы еще можете что бы то ни было? Сперва в ее взгляде было только сомнение, затем оно сменилось коварством и, наконец, насмешкой.

— Мадам, подумайте, кто вы, — настойчиво попросил он. Он боялся перешагнуть тот предел, когда его слова стали бы приказом. Ведь и дофин как бы спрашивал, кто она, собственно, такая.

— Я думаю о брачных союзах с Испанией, — заявила Мария. — Это предел моих честолюбивых стремлений, и об этом я думаю.

Генрих напомнил ей, что она стоит выше, чем могла бы стать когда-нибудь путем брачных союзов с Испанией. Он воздержался от упрека, что она, будучи французской королевой, в сознании своем осталась маленькой итальянской принцессой. Но все же он тем самым натолкнулся на истинное препятствие, из-за которого неблагоприятно сложился его брак — включая и настоящее свидание: оно тоже не может хорошо закончиться.

Так как неудача разговора была предрешена — разве только махнуть рукой и предоставить все случаю, он заговорил:

— Какой у вас великолепный вид, мадам, вы прямо сияете!

И она вдруг блаженно улыбнулась. Он сам не знал, до какой степени метко попал. «Сейчас, когда ты уйдешь, ко мне придет мой красавец, — думала Мария. —

Мой красавец, мой любимец теперь уж навсегда. Ребенок, которого я ношу под

сердцем, от него. Все счастье и блаженство досталось мне. А ты, тощий

рогоносец, сам думай о себе. Если что с тобой случится, я здесь ни при чем, я занята другим. Об этом я мечтала спокон веков, я купаюсь в счастье и блаженстве и заслужила их».

Так думала стареющая женщина, и взор ее был туп.

— Вы разглядываете меня, находите, что я исхудал, — сказал Генрих. — Этому виной мои многочисленные заботы.

— Ах, так! У вас есть заботы? — спросила Мария, выпятив грудь.

Генрих:

— Вам ничего бы не стоило облегчить их.

Мария лукаво:

— Теперь я разгадала загадку. Вы хотите, чтобы я написала в Брюссель.

Генрих:

— И в Мадрид.

Мария, удивленно:

— И Конде вы желаете воротить. Одной новой Елены недостаточно. Что же случилось с вечно влюбленным? А ведь когда-то вам удержу не было, сир. Чтобы оплакивать бегство девочки, вы ничего лучше не придумали, как усесться на мою постель.

Генрих:

— Я был вашим другом, иной подруги, кроме вас, у меня не было.

Мария, напыщенно:

— Свою дружбу я вам вскоре докажу. Даже намерение увезти из Брюсселя красотку вы доверили только одной особе.

Генрих:

— Вам.

Мария:

— Вашей подруге. У вас и на это хватило дерзости. Кого вы туда послали? Господина д'Эстре. Кто действовал вам на руку? Мадам де Берни. Вы ничего не скрывали от своей подруги.

Генрих:

— Зачем вы меня выдали?

Мария, с великим торжеством:

— Мой верховой был на месте раньше вашего Ганнибала. А! Брат вашей шлюхи должен был привезти вам другую.

Генрих, презрительно:

— Мадам, прежде вы умышленно скрывали свои чувства, особенно дружеские. Я готов выслушать сейчас все, что вам угодно сказать.

Мария сверлит указательным пальцем висок:

— Время не терпит, скоро старого дурака свергнут и заточат.

Генрих выкрикивает:

— Вы не выйдете из этой комнаты. Вы арестованы.

Мария, по-прежнему держа указательный палец у виска, почти кротко и нежно:

— Попытайтесь, посмотрим, на что вы еще годны. Если я не ошибаюсь, вы вручите своей единственной подруге регентство — дней через пять, после чего, на шестой, миру предстоит еще большая неожиданность.

Последнее было сказано совсем кротко и нежно, едва слышно. Кто знает, произнесла ли она это действительно.

Генрих сдержал себя; без всякого перехода он стал спокоен и холоден.

— Мадам, мы разошлись. Мы с вами это знаем, но ни чужеземные дворы, ни наш двор не должны быть об этом осведомлены. Наоборот, я вам предлагаю возобновить внешнее согласие и восстановить наше поруганное достоинство, каждый в меру своих сил. Я не только отказываюсь от принцессы Конде, которая все равно уже забыта, но обязуюсь не иметь больше никакой женщины. Никакой — при условии, что вы отпустите господина Кончини.

Тут Мария Медичи принялась украдкой кудахтать. Кудахтанье все усиливалось, скоро ей понадобился носовой платок, и Генрих подал его. Но приступ она подавить не могла. Судорожно смеясь, она удалилась.

Дофин стоял снаружи у перил парадной лестницы. Он плевал вниз и каждый раз поспешно прятался. Раздался шлепок, дофин сказал:

— Попал. Прямо в лысину.

— В кого ты попал? — спросил его отец.

— Не знаю. Они все скверные, — сказал бледный мальчик, совсем не радуясь своей проделке. Он взял короля за руку.

— Куда ты меня ведешь? — спросил король.

— Туда, где мы будем одни, — послышался ответ. — Глубокоочтимый отец, исполните одну мою просьбу. Я хочу видеть ваши новые доспехи.

И они зашагали рука об руку по запутанным переходам, по заброшенным лесенкам в такие места, куда не ступала ничья нога. В тот же самый час какой-то человек в фиолетовом кафтане пробирался по дворцу герцога д'Эпернона. Человек был высокого роста, широк в плечах и на редкость уродлив. Он недоверчиво поворачивал во все стороны свою рыжеволосую голову, заглядывал за каждый угол, прежде чем обогнуть его. Он считал двери, наконец остановился у одной, но долго колебался, прежде чем войти.

Король достал большой ключ, открыл потайную комнату, вошел туда с дофином и снова немедленно запер дверь. Доспехи стояли, словно живые латники, ноги железные, шлем с опущенным забралом.

— Все это для того, чтобы их сочли старым снаряжением, на случай если бы кто-нибудь забрался сюда и пожелал привести в негодность мои доспехи.

Людовик сказал:

— Всемилостивейший отец, вам бы следовало носить их на теле днем и ночью. Особенно там, откуда вы сейчас идете.

Генрих отвечал серьезно:

— Я вижу, что ты, к сожалению, уже не ребенок.

Людовик едва говорил, так сильно у него дрожали губы:

— Свою собаку она любит больше меня.

Он приложил руку к сердцу.

— Я не подслушивал у дверей. Я и без того знаю слишком много. Вы оставьте меня одного, я знаю. Мой великий отец, у вас слабый сын. Во мне говорит страх

слабого сердца. Но оно любит вас.

— Я живу теперь лишь для тебя одного, — сказал Генрих.

Они снова зашагали рука об руку, пока не вышли на свежий воздух, и долго прогуливались по саду между высокими шпалерами. Здесь они не говорили.

Последний

Когда убийца Равальяк[119. — Равальяк Франсуа (1578–1610) — фанатик-католик, убийца короля Генриха IV. Казнен 27 мая 1610 г.] наконец отважился условленным образом поскрестись у двери и был впущен в мансарду чистильщика серебра, где увидел двух человек, — в это самое время к королеве Марии Медичи явился испанский посланник дон Иниго де Карденас. У него был рассеянный вид, от этого все привходящее становилось еще страшнее, чем оно рисовалось Марии в самых жестоких кошмарах. Кроме того, его отчужденность разочаровала ее. Она льстила себя надеждой, что под конец у нее испросят согласия и выслушают ее указания. Их, правда, уже не требуется, но разве она не главное лицо? Мыслями дон Иниго был там, где все решалось; он только приличия ради нанес этот тягостный визит. В таком тоне, словно речь шла о событиях, которые происходили на расстоянии десяти тысяч миль, он начал:

— У короля есть враги. Я не открою тайны, если скажу, что его жизни угрожает опасность. — Тут он несколько уклонился в сторону: — Для людей добронравных небольшая честь смотреть на то, как великий монарх, в своем совершенстве не имеющий себе подобных...

Посол вспомнил о своей миссии.

— ...падет жертвой гнусной своры, — все же заключил он.

В дальнейшем он уже не забывал о своей цели. И уже не был мысленно нигде, кроме этой комнаты, среди торжественных кресел, наваленных грудями подушек, темных картин, возле китайского письменного столика, полученного в дар от генерала иезуитов.

— Я твердо уверен, ваше величество, что вы разделяете мою тревогу. Я не могу сказать: мое отвращение. Король сам чудовищностью своих начинаний накликал бы на себя ту участь, которой мы опасаемся. Посыпательство на христианский мир с

помощью насилия и численного превосходства непозволительно даже при самых чистых намерениях.

— Намерения короля не чисты, — сказала Мария Медичи. Это были первые ее слова.

Дон Иниго только откинул голову в знак презрения. Он заговорил сверху вниз деловым тоном; повторил, что именно по этим причинам предполагаемое событие не вызывает в нем отвращения. Ведь грех гордыни наказуется даже вечной смертью. Много меньшая кара телесной смерти вытекает отсюда.

— Вытекает отсюда, — повторила Мария, но изменилась при этом в лице.

— Я вполне разделяю с вашим величеством беспокойство совсем иного рода, — подчеркнул дон Иниго. — Оно относится не к отдельному лицу, как бы ни было прославлено это лицо. Оно касается политических последствий предполагаемого события. Большой политике европейских дворов был бы нанесен известный ущерб, если бы от военного поражения их могло избавить только убийство.

Королева стала выше, стала словно башня, притом весьма внушительная.

— Вы произнесли слово, которое мне не подобает слышать. Я его не слышала. В противном случае я была бы вынуждена задержать осуществление замысла и даже предать вас, господин посол, в руки королевских жандармов.

Дон Иниго видел, что королева на всякий случай старается обеспечить себе спасение души. *Salvavi animam meam*, что вполне соответствовало его миссии.

Чтобы дать ей время настроиться на желательный лад, он занялся осмотром китайского письменного столика. Мудреная вещица открывала взору бесчисленные вместилища, не считая секретных, которые она таила. Инкрустированный жемчугом и перламутром столик отливал всеми цветами радуги. Два идола справа и слева кивали большими головами на все, о чем здесь говорилось. Пагода посередине была украшена колокольчиками, по одному на каждой из ее семи крыш. Дону Иниго хотелось бы, чтобы они звенели серебряным звоном и чтобы ему не надо было ничего больше ни слушать, ни говорить.

Но рок судил ему иное, а потому он поневоле выпрямился. — Что можем мы сделать, дабы предотвратить событие? — спросил он.

Столик отделял его теперь от королевы. В десяти или двенадцати шагах мрачно

возвышалась она перед громадной пурпурной драпировкой, зарыв руки в ее складки;
только лицо белым пятном выделялось на фоне, который был неприятен послу.
«Эта женщина жестока и труслива: и одного было бы вполне достаточно. Так или иначе свойства натуры делают ее подходящей для меня сообщницей в этом деле. Мне нужно показать вид, будто я пытаюсь воспрепятствовать убийству короля. В притворстве она мне поможет, а после совершенного деяния мой доклад обойдет все дворы».

— Это ужасно. Я этого не хотела, — сказала королева. Ее голос прервался; это мог быть и неподдельный страх. — Теперь мы увязли по уши, — сказал она. Слова ее резали слух послу. По такому поводу — и такая вульгарность!

— Как же нам выбраться? — спросил он; так он спросил бы кучера, если бы его карета застряла в грязи.

Королева кричит, не владея собой. — Регентство! Разве вы, осел этакий, не видите, что я не позже как нынче или завтра должна быть коронована. К чему нужна вселенская монархия, если она этого не понимает? Тогда я немедленно прикажу казнить герцога Скулли. И убийство будет вам ни к чему.

Посол почувствовал, как к горлу его подступает тошнота: — Во-первых, убийство это нужно не мне. Иначе ваше величество не видели бы меня на этом месте. Место, на которое он указал, был китайский письменный столик. Только снисходительно кивающие идолаи помогли ему проглотить тошноту.

Посол:

— Ваше коронование совершится высокотожественно, как государственный акт особой важности, о нем будут толковать целых два часа. Однако король выступит в поход и с ним две трети европейских войск, чтобы не сказать — три четверти. И этого самого короля вы хотите свергнуть, а его министра казнить? Расскажите это кому-нибудь другому.

Королева взвыла как ошпаренная:

— Что ж тогда делать! Тогда мы пропали.

— Мы в самом деле заранее обречены на поражение, — подтвердил посол с чувством холода в груди, все еще мучаясь позывом к рвоте. — Однако вы, ваше

величество, забываете... — Он остановился; ему предстояло покривить душой, притворство унижало его больше, чем его собеседницу, которая легко обходилась без самоуважения.

Посол:

— Вы забываете о благочестивых отцах ордена иезуитов.

Королева громко засмеялась, отчего у нее всколыхнулся живот. И тут же она ощутила первые признаки беременности, на сей раз она была обязана ею своему красавцу, своему любимцу. Тем скорее должен исчезнуть король, к чему тратить слова. Пусть убирается прочь лживый убийца, что стоит позади письменного стола. Мне дела нет до их происков. Я опять жду моего красавца. Моего любимца навеки.

Посол, невозмутимо:

— Духовник Коттон чист сердцем. Этим он может усыпить тревогу короля, и тот упустит время.

Королева:

— Ах вы, слизняк! Поищите уверток поудачнее. Коттон так успел усыпить его, что старик сам уже не знает, на каком он свете. Скоро увидит, на каком. Теперь Мария Медичи сделала все, что могла, посол тоже. Дальше они не пошли. Королева вынуждена была присесть на корточки, колики потребовали на сей раз бурного выхода. Вонь, которая вдруг наполнила комнату, вызвала наконец наружу тошноту, томившую посла. Опершись на руки, он загрязнил китайский письменный стол, подарок генерала иезуитов. Оба идола одобрительно кивали. Всякий раз, как он давился и блевал, все колокольчики на пагоде серебристо звенели.

Для чего было этим высоким особам надсаживать свои души и тела? Ведь чердак чистильщика серебра существует все равно, а его соломенный тюфяк тоже не пахнет розами. И тем не менее на нем сидят, поджав ноги, как добрые приятели, герцог д'Эпернон, губернатор, генерал-полковник от инфантерии, и бывший судейский писец, больной любострастной болезнью. Подагрик сказал сифилитику:

— Свою болезнь ты можешь передать другому, если укусишь его. Малый, которого

мы ждем, не знает ни стыда, ни совести. Укуси его, как только он взбунтуется.

Судейский писец с трудом пролаял глухому прямо в ухо, некоторые звуки выпадали совсем.

— Он все сделает за деньги. Он, как и я, из судейских и не добронравней меня, служит нашим и вашим, ворует у сторон суммы, которыми должен подмазывать мне подобных. Дважды он уже отсидел, раз за убийство, которое совершил другой, а второй — по заслугам, за долги.

Герцог сказал, что бессовестный прохвост получил указание свыше. Тот, кто в огне очага видит, как виноградная лоза превращается в трубу архангела и, сам трубит в нее, пока оттуда потоком не польются святые дары, — такого сорта дурак может быть и полезен, но чаще всего он становится опасным.

— Такие бывают в союзе с дьяволом, сами того не подозревая. Кусай, говорю я.

— Высокочтимый господин, — отвечал сифилитик. — Видно, что вы плохо знаете судейских. Для дьявола их крючкотворство слишком замысловато, он с ними не связывается. А наш приятель, кроме того, изучал богословие. Когда я искал для вас подходящего человека, я нашел его у госпожи Эскоман, жрицы Венеры, ныне в большом упадке. Она отдает комнаты внаем. Там-то сидел наш приятель за трактатами иезуитов. Прежде всего я купил для него все, что только сочинили святые отцы об убийстве королей. Его как раз на это очень тянуло, только денег у него не было. Кстати, позволю себе напомнить господину герцогу, что мне до сих пор не выплачены расходы, издержки и вознаграждение.

— Что? Как? — спросил д'Эпернон. Так как один из них был глух, а другому не повиновалась поврежденная глотка, то по этому пункту они не могли столкнуться.

В конце концов судейский писец все-таки выдал из себя:

— Высокочтимому господину не следовало бы допускать, чтобы связь отбросов человечества с его сиятельством была разглашена и доведена до сведения суда.

Это Эпернон расслышал точно и безошибочно.

— Ты собираешься заговорить, негодяй? При первом нее слове тебе забьют в

глотку кол и тебя колесуют.

— Но письменные улики все-таки останутся, — пригрозил приятель. — Госпожа Эскоман дала мне письма для передачи высоким особам, ибо она что-то пронюхала и хочет спасти короля. Она по этому поводу совсем обезумела, старая сводня.

Про себя герцог на всякий случай отметил имя Эскоман. Своему приятелю он пояснил со всем величием, какое не покидает вельможу и приличествует ему даже на соломенном тюфяке чистильщика серебра:

— Ты сам и тот человек, которого ты выбрал, извольте просто исполнять свои обязанности. Служба, больше я знать ничего не желаю, — заявил генерал-полковник. Он принял гордую осанку, что причинило ему изрядную боль. Следствием было то, что убийца Равальяк, когда судейский писец впустил его в мансарду, застал герцога д'Эпернона на ногах.

Тут судейский писец еще раз пошел оглядеть все кругом, не подслушивает ли кто. Герцог тем временем созерцал убийцу, который показался ему пригодным для дела. Рост у него был высокий, костяк как у зверя и огромные руки. Его зловещее лицо вполне подошло бы к случаю, если бы не выделяло его так резко из толпы. Волосы, борода — они, собственно, не рыжие, скорее темные с огненным отливом, тоже необычные для людей. При этом надо заметить, что зловещее лицо вовсе не обличает будущего убийцу. Оно может быть коварным, а не бессмысленно кровожадным. Оно может носить на себе много следов, — но злодейство не запечатлевается, ни до, ни после свершения. Следы же остаются от привычек, порочных или низменных. Сутяжник из самых мелких, самоистязатель и духовидец по причине нечистой совести, словом, слабый человек под ложной личиной — нет, этот малый не пригоден для прямого честного дела, если можно так выразиться.

Судейский писец вернулся в комнату, но остался у притворенной двери, наблюдения ради. К убийце он обратился с несколькими подходящими словами, меж тем как герцог д'Эпернон размышлял, не благоразумнее ли немедленно передать обоим полицейскому офицеру. Король поставил во главе своих армий трех протестантских генералов. Д'Эпернон должен остаться в Париже, он даже подозревает, что король отрешит его от должности. Со всеми почестями, только из-за подагры — генерал-полковник от инфантерии должен быть крепок здоровьем. А

на самом деле король его уничтожит после первой же победоносной битвы, иначе он не может поступить, несмотря на свое отвращение к палачу. Я избавлю короля от необходимости меня казнить, я ему выдам его убийцу при условии, что сам получу командование армией. Об убийце говорит весь город и наблюдает, одет ли он в фиолетовый или зеленый цвет.

— Мэтр Равальяк, — сказал герцог. — Вы родом из Ангулема. Вы себя считаете, как мне говорили, избранником. Это меня радует.

Равальяк, глухо, грозно:

— Высокочитимый господин, память изменяет вам. Меня вы знали давно, еще до того, как я стал знаменитым цареубийцей, на которого оглядывается вся улица. Вы отрекомендовали меня отцам ордена Иисуса, которым я и доверился, дабы они помогли мне умиротворить мою чувствительную совесть. Никто не хочет понять меня. А теперь высокочитимый господин представляется глухим.

Д'Эпернон:

— Что? Как? Не ослышался ли я? Ты знаменит, у тебя есть совесть? На колени сию минуту!

Равальяк, падая ниц:

— Я отброс. Что пользы, если архангел дал мне потрубить в свою трубу?

Д'Эпернон:

— Зачем?

Равальяк:

— До этого я должен додуматься сам. Никто не изречет решающего слова, ни архангел, ни высокочитимый господин, ни каноник в Ангулеме, который дал мне ватное сердце, а в нем кусочек святого креста.

Д'Эпернон:

— Так он говорит. Тебя никто всерьез не принимает, приятель. Ты напускаешь на себя важность. Всему городу известный цареубийца! Выдохся ты, ничего из тебя не получится, ступай домой.

Равальяк вытаскивает нож:

— Тогда я сейчас же заколюсь у вас на глазах.

Судейский писец:

— Нож без острия. А он собирается им заколоться.

Равальяк вскакивает:

— Что ты, мразь, знаешь о борьбе с незримым? Нож похищен. На постоялом дворе мне был голос: твой нож должен быть похищен. По дороге, когда я шел за какой-то повозкой, другой голос повелел: сломай его о повозку. Третий голос, в Париже в монастыре Невинных младенцев...

— Невинных, — повторил судейский писец.

Равальяк:

— После третьего голоса я жалостно воззвал к королю, когда он проходил мимо, дабы предостеречь его. Было бы дурно убить его, не предупредив. Королевские жандармы оттолкнули меня.

Судейский писец:

— Ты был в фиолетовом или в зеленом? В следующий раз надень, пожалуйста, другой кафтан, в котором ты еще не попадался на глаза королю.

При этом судейский писец тоже вытащил нож, но с острием. Он стоял позади Равальяка, по знаку высокочтимого господина он не замедлил бы пронзить им сзади сердце преступника с беспокойной совестью. Это, по человеческому разумению, единственный способ помешать раскрытию убийства, прежде чем оно совершено.

Герцог безмолвно остановил его, судейский писец спрятал нож — не без сожаления. За этого покойника он бы уж требовал должную мзду. Если же будет убит король, кто заплатит тогда? На горе судейскому писцу, у высокочтимого господина были те же мысли. «Лучше идти наверняка, — думал д'Эпернон. — Короля надо убрать. Только что у меня самого вдруг заговорила совесть. У нее скверная привычка выставлять разумные доводы». Он спросил убийцу:

— Твое решение по-прежнему неизменно? Отвечай прямо. А ты, писец, следи за

дверью. Тут дело идет не о богословии, а о политике. Что ты хотел спросить у короля подле монастыря Невинных младенцев?

— Во-первых, мне надо было предостеречь его, — повторил Равальяк. — Он не должен умереть без предупреждения.

Д'Эпернон:

— Тщетные старания. Все предостерегают его понапрасну. Он сам этого хочет.

Равальяк:

— А затем спросить его, правда ли, что он намерен воевать против папы.

Д'Эпернон:

— Спроси его солдат, они только этого и ждут.

Равальяк:

— И, наконец, верно ли, что гугеноты собираются изрубить всех истинных католиков.

Д'Эпернон:

— Отточь снова свой нож.

Равальяк, пылая жаждой деятельности:

— Сию минуту, высокочтимый господин. Распятие, которое я видел, повелело мне это.

Д'Эпернон:

— Стой! Куда ты? Сначала нужно, чтобы было объявлено регентство и чтобы короновали королеву. Вспомни о королевстве. День после коронации — твой.

Равальяк:

— Как я не подумал об этом, когда все мои чувства и помыслы о королевстве!
Да здравствует благочестивая регентша, смерть еретику, виновнику наших бед!

Они поочередно прибежали к тону посредственных актеров, обсуждающих государственное дело.

— У вас есть ватное сердце, храбрый Равальяк, с вами ничего не может случиться. Вы обессмертите свое имя и войдете в историю.

Жалкое чудовище познало наконец уважение, которого вследствие отталкивающей наружности было всегда лишено. Сбылась его мечта! Вытянувшись во весь рост, Равальяк приветствовал собеседника поднятой рукой. Д'Эпернон попытался ответить ему тем же, но подагра, подагра...

Судейский писец переусердствовал, подражая их жестам, отчего у него на лице лопнул нарыв, и содержимое залило глаз. С проклятиями отправился он проводить убийцу. Несмотря на своей злой недуг, он еще надеется пожить на свете. А здоровенный малый скоро будет колесован.

Герцог Д'Эпернон подождал, пока они оба покинули дом. У него было горько на душе, по причине его ничтожной роли – нечем блеснуть перед всем миром, нельзя покичиться смертью монарха, хотя бы и столь замечательного. Слава есть слава, и в историю попадает какой-то Равальяк. Кому будут известны прежние убийцы, те восемнадцать или даже больше, чьи попытки не удались? Среди них были отважные солдаты, были фанатики, не обладавшие робкой или лукавой совестью. Кто вспомнит о склонных к мистике юношах, почти непорочных, которые думали, что убив его, они уступят свое место в аду большему грешнику. Все забыто, все затеряно, останется один лишь ничтожный хвостун, потому что он последний. Грязные дела, отжившие суеверия, последыш соединяет в себе накипь целого столетия пагубных привычек. Низок и бессмертен – вот каков последний.

Только доступ

Эскоман – дама легких нравов, целый год старалась спасти жизнь короля Генриха. Он много любил, его последний, ему неведомый друг – женщина, тоже много любившая.

Она оставалась белокурой, не без помощи искусства, ее прелести держались довольно стойко. Некоторым юнцам она нравилась, ради нее они прибегали к ростовщикам. Жить на средства несовершеннолетних нелегко. Она решила сдавать свою квартиру для встреч других женщин с их случайными спутниками. Самое оживление начиналось под утро, когда танцевальные и игорные залы закрывались и по различным причинам парочки оставались без крова. Эскоман по большей части

возвращалась домой одна; если же ей удавалось привести с собой чету платных гостей для своей собственной спальни, то сама она сидела это время с видом важной дамы у себя на кухне. Она ни на что не жаловалась. Она находила, что жизнь, в общем, устроена правильно.

Иногда милость случая этим не ограничивалась. Кто-нибудь стучался у входной двери, когда уже светало. Эскоман кричала вниз, чтобы подождали. Поспешно будила она своего жильца, занимавшего вторую спальню, чтобы он из постели перекочевал на кухню. Человек, живший у нее в прошлом году, не заставлял себя долго просить. Он был уступчив, услужлив, больше читал, чем спал. Он брал с собой свои книги. В то время как посетители пользовались его ложем, жилец был занят серьезными вопросами. Присутствие особы женского пола с неприкрытыми прелестями не отвлекало его никогда. Все происходящее в ее квартире ничуть не занимало его. Опыт научил Эскоман различать притворное равнодушие от настоящего; в его равнодушии она не сомневалась. Он был необычайно высок и силен; тем не менее эта порода более целомудренна, чем люди маленькие, хилые. Так как он не проявлял никакого любопытства к ее делам, она заинтересовалась его делами.

Во время его отсутствия она обследовала предметы его прилежных занятий. Это были главным образом сочинения некоего Марианы из ордена Иисуса. Латыни она не знала; однажды, когда они оба очутились ночью на кухне, она стала задавать осторожные вопросы. Он отвечал с готовностью; казалось, у него давно назрела потребность высказаться. Во всем, что он читал, обсуждалось право на убийство тирана. Эскоман, со своей стороны, не была убеждена в этом праве и не верила, чтобы какой угодно благочестивый отец мог дать нам его. Тирана же она знала по имени; проповедники часто его называли. Египетский тиран – странным образом говорили они, хотя подразумевали короля Франции. Он же, напротив, показывал свободомыслие, он не карал их. Эскоман стояла за свободу, так как и ее промысел требовал свободы с большим основанием, казалось ей, чем ремесло злобствующих

проповедников или ораторов на перекрестках. Родственники легконравной дамы были крестьяне. Одному из ее братьев король купил корову; двоюродному брату, который некогда был ее женихом, он помог наличными деньгами.

Она считала короля хорошим. Но это не значило, что жилец ее плох. Ошибка его в том, что он принимает близко к сердцу чужие распри, словно они касаются его самого, а не выходят далеко за пределы его заурядной личности. Легконравная особа тотчас же разгадала его и не раз пыталась обратить к женщинам, на беду – тщетно. Если бы его полнокровное тело было удовлетворено, она не сомневалась, что и разум его не замедлил бы отрешиться от вредоносных идей. Но он вместо этого отказался от комнаты и пояснил почему. Он решил ехать к себе на родину, чтобы открыться святым отцам в своем сверхъестественном назначении. Пусть одобряют его намерение. Он нуждался в поддержке и доверился не только своей хозяйке. По всей округе на него указывали пальцем: этот убьет короля. Говорили, а сами пожимали плечами – почему именно он? Однако предпочитали толковать об этом шепотом, потому что, кто знает, можно, чего доброго, самим впутаться.

Эскоман гордилась тем, что бывает в доме, который иногда посещает король: у богача Цамета. Тот охотно пользовался дамами легких нравов как украшением и приманкой своих игорных зал, когда там собиралось смешанное общество. Но стоило появиться важным господам, не говоря уж о его величестве, как особы вроде Эскоман удалялись с черного хода. Ей никогда и в голову не приходило предстать перед королем. Зато она неутомимо, бесстрашно, невзирая ни на какую опасность, старалась приблизиться ко всем, кто помог бы ей спасти жизнь короля. Его же самого она никогда не подкарауливала и никогда не направляла к нему ни одного из своих бесчисленных писем, так он был для нее свят.

Она открыла все, что знала, бывшему сапожнику, который по происхождению был ей ровней. Цамет немедленно провел ее в уединенный покой, где некогда отдыхала Габриель д'Эстре, отдыхала напоследок перед тем, как для нее наступили все ужасы конца. Сапожник и легконравная дама вместе повздыхали над участью

короля.

— Вот пробил и его час, — шептал богач. Бедная женщина в мишурном стеклярусном платье пылала страстным упованием.

— Он узнает и примет меры. Только бы получить доступ к нему! Цамет, ты должен поговорить с ним.

— Эскоман, ты преувеличиваешь мое значение. Одно лишнее слово, и меня самого отправят туда же.

— Цамет, чего ты боишься? Ведь он король, ты будешь под его защитой, если скажешь ему, что объявился новый убийца.

— Эскоман, во-первых, король уж не таков, каким был раньше. Он очень раздражителен, по причине тяжких забот. Прибавь к этому: он всегда хотел быть любимым. Теперь его осаждает ненависть, я давно его знаю, жизнь под таким гнетом ненависти не может быть ему дорога.

— Цамет, я люблю его. Мы оба любим его. Всякий, кто знает, что объявился новый убийца, из любви скажет ему правду.

— Эскоман, много ли людей без утайки сообщили ему правду, после того как ты им открыла ее? А сами-то они разве нуждались в разоблачениях?

— Цамет, этого я от тебя не ожидала. Ты намекаешь, что королева знает об убийстве и тоже ответственна за него.

— Эскоман, замолчи, Христа ради; иначе мне придется для нашей общей безопасности запереть тебя в самый глубокий подвал.

— Туда, Цамет, где твои мешки с золотом? Но там ли они еще? Многих из прежних ценностей я не вижу у тебя в доме. Неужто ты уже готовишься к бегству?

— Эскоман, замечай только дозволенное, не слушай того, что запрещено. Королева не помнит себя от жажды мести, ибо ее Кончини был высечен королевскими судьями и целый день просидел под стражей за свою наглость; король радуется. Это скрепляет его смертный приговор.

— Цамет, королеве сказала одна из ее прислужниц, что я должна сообщить ей нечто чрезвычайно важное для блага короля. Королева согласилась меня выслушать, как и следовало ожидать. Завтра она примет меня.

— Эскоман, королева сегодня отбыла в загородный замок.

— Цамет, не скажи это ты, я бы не поверила. Нет и нет, королева завтра

вернется. Я предложила ей перехватить письма, которые завтра будут отправлены в Испанию.

— Эскоман, сделай милость, извини меня. Я ничего не пожалею, если ты сохранишь в тайне то, о чем говорилось в этой комнате.

— Цамет, твои деньги не дадут мне счастья. Тебе самому они не помогут.

— Эскоман, я с самого начала думаю об одной особе, которая выслушала бы тебя. Ваши намерения, вероятно, сходятся, но это не значит, что она больше может противостоять судьбе, нежели ты. Однако ты встретишься с ней у меня в доме, — я не скажу, когда и что это за особа. Ты должна угадать сама. Ну, а теперь довольно: сделай милость, извини меня.

У легконравной дамы был знакомый юноша в министерстве, который воровал для нее письма. Юношей было двое; однако первый, который рассказал ей об ужасных письмах, дабы его объятия приобрели большую ценность, потом отказался доставить их. На все ее пылкие речи о страшном преступлении, которое он может предотвратить, юный чиновник отвечал:

— Хлеб везде сладок, любезная госпожа.

Его приятель, на которого она не обращала внимания, однажды в уличной суতোлке сунул ей что-то в руку, а сам при этом глядел в сторону и тут же исчез. Открыв дома сверток, она так и упала на постель, сердце ее готово было разорваться от безмерной радости. Она уже видела короля спасенным. Но еще не видела, каким образом. Что за неожиданная удача! Она сама себе не верила и поминутно ощупывала письма; однако дальнейшие шаги стали ей еще менее ясны. Не пойти ли в арсенал к господину де Сюлли? Она, разумеется, давно уже ему написала, но не получила никакого ответа. Показать ему теперь украденные письма? Она считала его жестоким человеком и отложила посещение.

Она зашила письма в нижнюю юбку, отправилась к иезуитам на Сент-Антуанскую улицу и пожелала видеть отца Коттона. Но об одном она забыла: если цареубийцу короля знает весь город, то и спасительница его вряд ли неизвестна. Ее встретили очень грубо. Коттон даже не вышел. Принял ее отец прокуратор, дал ей высказаться, о зашитых письмах она, к счастью, умолчала. Ее взволнованный рассказ он выслушал, как самое обыкновенное дело. После чего с ледяной холодностью отпустил ее, даже пожелал ей идти с миром. Это окончательно вывело

ее из себя, она выкрикнула:

— Королю вы даете умереть, а ты, пес, будешь жить.

Она ударила преподобного отца по лицу, после чего он сразу стал кроток и обходителен. Что она предполагает делать, пожелал он узнать.

Эскоман:

— Стать на перекрестке. Поднять народ против вас, убийцы, убийцы! — кричала она за толстыми стенами, которые не пропускали ничего.

— Успокойся, дочь моя. Я сам поеду в Фонтенбло к королю.

— Это правда? — спросила она; ей очень хотелось ему поверить. Невозможно, чтобы люди были страшнее лютых зверей. Надо только подхлестнуть их вялое сердце, хотя бы пощечиной.

Итак, она ушла и не заметила, что кто-то следовал за ней по пятам, целый день. Другой поспешил из дома ордена Иисуса в дом герцога д'Эпернона. Произошло это восьмого мая. Короля не было в Фонтенбло; в этот час он бродил с дофином между высоких шпалер своего сада, а королева и посол занимались каждый своим делом. На пересечении двух улиц Эскоман столкнулась со своим прежним жильцом.

Он не дал удивленной женщине слова вымолвить. Как будто они расстались вчера, он продолжал разговор с того, на чем тогда остановился. Его великое дело назначено на ближайшее время, ему дано повеление, ему даны полномочия. Его чуткая совесть наконец-то успокоилась. Случилось это после того, как у себя на родине он увидел свою благочестивую мать, причащавшуюся святых тайн. Ему, цареубийце, отказано в святом причастии. Но он матери своей, пребывающей в состоянии полной безгрешности, передоверил свое преступление, теперь оно уже исчезло из мира, и ему нечего бояться ада. А если даже и не так, все равно он встретится там с себе подобными прославленными личностями.

Она отвечала, что он, видимо, научился на кляузных делах, как спихивать на другого свою вину.

— Однако берегись! Ты узнаешь, что тебя опередили.

— Уж не ты ли? Повсюду говорят, что ты за это время повредила в уме. — С этим он удалился.

По ее лицу вдруг потекли слезы. К ней приближались пустые носилки. Она села в них и указала свой дом. Она нарядилась и прикрасилась, как только могла: вечером она решила быть у Цамета.

И королева Наваррская помышляла сегодня об игорных столах финансиста. Он довел до ее сведения: если у нее нет денег на игру, он будет иметь честь приготовить для нее кошелек. Но это меньше всего интересует ее, хотя она, как обычно, израсходовала свои средства преждевременно, а к королю, своему бывшему супругу, более не имела доступа. Между тем она знает: его смерть решена.

О! Она знает это, как и другие. То, что так широко известно, надо думать, не дойдет до осуществления. Посылая некогда убийцу к королю, сама она приняла все нужные меры, а дело все-таки сорвалось. Божественным промыслом он был спасен. Только бы и на сей раз покушение не удалось! Своему капеллану она велела читать мессы о спасении одного смертного, чьего имени не назвала. А про себя между тем твердила: «Господи, еще раз! Еще на этот раз!» Марго молилась в сердце своем, чтобы, после того как вымер ее род, ей был сохранен спутник ее юности, чтобы она не утратила всех до последнего. Двадцатилетнего юношу, которого она недавно выписала из провинции, она отсылает прочь. Все ее мысли и чувства принадлежат одному Генриху.

«Он не допускает меня к себе, да и как бы он поверил мне после того, что сама я посягала на него. Марго, какое бессилие! Генрих, друг мой, неужто ты не распознаешь своих врагов? Ведь каждый может тебе их перечислить, но все молчат, это заговор молчания, а что могу я, единственная, кто хочет говорить! Написать ему, что королева, его жена... Он это знает. Если бы только человек верил всему, что знает! Впрочем, моего письма он все равно ведь не получил бы. Он окружил себя своими королевскими жандармами. Ранее его хранила одна лишь воля к жизни. Он страстно хотел жить. Генрих, я тебя не узнаю.

Они не посмеют убить его. Весь город посвящен в тайну, он не потерпит злодеяния, поднимется возмущение. На убийцу пальцами показывают. И какая-то

женщина суется повсюду, она хочет спасти жизнь короля. Я опережу ее, и это право, мое последнее право, никто не смеет у меня отнять. Почему она бросается ко всем, а ко мне не идет?»

Мадам Маргарита Валуа поехала на дом к Эскоман, даме легких нравов. Эскоман

у Цамета, сказали ей. Она направила свой путь туда же, была принята с особыми

почестями, и сам хозяин дома, вручив ей кошелек, провел ее в залу для высокопоставленных гостей. Ее партнерами были господа д'Эпернон и де Монбазон –

четвертой была какая-то дама, которой никто не знал. Герцог д'Эпернон по секрету сообщил королеве Наваррской, что это чужестранка и очень богатая. Может

быть, он услышал это от хозяина дома и поверил ему. Марго нашла, что кошелек,

из которого та вынимала деньги, весьма схож с ее собственным. Д'Эпернон, игравший в партии с королевой, делал ошибку за ошибкой, перед незнакомкой скоплялся выигрыш. Вдруг она собралась встать из-за стола, но подагрик загородил ей обеими ногами выход: он хотел отыграться. Обчистить людей и прекратить игру – на что это похоже?

Эскоман села снова. Эскоман и Марго пристально взгляделись одна в другую и признали друг друга. Эскоман поняла: вот она, та высокая особа, которая хочет

мне помочь. Сейчас она прикажет обоим кавалерам оставить нас; слово будет сказано, и король спасен. Марго отметила: хорошо сохранившейся дамой легких

нравов, как ее описывали, я бы ее не назвала, но это она и есть. Телесные прелести она утратила, щеки у нее впали. Но вид у нее отнюдь не угнетенный. Она

полна воодушевления. «Она подает мне пример не унывать, невзирая на поругание,

усталость и опасность». Марго открыла рот – как раз в ту минуту к ней обратился

хозяин дома. Он стоял, склонившись низко, чуть не до полу, только Марго со

своего места видела его лицо, она невольно сравнила обычного Цамета с этим

пришибленным человеком. Он бормотал:

– Мадам, простите, что я прерываю вашу игру. Ваша партнерша ищет некую особу, а та прибыла.

– Я знаю это не хуже вас, – сказала мадам Маргарита Валуа. – Мы обе тут, – сказала она, встретившись глазами с Эскоман.

– Ожидаемая особа стоит на улице, – тихо вымолвил Цамет.

– Что? Как? – переспросил глухой.

Эскоман вскочила, она отшвырнула с пути господина де Монбазона вместе с его стулом и убежала. Толчая в зале мигом поглотила ее.

У Монбазона набухли жилы, он спросил:

— Д'Эпернон, почему это мы вместе с незнакомкой выиграли столько золота, а она бросает его на произвол судьбы?

Вместо ответа предатель захихикал своим затаенным смешком, собрал все золото и подвинул к мадам Маргарите.

— Может статься, ей оно больше не понадобится, — сказал он наконец. Марго полными пригоршнями швырнула ему золото в лицо; торопливо встала и поспешила вслед за исчезнувшей. Но та исчезла навсегда.

Эскоман хотела бежать через открытую напоказ кухню: там ждал полицейский офицер. Она сбила его с ног, но налетела на других агентов, те набросили ей на голову толстые платки, затем ее связали.

Из тюрьмы она умудрялась все еще слать предостережения и призывы; однажды их взялся передать аптекарь королевы. Мария Медичи выслушала его. Свои драгоценные документы Эскоман с трудом переправила министру Сюлли. Он не скрыл их от короля, правда, вычеркнул сначала опасные имена. Первым стояло имя королевы; но ведь коронавание ее все равно неизбежно. Король ездит по улицам под охраной своих жандармов. Еще несколько дней, и он выступит в поход. Какой смысл раньше времени отравлять его и без того нелегкую жизнь.

Для того чтобы вынести из темницы, где была заточена спасительница, письменные улики, судьба избрала мадемуазель де Гурней, приемную дочь господина Мишеля де Монтеня. Те же действующие лица через всю жизнь, теперь они стекаются, Генрих, на вашу кончину. Мудрейший из ваших мертвецов шлет последнее тщетное предупреждение.

Господь близок

Жандармы-телохранители короля были новым отрядом, они существовали меньше года, лишь с тех пор, как король не был спокоен за свою жизнь у себя в столице. Их знамя было из белого шелка, заткано золотом с молнией в виде эмблемы и

следующей надписью: «Quae jubet iratus Jupiter». Куда бы ни повелел Юпитер во гневе — жандармы из охраны тут как тут. Гнев, угроза молнией — столица не узнавала своего короля Генриха. Столько времени ее улицы видели его без провожатых на коне или пешком. Он расспрашивал народ. Того, кто дернул его за плащ, он остановил взглядом. Из чьей-то руки выпал нож, а король пошел своей дорогой.

В одном из дворов Лувра посадили березку, но она трижды падала. Король сказал:

— Какой-нибудь немецкий князь счел бы это за дурной знак, а подданные его твердо решили бы, что смерть его близка. Я же не трачу времени на суеверия.

Врач Лаброс передал ему, чтобы он остерегался четырнадцатого числа мая месяца, и даже предложил королю заранее описать его убийцу. Дело было бы нехитрое. Генрих пожал плечами. Он производил смотр своим полкам, старым гугенотам, воинам Иври, французским гвардейцам храброго Крийона, своим швейцарцам. Ежедневно посылал он войска к границам королевства. Сам же намеревался последним перейти границу с риском опоздать.

Король не думает избегать людей, все равно ему не избежать своей судьбы.

— Бодро вперед, навстречу моей судьбе, — были его слова.

К себе он не подпускал никого, кроме солдат. В заключение дневных трудов ему оставался его начальник артиллерии, их военный совет в арсенале. Все проекты и приказы, которые оба они наносили на бумагу, хранились там до вручения начальствующим лицам под их ответственность. В кабинете короля ничего бы найдено не было, он редко переступал его порог. Очутившись наедине у себя в кабинете, он становился бесконечно одинок — ему начинало казаться, что навсегда. Тяжелый шаг жандармов за дверью ничему уже не помогал. Что может внешняя защита против внутреннего бессилья?

«Однако не все — ложь. Нам говорят прямо в лицо: отслужил свое. Кругом твердят, шепчут, умалчивают: старик, похотливый, переживший свой век и не доросший до нового. Нет, мы могли бы обогнать и его и последующие века, это мы знаем. Мы черпали самые различные уроки, какие только может вместить человек ныне и впредь. Тут были сомнения и добрая воля. Тут были падения, кары, взлеты, победы, излишества и самоограничение. Ничего не презирать, вот чему научили нас, как бы иначе мы стали под конец простым человеком? Потомки и истина ждут

простого человека, которому сначала пришлось пройти скользкий путь. Но теперь?

Но тут? Только шаг жандармов показывает, что мы еще живы. Однако срок наш истекает скоро.

Не сжигайте силы свои до полуночи. Господь близок, а присные его спят. Господи, как было мне дожидаться тебя чистым от греха. Ты караешь меня орудием моей вины. Мне надлежало меньше любить, играть и подчинять себе людей, тогда бы я не устал прежде времени. Спрошу я Тебя: с чем это сообразно? Чтоб чувства остались неразумны, меж тем как дух настолько окрылен, что под конец способен охватить столь Великий план? Ты подашь мне совет, Господь, примириться со всем, как бы я ни приступал к Тебе, с проклятиями или молениями. Итак, я отхожу от Тебя. Можешь благословить меня после».

— Уж скорее бы, — сказал Генрих и взглянул на скелет в обличье пахаря.

Час

был предутренний, последняя свеча мерцала перед картиной, наконец погасла и

она. — Уж скорее бы, — говорит Генрих.

На тринадцатое было назначено коронавание королевы Марии Медичи, регентши королевства. В Сен-Дени по окончании церемонии Генрих представил собравшемуся

народу дофина как его короля. По обычаю короля Генриха, доступ был открыт всем

без различия сословиям, всему народу, сколько бы его ни скопилось. Среди простолюдинов сразу же возникло движение, едва Генрих выставил вперед дофина и

громко произнес:

— Вот ваш король.

Простые люди, впрочем и почтенные тоже, не могли взять это в толк. А знатные

подумали: он дает понять, что регентство будет преходящим. Он и его потомки

останутся. Это подтвердилось поведением самой регентши. Только что собор был

недостаточно обширен, недостаточно высок, чтобы вместить ее великолепие, ее

гордыню. А тут вдруг она заплакала.

Без сомнения, в слезах излилась ее радость, ибо она знала: новый король Людовик, за которого будет править она, скоро уже вступит на престол. Так как

посвященных было немного, большинство дивилось. Король, который часто совершал

военные походы к намеченным целям, на сей раз как будто решил отречься от

власти и отправиться в поход с неизвестным назначением. И одному человеку тяжело долгое время ждать событий, которые можно назвать так или иначе, но каждое из них одинаково страшно. Толпе же это совсем непереносимо. Король Генрих всегда был близок народу, и народ хочет быть спокоен за него. Нельзя безнаказанно довести народ до того, чтобы он трепетал за самую дорогую ему жизнь. Многие оглядывались, тут же в соборе ища убийцу. Они разорвали бы его в клочья, и наваждение кончилось бы. В интересах общественного спокойствия все были довольны, что король по крайней мере назначает себе преемника, прежде чем покинуть пределы королевства. Коронация регентши завершилась вздохом облегчения, сама она никак не ждала этого. При всем своем торжестве она порядком дрожала от страха. Еще десять минут, и она не выдержала бы.

Когда Мария Медичи с короной на голове возвращалась в Лувр, кто обрызгал ее с балкона водой и назвал при этом: «Госпожа регентша»? В бешенстве она крикнула:

— Вечный весельчак, можешь теперь отправляться к своей львице.

То была некая певица, ее пение не имело себе равных, три соловья будто испустили дух от зависти к ней. В довершение всего Мария узнала, что регентство дано ей, собственно, на словах; она становилась лишь членом совета, и другие голоса значили не меньше, чем ее голос. При этом следовало ожидать, что голоса герцога де Сюлли будут иметь больший вес. Ему Генрих признался, что ожидает от коронации королевы величайших бед. Это он мог сказать с полным правом.

Последний, кто предостерег его в тот день, тринадцатого числа, был его сын Вандом, сын Габриели. Генрих ласково взял под руку юного толстяка; повел его через всю большую залу, которая вскоре опустела. Придворные держались угрюмо, даже те, кто был предан королю. От избытка подавленности никто и не подумал подслушивать.

— Чего ты требуешь? — спросил Генрих сына Габриели. — Видишь ли, мать твоя, моя бесценная повелительница, верила всяческим предсказаниям. Я разделял ее страхи даже во сне. Но в конце концов умерла она не от отравы, а естественной смертью. В тайниках души она чувствовала себя созревшей для смерти. Мы лишь для

виду бежим наперегонки с убийцей. Проворней всегда оказываемся все-таки мы.

— Сир! Я с радостью узнаю, что вы твердо рассчитываете спастись от всех покушений. Но нынешняя ночь, ночь на четырнадцатое, может быть роковой... — На этом Цезарь настаивал.

Генрих хорошо провел эту ночь; королеве же несколько раз пришлось вставать с постели. Утром четырнадцатого он молился дольше обычного. Шаг жандармов мешал ему, он хотел даже отослать их. Королева вошла к нему, что давно уже не было в ее обычае. Она рассказала, какой ее мучил кошмар, ей чудилось, будто подле нее лежит его труп.

— И злобный я был труп? — спросил он довольно резко. Она испугалась, что выдала себя. Кошмар привиделся ей наяву. Вещие сны не томят тех, кто знает слишком много и оттого не может уснуть. Генрих сказал:

— Не тревожьтесь, мадам, о моей жизни! Еще три дня, и я поскачу на врага, а с собой возьму своих гвардейцев и жандармов.

Королева пошатнулась и отяделась, ища опоры, но руки своего супруга она не приняла.

— Всего три дня? — повторила она. Поведение ее могло быть следствием тревоги за его жизнь, если не считать, что причиной его были другого рода страхи. Как легко упустить время, когда для рискованного предприятия осталось всего три дня.

Она была в разладе с собой. Неожиданно она стала просить Генриха весь нынешний день провести дома. Его сын Вандом настаивает на этом. Ее тянуло остеречь его от опасности, она хотела удержаться, не могла и сваливала все на другого. Генрих возразил, что роковая ночь миновала.

Мария:

— По-настоящему роковым надо считать нынешний день, — говорит ваш сын Вандом, а знает он это от врача Лаброса, которого вам следовало выслушать.

Генрих, про себя: «Пожалуй, следовало выслушать его, он хотел описать мне убийцу. Но куда бы в конце концов привел след? Королеву мне жаль, она

несчастливая женщина». Он подал ей руку. Жизни, которой ему было еще больше жаль, он не мог подать руку. Вкладывая свою руку в его, Мария готова была склониться ниц. Стоило ей пасть на колени, как она призналась бы во всем. Этого он не желал, он удержал ее за локоть.

— Мадам, — промолвил он, — незачем вам потом укорять себя, что вы меня побудили остаться дома из страха. Впрочем, мне просто хочется отдохнуть.

После обеда он на короткое время стал очень весел. Так как ни у кого не было охоты смеяться, он вдруг почувствовал усталость, но ко сну его не клонило. Он лежал и спрашивал каждого входящего, который час. Его жандармы и слуги входили и выходили. Один ответил:

— Четыре часа, — и по-дружески, как говорили с ним низшие, посоветовал: — Вам бы не мешало подышать воздухом, государь.

— Ты прав. Подать мне экипаж, — приказал король.

К постели подошел теперь его престарелый первый камердинер, господин д'Арманьяк; он расставил ноги, руки, всем телом своим загородил ему путь.

— Государь! Вы утомлены и не в силах сесть на коня, так лучше примите в большом дворе крестьян, которые явились сюда и ожидают вас.

— Ты прав, — сказал Генрих и на это. — Это освежит меня.

Внизу он сразу узнал, что это за крестьяне: те самые, за столом которых он сидел некогда на топком лугу. Прибыл к ним больной лихорадкой и немилостиво обошелся с ними, потому что они давали есть за шестерых толстобрюхому дармоеду, сами же голодали. На этот раз они привезли большой ящик: в таких обычно держат птицу. Однако сквозь щели между досками видно было съезжившееся человеческое существо; на вопросы оно отвечало ни на что не похожими звуками.

Среди приехавших король заметил одного крестьянина в шерстяной одежде грязноватого цвета; тело его успело скрючиться, что было следствием многих лет и десятилетий тех же рабочих навыков, тягот и неизменной приниженности в движениях и походке. А некогда он был статен, как дворянин, и дерзнул сразиться с дворянином за девушку. Теперь бы он этого не сделал. По приказанию короля он объяснил, что в птичьей клетке сидит его родной брат, Жюль Симон. Тот всегда

прилежно возделывал землю, пока проказа не разъела ему рот и глаза его не перестали видеть.

— Вот до чего дошло? — промолвил Генрих. — Неужто кто-нибудь всегда должен объедать вас? Раньше это был человек, который ел за шестерых. — Он подумал: «Если бы я спросил их, бывает ли у них по воскресеньям курица в горшке, они непременно ответили бы: да. Ибо они хотят, чтобы я кормил их прокаженного». Он велел своему первому камердинеру сосчитать, сколько у него денег под рукой.

— Семьдесят четыре экю, — сказал Д'Арманьяк, а Генрих:

— Отдай им эти деньги.

Тут все упали на колени, потрясенные щедрым даром, которого всякому хватило бы на целую жизнь: а назначение его было облегчить одному из них смерть. Самый старый — седые волосы падали на узловатые плечи, и с виду ему было лет семьдесят — король мысленно скинул двадцать — итак, этот пятидесятилетний старик из крестьян заговорил:

— Добрый государь наш король, однажды на охоте вы мимоездом увидели, что мой вот-вот обвалится. Тогда вы велели починить его, тут же отсчитали тридцать ливров и еще сорок су за еду.

— Эге! — вскричал король. — Значит, я ел у тебя. В какой день и что?

— В воскресенье, курицу.

Генрих рассмеялся последним веселым смехом. Он кивает, собирается уйти, но останавливается на месте, занеся ногу на порог. Жестокое прощанье, безмерность мук. Большой двор был оцеплен его жандармами. Их начальник подошел, доложил, что экипаж подан. Кавалеры, которым приказано сопутствовать ему, ждут.

«Что я приказал, кого призывал?» Однако он ничего не отменил. Господин д'Арманьяк попросил, молодцевато, как только мог:

— Сир! Возьмите меня с собой.

— Даже жандармов моих не возьму, — решил Генрих. — Что бы сказали мои крестьяне? Народ и я. А где же королева?

Он еще раз воротился в комнаты. Марии Медичи нигде не было видно.

Когда он уже собрался идти, какой-то однорукий офицер остановил его:

— Сир! Под Монмелианом в меня угодила пуля. Я уволен и обременен долгами, не позже как сегодня меня должны посадить в тюрьму. Избавьте вашего солдата от беды и позора.

Король:

— Я уплачу ваши долги.

Офицер:

— Этого вы сделать не можете. Я прошу лишь сохранить мне свободу.

Король:

— Дружище, я присоединю твои долги к моим и заплачу за нас обоих. Д'Арманьяк, ступай на старый двор в финансовое ведомство, объяви им мою волю. Когда вернусь, я подпишу распоряжение.

Офицер:

— Сир! Тогда я буду уже под замком, и вам придется вызволять меня.

Король:

— Надо, чтобы вас не могли найти. Капитан, где вы, на ближайший час, будете сохранней всего?

Д'Арманьяк, очень тихо:

— В вашем экипаже, сир!

Король взглянул на него, побледнел, переступил с ноги на ногу и наконец:

— Вы поедете со мной, капитан!

Путь к пристани

По длинным галереям Луврского дворца пронесся отдаленный крик, в то время как король со своим офицером шагал к выходу — вопль ужаса и радости, в нем звучало необузданное безумие и смятение души. Д'Арманьяк поспешил за королем, он решил, что это королева, наконец-то она объявилась. Генрих правильно распознал голос: маркиза де Вернейль — тоже существовала некогда, и очень осязаемо существовала; но теперь сохранилась лишь как голос.

По дороге короля останавливали еще не раз. Витри[120. – Витри Никола де л'Опиталь, маркиз, затем герцог (1581–1644), – маршал Франции. В 1611 г. капитан гвардейского корпуса.], капитан гвардейцев, настоятельно просил разрешения сопровождать его. По случаю предстоящего торжественного въезда королевы на улицах неслыханно много чужестранцев и неизвестных.

– Вы хотите подслужиться ко мне, – оборвал его король. – А сами предпочитаете быть с дамами.

На лестнице, ведущей от его кабинета к выходу, ему повстречались герцогиня де Меркер, маршал де Буа-Дофен[121. – Буа-Дофен Урбан де Лаваль, маркиз де Сабле (1557–1629), – французский военачальник, сделавший блестящую военную карьеру при Генрихе IV и получивший звание маршала.], а также один из его сыновей, герцог Анжуйский. Для каждого у него нашлись слова, но сам он не сознавал, что говорит. Он думал: «Куда я, собственно? Зачем?»

Господину де Пралену, тоже капитану гвардейцев, который предложил охранять его, он отвечал уже совсем неласково, зато удостоверился в присутствии своего однорукого офицера. Тот был налицо и был неузнаваем – сосредоточенное выражение, осанка боевая. Он понял. «А что было понимать?» – про себя спросил Генрих. Вид его спутников мог подействовать лишь успокоительно. Они ожидали подле весьма вместительного экипажа и беседовали о погоде. Вот старые товарищи Лаварден и Роклор, в них нет фальши. Де ла Форс вчера сделан маршалом, он горит желанием двинуться в поход за Пиренеи. Еще три дружественных фигуры, и, наконец, последний, д'Эпернон, лучше ему быть здесь, чем в другом месте.

По правую руку от себя король посадил д'Эпернона, Лавардена, Роклора, по левую – господ де Монбазона и де ла Форса; вместе с королем это составляло шесть человек, стиснутых на передней скамье объемистой колымаги, которая затрещала и закачалась. Напротив оставалось место для двоих или троих. Третий попытался сесть, то был однорукий офицер.

– Кто вы такой? – фыркнул маркиз де Мирбо и толкнул его в грудь.

– Сир! Будьте осторожны с неизвестным, – сказал Роклор.

Король собрался возразить, тут сосед его Монбазон протянул ему письмо, и кто-то приказал трогать, возможно, другой его сосед, д'Эпернон. Когда лошади

дернули, однорукий упал. Он поднялся, побежал вслед за экипажем. Наконец ему удалось вскочить на козлы. После этого король велел со всех сторон открыть кожух экипажа. Он пояснил, что желает посмотреть, как украшен город для въезда королевы. Однорукий офицер сидел, оборотясь к нему.

— Какое нынче число? — неожиданно спросил Генрих.

— Пятнадцатое, — ответил кто-то.

— Нет, четырнадцатое, — поправил другой.

«Между тринадцатым и четырнадцатым», — про себя припомнил Генрих. Много слуг бежало рядом с неторопливым экипажем, меж тем как вровень с лошадьми ехали верхом шталмейстеры. Один из них, вместо кучера, спросил, куда держать путь.

— Прямо по улицам, — приказал король. Всякий раз, как кучер просил точных указаний, король называл какое-нибудь здание, какую-нибудь церковь. Мысленно Генрих наметил арсенал, но это он держит про себя. Иначе экипаж могут опередить.

Улица Де-ла-Ферронри узка, многолюдна и неудобна для экипажей, но волей-неволей приходится проезжать ее. Она служит продолжением улицы Сент-Оноре. В том месте, где одна переходит в другую, Генрих заметил некоего господина де Монтиньи. Когда-то он признался этому заурядному придворному кавалеру, что хотел бы умереть. Признался, что рад бы уединиться, обрести истинный покой души. Но тотчас спохватился и добавил: «У монархов на житейском море нет иной пристани, кроме могилы, и умирать им суждено в разгар трудов». Здесь, при въезде на улицу, которая недалеко от его пристани, он окликает:

— Ваш слуга, Монтиньи, ваш слуга!

Когда приблизилась королевская карета, улицу запрудила толпа, какую редко можно было здесь увидеть. Люди оттесняли друг друга к стене монастыря Невинных младенцев, словно проход и без того не был загорожен лавками и будками у подножия стены. Все обнажили головы, глядели беспомощно, как потерянные, и молчали, молчали. Перед домом, где трактир под вывеской «Саламандра», произошел полный затор из-за двух фур, одной груженной сеном, а другой — вином. Кучеру кареты пришлось почти без постороннего содействия одолеть преграду, большинство

шталмейстеров и скороходов миновали ее, воспользовавшись проездом через кладбище монастыря. Очень немногие из них помогли убрать фуры с дороги. Вот и задержка, более удобной не дождешься, если предположить, что кто-то от самого Луврского дворца следовал за экипажем и ждал благоприятного случая. Однорукий офицер на козлах сидит, оборотясь к королю, от него не ускользнет и волосок, если шевельнется, не то что человек.

Миновали. Фуры сдвинуты вправо; карета слева медленно объезжает их, чтобы не задеть. Король поднимает голову к одному из домов, восклицает что-то невнятно; кучер думает — чтобы он ехал осторожнее. Все сидящие в экипаже смотрят вверх. Над сводом прибита вывеска — увенчанное сердце пронзено стрелой.

Однорукий офицер спохватывается, он забылся на миг. Быть настороже следовало ему, держать наготове глаза и руку! Слишком поздно, сразу понимает он: уже свершилось. Он спрыгивает наземь, хочет схватить убийцу. Того уже колотят по лицу рукояткой шпаги. Герцог д'Эпернон кричит:

— Тише! Не приканчивайте убийцу короля.

Однорукий скован собственной яростью — значит, он оказался бесполезен, негодный страж, испытан и признан недостойным в единственный день своей жизни, который будет зачтен. К чему теперь слова, хотя он, в согласии с очевидностью и собственной совестью, мог бы свидетельствовать о том, что для всех пока еще заслонено смятением и диким ужасом. Убийца выполз из-за экипажа, пока король глядел вверх, туда, где увенчанное сердце пронзено стрелой. Вверх глядели все, кроме одного, герцога д'Эпернона, который ждал убийцу. Король, пока глаза его были подняты, обвивал рукой шею предателя, он дал ему прочесть письмо: это позволяло герцогу поворачивать голову и следить, идет ли его пособник. Другой рукой король опирался на плечо господина де Монбазона. С этой стороны и нанес убийца свой удар; король сидел так, что сперва убийца легко ранил его.

Король снял руку с плеча господина де Монбазона.

— Я ранен, — сказал он и получил второй удар в грудь, которая была уже не

защищена, а подставлена под нож. Это был верный, окончательный удар, он поразил легкое и рассек аорту. Третий, запоздалый, попросту задел рукав господина де Монбазона. Тот в страхе спросил:

— Сир! Что такое?

Король, слабо, но явственно:

— Ничего! — И еще раз, последний: — Ничего. — Тут кровь хлынула у него изо рта, и де ла Форс закричал:

— Сир! Молитесь Богу!

Все спутники короля, исключая де ла Форса, бросили его и внимание свое устремили на убийцу. Окровавленный нож у него вырвали, но он голыми руками, орудиями неимоверной силы, оборонялся против клубка тел, которые наседали на него, но повалить не могли. Слуги и некий господин де ла Пьер наконец одолели его; тут подоспел Монтиньи, ваш слуга Монтиньи, ваш слуга; он посоветовал временно поместить убийцу в близлежащем дворце Ретц. Вся свита вместе со многими другими отправилась туда, конвоируя убийцу.

Маршал де ла Форс остался в экипаже один с умирающим королем. Покрыл его своим плащом, крикнул на всю улицу:

— Король только ранен!

Не ушел также господин де Гюрсон, он в первый миг рукояткой шпаги разбил нос убийце. Де ла Форс поручил ему очистить улицу и повернуть лошадей. Стараниями добровольных помощников это наконец удалось. Никто уже не теснился вокруг экипажа, из которого на землю капала кровь. Испуганные и пришибленные люди, давя друг друга, пятились к стене, под своды. Не было слышно ни единого звука.

Де ла Форс велел поднять со всех сторон кожух экипажа. Он с Гюрсоном сопровождали короля, который лежал распростертый, глаза сомкнуты, лицо подернуто желтизной. По улице Сент-Оноре везли они его назад, в его Луврский дворец. Они с недавних пор были приближены к нему; свой последний долг перед ним они выполняют честно. Де ла Форс выкрикнул еще раз:

— Король только ранен, — а между тем изнутри кареты, по ее высоким подножкам на улицу стекает все больше крови.

Народ, это кровь твоего короля Генриха. А люди молчали, молчали. Карета закачалась, закрипела, поехала быстрее; позади нее оставался темный след. На пути ее умолкали свидетели воли небес и мирских свершений. Пока что они лишь с ужасом и жалостью в душе воспринимали случившееся. Что будет дальше? Ничего не известно — если не считать одного-единичного происшествия.

Герцог д'Эпернон предоставил другим обезоруживать убийцу, резкие движения не для него. Возгласами он участвовал тоже, особенно настаивал, чтобы поостереглись прежде времени приканчивать убийц короля. Когда последнего уводили, д'Эпернон собрался заковылять следом. А ведь ватное сердце, вдруг вспомнилось ему, должно было сделать нашего приятеля невидимым, как полагается в таких случаях. Ватное сердце, подарок отцов иезуитов, со щепкой внутри, а может, и без щепки, все равно — невидимым, этого он вправе был требовать. Но теперь кончено. От короля мы избавились. Кончено. Тут он встретился лицом к лицу с одноруким офицером; он сразу же понял, что очутился во власти врага.

На вид враг был неумолим. Во время рокового события он потерял шляпу, волосы его стоят седой щетиной. Ноздри неестественно раздуты, рот сведен судорогой, из-под нависших бровей холодным пламенем горит взор. Своей единственной рукой отставной капитан срывает шляпу с генерал-полковника. Скосив глаза, д'Эпернон успел наскоро уяснить положение: от народа, струдившегося по краям улицы, хорошего ждать нечего. Тут плевков капитана щелкнул его по лицу, липкий комок, он пристал крепко.

Капитан, должно быть, курит трубку, слюна у него черная и вязкая, теперь она уже налипла у герцога д'Эпернона повсюду, на лбу, на веках, на щеках и губах. Единственный кулак капитана приставлен к подбородку мерзавца. Вот язык, которым с ним говорят, ни единого слова, но все понятно. Герцог д'Эпернон повинуетсЯ приказу, он плетется в направлении Луврского дворца, трудный путь, на земле темные следы. Их бы он предпочел обойти; кулак приказывает: шагай по ним! Эту кровь ты должен унести на подошвах ног.

От стены, из-под сводов выскакивали фигуры, каждая по собственному почину, и тоже потрясали стиснутыми кулаками. Д'Эпернон сперва пытался укрыть свое оплеванное лицо. Ему приказали, все так же безмолвно, выставить лицо на поругание. Под конец пути у него самого была одна мысль: выставить на поругание всего себя. Пусть двор признает его, пусть королева убежит от него. Король уже не дышит, однако он сулит своему предателю: ради этого он пробудится, ради того, чтобы поглядеть на него. Один, заклеянный безумием и предельным позором, другой, омраченный гневом, седовласый и суровый – так добрались они до караульни Лувра.

Солдаты выступили вперед, стукнули прикладами ружей оземь. Они хранили молчание, подобно толпам на улицах, и у каждого был взгляд как у однорукого капитана. Тот дошел до подножия парадной лестницы и отсюда продолжал следить глазами за герцогом д'Эперноном, как он поднимался, закинув голову и по-прежнему подставляя лицо к услугам всякого, кто хотел плюнуть в него. После этого уволенный, обремененный долгами офицер отправился на старый двор, в финансовое ведомство.

Он заявил, что король приказал составить распоряжение, которое собирался подписать, воротясь с прогулки. Писцы – до тех пор они только и знали, что слоняться и шушукаться, – теперь вдруг всем скопом засуетились. Предложили посетителю присесть. Послали рассыльного с бумагой. Заверили посетителя: еще минутка, и долг его будет погашен. Он этому не верил, а ждал, что его арестуют и заточат пожизненно в глубокое подземелье, куда попадают не за долги. Однако явился сам начальник ведомства. Отважный капитан заплатил сполна. Офицер, которого возлюбил наш король, свободен.

Seul Roi[* * * - Единственный король (фр.)]

Генрих еще раз пришел в себя – вернее, тень былого сознания возвратилась к нему, когда его выносили из экипажа. Случилось это под лестницей, ведущей к покоям королевы. Его тотчас попытались оживить вином. Господин де Серизи, лейтенант его гвардейцев, поддерживал ему голову, причем король несколько раз подымал и опускал веки. Затем они остались сомкнутыми. Отдаленно и смутно,

всякий раз как глаза его открывались, у него возникало воспоминание.
Первое:
«Арсенал, я собирался к Рони, меня не поняли».

Второе воспоминание, отдаленное и смутное: «Габриель, бесценная повелительница, твои уста вдыхают в меня твое дыхание. Не уходи». Третье воспоминание гласило бы: «Мы не умрем». Но только это уж не та мысль, что зародилась и сложилась у живого, дабы вселить в него мужество для настоящего и будущих времен. Другой, не этот, угасающий, подумал так. И все же, когда в третий раз поднялись веки, в мозгу, за большими глазами, которые сейчас закроются навсегда, последней мелькнула мысль: «Мы не умрем».

Тело отнесли в кабинет короля и положили на кровать. Комната вскоре оказалась переполненной; многим лишь бегло удавалось взглянуть на окровавленную рубаху, восковой лоб, грудь, всю в кровоподтеках, сомкнутые глаза, раскрывшийся рот. Людям сказали, что король жив, и, так как никто здесь иначе и помыслить не желал, это тело еще некоторое время оставалось королем. Подле трупа находился первый врач, который тогда звался Пти, и архиепископ Амбренский, чей собор расположен в Альпах. Не священник, а врач отважился обратиться к мертвецу, чтобы он просил Иисуса, сына Давидова, смилостивиться над ним.

Под конец тишина переполненной комнаты стала нестерпима, кто-то прикрыл королю рот орденским крестом. Это было признание, что он уже не дышит. Движение прошло по сгрудившейся толпе, и она раздалась надвое. Когда Мария Медичи вбежала в комнату, зрелище останков было открыто ей.

— Король умер! Король умер! — закричала она без памяти. Канцлер, из числа законовеев сурового склада, призвал к порядку ее величество.

— Короли не умирают во Франции, — заявил он и показал ей дофина, которого привел с собой. — Король жив, мадам!

Она была разочарована и даже возмущена. Ее Кончини распахнул дверь к ней в спальню и крикнул:

— E ammazzato[* * * - Он убит (ит.)]. От него мы избавились.

Дофин тотчас же покинул кабинет. Он, правда, поцеловал покойнику руку, поклонился и перекрестился, но все это наспех. Он не плакал, потому что мать его плакала. Каждый здесь в комнате был ненавистен ему: все они причастны к убийству. То, что ему пришлось увидеть и во что поверить, об этом его тревога,

которую он сам считал ребяческой и недостойной, давно уже предупреждала его.
«Мой всемилостивейший отец, исполните одну мою просьбу, мой глубокочтимый отец,
вы оставите меня одного. Мой великий отец, у вас слабый сын».

К полуночи тело было облачено в белый шелк. На следующий день факультет произвел вскрытие и изъяс внутренние органы, дабы они могли быть препровождены в Сен-Дени. Сердце было обещано иезуитам. Однако обстоятельства и знамения показали, что, на благо себе и другим, отцам лучше повременить. Набальзамированный труп был выставлен для прощания, этого избежать не могли; какой бы безумец согласился навлечь на себя подозрение, что этот труп — его рук дело. Опочивальня соединяет кабинет короля с большой галереей. Доступ в нее беспрепятственный, при условии, чтоходишь в Луврский дворец с улицы, будучи сам улицей.

Воля короля Генриха властвует поныне. Народу открыт свободный вход и выход во все его высокаторжественные дни — когда он задает пир, или когда величие являет себя перед другом, недругом и иноземцем утверждает свой сан, или когда Генрих одержал победу, одолел преграду. Возможно, здесь налицо все три случая. Столица его, во всяком случае, занимает его дом и опочивальню, где он лежит, открытый всем взорам, на кровати, затянутой сборчатой парчой. Кровать поставлена между двух окон, которые достигают до полу, внизу течет река.

Тело было выставлено до десятого июня, три недели, срок достаточный, чтобы огромные народные толпы успели нахлынуть из провинций. Его столица и его королевство занимают его дом, как свой собственный. Вплоть до самых отдаленных зал расположились его присные. У его опустошенной оболочки стоят они на карауле, что не было им дозволено, что они упустили, пока он был с ними. Сушая правда, что в ту пору народ короля Генриха заполнил Луврский дворец: двор был вытеснен, королева скрылась в местах более удаленных, чем те, где пребывала раньше, злоумышляя на его жизнь. Его солдаты стали сразу таким же народом, как все, они никого не охраняли и не защищали, кроме него. Но его-то уже не стало.

Любой из многих тысяч мог вскочить на стол и призвать к восстанию. Мог

высказать то, что чувствовали все: наш король Генрих и мы были одно. Он правил вместе с нами, а мы через него. Он хотел, чтобы мы были лучше и чтобы нам было лучше. Он был одной с нами крови, именно потому ее и пролили.

Но теперь его не стало. Когда в ту пору его народ тщетно караулил его останки, среди прочих его законоведы, его ремесленники, мореплаватели, борцы за веру, борцы за свободу — немного нужно было, чтобы дюжий крестьянин вскочил на стол. Тот, например, что съел пол белого хлеба, а Генрих вторую половину, и кружку вина они распили вместе. Но теперь его не стало, мы осиротели, мы печалимся. В жизни народа всего привычнее печаль, за ней следом покорность — до восстаний далеко.

Прощание с телом покойного короля, захват дворца, который уже не принадлежит ему, благополучно минует. Двор вздохнет свободно, после того как утраченная толпа удалится вместе со своей грозной скорбью.

В последний день дофин Людовик, ныне король Тринадцатый этого имени, учинил великую досаду, за что его мать намерена больно наказать его, когда будет восстановлен покой и порядок. Он, обычно такой робкий мальчик, самовольно и совсем один смешался с толпой, хотя от природы был склонен бояться и презирать людей, все равно — поодиночке или в массе. На пороге комнаты, где покоятся прах и оболочка его отца, он опустился на колени, на коленях совершил весь путь до него и поцеловал пол у его ложа. Пол же был грязен от множества ног; такое поведение явно противоречит склонностям нового короля. Одно лишь может объяснить его. Отец часто водил Людовика за руку: тут он делает это в последний раз.

Герцог де Скулли во многих возбуждал трепет, хотя сам он после смерти своего государя сперва испугался за свою безопасность: он слишком хорошо служил королю. Первый порыв страха заставил его тайком покинуть арсенал, он не хотел быть выслеженным или узнанным. Когда же он всмотрелся на улицах в лица, во множество лиц и все с одинаковым выражением, он встал во главе своей конной гвардии. С ней он явился в Луврский дворец и напрямик пожелал видеть королеву, но получил правдоподобный ответ, что она нездорова и даже в беспмятстве.

Этому он поверил, ибо из них двоих один лишь мог быть без страха и тревоги:
либо он, либо она.

Впоследствии она ни разу открыто не преследовала его. Некоторое время он сохранял свою власть или внешнее подобие власти, чтобы великий король для виду продолжал жить в своем великом министре. Делалось это ради народа и его угрожающей печали – пока не будут постепенно обессилены, а затем отправлены по домам оба – слуга короля и несчастный народ. Мария Медичи, едва стало возможно, предалась роскоши, праздничному упоению своей глупостью и блеском своего бесплодного владычества. Рубенсу, который живописал все это, было неприятно, что подобная фигура поневоле служит средоточием излюбленного им разгула неземной чувственности.

Сердце короля Генриха прибыло наконец к тем, кому он обещал его. А до того оно немало постранствовало, его показывали провинциям. Оно объезжало их, лежа на коленях иезуитов. Глубоко сокрушенные народные толпы видели, как сердце его само приближалось к ним и вновь удалялось; незачем им идти в столицу, чтобы взять его. Все равно. Они никогда не забудут, что однажды у них был их король. Сердце его, помимо них, радело о многом – о собственном главенстве, о величии Франции и о всеобщем мире. Однако первыми были у него они, самыми близкими его сердцу, когда были бедны. В народной памяти единственный король.

Seul roi de qui le pauvre ait gardé la mémoire.

Allocution d'Henri Quatrième

Roi de France et de Navarre

du haut d'un nuage qui le masque pendant l'espace d'un
clair, puis se referme sur lui

On m'a conjuré, on a voulu s'inspirer de ma vie, fame de pouvoir me la rendre. Je ne suis pas trahi, moi-même, de désirer son retour, et encore moins, de bien comprendre pourquoi j'ai dû accomplir ma destinée. Au fond, notre passage sur la terre est marqué par des peines et des joies ; nos ; nos ; notre raison, et parfois

au-dessous de nous mêmes. Nous ferions mieux, si nous pouvions nous regarder. Quant aux autres, ils m'ont assurément jugé sans me voir. Certain jour, jeune encore, quelqu'un, s'approchant par derrière, me ferma les yeux de ses mains; a quoi je répondis que pour l'oser, il fallait être ou grand ou fort téméraire.

Regardez moi dans les yeux. Je suis un homme comme vous; la mort n'y fait rien, ni les siècles qui nous séparent. Vous vous croyez de grandes personnes, appartenant a une humanité de trois cents ans plus âgée que de mon vivant. Mais pour les morts, qu'ils soient morts depuis si longtemps ou seulement d'hier, la différence est minime. Sans compter que les vivants de ce soir sont les morts de demain. Va, mon frère d'un moment, tu me ressembles étrangement. N'as-tu pas essuyé les revers de la guerre, après en avoir connu la fortune? Et l'amour donc, ses luttes ahanantes suivies d'un bonheur impatient et d'un désespoir qui perdure. Je n'aurais pas fini poignardé si ma chère maîtresse avait vécu.

On dit cela, mais sait-on? J'ai fait un saut périlleux qui valait bien ces coups de poignard. Mon sort se décida au même instant que j'abjurai la Religion. Cependant, ce fut ma façon de servir la France. Par là;, souvent nos reniements équivalent à des actes, et nos faiblesses peuvent nous tenir lieu de fermeté. La France m'est bien obligée, car j'ai bien travaillé pour elle. J'ai eu mes heures de grandeur. Mais qu'est-ce qu'être grand? Avoir la modestie de servir ses semblables tout en les dépassant. J'ai été prince du sang et peuple. Ventre saint gris, il faut être l'un et l'autre, sous peine de rester un mediocre amasseur d'inutiles deniers.

Je me risque bien loin, car enfin, mon Grand Dessein est de l'époque de ma déchéance. Mais la déchéance n'est peut-être qu'un achèvement suprême et douloureux. Un roi qu'on a appelé grand, et sans doute ne croyait-on pas si bien dire, finit par entrevoir la Paix éternelle et une Societé des Dominations Chrétiennes. Par quoi

il franchit les limites de sa puissance, et même de sa vie. La grandeur?

Mais elle n'est pas d'ici, il faut avoir vécu et avoir trépassé.

Un homme qui doit cesser de vivre, et qui le sent, met en chemin quand même une postérité lointaine, abandonnant son oeuvre posthume

à la grâce de Dieu, qui est certaine, et au génie de siècles qui est hasardeux et qui est incomplet. Mon propre génie l'a

bien été. Je n'ai rien à vous reprocher, mes chers contemporains

de trois siècles en retard sur moi. J'ai connu l'un de ces siècles,

et qui n'était plus le mien. Je lui étais supérieur, ce qui ne

m'empêchait pas d'être même alors un rescapé des temps

révolus. Le suis-je encore, revenu parmi vous? Vous me reconnaîtriez

plutôt, et je me mettrais à votre tête: tout serait a recommencer. Peut-être, pour une fois, ne succomberais-je pas. Ai-je dit

que je ne désirais pas revivre? Mais je ne suis pas mort. Je vis, moi, et

ce n'est pas d'une manière surnaturelle. Vous me continuez.

Gardez tout votre courage, au milieu de l'affreuse mêlée où

tant de formidables ennemis vous menacent. Il est toujours des oppresseurs du

peuple, lesquels oncques n'aimai; à peine ont-ils changé de costume,

mais point de figure. J'ai haï le roi d'Espagne, qui vous est connu sous

d'autres noms. Il n'est pas près de renoncer à sa prétention de

suborner l'Europe, et d'abord mon royaume de France. Or, cette France qui fut

mienne, en garde le souvenir; elle est toujours le poste avancé des libertés humaines, qui sont liberté de conscience et

liberté de

manger à sa faim. Il n'y a que ce peuple qui, de par sa nature, sache

aussi bien parler que combattre. C'est, en somme, le pays où il y a le

plus de bonté. Le monde ne peut être sauvé que par l'amour. A

une époque de faiblesse, on prend violence pour fermeté. Seuls les

forts peuvent se permettre de vous aimer, puisque aussi bien, vous le leur

rendez difficile.

J'ai beaucoup aimé. Je me suis battu et j'ai trouvé les mots qui saisissent. Le français est ma langue d'inclination: même aux étrangers je rappellerai que l'humanité n'est pas faite pour abdiquer ses rêves, qui ne sont que des réalités mal connues. Le bonheur existe. Satisfaction et abondance sont à portée de bras. Et on ne saurait poignarder les peuples. N'ayez pas peur des couteaux qu'on dirait contre vous. Je les ai vainement redoutés. Faites mieux que moi. J'ai trop attendu. Les révolutions ne viennent jamais à point nommé: c'est pourquoi il faut les poursuivre jusqu'au bout, et avec force. J'ai hésité, tant par humaine faiblesse que parce que je vous voyais d'en haut, humains, mes amis.

Je ne regrette que mes commencements, quand je bataillais dans l'ignorance de tout ce qui devait, par la suite, m'advenir: grandeur et majesté, puis trahison amère, et la racine de mon cœur morte avant moi, qui ne rejettera plus. Si je m'en croyais, je ne vous parlerais que de cliquetis d'armes, et de cloches faisant un merveilleux bruit, sonnante l'alarme de toutes parts, les voix criant incessamment: Charge! charge! et tue! tue! J'ai failli trente-trente fois ce bordel. Dieu est ma garde.

Et voyez le vieil homme qui n'a eu aucune peine à vous apparaître, quelqu'un m'ayant appelé.

En guise de rideau, le nuage d'or se referme sur le roi.

Обращение Генриха Четвертого,

Короля Франции и Наварры,

из облака, которое открывает его на миг, а потом смыкается над ним.

Меня призвали, чтобы вдохновиться примером моей жизни, не будучи в силах

вернуть мне эту жизнь. Я и сам не уверен, хочу ли я ее возврата, и еще меньше понимаю, почему мне пришлось принять такую судьбу. В сущности, земной наш путь отмечен горестями и радостями, неподвластными нашему разуму и нередко недостойными нас. Мы поступали бы лучше, если бы смотрели на себя со стороны. А вот другие, те, без сомнения, судили обо мне, не видя меня. Однажды, в годы юности, кто-то, подойдя сзади, прикрыл мне глаза руками; я тогда сказал, что отважиться на это мог только великий человек или большой смельчак.

Посмотрите мне в глаза. Я человек, подобный вам: смерть тут ни при чем и ни при чем века, разделяющие нас. Вы мните себя взрослыми людьми, потому что ваше поколение на триста лет старше моих современников. Но для мертвецов почти нет разницы — мертвы ли они так давно или умерли только вчера. Не говоря уже о том, что живые сегодня могут стать завтра мертвецами. Послушай, меньший мой брат на мгновение, ты удивительно похож на меня. Ведь и ты испытал превратности войны, сперва узнав ее удачи? А любовь, со всеми перипетиями борьбы, с торопливым счастьем и отчаянием без конца! Я не погиб бы от кинжала, если бы бесценная моя повелительница была жива.

Так мы говорим, но что мы знаем? Я совершил опасный прыжок, который стоил многих ударов кинжалом. Участь моя решилась в ту минуту, как я отрекся от истинной веры. Однако этим я послужил Франции. Ибо нередко наше отступничество равноценно подвигу, а наши слабости могут заменить стойкость. Франция многим обязана мне, потому что я много потрудился для нее. У меня были минуты величия. Но что значит быть великим? Это значит иметь скромность служить своим ближним, будучи выше их. Я был принцем крови и простолюдином. Надо быть тем и другим, чтобы не остаться ничтожным и ненужным крохобором.

Я что-то слишком занесся, ибо мой Великий план задуман все-таки в годы заката. Но, быть может, закат — это и есть высшее и мучительное завершение. Король, которого называли великим, не понимая даже, сколь это справедливо, под конец провидит вечный мир и союз христианских государств. Тем самым он выходит за пределы своего могущества и даже своей жизни. Величие? Да ведь оно не от

мира сего, для него надо прожить жизнь и умереть.

Человек, чья жизнь должна оборваться, в предчувствии конца прокладывает путь далекому потомству, предавая свой посмертный труд на милость Божию, которая непреложна, и гению веков, который дерзновенен и далек от совершенства. Таков был и мой гений. Мне не в чем укорять вас, дорогие мои современники, отставшие от меня на три века. Я видел один из них, это был уже не мой век. Я был выше его, что не мешало мне и тогда быть обломком минувших времен. Таков ли я и теперь среди вас? Нет, вы бы признали меня, и я повел бы вас, и все пришлось бы начать сызнова. Быть может, на сей раз я не погиб бы. Я, кажется, сказал, что не хотел бы воскреснуть? Да ведь я и не умер. Я живу, и вовсе не как призрак. Вы продолжаете меня.

Не теряйте мужества посреди жестокой схватки, где столько грозных врагов ополчилось на вас.

Угнетатели народа, претившие мне, не перевелись по сей день, разве что изменили одежду, но не лицо. Я ненавижу короля Испанского, который знаком вам под другими именами. Он и не думает отказаться от намерения поработить Европу, начав с моего королевства Франции. Но Франция когда-то была моей и не забыла об этом, по-прежнему стоит она на страже человеческих свобод – свободы совести и свободы есть досыта. Лишь этот народ одарен от природы способностью одинаково хорошо говорить и сражаться. Вот поистине страна, исполненная доброты. Мир же может быть спасен только любовью. В периоды бессилья жестокость принимают за твердость. Только сильные могут отважиться любить вас, ибо, по правде сказать, вы им в этом не помогаете.

Я много любил. Я сражался и умел увлекать словами. Всем языкам я предпочитаю французский; но и чужестранцам хочу я напомнить, что человечеству незачем отречься от своих мечтаний, ибо они лишь непознанная действительность. Счастье существует. Изобилье и довольство у вас под рукой. И целые народы кинжалом не сразишь. Не бойтесь убийц, которых посылают к вам. Я тщетно остерегался их. Действуйте умнее меня. Я слишком долго ждал. Революции не свершаются в назначенный час, вот почему надо доводить их до конца, пусть с

помощью силы. Я же колебался, как из человеческой слабости, так и потому, что видел вас уже сверху, сыны человеческие, мои друзья.

Жалею я лишь о первых моих шагах, когда я сражался, не ведая того, что ждет меня впереди: власть и величие, потом горькая измена и раньше меня засохшие корни моего сердца, которые больше не дадут ростков. Если бы я дал себе волю, я говорил бы вам лишь о звоне оружия и о колоколах, что гудят так мощно, со всех сторон бьют тревогу, меж тем как стоит немолчный крик: «Режь! Режь! Бей! Бей!» Тридцать раз грозила мне смерть в этом содоме. Господь мой щит.

Взгляните же на старика, который не замедлил явиться вам, стоило лишь позвать его.

Золотое облако, заменяющее занавес, смыкается над королем.

Примечания

* * *

Прощай и люби меня (лат.).

* * *

Посмотрим (ит.).

* * *

Грозит раскол в Галлии (лат.).

* * *

Коль дарования нет, рождается стих возмущеньем (лат.).

* * *

Тебя, Бога [хвалим]. Начало католической молитвы.

* * *

Открываешь муки души.

* * *

«Владычица небесная, радуйся» (лат.) – католическая молитва.

* * *

О, если бы он был рожден в счастливый век (лат.).

* * *

Делаю различие (лат.).

* * *

Единственный король (фр.).

* * *

Он убит (ит.).

1.

...он вспомнил полководца по имени Парма... – Речь идет об Александре (Алессандро) Фарнезе, герцоге Пармском (1545–1592), полководце и государственном деятеле испанской монархии, с 1578 г. – наместнике испанского короля Филиппа II в Нидерландах. По его приказу Фарнезе осуществил в 1590 г. прорыв линии войск Генриха IV, осадившего Париж.

2.

Вильруа Никола де Невиль (1542–1617) – французский

государственный деятель. Сторонник Лиги, он в 1593 г. порвал с ней и при Генрихе IV стал статс-секретарем и поверенным в иностранных делах, сохраняя происпанскую ориентацию.

3.

Веронезе Паоло (1528-1588) — знаменитый художник венецианской школы.

4.

...Он участвовал в знаменитом сражении при Лепанто... — Сражение при Лепанто произошло 7 октября 1571 г. у мыса Скофо (Греция) между турецким и испанско-венецианским флотами во время кипрской войны 1570-1574 гг. Разгром турецкого флота в этом сражении подорвал морское могущество Османской империи на Средиземном море.

5.

...если имею всякое познание... и далее. — Цитата из Евангелия.

6.

...тысячу двести валлонских копейщиков... — Валлоны — народ в Бельгии, говорящий на валлонском диалекте французского языка.

7.

Омон Жан де, граф де Шатору (1522-1595), — сын придворного Генриха II, с 1579 г. маршал Франции. Один из первых признал королем Генриха IV и сражался на его стороне при Арке и Иври.

8.

...Барон Бирон Шарль де Гонто (1562-1602) — сын маршала Бирона. Сражался на стороне Генриха IV в битвах при Арке и Иври, участвовал в

осаде Парижа и Руана. С 1594 г. – маршал Франции. За участие в заговоре против Генриха IV был казнен.

9.

Эгмонт Филипп, граф (1558–1590), – нидерландский генерал, сын знаменитого деятеля Нидерландской революции графа Эгмонта. Боролся во Фландрии на стороне Испании и погиб в битве при Иври.

10.

Герцог Брауншвейгский Юлий – протестант, упрочивший в своих землях реформированную религию. Погиб в битве при Иври.

11.

Де ла Рош-Гюйон Антуанетта де Понс – графиня, позднее фрейлина Марии Медичи.

12.

Архиепископ Толедский Кирога Гаспар де – канцлер испанского короля Филиппа II.

13.

Немур Шарль-Эманюэль Савойский, герцог де (1567–1595), – сторонник Лиги, родственник Гизов. Был губернатором осажденного Генрихом IV Парижа. После вступления Генриха в Париж был губернатором в Лионе.

14.

Омаль Шарль Лотарингский, герцог де (1555–1631), – один из руководителей Лиги и губернатор Парижа в 1589 г. Боролся на стороне Гизов против Генриха III, не признал Генриха IV и прожил последние годы жизни в эмиграции в Нидерландах.

15.

Бернар Палисси (род, ок. 1510 г. – умер ок. 1590 г.) – французский художник-керамист и естествоиспытатель, противник средневековой схоластики и алхимии. За принадлежность к гугенотам был в 1588 г. заключен в Бастилию, где и умер.

16.

Бриссон Барнабе (1531–1591) – французский государственный деятель и правовед. Занимал различные государственные должности, в том числе государственного канцлера, посланника в Англии и другие. Оставил после себя ряд трудов по праву.

17.

Кардинал Парижский – Пьер де Гонди (1533–1616), епископ Лангрский, затем кардинал Парижский. Придерживался умеренных взглядов и служил как Генриху III, так и Генриху IV.

18.

Архиепископ Лионский – Пьер д'Эпинак (1540–1599), ярый противник гугенотов, советник Генриха Гиза, сторонник Лиги. Позднее покорился Генриху IV.

19.

...сравнил себя с настоящей матерью на суде у царя Соломона... – Согласно библейскому преданию, к славившемуся своей мудростью царю Соломону обратились две женщины, которые заявляли свои права на одного и того же ребенка и просили рассудить, кому из них он принадлежит. Когда Соломон предложил разрубить ребенка пополам и отдать женщинам по половине, настоящая мать сказала, что скорее откажется от ребенка, лишь бы ему была сохранена жизнь.

20.

Сам ведь я пять лет просидел в плену у испанцев... – Франсуа де Ла Ну, будучи на службе у Генриха Наваррского, попал в 1580 г. в плен в Нидерландах, где провел пять лет. За эти годы он написал свое известное сочинение «Политические и военные речи».

21.

Шико – Антуан д'Англерай, прозванный Шико, гасконский дворянин, придворный шут при королях Генрихе III и Генрихе IV.

22.

Бельгард Роже де Сен-Лари, герцог (1562-1646), – придворный, главный оруженосец Генриха III, губернатор Бургони при Генрихе IV, герцог при Людовике XIII, прозванный современниками за свою блестящую карьеру «Поток Милостей».

23.

Эстре Антуан де – губернатор Нуайона, позднее губернатор Иль-де-Франса и Ла-Фера, с 1597 г. великий мэтр артиллерии.

24.

Де Шеверни, граф (1528-1599), – канцлер при Генрихе III. Впал в немилость в 1588 г., в 1590 г. возобновил карьеру благодаря своему посредничеству в переговорах между Генрихом IV и Лигой.

25.

Де Лонгвиль Генрих (1568-1595) – главный камергер Франции, губернатор Пикардии, противник Лиги.

26.

...слишком хорошо известен Гефсиманский сад. – По евангельскому преданию, в Гефсиманском саду Христос произнес свою последнюю молитву, в которой просил Бога-Отца избавить его от мук распятия (так называемое «моление о чаше»).

27.

Абеляр Пьер (1079–1142) – выдающийся средневековый французский философ и богослов. Его чувство к девушке Элоизе стало примером страстной и верной любви.

28.

Цамет Себастьян (1549–1614) – сапожник-левантинец из свиты Екатерины Медичи. Благодаря своим денежным операциям стал богатейшим банкиром своего времени, ссужал деньгами Генриха IV и его возлюбленных, за что Генрих IV давал ему выгодные откупы и назначил его скринтендантом дома королевы.

29.

Салический закон – свод законов древнегерманского племени салических франков, согласно которым наследование земель и связанных с ними титулов происходило только по мужской линии.

30.

Мадемуазель де Гиз – Луиза Гиз-Лотарингская (1577–1631), дочь Генриха Гиза. Вышла в 1605 г. замуж за принца де Конти.

31.

Ла Фэй Антуан де (род. в первой половине XVI в. – ум. в 1615 г.) – французский пастор, крупный теолог, соратник и друг Беза. Оставил после себя большое количество религиозных трактатов.

32.

Живри Анн д'Англюр, барон де (1560–1594), – ревностный католик, но тем не менее сторонник Генриха IV в его борьбе с Лигой. В 90-х годах боролся против испанцев, был взят в плен герцогом Пармским.

33.

Де Варенн Гийом Фуке, маркиз де ла Варенн (1560–1616), – французский дипломат. Начав свою карьеру в качестве повара, поставщика любовниц Генриху IV и исполнителя его интимных поручений, стал маркизом, канцлером и генеральным контролером почт. Покровительствовал иезуитам.

34.

Силен – в древнегреческой мифологии воспитатель бога Диониса. Изображался веселым, подвыпившим старцем, едущим верхом на осле.

35.

Де Прален – Шарль де Шуазель, маркиз де Прален (1563–1626), – французский военный, отличился в битвах в царствование Генриха III и Генриха IV. С 1619 г. маршал Франции, под конец жизни губернатор Сентонжа.

36.

Барли Уильям Сесиль (1520–1598) – английский государственный деятель. После воцарения Елизаветы был назначен первым статс-секретарем.

37.

Мысли королевы были тогда заняты мужчиной. – Речь идет о графе Эссексе (1566–1601), занявшем в 1588 г. после смерти своего отчима Лестера место ближайшего друга и доверенного лица королевы Елизаветы.

38.

Де Бовуар ла Нокль. (род. в середине XVI в. — умер в 1601 г.) — протестантский полководец и дипломат. При Генрихе IV был французским послом в Англии.

39.

Папа Климент. — Имеется в виду папа римский Климент VIII (1536–1605). При нем папский престол начал освобождаться от испанского влияния. Он снял в 1595 г. проклятие с Генриха IV.

40.

Дю Перрон Жак-Дави (1556–1618) — кардинал и выдающийся оратор. При Генрихе III был чтецом и составителем торжественных речей.

41.

Апокалиптический зверь — фантастическое чудовище, описанное в Апокалипсисе.

42.

Пьер Баррьер — фанатик, готовивший покушение на Генриха IV. Был разоблачен и четвертован в 1593 г.

43.

Герцог Аквитанский. — Аквитания — крупнейшее феодальное княжество на юго-западе средневековой Франции. С середины XII до середины XIV в. герцогами Аквитании были короли Англии. С 1453 г. после изгнания англичан в результате Столетней войны Аквитания была окончательно присоединена к владениям французских королей.

44.

Матиньон Жак-Гойон (1525–1597) — маршал Франции, выдающийся военачальник своего времени. Одним из первых признал Генриха IV.

Успешно боролся с испанцами и собирался перенести войну на территорию Испании, чему помешала его смерть.

45.

Меркурий — бог торговли и бог-посланник у древних римлян. Изображался с кошельком и жезлом в руках, с крылышками на сандалиях и шляпе.

46.

Ферия Лоренцо Суарес де Фигероа, герцог де (1550–1607), — испанский государственный деятель и дипломат. Был послом Филиппа II во Франции и поддерживал Лигу в ее борьбе против Генриха IV.

47.

Гелиогабал — римский император с 218 по 222 г. Отличался жестокостью, развратностью и самовозвеличением.

48.

Зерно не будет иметь твердой цены, покуда провинции отделены друг от друга пошлинами. Я их отменю. — Речь идет о попытках упорядочения экономической жизни страны, парализованной феодальной раздробленностью, которые были частично осуществлены в правление Генриха IV.

49.

Пеллеве Никола де (1518–1594) — французский кардинал, сторонник партии Гизов и враг Генриха III. Впоследствии по назначению папы Климента VIII — архиепископ Реймский.

50.

Жан Шатель (1575–1594) — сын торговца, ученик иезуитов. 27 декабря 1594 г. совершил покушение на Генриха IV во дворце Шомбер, в котором

жила Габриель д'Эстре. Шатель был четвертован, а орден иезуитов, обвиненный в подстрекательстве к убийству короля, был изгнан из Франции.

51.

Монтиньи Франсуа де ла Гранж (1554-1617) – маршал Франции. Служил как Генриху III, так и Генриху IV, сражаясь на стороне последнего во многих его битвах.

52.

Меркер Филипп-Эманюэль Лотарингский, герцог де (1558-1602), – французский полководец, губернатор Бретани. Был сторонником Лиги и после смерти Генриха Гиза объявил себя ее главой. В союзе с Филиппом II боролся против Генриха IV.

53.

Молодой герцог Гиз. – Имеется в виду Шарль Лотарингский, герцог Гиз (1571-1640), сын главы Лиги Генриха Гиза.

54.

...не замедлил воспользоваться удачей, объявив войну Испании. Филипп... потерпел поражение... – В январе 1595 г. Генрих IV объявил Испании войну, захватил у Майенна большую часть Бургундии и разбил при Фонтен-Франсез превосходящие силы испанцев.

55.

Диане д'Эстре, ныне супруге маршала де Баланьи, не слишком посчастливилось. – Сестра Габриели д'Эстре, Диана, была второй женой маршала Жана Монлюка де Баланьи, губернатора Камбре. В 1595 г. при неожиданном нападении испанцев он не сумел защитить город, и Камбре попал в руки врагов.

56.

Во время трапезы пришло сообщение, что пал Кале. –

Весной 1596 г. Кале был захвачен кардиналом Австрийским.

57.

Кардинал Австрийский, эрцгерцог Альберт (1559–1621), —
наместник Филиппа II в Нидерландах.

58.

Принцесса Оранская, Лиза де Колиньи (1555–1620), — дочь
адмирала де Колиньи, жена Шарля де Телиньи, погибшего в Варфоломеевскую
ночь.
Вторично вышла замуж за Вильгельма Нассауского, принца Оранского.

59.

Де Сагонн Диана де ла Марк — фрейлина Екатерины Медичи,
дочь маршала Франции Роберта де ла Марка. Граф де Сагонн был ее третьим
мужем.

60.

Ла Тремойль Клод, герцог де (1566–1604), — французский
военачальник. Боролся против протестантов, затем перешел на сторону
Генриха
Наваррского.

61.

...она любит его, как Пенелопа Улисса. — Согласно
древнегреческому эпосу, жена Одиссея (Улисса) Пенелопа сохраняла верность
мужу
в течение двадцати лет, пока он отсутствовал, и отвергала предложения
многочисленных женихов. Образ Пенелопы вошел в литературу как символ
супружеской верности.

62.

Теперь он будет запечатлен на бумаге... — Имеется в виду
мирный договор, заключенный между Генрихом IV и Филиппом II в Вервене 2
мая

1598 г. По этому договору испанцы отказывались от всех своих завоеваний во Франции, кроме Камбре. Тем самым сводились на нет все попытки Испании подчинить себе Францию.

63.

«Трактат об евхаристии» — труд Филиппа дю Плесси-Морнея. Евхаристия — одно из главных таинств церкви, при котором верующие приобщаются тела и крови Христовой (либо только тела — как у католиков).

64.

Великий герцог Тосканский — Фердинанд Медичи (1549–1609), правитель Тосканского герцогства.

65.

Барневелт — Имеется в виду Ян Олденбарневелт (род. ок. 1549 г. — умер в 1619 г.), нидерландский государственный деятель, фактический правитель Голландии в 1586–1619 гг. Был противником продолжения войны с Испанией и добился в 1609 г. заключения перемирия.

66.

Бассомпьер Франсуа де (1579–1646) — французский маршал, фаворит Генриха IV.

67.

Санси Никола д'Арле (1546–1629) — сюринтендант финансов, посол в Англии и генерал-полковник наемных швейцарских войск. Неоднократно менял вероисповедание. После очередного перехода в 1597 г. в католицизм был высмеян д'Обинье в его памфлете «Исповедь де Санси».

68.

Monsieur (месье) — титул старшего брата короля.

69.

«Прелестной Габриели...» и т. д. — широко известные в свое время стансы, автором которых, по некоторым источникам, считается Генрих IV.

70.

Принц Нассауский. — Имеется в виду Мориц Нассауский (1567–1625), сын Вильгельма Оранского, наместник Нидерландов с 1584 по 1625 г., видный полководец своего времени.

71.

...думал о великом герцоге Тосканском и его племяннице. — Речь идет о Марии Медичи (1573–1642) — будущей королеве Франции, дочери Франческо Медичи, брата великого герцога Тосканского Фердинанда Медичи.

72.

Марк Лескарбо (род. ок. 1580 г. — умер ок. 1630 г.) — адвокат, литератор и путешественник, в 1604 г. совершивший поездку в Новую Францию (Канаду) и написавший «Историю Новой Франции».

73.

Де Френ Пьер Форже (1544–1610) — сын президента парижского парламента Жана Форже, с 1589 г. государственный секретарь. Один из составителей Нантского эдикта.

74.

Святой Губерт — покровитель охоты.

75.

Ла Ривьер Рош ле Байиф (? — умер в 1605 г.) —

французский врач и астролог, протестант. Был первым врачом и доверенным лицом
Габриели д'Эстре.

76.

Новый канцлер. — Имеется в виду Никола де Силлери (1544-1624), французский дипломат, с 1589 г. советник парижского парламента, маршал Франции.

77.

Работы на Новом мосту... — Речь идет о строительстве моста через Сену — Пон-Неф, одного из красивейших парижских мостов. Строился с 1578 по 1606 г.

78.

Господь Саваоф — одно из имен Бога в еврейской мифологии и имя Бога-Отца в христианской.

79.

Брат Габриели. — Имеется в виду Франсуа Аннибал, маркиз Кэврский, герцог д'Эстре (1573-1670), французский маршал. Сделал военную и дипломатическую карьеру при сыне Генриха IV Людовике XIII и Людовике XIV.

80.

Герцог Савойский Карл-Эммануил Великий (1562-1630) — с 1580 г. правитель Савойи. Будучи родственником Генриха IV, в 1588 г. претендовал на французский престол. Генрих IV захватил большинство его владений.

81.

Герцог де Монбазон Эркюль де Роган (? — умер в 1654 г.) — государственный деятель Франции. Был наместником короля Генриха IV в

Париже.

82.

Бельевр Помпонн де (1529–1607) – французский государственный деятель, начавший свою карьеру еще при Карле IX. Занимал ряд высших должностей.

83.

Гиппократ (ок. 460–377 гг. до н. э.) – выдающийся врач Древней Греции, оказавший большое влияние на развитие медицины в последующие века.

84.

Креки де Бланшфор де Канабль (1567–1638) – французский полководец и дипломат. В 1605 г. стал начальником французской гвардии.

85.

Кардинал Альдобрандини Пьетро (1571–1621) – папский легат, племянник папы Климента VIII.

86.

Папская область Авиньон. – Имеется в виду город Авиньон (в Юго-Восточной Франции), где с 1309 по 1377 г. находился папский престол. После перенесения резиденции папы снова в Рим Авиньон находился в их владении до Великой французской революции.

87.

...Вот... цифра семь: ученые отцы проникли в ее тайну. – Числу семь в середине века придавалось мистическое значение. Это число часто встречается Библии и особенно в Апокалипсисе, как «число зла».

88.

У королевы есть молочная сестра. — Имеется в виду Леонора Дори, прозванная Галигай (род. ок. 1571 г. — умерла в 1617 г.), — молочная сестра Марии Медичи, последовавшая за ней во Францию. Пользовалась огромным влиянием на королеву, которое современники объясняли колдовством.

89.

Кончини (? — умер в 1617 г.) — итальянский авантюрист, муж молочной сестры Марии Медичи Леоноры Галигай, благодаря ей пользовавшийся влиянием на королеву и использовавший это влияние для личного обогащения.

90.

Я был бы Роландом, будь вы Карлом Великим. — Роланд (? — умер в 778 г.) — французский маркграф. Принимал участие в походе Карла Великого в Испанию в 778 г., где и погиб. Сказания о Роланде легли в основу героического эпоса французского народа «Песнь о Роланде».

91.

Филипп Третий (1578–1621) — испанский король с 1598 по 1621 г. из династии Габсбургов. Время его правления характеризуется упадком абсолютизма и господством придворной камарильи.

92.

Яков Первый (1566–1625) — английский король из династии Стюартов с 1603 по 1625 г.

93.

Саль Франсуа де (1567–1622) — правовед и теолог, с 1602 г. женеvский епископ. Ревностно насаждал католицизм в Северной Савойе.

Известен рядом теологических трудов, причислен к лику католических святых.

94.

Коттон Пьер (1564–1626) – французский теолог, иезуит, духовник Генриха IV, от которого добился разрешения на возвращение иезуитов во Францию и восстановления их имущественных и иных прав.

95.

...учение знаменитого Марианы о праве убивать королей сильно занимает его ум. – Хуан де Мариана (1536–1624) – испанский историк, иезуит, идеолог контрреформации. Вся его деятельность была подчинена основной цели ордена иезуитов – созданию космополитического «вселенского» теократического государства. В борьбе с представителями королевского абсолютизма выступил вдохновителем ряда террористических актов, осуществленных в конце XVI – начале XVII в. агентами иезуитов (в частности, убийство в 1610 г. короля Генриха IV). В одном из своих наиболее известных трудов, «О короле», Мариана доказывал, что тиран, действующий против церкви, с полным правом может быть убит своими подданными.

96.

Рудольф II (1552–1612) – император Священной Римской империи. Воспитанный иезуитами при дворе Филиппа II в духе слепой ненависти к протестантизму, был послушным орудием в их руках, проводя политику жестокой католической реакции в габсбургских землях.

97.

...знал, что Филипп Третий Испанский неотступно домогается союза с британским величеством. – Имеются в виду неоднократные попытки Испании заключить мир с Англией, завершившиеся подписанием в 1604 г. мира на выгодных для Испании условиях.

98.

Тем временем пал Остенде. — 20 сентября 1604 г. после более чем трехлетней осады Альбертом Австрийским совместно с генералом Спинолой Остенде — последний оплот Соединенных провинций на побережье Фландрии — сдался испанцам.

99.

Овернь Шарль де Валуа, позже герцог д'Ангулем (1573–1650), — побочный сын Карла IX, фаворит Генриха III. Одним из первых признал королем Генриха IV. Участвовал в заговоре Бирона и был заключен в крепость.

100.

...пришла весть о заговоре против короля Якова. — Речь идет о так называемом «пороховом заговоре» против английского короля Якова I, составленного католиками при поддержке иезуитов. Загрузив подвал под парламентом бочками с порохом, заговорщики рассчитывали взорвать парламент в день открытия сессии вместе с королем, его сыном и важнейшими государственными сановниками. 5 ноября 1605 г. заговор был раскрыт, его участники казнены.

101.

Распорядитесь отлить из бронзы короля верхом на коне. — Конная статуя Генриха IV была поставлена несколько позже описываемых событий, уже после смерти Генриха IV, в 1635 г., у моста Пон-Неф.

102.

Парацельс Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (1493–1541) — знаменитый немецкий врач и естествоиспытатель. Выступая против схоластики и слепого почитания авторитета древних, стремился создать медицинскую науку, основанную на опыте и наблюдениях.

103.

Вик Доминик де, виконт д'Эрменонвиль (умер в 1610 г.), – один из старых боевых друзей Генриха IV.

104.

..Любек.. глава могущественного Ганзейского союза.. – Ганза – торгово-политический союз северонемецких городов в XIV-XVII вв. Ганзейские города были торговыми посредниками между востоком, западом и севером Европы. Любек, находившийся на скрещении путей, ведущих в Германию, был одним из крупнейших центров Ганзейского союза. Покровительствуя внешней торговле, Генрих IV заключил в 1607 г. торговый договор с Ганзой.

105.

Гроций Гуго де Гроот (1583-1645) – голландский ученый-юрист, историк и дипломат. Идеолог ранней буржуазии, один из основоположников буржуазной теории естественного права.

106.

Конде Генрих де Бурбон (1588-1646) – сын Генриха Конде, друга и соратника Генриха IV.

107.

«Амадис Галльский» – популярный в средние века рыцарский роман.

108.

«Театр агрикультуры» – произведение французского агронома и политического деятеля Оливье де Серра (род. ок. 1539 г. – умер в 1619 г.), в котором он, адресуясь к дворянству, призывал пользоваться передовыми для своего времени методами ведения сельского хозяйства.

109.

Мон Пьер дю Га (1560–1630). – один из основателей французских колоний за океаном. Был губернатором Понса. В 1603 г. получил от Генриха IV патент на должность вице-адмирала и наместника Акадии и Канады.

110.

..Самюэль де Шамплейн (1567–1635) – французский путешественник, исследователь Канады. Убедил Генриха IV основать колонию в Канаде, неоднократно совершал туда путешествия, которые описал в ряде сочинений. Основал в 1608 г. совместно с Моном город Квебек.

111.

Монморанси Шарлотта-Маргарита (1594–1650) – дочь коннетабля Генриха де Монморанси. Вышла замуж за принца Конде, с которым бежала в Брюссель от преследований влюбленного в нее Генриха IV.

112.

Вуатюр Венсан (1598–1648) – французский поэт, представитель салонной литературы.

113.

Юрфе Оноре де (1568–1625) – французский романист, главный представитель пасторального жанра во Франции.

114.

Малерб Франсуа де (1555–1628) – французский поэт и критик, один из основоположников классицизма. С 1605 г. придворный поэт Генриха IV.

115.

Жаннен Пьер, прозванный «президент Жаннен»

(1540–1623), – французский государственный деятель, судья и дипломат. Принимал участие во всех политических событиях царствования Генриха IV.

116.

Позвольте привести вам пример сиракузского тирана Дионисия. – Дионисий I Старший (род. ок. 431 г. – умер в 367 г. до н. э.) – сиракузский тиран с 406 по 367 г. до н. э., не стеснявшийся в средствах для достижения своих целей и из демагогических соображений принявший сторону бедных граждан.

117.

Павел Пятый (Камилло Боргезе; 1552–1621) – римский папа с 1605 по 1621 г.

118.

Сам император имел противника в лице своего брата Матвея. – Матвей (1557–1619) – австрийский эрцгерцог. Вступил в междоусобную борьбу со своим братом, императором Священной Римской империи Рудольфом II, принудил уступить ему в 1608 г. Австрию, Венгрию и Моравию, а в 1611 г. – Чехию, Силезию и Лужицу. Германский император с 1612 по 1619 г.

119.

Равальяк Франсуа (1578–1610) – фанатик-католик, убийца короля Генриха IV. Казнен 27 мая 1610 г.

120.

Витри Никола де л'Опиталь, маркиз, затем герцог (1581–1644), – маршал Франции. В 1611 г. капитан гвардейского корпуса.

121.

Буа-Дофен Урбан де Лаваль, маркиз де Сабле

(1557-1629), — французский военачальник, сделавший блестящую военную карьеру при Генрихе IV и получивший звание маршала.